

## КНИГА 1 «И ДАЛЬНЯЯ, ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА»

## Оглавление

ПРОЛОГ .....	- 3 -
«ЗНАК СУДЬБЫ» .....	- 7 -
«СНЫ НАЯВУ» .....	- 24 -
«БЕЛЫЕ ХОЛМЫ» .....	- 51 -
«СТАРЫЙ КУДЕСНИК» .....	- 63 -
«У САМОГО МОРЯ» .....	- 86 -
«ПОЧЕМУ НЕРОН БЫЛ КРОВАВЫМ?» .....	- 126 -
«ЛИЦА НОВЫЕ – ЛИЦА СТАРЫЕ» .....	- 137 -
«РЫЖИЕ, РОЗОВЫЕ, ГОЛУБЫЕ» .....	- 167 -
« ПОД ЗНАКОМ РЫБЫ» .....	- 186 -
«АВРАЛ» .....	- 240 -
«КТО СМОТРИТ В МОРЕ» .....	- 271 -
«ВЕЛИКАЯ ЧАША ЖИЗНИ» .....	- 294 -
«РОДНАЯ СТИХИЯ» .....	- 318 -
«ЛАГУНА БУССЕ» .....	- 338 -
«ВДАЛИ ОТ МОРЯ, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ И БЛАГОТВОРНОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ» .....	- 353 -
«ОСТРОВ – КАК ОН ЕСТЬ» .....	- 390 -
« О РОМАНТИКЕ» .....	- 403 -
«ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ» .....	- 408 -
«СТАН» .....	- 428 -
«НИВХИ» .....	- 437 -
«ИОНА» .....	- 458 -
«О ЧЁМ МОЛЧАЛ КОЛОКОЛ ПОЛУОСТРОВА ШМИДТА» .....	- 471 -
«ОТКРОВЕНИЯ КРИЛЬОНА» .....	- 501 -
«ЛЕДЕНЯЩИЕ ТУМАНЫ» .....	- 537 -
«ЭТО – САХАЛИН!» .....	- 565 -

## ПРОЛОГ

Я люблю тебя,  
Тебя - морская чайка,  
Возле меня  
Никогда не садящаяся.

Эрнест Уолис.  
«Любовная песнь».

С таким же жизнеутверждающим и трепетным чувством любви принялся я однажды за эту книгу, и, как и в море, сердце моё перевернулось и сладостно ухнуло в какие-то неизведанно манящие глубины. Эта книга – описание моей мечты. Когда я писал её, я менялся вместе с ней. Менялось моё отношение к жизни и взгляды. Книга росла вместе со мной, она – отражение моих мучительных поисков.

Более двадцати лет работы над книгой приучили меня к мысли, что неумение найти и сказать при этом единственно верную для всех истину не выглядит каким-либо осязаемым недостатком. Возможность всегда быть требовательным к себе определяла эту книгу-полёт, означающую для парящей души, как и для морской птицы, несгибаемую решимость, терпение и волю. Ничем иным, как желанием добиться справедливости и постижения людьми своей природы, она не обусловлена.

Всё, что совершается сейчас на земле, подвластно воле и разуму человека. Прожив на ней тысячелетия, пройдя через сотни войн, болезней, непонимания самих себя и друг друга, люди всегда старались оставаться людьми и во все времена стремились понять смысл своего существования.

Многие ушли не разобравшись. Ушли с тоской в необозримую и пугающую пустоту, или просто забылись с безнадежностью последнего пьянчуги. Но даже самый последний пьяница видит сны, и люди однажды поняли, что всё не бессмысленно, если не посчитать его таковым.

Тысячелетия мучительного познания и поиска, несправедливого отношения к душе и Богу постепенно выковали их сознание и жажду жизни, вселяя веру в то, что они способны преодолеть неверие в собственные силы и не казаться себе обречёнными. Что, в конце концов, они смогут заглянуть за горизонт и, отправляясь в эту нескончаемую дорогу, им перестанут представляться обременительными их земные устремления, а следование достойным путём постижения приведёт к обретению ускользающей истины.

Что значила, скажем, Сибирь для Достоевского? Четыре года заключения открыли русскому писателю столько потребностей, надежд и планов, о которых он ранее и не подозревал. Слишком он тогда, раньше, был

замкнут. И какая вера в себя, в своё назначение появилась – «мне надо жить, брат. Не бесплодно пройдут эти годы... Услышишь обо мне», - пишет он брату.

Достоевский, по этапу отвозимый вглубь Сибири, в тёмную жестокую жизнь, которую и жизнью-то назвать было невозможно, без всякой надежды на будущее, и ... Достоевский, возвращающийся через годы по тому же этапу, но к свободе, весной, с пробуждающимся в сердце Божественным откровением – это два Достоевского в одном человеке. Пурга, холод, беспросветная тьма впереди, и ... хрустящий под санями мартовский снег, сияющее в весеннем чистом небе солнце, жизнь, надежды, неосознанная ещё, но уже глубоко ощущаемая решимость устремления к чему-то неизбежному и величественному. Тогда ему нужна была своя собственная вера, к которой он тянулся всю жизнь, и она, кажется, к нему приходила...

Кто ещё способен на такое, как не человек? Если и существуют где-то другие миры и цивилизации, кажется мне, что никто из них не сможет сравниться с той силой, что заложена в человеке, ибо никто не страдал более, чем он. Силы, создавшие человека, заключены в самой его сущности, и в своём развитии он может так их возвысить, что во всём свете не будет ничего прекраснее и твёрже человеческого духа, освещённого Божественным светом.

Обладая в себе такой тайной, как Бог, можно разгадывать её тысячелетиями. Но человеческая жизнь коротка, и нужно успеть найти своё место в мире вещей и людей, обретя достоинство собственного существования. Как выявить его в себе? Как определить – на что ты способен? Необъятность жизненного пространства, его завораживающая бесконечность, не должны при этом пугать человека, и ему следует, не уставая, пытаться ответить на первородный вопрос всей своей жизнью. В этом, считаю, наш общий человеческий долг.

И однажды я понял: то, что предназначено человеку, должно стать его священной целью, к которой ему следует двигаться несмотря ни на что, но если человек не делает этого – жизнь его будет прожита впустую. Тот, кто подавляет свою внутреннюю природу, разрушает себя.

Чтобы достичь цели, нужно, как ни странно, отказаться от привязанности к её достижению и просто оставаться искренним в своём поиске. Постепенно осознавая в себе Бога, можно увидеть внутреннюю реальность любого явления или предмета, и рано или поздно нам откроется истина, давным-давно находящаяся для всеобщего обозрения на рыночной площади.

Никогда не надо впадать в уныние из-за постигшей тебя неудачи, если ты знаешь, что сделал всё, что мог. Не переставай терпеливо продолжать свои поиски высшего смысла и собственного предназначения в этой жизни, и тогда Высшие силы помогут тебе распознать его. Ответ на твой вопрос когда-нибудь обязательно придёт, ты ясно определишь свой духовный путь,

и провидение поведёт тебя по нему. Рано или поздно ты найдёшь этот долгожданный приют, располагающийся, оказывается, в твоей душе.

Золотое правило русских моряков, поддержанное ещё нашим знаменитым мореплавателем и учёным Степаном Осиповичем Макаровым – «пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем», - легло в основу написания этой книги. Конечно, замечание великого мореплавателя относилось, в первую очередь, к ведению судового журнала, требующего чёткости, даже некоторой сухости в отображении фактов, происходящих с судном и экипажем в морском путешествии, и всё же, в своей работе над книгой, мне было очень близко и дорого высказывание знаменитого адмирала, и я руководствовался им насколько это было возможно. Иногда желание и решимость – основополагающие качества в процессе познания себя и окружающего мира, вынуждали меня быть довольно-таки многословным, но это стремление оказывается объяснимым, если дело касается моря...

С тех пор, как я в последний раз видел его – прошло более двадцати лет. Тогда какие-то вещи казались мне незначительными, но сейчас приобрели яркие черты и незабываемое впечатление. И, наоборот, то, что воспринималось когда-то первостепенным и важным, теперь не имеет такого воздействия на мою душу, и, может быть, даже совсем утеряло своё значение. Очевидно одно: я по-прежнему не могу обойтись без моря. Те силы, которые наполняли меня невообразимой энергией, и по сей день пребывают в моей душе, время от времени поднимаются из её неведомых глубин и напоминают – какие они могущественные и великие.

Многое прояснилось по-настоящему только по прошествии многих лет, и моё восприятие давних событий претерпело определённые изменения именно после возвращения к сухопутной жизни. И хотя всё пережитое не поддаётся сейчас точному воспроизведению, некоторые вещи я вижу, несомненно, глубже благодаря тому, что они как бы отстоялись в моей душе, и мне удалось взглянуть на них с разных сторон. Пусть это будет не совершенное отражение того, что мне привелось увидеть, но главное, что всё это однажды случилось в моей жизни и повлияло на мой рост. Оно неукоснительно вошло в мою жизнь именно тогда, когда для этого пришло время, и я совершенно ни о чём не жалею. Я счастлив, что моя встреча с морем состоялась, мне удалось-таки написать эту большую книгу из четырёх частей – «И дальняя, дальняя дорога», «Море моё», «Под водой», «Курилы», и я чувствую, как море до сих пор незаметно приветствует меня, заботливо оберегая...

Я всегда чувствовал это ласковое присутствие неведомой морской силы, способной защитить и тотчас повергнуть, и лишь по прошествии многих лет угадал единую для всего живого Божественную тайну: чтобы попасть на небеса – недостаточно ради этого просто умереть, нужно, во что

бы то ни стало, избежать смерти душевной, осуществив свои самые сокровенные желания, и тогда счастлив будет твой Бог. Лучшее изобретение Бога – это возможность быть, но на Земле она ограничена, и поэтому не стоит тратить отпущенное тебе время, живя чужой жизнью, не своей. Не попадайтесь в ловушку того простого довода, когда устоявшееся положение дел, сулящее относительное спокойствие, принимают на веру, как непреложную и неизменную истину, не пытаясь следовать внутреннему голосу. И самое главное, имейте мужество следовать вашему сердцу, ибо оно уже каким-то образом знает – кем вы действительно хотите стать и рано или поздно будете.

Пользуясь случаем, я выражаю искреннюю признательность всем, кого встретил на незабываемых жизненных дорогах, и кто по мере сил и возможностей помогал мне создавать эту книгу, даже не подозревая об этом. Неутомимости и душевного здоровья, таких нерасторжимых понятий, от всего сердца желаю я этим людям. Бог с нами, и Он ненавязчиво призывает безбоязненно творить свою жизнь. Призванная пробудить в человеке пути достойного следования своим мечтам, она представляется для него великой возможностью стать лучше, и остаётся надеяться, чтобы жизнь всех людей состоялась в этом дерзновенном порыве открытия новых и бесконечных путей, способных одухотворить наш жестокий мир.

## «ЗНАК СУДЬБЫ»

Когда я был совсем маленький, я думал, что море располагается неподалёку от бабушкиного дома, через улицу, и ещё чуть дальше – за парком, куда надо было подниматься по длинной деревянной лестнице с такими вытертыми от времени ступенями, что даже приходилось переходить к их краю, держась за перила. Хотелось поскорее забраться на горку, чтобы увидеть воду!

Там на самом деле находилась река Кама... Откуда же мне было знать, что это – не море, и здесь, совсем неподалёку от бабушкиного дома, живёт, оказывается, иная стихия, о которой я ничего не ведал. А убежденность в том, что море где-то совсем рядом – подкрепляло старое здание речного училища, которое не было похоже на другие дома и всегда захватывало моё обострённое восприятие.

Окна училища, выходящие на восточную сторону, выгибались по утрам бутылочным зелёным стеклом, громко и пугающе вспархивали откуда-то сверху неустанные голуби, лепные балконы, охваченные чугуном, застывшей вязью, натужно гнездились со стороны того, что часто в разговорах взрослых упоминалось как «фасад». Вообще, лицо этого учреждения всегда было таким серьёзным и чопорным, что в величественной тени здания невозможно было позволить себе какую-либо непристойную шалость: баловство казалось здесь недопустимым и тотчас наказуемым. Строгость ещё не существующей в твоей жизни морской практики уже предполагала какие-то особые обязательства к собственной, ещё молодой жизни, и будущее столкновение с морем воспринималось неминуемым событием.

Бывало, из резко растворённых дверей на улицу высыпали фигурки молодых людей в форменных, с поблескивающими пуговицами тужурках, и, задорно стуча каблуками по разогретому асфальту, спешили туда, где было неизвестно как, но куда невыразимо тягостно тянуло. В моём разгорячённом представлении это были непременно моряки, которых я, правда, видел только в книжках, но ведь у них такие сверкающие пуговицы и чёрное дерущее сукно(!), как-то я ухитрился-таки до него дотронуться, что не оставалось никаких сомнений: где-то рядом – море.

Обычно я отрешённо застывал возле здания речного училища, упиваясь сознанием близости чего-то поражающе неизведанного, невообразимого, не в силах даже дофантазировать его, и только угадывал неслышно звучащую в себе музыку неведомой морской жизни. Представляющееся мне море лежало где-то там, одного взмаха рукой было достаточно, чтобы определить всю его необъятность. И тотчас успокоено уяснялось: наверное, об этом ещё рано думать, просто не пришло время.

Мимо этого здания речного училища мы с бабушкой часто проходили, когда гуляли, а однажды, весной, бабушка повела меня в кинотеатр, тоже находящийся неподалёку, за углом. День выдался пасмурный, но мягкий,

листья на деревьях ещё не распустились, и мы тихонько шли, держась за руки, по мокрой дорожке, и меня отчего-то переполняло непонятное волнение. В зале было уютно, и даже, несмотря на постоянно хлопающие деревянные сиденья кресел, он создавал атмосферу доверительности и теплоты, какой бы фильм ты ни смотрел. И почему бабушка решила повести меня именно на этот документальный чёрно-белый фильм о четырёх героях-моряках, чей катер оторвало в сильный шторм от пирса в заливе Касатка, на далёком курильском острове Итуруп, и носило по морю сорок восемь суток?

Об этом событии тогда говорила вся страна, о нём писали газеты, и бабушке, наверное, очень хотелось посмотреть фильм, а меня не с кем было оставить. Этот день запомнился ещё и потому, что собираясь дома в кино, уже в коридоре, когда бабушка надевала своё поношенное демисезонное пальто, из его рукава вдруг выскочил огромный рыжий хомяк, и скорее не напугал, а очень рассмешил нас. Дом был старый, деревянный, и, спускаясь по скрипучей лестнице, мы с бабушкой тогда решили, что хомяк, наверное, перепугался не меньше.

Несмотря на мой небольшой возраст, фильм буквально приковал всё внимание. Моряки в нём мужественно боролись с захватившей их стихией, не поддаваясь ей даже тогда, когда нечего было есть. Они варили в морской воде обрезки своих кожаных ремней, чтобы те стали мягче и напоминали, хоть отдалённо, запах живой плоти, а потом жевали, подолгу не выпуская измочаленные кусочки изо рта, и, в конце концов, проглатывали. Всё, что потребовало от них разбушевавшееся море, они с честью выполнили и не ожесточились. Каждый бесконечный день моряки доказывали ему и самим себе, казалось бы, невозможное, и море их отпустило.

Каким устрашающим и грозным выглядело море даже в безобидной темноте притихшего зала! Серое, колючее, чужое, несущее только разрушения и несчастья, оно было совершенно неприступно. А что же представляло из себя море на самом деле, в этом недостижимом краю земли, куда, казалось, ни за что и никогда тебе не попасть?!

Так думалось в своём маленьком понимании неведомого мира, очень остро переживалось за отважных людей и ещё обдавало всего каким-то теплом, вернее даже – ощущением... Будто ты сам с этими моряками противостоял бурному морю, неустрашимо боролся с ним и случившейся неудачей, чувствуя, что всё равно останешься в живых. И разве мог ты знать, как через двадцать с лишком лет попадешь на Курилы и будешь работать под водой именно в заливе Касатка, и зимние шторма будут угнетать своей безысходностью и тебя тоже...

И ты, конечно, вспомнишь тогда захудалый старенький кинотеатр со скрипучими вытертыми креслами, бабушку в поношенном и выцветшем пальто, и то удивительное ощущение слитности с предстоящей жизнью, кажущейся бесконечной. Всё приключившееся в ней и бережно хранимое с раннего детства с невероятной силой охватит тебя, понесёт над необъятным

курильским ожерельем, и ты позабудешь себя. Проникновенно и властно околдует тогда увиденное, и уже больше никогда не отпустит.

Но всё это будет потом, в необозримом и ещё неведомом будущем, а пока, переполненный впечатлениями, ты вернёшься с бабушкой домой и, раздевшись, заглянешь в комнатку родителей. Там, на стене, в массивной золотистой рамке висела репродукция с картины Айвазовского «Девятый вал». Замерев перед ней, ты уже по-новому взглянешь на бушующее море, которого раньше не замечал. Будешь вглядываться пристально, как это только возможно в четыре года, зачарованно насторожившись перед захватившим всё твоё внимание полотном, и эта дикая безудержная стихия тоже целиком войдёт в тебя. Как, оказывается, огромен мир, и какой вместительной может быть твоя маленькая душа!

Мысли о гигантских морских валах, несущих в себе непостижимую скрытую силу, долго потом не давали заснуть. Я никак не мог вообразить себе это нескончаемое морское пространство, такое сильное, величественное, и где же у него всё-таки конец? Вот бы побывать там, чтобы всё хорошенько разузнать и увидеть, и, может быть, тебе удастся открыть то, чего ещё никто не знает?!

Чуть позже мои впечатления о море подкрепились обнаруженным в комодике бабушки альбомом, принадлежащим дяде, брату моей матери, погибшему на фронте. Сын бабушки Саши, у которой мы тогда жили всем семейством в деревянном доме, дядя с детства мечтал стать художником.

Альбом был старый, с пожелтевшими грубыми листами, и на каждом рисунке в нём изображался корабль, всегда почему-то надвигающийся на тебя своим носом, или форштевнем, как я узнал позднее. Иногда корабль был нарисован с надутыми ветром парусами, но чаще – с многочисленными надстройками, красиво громоздящимися друг над другом и завершающимся дымящейся трубой. Нос корабля был так красив и мощен, что о море, из которого корабль на тебя надвигался, даже не помышлялось. И тогда, маленький, я, конечно, ещё не в силах был постигнуть того, что каждый корабль будто приветствует меня и приглашает ступить на его невидимую палубу.

Все эти корабли, когда-то мастерски изображённые моим дядей, удивительным образом завораживали, и хотелось научиться так же правдоподобно изображать их на бумаге самому. Но требовалось какое-то знание, чтобы правильно и красиво их нарисовать. Больше всего поражало в рисунках то, что корабли надвигались именно на тебя, и ты ровно сливался мысленно с ними, сам превращаясь в устремившийся по своему курсу гордый и сильный корабль.

В детском саду, во время уроков рисования, я пытался достичь сходства с дядиными кораблями, крепко держа их в памяти, но у меня ничего не получалось. Нос корабля, как я ни бился, выходил кривым, борта разъезжались далеко в стороны и иллюминаторы будто повисали над морским пространством, которое тоже получалось каким-то

неправдоподобным. Мне становилось очень горько, что у меня никак не выходит подходящий рисунок, но мечты мои неотрывно были связаны с морем, мерно качивали на своих волнах и я постепенно успокаивался.

Кстати, на рисунках дяди море редко выглядело спокойным, а больше – бушующим, неукротимым. Тяжёлые чёрные волны вздымались безудержно и круто, море будто стремилось захватить корабли и повергнуть их в свою бездну. Но корабли мужественно преодолевали разгулявшуюся стихию. Море всё чаще захватывало моё воображение и уносило в какие-то неведомые дали, которые даже не представлялись, а только угадывались. Было ли это каким-то знаком?

Потом, при переезде на новую квартиру, альбом, конечно, пропал. Никто из взрослых не позаботился о том, чтобы его сохранить. Но главное, я уже познакомился с ним, запомнил всё, что он нёс в себе, и не забывал никогда, стремясь потом всей своей морской жизнью продлить в себе мечты дяди, осуществляя и собственные. Иначе, зачем тогда я появился на свет?!

Так же, как море, и всё, связанное с ним, в детстве притягивала к себе ещё большая картонная коробка с отцовскими книжками в кладовке, куда нравилось забираться, когда никого не было дома. Усевшись прямо на полу и рассматривая картинки, читать я тогда ещё не умел, обо всём забывалось, и существовал только восхитительный мир книг, где правили величественные фараоны, индейцы охотились за скальпами белых людей, капитан Немо бесстрашно исследовал глубины океанов, а сколько птиц и зверей таилось под покровом первозданного девственного леса! Большинство книг были посвящены, как ни странно, морю, но более всего очаровала книга про китобоев... Зачем она была нужна отцу?

Книга, явно, никем ни разу не читалась, листы её были склеены и в некоторых местах даже не разрезаны, но, тем не менее, она лежала в коробке, почти на самом верху, и когда я впервые раскрыл её, то почувствовал, что где-то уже это видел... На пожелтевших фотографиях плыли по морю киты, выпуская высокие белые фонтаны, и сразу становилось понятно – как им хорошо и привольно живётся в морской стихии. Не понравились только снимки с разделанными китовыми тушами, отрешённо замершими на боку, и гарпунные пушки, зловеще направленные в море. Было жаль убитых больших китов, и захотелось увидеть их живыми, на самом деле.

В полное восхищение поверг меня огромный спрут с извивающимися вокруг корабля щупальцами, изображённый на старинной гравюре в качестве иллюстрации к подарочному изданию Жюль Верна «20 тысяч лье под водой». Загадочное чудовище из неведомых морских глубин казалось нереальным, но именно это неизгладимое переживание, казалось бы, не существующего страшилища в детском буйном восприятии утверждалось как не требующая доказательств данность, и со всею, присущей только детству восприимчивостью безоговорочно принималось. Искренне верилось: ужасные гиганты таинственного подводного мира, конечно, существуют, они

живут где-то там, в чёрной глубине, поджидая бесстрашных открывателей моря, и когда я вырасту, то непременно отыщу их.

Сейчас я думаю, что и «20 тысяч лье под водой» Жюль Верна, и толстая книга про китобоев оказались в нашем доме неслучайно. Они были куплены родителями бессознательно, но именно для меня, как будто они подспудно чувствовали моё будущее увлечение морем и готовились к тому, чтобы я как можно раньше вспомнил про него, погрузился в мир настоящей дикой природы и там нашёл ответы на все вопросы. Вся обстановка в семье, с самого детства, будто подталкивала меня к общению с родной стихией, задавала то настроение, которое впоследствии однажды и привело к морю.

Порой я размышляю: как так случилось, что море однажды привлекло моё внимание, позвало к себе и возбудило до сих пор не ослабевающий интерес? А началось всё почему-то с прибой, о повадках которого мне так хотелось узнать...

Впервые прибой вошёл в мою жизнь именно в детстве, когда мне было четыре года, и так поразил воображение, что я сразу осознал: всё это безмерное, повергающее своей мощью водное пространство – родное. Когда-то я его уже видел, так же остро переживал ошеломляющую морскую безбрежность и, кажется, был счастлив. Прибой в мгновение вдохнул в меня давние воспоминания о воде, из какой-то прошлой жизни, так что они не отступают до сих пор.

Тогда, в детстве, стоя босиком на мокром песке дикого пляжа под Хостой, я зачарованно взирал на бушующий послештормовой прибой и не в силах был отвести взгляд. Бурно пенящиеся зеленовато-коричневые валы пытались ухватить меня за ноги, угрожающе шипели, но почему-то не пугали. Они лишь вызвали восхищение неудержимой, всесокрушающей силой, берущейся, вроде бы, ниоткуда.

Одни валы в точности повторяли другие, на первый взгляд ничего нового не происходило, но именно это монотонное чередование размеренно надвигающейся на сушу водной толщи и завораживало. Сейчас отчего-то представляется, что тогда я вбирал в себя прибой глазами взрослого, повидавшего жизнь человека, хотя шёл мне всего лишь пятый год. Я хорошо помню это необыкновенное впечатление, и тот первый в моей жизни прибой, наверное, пробудил на короткий миг сознание. Всё в картине прибоя воспринималось необыкновенным и в то же время простым: я уже как будто жил когда-то в этой очаровывающей морской стране, не раз испытывая на себе злую волю шторма и безволие штиля, а шум мерно набегающих на берег морских волн сливался с ударами моего беспокойного маленького сердца...

А вот столкнуться с морем по-настоящему, именно побывав в его утробе, привелось чуть позже, когда папа с мамой взяли меня с собой в ночную прогулку по морю на маленьком парходике. И так получилось, что единственным впечатлением от неё осталась в моей памяти ужасная морская болезнь... Родителям просто не с кем было меня оставить, и надо же именно в эту ночь случиться сильному волнению на море!

Прогулочный парходик празднично сверкал огнями, отсветы от огней весело переливались в чёрной воде, под бортом, и поначалу это маленькое путешествие показалось мне замечательным. Хотя моря и не было видно в объявшей судно темноте, я всё же неописуемо радовался приключившемуся со мной событию. Ведь совсем рядом раскинулось настоящее Чёрное море, такое необъятное, неведомое и почему-то дорогое, и родители взяли меня с собой как большого!

Вокруг плыла и томилась жаркая южная ночь... Именно теплотой встречало меня море, какой-то удивительной разнеженностью, с которой только и можно обратиться к ребёнку, и я это запомнил. А вспоминал часто уже потом, через много лет, когда Тихий океан обдавал меня промозглыми ночами ледяной пеной, испытывал на крепость жестокими штормами, и не было над головой тёплых сверкающих звёзд из южной ночи детства, которой одарило меня когда-то Чёрное море. Оно первым вдохнуло в мою душу страсть к его необъятности, глубине, и неодолимую тягу к удивительным путешествиям.

Но первое впечатление об удивительной и загадочной стихии омрачила не на шутку разыгравшаяся на море зыбь... Парходик раскачивало так, будто он был игрушечный, и даже многим взрослым становилось не по себе, а некоторые и вовсе предпочли удалиться в каюты. Со мной же происходило нечто непоправимое: голова кружилась, к горлу подкатывала неудержимая тошнота, и всё внутри, кажется, выворачивалось наизнанку. Хотя волнение было и небольшое, я очень хорошо помню, как устал в ту ночь от моря, но не разозлился на него. Море как-то сразу околдовало, осторожно напомнив о себе, и, наверное, стало терпеливо ждать, когда я приду к нему осознанно, сам.

Было только неловко перед родителями, что я испортил им отдых. Всё своё внимание они сосредоточили на мне, впервые в жизни приключившейся со мной морской болезни, и от осознания произошедшего я тогда, наверное, был даже горд. Но как мне было плохо!

Правда, это впечатление от зыбкости моря и его угрожающей непредсказуемости удивительно быстро стёрлось, когда я ступил на берег, а днём, на пляже, и вовсе улетучилось. Как будто то был сон, приснившийся неслучайно, со скрытым смыслом, что всё увиденное в нём рано или поздно повторится, но уже наяву, на самом деле, и оно не будет так ужасно.

А через год, прежде, чем пойти в первый класс, мы всем детским садом отправились на лето в Анапу, и моя вторая встреча с морем происходила уже более дружелюбно, я бы сказал – в полном согласии. Меня даже не пугали молочно-прозрачные медузы, в огромном количестве скапливающиеся возле берега после шторма. Когда другие ребята боялись обжечься и не решались к ним прикасаться, а девчонки вообще с ума сходили, если в них бросали скользкую, безжизненную медузу, мне ничего не стоило бродить между ними в воде, с замиранием духа чувствовать их прикосновение и даже играть, перекидывая из ладони в ладонь. Медузы скапливались широкой полосой у

самого берега, и чтобы поплавать в чистой воде, необходимо было преодолеть их студенистую массу. Без резинового круга нам не разрешали заходить в воду, и, пользуясь им, я заплывал дальше всех.

Медузы переворачивались перед самыми глазами, ритмично сжимались и разжимались, и в прозрачной воде, просвеченные солнцем, обретали рисунок. Здесь они уже не воспринимались такими безжизненными, как у берега, а представлялись очень загадочными и тонкими существами. Определённо, что когда-то я уже поддерживал связь с водной стихией, и она имела для меня положительное значение.

Мне всегда нравился запах морских водорослей, выброшенных морем на прибрежную полосу. Водоросли, подпревая, издавали немножко тошнотворный запах, но их крепкий аромат всё равно перебивал дух гниения и необыкновенно дурманил. Ещё меня очень возбуждало ожидание моря...

Медленно тянулся тихий час, потом – полдник с ненавистным пудингом, или это было какао с печеньем, и, наконец, построение, после чего, дружно взявшись за руки, под неусыпным оком воспитателей, мы брели аллеей из грецких орехов к долгожданному морю. Орехи были ещё мелкие, зелёные, а в траве, рядом с дорожками, изредка попадались маленькие черепашки. Уж не знаю – откуда они брались, но иногда нам удавалось поймать одну-другую.

Я как будто был со всеми, оживлённо переговаривался, смеялся, баловался, а внутри всё во мне будто подбиралось от волнения: скоро, через каких-нибудь десять-пятнадцать минут, я увижу море. И море всегда показывалось неожиданно, оно просто повергало, и уже ничего не хотелось говорить, пропадало желание дурачиться, и всего тебя заполняла жгучая и радостная потребность впитывать его звуки и запахи. Присутствие моря приводило в неопишное возбуждение, и это было, пожалуй, самое первое и сильное впечатление из детства, сильнее и лучше которого невозможно было представить.

Все дни тогда, кажется, были наполнены солнцем, его неудержимым блеском, весело отражающимся от изумрудной водной поверхности, запахом выброшенных на берег водорослей, раковин и крабов, золотого мокрого песка... К этому торжеству южного тепла и света ещё примешивался головокружительный аромат сахарной ваты... Её продавали огромными белыми кусками, напоминающими хлопья морской пены, и ты утопал в ней лицом, словно в роскошном летнем зное, и голова сладостно кружилась от переживаемого счастья.

Но как сделать так, чтобы воспитательница покупала нам эту сладость каждый день? Родители, конечно, высылали иногда деньги на фрукты, но их хватало ненадолго, а сахарная вата, которую продавали по всему побережью, источала такую притягательную душистость, что невозможно было о ней не думать. Дух и лета, и моря, и ваты растекался повсюду, и от всего этого невозможно было не чувствовать себя счастливым. Да только как овладеть завораживающей сладостью, кажется, не сравнимую по вкусу ни с каким

вареньем или пирожным, до такой степени она была необыкновенная, воздушная, созданная именно для детства?!

Однажды, валяясь с мальчишками после купания на песочке, мы возводили из него диковинные замки, как вдруг один из нас обнаружил железный рубль. Затем, кто-то, целую трёшку, а мне вскоре подвернулась под ноги россыпь медных и серебряных монеток. Посетители пляжа, обычно раскладывая свою одежду на лежаках, чаще всего не замечали, как из их карманов высыпаются деньги, а поскольку к вечеру, когда мы после тихого часа приходили всей группой на море, отдыхающие покидали прибрежную полосу, ничто не мешало нам направить всю энергию на отыскание желанных монеток!

Воспитательница быстро распознала наш хитрый замысел, и поскольку она была умная девушка-студентка, проходящая с детьми педагогическую практику, то мы достаточно быстро нашли в подобном развлечении общий интерес: она выстраивала нас перпендикулярно прибойной полосе, и вся группа медленно продвигалась по пляжу, вороша ступнями золотистый песок. Мелочи встречалось очень много, иногда попадались даже пяти и десяти рублёвые купюры, а как-то раз одному мальчику посчастливилось отыскать сиреневую двадцатипятирублёвку! Большую часть денег девушка, разумеется, забирала себе, но мы тоже не оставались в убытке, и если приходили после обеда на море, то она всегда угощала нас сахарной ватой. У этой ваты, кажется, не было вкуса: сплошной восторг и наслаждение!

Но совсем необъяснимым, может быть, даже слаще сахарной ваты, оказалось увидеть ... обнажённое женское тело. Видение это тотчас захватило и унесло неизвестно куда, рождая какие-то несказанные предчувствия и догадки. Те, что я никогда ещё не встречал, и они как будто пригвождали меня, так, что я не в силах был сдвинуться или куда-либо идти. Представлялось возможным только взлететь, отрешённо повиснув в своём незнании, что делать дальше... Тело излучало такую тонкую негу и прелесть, что не страшно было умереть.

Та женщина переодевалась в кабинке и возникла передо мной немым откровением, совершенно повергнув моё восприятие. Забылось и море, и резиновый круг в виде медузы, за которым я вернулся, и сахарная вата, продаваемая огромными пахучими кусками на каждом шагу. Похоже, увиденное было неизмеримо лучше её, но об этом ещё, конечно, не думалось, а только угадывалось исподволь.

Больше всего поразила белая, совершенно открытая плоть. Она и вправду была как сахарная вата, и даже, наверное, вкуснее, но как её съесть?! Всё ниже пояса, до самых колен, выглядело так обворожительно, что страшно было смотреть.

И я отвёл свой смешавшийся взгляд, но через какое-то мгновение вновь поднял, а женщина по-прежнему стояла, не прикрываясь, и ничего не предпринимала. Она, кажется, даже улыбнулась одними глазами, подбодрив ими, и продолжала спокойно глядеть на меня, прижав одну руку к плечу, а

другую мягко опустив. Женщина словно давала мне возможность запомнить её вот такой, и при этом ничуть не торопила.

Невозможно было разглядеть всё в отдельности. Я восторженно, с замиранием сердца, охватывал взглядом это дивное тело, и не мог его отвести. Так сладостно, даже для моего шестилетнего возраста, белели эти полные бёдра, выпуклость нежнейшего живота, пухлые колени...

Ещё непроизвольно восхитила и озадачила кошка, что уместилась прямо под животом, и была мохнатая, большая и почему-то без головы... Я тогда подумал, что такое вполне может быть, если всё увиденное на самом деле существует. Ничего другого, кроме свернувшейся в клубок киски, вообразить я был не в силах.

Сколько продолжалось это наваждение – сказать сейчас трудно, но я, помнится, вдруг повернулся и побежал обратно к морю, брызжущему солнцу, по горячему песку, что приятно обжигал ступни, и вскоре обо всём позабыл, потому как более всего притягивало именно оно... В отдельные дни, когда на море случалось волнение, купаться запрещали, а над домиком спасательной станции, на высокой мачте, вывешивали флаг с изображением креста, круга или полосок. Приближаясь к пляжу, каждый из нас стремился первым разглядеть – какой флаг развевается на мачте, а я всегда пытался его угадать: можно ли будет сегодня заходить в воду или нет.

Но даже когда купаться запрещали, на море было просто приятно смотреть, подойдя к самому его урезу. Мутновато-зелёные валы с шумом накатывали на песок, подгоняя к берегу скопища голубоватых медуз, и невозможно было отвести взгляд от этой надвигающейся и непостижимой мощи моря. Я стоял у самой прибойной полосы, там, где разрешали находиться взрослые, неотрывно вглядывался в тяжело переваливающиеся морские валы, и начинало казаться, что море приветствует меня, маленького, будто знает уже давным-давно.

Но более всего, конечно, притягивало море... В отдельные дни, когда на нём случалось волнение, купаться запрещали, а над домиком спасательной станции, на высокой мачте, вывешивали флаг с изображением креста, круга или полосок. Приближаясь к пляжу, каждый из нас стремился первым разглядеть – какой флаг развевается на мачте, а многие пытались его угадать. Но даже когда купаться запрещали, на море было просто приятно смотреть, подойдя к самому его урезу. Мутновато-зелёные валы с шумом накатывались на песок, подгоняя к берегу скопища голубоватых медуз, и невозможно было отвести взгляд от этой надвигающейся и непостижимой мощи моря. Ты стоял у самой прибойной полосы, там, где разрешали находиться взрослые, неотрывно вглядывался в тяжело переваливающиеся морские валы, и начинало казаться, что море приветствует тебя, маленького, будто знает уже давным-давно.

Это ощущение слитности с морем ещё острее проступало в душе, когда его можно было обозревать с высоты, с прибрежных обрывистых скал, где располагался тогда местный краеведческий музей. Нас однажды отвели туда,

и, помнится, мы долго поднимались по лестнице или каменным ступенькам, а внизу торжественно плескалось о камни дорогое и близкое всем море. До самого горизонта выгибалось оно зеленоватой китовой спиной, и будто радовалось вместе с малышами возможности жить, играть и дарить свои тайны.

С самого крутого места, там, где скалы почти отвесно обрывались в море, я с замиранием духа следил за тем, как внизу, в зелёных разливах между каменистых островков, парит надо дном в ластах и маске с трубкой одинокий пловец... Кажется, он оставался недвижим, пристально разглядывая что-то под собой, и с высоты, сквозь прозрачную воду, хорошо просматривались заросли бурых водорослей, белый песок и фиолетовые камни. Когда тень от пловца ложилась на песчаное дно – её тоже хорошо было видно, но если пловец нырял, ловко взмахнув ластами, различить его уже было трудно, и я только завидовал ему, что он может так свободно парить под водой, наверное, поднимая со дна красивые раковины и выуживая из-под камней большущих крабов.

Одного из таких крабов мы однажды обнаружили на песке, выброшенного разбушевавшимся накануне штормом. Краб лежал на спине, неестественно задрав кверху гладкие кремовые клешни, и уже почти наполовину погрузился в струящийся под ним влажный песок. Мы осторожно перевернули его: краб, несмотря на размеры, оказался достаточно лёгким, а панцирь у него был чёрно-коричневый, с тёмно-бордовыми лысыми буграми и вздутиями. Шарообразные, на ниточках глаза краба побелели и вытянулись, лапки были покрыты редкими волосинками, и весь он источал тошнотворный, и в тоже время сладостный запах моря, которым, кажется, было пронизано всё побережье.

На искрящейся прибойной полосе пузырились грязновато-перламутровые пенные лужицы, повсюду виднелись будто вдавленные кем-то в песок разноцветные мелкие раковинки, валялись скомканные пучки изумрудных водорослей, и надо всем этим, погружённым в знойную голубоватую дымку, вольно простиралось нечто огромное, живое, хотя его и не было видно. Оно очень чутко угадывалось, его было приятно ощущать, переживая какую-то удивительно умиротворяющую свободу, которая будто отрывала тебя от земли, но дальше никуда не уносила. Вероятно, то была душа моря, простирающая на всех свои волшебные чары...

Мы, дети, в первую очередь радовались нахождению рядом с морем, и никак не могли им насытиться. Мы угадывали своими маленькими сердцами его всеобъемлющую благосклонность, стараясь как можно более чутко с ним слиться. Резиновые круги в виде обнимающей тебя медузы или улыбающегося дельфина так волнующе отрывали от земли, а зелёные волны мягко укачивали и будто обещали нечто удивительное. Хотелось бесконечно парить в этом тёплом солнечном торжестве, называемом просто и красиво – «м-о-р-е...» Ни о чём другом просто не мечталось.

И вот, мы оказались в музее, тоже проникнутым морем. Больше всего поразило серо-голубое чучело акулы: удивительно изящное, с синевато-серой, отливающей сталью шероховатой кожей, упругое на вид, оно казалось произведением искусства. Вернее, я ещё не знал, что это такое, и акула, незаметно прикреплённая к стене, воспринималась мною как живая, будто по волшебству оказавшаяся на время в этой маленькой музейной комнатке. От неё веяло силой и запахом моря, акула была вся пронизана стремительным движением, и мне оставалось непонятным – как она здесь очутилась и находится в неестественной для неё застывшей позе?

С раскрытой зубастой пастью акула словно устремилась к окну, за которым плескались в прибрежных камнях неудержимые волны. Маленькие стеклянные глаза акулы остро вцепились в вольное морское пространство, казалось, она вот-вот вырвется на свободу и шлёпнется в море. Приподнявшись на цыпочках, я попытался дотянуться до шероховатого на вид бока акулы, но у меня ничего не получилось: акула осталась недосягаемой. И всё же, помнится, в душе родилось смутное предчувствие, почти уверенность, что когда-нибудь мне это удастся... Может, то действительно был знак судьбы?!

Прошло около двадцати лет, и судьба опять свела меня с морем. Лето в тот год выдалось особенно жарким. Все дни я проводил на море, стараясь взять от него то, чего обычно так не достаёт зимой. Это были последние дни моих студенческих каникул, и я много купался и загорал.

Морская вода промыла кожу, а солнце иссушило и выдубило её, покрыв ровным оливковым загаром. Тело сделалось поджарым и лёгким, как у какого-нибудь ловкого морского зверя. Особенно ощущалось это в густой маслянистой воде, обволакивающей своей густой ароматной прохладой. Выскакивая из воды, я бросался на раскалённые солнцем гальки, чувствуя, как приятно прикипает к ним мокрое тело, и камни постепенно остывали, а я долго и неподвижно лежал, прижавшись щекой к песку, закрыв набухшие от капелек набухшие ресницы. Сквозь полузакрытые веки, в искрящихся радужных бликах чуть пробивающегося света, мир казался волшебным. Разгорячённое упругое сердце металось в груди, натываясь на камни, гулкие его удары мягко отдавались в висках, и в ушах стоял лёгкий шёпот моря.

Море было рядом, и от этого на душе становилось хорошо и покойно. Я, помнится, немножко задремал от охватившей меня умиротворённости, и увидел море во сне... Оно было как наяву: большое, синее, с высокими белыми облаками, повисшими над горизонтом, такое выразительное в своей беспристрастной нескончаемости. Я качался на его волнах, наслаждаясь оказанным приютом, почти растворяясь в неосязаемой воде. Море убаюкивало и манило, нашёптывая какую-то сокровенную тайну, не совсем тогда понятную мне...

Я пробудился, но ощущение этой тайны было очень чувственно и не проходило. Оно начинало приятно будоражить и звать в путь – неведомый и очень желанный. Как будто что-то давно, ещё с детства, жило в тебе, и только сейчас проснулось.

И захотелось вдруг куда-нибудь уехать – далеко-далеко, чтобы увидеть собственными глазами жизнь, и, вмешавшись в неё, сделать и своей тоже. Ещё до конца не осознавая происходящих в себе перемен, я уже догадывался, отдалённо и робко, чего потребует это нежданно пришедшее открытие. Чувствовал, как оно входит в меня, наполняя поднимающиеся в душе паруса самым прекрасным на свете ветром – ветром странствий. За его неожиданным появлением всегда стоит долгий путь поисков и ошибок, когда ты не в состоянии определить – что представляешь в этом мире и что когда-нибудь из этого родиться. Однажды налетая, ветер переворачивает мятущуюся душу, и душа вдруг обретает крылья.

Даже в неизвестности тогда жизнь становится не страшна... Но в любом случае человек должен видеть результаты своего труда через оценку его другими людьми. И если под стремлением человека к полёту подразумевать не желание чрезмерной жажды почестей, а истинное осознание полезности избранного им дела, то его можно считать тем благосклонным дуновением судьбы, её знаком, что уносит нас вместе с надеждой и белоснежной чайкой за исчезающий горизонт.

И меня вдруг охватила острая потребность написать обо всём, что я сейчас почувствовал и увидел, не откладывая. Это было так неожиданно и ново, что я растерялся. Приподнявшись на локте и пристально вглядываясь в колеблющуюся синеву, ещё подумал: уж не приснился ли мне сон... До того он был хорош. И тут же понял, что всё реально, и желание с видением не исчезли.

Через несколько минут я уже был дома. В комнате стояла прохлада, и пахло спелыми сливами. Шторы безжизненно повисли в раскрытом окне.

Я взял блокнот с карандашом, и, удобно устроившись в углу постели, попытался записать всё увиденное и прочувствованное там, на берегу. Но ничего не получилось: одного желанного, по-видимому, было мало. И всё-таки я понимал, что во мне проснулось что-то очень важное, чего нельзя упустить и растратить, а главное – предать. Нужно, наверное, просто сохранить его, и непременно развить. Всё, что произошло, наверняка, должно было изменить мою жизнь.

В силу своей природы человеку невозможно жить там, где всё ему дано: тогда он забывает о своих великих возможностях, дарованных ему Богом. В каждом из нас заложены ростки того, чем мы способны стать, а поможет нам в этом только собственная неутомимость. Боязнь, что риск не будет оправдан, удерживает многих от решающего шага. Но каждый способен нарушить привычный жизненный уклад.

Больше всего пугает в людях душевная осёдлость и успокоенность, когда в свои двадцать пять у них не возникает настоящих желаний. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье, и разбиваются жизни. Ничего нельзя делать слишком долго, если дело не приносит удовлетворения, и ты никак не реагируешь на происходящие в твоей жизни события или делаешь это неверно. А хочется, чтобы человека подхватили свободные ветры, душистые и солёные, и неудержимо потянули его в неведомые края, где жизнь может раскрыть для него беспредельные дали.

Но есть такие места, в которые так просто, праздно, не придёшь. А если всё же отправляешься туда за тысячи миль, то осознанно, с пониманием того, что непременно обнаружишь там всё, что искал. Места эти разбросаны по земле, они – оплоты знания о мире. К ним можно пройти только с любовью в сердце, с готовностью и желанием открывать себя и мир, и тогда появится недостающее понимание.

Сахалин, куда я вскоре уехал, оказался для меня тем самым обетованным местом, островом удивительных откровений. Однажды обнаружив свою дорогу, именно здесь я до конца осознал для себя, что надо идти по ней дальше, до недостижимого. Именно на острове во мне открылось желание искать в мире свою жизнь, и ещё понимание, что искать её без людей невозможно.

Я всегда пытался понять тех людей, с которыми мне пришлось столкнуться в море, и помню всех до одного. Многие из них мне были очень симпатичны, другими я восхищался, а некоторых по-настоящему полюбил. Порой приходилось встречать и совсем отпетую братию, но во всех жил художник, пусть маленький, но он жил, и его нужно было разгадать. Миллионы маленьких художников затерялись в сером море безверия в собственные возможности, даже не пытаюсь заглянуть в бескрайние глубины своей человеческой сути.

На острове мне впервые стало понятно, что счастье – не самое главное в жизни, есть вещи более значимые. Например, незатихающая радость прозрения, леденящие туманы, дорога и твоя сопричастность с происходящим, то, что позвало тебя, не мешкая, в путь, как бы далёк и труден он не был. Что нет труда более кропотливого и мучительного, чем желание доискаться правды, и подобно взвившемуся в небеса маленькому буревестнику, прозванному моряками за свой неукротимый нрав и любовь к стремительному парению глупышом, человеку тоже надлежит обрести ощущение беспредельности полёта и уже не покидающую его потребность трудиться душой. Что весь смысл бытия определяется не тем, каких благ ты достиг, а тем, как часто вмешивался в жизнь, становясь при этом духовно сильнее.

Хорошо себе представляя существование в мире тысячи правд, я твёрдо усвоил, что всех их объединяет одна горячая не умирающая совесть. Совесть не давала мне покоя, и я открывал для себя вещи почти ошеломляющие, способные, по моему мнению, стать ошеломительными и

для других. Взаимосвязанность совести и мечты – этих двух важных начал, учила бесстрашию к нелегко дающимся поступкам в новой трудной жизни.

Всю свою сознательную жизнь я стремился жить интересно. Но какое свойство не давало мне покоя, и что за сила вынуждала к этому стремлению – я не знал. Сейчас думается: этим свойством было нетерпение души, порождённое незнанием, которое, в конце концов, всегда должно обернуться открытием, если ты жил в согласии с собой. Ничто иное, как жажда постижения и устремление к Богу двигали мной все эти годы и, честно признаться, порой просто окрыляли.

Я мучительно двигался к узнаванию себя и мира. Во мне жило огромное желание добраться до глубины смысла. Я не знал – кем я буду потом и чем займусь в неизведанном будущем, но я видел многое так, как это нужно было видеть, и чувствовал, и понимал, и дотягивался постепенно, и, постигая, рисовал собственными поступками свою судьбу, получая при этом огромное удовлетворение. Мне нравилось творить жизнь собственными руками, и, в полной мере ощущая себя её хозяином, я ни о чём не жалел.

Жизнь – великий дар, думал я, и нужно быть художником, чтобы талантливо и мудро прожить её. Можно не стать поэтом, завоевавшим сердца людей, учёным, потрясшим мир своими открытиями, композитором, очаровавшим людей и раскрывшим им глаза на окружающую природу вещей, но нужно быть в любом выбранном тобою деле творцом. Только тогда ты будешь по-настоящему счастлив и не одинок, и когда-нибудь обретёшь в себе силы идти дальше.

Вера в то, что хуже, чем есть, не будет, а неутомимость, если решиться поверить этому, вполне оправдывает себя, явились той непреложной истиной, которая в идеале, как оказалось, позволяет любому человеку интересно и с пользой прожить жизнь. И ещё я понял, что область человеческого – это всегда собственный путь к бессмертию, а судьба – это только обозначение пути, которым предстоит пройти человеку в жизни. Каждому по-своему суждено познать её тонкости, развить и внести в эту жизнь что-то неповторимое, своё.

Дорога обогащает душу человека только в том случае, если он не преследует в своём отлучении мелкие тщеславные цели, если не убегает от себя или окружающей действительности, не скитается по свету просто так, не имея ничего конкретного за душой. Всякие не нашедшие себе применения личности, к тому же стремящиеся отойти от обязанностей члена общества и человека, конечно, не имеют ничего общего с теми, кто переполнен жаждой невероятных приключений, кто до конца верен себе в достижении достойной цели и, не переставая, намечают для себя самые высокие задачи.

Путешествия относятся к тем событиям в жизни, которые непременно несут нам радость новизны. Всё новое кажется человеку очень важным, потому что чувства, просыпающиеся при соприкосновении с ним, составляют, в конце концов, основу всех наших добрых побуждений, мыслей и поступков.

Многое, являясь незначительным, уходит прочь, а в ещё неизведанной возможности открытий кроется целый мир долгожданных находок, без соприкосновения с которыми человек никогда не сможет себя обрести. В существовании их заключён тайный смысл желания путешествовать. Дух человека неустрашим в его неуёмном стремлении видеть новое, в желании сделать жизнь лучше, чем она есть на самом деле.

То, что я не знал точного устройства мира, не мешало мне, тем не менее, продолжать идти по дороге. В ней хватало незабываемых впечатлений, от которых жизнь по-настоящему волновалась. Как мне хотелось тогда научиться понимать весь мир и, главное, надёжно участвовать в нём, полнокровно ощущая на себе это несущееся мимо движение, от стремительности которого сердце сладко и боязливо замирало. Неизвестно откуда, но я знал наверняка, что умение чувствовать жизнь, этот её неподражаемый внутренний ритм, рано или поздно придёт, чтобы продлить себя для других людей.

Когда мир воображаемый оказывается схож с действительностью, все жизненные горести теряют своё значение. Если человека окружают уже проторённые тропы, а его всё же не покидает щемящее чувство дороги, ему следует придумать новый путь.

Найти дорогу туда, где немного больше света, надо непременно самому. И чем дальше ты ушёл в своих поисках, тем с каждым шагом сложнее путь к цели. Но однажды, совершенно неожиданно, она откроется.

Надо понять, что следование проторёнными дорогами - есть не благо, а ущерб, и частое эксплуатирование удобного и знакомого может незаметно завести в тупик. Достойный истинного знания не должен потерять верного чутья до самого конца. Важно то, что жизнь продолжается, так же как продолжается радость от внутреннего чувства сопричастности с вечностью и возможность когда-нибудь приблизиться к ней, и вера в разум человека, и дальняя дорога...

Нужно обязательно успеть пройти её, чтобы в конце пути волны твоей памяти опять с радостью увлекли тебя в открытое море.

Незаметно пролетел ещё один год, и наступила осень. Бывают осенью такие дни, когда воздух будто полон сизого дыма. Дворники метут дворы, сгребая жухлую листву в большие влажные кучи, и, подожжённые, они потом долго тлеют. Горят по дворам тихие костры, и дым вяло клубится в опрятной сырости осенних сумерек.

На улицах стоит вечерняя неповоротливая кутерьма: зазывно гудят автомобили, по-деловому пронзительно позвякивают трамваи, и быстро движутся по тротуарам люди. Дым въедается им в ноздри резким щекочущим запахом жжёного листа, напоминая о недолговечности и красоте всего земного. Но у людей свои заботы: они спешат после работы домой

прочитать свежие газеты, приготовить ужин, заняться воспитанием детей. Так устроена жизнь.

Говорят, лето – время осуществления надежд. Осенью же, когда листья улетают и остаются плоды, подводят итоги. Но если ты однажды, осенним днём, решился хорошо поставленным ударом боксёра среднего веса разбить вдребезги колпак, защищающий тебя от непогоды и свежего воздуха, то честь тебе и хвала.

Год ожидания не поколебал решимости осуществить задуманное, и день для этого наступил. Так серьёзно меня в жизни ещё ничто не захватывало. По-настоящему глубоко и бесповоротно.

Я чувствовал: во мне проснулось что-то очень важное. Оно было где-то рядом, совсем близко, и пришло так же неожиданно, тихо и естественно, как подступает к сердцу настоящее чувство или выпадает однажды под утро первый пушистый снег.

Молодые силы, помноженные на открывшееся знание, остро требовали творческого выхода. Я уже не представлял своего существования без какого-либо захватывающего дела, позволяющего жить радостно, с желанием, и вроде бы обретал его. Дар, требующий к себе самого пристального и ежечасного внимания, оказывается, зачарованно существовал во мне, как и во всех людях, жил в нетерпеливом ожидании, когда его, наконец, отыщут, и, обнаруженный, готов был осветить собой весь предстоящий нелёгкий путь.

Теперь я уже совершенно точно сознавал, какую жизнь выбрал себе, выбрал сам, и уж несколько не жалел об этом. Ощущать это было приятно. Как неожиданно легко пришло открытие, и как оно сразу всё изменило во мне: мир оставался прежним, а я вырос – смотрел на него теперь глубже и видел то, о чём совсем недавно лишь догадывался.

В отличие от мучительных поисков себя и длительного ожидания поездки, сборы оказались недолгими и лёгкими. Ясно осознавая предстоящий шаг, я методично и спокойно подготовил весь свой нехитрый скарб, уместившийся в небольшой спортивный баул, и вышел немного прогуляться.

Улицы были пустынные, и чуть накрапывал дождь. Пахло корой уже облетевших деревьев, водосточными трубами и мокрым асфальтом.

Редкие прохожие с поднятыми воротниками, как-то неуклюже скособочившись, пробегали, шлёпая по лужам. Тусклые ночные фонари, мерно покачиваясь, отбрасывали на дорогу ломающиеся тени. Жёлтыми размытыми пятнами светились окна. Много-много окон...

Я прощался с этими окнами, осенью, городом, со всеми знакомыми и друзьями, хотя их и не было рядом. Будущее неудержимо влекло, а неизвестность немного мучила. Но решимость была твёрдая.

Домой я возвратился поздно и долго сидел на кухне, не раздеваясь и не зажигая света. Скрипнула дверь и в кухню неслышно вошла мама. В несуразно длинной ночной рубашке она приблизилась в темноте и,

настороженно протянув руку к моему лбу, тихо проговорила: «Что у тебя случилось?» Наверное, почувствовала моё состояние.

Я решился тут же открыться, но она почему-то не поверила и, наказав немедленно укладываться, ушла спать. Стало обидно, и хотя пустоты я не ощутил, всё же захотелось поскорее уехать.

Ночью я слышал, как, не уставая, стучали вдали поезда, и мне казалось, что все они идут на восток: к самому синему морю. Где-то там, на краю времени, жила моя мечта. Стук колёс пробуждал во мне чувство дороги, и зов судьбы увлекал в тревожные рассветные дали.

Быть может, со временем, зов превратится в рок, думал я, но пока нужно сниматься с якоря и поднимать свой флаг, потому как час наступил. Просто не хотелось уже жить как прежде, и мысленно я видел ту далёкую страну, где искренне поклялся когда-нибудь побывать. Непреклонная вера в это ни на минуту не покидала, озаряя теперь всё моё существование цельным и светлым чувством сопричастности с какой-то давней тайной, и её непременно хотелось разгадать. Я отправлялся в путь, которому не было конца.

... Медная пуговица расплывчатого фонаря за окном бросала неясный свет на угол кровати. Я не спал. Я думал...

Моряк заманчивой постели  
Предпочитает дальний путь –  
Чтоб мачты гнулись и скрипели...  
Обними. Поцелуй. И навеки забудь.

Самолёт улетал рано утром. Уходя, я оставил на кухонном столе записку: «Вы ещё будете спать, когда самолёт понесёт меня на восток. Решил не будить. Как только устроюсь – сообщу. Ваш сын и брат».

## «СНЫ НАЯВУ»

Сквозь двойное стекло иллюминатора авиалайнера пробивался рассеянный багрянец ускользящего за горизонт солнца. Чуть оторвавшись от утра, мы догоняли закат. Заманчиво было ухватить за хвост уходящий день и хотя бы на миг задержать его, насладившись застигнутым безвременьем.

Это одна из занятных игр, которыми можно развлечься на борту самолёта, зависшего на многотысячной высоте. Ты словно застываешь в быстротечном настоящем между убегающим прошлым и приближающимся будущим. Будто какие-то неведомые силы ещё пытаются удержать тебя. Но останавливаться уже поздно. Белоснежная птица неудержимо выносит тебя на своих крыльях к твоей мечте, с помощью которой можно заглянуть за горизонт, и уже нет сил оглянуться назад.

Удобно устроившись на боку, можно спокойно наблюдать за простирающимся внизу пространством, не отягощённым множеством разнообразного вида облаков, и следить, как меняется его окраска. Если приглядеться получше, то становится заметным, как часто один причудливый оттенок сменяет другой. А когда долго смотришь в иллюминатор, то всё окружающее отходит на задний план, становится несущественным, и ты погружаешься взором в бесконечную даль неба. Постепенно начинает казаться, что это ты сам тихо кружишься над облаками, не боясь провалиться в бездонную глубину.

Мысленно улёгшись на их мягких боках, интересно наблюдать, как зажигаются в небесной тишине звёзды. Жаль, что я не знаю имён созвездий: для человека, глядящего на небо, это недопустимо.

Когда угасает день, там, высоко в небе, пробуждаются они, эти удивительные неведомые светила, с озорством подмигивая людям в окна. Но люди не всегда замечают их, а звёзды не спускаются ниже – им хорошо в своём необозримом небесном пространстве. Вот почему я люблю ночные рейсы: отправляясь в путь, ты обязательно попадаешь в гости к звёздам.

Общение с тёмно-фиолетовым, пронизанным звёздным светом небом не менее приятно, чем с бескрайним океаном воды. Необозримость сближает эти два полюса, отражающиеся друг в друге. И облака этому не помеха.

Мерный убаюкивающий рокот моторов давно усыпил салон, но мне не до сна. Я думаю о том, что ждёт меня впереди. Одно видение сменяет другое, но чёткой картины нет: люди, время и поступки расплывчаты, и только тихо колеблющееся синее море вполне осязаемо. Другим я его пока ещё не знаю. Для меня оно всегда чистое, тёплое и ласковое.

Немного смущает пустующее рядом кресло: кого подарит мне судьба в попутчики? Хорошо, если это будет девушка. Не обязательно красивая, но непременно веселая. Именно её не достаёт сейчас в этом спящем салоне, когда в иллюминаторе проплывают покачивающиеся звёзды, приглашая в свою незамысловатую, но приятную игру.

Я тихо улыбаюсь им и, закрыв глаза, пытаюсь представить себе эту девушку. Кое-что у меня получается: я вижу длинные распущенные волосы, свободно ниспадающие на плечи, приподнятые в лёгкой улыбке уголки рта, нежный овал лица и зелёные, светящиеся в лёгком полумраке салона глаза... Девушка почему-то подмигивает мне.

До отказа откинувшись в глубоком кресле и прислушиваясь к ровному гулу прямо над ухом, я опять улыбаюсь. Это уже в адрес обладательницы зелёных глаз. Взошедшее на миг лицо вдруг неожиданно исчезает, но блеск зелёных глаз остаётся. Весело поблескивая своим подругам за бортом самолёта, зелёные звёздочки рассеивают тревожные думы. На душе становится легко.

Нет, наверное, так не бывает, думаю я. Такие встречи происходят, когда их не ждёшь, - в этом очарование нашей жизни. Впереди ещё много неожиданных знакомств, одно из которых непременно принесёт радость обладания самым дорогим существом. Нет человека на земле, который бы не жил ожиданием подобного чуда. Тайна эта помогает многое преодолеть и поверить в себя, и, может быть, сделать к ней решительный шаг.

Глубокая ночь. Вынужденная посадка в аэропорту Томска. Где-то рядом, в холодной темноте, залёг хмурый, с неповоротливым названием город. Весёлые зеленоглазые девушки жить здесь, конечно, не могут. Я и забыл, что такими представляются все незнакомые аэропорты, когда ты прилетаешь в них ночью, даже если это только временная посадка. Ещё хуже, когда приходится дожидаться в них рассвета, который приходит очень медленно, а потом оказывается, что идти некуда.

Посередине зала стоял раскидистый фикус. Выглядел он здесь нелепо. И вообще, в аэропорту было зябко и пусто, и хотелось поскорей забраться в своё тёплое, уютное кресло.

Мысль о весёлой попутчице куда-то пропала и больше не появлялась. И море уже не нашёптывало мне свои сокровенные тайны. Вот что происходит с человеком, когда он неожиданно попадает в неприветливую холодную темноту, посягая, кажется, на такое естественное и желаемое, но чаще всего недоступное.

После прохладных объятий местного аэропорта и ветра, продувающего взлётное поле вдоль и поперёк, мягкий, обволакивающий всё твоё существо уют внутри салона самолёта и ободряющие улыбки стройных стюардесс настроили на более благодушный лад. Нерадушный аэропорт вместе с осенней непогодой, как дурной сон, остались за бортом. А пройдя по узкому проходу, выстланному бесшумной ковровой дорожкой, ещё несколько шагов, я и вовсе убедился, что город этот не такой уж мрачный... В моём кресле, до которого я так мечтал добраться, в сером демисезонном пальто и с маленькой сумочкой на коленях сидела прекрасная незнакомка, что-то пристально высматривая в чёрном иллюминаторе...

-Здравствуйте, - как можно более проникновенно сказал я и уселся в соседнее кресло.- Вы на моём месте сидите.

Девушка повернула ко мне лицо и, вместо зелёных, передо мной загорелись бесовские огоньки не менее прекрасных карих глаз. Тёмные, неопределённого цвета волосы, отливая неясным светом, мягко лежали на её плече. Широкие скулы чётко выделялись под смуглой кожей. Лицо было живым и открытым.

- А мне здесь больше нравится, - просто сказала она и, осторожно ткнув мне в грудь сухую тонкую ладошку, улыбаясь, добавила: - Вика.

Я бережно взял её руку в свою и, представившись, опять подумал, что так не бывает.

- Что с вами? – спросила она.

- Я сейчас подумал, что так не может быть.

- Очень даже может. Вы куда летите?

- На Сахалин, - ответил я.

- Ух ты, - искренне удивилась она. – А зачем?

- Хочу сходить в море.

- Романтика, да?!

- Не знаю... Но очень хочется. Оно мне снится.

- Вон вы какой, - задумчиво протянула она и, отвернувшись, опять начала что-то высматривать в густой черноте стекла.

Глядя на неё, я почему-то подумал, что если бы сейчас наш самолёт потерпел аварию и начал падение, она, наверное, только тихо попросила бы меня обнять её и больше ничего. И ещё я заметил, что волосы у неё очень красивые и мягкие, с ровным тёмно-пепельным оттенком.

- А дальше что будете делать? – быстро повернув лицо ко мне, спросила она.

- Книгу напишу...

- Ух, ты! Так вы, значит, писатель?

- Вовсе нет. Я просто жить хочу интересно.

- А как это, по-вашему, жить интересно?

- Наверное, надо быть неутомимым. Тогда равносильно затраченному труду или опыту получаешь соответствующую отдачу. Своеобразный обмен ценностями, что ли...

- И получается у вас этот обмен?

- В общем, он всегда себя оправдывает, но хочется чего-нибудь стабильного... Понимаете?!

Она утвердительно кивнула головой, и её чистые воздушные волосы, мягко скатившись с плеча, заблестели маленьким зеркальцем, отражая прелесть молодой жизни. Затем лёгкими, тонкими пальцами она изящно отвела их за ухо и улыбнулась.

- Это хорошо, - тихо проговорила она. – Правда, удаётся, к сожалению, немногим.

- Надо к этому стремиться.

- Знаете, оставайтесь таким всегда и никогда не уставайте, - уже нормальным голосом сказала она и тут же добавила: - А я к маме лечу, в Хабаровск. Давно не видела. Я, пожалуй, немножко вздремну. Можно я вам голову на плечо положу?

Я, конечно, не имел ничего против.

Голова её мирно покоилась на моём драповом плече, нежно холодя левую щёку еле уловимой свежестью, а море опять доверяло мне свои тайны, и я подумал, что обязательно их разгадаю.

Каждый аэропорт имеет своё собственное лицо, и даже строительство по типовому проекту не может повлиять на эту очевидную истину. Тот, кто много летал, хорошо это знает.

Оправдывая это утверждение, аэропорт в Хабаровске не был исключением. Весь из стекла и бетона, пронизанный розовым отсветом восходящего солнца, со свежeweымытыми полами и несмолкающим гулом бесчисленных пассажиров, он, со всей присущей ему молчаливой беспристрастностью и спокойствием, тотчас заглотив меня в свой сумбурный уют, и я понял, что выберусь отсюда не скоро.

Обслуживая весь Дальний Восток, аэропорт не всегда успевал пропустить через себя многоликий поток желающих улететь, непроизвольно поддерживая тем самым постоянный процент неудачников, обречённых сутками быть прикованными к своим жёстким скамейкам. Здесь никогда не бывало тихо и всегда не хватало мест, но зато предоставлялось достаточно времени, чтобы о многом подумать.

Надсадный вой двигателей только что приземлившихся самолётов раздражал невероятно, наполняя пустотой. Выйдя на улицу, я долго стоял, наблюдая, как меркнет рыхлый осенний свет, зажигаются фонари, подъезжают и уезжают, мигая зелёным глазом, разноцветные такси, и передо мной неожиданно всплыл образ недавней попутчицы.

В моём воображении Вика сидела перед зеркалом, чуть склонив голову набок, и, плавно взмахивая гребнем, расчёсывала свои роскошные волосы. У неё это очень красиво получалось: волосы ниспадали блестящим потоком, переливались, а губы еле уловимо нашёптывали что-то – что, я разобрать не мог.

Думая об этом, я неотрывно смотрел на подвыпившего мужчину, который нетвёрдо стоял у автобусной остановки. И он это заметил.

Мимолётная встреча в дороге, бывает, застревает надолго в памяти. Всё прошедшее кажется нам со временем более значительным. Выбранный когда-то минимум действий в последующем мы определяем как максимум, считая, что жили полнее и интереснее. Может быть, именно это потом руководило моей памятью, когда я вспоминал о полуспившемся музыканте, повстречавшемся мне в аэропорту Хабаровска.

Изрядно затасканный болоньевый плащ неестественно топорщился на его нескладной сухощавой фигуре. На вид ему было лет сорок пять. Я не мог объяснить, зачем я это делаю, но не в силах оторваться пристально смотрел ему в лицо. Может быть, я почувствовал тогда потребность в собеседнике?

Сколько помню себя, мне всегда «везло» на уличные столкновения подобного рода: стоял ли я на остановке или шёл по улице, пьяных словно магнитом влекло ко мне. Рядом было полно людей, но каждый раз они безошибочно выбирали именно меня. Безуспешно пытаюсь понять причины этого, я находил их в собственном внешнем виде, но он, оказывается, был не при чём. Лишь позже понял, что всему виною, видимо, был мой взгляд, который я, в отличие от других, не отводил в сторону.

Не обращать внимания легче. Но мне почему-то было стыдно не замечать их обострённо открытые лица-души с наигранной грубостью, шутловством или настоящим надломом, всегда откровенно просящие одного – внимания. И я смотрел им в глаза. А в ответ они тянулись ко мне, не всегда находя то, что искали. Но главное – не отвернуться. «Болоньевый плащ» ещё немного потоптался и нетвёрдым шагом направился в мою сторону.

- Засел, парнишка, - шепелявя, дружелюбно прохрипел он. – Здесь клоака. Хана тебе пришла. Чем думаешь заняться?

- Мне спешить некуда. Буду ждать, - сказал я.

Но дело обстояло не совсем так: срок прибытия в Корсаковскую мореходку ограничивался завтрашним днём, а успеть я уже не рассчитывал. Впереди маячила перспектива проторчать ещё сутки в зале ожидания под крышей гостеприимного аэровокзала.

- Нет иллюзий – нет и разочарований, - опять проскрежетал он. – Согреться хочешь? Вмиг организуем.

Он сразу вошёл в свою струю, и его привычно понесло. Ему не нужно было преодолевать себя: маска была давно сброшена, как ненужный элемент в отношениях с подобными себе персонажами, и теперь его ничто уже не сдерживало.

Из внутреннего кармана он ловко вытянул за горлышко порядком опорожненную бутылку коньяка и протянул мне. Не взять – не значило кровно обидеть, но мне не хотелось отказываться от искренне предложенного и, честно говоря, недостающего в данный момент глотка. Необходимо было снять напряжение, и подвернувшееся предложение оказалось подходящим для этого выходом.

Я отхлебнул и сразу почувствовал облегчение. Затем передал бутылку своему новому знакомому, и тот резким движением опрокинул всё оставшееся себе в глотку.

- Ковыряясь в зубах, паря, сыт не будешь, - облизывая нижнюю губу, со знанием дела подытожил он, и, осторожно звякнув пустотой стекла, опустил бутылку на асфальт.

«Болоньевый плащ» явно был подкованным товарищем и, очевидно, уже предвкушал небезынтересную для себя беседу. Сейчас ему было хорошо:

коньяк уже делал своё дело, его не прогоняли и, по-видимому, вполне готовы были слушать.

- Шукшина читал? – затаив дыхание, задал он с ходу вопрос и замер в нетерпеливом ожидании.

- Что именно?

- Во-о-бще, - запинаясь, выговорил он.

- Вообще-то читал.

Он хмыкнул. Ему не терпелось, видимо, высказать что-то очень важное, быть может, наболевшее, а я, похоже, никак не подстраивался под его настроение и ход мыслей. Это его задевало.

С этим народом вообще надо быть осторожнее. Они за версту чуют фальшь, и если ты думаешь кого-то из них провести, то это их до глубины души задевает. Обиду они потом трогательно и долго несут в себе, как дети. А дети есть дети. Он и был одним из них. Только, кажется, из бесприютных...

- Вот кто народ по-настоящему понимал, - горестно выдавил он из себя. – Сострадал судьбе народа-то. Понимаешь?! Сострадал! Человек... Всё в нём было – и совесть, и боль. И тоска... Вот ты зачем землю топчешь?

- Не знаю ещё...

- И на том спасибо. Никто не знает. Но кто-то же должен знать?! Меня, может, этот самый вопрос и доконал. Я за спиной музыкалку имею... Когда-то на кларнете в заводском ансамбле играл, а вот теперь... - И он замолчал. – Руки не те стали. Но ты не жалея. Друзья у меня, и того... Я играл... - Он совсем сбился.

- Брось пить.

- Шабаш... Пробовал – не получается. А когда зальешься – всё как бы возвращается.

- Не надоело, значит, быть посмешищем?

- Ты же не смеёшься.

- Чего уж тут смешного, когда видишь, как жизнь уходит.

- Большинству на это наплевать.

- Иметь дело с алкашом – кому охота! Всё равно, что в долг без отдачи давать. И многим это не по душе.

- Браток, тут без этого не обойтись! Что, если этот алкаш судьбою обижен, а сволочью быть не желает?

- И правильно делает, что не желает. Ты-то что завёлся? Вот чего тебе недоставало?

- Долга этого без отдачи, я думаю, - хрипло бухнул вдруг он и зашёлся в рваном кашле.

Есть такой тип людей в нашем народе, что, не страдая особой предрасположенностью к алкоголизму, и не будучи обделённым в жизни чем-то значительным, в силу несовершенства природы или по какой-либо другой причине чувствует губительную неудовлетворённость собой и, не находя верного выхода, горько и надолго запивает, не теряя при этом

достаточного разума, который становится со временем только более изощрённым... По своему общему развитию этот тип может стоять не очень высоко, но воспринимает охватившую его безысходность ничуть не менее остро и неистово, нежели категория людей, относящаяся к так называемой интеллигенции.

Этот тип красиво талантлив в своём горе и, умудрённый нелёгкой судьбой, обострённо восприимчив к чужой беде. Обстоятельства по большей части складываются не в его пользу, и, несмотря на это, он по-настоящему стоек и чист. Этот тип страстно и искренне пытается добраться до правды и часто этого достигает, потому что, в противном случае, незнание это его замучает и погубит. Достав эту правду, он несёт её в себе, трепетно оберегая и не давая в обиду, и часто, сам о том не догадываясь, открывает глаза нуждающимся в ней людям.

Вот к этому типу как раз и принадлежал мой знакомый незнакомец. Кстати, я так и не узнал его имени. Люди, подобные ему, совершенно искренне считая всех родственными душами, при такого рода встречах обычно не интересуются твоим прозвищем и не представляются сами, не находя, очевидно, в этом необходимости.

Мне стало стыдно от своей неспособности помочь этому, несомненно хорошему, сердечному человеку. Стыдно и больно за то, что ему плохо и трудно жить. Сам не зная того, я помогал ему уже хотя бы тем, что слушал его, переживал и не без мук думал над теми же вопросами, пытаюсь найти ответ.

Неожиданно вдруг поймал себя на мысли, что называть его «болоньевым плащом» или просто мужиком уже не могу...

Всю ночь мы просидели в полумраке верхнего этажа зала ожидания, разговаривая и изредка выходя покурить и подышать свежим ночным воздухом. Он был очень оживлён и чувствовал себя, по всей видимости, хорошо: читал Тютчева, Пушкина... Очень любил, оказывается, Хемингуэя. Я подарил ему имеющуюся у меня фотографию любимого писателя с прищуром мудрых не смирившихся глаз и томик рассказов. Это его растрогало до слёз. Он попросил денег на вино и умчался в ночь. Больше я его не видел.

Но у меня не было на него обиды. Я не знал таких людей, но чувствовал их и, кажется, начинал понимать. На одной из своих дорог он вполне мог столкнуться с очередной неожиданностью и задержаться на неизвестный срок, чтобы доискаться, допонять, доболеть... Или неумолимая, не отстающая ни на шаг несправедливость могла ударить его в висок своим тяжёлым обухом. С такими людьми, как он, могло случиться всё, что угодно, и про себя я пожелал ему того, о чём ещё совсем недавно просили меня самого.

Дорога и длительное ожидание рейса порядком измотали меня, а потому, добравшись до свободного кресла в самом хвосте самолёта, я тотчас провалился в глубокий сон. Пребывая весь полутора часовой перелёт в приятном забытии, я не увидел, как зарождается здесь, на востоке, новый день и как красив в лучах восходящего солнца бирюзовый Татарский пролив, отделяющий остров от материка. Мне суждено было увидеть это позже.

Усталость была так велика, что я даже не услышал, как самолёт совершил посадку. Пассажиры покинули свои места, а я продолжал спать. В нагретом воздухе салона мягко-мягко роились золотистые пылинки. Тёплые утренние лучи осторожно скользили по белым кресельным чехлам. Было тихо, и в этой тишине я улетал в неведомую даль, на самом деле очутившись в непосредственной от неё близости. Всего этого я, конечно, не видел, но полёт всё-таки был сладок, и ощущение его ещё долго жило во мне. К действительности меня вернула стюардесса.

Искристый иней, ровным ворсом устилающий бетонные плиты взлётной полосы, сочно переливался на солнце и, отражаясь серебром, весело похрустывал под ногами. Морозный воздух радостно бодрил, и сердце сжималось от предвкушения близкой неизвестности. Мне почему-то казалось, что море должно находиться где-то рядом, и я пытался определить – в какой именно стороне. Но это было нелегко.

Выйдя к аэровокзалу, я без труда разузнал, каким образом можно добраться до небольшого приморского городка Корсакова. До моря, оказывается, оставалось ещё около сорока километров...

Маленькая оранжевая будочка автостоянки в этот ранний час пустовала. Грузные и неповоротливые автобусы уныло застыли в ожидании редких утренних пассажиров. Я оказался одним из них.

Всё окружающее после резкой перемены казалось очень необычным. По обе стороны дороги простирались ровные низины, поросшие жёлтой выцветшей травой, из которой, выгибаясь выпуклой голубизной, рвалось неудержимо ввысь лёгкое безоблачное небо. Крепко сбитые приземистые сосны стремительно распластали над землёй причудливые ветви. Извиваясь, они тянулись по всему стволу в какую-нибудь одну сторону, что объяснялось особенностями здешнего климата. Сосны были совсем не похожи на наши длинные и стройные деревья с величественными купами у самых верхушек. Но в этой видимой корявости, если приглядеться, было заключено своеобразное звучание смелых, открытых ветров.

Редкие островки лиственниц, уже подёрнутых осенью, слегка оживляли вид нежно-бурыми расплывчатыми мазками. В стелющейся над землёй лёгкой дымке тянулась с севера на юг серо-маслянистая, укатанная лента дороги. Этим ранним утром я стоял на её обочине и смотрел на расположенные невдалеке горы, заслонившие горизонт с востока. Солнце только поднималось, и горы, погружённые в прохладную тень, казались

отсюда голубыми слонами, медленно бредущими в утреннем мареве к реке на водопой...

Время в пути летит незаметно, если за окном проплывает незнакомый пейзаж, и ты с минуты на минуту ждёшь встречи с морем. Манящая синева его изредка взлетает из-за сопки, сливаясь с небом, и вновь исчезает. Море, даже не видимое ещё, привносит какой-то особенный оттенок в окружающую природу. Ничего как будто не происходит, но чувствуешь неуловимые перемены.

Может быть, воздух становится каким-то иным, может, небо голубеет или ветер приносит будоражащие душу запахи, не знаю, но, определённо, море, даже на значительном расстоянии, удивительным образом воздействуют на тебя, вызывая в душе неизгладимые эмоции.

Состояние это ни с чем несравнимо. Особенно ярко оно при самой первой встрече. Постоянное общение с морем в дальнейшем постепенно сотрёт обострённое чувство близости, но первое для себя открытие этого поразительного мира останется в сердце на всю жизнь.

Где бы ты ни был потом, куда бы не занесла тебя судьба, ты всегда будешь помнить и нести в себе эту неразделимую связь с морем. Наверное, сама природа говорит во всех нас, когда мы, зачарованные, стоим в молчании перед своим создателем, не в силах что-либо объяснить.

И вот, когда, наконец, автобус вынырнул из-за поворота и взору открылись широкая лазурная бухта с многочисленными судами на рейде, изломанный берег, подчёркнутый в далёкой необъятной сини двумя расходящимися линиями полуостровов, долгоязыкие птицеобразные «гансы», возвышающиеся в шумном, затиснутом морем и сопками порту, то у меня глухо защемило сердце. Кажется, мечта начинала приобретать реальные черты.

«Шмоньку» в городе знали все. Было только неизвестно – кто и когда дал ей такое не совсем приглядное прозвище, которое со временем укрепилось, чётко выражая существующее среди местного населения, может быть, и не до конца справедливое, но довольно точное к ней отношение. Точное потому, что семья не без уроды – не семья, и на эту классическую жизненную ситуацию другие семьи никак не могут закрыть глаза. Чужая беда в их нездоровом понимании приобретает невероятно огромные размеры, затмевая при этом их собственные неприятности.

Нельзя, конечно, обвинять в отсутствии трезвого взгляда на вещи всех жителей городка поголовно, но не признать известной доли попугайства некоторой части горожан было бы непозволительно. Обидно было ещё и то, что прозвище это произвольно переходило на всех курсантов, и становились они при поступлении в школу вроде бы как и не курсантами вовсе, а «шманцами».

Каждый год молодые, мечтающие о море ребята покидали стены мореходки, уступая место тем, кто приезжал со всех концов страны испытать свою судьбу, а это прочно прилепившееся несуразное прозвище оставалось неизменным. К нему как-то привыкли, старались не обращать внимания, и это было плохо. Чтобы значительно поколебать устоявшееся в городе мнение в отношении мореходки, требовалось второе её рождение, но идея его ещё, по-видимому, не созрела.

Солнце неудержимо и плавно поднималось из-за голубых сопок. Сильно припекало. Я стоял на остановке и смотрел вверх, туда, где розовело, поблескивая оконными стёклами, пятиэтажное общежитие школы. В своём воображении я рисовал его себе немножко иначе и, честно говоря, был несколько разочарован. Но тотчас прогнал это первое впечатление и стал подниматься наверх.

На небольшой площадке перед входом раздетые по пояс курсанты весело гоняли футбольный мяч. Настежь распахнутые на всех этажах окна светились не успевшими загореть за лето спинами. Было воскресенье.

У проходной, в тени, на шатком низеньком стульчике сидел дежурный по школе офицер с бело-голубой повязкой на рукаве и читал. Он недовольно оторвался от книги, и, бросив равнодушный взгляд в мою сторону, попросил документы. Полистав их, он кивнул головой и окликнул по фамилии одного из курсантов:

- Дневальный, проводи-ка вновь прибывшего!

Запыхавшийся от беспорядочной беготни, небольшого роста шустрый паренёк в застиранной голубой робе с выцветшим гюйсом повёл меня по длинному тёмному коридору. Шаги гулко отдавались в пустынных стенах. Не отапливаемые комнаты с битым стеклом на полу и разобранными железными койками, в жалком ожидании своих очередных хозяев, наводили тихую тоску.

- Невесело у вас тут, - в задумчивости проговорил я.

Курсант ничего не ответил. Остановившись у широкой облупленной двери, он указал на неё рукой и побежал обратно к выходу. Я проводил его взглядом и, когда шаги стихли, толкнул ногой дверь.

Просторная комната наполовину была завалена старыми ученическими столами, скамейками и ржавыми спинками от коек. В другой её части, свободной от всякого хлама, громоздились длинный, белого цвета стол и несколько мало-мальски заправленных деревянных кроватей. Было здесь зябко и неудобно, в то время как на улице всюду светило солнце.

Стояли первые дни октября. Листья, хотя уже и подёрнулись красками осени, ещё цепко держались на ветвях. Те же листья, что уже облетели, медленно свернулись в просящие маленькие ладошечки, хрупкие и нежные, как у детей. Они тоже требовали к себе внимания. В этой изящной просьбе была заключена осенняя поэзия.

Хорошо пройти ранним утром по заиндевелой, искрящейся в первых лучах аллее, с радостью ощущая каждую клеточку своего тела, молодость и

жадное желание жить. Несмотря на крепкие туманы, воздух по утрам в такую пору бывает чист, сочно алеют переспелые гроздья подмороженной рябины, лёгкий ветерок с залива доносит свежие запахи, напоминающие о близости моря. Хочется осуществить что-нибудь большое, полезное, а сознание того, что всё впереди, делает тебя счастливым и сильным.

День обещал быть солнечным и тёплым. Не предвещая ничего дурного, он словно приглашал к более близкому знакомству, и мне не хотелось отказывать себе в этом удовольствии. Такой день наступает всегда, если ты не опустил руки в беде, и именно в такой день приходит уверенность в своих силах. Так устроен мир, в котором приливы всегда чередуются с отливами, и порой смена эта, вопреки самым доподлинным сводкам, происходит неожиданно быстро и часто, подтверждая в который раз непрерывную изменчивость и многообразие жизни.

Надо заметить, что большинство городов Сахалина, в отличие от материка, имеют совершенно разнообразные черты, неповторимость которых можно объяснить географическим расположением и особенностями рельефа острова, а также бывшим длительным присутствием на нём японцев, оставивших после себя долгую память. Выражена она в многочисленных сооружениях и постройках, начиная от простых хибар-фанз, образующих целые кварталы причудливых восточных пагод с черепичными крышами, крепких основательных домов, и кончая мощно укрепленными бетонными дзотами и ангарами для самолётов, используемых в последней войне.

Память о японцах живёт в лысых сопках, когда-то покрытых буйным лесом, начисто выжженным и вырубленным на всём юге от мыса Крильон до мыса Анива в первой половине прошлого столетия. И ещё в большом количестве проживающих здесь корейцев, которые остались после войны и пустили корни на этой земле. На Сахалин они попали благодаря японцам, использовавшим их в качестве черноработного люда. Многие из них даже не имели советского подданства, но это не мешало им возделывать упрямую сахалинскую почву, получая необходимые для существования средства.

Основной контингент торговцев овощами на базаре составляют именно корейцы, законно обладающие пальмой первенства в этой области, чем порядком порой злоупотребляют. Наибольшим спросом пользуются общепризнанные местным населением блюда-деликатесы – чимча, мочёный папоротник, тушёный трепанг, который корейцы со вкусом продают в аккуратных пакетиках или прямо на маленьких блюдцах, без возврата. Гарантированному качеству товаров соответствует и умопомрачительная цена, которую, наверное, в некоторой степени можно оправдать нелёгким трудом на малопродуктивной почве.

Кремовые улыбочивые лица корейцев хитры и притворно равнодушны, а узкие щелочки их глаз необычайно прозорливы. Корейцы не так просты, какими кажутся на первый взгляд. Я наблюдал не раз, как они переговариваются между собой и как, чуть растягивая и быстро обрывая русские слова, зазывают, предлагая свои товары: мне показалось, что они

терпят нас только как необходимый для себя рынок сбыта, сами не сознавая при этом своей ограниченности.

Нелёгкая жизнь под пятой китайцев и японцев, суровые климатические условия приучили стариков к постоянному трудолюбию и выносливости, чего не всегда можно сказать о молодом поколении, с лихостью и беззаботностью проматывающем заработанное родителями. Собственную обделённость в прошлом старики с успехом возмещают, балуя детей, и тем немилосердно калеча их молодые души. За лёгкость и вседозволенность, сопровождающие их жизнь, молодых корейцев на Сахалине за глаза прозвали «французами». Местные жители, видимо, твёрдо убеждены, что французам живётся легко и вольготно.

Корейцы, вообще, народ практичный, до максимума использующий всё, что им за просто так дарит бездонная сахалинская кладовая. Мне часто приходилось наблюдать, как соблазнительными бурыми копнами громоздились по островным берегам груды сочной морской капусты – ламинарии, терпеливо ожидая добротной хозяйской руки, и она незамедлительно появлялась в лице неумолимого корейца с рюкзаком, тележкой и дружной оравой своей родни. Интересно, думал я, если корейцы веруют, то благодарят ли за щедрость море, дарами которого пользуются?

У И. А. Гончарова есть замечание о корейцах, в котором он утверждает, что они «отличаются лукавством, леностью, упрямством и не любят усилий», так вот проработав на Сахалине много лет, и зная корейцев, даже имея друзей среди них, могу подтвердить замечание И. А. Гончарова лишь в первой его части – «лукавством», да и то отчасти.

Далее он замечает о том, что в них нет тщательности, терпения и порядка, поля их лишь отчасти засеяны пшеницей и ячменём, и больше они вызывают впечатление бедности и печали. Мол, корейцы способны только собирать и мочить морскую капусту, выбрасываемую приливом, а так же ракушки и трепанг, который они сушат.

Да, корейцы не упускают возможности использовать то, что дарит им море, кстати, не в пример многим русским, которые в этом отношении совершенно бесшабашны, но они, как я сам убедился, и прекрасно, со старанием возделывают землю, выращивая в неблагоприятном климате овощи и цветы.

Может быть, я согласен с И. А. Гончаровым в том, что корейцы грубее видом и приёмами поведения, нежели японцы, но этому следует искать объяснение в их нелёгкой национальной судьбе. У того же Гончарова я вычитал, что корейцы называют себя, или страну свою, Чассин или Чаусин, а название Корея принадлежит одной из их старинных династий, которая, не имея довольно силы бороться за свою судьбу, предпочла добровольно подчиниться китайской державе. Китайцы то делали Корею своей областью, то восстанавливали её самостоятельность. А когда на Китай в пятом веке хлынули монголы, корейцы покорились и им. Впрочем, иногда они вдруг находили силы отделяться, настаивая на своей самостоятельности, но

ненадолго: китайцы вновь их покоряли или корейцы сами просили взять над ними опеку.

За это признание старшинства Китая китайцы наделили корейцев многими знаниями: отчасти – языком, кое-какими секретами своих известных изделий и искусством. К тому же, корейцев не балует климат, когда сильные холода зимой и жар летом приносят бесплодие и бедность. Вдобавок рельеф страны – гористый, повсюду видны громады пиков, один другого выше, а территория близкая к морю низменна, песчана и пустынна. Природная скудость, отчасти, может быть и породила большую тягость к собирательству и рыбной ловле.

В силу всех этих причин корейцы не могут похвастаться изысканными манерами и вкрадчивостью, как японцы, они может быть не так смышлѐны в сравнении с китайцами, но зато здоровы и крепки, не гнушаются самого тяжѐлого труда и, наверное, поэтому попадали нередко в рабство к тем же японцам...

Но как бы ни были своеобразны корейцы, они не новость для тех, кто живѐт с ними бок о бок уже много лет. Как это происходит на Сахалине, где почти треть населения острова - корейцы. И хоть они усвоили для себя моральную сторону труда, которому уделяют большую часть своего времени, после более-менее тесного соседства уже не заинтересуешься чем-либо другим в образе их жизни. Разве что тебя привлечѐт корейская кухня...

Правда, одну особенность я отмечал у корейцев всегда: это – правдивость и искренность в выражении своих мыслей и чувств. В этом они так же просты, как и в своём отношении к труду. А что ещё надобно, спросите вы, и будете, наверное, правы. Действительно, чего же ещё не достаѐт трудолюбивому и правдивому народу, пусть немного замкнутому и лукавому, к тому же хорошо умеющему готовить?

Есть в корейцах, в отличие от китайцев и японцев, какая-то удивительная природная простота. Они как будто не научены достаточно опытом совместной жизни с другими нациями, не накопили в этом знаний, определяющих дальновидную политику во внешней жизни, хотя и повидали немало. Им приходилось много терпеть, сдерживать себя в силу определённых условий, и они постепенно выработали естественную сдержанность, которая никому никогда не навязывалась, и без которой невозможно обойтись. Корейцы как будто не переступили в себе какой-то черты, которая бы, несомненно, связала их с более развитой жизнью, но и не переступив – сохранили природную чистоту и детскую ясность восприятия окружающего мира. Они задержались на этой границе, не в силах решить – что им лучше подходит, но и не очень переживают по этому поводу. Корейцы, несомненно, одна из самых примечательных особенностей Сахалина, который, при всей своей суровости климата, прослыл и у местного населения и у приезжих «Островом сокровищ».

Судьба большинства сахалинских приморских городов – ютиться на довольно-таки узкой полоске земли, с одной стороны – омываемой морем, с

другой – сжатой сопками. Имея одну-единственную улицу, они обычно вытянуты вдоль побережья или укромно залегают в распадке.

Город Корсаков, с которого я начал своё знакомство с Сахалином, - главные ворота острова с весны до осени, кроме зимы, когда первенствующая роль по встрече гостей с моря отводится незамерзающему Холмску. Айны, исконные жители Сахалина, называли Корсаков – «Томари», что означает «гавань». Японцы же прибавили к этому слову своё прилагательное «О» - «большой», и получилось – «Отомари» - «Большая гавань». И в самом деле: Корсаков так расположен, что именно с него начинается, как правило, знакомство с островом. По крайней мере, так происходило раньше, во времена, когда на острове побывал Антон Павлович Чехов...

Корсаковым город был назван в сороковые послевоенные годы позапрошлого столетия в честь известного русского гидрографа, брата композитора Римского-Корсакова, и раскинулся на берегу бухты Лососей, входящей в залив Анива, воды которого омывают всю южную оконечность острова от мыса Крильон до мыса Анива. Эта южная оконечность Сахалина напоминает чем-то голову красивого боевого быка с мощными рогами-полуостровами, которую уже традиционно, как в литературе, так и в народе, принято называть «стерляжьим хвостом», оттого что сам остров очень схож с изображением рыбы.

Большая часть города, более спокойная и тихая, расположена в глубокой пади, которая, спускаясь пологой террасой к берегу, внезапно расступается у самого моря раздвоенной линией, напоминающей торопливый взмах крыльев сорвавшейся в воздух чайки. Чайка эта, будто в оправдание вынужденной застойной сдержанности своей глубинки, выплескивает весёлое и шумное оживление к району, который составляет суть небольшого городка, живущего морем.

Лобное место его – район Пяти углов. Такое название можно встретить в любом приморском городе, и объясняется столь широкое его распространение, по-видимому, непременным наличием беспорядочно гуляющих по оживлённому пятаку ветров, без которых невозможно представить себе Сахалин.

В поисках пятого угла неприкаянно бродят в этом замкнутом пятиугольнике списанные на берег и не находящие себе применения легендарные бичмены, в некотором роде также составляющие своеобразную достопримечательность острова. Суда приходят и уходят, а бичи остаются на неизвестный срок и, бесконечно дефилируя у всех на виду, в какой-то степени, вероятно, влияют на наименование неугомонного центра жизни.

Здесь можно встретить кого угодно: в свеженьких джинсах, только что пришедшие из долгого заграничного путешествия оживлённые компании молодых парней, с непривычки ещё как-то неуверенно ступающих по суше; строгих и подтянутых морских офицеров с гордо поблескивающими на боку кортиками; умело использующих живой людской поток старух-корейнок,

суеющихся в нём со своими детскими колясками, предприимчиво приспособленными под перевоз и хранение гладиолусов; приехавших на путину с материка и почтительно растерянных перед необычным колоритом разношёрстного портового городишка студентов стройотрядов; разного рода затрапезную публику, со знанием дела, без суеты, толкующуюся у пивных ларьков... При довольно-таки однообразной и скудной застроенности, город был интересен именно своей людской многоликостью, в которую и я тоже вносил свою лепту.

Не по-осеннему горячо припекало солнце. В воздухе стояла бодрящая весенняя свежесть. Терпкие запахи выброшенных в прилив водорослей, просмоленной каболки, маслянистого топлива на бортах судов резко ударили в нос, вызывая непроизвольные слёзы. Все переполняющие душу чувства требовали незамедлительного выхода.

Мудрое племя аборигенов, наученное опытом столкновения с европейцами, не зря утверждало, что судно, доставившее библию, доставило и ром, а потому создавшееся перенасыщение впечатлениями решено было, поудобнее устроившись в каком-нибудь тихом уголке порта, ликвидировать глотком-другим перцовки, в обилии представляющей нехитрый ассортимент вин на прилавках близлежащего магазина.

Выбрав подходящее место на одном из старых причалов, я уселся у самой воды на нагретые солнцем камни и стал наблюдать, как сухощавый старик удит рыбу. Каждые две-три минуты старик вытаскивал небольшую наважку и, сняв её с крючка, равнодушно бросал в тонкий фанерный ящик из-под импортных томатов. Затем он ловко отрезал ножом мясистый кусочек от какой-нибудь рыбины, аккуратно насаживал его на крючок и вновь забрасывал наживку под самый причал.

На дне ящика блестели жёлтенькими спинками десятка два рыбёшек. Судя по безразличному виду старика можно было заключить, что рыбалка не доставляет ему особого удовольствия, а лишь скрашивает существование. Время для него, наверное, тянулось томительно медленно, и ловля рыбы частично разведала невесёлые старческие думы.

В потёртом, кургузом плаще, сгорбившись и опершись локтями о коленки, он сидел на старом кнехте и, смакуя одну папиросу за другой, молча глядел на воду.

Солнечное тепло от нагретого драпа пальто равномерно растекалось по телу, погружая в приятную мечтательную сонливость. Отхлёбывая время от времени пахучую сочную жидкость, я заморожено глядел в искрящуюся светлыми солнечными бликами невесомую даль, думая о том, что она принесёт мне в будущем, быть может, перевернув при этом всю жизнь.

По водной сини тянулись муаровые разводы отработанного топлива. Они были незначительны: море поглощало их своей необъятной чистотой. Сны, кажется, сбывались: тёплая волна мягко укачивала взор, любовно нашёптывая сказки бездонных далей и глубин. Близость моря была ощутима

– можно потрогать рукой, утонуть взглядом в бескрайней синеве, почувствовать на губах многовековую соль...

Всё было так и не так, и, казалось, главного вовек не сказать, несмотря на собственный неукротимый нрав и желание видеть всё глубоко и далеко. Ведь опостылевшая монотонность часто оборачивается захватывающим многообразием, а то заветное, что непреодолимо влечёт, подпуская достаточно близко, порой неудержимо ускользает мягкой бесшумной волной, оставляя в щемящем неведении. Эта неизвестность и ожидание того, что стоит за ней, возможно, оказываются порой даже губительны, но остановиться в поисках истины уже нет сил.

«Море! Я и тебе отдаюсь – вижу, чего ты хочешь, - тихо шепчу я в такт плещущейся о камни воде стихи Уитмена, у которого хватало любви и мужества во всеуслышание восхищаться миром. – С берега я разглядел, как манят меня твои призывные пальцы. Я верю, ты не захочешь отхлынуть, пока не обнимешь меня, идём же вдвоём, я разделся, поскорее уведи меня прочь от земли, мягко стели мне постель, укачай меня дремотой своей зыби, облей меня любовною влагой, я могу отплатить тебе тем же».

- Почему море синее, не знаешь? – повернувшись вполборота, неожиданно спрашивает с улыбкой старик.

- Солнце тому виной, - отвечаю я со знанием дела, потому как перед отъездом перевернул ворох литературы, в которой хотя бы отдалённо упоминалось слово «море». – Синие лучи – самые короткие в солнечном спектре и первыми рассеиваются над водой.

Дед переваривает почерпнутую информацию. По его лицу трудно определить, что за мысли возникают у него в голове, только непрестаннодвигающиеся морщинки на лбу свидетельствуют о происходящей в тайниках его пытливого мозга работе.

- Значит, на самом деле вода не синяя, - после недолгого молчания вопрошающе размышляет интересующийся старик. Какая же она тогда?

- Свинцовая, - отвечаю. – Как в дремучий пасмурный день.

Дед хихикает. Ему занятно внимать моей болтовне.

- Гм-м, понятно, - с глубоким удовлетворением произносит мой новоиспечённый и любознательный друг. – А соли чего там так много – можешь сказать?

Соляной вопрос, очевидно, также не даёт старику покоя. Дед не желает чувствовать себя обделённым в век научно-технической революции. Он при всякой подвернувшейся возможности устремляется к знаниям.

- Это происходит за счёт выщелачивания твёрдых пород земной коры и выпадения соли из водяных паров атмосферы, - в полной форме докладываю я ему со всей серьёзностью. – Ну и органические останки разного морского зверя тут, значит, роль играют, но более всего – выбросы во время подводных вулканических извержений...

Дед смачно крикает и выглядит при этом немного растерянным.

- Кто такой будешь? – после продолжительной паузы сдержанно осведомляется он.

- В мореходку поступать приехал, дедушка, - почтительно отвечаю я и протягиваю ему бутылку.

- Благодарствую. Я своё, поди, отгулял уже. Издалече, стало быть, приехал-то?

- С самого Урала, - торжественно провозглашаю я.

- Вона как, - с нескрываемым удивлением подытоживает дед. – Надо же... Бывал я там перед самой войной.

- Дед, какое оно – море, знаешь?

- А кто его разберёт. Всю жизнь рядом с ним прожил, а так и не привелось побывать там. – И он неопределённо мотнул головой. – Я тебе вот что, сынок, скажу. Пока сам не попробуешь солёной водицы, никто тебе не поможет. Выучишься, и плавай себе на здоровье!

- Ждать долго.

- Больно прыток, как я погляжу. Без ентого, парень, никак теперича невозможно, без науки-то. Заруби это, тэк сказать, того!

Всё это я знал не хуже деда, но поделать с собой ничего не мог. Что-то в глубине души заставляло меня спешить, и ждать у моря погоды было не в моих планах.

Посидев ещё немного и распрощавшись со стариком, я отправился в пивную, расположенную у Пяти углов, на вершине неприметно возвышающейся над морем сопки, с соответствующим названием «Маяк». Двери забегаловки, наскоро сколоченные из неструганых досок и выкрашенные в цвет бледной поволоки над предштормовым морем, были гостеприимно распахнуты. Прямо над входом красовался пробковый спасательный круг с жирно выведенной красной краской надписью, подтверждающей наименование заведения.

Был час пик, а помещение пустовало. Обозримое со всех сторон, это злачное место лежало почти на перекрёстке путей-дорог всего забулдыжного люда, и тишина в его стенах не укладывалась ни в какие рамки.

Внутренний интерьер помещения, если его можно было так назвать, был выполнен в несколько неожиданной манере, свидетельствующей о непреодолимой склонности автора к разудалой морской жизни. Прямо над стойкой висела подёрнутая временем внушительных размеров рында с какого-то шведского судна, бог весть когда затонувшего у здешних берегов. .Вдоль двух боковых стен были развешаны порядком излохмаченные и выцветшие крупноячеистые рыболовные сети, а на третьей красовался намалёванный жёлтой краской осьминог, каждое щупальце которого сжимало кружку пенящегося пива. Ещё полдюжины ободранных спасательных кругов со всех сторон напоминали посетителям о том, в какой «райский» уголок завела их судьба. Окружающая обстановка не на шутку располагала к безудержному пьянству.

Заросший густой чёрной щетиной грузин в белой накрахмаленной куртке со скучающим видом стоял, облокотившись о стойку, тоскливо взирая на входную дверь. Велико стремление представителей вышеупомянутой национальности приобрести свой личный автомобиль, если они, преодолев нелёгкий путь через всю нашу необъятную страну, решаются пустить корни на столь далёкой чужбине. Этот кацо был одним из таких героев.

Как только я вошёл в пивную, он вяло оторвался от стойки и, подойдя к латунному крану, не глядя на меня, стал наливать пиво.

- День добрый, - сказал я и показал ему два пальца. – Что грустим, генацвале?

Кацо посмотрел на меня своими глубокими, грустными глазами и только кивнул головой.

- По родине тоскуешь, да?

- Э-э, откуда знаешь, что думаю? – удивлённо вскинув густые чёрные брови, вопрошающе проговорил кацо. – Насквозь видишь, да?

Сочные ломтики свежесолёной горбуши лакомо розовели в большом эмалированном тазу. Взяв пару кусков, я отошёл к столику.

- Эй, шаман, послушай, - обратился кацо ко мне, в нетерпении перевалившись через стойку. – Что ждёт – сказать можешь?

Меня всегда как-то трогала присущая сравнительно молодому поколению этого народа открытая детская наивность, соседствующая с благородной мудростью стариков. Было в этом чистом и с виду глуповатом откровении что-то очень привлекательное.

- Счастья много ждёт и удача большая.

Уже через минуту передо мной оказались ещё две кружки холодного пива и бутерброды с икрой. Генацвале угощал, подтверждая тем самым распространённость грузинского гостеприимства и радушия. Отказаться – значило обидеть.

Разделавшись кое-как с пивом, я вышел на улицу. Постоял некоторое время, любясь закатом, и по старой, наезженной, в глубоких колеях дороге стал медленно спускаться с сопки. Огромный алый сноп громоздился уже на западе, стремительно утопая за горизонтом. Синевато-розовые отсветы ровно озаряли небо над морем. Море было спокойно и величественно.

Предшествующая береговому бризу тишина мягко повисла в воздухе и томила неизъяснимым чувством сопричастности всему, что происходило вокруг. Вместе с выпитым она порождала в душе неудержимое и искреннее восхищение этим миром, которое требовало заявить о своём существовании не иначе, как во всеуслышание.

- Пешком, с лёгким сердцем, выхожу на большую дорогу, - громогласно воскликнул я. – Я здоров и свободен, весь мир передо мною, эта длинная бурая тропа ведёт меня, куда я хочу. Отныне я не требую счастья, я сам своё счастье, отныне я больше не хнычу, ничего не оставляю на завтра и ни в чём не знаю нужды. Болезни, попреки, придирки и книги оставлены дома. Сильный и радостный, я шагаю по большой дороге вперёд. Земля –

разве этого мало? Мне не нужно, чтобы звёзды светились хоть чуточку ниже, я знаю, им и там хорошо, где сейчас, я знаю, их довольно для тех, кто и сам из звёздных миров...

И тут позади глухо взвизгнули тормоза, и меня обдало облачком сухой холодной пыли, смешанной с запахом бензина. Это была непонятная навязчивая тень, которая всю жизнь коварно бродит за тобой по пятам, то появляясь, то исчезая, но всегда безжалостно и неожиданно выбирая момент для нападения исподтишка. Победить её было почти невозможно, если только не обратить в дальнейшем на пользу. Но о пользе я тогда ещё не думал, потому что было просто не до этого.

Строгие лица, подобные грозным ликам на иконах, взирая откуда-то сверху, поинтересовались: что это я во всеуслышание толкую по поводу выхода на большую дорогу?

Неуравновешенность делает человека уязвимым. Эта истина дошла до меня тотчас, как только на три слова сержанта я ответил десятую. Тяжёлая, обитая хромированной жёстью дверца небезызвестного всем фургона гостеприимно распахнулась, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. Не желая осложнять обстановку, я решил выяснить недоразумение на месте, искренне полагая, что это удастся. Не драться же с представителями законной власти, пусть даже Уитмен был замечательным парнем.

Интересно всё-таки, как повёл бы себя великий американский поэт в подобной ситуации, - ещё успел подумать я в последний момент. Ведь для него, наверное, такое поведение было вполне естественным.

В фургоне было не продохнуть от табачного дыма и застойного перегара. На жёсткие скамейки вдоль стен, до отказа забитые полувменяемой публикой, пристроиться не представлялось возможным. Если неожиданный захват блюстителями закона моментально выбил незначительные остатки алкоголя из моего сознания, то, усевшись на голый повыщербленный пол этой захудалой, повидавшей виды будки и пропустив через себя все городские ухабы, я прибыл к месту назначения уже с чистотой и трезвостью венецианского стекла.

Сквозь малюсенькое зарешёченное окошко было видно, как солнце уже почти совсем скрылось за горизонт. Конечно, ничто не могло отнять у меня того, что принёс с собой этот незабываемый осенний день, но оранжевый краешек солнца неудержимо ускользал, и с ним бесповоротно исчезало утраченное настроение. А потом стало совсем темно и холодно.

В предбаннике вытрезителя царило оживление. Полным ходом шла непрекращающаяся приёмка тех, кто своим поведением в этот вечер мог запятнать честь родного городка. Приёмкой заведовал небольшого роста, широкоскулый смуглый капитан, по лицу которого трудно было определить, как он отреагирует на причину моего здесь пребывания.

Рядом с ним сидел молчаливый старлей, который неотрывно что-то записывал в журнал. В комнате стоял невероятный гвалт, и я предполагал, что объясниться в подобных условиях вряд ли представится возможным.

Прямо напротив капитана, на полусломанном скрипучем стуле, восседал со свежезабинтованной головой вёрткий сухощавый мужик. Он ещё не отошёл достаточно от хмеля, а недавно минувшие и, по-видимому, бурные события окончательно перевернули всю его истерзанную душу, частично наложив отпечаток и на сознание. Он уже десять минут туманил мозги капитану и никак не мог вразумительно объяснить причину своих страданий. Считая себя жертвой жестокой несправедливости, мужик жалобно канючил, и только повторял: «Э-эт, начальник!»

- Что у тебя с башкой-то? – ежеминутно спрашивал у него вконец измотанный капитан.

- Э-эт, портвейн ... золотистый, бы-ыл... Нуль-во-о-семь...

- Я спрашиваю – с башкой что? – еле сдерживая себя, настаивал не на шутку взвинченный капитан.

- Э-эт, значить, семьдесят семь... осколков. Сосед... Ию-у-да, - с жалобой в голосе протянул мужик и указал трясущимся пальцем на уже разоблачённого, с головы до пят в сизых наколках, лысого здоровяка, проявившего себя в будке-фургончике лихим и ничего не боящимся мужчиной.

- Кто таков? – строго проговорил капитан.

Лысый, страшно поведя глазами и вызывающе-мутным взором оглядев окружающих, набычился и произнёс сакраментальную фразу: «Я – Котовский!»

Он был достаточно возбуждён алкоголем, чтобы до конца насладиться своим беспутством. Лихому атаману тут же было предложено занять пустующую камеру, из которой потом ещё долго доносились будоражащие неукротимую душу всякого мало-мальски преданного своему делу кавалериста возгласы, призывающие немедленно оседлать боевых коней.

Я вдруг забыл о своих бедах и подумал об этих людях, чумных больше не от вина, а от откровенной растерянности перед жизнью и отсутствия какой-либо помощи со стороны. То, что они оказались сейчас здесь, было закономерно и в некоторой степени необходимо для их же пользы. Но, отрезвив за ночь сознание, их выпускали отсюда всё же с замутнёнными, не разобравшимися ни в чём душами, прояснить которые могло, опять же по их нехитрому разумению, только вино.

- Сила вина несказанна! – глядя вслед лысому и разводя руками, воскликнул обескураженный капитан.

Очередь была за мной.

- Этот за что сюда? – кивнув в мою сторону и устало перелистывая очередную страницу журнала, спросил он. – Что натворил? Вроде тверёзый... Ну-ка, старшина, проверь, - обратился он к толстяку в застиранном до желтизны халате.

- Да выпил я, никто не отказывается, но...

- В чём дело, сержант? – не обращая на мои слова внимания, быстро спросил капитан, глянув на высокого, как жердь, сутулого сержанта, у которого рукава кителя еле доставали до широких костистых запястий. Большие красные руки, как плети, свисали вдоль нескладного туловища, ещё более подчёркивая несуразность огромного роста сержанта. Я, не отрываясь, смотрел на тяжёлые, налившиеся кисти его рук, не в состоянии почему-то отвести взгляд.

- Нарушал покой родного города, - словно старая медная труба, проскрипел сержант с высоты своего несусветного роста. – Декламировал стихи какого-то...

- Уитмена, - чётко произнёс я имя поэта, не задумываясь ещё тогда над тем, почему оно совершенно безразлично сержанту. Равнодушие его меня здорово задевало.

Капитан, откинувшись в кресле, расплылся в улыбке.

- А-а, иностранец, - сказал он.

- Так точно, иностранец, - прогремыхла откуда-то сверху труба иерихона. – Непозволительно громко выражал восторг.

Я с негодованием устремил взгляд вверх, но, опомнившись, тотчас взял себя в руки. Хотелось навзрыд заголосить одиноким, изгнанным из стаи волком о своей несчастной судьбе в этих ненавистных стенах, из которых, я знал, мне уже не выбраться до утра.

- Ба, путешественник... Чуешь! – лениво листая мои документы, обратился капитан к до сих пор не проронившему ни слова старлею. – Куда лыжи наострил, касатик?!

- В мореходную школу вашу, - еле выдавил я из себя.

- Шманец, значить, поздравляю! – почему-то весело заключил капитан и толкнул в бок рядом сидящего старлея. Тот наконец-то оторвался от своей писанины, и по тому, как он посмотрел на меня, можно было догадаться, какого мнения здесь о курсантах вышеупомянутого учебного заведения.

- Что употреблял? – въедливо допытывался капитан.

- Две бутылки «Мизандари», - ни с того ни сего бухнул я, словно душа моя безудержно тосковала по хорошему вину.

Капитан поднял от стола голову и, с удивлением воззрившись, озабоченно спросил:

- Хорошее вино?

- Какая разница, простите, что я пил – денатурат или простоквашу, - не в меру горячась, выпалил я. – Никому от этого плохо не было. И я здесь, считаю, по чистому недоразумению. Стихи на улице читать никем не воспрещено и выражать свой собственный восторг тоже. Поэтому прошу меня освободить сейчас же.

- Егоров, - спокойно проговорил капитан, - проводи вот этого товарища в одноместный номер. Пусть остынет.

Неизвестно откуда взявшийся Егоров любезно предложил разоблачаться.

Я не помню, как меня тогда трясло и трясло ли вообще. Мне было не смешно и пусто. Делать глупости у меня не было никакого желания по причине усталости и безысходности в борьбе с непреклонными блюстителями порядка. Я даже не чувствовал себя несчастным или глубоко обиженным на кого-то. Я трезво и безразлично воспринимал действительность и желал лишь одного: чтобы меня оставили в покое.

Но в окружающей обстановке трудно было остаться до конца безразличным: оба соседа за стенкой требовали самого пристального к себе внимания, выявляя по этому поводу бурный протест повинным во всех их бедах неведомым силам, а в общей камере напротив творилось вавилонское столпотворение – непрекращающийся гул, вопли и ежеминутное бряканье обитой железом двери, которая впускала всё новую и новую клиентуру, доставляемую с разных концов города.

Публика эта была полна желания использовать все доступные способы и возможности, чтобы хоть частично выразить себя в этой всеобщей свистопляске. Здесь подбирались яркие представители разнокалиберной плеяды бичменов, каждый из которых по мере сил желал во всеуслышание поведать миру о себе. Среди них были по-настоящему многогранные в своём роде личности – самородки, но высокий процент желающих провести ночь под «гостеприимной» крышей всё же, по большей части, объяснялся приходом с моря части флотилии, промышляющей всё лето иваси.

Разудалая матросня успевала в считанные дни вчистую просадить весь заработанный нелегким морским трудом куш и оседала затем на нарах вытрезвителя. Это была их последняя, не самая красивая, но в последующем ещё долго не забываемая картинка из лихой и развесёлой былой жизни, к сожалению, очень короткой.

С этих самых пор, если им не улыбалась судьба в лице межрейсового дома отдыха для моряков, или дурдома – так это заведение зовётся в приморских портовых городишках, то до следующего отхода в море им суждено было перебиваться в жалком безденежье по разного рода тёмным холодным углам... Некоторые так и оставались в них, постепенно всё ниже и глубже опускаясь в липучее безвременье полного отсутствия собственного духа и сил, если что-нибудь вовремя не помогало им одуматься или боцман не вытаскивал их на свет божий, забирая с собой в очередной рейс.

Конечно, таких потерявших себя людей была лишь незначительная часть, но она была, тихонько тянула, ни на что и ни на кого уже не надеясь, словом, ниоткуда не ожидая помощи, и поэтому её нельзя было сбрасывать со счетов. Глубоко-глубоко в их душах всё же теплился уголёк надежды и веры, который, зачастую, так и потухал, не ощутив спасительного дыхания. Вот такая публика составляла основной контингент этого заведения. А так как на подходе к порту вскоре ожидалась остальная часть судов, то план местному вытрезвителю на ближайший месяц, надо полагать, был обеспечен.

Я не мог точно сказать, сколько прошло времени, но постепенно раззадоренный людской улей угомонился, и было только слышно, как в коридоре расхаживает, скрипя сапогами, сержант-верзила. Вспомнив о моём существовании и решив, по-видимому, проверить самочувствие клиента, он неожиданно остановился у двери и загремел связкой ключей. Скрежеща своей дряхлостью, замок долго не отмыкался, вызывая по всему телу, до боли в зубах, волнообразную нервическую дрожь. Наконец, дверь отворилась.

- Не желаете, сударь, перебраться в номер-люкс? – ухмыляясь, попытался сострить сержант.

Всё же надо отдать ему должное, подумал я, сержант вошёл в положение и не забыл хоть на сколько-нибудь облегчить мою участь в промозглой бетонной клетке.

- Скоро утро, - елеиным голосом поведал он. – Осталось – пустяки.

- Покурить бы, - выдавил я из себя таким замогильным голосом, что даже видавшего виды сержанта немного передёрнуло.

- Не положено, - мигом отрезвел он. - Давай, друг ситный, живо перебирайся, пока я не передумал.

Упрашивать меня не пришлось. Мощная дверь общей камеры с уже знакомым бряцанием захлопнулась за моей спиной. Щёлкнул замок, и всё стихло.

То, что я увидел, напоминало картину умиротворённого дантовского чистилища. Высоко под потолком светилась перекрашенная в бурый цвет лампочка. Вернее, она изливала на распростертые обнажённые тела и расхристанные обтрёпанные одеяльца с простынями мутно-коричневые потоки, создавая вовсе не располагающую к размышлениям атмосферу. Мне стало жутко.

Души этих на время усопших несчастных, как это проповедовала католическая церковь, во сне, по-видимому, очищались от грехов, в чём я сильно сомневался, и поутру непременно должны были попасть в рай. Я прекрасно знал: то, что последует за пробуждением, скорее всего, будет напоминать наичистойшей воды адово пекло, и, таким образом, вопреки всяким учениям, души этих грешных из душечистительного периода экзекуций прямиком угодят в умопомрачительный, где им не суждено будет отведать райского яблочка.

Такова была жизнь, и в этой круговерти для них существовали своя правда и ложь, радость и страх, непоколебимые никакими учениями и верами. Эта правда не была большой и сильной, но она, всё же, оставляла за ними право быть людьми – уставшими и обездоленными, но людьми.

Камера была довольно-таки вместительная. Вдоль обеих стенок без окон тянулись обтянутые кожей узкие топчаны. На них и между ними, в самых невероятных позах и распластанные поперёк, так что чья-то голова мирно покоилась на животе одного соседа, а нога – на спине другого, завёрнутые самым немислимым способом в изжёванные простыни,

скрюченные от холода в жалкий комочек, сидящие в обнимку друг с другом, усмирённые неволей, алкоголем и безуспешностью сопротивления, забылись в тревожном сне эти люди... Некоторые тела конвульсивно подёргивались. Отовсюду доносились стоны, разнотональный храп, раздирающее душу скрежетание зубов и несуразный лепет.

Именно так, только без всякого рода шумов и более благообразно, виделась в моём болезненном воображении настоящая покойницкая. Моё общее состояние вызывало у меня крайнюю озабоченность и тревогу. Надломленная психика безотлагательно требовала забытья. Я просто опустил руки.

В темноте нащупав себе место, я не без труда втиснулся в эту образованную размякшими телами естественную щель, чем тут же вызвал ропот недовольства со всех сторон. Ещё окончательно не успокоившись, я саданул локтем в бок одного из соседей, рискуя нарушить царящий в камере покой и заполучить себе до утра нудного врага, но тот, потеснившись, ответил лишь полутораминутной словесной неразберихой, а потом затих. Мне вдруг стало стыдно, и я почувствовал, как быстро и незаметно вкралась в меня всепоедающая ржа этой растленной обстановки. Я попытался поведать своему незаслуженно обиженному соседу что-нибудь хорошее, но тот уже успел погрузиться в объятия спасительного морфея.

Лёжа на боку и пристально вслушиваясь в потустороннюю жизнь, я пытался вырваться из окружающего кошмара, но это у меня плохо получалось. В этом каменном мешке не было окон, а стены не пропускали ни единого звука. Мерный рокот набегавшей волны или шум ветра в голых ветвях деревьев, ударяющих в оконное стекло, были бы сейчас очень кстати, подумал я. Но их не было, и я попытался представить, что они есть.

За этими невесёлыми размышлениями я незаметно задремал, а проснувшись, долго не мог прийти в себя от окружающих меня высоких стен, выкрашенных в зелёную ядовитую краску, и от ярко-красной надписи над дверью: «Пьянству – бой!». Подо мной на кожаном топчане тоненькой верёвочкой скрутилась застиранная простыня, при виде которой мне стало почему-то очень жаль себя. Одеяло по неизвестной причине отсутствовало, и было очень холодно.

Народ помаленьку отходил от липучего забытья и, конечно, долго не мог понять, где он находится и что означают эти холодные, неуютные топчаны и мрачные стены без окон. Это было написано на возрождающихся к жизни лицах, и, глядя на них, я почувствовал, как начинает ныть больной зуб. Моя трезвость в подобной ситуации казалась до невозможности глупой и невыносимой. Кадры вчерашней жизни в замедленной съемке проплывали перед глазами, и не было сил равнодушно смотреть на этот печальный фильм об одном неполном дне из реальной жизни, тем более что ты сам принимал в нём участие.

А на улице, как и вчера, светило солнце. Чуть дрожала в утреннем морозном воздухе хрупкая и нежная осенняя листва. Море неудержимо

накатывало свои валы, оставляя искрящиеся пенные кристаллики на гладких камнях. Высоко в небе, сгрудившись от крепкого порывистого ветра, медленно плыли упругие белые облака, и это спокойное непреходящее движение в природе давало понять, как недолговечна и коротка наша жизнь, и как мы ответственны за то, чтобы не растратить её впустую.

В приёмной начальника школы никого, кроме худенькой секретарши, не оказалось. Мне было предложено обождать несколько минут. Шефа погребли многочисленные заботы, и я представлял в своём лице одну из них. Стало как-то неловко.

В просторном, светлом кабинете меня в упор, очень спокойно встретил взгляд больших внимательных глаз. Сцепив сильные жилистые руки, начальник школы молча посмотрел в окно, за которым лёгкий ветерок чуть ворошил пожелтевшие верхушки деревьев и разлапистые листья клёна неслышно касались чистых, недавно вымытых стёкол. Поизносившиеся позументы тусклым золотом отливали на рукавах его кителя.

Несмотря на предстоящий разговор, на душе лежала какая-то тихая радость, и было очень покойно. Чувства неловкости я уже не испытывал.

- Не в каждой книге сейчас встретишь то, о чём изложено в вашей исповеди, - обратившись ко мне, сказал неожиданно он и ткнул пальцем в исписанные убористым почерком листы. – Мне понравилось. Вы где-нибудь раньше печатались?

- Не привелось ещё.

- Ну-у, у вас ещё всё впереди. В подтверждение этому, - он взял объяснительную в руку и потряс ею в воздухе, - на ваших глазах кладу её для хранения в сейф, и пока я здесь, полностью гарантирую её сохранность.

- Дело этого стоит?

- Буду использовать в качестве уникального образца, - сказал он и, весело звякнув о железо связкой ключей, прикрыл дверцу.

- Что привело к нам? – поинтересовался он, и в голосе его зазвучали жёсткие нотки. – Должно быть... романтика? Если да, то довольно замусоленное слово. Одни, называя себя последними романтиками, утверждают, что им, якобы, удалось посидеть на лапе белого медведя... Таких я встречал достаточно, и, смею заметить, ни один из них не запомнился. Другие же, сетуя на сложности жизни, со спокойным скептицизмом погружаются в бесплодные грёзы, совершая невообразимые путешествия, лёжа на мягком диване, как это делает мой сын. Вы к каким относитесь?

- Честно говоря, - сказал я, - мне это слово тоже не по душе, когда от него отдаёт мечтательной созерцательностью. Но если под ним подразумевается стремление познать окружающую жизнь, - другое дело. Мой взгляд на эти вещи таков: целью должно быть действие, а не отвлечённая идея. Но чтобы приобрести знание, надо, наверное, через многое

пройти, решившись при этом на перелом в своей жизни и не побоявшись тех трудностей, которые он повлечёт за собой. Если всё это соответствует понятию романтика, то я принимаю его.

- Вы что, не мыслите себя без моря? – несколько помедлив, пристально посмотрел он мне в глаза.

Ответом ему было моё утвердительное молчание.

- Командир роты объявит вам взыскание, - уже более сдержанно проговорил он. – Можете быть свободны.

- Разрешите вопрос?

- В чём дело?

- Алексей Константинович, я не смогу ждать целый год. Мне нужно уйти в море сейчас. Не знаю, как объяснить вам...

Он долго смотрел перед собой, затем поднялся и подошёл к окну.

- Зря, - медленно произнёс он. – Ты сейчас попадёшь только к рыбакам на какой-нибудь сейнеришко, а на торговом флоте работать интересней. Подумай.

- Я уже решил, - тихо проговорил я.

- Дело твоё, - не без сожаления, разведя руками, проговорил он. – Удерживать тебя я не могу. Кливер поднят, как говорили в старину, за всё уплачено. В общем, можешь писать заявление.

Он повернулся и тяжело пошёл к столу. Я ещё немного потоптался и, буркнув что-то на прощание, быстро вышел из кабинета.

Ну, вот и всё, - подумал я. Решение принято, и его надо осуществлять. Значит, опять в путь, а куда – неизвестно.

Трудно было объяснить родившееся в глубине души чувство. Что-то нестерпимо влекло оставить этот город, школу и достаточно обозначенную перспективу на будущее, чтобы быстрее узнать всё, чего не могли дать долгими зимними вечерами никакие на свете тёплые и прекрасно оборудованные классы. В какое-то мгновение я вдруг увидел происходящее со стороны. Передо мной всплыли звуки, запахи и цвета, которые несло с собой море, и я понял, как незначительно по сравнению с этим всё остальное...

... Густой аквамарин мягко плещущейся о причал воды, мерное поскрипывание туго натянутых и изрядно измочаленных от бесчисленных швартовок концов, переливающаяся золотистой слюдой под ярким осенним солнцем лёгкая и прозрачная даль моря, весёлое и несуетливое оживление в порту, заражающее здоровьем, вольным трудом на море, чуть ленивый клёкот привыкших ко всему изжёлта-белых чаек... Махнёшь рукой – и сотни их взвоятся с тягучим звонким гомоном, и, плавно совершив затяжной круг, усядутся невдалеке. Но уж больше их не трогаешь...

Вот ради всего этого, и ещё многого другого стоило пересечь с запада на восток всю страну, отказаться от убаюкивающего и растлевающего рано или поздно, но такого приятного, если уметь им пользоваться, комфорта, оставить на неизвестный срок родных, друзей и даже встретить однажды

день в невесёлой холодной камере местного вытрезвителя. Дело этого стоило, а значит, нужно было бороться и не унывать. Именно это я желал объяснить людям, и мне очень хотелось, чтобы меня поняли.

Стояли последние дни самой замечательной на острове поры – осени, когда так хорошо думается и мечтается, а по утрам ещё можно ощутить сочный, вкусный воздух, замешанный на холодном инее, который белеет на деревьях, кустах и дорогах... И потому, решившись отправиться в неизведанный путь в ноябре месяце, накануне большой непогоды, утешением для меня служило сознание, что тёплый осенний месяц в моей жизни так или иначе наступит по всем законам природы, так же как печаль в своё время сменится радостью или день придёт на смену ночи. Надо только надеяться и верить: рано или поздно всё станет хорошо, потому что жизнь сама по себе всё же прекрасна.

## «БЕЛЫЕ ХОЛМЫ»

Подобно уставшей охотничьей собаке, грязной и вымокшей, тихий пасмурный день, покрутившись, со вздохом улёгся у самых ног, и прогонять его не хотелось. Чуть накрапывая, дождь косыми тонкими струйками прилипал к толстым автобусным стёклам. Струйки, подрагивая, срывались на ходу, а мокрый след от них тут же высыхал.

Путь от Корсакова до областного центра недолог: езды до него тридцать с лишком вёрст. Дорога твёрдая, накатанная, и ехать по ней очень приятно.

Слышно, как успокаивающе ровно гудит за бортом ветер, как с монотонным шипением повизгивают на поворотах колёса и натужно взывает мотор на подъёмах. Автобус, мягко покачиваясь от хорошо набранной скорости, плавно катит на север среди унылой природы. Такой она представляется, наверное, только на первый взгляд, и ещё потому, что нет солнца.

За окном мелькают редкие посёлки. Все они основаны почти столетие назад каторжным людом, но с тех пор выросли незначительно. Названия посёлков соответствуют расположению, что в некоторой степени объясняет их характер, если быть достаточно знакомым с особенностями островного рельефа и климата.

Вот дорога то круто спускается, то вдруг стремительно взлетает к небу. Первая падь, вторая, третья... Неширокие, с пологими склонами распадки врезаются со стороны моря в глубь острова. В таких падях обычно и основывались поселения.

В районе посёлка Лиственничное растительность скудна и мало отличается от полярной. Вид оживляют отдельные лиственницы, но и те мелкоствольны и непривлекательны. Плохо пропускающая влагу подпочва способствует обильному росту болотистых трав и мхов.

Ближайший к центру посёлок – Большая Елань. «Еланями» местные жители называют речные долины. Они обыкновенно защищены от ветров и полны буйной растительности, а белокопытник – гигантский лопух с листьями-зонтиками способен укрыть небольшую группу людей.

Травянистая растительность на острове обладает особым свойством роста и развития – гигантизмом. За вегетационный период растение достигает трёх-четырёх метровой высоты, с листьями почти до полутора метра в диаметре. Заросли лопуха характерны для Сахалина и Курил, и очень оригинальны, растут же обычно по долинам рек, где намного превышают рост человека.

Толстые, легко ломающиеся черешки листьев поднимаются прямо вверх, оставляя между собой большие промежутки. Широкие листья смыкаются почти вплотную. В жаркий день хорошо спастись в таком «лесу» от палящих лучей солнца в его светло-зелёном полусвете, либо прятаться от дождя.

Растёт лопух очень быстро. Порой, за сутки, он увеличивает длину своих листьев на пятнадцать-двадцать сантиметров. Не зря его научное название «пегазитес», означает по-гречески «широкополая шляпа».

В летние месяцы и ранней осенью в таких зарослях сильно парит. С виду сочная зелень пышна и таинственна, при близком же соприкосновении она отдаёт душной влажностью и затхлой гнилью. Такое обилие и своеобразие впечатлений приятно забавляет, а иногда даже обескураживает.

Примечательно ещё то, что девяносто лет назад по этой самой дороге, из Корсаковского поста на север, ехал Чехов. По тем временам подобная поездка на Сахалин была равносильна настоящему подвигу, и Чехов, с присущей ему очаровательной незаметностью, его совершил.

Причин, побудивших Антона Павловича к путешествию, было достаточно, и главная из них – стремление быть сопричастным с судьбой русских людей, бесправных и принижённых, тысячами погибающих на сахалинских рудниках. Ему до всего было дело, а главное – до людей. Он всегда очень тактично и ко времени умел вмешиваться в окружающую его жизнь. И потом, сама рутина московской жизни с заведомыми обедами, дачами и ужением рыбы стали ему, по-видимому, просто невыносимы.

Решение ехать – глубоко личный осознанный порыв, желание обратиться к струе свежего воздуха и обрести её на кандалном жутком острове, где находились люди, более всего нуждающиеся в человеческом отношении, тепле и доброте. Как чайку белоснежную, понесло Чехова на Дальний Восток, и понимаем мы его более как человека, нежели писателя, возвратившего в переломный момент себе и людям себя самого. И ещё подумалось: как хорошо, что Чехов был. Спустя десятилетия он продолжает жить, невидимо присутствуя в этих неброских сахалинских пейзажах, и незаметно воздействует на наши души. В этом весь Чехов, и в этом его бессмертие.

Окружённый тёмной сыростью холмов, столичный город угрюмо и тихо замер в долине. Бесшумно ложатся на дорогу дождевые капли. Поздняя осень на Сахалине бывает обычно глухой и безликой.

В домах топят печи углём, и от этого город утопает в невидимой едкой пелене. От неё першит в горле, а в сухие пасмурные дни чуть саднит глаза. Зимой же она застывает в густом морозном воздухе и пепельной шелухой покрывает искрящийся снег.

Говорят, все незнакомые города похожи друг на друга, но это только на первый взгляд. Лицо городам придают люди и время.

Люди приходят и уходят, а города остаются. Они – вечные памятники каждому, кто вложил в них крупицу своей души, а значит – жизни.

Японцы называли Южно-Сахалинск «Тойохара», то есть – «Город солнца». И не без основания. Я уже видел, как огромный золотисто-багровый круг поднимается по вершинам сопков, пронизывая розоватыми лучами

прозрачную дымку пробуждающейся долины, как он плещется в тёплой синеве, весело поблескивая сочной желтизной, и как ярко-оранжевым пылающим апельсином спешит закатиться за море.

Всё это я успел увидеть, но сейчас солнца не было, и день угасал, стирая расплывчатые очертания домов и улиц. Город готовился ко сну, и я ещё не успел понять его. Дело, конечно, было не в солнце. Просто для понимания, по-видимому, не наступило время.

Надежда на свободный номер в гостинице, как я и предполагал, не оправдалась. А если остаёшься вдруг один на улице, без крыши над головой, когда не к кому обратиться за помощью или не с кем, хотя бы, поговорить по телефону, чувствуешь себя очень глупо. Жёсткая скамейка в тёмном сквере или зал ожидания при вокзале – вполне естественный выход из создавшегося положения, и я незамедлительно обратился к нему, отдав предпочтение вокзалу.

Ситуация, с небольшими изменениями, грозила повториться. Бухнувшись на одну из длинных скамеек, пустовавших в холодном просторном зале, я принялся разглядывать его внутреннее устройство, провожая взглядом всех проходящих мимо. Это было своего рода практическое занятие, в котором я старался с первого раза определить: что представляет из себя тот или иной человек. Скрашивая время таким несерьёзным способом, я и не подозревал, как полезны порой подобные упражнения, в чём мне скоро пришлось убедиться.

- Дозвольте присесть, - с неестественной подобострастностью спросил возникший передо мной сухощавый, небольшого роста субъект, с залысынами и живым, неприятно ощупывающим взглядом.

- Пожалуйста.

Шелестя ломким плащом, он опустился рядом на скамейку и, вздохнув, забарабанил пальцами по ручке кресла.

- Так сказать, дорожный анекдот не миновал и вас, - обратился он ко мне.

- Любопытно... В каком смысле? – неуверенно спросил я.

- Не извольте беспокоиться. Я в отношении того, что неустройство в дороге – это наш бич, так сказать, номер два...

Я кивнул головой.

- Что же номер один?

- Пьянство, доложу вам. Ну, да Бог с ним. Уже в гостиницах побывали? – опять, как мне показалось, с каким-то затаенным нетерпением осведомился мой новый знакомый.

- Да, побывал.

- Совершенно напрасно, смею заметить. – В голосе его проскользнуло чуть заметное удовольствие. – То есть, я хотел только сообщить, что вам того знать было не дано...

Я недоумённо посмотрел на него. Подобная увертюра что-нибудь да означала.

- Григорьев... Юрий Николаевич, - поспешил представиться он. – Проживаю в двухместном номере привокзальной гостиницы, в гордом одиночестве, так сказать. Напарник перед самой командировкой прихворнул, и вот... Бронь, знаете ли, оно дело надёжное, но одиночество не для нас. Душа требует, так сказать, общения...

При этом он многозначительно подмигнул и прищёлкнул пальцем.

Выглядел он несколько напыщенно, даже – щеголевато: превосходно сшитый костюм, высоко вздёрнутые, непонятно – в недоумении или в лёгком кокетстве, тонкие брови, изящные, ухоженные руки, обрамлённые на запястьях отменными запонками, незаметный, но очень деятельный рот. По его слегка возбуждённому виду трудно было заключить что-либо определённое. Подобный тип людей отличает долгая молодость, что, естественно, затрудняет установление возраста. На первый взгляд, ему можно было определённо дать лет сорок.

- Простите, а почему именно ко мне... - только и успел вымолвить я.

- Понимаю, - с готовностью подхватил он, - и заверяю, что никакого, так сказать, криминала тут нет. Вижу в вас человека, способного понять разлад души и оказать дружескую поддержку... Сплошное преимущество для обеих сторон.

- Благодарю вас, и всё же...

- Не стоит любезностей. – Его подвижное тонкое лицо тотчас преобразилось в улыбку. – Рука руку моет.

Юрий Николаевич показался несколько странным, но общительным и живым человеком. Отказываться от идущей в руки удачи при таких обстоятельствах было бы глупо, и я принял его предложение. Тем более, что мне в данный момент необходимо было поделиться с кем-нибудь своими сомнениями, а он, судя по всему, был человеком, способным понять их. Для него не составляло труда быстро уладить дело и с администратором.

- Такой нюанс, дорогая моя, - изысканно обратился он в вестибюле гостиницы к сидящей за высоким барьером дежурной. – Этому молодому человеку, только что вступающему в жизнь, негде бросить свой усталый якорь, тогда как моя тихая гавань пустует и готова принять заблудшего путника в свои радушные объятия. Что вы можете иметь против такого честного расклада дела перед, так сказать, не совсем симпатичной гримасой жизни, которой она нередко угощает нас? Логика её требует, мадам, чтобы справедливость, в конце концов, восторжествовала. Не так ли?

Этим небольшим, но внушительным вступлением он с ходу очаровал милостивую администраторшу, и та, растаяв в улыбке и порозовев от удовольствия, с нескрываемой радостью предоставила нам ключи от теперь уже совместных апартаментов.

Через несколько минут мы оказались на четвёртом этаже, в небольшом номере, единственное окно которого выходило на подёрнутые гарью железнодорожные перроны. Ежеминутное лязганье потускневших маленьких вагончиков прерывали отрывистые паровозные гудки. Там, за мокрым окном,

несмотря ни на что, шла размеренная привокзальная жизнь со своими запахами, звуками, особенностями. А в комнате было светло, чисто и тепло.

Я уже давно замечал, что в такой аскетической обстановке, где нет ничего лишнего, где ничто не отвлекает, очень спокойно и уверенно думается и живётся. Может быть, именно поэтому мне нравились гостиницы, в известной мере, конечно. Вот и сейчас, несмотря на неустроенность, какую-то непогоду в душе, тёплая тишина комнаты, казалось, сулила крепкую защиту ото всех жизненных бед.

Юрий Николаевич подолгу где-то пропадал, и только вечером мы встречались в номере, делясь приобретёнными за день впечатлениями. Несмотря на твёрдые, казалось бы, принципы, он был человеком увлекающимся, весёлым, способным с бесцеремонностью и каким-то неистребимым успехом самого забубённого интригана ухаживать за женщинами, проживающими в гостинице. В нём временами проскальзывали настораживающие меня нотки фальши, и, заметив это, Юрий Николаевич в любом состоянии тотчас одёргивал себя, глаза его загорались трезвым блеском, и мне начинало казаться, что он совершенно не такой, каким старается быть в обычных обстоятельствах.

Часто, с самозабвенным выражением чувств, он наизусть читал Есенина. Круг чтения, говорят, достаточно полно определяет характер человека. По склонности к поэзии Есенина, по многим присущим его поведению особенностям, нетрудно было понять в нём какую-то трепетную надломленность, особенно, когда он напивался до сентиментальности, не переходя при этом, впрочем, границ, и начинал читать стихи.

Я довольно хорошо понимал своего приятеля по номеру, но одна таинственная деталь, всё же, ускользала от меня, не позволяя постичь его до конца. Что-то настораживающее и необъяснимое жило в нём, мешая ему самому, изредка влияя и на меня тоже. Это был невидимый порок. Я понимал его скорее сердцем, чем умом, и потому, по-видимому, не мог принять окончательного решения. К тому же собственные невесёлые размышления насчёт дальнейшей перспективы омрачали моё существование, и мне было не до соседа.

Юрий Николаевич уходил утром, как он говорил, по работе, и возвращался только поздно вечером с охалкой свёртков, со снедью и с бутылками. Так продолжалось всю неделю, и у меня не хватало сил отказать его хлебосольству. Сам я временно мантулил грузчиком, зашибая в день по трояку, которого еле доставало не маломальское питание и плату за крышу над головой.

В тот день мне повезло: пришлось разгрузить лишнюю машину, и незапланированная пятёрка легла в карман. Я купил бутылку вина, кусок колбасы и, придя в гостиницу, стал дожидаться своего соседа. Вскоре появился и он, как мне показалось, чем-то очень возбуждённый, встревоженный.

- Что-то случилось? – спросил я.

- Вынужден оставить ваше приятное общество, - сдержанно объявил он. – Обстоятельства, тэк сказать, превыше нас...

- Стакан вина?

- С удовольствием, - оживился он.

Пил он жадно, большими глотками, с гулким бульканьем, так что худой кадык размеренно пружинил на тщательно выбритой смуглой шее. Затем он устало опустил на кровать и закрыл рукой глаза.

- Юрий Николаевич, давно хотел спросить, вы кто по профессии будете?

На мгновение он весь подобрался и вскинул на меня пристальный взгляд.

- Вор, друг мой, - ровным голосом тихо произнёс он. – Что ни на есть, чистейшей воды карманный вор. Так сказать, джентльмен удачи... Говорю вам это с полной ответственностью и уверен, что вы меня поймёте. Мне начинает казаться, что я знаю вас давным-давно. Вы шокированы?

- Отчасти.

- Почему же отчасти?

- Я о чём-то подобном догадывался, но не был уверен.

- Что ж, это только подтверждает мои мысли о вас как о пронизательном человеке... Тем лучше. Я полагаю, вы в достаточной мере благоразумны, чтобы не афишировать этот, тэк сказать, неприглядный жизненный момент. Не скрою, желание подобного признания не сразу пришло ко мне... Только не спрашивайте, пожалуйста, ни о чём! – вдруг быстро добавил он. – Хотите, я почитаю вам Есенина?

Я был, честно признаться, обескуражен и не знал, как теперь себя с ним вести.

- Вы не поверите, - с возбуждением воскликнул он, - жутко люблю его. Вот послушайте: -

... Весенний вечер. Синий час.

Ну как же не любить мне вас,

Как не любить мне вас, цветы?

Я с вами выпил бы на «ты».

Шуми левкой и резеда.

С моей душой стрясась беда.

С душой моей стрясась беда.

Шуми левкой и резеда.

.....

Цветы мои! Не всякий мог

Узнать, что сердцем я продрог,

Не всякий этот холод в нём

Мог растопить своим огнём.

Не всякий, длани кто простёр,  
Поймать сумеет долю злую.  
Как бабочка – я на костёр  
Лечу и огненность целую...

Его лицо застыло передо мной в скорбном откровении, а голос, сухой и надтреснутый, заставил позабыть всё на свете. Были только вечер с тёмными окнами, мигающий за ними свет, и есенинские «Цветы», которые он знал полностью.

- Что же стряслось с ним в жизни?

- Душа, - тихо выдохнул он. – Есенин был осуждён самим собой на каторгу своих чувств. Не мог он пережить свою огромную печаль, всю грусть земли русской и её народа. Печаль эта и сделала его «звонким забулдыгой»... Да-а... Не мог этот русский паренёк с ясной, как его глаза, фамилией, поступить иначе: в трудную и счастливую пору для своей земли родился, трудно и счастливо пропел своё время. А слов из песни, как известно, не выбросишь...

Он помолчал.

- Вы любите цветы?

- Георгины...

- Почему именно они? – с улыбкой спросил он.

- Воспоминание детства... Под окнами бабушкиного дома, возле мшистых кустов смородины, росли георгины. Только сейчас я понимаю, как они были хороши в капельках росы, застывшие в прохладной утренней тени. В детстве красота воспринимается неосознанно. Но это не суть. Важно, что цветы в жизни есть. Свои цветы...

- Гм-м, любопытно было бы услышать, что они есть для человека?

- То, что делает его, наверное, человеком. Способность радоваться, мыслить и делать дело, которое помогает жить не только тебе, но и людям.

- Вы нашли его?

- Пока нет, - замямвшись, ответил я.

- Но претерпели, я думаю, немало.

- Пожалуй.

- Разочарование, следующее за разочарованием, а потом, так сказать, крах всем надеждам?

- Настоящий крах – ничего не испытать.

Он как-то странно посмотрел на меня и задумался.

- Может быть, вы и правы, - медленно проговорил он.

В воровском мире Юрия Николаевича знали как «Артиста». Кличка, как и полагается в подобных делах, прямо соответствовала сути, подтверждая его виртуозность, везучесть и неуязвимость.

«Артист» умело проводил национализацию личных вещей граждан по ходу дела. Талант у него к этому был несомненный: он схватывал, по его словам, ситуацию на лету и молниеносно принимал решение, тут же реализуя

добытое. Каким образом ему это удавалось – остаётся неизвестным. На руках у него почти никогда ничего не висело.

«Артист» был достаточно знаком с людской психологией, и умело играл на этом, представляя в собственном лице злого гения. Ему фартило. Располагающая общительность делала своё дело, а видимая интеллигентность и благородное обращение довершали его. Он сразу импонировал изысканностью манер, милой, трогательной улыбкой и открытым взглядом, который буквально светился самыми искренними побуждениями. «Артисту» трудно было не поверить, и потому общающийся с ним народ убеждённо признавал про себя, что с этим парнем не пропадёшь.

Что говорить, я и сам попался на эту удочку. Он, конечно, не заставлял себя ждать – безнаказанно шарил по карманам и сумочкам честных советских граждан, не гнушаясь при этом ничем. Был он специалистом широкого масштаба с узким профилем. В положении его временного приятеля я видел причину неприкосновенности собственных карманов. Мы и вправду сдружились за то короткое время: я чувствовал его доброе к себе отношение и, в свою очередь, сам был неравнодушен к нему. К тому же, красть у меня, честно говоря, было нечего, и уж об этом «Артист» был, разумеется, хорошо осведомлён.

Себя он в жизни чувствовал виртуозом, и этого, по его мнению, было вполне достаточно. «Артист» обожал вести лёгкую жизнь. Всю свою «выручку» он тут же пускал по ветру, ничего не оставляя впрок. К труду у него была аллергия. Это был «честный», незаурядный карманник, довольно хорошо знакомый с поэзией Сергея Есенина.

Но одиночество, на которое он себя обрёл, неумолимо шло по пятам, подступая всё ближе. И вот оно дохнуло на него, совсем рядом.

Гулко поскрипывая натёртым паркетом, шаги медленно удалялись, и звук их неслышно прилипал к тишине гостиничных покоев. Рука его сжимала маленький саквояж, в котором, я знал, не было ничего, кроме затёртого томика стихов Есенина. Уходил ещё один человек из моей жизни – так неотвратно, и мне вдруг показалось, что с ним уходит часть меня самого. Только поможет ли она ему там, за долгой промозглостью непогоды, где, быть может, его ничто уже не ждёт...

За окном затарахтели и залязгали колёса, потянулись молчаливые обшарпанные вагоны. От порывов безудержного ветра свет ежеминутно мигал, тонкие жестяные карнизы на окнах, выгибаясь под его натиском, натужно пощёлкивали. Мимо прокрадывалась холодная ноябрьская ночь, и я опять оставался один.

Ночью ветер разгулялся не на шутку. Я слышал, как он тупыми мощными порывами бьётся в стену и окна. Чтобы не замечать его, нужно было к нему привыкнуть.

Зеленовато-жёлтые лучи прожекторов бросали прерывистый свет на стену комнаты. Я почему-то поверил, что скоро тоже буду рваться, как этот ветер, бороться за что-то в своей жизни и, сознавая, что это последние дни

перед бурей, содрогнулся на мгновение и закутался покрепче в одеяло. Пожалуй, именно тогда ветер подхватил меня, и я без сопротивления весь отдался ему, погружаясь в объятия долгожданной согревающей надежды.

Выглянув утром в окно, я увидел горы – их бледную цепочку со скрытыми дымкой вершинами. Сильный ветер по-прежнему рвал низкие тучи, разбрасывая их клочья по небу, поднимал с земли колючие вихри из прокопченной пыли, бумажных стаканчиков, обёрточной бумаги. Было отчётливо слышно, как пронзительно и протяжно завывают в многочисленных щелочках злые отголоски его невидимой мощи.

Мне казалось, что я даже вижу за окном эти закруглённые стремительные завихрения, которые вполне можно запечатлеть красками на листе бумаги. Только вездесущие вороны не боялись ничего и, распластанными затухшими головёшками зависая над склонами сопков, оглашали тугую от влаги тишину необычными вскриками. В отличие от своих собратьев на материке, традиционное карканье у сахалинских ворон получалось с французским прононсом, как будто они перекачивали виноградку в клюве. Но даже эта диковинная особенность, наряду со многими другими, которые каждый день преподносило знакомство с островом, ничего не изменяла.

Надежда, пучась и дрожа, лопалась в тугих пузырьках пенящихся луж, застилавших собой покоробленный асфальт. Всё, о чём мечталось совсем недавно и что представлялось таким близким, теперь казалось далёким и несбыточным. Непогода явилась именно тем горьким дополнением к теперешней незатейливой и во многом неустроенной жизни, которое поколебало мою решимость.

Климат острова был разнообразен и капризен, подобно хорошенькой женщине, знающей себе цену. Местные жители привыкли к его изменчивости и ко всем неожиданностям, которые он порой преподносил, относились довольно спокойно и сдержанно, ничуть не удивляясь тому, что мгновенно бы поразило приезжего человека и, быть может, навсегда отбило у него охоту к подобного рода путешествиям. Именно это обстоятельство чуть было не заставило меня отказаться от задуманного предприятия, и неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы я вовремя не взял себя в руки и вновь не ощутил глубокую внутреннюю потребность следовать выбранному пути.

В комнате было тихо, тепло и уютно, а бушевавшая за окном стихия совсем не страшила. Что может быть лучше плохой погоды, если тебя никто не ждёт и тебе есть о чём подумать. Поразмыслить на предмет того, зачем ты уже неделю ночами усердно наминаешь бока на гостиничной койке, а днём шлифуешь ящики из-под вина и консервированных продуктов, тогда как в десятках миль отсюда плещется о берег неведомое, но уже вполне реальное море, к которому ты так стремился...

Если считать жизнь зеброй, у которой белые и чёрные полосы идут вдоль тела, а не поперёк, то дело было почти гибельное, потому как я стоял на чёрной и, ползая на четвереньках по кругу, рисковал не сойти с неё никогда. Обезав за истёкшую неделю все организации, хотя бы отдалённо связанные с морем, я везде наталкивался на одно и то же, вполне законное, но, всё же, не вполне разумное обстоятельство: меня не устраивали на работу по причине отсутствия в паспорте прописки и не прописывали, в свою очередь, потому, что я не работаю. Находясь между небом и землёй, нелегко с ходу разобраться в ситуации и, развернувшись, выбраться на белую полосу. Но уповая на то, что безвыходных положений нет, а есть лишь неправильный путь, я, всё-таки, пытался эту затею осуществить.

Ночами, лёжа с открытыми глазами и думая обо всём этом, я подолгу не мог заснуть. Только под утро удавалось на время отключиться в тревожном забытии, но и оно не снимало напряжения. А накануне, перед самым рассветом, когда мозг обволакивают причудливые вяжущие видения, мне однажды приснился тяжёлый и странный сон...

... Неясный зимний день клонится к вечеру. Безжизненно раскинувшееся заснеженное поле усеяно мелким кустарником и редкими озябшими берёзками. Дует неровный настёрный ветер. Солнце еле просматривается из-за мутной плёнки, затянувшей небо.

На небольшой полянке, среди торчащих из-под снега промёрзших веточек, стоит самолёт старого образца типа «Фарман». Тревожное ощущение вызывают вся обстановка угасающего недоброго зимнего дня и общее состояние необходимости куда-то срочно лететь, что-то изменять, очень важное и безотлагательное, от чего, быть может, зависят жизни многих людей.

Одинокая фигура лётчика в кожаной куртке, поскрипывающем шлеме и сапогах, увязая в снегу, борется с ветром. Губы плотно сжаты, за очками угадываются узкие чёрные глаза. Потом я вижу его в тесной кабине самолёта, где он пытается завести машину, почему-то яростно нажимая на педаль(!), но не в силах этого сделать. Одна нога у него отнята по щиколотку. Он до мозга костей пронизан ощущением этой всеобщей тревоги, но не в состоянии что-либо поделать – мотор не заводится...

Были ли у этого лётчика крылья? Взлетит ли он вопреки всему, что удерживает его на земле? Может быть, это было напоминание о том, что для каждого в жизни есть свой предел? Воображение с подрезанными действительностью крыльями? Мне же нестерпимо хотелось подняться в воздух и насладиться полётом в вышине.

А жизнь, между тем, шла своим чередом. Днём и ночью по железной дороге под окнами гостиницы гроыхали товарные и пассажирские составы, и я уже начинал привыкать к этому, а уборщица нашего этажа поговаривала, что предстоящая зима будет долгой и обильной снегом. Проживающие со

мною в номере люди сменяли один другого, оставляя след в моей душе, и одному Богу было известно, когда всё это прекратится.

Я словно перестал существовать и смотрел на окружающую меня жизнь с равнодушным недоумением. Мог безболезненно для собственной совести проваляться до полудня в постели, а потом, выбравшись на улицу, часами шататься по городу, наблюдая, как люди куда-то спешат и чего-то в своей жизни добиваются, с достаточной уверенностью предполагая при этом, что завтрашний день будет точной копией сегодняшнего. Переживая это безвременье, ранее мне не ведомое, я понимал, что это безделье вынужденное, невольное. И всё-таки мне было не по себе.

И вот однажды утром я проснулся от чёткого осознания необходимости поступка. Что-то произошло не только во мне самом, но и в природе, и когда я посмотрел в окно, то увидел холмы в снегу. Они, как шатры из белых шкур диковинных животных, застыли в прозрачной дали девственного утра, неумолимо притягивая взгляд и слепя неестественностью цвета.

Внизу, под окнами, киоски, скамейки и машины безмятежно притихли под снежными шапками. Снега было много, и от того, что он лежал на деревьях, крышах домов, тротуарах и холмах, было очень светло. Снег сиял во всей невинности нетронутой белизны.

Дворники не разгребали его, потому что он был первый, долгожданный и какой-то нечаянный, принёсший с собой после бесконечных дождей и ветров покой, ясность и тихую чистоту. Все острые, зловещие углы, обозначенные долгой непогодой, смягчены и выглядят умиротворённо. Улица будто оцепенела, укрытая снежным покрывалом. В этой радостной белизне было незаметно, что небо серое и неприветливое.

Первый снег принёс с собой дыхание долгожданной зимы, и легкий морозец, притаившись за окнами, слегка прибил его невидимыми хрустальными пальчиками. В прозрачной чистоте мягко вырисовывались тёмные стволы деревьев. Чёрные вороны, притихшие на обрамлённых снежным пухом ветвях, напоминали японские гравюры. Эта бездонная утренняя белизна будила воображение и рождала желание что-либо изменить в своём существовании. Мир казался прочным и радостно-спокойным.

Но взгляд, пробегая по лицам домов и улиц, неминуемо возвращался к холмам. В своей обрётённой чистоте они были недостижимые и близкие, и я, не отрываясь, долго смотрел вдаль. Что-то произошло во мне тогда. Я и забыл, что молодой, чистый снег имеет такую силу преобразования окружающего мира и тебя самого.

Глядя на заснеженные холмы, я вспоминал, как становилась более глухой и менее грозной непогода, длившаяся слишком долго, как одно чувство сменяло другое и как мучительно рождались эта чистая белизна и то состояние цельности, что пришло этим прозрачным зимним утром. Я помнил, как ощущение чуть было приоткрывшейся радости заполняли слабость и разочарование. Взлёты надежды, порывы отчаяния, холод равнодушия – всё это мне пришлось пережить за этот небольшой, но такой

бесконечный отрезок времени. Сколько раз я проклинал тот день, когда решился на это путешествие, и вот теперь благословил судьбу, что не повернул вспять.

Прозрение подчас приходит вмиг, по наитию, и то, что я почувствовал, заставило меня подняться, выйти на улицу и на вырученные от проданной рубашки деньги купить билет на автобус до Невельска. Я не знал, чем встретит меня город у моря, и только рука сжимала в кармане кусочек прошитого картона, который теперь олицетворял для меня мечту и все надежды на будущее.

## «СТАРЫЙ КУДЕСНИК»

Место, откуда мне предстояло отправиться в манящую неизвестность, как-то не позволяло назвать вокзалом... Но именно отсюда, от небольшого деревянного пристроя, сиротливо приютившегося на краю привокзальной площади, курсирующие по югу Сахалина автобусы начинали свой путь.

Маленький пазик, ныряя на ухабах неустроенной дороги, серпантинном вьющейся среди заснеженных зимних холмов, незаметно пробирался к перевалу. Вдали виднелись его вершины и снег на них. На крутых склонах, возвышающихся над дорогой, застыли горбатые ели.

Снегу за ночь навалило в изобилии. Он нарядно белел, своей неестественной чистотой скрашивая эти глухие, неприютные места и погружая лес, холмы и дорогу в сладкую, сонливую тишину. Дорога, выделявая крутые петли, поднималась всё выше и выше.

Взобравшись, наконец, на самое высокое плато, машина покатила легко, и пассажиры незаметно задремали на маленьких кожаных сиденьях. Моря ещё не было видно, но чувствовалось, что оно лежит где-то недалеко, затаившись в холодном снежном окружении пришедшей зимы.

По эту сторону перевала задувал резкий, колючий ветер. В суматошном вихре бросая крутящиеся снежные хлопья в плексигласовые окна, он напоминал о здешней изменчивости погоды. В салоне автобуса было тепло и уютно.

Вскоре показалось море. Холодной, стального цвета полосой затиснутое у горизонта тяжёлыми низкими тучами, оно замерло, не вызывая ничего, кроме жутковатой неприязни.

Маслянистые волны лизали смёрзшуюся обкатанную гальку и деревянный обшарпанный частокол, защищающий берег от разрушения в шторм. Частокол местами прерывался, целыми пролётами завалившись на камни, и пенная вода длинными языками плавно забиралась в эти проёмы, постепенно подмывая и заваливая очередной отрезок этих деревянных укреплений.

Нелегко было уберечь от неумной морской воды узкую береговую полосу, характерную для острова. Обычно именно по ней тянулись основные пути сообщения между приморскими городами и посёлками, и близость моря порой сильно затрудняла это движение. Так, созерцая невесёлый вид из окна и думая о том, что меня ждёт впереди, я и доехал до места назначения.

Уже начинало смеркаться, когда автобус, устало, притормозил около единственной в городе гостиницы. Обнаружив в окне кабины администратора табличку «Мест нет», я почувствовал в животе спазмы. На пустой со вчерашнего дня желудок нелегко было переварить подобное откровение, и я решил на оставшиеся деньги перекусить в какой-нибудь забегаловке, а уже потом строить планы на сомнительное будущее.

У входа в неприметную столовую на пустом деревянном барабане из-под кабеля сидел лохматый мужик. Прислонив к облупленной стене

залоснившийся костыль, он опирался на другой, ежеминутно перехватывая его крепкой рукой, и переставлял с места на место, рыхля стёршимся резиновым наконечником грязный, слежавшийся снег.

Одна нога у него была отнята по самое тулово. Старое, в грязных засохших подтёках пальто было распахнуто на полуголой груди, а из-под лохматых чёрных кудрей в спускавшейся темноте нахально и безжизненно белел варёным рыбьим глазом холодный остановившийся взгляд. То были злость, мольба, вызов отчаявшегося, но не желающего смириться человека всему живому и устроенному в этот неприятный осенний день.

Он ненавидел свет этих жёлтых окон, скрывающих от него своё участие и тепло, здоровых людей, спешащих мимо по своим неотложным делам, замкнутых только на себе и не желающих оглянуться вокруг, холодный, пронизывающий насквозь ветер, свою исковерканную жизнь, и всем своим несчастным видом требовал внимания к себе. Во мне, как в случайном прохожем, он, должно быть, тоже сейчас видел своего врага, в то же время, уповая на жалкую унижающую надежду. Не говоря ни слова, он, не отрываясь, сверлил меня умоляющим холодом своих глаз. Я нерешительно шагнул в его сторону.

- Слышь, братишка, выручи, - нетерпеливо прогнусавил он, подавшись весь вперёд.

Глаза у него, я успел заметить, были вовсе не белые, а голубые, глубоко запавшие, остановившиеся. Тонкая кожа туго обтягивала высокий лоб и давно не бритые скулы. Белёсая частая щетина остановилась в росте от постоянного употребления алкоголя.

Бледная грудь под худой тельняшкой вздрагивала от налетавших порывов ветра, и он то и дело запахивал полы пальто, которые тут же раскрывались.

Руки с узловатыми негнушимися пальцами были жилистыми и хваткими, по-видимому, из-за долгой ходьбы на костылях. От правого уха вниз, через всю шею, тянулся грязный, плохо зарубцевавшийся бурый шрам. От мужика разило устоявшимся сивушным перегаром и луком.

- Ты прости, что так... - пряча глаза и не в силах больше ничего сказать, с не скрываемым надрывом проговорил он.

Запустив руку в карман, я пошарил и, выбрав из него всю оставшуюся мелочь, высыпал в его протянутую заскорузлую ладошку.

- Больше у меня нет.

Потом повернулся и, сделав несколько шагов, вдруг с пугающим отчаянием ощутил хлёткий звон пляшущих по каменным ступенькам столовой монет. Я застыл в пустом оцепенении и тут же почувствовал, как краска заливает лицо, и неведомая горячая тяжесть неудержимо окутывает ноги. Медленно обернувшись, я увидел, что по его небритым щекам беззвучно текут слёзы.

- Не могу я, браток... - тихо прошептал он.

Поглубже натянув на глаза кепку и ничего не ответив, я быстро зашагал по пустынной сырой улице, не представляя, куда она меня выведет. Я ничего не чувствовал и не сознавал, а только шёл вперёд, испытывая на себе тупые удары ветра, не замечая, как угасает день. Эта встреча внезапно перевернула во мне всё, заставила забыть о своих неудачах, кажущихся такими ничтожными в сравнении с горем этого человека.

По краям дороги тянулись в почерневшее небо сухими звенящими верхушками конические тополя. Их ветви с гулкой дрожью сталкивались и, нещадно ударяя друг друга, переплетались в тёмной вышине, издавая при этом невыносимый деревянный рокот. Выглядели они сейчас здесь почему-то нелепо, и от этого и ещё от незнания своих сил и от невозможности помочь людям, я ощутил себя таким же пустым, высохшим и звонким от боли, как эти тополя.

Прислонившись к шершавому стволу одного из них и чувствуя лопатками, как гудит ветер в его сухих ветвях, я стоял и смотрел через дорогу на мигающие огоньки афиш кинотеатра. За кинотеатром чернели высокие сопки, поднимавшиеся точно стены неприступной крепости, а со стороны моря слышался завораживающий протяжный гул.

Рядом, в ожидании рейсового автобуса, неловко укрываясь от ветра, стояло несколько человек. Ближе всех ко мне был старик в цигейковой, с кожаным верхом шапке. Сгорбившись и поглядывая по сторонам, он время от времени посасывал мундштук. Когда он затягивался, сигарета вспыхивала жарким огоньком, на мгновение озаряя его лицо, ветер стремительно уносил весёлые искорки, и она опять затухала.

- Это теперь надолго, - спокойно и чуть насмешливо сказал он.

- Здорово задувает.

- Приезжий? – не поворачивая головы, спросил старик.

- Да, - замешкавшись, проговорил я. - Как вы догадались?

- Курить будешь? – предложил он, протягивая раскрытую пачку

«Примы».

- Нет, спасибо.

Он сунул пачку обратно в карман.

- И откуда?

- Из Перми.

- Во-о-т как, - многозначительно протянул он, улыбаясь в темноте, и глянул через плечо на меня.

- Да, так, - угрюмо проговорил я.

Ветер бушевал всё ожесточённее. Неожиданно пошёл снег.

- Циклон идёт, - задумчиво проговорил старик.

- Ни разу не видел ничего подобного, - сказал я.

- Не видел – увидишь. Где остановиться думаешь?

- В том-то и дело, что негде.

- Тогда поедем сейчас ко мне. Не против?

- А ничего?

- Дочь гостит у матери. Ты мне не мешаешь.
- Вроде бы неудобно. Незнакомый человек всё же...
- А мы познакомимся. Ну, так как?
- Ладно.
- Ну и хорошо.

Семёныч, так звали старика, жил на южной окраине города, в одном из деревянных домов, приютившихся на берегу маленького залива. В залив впадала речушка, вытекающая из глубокого распадка, а неподалеку от устья через неё был переброшен мост. Когда мы шли по нему, вода так остервенело билась в его опорные сваи, что он весь содрогался.

У моста находилась лесопилка. Груды непригодного горбыля, намокших опилок и прочего хлама громоздились на её дворе. Дом старика стоял на песке, и от него ко всем другим домам и к проходящей рядом дороге тянулись настилы из не струганных досок. Набухшие от влаги, они были скользкими и, прогибаясь, сочно чмокали под ногами. Ветер не утихал ни на минуту.

На лестнице в лицо пахло холодной сыростью и неустроенным жильём. Добела стёртые ступеньки пронзительно поскрипывали. Дом был старый и за свой долгий век вынес, должно быть, не одну снежную бурю и не один ураган, но хуже от этого не стал. Обдутый бесчисленными ветрами, вычищенный обильными снегопадами и дождями, просушенный на щедром осеннем солнце, он только крепче ухватился за почву, ещё более надёжно врос в неё своими корнями, и свалить его было нелегко. Он переживал ту прочную мудрую зрелость, которая всегда надёжна и вызывает уважение.

- Давай, давай. Проходи. Сапоги не снимай, у меня не прибрано.

Скинув пальто и кепку, я прошёл в тесную кухонку, и сел на стул у покрытого клеёнкой стола. Снег за чёрным окном превращался в дождь, и было ясно слышно, как беспрерывно шумит прибой.

- Море рядом, - сказал я.

- А-а, бушует. Вот завтра встанем пораньше и пойдём к нему. Я тебе всё покажу.

- Хорошо, наверное, жить в такой близости от него.
- Я уже привык. Ты есть хочешь?
- Ещё как!
- Тогда располагайся. А я что-нибудь приготовлю.

Только сейчас я достаточно хорошо сумел разглядеть его худошавое смуглое лицо, словно высохшее русло реки, изборождённое глубокими морщинами. Бездонные глаза, в зависимости от освещения менявшие цвет и немало повидавшие на своём веку, были лукавы. Тонкие губы, кажется, сию минуту были готовы расплыться в подзадоривающей улыбке, но годы были уже не те.

Между тем, в нём чувствовалась его былая бурная молодость. Неловким напоминанием о ней было ухо, наполовину отхваченное каким-то острым предметом. Оно неестественно топорщилось, вызывая неопределённые чувства. Лучше было об этом не думать.

Я повернулся и стал пристально смотреть в окно, пытаюсь разглядеть сквозь непогоду белые пенистые барашки. Я смотрел до тех пор, пока глаза не заслезались, но ничего по-прежнему не было видно.

- Как там сейчас? – задумчиво спросил я.

- Лучше не придумашь.

- Нет, серьёзно.

- А вот ты сходи и узнаешь.

- Я за этим и приехал.

- В такую погоду суда обычно отстаиваются в укрытии, если есть возможность. Ну, а тем ребятишкам, которых море застало врасплох, я не завидую.

Он достал из портфеля бутылку водки и, зажав горлышко двумя пальцами, аккуратно опустил её на стол. Потом выставил варёную картошку, солёные огурцы и вытянутые рюмки из толстого синего стекла.

- Ну как, хорошо?

Я кивнул.

- А теперь будем знакомиться.

Он вытащил из заднего кармана брюк паспорт и протянул его мне. Я недоумённо посмотрел на него.

- Читай, читай, - осторожно наполняя рюмки, сказал он.

- Место рождения – город... Пермь, - не веря глазам, проговорил я. – Ну, надо же! Такое совпадение.

Семёныч улыбался.

- Я хочу выпить за твои успехи, - приподняв рюмку, сказал он.

- За вас, - ответил я.

Водка показалась крепкой и схватила за горло так, что выступили слёзы. Потом от неё приятно заохлодило внутри и, постепенно разливаясь по телу мягким теплом, отпустило. Я почувствовал, как неведомый груз незаметно спал с души. Захотелось говорить обо всём на свете.

- А хорошо вот так сидеть в тепле, когда за окном буря и шумит море, - сказал я.

- Да. Замечательно.

- И когда есть с кем поговорить об этом и о многом другом.

- Тоже верно.

- И если тебя ещё понимают.

- Да. Всё это так, - утвердительно кивнул головой Семёныч.

- По-моему, тут всё дело в тебе самом.

- Что ты имеешь в виду? – заправляя сигарету в мундштук, спросил он.

- Ну, вот то, что ты способен получать радость от всего этого.

- Может быть, - щурясь от резкого дыма только что прикуренной сигареты, задумчиво произнёс Семёныч. – А лучшее время года уже прошло.

- Я успел застать его.

- Тебе повезло. Осень на острове согревает всех. – И его тонкие губы расплылись в довольной улыбке.

- А вот если радость доставляет удовлетворение только тебе и никому больше, можно ли такое состояние считать счастьем?

Закинув ногу на ногу и опершись локтем правой руки о колено, старик, не двигаясь, сидел на табуретке и курил. Сизые плотные кольца дыма, плавно разливаясь, зависали под потолком и синели тягучим теплом кухни. Казалось, он не слышал вопроса. Он смотрел в окно. Я следил за его лицом.

- Своя воля – своя и доля, - медленно произнёс он. – Меру счастья каждый определяет для себя сам.

Он по-прежнему смотрел в окно.

- Да, именно так, - повторил он. – Выпьем?

- Пожалуй.

Семёныч аккуратно, с верхом, наполнил рюмки и, стараясь не пролить ни капли, не торопясь осушил свою.

- Ты закусывай, - сказал он, - закусывай. Вот капуста. Хлеб бери.

- Спасибо, - сказал я.

- Так вот, - после значительной паузы продолжил Семёныч. - Человек имеет полное право быть счастливым, и несмотря ни на что мы все живём в его предвкушении, потому что возможность быть счастливым заложена в нашей природе.

- Значит, счастье всё-таки стабильно?

- Пожалуй, что и так, - сказал он. – Нужно только найти его для себя. Но обнаружив однажды своё счастье, человек не должен останавливаться: он обязан двигаться дальше. Тогда счастье будет постоянно приносить удовлетворение и никогда не уйдёт. В счастье нельзя прекращать поиск, потому что само по себе оно инертно, и ничего не даёт и ни чему не учит, если отдаться только его переживанию. Важно развитие, а не успех.

Если уж пытаться определить для себя понятие счастья, как земное состояние, которое человек миновать не в силах, то лучше его представить таким расположением духа, когда даже если всё плохо, всё равно хорошо: в жизни найдено нечто самое главное, всё ненужное отброшено и ты не перестаёшь идти своим путём. В обыденной же жизни счастье, которое боится лишиться комфорта – ловушка.

- Интересно.

- Каждый в силу себя самого определяет жизнь. Ты вот сам определил свою меру?

- Нет ещё, - нерешительно проговорил я. – Я жизнь люблю.

- Ну, её можно любить по-разному.

- Как вам сказать... Я люблю её безмерно, - неожиданно нашёл я определение. – Это не громко?

- Нет, вполне.

- Пасмурный день может испортить только настроение, но не жизнь. Хотя в ней самой есть много несовершенного.

- Всё это непросто, - сказал он.

- Согласен. Но я хочу познать её как можно лучше, чтобы ответить на многие вопросы.

- У тебя всё ещё впереди.

- Да. И я хочу жить интересно.

- Давай за это выпьем.

- С удовольствием.

Мы выпили. Водка уже не казалась такой хваткой. Она ровно растекалась по телу приятной усталостью, увлекательная беседа не позволяла терять разум, и я совсем не чувствовал себя пьяным. Было хорошо.

- Рассуждаешь ты логично, - с одобрением заметил Семёныч, закуривая очередную сигарету.

- А можно с помощью логики объяснить жизнь?

- Хм-м... Человек дал всему свои названия, потому что это удобно, но с другой стороны, кроме него самого этого никто не сделает. Наверное, попытаться всё же стоит.

- Я тоже так думаю.

- При желании можно многое объяснить в жизни, - с достоинством произнёс он. – Скажем, для чего живёт человек...

- А вы для чего живёте? – спросил я.

Семёныч глубоко затянулся, и видно было по нему, что он собирается с мыслями. Я ему не мешал.

- Вот ты собрался сходить в море – это хорошо, - начал он. – Дерзай. Быть может, ты найдёшь себя. Всю свою жизнь я ловил рыбу и не жалею об этом. Я знал, мой труд нужен людям, и я старался делать своё дело хорошо и на совесть. Что может быть для мужчины лучше любимого дела, от которого получаешь удовлетворение? Но в себе я не замыкался: на берегу меня ждали четыре дочери, которым мы с женой дали жизнь и поставили на ноги. Жаль вот только, сына не получилось... На старости лет помаленьку плотничаю. Выделываю резную мебель и дарю её людям, потому что знаю: это приносит им радость, а мне – утеху. Пенсии-то вполне хватает. Так что я своей жизнью доволен.

Старик сидел раздобревший от выпитого вина и ладно высказанной мысли. Испытывая, по-видимому, долгое время недостаток в собеседнике, сегодня он отводил свою душу. Глаза поблескивали молодым задорным огнём, а на лице блуждала неясная, но довольная улыбка. Весь он был воплощением здравого смысла и большого жизненного опыта.

- Теперь, скажем, взять любого другого, - с нетерпением заговорил он опять. – Грех против людей совершает не только тот, кто, зная о существовании в себе таланта, не даёт ему выхода, но и тот, кто не знает и

ничего не делает, чтобы узнать. Человек, имея к тому все возможности, не хочет быть человеком.

- Но сама природа его несовершенна! – воскликнул я.

- Если так, то он – самое совершенное несовершенство, имеющее силы преодолеть его!

- Наверное, просто не надо себя жалеть, - предположил я. – Нужно драться за самое лучшее в себе, за то, что может озарить жизнь каждого человека.

- Если ты ничего не сделаешь, то и останешься ни с чем, так заведено в этом мире. Но ни одно искреннее усилие не пропадает напрасно, если помыслы твои чисты и связаны с развитием души.

- Должно быть не зря на кончиках пальцев каждого человека начёртана его судьба, не похожая ни на какую другую, и он, вероятно, обязан разгадать её, обретя свой путь к постижению единой для всех истины?

- Верно. И помни: за всё существенное в жизни следует заплатить что-то равное, по крайней мере, не меньшее, и что это - как ни твои усилия, терпение и полная самоотдача! А ещё усталость и боль... Ведь ты – человек, тебе свойственно божественное великодушие. И если однажды такое положение существующих вещей доходит до тебя, то значит, ты осознал себя, свою жизнь, и, конечно, понимаешь – кто ты, откуда пришёл и куда идёшь!

Семёныч долгим взглядом посмотрел на меня, потом лихорадочно налил себе рюмку и тут же опрокинул её.

- Совесть не должна погибнуть, - уже более сдержанно добавил он.

- А что такое совесть?

- Совесть – есть наивысшая нравственная сила, и именно она должна определять жизнь человека, а не успех или счастье. Правда, её ещё нужно сначала заработать. Люди не должны верить в заданность обречённости, якобы уготованной им. Человек должен поверить в себя, в своё назначение на земле, потому что каждый – частица всего живого, и эта искорка рано или поздно кого-нибудь согреет. Если в мгновении заложен плод тысячелетий, то тем более несправедливо было бы не верить в будущее. Ведь не зря же за человека погибло столько людей! Ради этого только стоит желать миру добра. Надо любить людей и верить в них. Грош цена в базарный день тем, кто этого не понимает.

Я сидел ошарашенный этими убедительными откровениями человека, который имел полное право на их высказывание. Был повергнут всем чистым, грустным и непонятным, что навалилось на меня за этот нелёгкий день, - беснующимся за окном, под стать моему настроению, морем, ветром, неутихающей болью, и чувствовал себя так, как будто уже прожил целую жизнь.

Длинный песчаный пляж, огибая плавной линией небольшой залив, неожиданно упирался в высокий с крутыми склонами холм, названия которому местные жители ещё не придумали. Вернее, название у него было – Манькин Пуп, но так называют почему-то все не к месту выросшие из земных недр возвышения. Самому же мне казалось, что Манькин Пуп появился именно там, где ему и надлежало быть. Я, как только увидел его, сразу поклялся себе, что заберусь на самую вершину, чего бы это ни стоило.

Холм выгодно отличался от всех других возвышенностей, раскинувшихся поблизости. Их пологие округлые бока лениво покоились здесь в любую погоду, ничем не задерживая взгляд и не пытаясь привлечь к себе внимание. Всё происходящее внизу их ничуть не интересовало.

Долгое время равнодушно взирая на суету людей, смену времён года, на то, как зажигаются над морем зелёные звёзды и рождается день, как жестокий норд-ост нагоняет тяжёлые серые тучи, заслоняя ими горизонт, и как апельсиновой коркой ущербно застывает в предрассветном весеннем небе луна, обдавая мир одиночеством и холодом своего мутновато-оранжевого света, они уже ни чему не удивлялись, а потому когда-то давно погрузились в глубокий сон, не желая уже больше никогда просыпаться.

Дожди чесали им спины холодной прозрачной водой, сильные упругие ветры заботливо утирали плотные могучие тела, снег ласково укрывал своим тёплым покрывалом, но ничего этого они не замечали. Они принимали это как должное. Вся жизнь им суждено было проспять, потому что из-за своего равнодушия и лени они не находили вокруг ничего интересного.

А ведь всё было не так, и холм по соседству с длинным песчаным пляжем хорошо это понимал. Он был ничуть не младше других холмов и тоже немало повидал на своём веку, но каждый день встречал радостно, как на заре своей молодости, когда всё окружающее дурманит, ты не устаёшь восхищаться жизнью, и долгие-долгие годы впереди не пугают нескончаемой чередой однообразия и безысходности.

Мир не казался ему понятным, трагичным и обречённым, он вселял в душу не желающего стареть холма лишь веру в неизменную ценность всего живого. Это было написано на его крутых ребристых склонах, густо покрытых синевой пихты и салатной свежестью гибкого курильского бамбука.

По прочному главному хребту тянулась вверх узкая, еле приметная тропка. Наиболее зелёной стороной холм был обращён к морю, а голым осыпающимся песчаником выходил на север.

Стылый бамбук задумчиво и потаённо похрустывал на ветру. Что-то таинственное было в этом холме. Какая-то загадка, которую непременно хотелось разгадать: заберёшься на него, и, может быть, оттуда откроется такое, чего уже больше никогда и нигде не увидишь. Тайна эта, как мне казалось, хранилась там, на самой вершине, в гуще разлапистых хвойных ветвей, ласково переплетающихся от дуновения просоленного чистого ветра.

Песок у подножия холма был чист от снега. Небольшими островками снег лежал у дороги, на холмах и обкатанных глыбах вдоль уреза воды, но на песке его не было. Близкая вода не позволяла ему долго залёживаться, слизывая зелёными тягучими языками его сахарную, ещё не окрепшую плоть.

На берегу валялась всякая всячина: выброшенные водоросли, свернувшиеся в бесформенные комья и резко пахнувшие в морозном утреннем воздухе, старые, отшлифованные водой и излохмаченные камнями ветви деревьев, в беспорядке разбросанные по всему пляжу, мёртвая, ещё не исклёванная чайками и не иссохшая рыба, перевёрнутые скрюченными клешнями вверх бездыханные фиолетовые крабы, разноцветные кухтыли, банки из-под пива, рваные куски каучука, японские туфли и множество самых разнообразных размеров и форм пузырьков... Ведь совсем неподалёку, почти – напротив, располагалась таинственная Япония.

Весь песок был усеян свежими выбросами, и чайки, низко витая над берегом, жадно набрасывались на ещё не тронутую никем добычу. По берегу залива их собралось видимо-невидимо.

Птицы при нашем приближении резко и нетерпеливо вскрикивали, нервно перелетали и, кося ненасытным взглядом и тревожно хлопая крыльями, усаживались в нескольких шагах от покинутого места. В момент крайней опасности, когда уже невозможно было держать допустимое расстояние, они неожиданно взмывали, с неудовольствием оглашая округу гулким гаканьем, но совсем не улетали, не желая покидать только разгоревшийся пир. Они вились над головой как обезумевшие, и крик стоял неимоверный.

Мы сидели с Семёнычем на старом облупленном баркасе, перевёрнутом кверху днищем, и наблюдали, как теряется в лёгкой дымке остров Монерон. Баркас лежал на чистой песчаной отмели, гладкой и отсвечивающей, как зеркало. Было время отлива.

- Далеко до него? – спросил я.

- Миль двадцать будет, - чуть помедлив, ответил Семёныч.

- Весь как на ладони, - с удовлетворением произнёс я.

- Если верхушка ясно просматривается – жди плохой погоды. Здорово, а?

- Да-а...

- А вот там, - он махнул рукой в сторону моря, - на брекватере, весной появляются сивучи. Горланят весь апрель напропалую, а потом уходят. Брекватер тянется вдоль береговой полосы, на которой раскинулся городок, и они почему-то облюбовали место именно здесь, напротив большого распадка, где береговая линия образовала уютную и тихую бухточку. Близость людей их не смущает. Они всё равно как эмблема нашего города.

- Городок-то больно неприметный.

- Это верно – глухомань, да только зачем ему быть больше? Одни рыбаки и живут. А море всех кормит.

- Что это за птицы с вытянутой, словно бутылочное горлышко, шеей? – спросил я, заметив неподалёку густо усеявшую самый край брекватера чёрную стаю.

- Где? – сразу оживился Семёныч.

- Вон, на камнях, - указал я рукой.

- А-а, это «кочегары», - с каким-то даже удовольствием произнёс он. – Так у нас бакланов называют. Оперение у них действительно чёрное, но с металлическим зелёно-фиолетовым отливом. Они превосходные ныряльщики. Японцы используют их в добывании жемчуга. Ночью, при освещении, выходят на лодках в море, привязывают птиц бечевой за лапку и опускают на воду. Ныряя в поисках добычи, бакланы ухватывают клювом всё, что находится в раскрытой раковине, и очень часто им попадаются жемчужины. А может быть, их привлекает блеск драгоценных горошин...

- И глубоко им удаётся занырнуть?

- Однажды у берегов Сахалина нам попался при донном тралении баклан, клюв которого был накрепко зажат створками приморского гребешка. Они порой достигают очень внушительных размеров. Так вот, баклан, видать, сунулся в поисках корма в створ открывшейся раковины, а гребешок захлопнулся. Так их и вытащили вместе. Глубина там, помнится мне, была около сорока метров.

- Ух ты! Никогда бы не подумал! – удивлённо воскликнул я и поглядел на птиц.

Бакланы, тихо усевшись в ряд спинками к берегу и смешно вытянув шеи, смотрели в море. Над ними с надоедливym гамом кружили чайки. Тусклое море было безмятежно в эти утренние часы. Пара бакланов неожиданно снялась и, часто взмахивая крыльями, низко потянула над водой вдоль берега.

- Полёт у них такой же прерывистый, как и у уток, - сказал я, провожая взглядом исчезающие на сером фоне точки.

- Пожалуй, что и так. Только мясо очень жёсткое и отдаёт рыбой. Птенцы гораздо нежнее на вкус. В послевоенные годы мы охотились на них с дубинками. Ночью, с фонарями, подходили на яликах вплотную к брекватеру и глушили их сонных, в темноте, складывая в большие холщовые мешки. Не могу сказать, чтобы подобное занятие доставляло нам удовольствие, но, какое ни на есть, это всё же было мясо.

Семёныч рассказывал об азартной, совершенно захватывающей, но очень изнурительной добыче сайры, когда применяют большие фонари, свисающие над водой и привлекающие своим светом огромные косяки рыбы. Фонари поочерёдно гаснут, сосредотачивая весь косяк в одном месте, под него незаметно подводится ловушка, затем свет полностью тушится, включают пульсирующие красные огни, которые на некоторое время парализуют рыбу, и она оказывается в западне. О том, как японские шхуны-кавасаки забирались в территориальные воды у Курильских островов, бросая краболовки и промышляя ночами сайру, и как наши малые сейнеры в

темноте подходили к ним вплотную и матросы лупили из ружей по фонарям, слыша вопли японцев, которым осколки обжигали лица.

Потом он вспомнил о камикадзе, японском лейтенанте Квантунской армии Тоикаве, чудом уцелевшем во время одного из эпизодов последних дней войны и не имеющим возможности возвратиться на родину... Лейтенант должен был в любом случае погибнуть. Такова была жертва существующей религии. Этого требовал самурайский кодекс чести. Семёныч мало-мальски обучил его русским словам, тайнам рыбацкого ремесла, и они вместе ходили в море. Но японец не мог вынести тоски по родной земле и всё-таки сделал себе харакири. Старик похоронил его на вершине того самого холма, с которого было видно море и остров Монерон. Весной он посадил рядом с могилой хрупкий вишнёвый куст...

Ему было что порассказать, а мне было что послушать. Семёныч знал о жизни всё, что можно о ней знать в его возрасте. От него пахло многими морями, неизвестными мне, прекрасно и не скупясь прожитой жизнью, и табаком. Все эти запахи были пропитаны крепким душевным здоровьем и уверенностью человека, который точно знает, что делает в жизни.

Старик сидел неподвижно, попыхивая сигаретой. Чувствовалось, что он порядком устал от воспоминаний, разбередивших душу. И в то же время это была его жизнь, и ему было приятно говорить о ней. Он улыбался.

Двухэтажный домик, где помещался отдел кадров базы тралового флота, неприметно приютился на небольшой тихой улочке городка, почти у самого моря. Часть его окон выходила непосредственно на один из самых оживлённых причалов, откуда время от времени доносилось натужное поскрипывание вращающихся «гансов», гулкое лязганье, удары о поржавевший металл в рабочем доке и отрывистые гортанные возгласы членов экипажей загружающихся перед дальним рейсом судов.

В воздух то и дело взлетали остроплённые сетки с железными бочками, ящиками, мешками и, молниеносно прочертив уверенную линию в безучастном к бойкой портовой жизни небе, исчезали в глубокой ненасытной утробе вместительных трюмов. Туда же бесчисленными тёмно-зелёными и бурыми кольцами, в тугую перетянутые тросом и расцвеченные жёсткими капроновыми кухтылями, с величественной грациозностью неторопливо вползали траловые сети.

Шум и звон напряжённой портовой жизни наполнял всё вокруг каким-то замечательным смыслом, зажигал неугасимой энергией, и только море оставалось беспристрастным в своём сдержанном великолепии. Море, готовое в любой момент принять в свои объятия очередные экипажи смельчаков, в спокойном ожидании тихо плескалось у причала, завораживая неведомой силой.

В узких облупленных стенах коридоров, давно не видевших спасительного ремонта, было оживлённо, накурено и душно. Ежеминутно

хлопали двери, слышались непрерывный скрежет машинок, обрывки неясных фраз, телефонные звонки, гулкое шарканье и топот многочисленных ног.

Люди, в помятых форменных фурах с крабами, в плащах, шубах и телогрейках, стуча сапогами по истёртым половицам и сталкиваясь между собой, спешили по неотложным делам. Они приветствовали друг друга, тут же обменивались впечатлениями и новостями, решали дела и назначали встречи, спорили и мирились, боцмана вербовали себе команду, а матросы у двери инспектора по рядовому составу не теряли надежды попасть на хорошее добывающее судно, в нетерпении ожидая своей очереди.

Одни, в возбуждённой горячке последних предрейсовых дней и твёрдом намерении довершить оставшиеся на берегу дела, готовились к скорому отходу в долгожданную экспедицию. Другие, с худыми, заросшими лицами, с усталыми от бесчисленных тревожных и бессонных ночей глазами, с натруженными и опухшими за долгие месяцы рыбалки отяжелевшими руками, медлительные в своём пока неловком движении по земле, возвращались к оставленной когда-то и такой желанной теперь жизни...

Здесь принимали на работу, увольняли, комплектовали боевые кадры, стекающиеся со всей страны попытать своего счастья, научиться рыбацкому ремеслу, повидать жизнь и самому принять в ней непосредственное участие. Разные люди, сталкиваясь между собой, в конце концов, притирались друг к другу, а опасная и трудная работа скрепляла их отношения прочной и нерушимой дружбой.

Всё это происходило на ходу, шумно, решительно, но без ненужной суеты, с должным знанием дела и завидной хваткой, которые приходят не сразу, а лишь с годами нелегкой работы на море. Этот водоворот незамедлительно подхватил и меня тоже, и понёс с собой, не давая опомниться. Оказавшись неожиданно в таком пёстром, разноголосом и многоликом окружении, я, честно признаться, растерялся.

Обволакивая непривычной тяжестью, спёртый воздух кабинетов неприятно дурманил. Отяжелевший от затхлых стен и груды бумаг, он стоял во всех помещениях, и на него не обращали внимания. Но после бодрящей свежести улицы с запахами маслянистого топлива вперемешку с морской водой, едко щекочущей нос каболки, краски, окислившегося холодного металла, мокрых сетей, сваленных в огромные вздыбленные кучи, укрытые цветастыми прорезиненными лоскутами, и сладковатого тука, душная комнатная атмосфера показалась невыносимой и неестественной, а навязчивая затея пойти в море – бессмысленной.

В этой суматохе вдруг захотелось, закрыв на всё глаза, развернуться и сбежать, но что-то удержало.

За высоким деревянным барьером, перегораживающим кабинет на две части, сидела пышнотелая инспекторша и, неустанно отвечая на повторяющиеся через каждую минуту телефонные звонки, умудрялась проделывать прорву всяких дел. Ловко управляясь с внушительной кипой

документации, она, видимо, точно для себя представляла, кого, на какое судно и в какой должности требуется направить, а кого списать, соответственно предоставив выработанные за экспедицию отгулы.

Она наперечёт знала почти всех членов экипажей, начиная с капитана и заканчивая матросами, к каждому относилась, как он этого заслуживал: одних встречала с моря или провожала с пожеланиями удачи и добра довольно бурно, других – более сдержанно, но не менее участливо. Долгие годы работы с людьми, тысячами прошедших перед её глазами, приучили к наблюдательности, пронизательному взгляду на людские судьбы, внимательному и терпеливому отношению к ним. Богатый опыт зачастую помогал ей в считанные мгновения составить для себя верный портрет незнакомого человека, угадать в нём будущее, ещё скрытые от него самого задатки и возможности, не боясь поставить их обладателя в соответствующие для него условия, чтобы тем самым достичь благоприятного для обеих сторон исхода.

Наблюдая, с каким заботливым уважением и даже некоторым заискиванием обращаются к ней здоровенные, заросшие бородами детины с прокуренными, пропитыми и охрипшими от постоянной работы на пронизывающем холодном ветру голосами, уже давно познавшие горечь настоящих утрат, радостный мир рыбацкого счастья и веру в таких же, как и они сами, парней, а также - не старые, но уже заслуженные тридцатилетние капитаны, успевшие незаметно поседеть, можно было определённо заключить, что Эмма Романовна пользуется безукоризненной репутацией сильной, умной и справедливой женщины, которую за глаза на базе называли «Мамой».

Несколько ошарашенный оживлением в конторских коридорах и размеренной деловой обстановкой назначения на суда, которое представлялось мне сейчас каким-то непостижимым в своей несуетливости, чёткости и уверенности таинственным священнодействием, я никак не решался нарушить этот трудовой порядок своей жалкой, как мне казалось, просьбой – зачислить меня матросом на любое добывающее судно, в ближайшем будущем покидающее землю. Наконец, когда народу несколько поубавилось, я подошёл к разгораживающему кабинет деревянному барьеру, за которым располагалась инспектор, и неловко протянул ей свои документы.

- Чего тебе, милый сын? – ласково проговорила инспектор, раскрывая мой паспорт.

- На работу возьмёте? – сдерживая волнение, спросил я.

- Отчего не взять, рабочие руки нам нужны. Специальность какую имеешь? – не глядя на меня, спросила она.

- В смысле ... как?

- Электрик, механик, моторист... - И она вопросительно подняла на меня глаза.

- Я матросом хотел... - неуверенно произнёс я.

- Тогда предъяви свидетельство.

- Какое ... свидетельство?

- О том, что ты являешься матросом второго класса. Или первого?

- У меня такого свидетельства нет, - недоумённо проговорил я. – Я даже и не думал...

- Пойдёшь матросом-уборщиком, - спокойно сказала она и начала заносить что-то в потрёпанный журнал.

- Как ... уборщиком?! А как же?

Я был совершенно растерян, и Эмма Романовна, конечно, это заметила. Под аккомпанемент добродушных возгласов и улыбок за моей спиной она объяснила, что уборщик на судне – это законный и полноправный член экипажа, пусть с самым маленьким окладом, но с ничуть не меньшей ответственностью и физическими затратами.

- Ну, так как, пойдёшь? – лукаво посматривая на меня, спросила она.

Молниеносно сменяющие друг друга чувства и мысли сдавили меня в своём сковывающем объятии, что-то тупо толкнулось свербящим комком в груди и, цепенящим холодком прокатившись по всему телу, застыло в горле. Мне даже показалось в этот миг, что кругом воцарилась неестественная тишина, затаившаяся в ожидании развязки.

- Пойду, - глухо и даже чуть вызывающе выдавил я, оборвав тем самым все сомнения, неясные и, должно быть, ложные предчувствия, страх перед неизвестностью, а также порядком затянувшийся поиск организации, которая бы взяла на себя смелость моего оформления на работу и прописки.

Решение было принято, и, как всегда бывает в подобных случаях, на душе стало гораздо легче. Но накотившее после длительных переживаний и тревог облегчение легло на плечи не меньшей тяжестью, чем само ожидание. И всё же я уловил в себе приятные нотки удовлетворённости.

- Ну, вот и хорошо, - с удовольствием и чуть заметной усталостью подвела итог Эмма Романовна, и благословила меня на прощание материнской улыбкой, вручив при этом ворох шелестящих направлений на прописку, медицинскую комиссию, курсы по технике безопасности и в межрейсовый дом отдыха для моряков, служивший своеобразным общежитием тем, кто временно находился на берегу. Не робей, мол, малыш, всё будет тип-топ.

Я, в свою очередь, скривившись от переполнявших меня чувств и ещё не отойдя достаточно от всех потрясений, неразборчиво буркнул ей что-то в ответ и пробкой вылетел на свежий воздух.

Город, местами припорошенный лёгким снежным покровом, замер в ожидании настоящей зимы. Но зима приходит не спешила.

Внешний облик Невельска на первый взгляд был очень неприметен, но именно это обстоятельство являлось, как я понял впоследствии, его настоящим достоинством. Подчиняя тебя неведомой, влекущей к более близкому и верному знакомству с собой силе, город брал своей провинциальной непосредственностью, незамысловатой хаотичностью расположения малочисленных домов и улиц, вытянувшихся вдоль всего

побережья, не отягощёнными людским потоком тротуарами и тишиной. Здесь не было кипящей суеты многотысячной толпы, нервотрёпки на больших перекрёстках, тесноты автобусов и трамваев, разнотонального перезвона, гама, гроханья и рёва, с которыми быстро умудряются свыкнуться жители крупных городов на материке, но было самое главное и замечательное, что может иметь такой небольшой приморский городок, - море.

Я быстро привык тут к состоянию, когда идёшь, к примеру, по улице – кругом стоят дома, ничего не видно, кроме них, а сверху – небо, и вот чувствуешь нутром, уж, не знаю как, что за этими домами или забором - раскинулось море... Ощущение это преследует постоянно, и не пропадает. Оно только постепенно стирается, со временем притупляется, но в какой-то момент вновь возникает. Так бывает у всех, кто живёт рядом с морем и слышит его шум.

Вне порта, в котором всё кипело, рвалось и дыбилось, жизнь как будто остановилась в глубоком ленивом раздумье. Сонливость окружающих город сопкок передалась его улицам, домам и машинам, невесело переваливающимся через дорожные колдобины. От бесцветных лиц обшарпанных бесконечными ветрами домов, облезлых полузаснеженных сопкок, разбитых в мутную грязь дорог веяло промозглой обыденностью и равнодушием, которые, казалось, просочились в дома и людские сердца.

Плескавшееся поблизости море изредка обдавало город свежестью, но неиссякаемая чистота его никак не влияла на некоторых людей, погрязших, порой не по своей вине, в расхристанной неопределённости, преступном безделье и какой-то нечистоплотной вялости. То ли погода так действовала на них, то ли семейные неурядицы, то ли неудовлетворённость собой. Скорее, всё это вместе взятое. Но ужаснее всего было то, что хандра, закрававшаяся в одну нарушенную жизнь, неминуемо начинала разъедать и другие, окружающие её души, и приостановить эту цепную реакцию казалось невозможным.

Ощущая вокруг это тягостное затишье, готовое в любой момент взорваться недружелюбием, я подсознательно уже боялся тех трудностей с пропиской, которые, как мне казалось, именно в такой хмурый день возникнут в моём и так весьма шатком положении. Так оно и случилось.

Паспортистка с заметным неудовольствием и плохо скрываемым нетерпением, готовым ежеминутно разразиться открытым раздражением, выслушала мою уже затасканную историю о непрекращающихся мытарствах и холодно сообщила, что беззакония от всяких проходимцев, не удосужившихся за полтора месяца прописаться в погранзоне, ни в коем случае не потерпит, и мой вздор её не интересует.

Глядя в безжизненные глаза этой сорокалетней на вид женщины и не находя в них хотя бы отдалённого отблеска понимания и участия, от захлестнувшего волнения не узнавая самого себя, я что-то громко и настойчиво рассказывал ей. Совершенно забывшись, не помня, где нахожусь,

я размахивал руками перед её невозмутимым, беспристрастно белеющим лицом, пытаюсь доказать, убедить и, наконец(!), разжалобить. Но всё было тщётно.

Противно холодящий душу стыд собственной распущенности и унижения, мгновенно настигший после короткого замешательства, тотчас вернул меня к действительности. Я ненавижу себя за эту слабость, что позволил минуте назад здесь, на глазах убивающего безразличия, непробиваемой тоски и неуважения, и не находил средств борьбы с ней. Я был, наверное, очень жалок, стоял обалдевший от этой нечеловеческой неприступности и не мог уже выговорить ни слова. А в её серо-зелёном размытом взгляде не отражалось ничего, кроме ... презрения.

- Без визы начальника не имею права, - прошептала она недвигающимися губами.

И опять, только теперь уже в кабинете у высокого чернявого, угрюмо сосредоточенного майора, я лихорадочно и заученно повторял опостылевшие слова, пытаюсь добиться одного – понимания...

А через каких-нибудь полчаса, не в силах сдержать своих чувств, я вернулся с официальным разрешением на прописку, и она, с нескрываемой злобой выдернув ящик письменного стола и одарив меня испепеляющим взором, с размаху шлёпнула в паспорт чёрную густую печать.

- Плыви-и, путеше-е-ественник...

Но я уже не слышал конца предательски вонзившейся в спину фразы. Ценой собственной душевной боли, такой огромной и душной, я всё же добился - чего хотел.

Томящая неизвестность судьбы еле ощутимо дохнула мне в лицо, и я вдруг подумал, что в этот невесёлый, набухший тяжестью день нет, наверное, во всём городишке человека более счастливого, чем я.

МДО – межрейсовый дом отдыха, был единственным временным пристанищем моряков, только что пришедших с моря, а для многих из них – чуть ли не родным домом. С виду обычное общежитие, неприметно приткнувшееся к обрывистому склону сопки, неудержимо и в тоже время как-то нехотя взбирающейся ввысь, оно, оказывается, таило в себе много необычного и неповторимого, присущего только подобным заведениям, которые не часто приходится встречать на своём жизненном пути.

Но этой неповторимости нельзя было заметить на его порядком поистрепанном фасаде, на лицах администраторш, в полусонном бездействии проводящих нескончаемые дни бессмысленного просиживания у окна, у крикливых дежурных по этажам, бездумно будоражащих запоздалое затишье накуренных, в густом удушье ночного перегара застигнутых утренним светом комнат... Не чувствовалось её и в длинных, узких коридорах, плотно устеленных вишнёвыми ковровыми дорожками, мягко скрадывающими шагами бесчисленных ног... В послеобеденные часы дом

хранил ничем не нарушаемую тишину, и я поверил в это первое впечатление покоя, уюта и белизны, настраивающее на спокойное проживание в обыкновенном четырёхместном номере.

Поднимаясь на пятый этаж по широкой лестнице, выходящей окнами на безжизненные склоны сопки, заснеженную железную дорогу у их подножия и маленький красно-белый шлагбаум, я невольно проникся необыкновенно тихим теплом пустынных коридоров, чистотой светлых подоконников и сокровенным ощущением хотя и временного, непрехотливого, но своего жилья. Частая смена обстановки в течение двух предыдущих месяцев приучила меня быстро и сравнительно безболезненно приспосабливаться вне зависимости от настроения.

В комнате было сумеречно, и в левом верхнем углу окна, изредка вздрагивая, легонько дребезжал кусочек стекла, неопратно заклеенный по трещине голубой полоской изолянта. Наскоро заправленные койки, симметрично расставленные по углам, дышали нехитрым уютом. Тяжёлый обшарпанный шкаф, неясно мерцая пронизанным мельчайшими паутинками зеркалом, устало прислонился к стене.

В центре комнаты, неловко прикрывая разохшийся вздутый пол, лежал аккуратно расстеленный, не первой свежести коврик. На стене висела карта Сахалинской области, а на столе, с неумолимой размеренностью, пощёлкивали часы.

Бросив на стул сумку, я зажёл свет и тут же понял, что этого не нужно было делать: что-то важное ускользнуло из комнаты. Нащупав выключатель, я вернул всё в первоначальное состояние и, постояв немного, как бы убеждаясь в верности воцарившегося порядка, медленно подошёл к окну.

Глубоко засунув руки в карманы пальто и плотно сжав их в кулаки, я стоял и смотрел туда, где, нарушая горизонт, небо смешалось с морем, превратившись в сплошную бездну, - недостижимую, пугающую и всё-таки манящую. Она как будто злилась, недовольно набирая в глубине себя непомерную силу и наливаясь этой пугающей темнотой, величаво нашёптывая вызов, который мог быть по плечу только человеку, принявшему его во имя познания собственной силы...

... Поздним вечером, возвращаясь от Семёныча, я увидел, как лихорадочно посверкивает, подстёгиваемая тугими толчками ветра, болезненная желтизна окон дома. Он нёс в себе что-то необычное и отчасти ерническое, значительно отличаясь от того, каким я оставил его днём. Неожиданно застав дом переполненным, шумным, в дымном угаре, я не мог узнать ничего вокруг, - такие удивительные противоположности таились в нём.

То необычайное оживление, что пробуждалось здесь с приходом вечера, разухабисто несли люди, связавшие свою жизнь с морем. Естественные в восприятии жизни и в своём тяжёлом труде, моряки так же незамысловато отдыхали, нередко сдабривая своё пребывание на берегу крепкими напитками, что не могло не повлечь за собой вытекающие из этого

последствия. В большинстве это были далеко не лёгкие судьбы, но именно они создавали дому репутацию, и поэтому не всегда она была лестной.

Не без труда поднявшись на пятый этаж и преодолев заслон из мечущихся по узкому коридору разгорячённых тел, выкриков, перебивающих друг друга мелодий и гулко-го стука шаров в бильярдной, я подошёл к своей комнате и, постучав, отворил дверь.

Под потолком ярко и весело пылала не защищённая абажуром лампочка. На одной из коек, ближе к двери, лежал, уткнувшись в книгу, коренастый веснушчатый парень. Когда он поднял лицо, я увидел, что глаза у него зелёные и чистые, а волосы над самым лбом упрямо свиваются в весёлый, по-мальчишески озорной вихор.

Прямо над его кроватью, на цветной потрёпанной фотографии замер в миг своего сольного исполнения великий Луи Армстронг: лоснящееся от натуги лицо, ноздри раздуты, тугие маслины глаз отрешённо подёрнуты сладостной слитностью с мелодией и инструментом, крепкие коричневые пальцы унизаны громоздким золотом колец... Гимн музыке, одним словом.

- Привет, - сказал я.

- Здорово, - ответил парень. – Это ты днём оставил вещи?

- Да. Где у вас тут свободная койка?

- Бросай кости рядом со мной.- И, не вставая, он протянул для приветствия ладную сухощавую ладонь. – Стас.

Ответив на рукопожатие, я кинул взгляд на стену:

- Труба номер один?

- Она самая.

Стас перевернулся на правый бок и уселся на койку, свесив босые мускулистые ноги.

- Нравится джаз? – скидывая пальто и опускаясь на кровать, спросил я.

- Угу... Он целиком замешан на импровизации, на искреннем душевном порыве. В музыке это главное.

- Да, малый был экспрессивный. То, что он оставил – гениально и, наверное, будет жить вечно.

- Немножко высокопарно, но верно... Начинал он разносчиком молока, угольщиком, шофёром, а вечером отправлялся в кабачок и играл до утра. Спал по три-четыре часа в сутки. После него на трубе просто нечего делать, но хочется повторить, и быть таким же правдивым и естественным...

Он достал из-под подушки весело отливающую золотом трубу и с плавным подъемом, немного вибрируя звуком, выдул начало какой-то известной мелодии. В стену, так что посыпалась штукатурка, загрохотали, и послышалось приглушённое трёхэтажное послание ко всем матерям.

- Не обращай внимания, - спокойно проговорил Стас. – Это Генка, дракон с «Севера». Всё злобствует на меня.

- Весело у вас тут.

- Привыкнешь. Я тоже сначала бесился, а сейчас как-то даже не могу без этой свистопляски. Правда, это ещё цветочки. Ищу покоя в музыке.

- Друзей что ли нет?

- Не то... Музыка подхватывает тебя и уносит на своих крыльях. Когда находишься в этом полёте, воображение неиссякаемо. В общем, непередаваемое чувство.

Он опять осторожно приложил мундштук ко рту, прежде любовно протерев его рукой, и нарастающее ровно полилась в воздухе хрипловатая мелодия. Тотчас стена содрогнулась от ударов так, что зеркало чуть не соскользнуло на пол.

- Вот видишь... Тренируюсь днём, когда никого нет. В море легче, вышел на палубу – и ничего не мешает. А здесь, сам понимаешь, никого моя музыка не интригует.

- Я тоже люблю музыку, но любая песня когда-нибудь обрывается. Лучше песни – дорога. У неё нет начала и конца, она более естественна и длится в душе бесконечной музыкой.

Пошарив в сумке, я извлёк оттуда ещё один оставшийся у меня портрет Хемингуэя и прикрепил над своей койкой. На небольшой фотографии он был изображён в толстом грубоватом свитере, ворот которого тяжёлым кольцом облегал шею: по-юношески сосредоточенный, мечтательно задумчивый и в тоже время - очень земной.

- Взаимообразно, - произнёс я, глянув на противоположную стену. – Довольно редкая фотография. Таким его знают мало.

- Пойдёт, - улыбаясь, проговорил Стас. – Этого парня мы тоже знаем.

- А где остальные? – улёгшись на койку и медленно оглядев комнату, спросил я.

- Ребята сегодня на вахте. Утром придут, - сказал Стас, укладывая своё сокровище под подушку.

- Что они за люди?

Стас посмотрел на меня и понимающе кивнул головой.

- Старые кадры. Проверенные. Живут здесь годами. В море уходят – место остаётся за ними. Возвращаются полноправными хозяевами. Ребята что надо. Угрюмые вот только. Словом не перекинуться. Это хорошо, что тебя к нам подселили.

- Что же тут хорошего?

- Вместе веселее. – И он обезоруживающе улыбнулся.

- Долго засиживаться здесь я не намерен.

- Тебе и не дадут. Под Новый год выгонят всех в море: целая флотилия уходит на митьку голубоглазого.

- Это ещё что?

Он откинулся на подушку и, скрестив конопатые руки, заложил их за голову.

- Минтай так зовут. Главное, попасть на хорошее судно.

- Именно это тебя интересует?

- И это тоже.

- А что ещё?

- Как тебе сказать... Когда четыре года назад я приехал на Курилы с единственной целью – заработать, для меня всё было ясно. Зашибу монету и уеду. Но не тут-то было. Море – сплошное болото, которое незаметно засасывает так, что выбраться уже не хватает сил. Вымотаешься в экспедиции, навкальиваешься до одурения, и думаешь: всё, приду из рейса – завяжу, баста! Но проходит в отгулах неделя-другая, и уже сосёт под ложечкой. Это непередаваемо. Пока сам не испытаешь – не поймёшь.

- А как же музыка?

- Музыка ... остаётся музыкой, - задумчиво глянув на портрет на стене, проговорил Стас.- И будет всегда, пока жив человек. Как ты думаешь?

- Думаю, ты прав, - сказал я.

Если ты всегда старался делать то, что тебе по-настоящему хочется, и то, что по-настоящему любишь, и у тебя это получалось, то со временем к чувству самоуважения добавляется непередаваемое ощущение подлинной радости и счастья, которое тебе не смогут принести даже самые близкие люди, но которое ты сможешь дарить каждому, кто в нём нуждается. И когда от этого ты чувствуешь в себе спокойную твёрдость, великодушие и терпимость, и ты делаешь то единственное, что должен делать, всё это приятно покалывает твою мужскую гордость. Ты верен себе, своей мечте, и такая жизнь тебе по душе.

Но бывают дни, когда не хочется о чём-либо думать, друзья далеко, тебе некуда спешить, и время становится безграничным. Сухая осень, когда сочный холодный воздух бодрит и наполняет свежестью, а листья приобретают цвет нежных поцелуев и от этого становятся слегка грустными, почти прошла. Незаметно подкрались нудные дожди и сильные ветра, которые срывали жёлтые листья, уносили их неведомо куда, и землю покрывал снег.

С его приходом ветра не прекращались. Они становились только более отчаянными и злыми, и мне очень нравилось, когда снег вперемешку с дождём хлестал в лицо. В такие дни я любил бродить по берегу моря.

Выпавший снег принёс с собой великолепные зимние пейзажи, словно сошедшие с полотен Питера Брейгеля. Казалось, зима пришла окончательно, принесла людям свои неизменные заботы и радости. Но осенняя непогода, со слякотью и хандрой, не желала так просто сдавать своих позиций, омрачая людям настроение.

Настроение, а не жизнь. Испортить жизнь могли только люди, которые, заражаясь осенними неурядицами и тоской, забывали о своём человеческом достоинстве и обо всём том, что делает человека человеком.

В один из таких дней, когда пасмурное тяжёлое небо нависло над землёй, с крыш неожиданно потекло, и сопки в некоторых местах оголились грязными неприглядными плешинами, и случилось то, что обычно не даёт покоя, время от времени подкатывая к сердцу липучей ноющей болью...

... Огромный, грузно покачивающийся хлебный фургон медленно катил по заснеженному распадку маленького приморского городка. По краям дороги тянулись безликие полузанесённые песком и снегом деревянные домики. У входа в барачного типа винный магазинчик царило вялое оживление, в котором, кроме изрядно выпитого накануне спиртного, была повинна ещё и погода.

Уныло вывернув из-за пологого склона холма, фургон уже проезжал мимо окон магазинчика, когда из-под ног топтавшихся у входа щербатых и ещё не опохмелившихся мужиков, вынырнула маленькая собачонка и чёрным лохматым пятном метнулась с захлёбывающимся лаем под задние колёса.

- У-у, холера, - злобно завёлся было один из них, но тут истошный писк невыносимой боли и ужаса разорвал застывшую над распадком влажную сонливость, потом под колесом что-то с хрустом хлопнуло и стихло. Фургон остановился.

На несколько секунд улица застыла, как будто застигнутая врасплох, и только тугой хлопок дверцы машины вывел всех из оцепенения. Из кабины вывалился мужичонка в затёртом до блеска комбинезоне с цигейковым воротником. Со смятой папиросой в зубах он прошёлся вдоль борта и, встав на одно колено, заглянул под машину. Собаку затиснуло между покрышками.

Громко матерясь, он ухватил её за задние лапы и, выпрямившись, потащил к заснеженной обочине. Обмякшее тело пружинило под собственной тяжестью, а с носа тянулась тёмно-вишнёвая струйка... Размахнувшись, он забросил собачонку подальше в сугроб, так что она бесшумно провалилась в снег, затем брезгливо вытер руки о штаны и, смачно сплюнув, залез в кабину.

- Господи, помилуй, - пробормотала сухонькая старушонка, прибавив шагу и стараясь поскорее миновать то место, где над рыхлым снегом клубился чуть заметный парок... Мотор заурчал, фургон резко дёрнулся и, закрежегав сцеплениями, медленно покатил дальше по заснеженной улочке.

В это время глухо брякнула щеколда открываемой двери. Толпа мужиков, толкаясь в нетерпеливом ожидании и гремя сапогами, ввалилась вовнутрь, наполнив винным перегаром и без того уже перекишший воздух маленького помещения, и на улице всё стихло. А я всё стоял и отупело смотрел на зияющую в сугробе страшную рану. Мне вдруг стало казаться, что это у меня в последней судорожной истоме заходится облепленное снежной крошкой и уже почти похолодевшее маленькое сердце...

Вот тогда я и решил взобраться на Манькин Пуп, как будто там можно было обрести спасение от всех жизненных бед или хотя бы попытаться вырваться из этого неумолимо сжимающего свои железные объятия, ненавистного кольца бездушия. Всё равно, как если бы я взялся в порыве горького отчаяния доказать себе что-то очень важное, не допускающее ни малейшей задержки или откладывания.

... Когда я уже начал подниматься на холм, откуда ни возьмись, повалил мокрый снег с дождём. Холодные крупные хлопья забивались в уши, глаза, мешая разбирать силуэты окружающих кустов, деревьев и тропинку, вьющуюся под ногами в бамбуковых зарослях. Снег шёл сплошной стеной, застилая всё вокруг, так что не было видно ни моря, ни вершины холма, с трёх сторон густо поросшего хвоей.

Я старался ступать мягко, не торопясь и не сбивая ритма дыхания, но давалось это нелегко: ноги беспрерывно скользили по грязи, что вскоре вконец вымотало меня. Тропинки уже почти не было видно – следы её чуть приметно мелькали под широкими листьями бамбука, но я всё продолжал подниматься, то прямо, где, как мне казалось, должна проходить тропа, то в обход, огибая густые заросли бамбука и отдельные хвойные деревья. Там, где тропа закончилась, подъём стал гораздо круче и труднее. Склон тут был не такой ровный, как внизу.

Дождь со снегом хлестал сочные и гибкие бамбуковые стебли, и пока я добрался до самой высокой и раскидистой пихты на вершине холма, вымок весь до нитки. То, что я там увидел, останется навсегда во мне. Щека долго ещё ощущала шероховатую поверхность ствола...

От подножия сопки, вплоть до горизонта, еле различимого сквозь пушистую завесу лохматых снежинок, выгибаясь синевато-серой китовой спиной, многообещающе замерло море. Хотя до сих пор я видел море только с берега, ни разу не заглянув ему в душу, моё восприятие его теперь значительно отличалось от того трогательного первого знакомства, состоявшегося сразу по приезду. Мне будто приоткрылась истинная перспектива всего последующего, что только ожидало, и сердце ожило, радостно затеплившись доброй и светлой надеждой...

## «У САМОГО МОРЯ»

Выйдя к шестому причалу, я пытался отыскать в безмолвном разнообразии судов именно то, на котором мне суждено было отправиться в рейс. Пристально вглядываясь в их тёмные неподвижные силуэты, и попеременно наделяя каждое нарисованными в своём воображении чертами, я стоял в нерешительности перед последним шагом, отделяющим мечту от реальности. Нерешительность эта происходила, наверное, из-за нежелания так просто расставаться с тем, что долгое время дарило притягательное очарование предстоящих открытий и радостную неизвестность. Я не знал ещё, что если мечта настоящая, то, воплощаясь, она не кончается никогда. Мечта становится частью твоей жизни.

«Стройный» стоял третьим бортом. Как зачарованный, пройдя по скользкому шаткому трапу с натянутой под ним сеткой, я осторожно ступил на широкий фальшборт и огляделся. Палуба была пуста.

Часть досок сепарации, ещё не обработанных и сваленных грудой, мокла под сырым снегом. Вахтенный в широком полушубке, с алой повязкой на рукаве, вяло накручивал измочаленный пеньковый конец на двойной кнехт.

Ветер резко бросал снежные струпья в небольшие наклонённые оконца надстройки. Тёмные и наглухо задраенные, они безучастно взирали на скуку портовой жизни, тихо тоскуя, должно быть, о будущей вольной стихии и необъятной сини. Именно эти чувства прочитал я в зрачках скованного бездействием траулера и, оглянувшись, вдруг совершенно неожиданно для себя обнаружил, что у каждого судна – своё неповторимое лицо, которое, как я убедился позднее, не зависит от экипажа во главе с его капитаном.

В вынужденном бездействии лица судов, как ни странно, обнажены в ярко выраженной индивидуальности: короткие седловатые куттеры, предназначенные для ловли рыбы тралом в прибрежных и мелководных районах моря, - задорные и неунывающие трудяги, не преклоняющиеся ни перед какими авторитетами; логгеры старой немецкой постройки со вжатыми в корму надстройками и чуть вызывающе задраным носом, свидетельствующем о нежелании сдавать позиций и способности дать бой любому сопернику своего ранга, если выдержит порядком поизношенное сердце; большие, средние и малые траулеры, спокойные в своей уверенной нацеленности на удачу, с холодной неторопливостью ожидающие выхода в море. Все они как будто пробуждаются от этого непонятого забытья накануне отхода в экспедицию, и, преобразаясь, становятся похожими на всех остальных своих собратьев.

В море суда оживают долгожданной надеждой, ощущением риска и опьяняющей воли. Море возвращает им веру в собственные силы, в своё предназначение, и дарит радостную вереницу бесконечных дней неустанного напряжения.

Но сейчас, накрепко пришвартованные, осыпаемые снегом и обдуваемые колючим норд-вестом, они выглядели присмирившими и успокоенными, и я, такой же присмиривший, ощутил себя среди них так, как будто попал в невидимые объятия старых и добрых друзей. Тихо и незаметно наладив такие неожиданно приятные отношения, я почувствовал себя гораздо легче и свободнее, и, вдохнув полной грудью сырого ароматного воздуха, легко ступил на измочаленную, бледно-кремового цвета, палубу.

Палуба показалась мне невесомой. Чуть выгнутая, она легонько подрагивала под ногами, незаметно ускользя всей своей плоскостью куда-то в сторону. При этом автомобильные покрышки за бортом, используемые в качестве кранцев, жалобно и протяжно поскрипывали, и было слышно, как лениво хлюпает между бортами загустевшая от холода вода.

- Кто таков? – как будто с небес, отрывисто прогрохотал зычным басом нежданный вопрос и, подхваченный ветром, тотчас растаял в сеявшейся вокруг снежной белизне.

Я поднял голову и увидел сначала широко расставленные ноги в кирзовых сапогах, распахнутый на груди полушубок, мохнатую, из густого собачьего меха, шапку, низко надвинутую на лоб, и потом уже строгое, но с задорно поблескивающими глазами лицо. У растворённой настежь двери рулевой рубки, прямо устремив на меня свой суровый взгляд, стоял здоровенный детина.

Выжидательно и даже с какой-то симпатичной ленцой рассматривая меня с ног до головы, он задумчиво щурился, словно пытаясь с первого взгляда подобрать в отношении со мной верный тон, чтобы уж больше не возвращаться к этой процедуре. Долгое узнавание, отсутствие естественной простоты в отношениях и самокопание, как я уже успел убедиться, не приживались в подобной среде, и эта, на первый взгляд, незначительная частица неизведанного для меня, но здорового мира была очень приятна.

- Мне бы старпома! – что есть мочи гаркнул я, высоко задрав голову. – По делу.

Захлопнув дверь рубки и запахнув, не застёгивая на пуговицы, полушубок, он медленно спустился по почти отвесному трапу и подошёл ко мне.

- Что за дело-то? – уже настороженно взглянув на меня, спросил он.

- Старпом мне нужен, - упрямо повторил я.

Детина нетерпеливо сдвинул на лоб шапку и, щурясь от назойливо летящих в лицо снежинок, произнёс:

- Я и есть старпом. Что дальше?

- Нет, без шуток?

Мрачно сплюнув за борт и в упор устремив на меня спокойный взгляд, он тихо проговорил:

- Если что стряслось – выкладывай сразу. Не томи душу.

- Вот, - протягивая заранее приготовленное направление, сказал я.

- Что это?

- Читайте.

Осторожно взяв бумагу тремя пальцами, он с нетерпением встряхнул её и быстро пробежал глазами.

- Тьфу, чёрт! Дохлого бычка тебе в печёнку, - глухо выругался он. – Раньше-то сказать не мог?

Я безмолвно пожал плечами.

- В море, значит? В первый раз? – нахмутив брови, спросил он.

- Так точно.

- После службы что ли?

- Никак нет.

- А чего тогда отвечаешь, как по уставу?

- Не могу знать.

Он опять встряхнул одной рукой направление, так что оно сразу сложилось, и неловко засунул его в нагрудный карман.

- И откуда ты на мою голову такой красивый взялся? – возвращаясь к своему благодушному настроянию, произнёс старпом.

- Из путешественников я.

- Ага... Значит, из дому убежал, но ещё ничему не научился?

- Вроде того...

Старпом удовлетворённо крикнул и тыльной стороной руки несколько раз провёл по тщательно выбритой щеке.

- В таком случае, считай, что тебе крупно повезло, - сказал он.

- Это в каком смысле? – робко осведомился я.

- Тебе повезло в том, парень, что ты попал именно ко мне, - не без гордости заявил он, с размаху хлопнув мясистой ладонью в свою распахнутую грудь. – Твоему воспитанию не помешает даже моя фамилия, которую я постоянно оправдываю и которая многим не по нутру.

- А что это за фамилия?

- Грешилов моя фамилия.

Криво усмехнувшись, я понимающе кивнул головой.

- И будет действительно непростительный грех, если я не сотворю из тебя настоящего морского волка, - строго пробасил он и ещё раз оценивающе оглядел меня. – Ты чем до того как в путешествия-то удариться занимался?

Тут мне пришлось признаться, что целых пять лет, хотя и не без некоторой пользы, но всё же довольно-таки бездарно, я провёл в университете. Выйдя из его стен, я увидел перед собой необъятное поле жизни и, оказавшись на его пороге, почувствовал себя совершеннейшим щенком. Я осознал это в полной мере, как только отправился на свой страх и риск в свою долгожданную поездку. У старпома, вопреки всем моим ожиданиям, это признание вызвало сначала полную растерянность и уважительное недоверие, а уже потом – необычайное оживление наполовину с неподдельным восторгом.

- Ну, ты даёшь! – хлопыстнув своей ручищей меня по плечу, воскликнул, недоумевая, старпом. – С верхним образованием – в матросы-уборщики! Такого я ещё на своём веку не встречал... Хм-м...

Он зачарованно воззрился на меня, не в состоянии до конца осмыслить только что услышанное.

- Ну, надо же, - опять пробормотал он, находясь в своеобразном шоке, казавшемся сейчас для него, должно быть, даже немного приятным. – И чего тебе не доставало?

- Свежего воздуха.

- Гм-м... Дело, конечно, хозяйское, только сразу скажу – нелегко тебе на нём придётся.

- Я знаю.

- Нет, парень, знать всего, что тебя ждёт, ты не можешь.

- Сейчас уже это ничего не меняет.

- Ну, что ж, - задумчиво произнёс он, - тогда пойдём глядеть апартаменты.

Войдя во внутрисудовое помещение на нижней палубе, мы очутились в узком коридорчике, стиснутом салатного цвета глухими переборками, не пропускающими внешних шумов. Здесь, в укромно и надёжно скрытом чреве судна, было удивительно тихо, и сильно пахло машинным маслом. Запах его, густой и протяжный, обволакивая своей невидимой пеленой, медленно струился по всем углам, перемешиваясь со специфическим духом судовых переборок, вытертых латунных поручней, кожаных длинных диванов кают-компании и тщательно натёртых линолеумных полов...

Этот, ни на что не похожий, с непривычки щекочущий ноздри внутрисудовой дух обладал именно тем достоинством, что намертво въедался в твою память.

Стиснутое железом и деревом, сумрачное помещение подействовало на меня удручающе. Оно давило отсутствием воздуха и заданной скованностью движений, неестественно ограничивая самые необходимые потребности. Застывшая тишина казалась непрошибаемой и невыносимо гнетущей. Хотелось, всё это бросив, развернуться и выскочить на палубу, подставить лицо свежему ветру с колючим снегом и стоять долго, постепенно возвращаясь из тяжёлой тишины к такому приятному в своей доступности дневному свету.

- Жить будешь с кандеем, - пощёлкав ключом в замочной скважине и отворив дверь плечом, сказал старпом. – Его величество до самого отхода вряд ли появится.

Затем он в двух словах обрисовал мою задачу на ближайшую неделю и, обозначив фронт работ, с чувством сносно исполненного долга удалился на верхнюю палубу.

Свежий ветерок, задувая в раскрытый иллюминатор, легко трепал воздушную ситцевую занавеску. На небольшом деревянном столике, намертво привёрнутом к переборке, лежала высушенная морская звезда.

Я сидел и раздумывал обо всём, что привело меня сюда, представляя, как будет выглядеть каюта при выходе в море. Судно казалось каким-то безжизненным, тяжело застывшим в своём глубоком молчании, и пока не верилось, что когда-нибудь, в ближайшем будущем, оно попадёт в жестокий шторм или будет затиснуто в неумолимые ледовые клещи.

Как бы там ни было, я находился у самого моря, на судне, которое не раз рисовал в своём воображении, я был в той самой каюте, в которой мне предстояло отправиться в первое плавание, и я знал: стоит взглянуть в иллюминатор – и увидишь море... Теперь оно будет напоминать о своей близости каждый день, и от предвкушения подобного соседства мне стало совсем легко. Это было и мукой, и радостью, которую я раньше не знал.

Утром, придя на причал пораньше, с надеждой осмотреть судно более тщательно, я не увидел на нём ни души. Ветер за ночь разогнал вязкую пелену, и небо, напрягшись, словно молодая кожа после купания от лёгкого прикосновения прохладного ветерка, низко выгнулось над морем твёрдым тёмно-синим куполом. Белые звёзды, остывая, поочерёдно скатывались с весёлым шипением в воду, таинственно голубея у борта.

Поднявшись по боковому трапу в рулевую рубку, я обнаружил там задремавшего вахтенного матроса, прикорнувшего прямо на палубе, у штурманского столика. При звуке гулко захлопнувшейся за мной дверцы он встрепенулся, но, приоткрыв один глаз и в секунду оценив незначительность моей персоны, ни слова ни говоря, повернулся на другой бок.

В полупрозрачных синих тенях можно было разглядеть блекло отсвечивающие в укромной, изолированной от внешнего мира тиши приборы, истёртые карты, загадочно свешивающиеся со столов и напоминающие о былых и предстоящих плаваниях, нелепо застывшие в рабочем положении, на зигзагообразных пружинистых креплениях, настольные лампы, и множество самых разнообразных по назначению и устройству предметов, без которых работа в море просто немыслима... Все эти вещи, когда-то оставленные человеком и временно обречённые на вынужденное бездействие, несли на себе неясную печаль и тихую неразгаданную тоску.

Стоя в порту, хорошо однажды, вот таким утром, зайти на капитанский мостик, сесть на стульчак у окна и посмотреть на море, представляя себе будущее путешествие. На судне ни единой души, и в носовую скулу еле ощутимо тыкается лёгкая волна. Поскрипывают тали, швартовые изредка натягиваются и обвисают, задувает еле приметный ветерок... Не верится, что это судно скоро, быть может, попадёт в шторм, его будут бросать бесстрастные волны, мирно поблескивающую сейчас от чистоты палубу погребут неуправляемые швалы воды. Но тихо вокруг и лишь жалобное вскрикивание одинокой чайки напоминает о том, что рядом – неведомое море, а ещё дальше – великий океан.

Суда замерли целыми гирляндами, располагаясь к причалу вторым, третьим, а то и шестым бортом, но эта теснота ни у кого не вызывает недоумения или неустройства: всё происходящее привычно любому моряку и ложится ему на душу легко и просто, со временем - с наскучивающей ленцой: перестой! Как долго и трудно его каждый моряк дожидается, и как быстро это временное бездействие набивает оскомину своей разлагающей пустотой. В какой-то момент начинает казаться, что уже никогда не выйдешь в море, не ощутишь в душе этого несравнимого ни с чем радостного порыва. Но надо перестоять, то есть – перетерпеть, и, накопив силы, соскучившись по морскому труду, наконец, отправиться вновь к долгожданной свободе.

Как ни крути, без перестоя не обойтись. Он не только позволяет привести судно в надлежащий порядок, но и настраивает людей на следующий рейс. Моряку необходимо именно истоскаться по морю, начать им грезить во снах и возжелать встречи. Временный перестой в порту - как ни что помогает ему в этом.

Сейчас я бродил в тишине по безлюдному тёмному судну, и шаги мягко отдавались в его прочных переборках. Судно словно даже и не желало просыпаться вместе с первым дыханием грядущего светлого дня. Оно казалось таким же мёртвым, как и вчера: холодным и неподвижным.

Спустившись с мостика на нижнюю палубу, я принялся за уборку. До отхода судна в экспедицию от меня требовалось тщательным образом выскрести донельзя запущенный камбуз, на котором за время перестоя обосновались неисчислимы полчища тёмно-рыжих тараканов, кают-компанию – всеобщее место самых разнообразных забав, игры в шишбеш и просто пустого времяпрепровождения палубной команды, все бытовые помещения, включая душевую, прачечную, кладовую для провианта и холодильную камеру, на приведение в порядок которой я угрожал не менее пары дней... Вся эта египетская работа, на первый взгляд, представлялась совершенно невыполнимой. Но с молитвой в устах, и со шваброй и тряпкой в руках я, всё же, решил её одолеть!

Помимо этого, приходилось убирать каюты комсостава. Но такое положение дел не обескураживало меня, потому как, запасшись терпением, я связывал большие перемены с выходом в море, думая, что тогда будет интереснее и придёт конец нудной, однообразной текучке. Как ни туго было на первых порах, в тайниках своего сердца я всё-таки хранил надежду на неповторимость приключений, с которыми мне посчастливится столкнуться.

Но всё это было впереди. А пока подменный старпом, не унимаясь, расписывал мне все прелести экспедиционной жизни, не забывая в то же время о невидимом, но прочно установившемся шефстве надо мной в постижении сложной морской азбуки. Если бы я знал тогда, что эта школа лишь блёклые цветочки в сравнении с предстоящей мне в будущем свистопляской под дудку настоящего чифа... Но, не подозревая ничего, я довольно-таки безмятежно привыкал к новой обстановке и всему, что она несла с собой.

Как-то раз я решил не покидать судна и переночевать в своей каюте. В её укромной тиши можно было спокойно переварить всё услышанное и увиденное за день, почитать книгу или просто помечтать о предстоящем плавании. Лёгкий плеск волн о борт еле слышно доносился через открытый иллюминатор, и под этот мерный убаюкивающий звук думалось хорошо и надёжно.

Кроме вахтенного штурмана и матроса, на судне никого не было, все перипетии нелёгкого дня уже забылись и отходили на задний план. Но неотступные мысли, об одном и том же, не давали покоя разгорячённому воображению, вязкая судовая тишина постепенно стала казаться неестественной, и, набросив на плечи пальто, я вышел на палубу.

Прохладная тихая ночь дышала легко и ровно, и было приятно ощущать на себе её размеренный сильный пульс. Глаза постепенно привыкли к свету звёзд, который отражался от воды, и я будто приблизился к этим звёздам. Купаясь в просоленной чистоте, они казались умытыми, вычищенными и ещё более ослепительными.

Луна была тоже чистой, без единого пятнышка. Тонким ломтиком спелой чарджойской дыни желтела она в сгустившейся вышине. Объятое великим покоем, безмятежно покачиваясь на еле приметных волнах, судно осторожно издавало в темноте неясный вздох или шёпот, наполняя душу щемящей сопричастностью с этим миром первозданной тишины и свежести.

- Эй, прятэль, сигарэтку нэ подкынешь? – раздался за спиной чей-то беззастенчивый голос, - надтреснутый, нервический. В сгустившейся темноте от него повеяло неприятным холодком и не сулящей ничего доброго настороженностью. Нельзя было не почувствовать этой нарочитой недружелюбности.

Я оглянулся. В свете фонаря, неровно роняющего на палубу рассеянный блёклый круг, стоял, засунув руки в карманы небрежно распахнутого полушубка, сутуловатый, крепко сбитый азербайджанец. Почему я так точно определил его национальность, сказать было трудно, но, увидев в размытом свете властные черты лица, неподвижно чернеющие у переносицы глаза, жёсткие неприбранные волосы, прикрывающие невысокий лоб, - я сразу всё понял.

подавляя в себе молниеносно вспыхнувшую неприязнь, я сделал шаг в его сторону. Пытаясь разглядеть в темноте выражение его лица, достал из кармана пачку и, протянув её, спокойно проговорил:

- Пожалуйста, закуривайте.

Но парень не двинулся с места. Он как будто врос в лёгкую, еле покачивающуюся палубу, и настойчивая угроза, заключённая во всём его облике, сжалась и в тот же миг по животному радостно и тупо замерла в нетерпеливом напряжении.

- А мы, кажэтся, знакомы, - зло обронил он, по-прежнему не шевелясь и пристально вглядываясь в меня. – Во-о-т, свэла судьба. Нэ прыпомнышь?!

Переминая в руке хрустящую пачку и ещё не решаясь отвести её, я стоял какое-то время в неопределённом ожидании и, глядя на этого человека, не мог до конца осознать создавшегося положения. Пытаясь всё же возродить в памяти несуществующую, навязываемую мне связь, я почувствовал вдруг себя глупцом.

- Я вижу, вы ошибаетесь и с кем-то, должно быть, путаете меня. Мы никогда не встречались, - сдерживая себя, сказал я, по-прежнему держа сигареты в вытянутой руке.

Нагловатая ухмылка вмиг слетела с его лица, и оно исказилось в судорожной гримасе. Сквозь зубы, стараясь тщательно произносить ломкие, неподдающиеся слова, он медленно процедил:

- Нэ-э-т, врошь... Я тэбя сразу признал. А ну! – Он ловко выхватил из-за пазухи нож, и широкое лезвие тускло блеснуло в темноте недобрым бликом. – Так и нэ вспомнышь?

- Чтоб тебя, чухотка! – выругался я и, попятившись к покачивающемуся фальшборту, непроизвольно вытянул вперёд руки. – Откуда ты, дура, на мою голову взялся? Первый раз тебя вижу!

- Что-о-о базлаэшь?! – Тёмный силуэт с завернувшимися краями овчины покачнулся и, резанув раз-другой неуловимым лезвием, присел на обе ноги с выброшенной в напряжении рукой. – Закрывай санаторий, а-а? Нэт вопросов?!

Волна безудержной желчи, застившая его огромные чёрные глаза, замутила и память. Кружась рядом, он в холодном оскале кривил рот и, потихоньку приближаясь, нервно подёргивал плечами, угрожающе наговаривая:

- Я тэбе, курэц, запышу-у сэгодня... Значыт, будэт завтра, послэзавтра, и ещё много послэ, но нэ для твой дэла. Идэ-эт! – ослабившись, зашёлся он в очередном приступе безрассудства. Затем, хищнически поведив ножичком перед собой, почти беззвучно обронил в темноту: - Двэнадцатый барак знаэш?

- Слушай, гад, хватит, - не слыша собственного голоса, вымолвил я. – Остановись.

- Ну, началнык, ты даёшь, - злобно, уже срываясь, прошипел азербайджанец и, метнувшись в свете покачивающегося фонаря, наотмашь ударил в плечо тяжёлой рукоятью ножа.

Под правой лопаткой заныло, руку тотчас свело. Недоумение прошло и напряжение отпустило, освобождая место подступившему простому знанию: если нет возможности быстро лишить человека способности действовать, остаётся ввязнуть в ситуацию.

- А ведь ты, сучья сука, помрёшь, - проговорил я, переводя дух. – Пожалуй, что точно помрёшь, потому как совсем один.

Это его, конечно, должно было окончательно взбесить, - разгоняющегося в своём мутном, неопрятном горе. Низкий лоб сжался до немыслимо малых размеров, острый кадык, словно поршень какой,

безостановочно вздрагивал на длинной закопчённой шее, непромытые глаза аж зашкаливало, - вот-вот бросится, психопаточный...

При чётком осознании происходящего, всё заслонившая нервическая дрожь, будто ощущение вдруг подступившего холода, не унималась. Я никак не мог сосредоточиться на драке, и это, наверное, было плохо.

- Иэ-эй! – в ту же секунду дохнуло в ухо, и левый бок ожгло горячим прикосновением. Ноги заохлодило, как будто даже они на мгновение отнялись, и, наверное, не отпустило бы, если б не тот же леденяще-сладкий говорок: - Мнэ с грузом лэгче.

Вот он и вывел меня из этого губительного забытья. Не чувствуя растекающейся по ноге крови, чуть подавшись назад, словно защищаясь от очередного удара, но с таким расчётом, чтобы в следующий миг опрокинуть неистового восточного жителя на приваренную к палубе чугунную пластину, я рванулся всем телом, угадывая в низ живота ненавистного урки, и, протаранив его чуть ли не до самого противоположного борта, крутанулся вместе с ним на сухих измочаленных досках...

Соперник на ногах не устоял, бухнулся вместе со мной на спину и, ошеломлённый произошедшим, остервенело уставился глазами: что, мол, гад, вытворяет, ну, я ему шас... Ножичек его при этом, блистая и переворачиваясь, брякнулся о переборку и с гулким дребезжанием сыграл в тёмный угол.

Не давая опомниться раскинувшемуся на палубе врагу, уже не владея собой, я упёрся коленом в тугой живот, вцепился, что было сил, в податливую шею, ощутив пальцами тёплые позвонки, и, не сознавая ничего, давил, наседая, до помутнения, пока не докатился до сознания его обессиленный хрип, вперемешку с перехваченным чахоточным дыханием, - всё самое неуправляемое и задавленное, что обычно таится в животной утробе...

Уткнувшись головой в край облупленной палубной надстройки, подтянув одну ногу к животу, он лежал растерзанный, жалкий... Непонятные звуки вытекали из его перекошенного судорогой, рваного рта, и я отступился, привалившись к холодному шершавому борту, осел, не в силах сообразить, что же сейчас произошло. Резкий, въедливый запах машинного масла и кислой каболки ударил вдруг в нос, вывел из помутнения.

Медленно возвращаясь из приключившегося провала, я с некоторым даже удивлением наблюдал, как расхристанная фигура, подтягивая колени и неразборчиво причитая, опасно вжимается в угол, поводит остекленелым взглядом, хватает растянутыми в глупом откровении губами воздух, пришепётывая с надрывом:

- Уу-у! Ты-ы-ы! Уу-уу! Гны-ыда... Душы-ы-ыть! Иа-а... Гляды-ы-ы...

- Ага, ожил, шустряга... Тебя мне только не хватало. Моё прошлое – не твоё, и память дохлая тебя подводит, - устало выдохнув, протянул я. – Не было у нас с тобой ничего общего. Понял?!

И тут произошло то, чего я никак не мог ожидать: азербайджанец, этот разошедшийся несколько минут назад ухарь, гроза портовых тёмных закоулков, валет-пижон из заплёванного захолустья, а, в общем-то, несчастнейшее недоразвитое создание, плакал. Слезы текли по чёрным небритым щекам, острый кадык вздрагивал, и ущербный свет от жалкого фонаря, падая на его левое ухо, срезал угол большого мутного глаза...

Уже в каюте, лёжа с саднящей в боку болью, я думал о том, что ценность жизни заключена уже в ней самой как данности, даруемой природой людям. Только в силу многих обстоятельств человек порой не имеет возможности найти себе применение, а общество, считая его своим членом, всё же бывает недостаточно внимательно по отношению к нему. Человек должен быть поставлен в условия, когда энергия жизни, заложенная в нём природой и Богом, нашла бы своё выражение. Эта потребность преобладала всегда, но не всегда она брала верх...

Много ли добра в жизни видел этот парень с ножом? Зло его отчаяния только умножало общее зло. Мало ли людей за день подают друг другу руки? Но в действительности редко кто это делает по-настоящему, не отдёргивая её, не отводя взгляда. И он как никто другой нуждался в этом искреннем рукопожатии...

Мне стало больно. Поднявшись, я выбрался из каюты на воздух в надежде, что парень ещё там... Но на палубе никого не было.

Через несколько дней судно вышло в открытое море. Правда, это было всего лишь пробное траление, и экипаж должен был в тот же день вернуться в порт, но зато граница неизвестности была наконец-то преодолена.

Оказалось, что морская болезнь – совсем не то, когда болеешь морем, любя его. Укачивать начало сразу по выходу из ковша, хотя волнение было незначительное. Когда-то, в долгих зимних снах, всё это мне много раз представлялось... И вот, только уже наяву, за бортом весело плясала открытая, не сдерживаемая ничем покатая волна, в лицо резко, до тошноты, ударяло сладкой морской свежестью, запах разогретого топлива и звук подрагивающих переборок окутывали с головы до ног, чайки с надоедливым гамом то и дело мелькали в распахнутом иллюминаторе, и было слышно, как на камбузе размеренно погрохатывает посуда. Со всем этим, а более всего с собственным волнением, пока ещё трудно было справиться.

Во время морской болезни, которую вернее всего было бы окрестить ничего не объясняющим в твоём поведении припадком, что и безумием нельзя назвать, а так – полная потеря ориентации в пространстве и нежелании жить, с человеком, действительно, происходит совершенное умопомешательство. В этом состоянии с тобой можно делать всё, что угодно: до такой степени ты потеряян, безволен и жалок. Стоит, ей-богу, посочувствовать человеку, очутившемуся, по воле случая, в объятиях бушующего моря, ибо рассудок он теряет полностью, и мало того – в его организме случается настоящая революция, вроде - жуткого обморока, отчего

несчастному, ни с того ни с сего, хочется плакать и хохотать, немудрено, если он пожелает петь, и уж совсем будет неувидительна его попытка выброситься за борт!

Напуганному товарищу в пору будет ударить тебя чем-либо тяжёлым по голове, чтобы прекратить этот бешеный приступ, а между тем возбуждение в теле может привести к таким внутренним судорогам, что кажется – из-под ногтей вот-вот выступит кровь, и они, вообще, вылезут... Вот какой силы напряжение охватывает бедолагу, очутившегося под воздействием безудержной стихии, тем более, в первый раз, и немудрено, если он лишится рассудка. По крайней мере, желание ходить в море у него отпадёт напрочь, а при виде воды – он будет испытывать нервическую дрожь. Такова сила взбунтовавшегося моря, и человек способен с ним сладить, только когда сам воспитает в себе значительную и крепкую силу.

Я долго крепился, мужественно борясь с подступавшим к горлу комком, но удержаться, всё же, не смог. А потом вдруг стало легко, почти неощутимо, если не думать об этом неприятном волнении или заниматься каким-либо делом. Нужно было только привыкнуть, стать очень увлечённым и сильным человеком, как эти люди, окружавшие теперь меня.

Мы вступали в царство моря и рыбы, пока невидимой, но угадываемой под многометровой толщей воды. Происходило какое-то таинство, праздник радостного труда и предвкушение чего-то необычайного.

На палубе, просторной и выбеленной до бархатистости, деловито сновали матросы, и настоящий боцман, жмурясь от дыма папиросы и солнечного света, неспешно, вполголоса, давал указания. На мостике так же царило оживление, все свободные от вахты члены экипажа сгрудились перед раскрытыми квадратными окошками и с нетерпеливым волнением наблюдали, как бесконечно длинная кишка трала вползает по слипу на палубу... На его переливающихся сетчатых краях недвижно висели расчудесные морские дары: огромные, лилового цвета крабы, розовато-глянцевые осьминоги, разноцветные рыбёшки и бычки...

Я, наверное, выглядел страшно довольным, всё сбывалось, до мелочей: канаты, шлюпки, лебёдки, рыба чешуя, бесчисленные чайки, весёлое солнце и рябь океана... А за бортом траулера – пляшущие в волнах дельфины-белобочки, - приветливые, сильные, независимые. Всё это не было сном, происходило на самом деле, и хотелось петь от счастья, от того, что такая жизнь существует, и она может быть твоей.

Радоваться обыкновенному счастью, что ты находишься в море, среди людей, посвятивших ему свою жизнь, и вокруг происходит простая, но замечательная во всех смыслах история, - удивительно. Я думаю о том, как легко человеку изменить свою жизнь в лучшую сторону, чтобы радоваться этому простому существованию, и как это, одновременно, сложно... Ведь нужно пожертвовать многими важными для тебя вещами, впрочем, на самом деле – не такими уж важными. Самое главное – не предать себя.

Я смотрю на окружающих меня людей – и с радостью осознаю, что не предал себя. Мысли гуляют далеко, там, где остался мой дом и близкие, и мне хочется, чтобы они порадовались вместе со мной тому, чего я переживаю сейчас сам. Ни в каком письме не описать все эти дивные переживания, но не пережить их было бы недопустимо, и я с радостью пережил.

Если честно, я не представлял себе – куда я еду, хотя и воображал эти места, удалённые от больших городов. Ещё неизведанные, они, тем не менее, были понятны мне, и я верил, что когда-нибудь достигну их. Очень хотелось пройти именно свой путь, и я был убеждён – и дальневосточная земля, и Тихий океан примут меня, я обязательно окажусь здесь своим, и море станет мне родным домом.

Французский писатель и драматург Жюль Ренар как-то заметил, что на земле нет рая, а есть только его частички... Но так ли это?

По мне, так рай везде, где бы ты ни был, если осознаёшь в душе Бога. Человек даже не подозревает, как он силён, ведь он – носитель в себе божественного, и это соизмеримо именно с раем. У человека есть все возможности, чтобы наслаждаться жизнью, но он с маниакальным упорством ввергает себя в ад.

Человек достоин рая, он родился в нём, а между тем не желает верить в это, всё время предъявляя претензии окружающему миру и виня в своих бедах других людей. Если бы поверить в собственные силы, что они – неограниченны, понять – рай расцветает в том месте, куда ты устремляешь свои духовные усилия, и если ты честен по отношению к самому себе – неописуемые переживания радости тебе гарантированы. В тебе самом есть райская тишина, к которой ты в любой момент можешь обратиться. Всего-то и нужно – принять этот божественный мир таким, какой он есть, доверяя своему сердцу, и я принял и дальневосточную землю, и Тихий океан, где обрёл для себя рай.

Но больше всего при пробном тралении меня поразила огромная пронзительная синева, которая окутывала судно. Это было небо и море, и казалось, весь этот бирюзовый мир ускользает у меня из-под ног, и я повисаю в этой синеве, не взлетаю и не падаю, а просто наслаждаюсь невесомостью, дарованной сочетанием двух синих оттенков, поддерживающих и взаимозаменяющих друг друга, не существующих порознь.

Что это за удивительное соединение! Либо небо и море постоянно спорят друг с другом – кто лучше, синее и привлекательнее, либо дополняют друг друга, но они не могут существовать отдельно, даже в плохую погоду совершенно сливаясь и составляя одно целое.

Как прекрасен этот союз неба и моря! Как неповторимы все эти цветные переливы, перетекающие из морского состояния в небесное и обратно, их ни за что не воспроизвести человеку! Где он возьмёт в своей душе эту непередаваемую голубизну, манящую зелень, неповторимое

сочетание лазури, пурпура и яшмы? Всё так фантастично и в то же время реально, обворожительно ярко и удивительно просто...

Но при всём том никогда бы, наверное, не остался жить среди этой северной природы! Есть в ней что-то такое, что неясно давит, беспокоит и тревожит воображение. Это и не тоска, и не боязнь, а какое-то внутреннее смятение, которое не сразу захватывает, подкрадываясь постепенно в неопределённых ощущениях. Нет, не останешься жить здесь надолго, хочется лишь иногда бывать в этих местах с непродолжительными морскими экспедициями, чтобы не успел надоест север, льды и пронизывающие ветра, чтобы ты мог получать от общения с севером наслаждение, желая вскоре вернуться сюда вновь. Вот этому мудрому восприятию жизни, наверное, и учит удивительное слияние неба и моря, которые удачно дополняют друг друга, но не мешают при этом.

Только в ясный день море может быть радостно-синим. Всё дело здесь в солнце, которое несёт в себе непередаваемую гамму красок. И надо же, так случилось, что повезло именно синему. Ведь цвет предмета определяется совокупностью тех частей спектра, которые не поглощаются, а отражаются его поверхностью. Что было бы, если бы самые короткие световые волны, составляющие солнечный спектр, а они до сих пор были синими, стали вдруг красными или жёлтыми? Восхищались бы люди оранжевым морем, не предполагая, что оно может быть голубым?

Зная его истинный цвет, нам трудно дать верный ответ. И всё же, покойно наблюдая по вечерам, как синее солнце утопает в оранжевых далах, человек, наверное, тосковал бы по чему-то не сбывшемуся, неясному и такому щемящему... Нет, природа не случайно выбрала синий цвет для моря, зелёный для травы и голубой для неба. В своей основе она подразумевает счастье и справедливость, и эти цвета, как ни какие другие, выражают суть этих понятий.

Но почему, всё-таки, именно синий? Может быть – по причине своей мягкости и быстрой растворимости в воздушном пространстве? Синий цвет, наверное, самый доступный, удобный для восприятия именно морской глубины, что так неудержимо растекается и в твоей душе... Голубой, лазоревый, зеленоватый – лишь дополняют эту доступную всем природную простоту.

Само звучание слова – «синий», подразумевает с-и-н-е-в-у – наиболее тонкое, простое и в то же время мудрое отношение к самой притягательной земной загадке – морским глубинам, тайнам, которые они скрывают. А понятие «самое синее море» – это ещё и замечательное состояние, порождающее интерес к жизни, стремление её понять.

Преобладающее значение синего цвета относительно всего, связанного с морем, представляется совершенно бесспорным. Даже цвет матросского траура был не чёрный, а синий. Каждый корабль всегда имел для этой цели на борту несколько бочек индиго. Если умирал шкипер или владелец судна,

то релинги, носовая фигура на форштевне, а иногда и бак окрашивались именно в синий цвет.

Но окраска моря непостоянна. Она меняется в зависимости от освещённости – угла падения лучей, облачности, волнения поверхности. Если бы океан был идеально чистым и спокойным, а освещение везде одинаковым, то и цвет воды был бы везде одинаков. Но этого в природе нет.

В человеческий глаз попадают главным образом лучи солнца, отражённые от поверхности. Цвет воды зависит так же от количества мельчайших взвешенных частиц фитопланктона и растворённых веществ. Поэтому окраска моря - вечером одна, в полдень другая. В северных морях, где много взвеси и планктона, вода серо-зелёная, где взвеси и фитопланктона мало, - светло-голубая.

К примеру, вблизи того же Сахалина море может резко менять свою окраску... Тёмно-синий цвет воды, особенно – в северо-западной части Японского моря, выдаёт значительную глубину. Тёмно-зелёный, бутылочный, уже не так глубоко, следует быть внимательным, если идёшь неподалёку от берега на небольшом судне. Зелёный оттенок воды указывает на опасную близость подводных препятствий, в любой момент способных возникнуть под днищем. Тем более, когда продвигаешься вдоль северо-западного побережья острова, которое просто напичкано подводными каменными грядами. Желтоватый цвет воды означает уже явную опасность: глубина в этом месте незначительна, близко песчаное дно, и смотреть нужно в оба.

Сейчас учёные даже выяснили, что каждое море имеет свой собственный цвет, и определяется он световым потоком – его спектральным составом, выходящим из толщи воды. То есть тем, как море поглощает свет и как его рассеивает. Под водой свет распространяется по всевозможным направлениям, в том числе и вверх – к поверхности моря. Но большая часть солнечного света по-прежнему движется в глубь моря, а небольшая доля – назад, образуя восходящий световой поток.

Цвет моря, таким образом, связан со световым потоком, выходящим из его толщи, и именно он определяет окраску каждого моря в отдельности. Например, Средиземноморье считается лазурным, тогда как цвет Жёлтого моря полностью оправдывает его название. Даже все главные морские державы применяют для своих подлодок окраску, имеющую целью надёжно укрыться от воздушных сил противника или, по крайней мере, затруднить их деятельность. Лодки окрашиваются в различные цвета в зависимости от морей, в которых они находятся. Для Атлантики, к слову, применяются серо-зелёные цвета, синие – для Средиземноморья, чёрные – для Красного.

Ещё один фактор, который может влиять на видимый цвет моря, это отражение от морского дна. Конечно, для глубин в несколько сотен или даже тысяч метров его влиянием можно пренебречь, но вот на мелководье окраска дна оказывает существенное воздействие на цвет поверхности. Дно, покрытое зелёными водорослями, придаёт зеленоватый оттенок и цвету

моря, песчаные мели – жёлтый, а светлая галька уменьшает насыщенность его обычной, синей окраски до агатовой...

А ещё цвет моря может зависеть от угла, под которым наблюдатель смотрит на его поверхность. Чем меньше угол между направлением взгляда наблюдателя и поверхностью моря, тем отражённый свет ещё более уменьшает насыщенность цвета моря, которое издали, особенно в штилевую погоду, кажется просто белёсым. Взволнованное же море всегда представляется более окрашенным, потому, что чем круче волна, тем происходит больше преломлений и окраска становится интенсивнее...

Вот и окраска морских животных зависит от морской глубины, на которой они обитают. У рыб в верхнем слое моря обычно светлое брюшко и более тёмная спинка. Сверху спинка хуже различается на фоне тёмных морских глубин, а светлое брюшко менее заметно, если смотреть на рыбу снизу, на освещённую поверхность моря.

Рыб с коричневыми спинками можно обнаружить на глубине триста метров. Это и понятно: здесь света ещё меньше. А вот креветки, обитающие на глубинах до тысячи метров – ярко-красные, потому как в окружающих сине-фиолетовых сумерках такой цвет воспринимается почти как чёрный, и значит – менее заметен для хищников, которые охотятся за ними.

С целью защиты многие морские животные обладают также способностью к активной маскировке, достаточно точно копируя с помощью пигментации окружающий их фон. Так, широко известны опыты с камбалой, которую в аквариуме клали на синий, красный, зелёный и фиолетовый фон, и каждый раз она перекрашивалась в соответствующий цвет. Более того, камбала копировала не только окраску, но и рисунок фона.

Часто просто не находишь слов, чтобы определить цвет воды в море. Тут тебе и небо помеха, что сливается с морем у линии горизонта, отражаясь в нём и перетекая то туда, то сюда, и солнце, пронзающее его волны, и горы, окружающие его берега. Находишь, как правило, какой-то один, именно на данный момент наиболее присущий морю, по твоему мнению, оттенок, и на этом успокаиваешься, тогда как море, может быть, таит в себе совсем иное настроение. Как и глаза человека, отображающие его суть, море несёт в себе переживания своей неизведанной души...

А вообще-то собственный цвет морской воды – нежно-нежно голубой. Таким цветом обладает химически чистая дистиллированная вода, свободная от каких-либо непрозрачных частичек. Такая вода характеризуется так называемой «оптической пустотой». Чем больше в воде непрозрачных частичек, тем больше её цвет смещается в зелёную часть спектра. Растворённые же в воде соли не влияют на цвет морской воды.

Словом, собственный цвет чистой морской воды, как и синего неба, объясняется тем, что вода из всего солнечного спектра в наибольшей степени поглощает, как уже говорилось, именно самые «короткие» - синие лучи, рассеивающиеся в воде во всех направлениях. То же, собственно, можно

сказать и о причинах голубого цвета неба: он обусловлен рассеянием солнечного света молекулами воздуха и воздушной пылью.

После пробного траления мы ещё какое-то время находились в ожидании отхода судна. Требовалось устранить последние неполадки, утрясти все дела с необходимой документацией, а членам экипажа дать возможность попрощаться с родными. Я же каждый день уходил либо к Семёнычу, либо подолгу пропадал на берегу моря, словно, стараясь впитать его целиком. Оно неизъяснимо манило меня, не давая успокоиться, и я с нетерпением ждал с ним встречи.

Глядя на холодное море, неповоротливо и как-то отрешённо вздымающее свои упрямые валы, я почему-то не мог не думать о ... бичах. Их тёмные, сгорбившиеся фигуры отрешённо передвигались по осенним, разбухшим от влаги улочкам города в поисках временного пристанища. Поднимая истрёпанные воротники и защищаясь рукой от ветра, они брели, должно быть, сами не зная куда.

Появляясь строго в определённые часы, каждый день, на одном и том же месте, они, порой, на продолжительное время куда-то исчезали, но потом возникали вновь, и всё происходило точно так же, по заведённому неизвестно кем порядку. Беспрепятственно дефилируя по городку, они цепко выхватывали своим размытым взглядом всё малейшее, что может заинтересовать бесприютного бродягу. Их было немного, но они всё же были, жили никому неизвестной, замкнутой жизнью, вернее, еле-еле тянули по ней время от времени затухающим и вновь вспыхивающим огоньком, без всякой цели и желания перебиваясь через сбившиеся в единый глухой комок дни, недели, месяцы... Но самое страшное заключалось в том, что до них никому не было дела.

Ещё с давних времён на флоте не очень жаловали матросов, которые не задерживались подолгу на одном судне и в ближайшем же порту старались самовольно «списаться» - дезертировать. Для таких были названия: «бичкомеры» - прочёсыватели пляжей /или, короче, «бичи»), «летучие рыбки» и «скакуны». Формировались они из представителей всех наций. Отвращение к любой работе, охота к перемене мест, любовь к приключениям или стремление познакомиться поближе с миром во время плаваний – вот движущие силы их кочевой неустроенной жизни.

Но существует и иная версия появления подобного рода людей, произошедшая от событий, связанных с английским словом «бичкремер», что означает «моряк не удел». Когда флотилия судов уходила на путину, на берегу нередко оставались матросы, не нашедшие себе подходящий экипаж. А может быть и сами капитаны по какой-либо причине не пожелали видеть их на своём борту... И вот за этими-то людьми и закрепилось такое

привычное сейчас название, со временем сокращённое до «бичи», которое однажды докатилось и до наших дальневосточных берегов.

Что это были за люди, откуда они взялись и чем живут – эти вопросы непрестанно мучили меня последнее время, подолгу не выходили из головы, и я попытался разобраться в них, потому, что ничто так не страшит в жизни, как неприкаянность человеческой души...

... В самом устье небольшой речушки, там, где южная и самая захудалая часть городка кособоко убегала в узкий неприметный распадок, образующий посёлок Казаки, под мостом, куда время от времени сваливали с крутого откоса полуразвалившиеся складские ящики, коробки и никому не нужную рухлядь, ютился так называемый «Интернационал», состоящий из четырёх членов. Вопреки слухам, пущенным заблудшей частью местного населения, бичи не находили между собой согласия, жили врозь, хотя и в одном месте, вдали от людей, но, вконец осатанев от одиночества, иногда, всё же, встречались друг с другом, на какое-то время объединяясь. Занимались они всем, кто на что горазд: собирали шишки, «пушнину», летом – грибы, ягоды, папоротник-орляк, начинался ход рыбы – промышляли её, солили, вялили и продавали у ближайшего магазина... Тем и жили.

Первой и, пожалуй, самой приметной в нём фигурой был тщедушного вида мужичонка Сенька Ордынцев, вечно сомневающийся и мучающийся над проблемами бытия, за что и получивший ещё при фартовой житухе прозвище Катаклизм. Между сотоварищами Катаклизм слыл за большого грамотея, потому как, угодив однажды на длительный срок за решётку, умудрился одолеть за всё это время немало литературы на животрепещущие темы человеческой истории, и ему, видимо, не терпелось с кем-то поделиться накопленными знаниями, что, кажется, просто распирали его.

- Грамоте учиться, всегда пригодится, ежели цифирь не далась! – утвердительно заявлял Катаклизм. – Иной раз и сам тому не рад, что грамоте горазд.

Бывало, строго воззрившись на своих невольных слушателей, застывших в осоловелом недоумении, и подняв заскорузлый указательный перст, он вращал неистово глазами и вещал свои умопомрачительные истины, от которых у остальных членов «Интернационала» только гулко побулькивало в животах.

- Побольше грамотных – поменьше дураков! – с воодушевлением возвещал он.

Их временное обиталище – глубоко вырытую в песчаном береговом откосе нишу-землянку с отверстием для печной трубы, Катаклизм любовно оборудовал худыми ящиками из-под болгарских помидор, уложив в них по стенкам старые подшивки журналов «Вокруг света», «Техника молодёжи» и «Крокодил», которые спёр ещё прошлой осенью в одном из подвалов жилого дома. Всё в его облике говорило о былой мозговой силе и удали, правда, уже порядком разбазаренной на житейских ухабах.

Вертлявый, спорый на ногу, то и дело используемый всяким встречным-поперечным людом на побегушках, кореец Шо-Шо являл собою второго члена негласного сообщества. Не отличающийся большой рассудительностью, но, всё же, подтверждающий кличку своей постоянной заинтересованностью, выражающейся скорее, в силу тугоухости, нежели любознательности в извечном, обращённом ко всему живому вопросе «что-что?», был он худ телом, лёгок, как воздух, и вездесущ. А поскольку зубы у Шо-Шо почти все были утеряны в мирских передрягах, то неудивительно прозвище, накрепко прицепившееся к нему.

Как бывшему детдомовцу, Шо-Шо, каким-то образом, удалось совсем недолго послужить помощником поселкового ветеринара, после чего он уже никогда не имел ни постоянного занятия, ни настоящего досуга. Так, безработным сиротой отгулял он своё сорокалетие по сахалинской земле, которая для него так и не стала ни второй родиной, ни матерью, ни братом, ни женой. Ничто и никто не может заменить человеку его прошлое, если его к тому же не было, но любая земля, народ и в отдельности каждый человек в состоянии, если он захочет, стать, по крайней мере, равнодушным к судьбе другого человека, что, в конечном итоге, и является в этом мире любовью.

Шо-Шо не повезло. Он остался за бортом жизни, а потому не имел в своём подотчёте ничего, кроме как «не участвовал», «не состоял», «не привлекался». И всё-таки, вопреки неудачам, сыпавшимся на него как из рога изобилия, он умудрился одному ему ведомым способом сохранить главное в себе – душу. Душа у Шо-Шо отражалась в бездонных, чёрных и трепетных, как у ланки, глазах.

Третьим был немец Пляух, бывший бухгалтер, по кличке Оптимист. Несмотря на возраст, в нём ещё сохранилось что-то степенное и, наверное, благородное. Это было видно даже непосвящённому, и круглая большая «О» в его кличке являлась как бы напоминанием прежней неутомимости и силы. Не какое-нибудь там «Пе» или «Гэ»... Это надо было понимать.

В отличие от Катаклизма и Шо-Шо, так и не изведавших в своей жизни светлых сторон супружества, Оптимист когда-то имел семью. Заведя самозабвенно глаза и причмокивая губами, он иногда вспоминал о тех временах с томным сожалением, на что оба его собрата отвечали только безмолвным тупым созерцанием. Им было невдомёк всё, о чём говорил практичный и совсем не похожий на них иностранец Пляух, но беда сплывала, как не крути, уравнивала их положение, и они почтительно внимали своему бывалому приятелю.

Оптимист никогда не заговаривал с ними о причинах своего падения, а они, из уважения к его почтенному возрасту, не расспрашивали об этом. Было только известно, что Оптимист пострадал, погорев на каких-то государственных бумагах, и угодил в тюрьму. После выхода на свободу, он стал жутко закладывать и, имея нездоровую тягу к этому самому делу, однажды не выдержал и вовсе сорвался. Не помогла ни жена, ни почётная должность, ни врождённая национальная черта. Теперь бывший бухгалтер,

при всей сохранившейся ещё в нём неистовости, уже ни к чему не стремился, к прежней жизни, особо не теша себя воспоминаниями, почти охладел и, уйдя в этот маленький захолустный мирок на берегу моря, окончательно и бесповоротно замкнулся в нём.

Впрочем, Оптимист и в «Интернационале» держался особняком, не вступая с остальными бичами в какие-либо доверительные отношения, а мой приход к ним почему-то воспринимал с воодушевлением, как-то сразу расположился ко мне, и всегда радовался моему приходу. Однажды я застал его на берегу моря одного, и он рассказал мне, как совсем недавно увидел во сне свою дочь, когда она была ещё совсем маленькая... По его словам, он вдруг совершенно ясно ощутил её милую беспомощность и полнейшее доверие к взрослому человеку, когда тот представляет для ребёнка весь мир. Дочь рисовала свои забавные младенческие картинки, что всегда выходят у малышей необыкновенно осознанными, хоть и немудрёными. В них просматривалась вдумчивая душа маленького человека, ещё, казалось бы, ничего не видевшая в своей короткой жизни, но знающая о ней что-то очень важное...

- Хорошо, когда в твоей душе ещё рождаются такие бескорыстные, чистые мысли, - печально сказал он, - и это означает, что тебя посетило нечто лучшее из всего того, когда тобой правила одна корысть... А тут явилось что-то доброе, светлое, хотя и тотчас исчезло. Но оно было, как-то неприметно обрадовало твоё сердце, и сердце отозвалось радостью. Такую чистую радость не спутать с тем худым и даже – ничтожным, что окружает теперь нашу жизнь...

Видно было, как он обрадовался тому, что к нему пришло нечто достойное, настоящее, в тоже время не зная – как себя с ним вести. Оптимист, конечно, и не помышлял назвать это состояние рождением в себе какого-то неповторимого умозаключения, чего ещё до этого никогда не было, а только тихо умилялся своим скрытым мыслям, тому, что ещё способен на них. Его необыкновенно обрадовало это открытое в себе понимание, что он до сих пор способен переживать проистекающую в нём внутреннюю жизнь, как-то по-новому осознавать её. Может быть, намного трепетней и честнее, нежели это происходило в той, уже навсегда утраченной жизни... И в какое-то мгновение он почувствовал, что давно уже ни о чём таком не думает, позабыл в себе все эти простые чувства и переживания, а вот теперь отчего-то вспомнил, всё это в нём зачем-то опять проснулось.

Оптимист рассказал мне потом о своей дочке, какая она была порбячески чистая и наивная, такая тоненькая, что голубые венки на её ручках казались оголёнными... Ей никогда не надоедало рисовать, и на своих картинках она выдумывала множество несуществующих цветов и разноцветных птиц. Но, между тем, разглядывая эти рисунки, Оптимиста, по его воспоминаниям, не покидало ощущение, что и цветы, и птицы на них на самом деле существуют. На лице Оптимиста появилось то выражение, когда человек уже в преклонном возрасте вспоминает что-то очень хорошее и

трогательное, быть может – самое дорогое, что у него было, и он заплакал... Это умиление не сошло с его лица даже тогда, когда мы встретились с ним взглядами, и он только опустил голову и прикрыл ладонью глаза...

- Нет-нет, - горько обронил он. – Вы не думайте, я в порядке... Мне просто легче так.

Каждым из этих бичей, конечно, оберегалось в душе нечто своё, важное из прошлой жизни, оно и помогало им жить. Вернее, они цеплялись за то, что так бездумно когда-то растеряли, и, может быть, именно это привлекало меня в них. Всё остальное было вытравлено из их памяти, как ненужное, и оставалось лишь самое трепетное, чего забыть невозможно, как бы его не подавляла печальная действительность. Оказывается, им было ещё, чем дорожить.

Ещё был заискивающий перед всеми, но не лишённый при этом какого-то вызывающего куражу Чимуха, которого припортовая шушера окрестила за дефект речи не иначе, как Чи-муха – Чи-комар. Чимуха ни на кого не обижался, да до него, кажется, и не доходил смысл собственной фамилии или этого смешного прозвища. В точно установленные для себя часы, Чимуха появлялся на главной улице городка – Береговой, в потрёпанной шинели, затасканной до невозможности флотской фуражке без козырька, но с «крабом», которым он не изменял, надо полагать, даже во время сна, и начинал свой дневной обход.

Никто не знал – где он обитает, но точно было известно, что своего дома у Чимухи нет. О существовании Диогена Чимуха, конечно, не подозревал, и потому не догадывался использовать в качестве жилья обыкновенную бочку. Весь свой досуг, пока позволяла погода, он проводил в полуразрушенной корейской фанзе, на ворохе соломы, которая хоть и немного, но держала тепло. Бочка, видимо, служила ему и столом, и стулом.

С приходом первого снега Чимуха куда-то надолго исчезал, так что о его существовании за длинные зимние месяцы начисто забывали, но с возвращением тепла он вновь появлялся. Несовершенство собственной жизни уже ничуть не беспокоило его, как не беспокоило оно ещё многих из тех, кто потерял себя без всякой притом надежды на воскрешение. Частенько Чимуха заходил к Катаклизму с Шо-Шо, и вместе они «чифирили», обмениваясь своими нехитрыми новостями.

Временами в нём будто всплывала его истинная сущность, что, по-видимому, не давала ему покоя, и в такие моменты он совершенно преображался. Возникало ощущение, что это совсем другой человек, причём, достаточно трезво рассуждающий о жизни. Глядя на него не верилось, что подобное возможно, и Чимуха тогда представлял из себя чуть ли не образец благоразумия, вступая с Катаклизмом в ожесточённые дебаты.

Чимуха был единственным членом «Интернационала», кто по праву мог называть себя «бичкомером» - моряком, оказавшимся не у дел. Когда-то, давно, он был списан капитаном с судна за пьяную драку, чуть ли не с поножовщиной, учинённую им со старпомом, но вернуться к лихой

моряцкой жизни уже не сумел, не смог осилить свершившийся в своей судьбе несправедливый казус, и сильно запил после того, как отсидел положенный срок. В противовес справедливо устроенному космическому порядку, своё незатейливое жизнеистечение он воспринял не иначе, как дьявольские козни антихриста, сбежавшего от Бога на грешную землю, считал себя заблудшим человеком, чьей душой завладел тот самый, окаянный противник Христа, ратующий против истины и добра.

Согласно Святому писанию, антихрист должен был явиться пред скончанием мира, и открыто совращать благочестивых граждан, к коим Чимуха себя, конечно, причислял, ибо страдал, по его разумению, за правду, но поскольку дьявольская печать, как он полагал, на нём уже стояла, Чимуха сам на себе давно поставил крест. Имея это клеймо, ровно, как паспорт, Чимуха ничему уже не удивлялся, наблюдая конец мира в своём пустом прозябании на земле, не сомневаясь, что когда-нибудь попадёт в геенну огненную.

Всю эту неблагоприятную картину дополняло заикание Чимухи, которым его однажды наградили пьяные матросы, избив до полусмерти, после чего он и стал заикой, судорожно отрывая слоги друг от друга, словно спотыкаясь языком... Когда он чудом оклемался, и его спрашивали – как его звать-величать, Чимуха, смущаясь, с запинкой отвечал: «Чи-чи-муха», после чего к нему и приклеилось несуразное прозвище «Чи-муха – Чи-комар».

Постепенно заикание Чимухи сошло на нет, но когда он начинал сильно волноваться – оно вспыхивало с новой силой, и с этим ничего нельзя было поделать. Как говорится: стой – не шатайся, ври – не завирайся, а говори – не заикайся! Впрочем, «Интернационал» существовал дружно, и особых поводов для волнения у Чимухи в последнее время не возникало. Он даже, наверное, по примеру Катаклизма, стал интересоваться его библиотекой, и больше всего ему нравился журнал «Вокруг света».

Чимуха жадно проглатывал напечатанные в нём рассказы про дальние странствия, особенно близки ему были морские приключения, чем он, вероятно, компенсировал нехватку их в собственной, несостоявшейся морской жизни. Своим постоянным устремлением к знаниям, Катаклизм вызывал у Чимухи уважение, и это обстоятельство незаметно сблизило двух товарищей по несчастью.

В отличие от членов Интернационала, с их забитым существованием, известная бандерша с Подгорной Баба Фая вела жизнь, о которой знал весь посёлок... Многие могли сказать, что она делала, в каком виде и в каком состоянии находилась в определённый час, с кем повздорила или что, как говорили поселковые обыватели, отчебучила. Но все эти мнения и сплетни, по своей значительной части, были всё же необоснованными и надуманными: это были грязные, вялые пересуды, которые не минуют даже такие отдалённые морские посёлки, как Казаки. То же, что представляла из себя Баба Фая на самом деле, никто из них знать не мог.

В чём-то эти просто не желающие думать и чувствовать жители посёлка были правы, но не настолько, чтобы судить о ней. Они не видели главного ни в себе, ни в Бабе Фая, ни в самой жизни, и в этом заключалась их главная ошибка. Не то, чтобы они относились злобно к подобным личностям – их в посёлке встречалось в достатке, но Баба Фая была одна-единственная, а люди воспринимали её только так, как это было им удобно. Она стала неотъемлемой частью посёлка, и жители уже не представляли его существование без легендарного ангела-хранителя местных бичей, которых она заботливо и незаметно для них самих взяла под свою скромную опеку.

Баба Фая... Она стала символом и мерилom внутреннего поселкового распорядка, даже не подозревая об этом. Но если бы она когда-нибудь и узнала о своём установившемся авторитете, это никак не повлияло бы на её поведение. Баба Фая осталась бы прежней...

Никто не знал, да и не интересовался, откуда возникла эта неряшливая женщина... Многие считали её старухой. Между тем, ей не было ещё и шестидесяти...

Постоянно находясь на виду у всех, она тихо тянула в глубоком одиночестве, существуя отголосками своей прежней, никому неизвестной жизни... Когда-то она воевала медсестрой, совсем ещё юной девчонкой вытаскивая на себе из-под огня раненых солдат. После войны, по вербовке, приехала на Сахалин и работала на добывающих судах в море. Выйдя замуж, родила сына, и вскоре обоих потеряла... И мужа, и сына забрало море. Судьба и после не преподносила ей ничего утешительного.

Изо дня в день оставаясь совершенно одна в своей хибарке на окраине Старого города, она ворошила в пьяненьком уме картины былой жизни, лихорадочно и хаотично всплывающие из далёкой молодости, и, путаясь и наслаждаясь в накатывающих видениях, тешила свою душу, тихо посмеиваясь и бормоча про себя какую-то свою, не понятную никому правду. До неё уже не доходило теперешнее её состояние. И не было на земле ни одного человека, который бы мог ей чем-нибудь помочь.

Всё дело было в самой Бабе Фая, в той нелёгкой жизни, которую она прожила на белом свете, и в том, что составляло её жалкое существование теперь. Где-то в неведомых глубинах сознания она чувствовала своё падение, если его можно было так назвать, но изменить что-либо у неё не появлялось никакого желания. В этом сейчас для неё просто не было необходимости.

Утерев нить смысла, она уже не пыталась её отыскать. Баба Фая только заглушала вином нежданные проблески своей состарившейся души, в хмельной хандре находя необходимую капельку того, что ещё поддерживало теплившуюся, как маленький уголёк, жизнь.

Став чем-то неотъемлемым для посёлка, Баба Фая обеспечила себе, сама того не желая, долгую жизнь. Но, тем не менее, в последний путь провожали её только двое, никому неизвестных забулдыг – Сенька Ордынцев, по прозвищу Катаклизм, и маленький Шо-Шо. Провожали, конечно, не с той честью, которой достаивались прожженные ветрами,

ледяной водой и морской солью «крабы», те немногие, кто заслужил это прозвище за долгие годы непомерно тяжёлого труда на флоте, кто ощутил сомнительную, но не ускользающую удачу, неукоснительную веру в людей и нужность своего ремесла. Провожали неприметно и тихо, двумя скорчившимися душами, выплакав за неё её горькую жизнь...

Все они были очень трогательны и до такой степени побиты жизнью, что, обращаясь к ним, я первое время, не переставая, повторял «извините», «пожалуйста» и прочие слова, которые совсем не вязались с этой обстановкой и этими людьми. Лишь наполовину понимая меня, или же, скорее, совсем не разбирая, что от них требуется, они всё-таки глядели на мир широко раскрытыми глазами. На их прокопченных кострами, избородённых морщинами и шрамами лицах появлялось что-то наподобие недоверчивой улыбки, когда я пытался завязать с ними душевный разговор. В глазах вдруг проскальзывала невесть откуда появившаяся, смешная, на первый взгляд, деликатность, граничащая с вежливой услужливостью, как это случается у ребёнка, когда он полностью доверяется взрослому, и хотелось заплакать от боли за все их исковерканные судьбы...

И вот, когда проходили первые минуты знакомства, и я проникался к этим людям искренним пониманием, а порой и уважением, я неожиданно ловил себя на мысли, что по-настоящему ж-и-в-у! Меня ничего более не сковывало, я ощущал, как удивительно легко и хорошо на душе от близости этих людей и оттого, что ты можешь быть им хоть чем-то полезен. Я вдруг понимал, что даже с лучшими из своих друзей я не бывал так искренен, и, пытаясь поскорее утвердиться в этом ощущении, боясь утраты этого незабываемого и почти всегда кратковременного чувства, начинал сознавать, как мизерно всё, что ты имеешь, в сравнении с их опытом и бедой.

Так получилось, что бичи обитали в основном на окраинах нашей необъятной страны, предрасполагающих к вольной жизни и тяжёлому физическому труду. Именно в безвестных, Богом забытых таёжных посёлках и приморских городках оседали эти люди, про которых говорили, что у них нет дома. Конечно, у каждого из них уже была когда-то своя крыша над головой, первая, с которой было связано самое дорогое, и которая однажды всё же была утрачена. Но должно ли было это означать полную бесприютность?!

Говорят, истинный дом человека там, где он чувствует себя, как дома, и домом этим была им родина, которая на трудных поворотах своей истории могла потерять многих из них и, конечно, теряла. Но бродяги, оказавшиеся не удел, не желали терять почвы под ногами. Вот таким, сохранившим связь с землёй, не помочь – являлось бы уже преступлением, но многим так и не протягивали руку, а если совершали попытку, то только наполовину, и в результате люди гибли, уходили в неизвестность.

У них было достаточно поводов для того, чтобы спиться гораздо раньше, и заслуга их заключалась в том, что они держались так долго. Ведь

не каждый находит в себе силы подняться, хотя бы даже после одного падения. Это так просто и так ужасно в своей простоте.

Но если, всё-таки, отнестись к этой категории заблудших личностей, действительно, серьёзно, и быть предельно точным, то кто они? Чем отличаются бичи от других людей? И поразмыслив, приходишь к выводу, что им присущи абсолютно взаимоисключающие друг друга черты...

С одной стороны – ярко выраженное плутовство, невероятно изощрённое мошенничество, а с другой – кристальная честность по отношению к порученному делу и такому же, как он, собрату – бичу. Доведение себя в тяжёлом, порой – просто изнурительном труде, например, при рытье шурфов в геологической партии, до полного изнеможения, и в то же время – беспричинная гульба, безудержное пьянство и разгул, когда человеческий лик полностью утрачивается. Наглое поведение, проникнутое совершенным бесстыдством, и тут же – бережное, почти трогательное отношение к нашим меньшим братьям. Неописуемо отчаянная неприхотливость, полное равнодушие к повседневному жизненному укладу, и невесть откуда берущаяся жажда к «красивой» жизни, когда в считанные дни спускается весь полугодовой экспедиционный заработок. Завидное умение мгновенно приспособиться к самым суровым условиям – и отсутствие какой-либо малейшей склонности к беззаботному домашнему существованию. Абсолютная растерянность перед этим самым бытом, неумение, а чаще всего – нежелание хоть как-то организовать себя в нём – и невероятно трепетное, глубокое осознание сути жизни, порой – просто потрясающие мыслительные способности, приводящие к удивительно вдумчивым и точным рассуждениям... А ещё – пренебрежение к собственной личности – и ни с чем несравнимая потребность в независимости; страстное желание колобродить, отказываясь от малейшего участия в жизни общества, быть «как все», и внутреннее, чуть ли не рыцарское стремление к тому, чтобы тебя уважали...

И разве забудешь тут про постоянное устремление русского человека к свободе, нужду в дорогой его сердцу дороге, увлекающей к бескрайним просторам родной страны, где он всегда отыщет для себя и незатейливый кров, и нехитрый стол, укрывшись от навязчивых властей? Неудовлетворённость окружающим существованием, а больше – самим собой, вынуждала этого неудовлетворённого человека становиться постепенно «бичом», подвергать себя разного рода лишениям и возможным опасностям, действуя на удачу, в надежде на счастливый исход, как правило, оборачивающийся безысходной тоской, неумением разрешить животрепещущий вопрос: в чём правда жизни, и существует ли справедливость? Тяжело переживая эту самую несправедливость, нередко доходящую до предельного унижения человеческого достоинства, не имея с раннего детства достойных условий и элементарных возможностей, легко было скатиться в неволю подавляющих душу дьявольских законов, умудряясь при этом сохранить собственную незаурядность...

Ведь нередко случалось такое, что человек мог просто оступиться, или пострадать невинно, а сил, чтобы совладать с неудачей и невезением, не доставало... Сила разума человека постигает и заключает, изобретает и замышляет, но не всегда она способна сладить с бесовскими кознями, которые и её ломают, ежели она не обрела в себе истинное знание... А его необходимо заслужить...

Но откуда ж взяться этому знанию у неготового к его обретению человека, не способного организовать собственную жизнь? Знает сила правду, да не любит сказывать, а кто силён, тот и волен. Но что Богу не угодно, то и несильно.

И всё же, бичи несут в своём существовании нечто необъяснимое, притягивающее к себе... Они будто обрели какое-то скрытое ото всех состояние, или, вернее, понимание о жизни на свой лад, а воспользоваться им пока не умеют. Не ведают, как им распорядиться непутёво отвоёванной у жизни, мнимой свободой, как применить для чего-то сохранённую в себе детскую чистоту, несмотря на закопченные души и лица. А то, что это именно чистота, некая труднообъяснимая и непонятно как уживающаяся в их сметённых душах наивность, - несомненно. Чем они, собственно, и привлекали меня, все эти несурзные и незаурядные судьбы...

Вопрос: так кто такие «бичи»?

Ответ: загадка нашего российского, не сравнимого ни с каким иным мироздания... Одним словом, неразрешимая и, между тем, притягивающая к себе тайна. Сами посудите...

Тот день выдался на удивление тёплым, спокойным, и так же неторопливо текла своим чередом незамысловатая жизнь бичей. Видно было, как им не хочется, чтобы кто-нибудь нарушал их покой. Они сидели под береговым обрывом, у затухающего костерка, и с наслаждением потягивали чифирок.

- Здорово были, - без всякого вступления, обратился я к ним.

- Дал бы Бог здоровья, да денег нет, - нехотя пробормотал себе под нос Шо-Шо.

- Деньги – тлен, а здравый смысл – превыше всего! – не преминул продемонстрировать свою эрудицию Катаклизм.

- Здорового и нужда не берёт, - довершил приветствия уже разомлевший от выпитого Чимуха. – Богаты, так здравствуйте, а убоги, так прощайте...

- Один здравствуется, другой прощается, понимай, как знаешь! – попытался съязвить Шо-Шо, находясь с утра явно не в духе.

- Не всякое слово всяким понимается! – в благостном умиротворении изрёк очередную истину Катаклизм.

Друзья уже пребывали в разогретом состоянии, но вот на Шо-Шо «ерофеич», как члены «Интернационала» называли чифир, по-видимому, ещё не возымел своего чарующего действия. И тут нужно заметить, что бичам в

их разудалой жизни обойтись без спирта, браги и одеколона никак нельзя, но когда они отсутствуют – спасает только чифир.

Чифир – очень крепкий чай, когда на литровую банку засыпается целая пачка, и, конечно, такой крутой взвар немилосердно садит сердце. Но Ерофеич – зек старой закалки, был чифиристом со стажем, умудряясь подогреть себя этим чудодейственным напитком чуть ли не всю жизнь, проведённую за «колючкой», и для всех членов «Интернационала» являлся непререкаемым авторитетом, хоть и держался всегда особняком. Именно это обстоятельство в дальнейшем и послужило тому, как бичи нарекли для себя это сногшибательное пойло, называя его между собой – «ерофеич». В честь своего приятеля, в скором времени почившего в иной мир. Чифир всё-таки разрушил его «мотор», но мне ещё удалось застать легендарного бича, и когда я заглядывал в гости к неунывающей компании, Ерофеич, расплываясь в беззлобной улыбке, елевым голосом приглашал всех к костерку:

- Пожалуйте кушать чай! Принудили нашего брата чай без сахара пить, а только вприглядку...

Отхлебнув глоток из закопченной кружки, Ерофеич, наигранно вздохнув, добавлял:

- Хлебца купить не на что: с горя чаёк попиваем!

Изготовление чифиря незатейливо, но требует определённых познаний. Шо-Шо всю важность существования чудодейственного напитка выразил следующей тирадой:

- Чтобы небеса возликовали и грешников в аду не мучили! И когда попробуешь этот божественный коктейль, сердце в томлении благодном забывается, и жизнь уже не кажется такой наскучившей и пресной. Что кому до нас, коли праздник у нас?!

Шо-Шо от воображаемого удовольствия даже облизнулся, и продолжил:

- Берёшь, значиться, пару пачек индийского или цейлонского чая, на худой конец – грузинского, разводишь костерок, и ставишь на него посуду с водицей.

- Хорошо подходит для еного фокуса банка из-под консервированных персиков или абрикосового компота, - вкрадчиво добавляет Чимуха. – Опять же, лёгкая, и места много не занимает.

- Ага. В такой банке вода вскипает моментом, - деловито поясняет Шо-Шо. – Как только забурлило – высыпашь содержимое пакетов в кипяток, и даёшь несколько минут потомиться. Затем – помешал прутиком, снял, и всё оставшееся варево сливаешь в кружку. С виду – корчажный дёготь, что выгоняют из бересты огнём, им бы только ворота мазать, а на деле – натуральный продукт, произведение природы, эликсир!

- Как утверждал незабвенный поэт: не нужно золота ему, когда простой продукт имеет! – отличился в знании русской поэзии Чимуха. – Прежде, чем причащаться к блаженному напитку, надо дать ему отстояться, так он душевнее становится, а уж потом – утоляй душевную жажду.

Шо-Шо придвинулся ко мне, и очень вкрадчиво, с какой-то затаенной сокровенностью, чуть ли не с придыханием, произнёс:

- Чифир надо пить с толком, не торопясь, также неспешно беседуя о неповторимости нашего бытия...

При этом он пристально, даже – изучающе, посмотрел мне в глаза, наверное, надеясь увидеть во мне своего человека, и так же проникновенно добавил:

- Благостная жидкость должна плавно покатиться в груди, и пока она не дошла до места – начинается кайф! Когда же всё это благо растечётся во внутренних – наступает пик блаженства...

Шо-Шо осторожно поднёс дымящуюся банку к губам, и с нескрываемым удовольствием прильнул к ней, зажмурив глаза, а потом, переведя дух, прошептал:

- О чём душа радела, то Бог и дал...

Он бережно передал банку мне.

- Давай, пей так же, как я. С радостью...

- Как бы, не обезуметь от неё!

- Наши радости, конечно, перед Богом гадости, но какая корысть от того, что его рабу божьему услада на сердце легла?

Не особо артачась, я тоже зажмурился, пригубил пахучую жидкость, и сразу почувствовал, как нечто дегтярное и сочное покатилося вниз, в желудок, ёкнуло там и растеклось каким-то неизвестным мне ранее, животворящим теплом, отчего всё внутри замерло и какое-то время не отпустило.

- Ну, как? – с замершей на губах, ошалелой улыбкой, еле промолвил Шо-Шо. – Сам себе на радость, кроме бича, никто не живёт!

Да, было что-то необычное в этом напитке, внутри я почти не ощущал никакой горечи, и даже захотелось попробовать ещё один-другой глоток. Подобных ощущений мой желудок никогда ещё не испытывал, мне вдруг стало интересно всё, происходящее сейчас со мной, и я улыбнулся.

- Кто чужой радости не рад, тот сам себе враг! – объявил во всеуслышание Чимуха, и тоже расплылся в улыбке.

- Рады стараться! – завершил любезности Шо-Шо, дурашливо ухмыльнувшись.

Мы пили эту чёрную тягучую жидкость, и через несколько минут голова как будто отделялась от тела и повисала над приборной полосой, а ты вдруг попадал в иное измерение, понимая, как чудесна и светла эта беззаботная жизнь у самого моря, куда ты скоро отправишься на полгода, и нужно наслаждаться воцарившимся в душе покоем, несмотря на это сомнительное сообщество. В такие минуты, наверное, и рождается истина, подумалось мне, когда полностью преображаешься в контакте с божественным в себе и со всем, что тебя окружает. Мне всегда было интересно проникать в суть вещей и явлений, находя в жизни верное им применение, научиться понимать истину, несмотря на то, что её, наверное,

невозможно выразить в словах, и, в конце концов, прийти к осознанному восприятию нашего существования, заключающего в себе столько невероятных возможностей. Даже, если ты находишься в некоей прострации от выпитого чифиря. Мне было хорошо.

- Что может быть лучше баночки чифира, с самого утра, - благодушно прогнусавил Чимуха. – Ты – и сам по себе, а вроде как – со всеми. Лепота!

- Эх, сейчас бы спирту, да на салазачках! – мечтательно произнёс Шо-Шо.

- Что ещё за салазачки? – удивлённо спрашиваю я.

- Этот секрет нам с северов Ерофеич подогнал, когда после отсидки, шурфы там, в геологической партии, бил... Дело не хитрое, - разъясняет Шо-Шо. – Зачерпнул из ручья холодной водицы, проглотил её, и сразу, вдогонку, спирту горючего: охмеляющая жидкость! Убогого слеза прошибёт, давай ещё! Разводить – ни-ни, только сломаешь кайф. Влага тянет за собой по пищеводу чистец, и только облагораживает его. Звероподобный смак: хлебай, да причмокивай!

- Про чаёк, конечно, тотчас забываешь, зато на утро – извольте откусать! – со знанием дела замечает Чимуха. – На Руси ещё никто им не подавился, потому как бальзам душевный. Так и живём: чайничаем, да бражничаем!

- Это верно, - соглашается с ним Шо-Шо. – За хлеб-соль спляшем, а за винцо – песенку споём.

- Без вина – одно горе, - вздыхая, вспомнил свой горький опыт Чимуха. – А с вином два: и пьян, и бит...

- Когда тебе не везёт, нужно просто пережить этот момент, - с воодушевлением заявил Шо-Шо.

- Лучшим показателем уровня сознания всякого индивидуума - является умение справляться с жизненными трудностями! – ни с того, ни с сего ляпнул Чимуха, так, что сам несколько опешил от сказанного.

- Не-ет... Ничего не может быть более увлекательного и разумного, чем изучение жизни, - благостно и нисколько не сомневаясь в своей правоте, прошепелявил Катаклизм.

- А я думаю, что каждый день нужно жить так, будто следующий не наступит! – беспечно и без тени сомнений, заявил Шо-Шо. – Хорошего на свете мало, а худого всюду много: чего же его благословлять?

- И значит – здравствуйте, стаканчики, дорогое винцо?! – язвительно вторит ему Чимуха.

- Человек не должен ни к чему привязываться в этом мире, - смело провозгласил Шо-Шо. – Что хорошего, скажем, в жене и детях, ежели они потом отказываются от тебя?

Это, конечно, была больная мозоль Оптимиста, и Шо-Шо безжалостно наступил на неё, хотя хорошо знал о беде своего товарища, но в запале спора забылся, и сразу прикусил язык. Благо, Оптимист, как всегда, отрешённо сидел в стороне, и ничего из сказанного не услышал.

После опрометчивого высказывания Шо-Шо, Катаклизм тоже весь подобрался, побагровел, и ,выдержав паузу, чтобы, значит, подтвердить существование ещё нерастраченного собственного достоинства, тихо и утвердительно промолвил:

- Все мы любим хорошо, только хорошо-то нас любит по выбору. Да и нет в жизни ни плохого, ни хорошего, она едина, и любая крайность в ней однобока.

Он оглядел своих приятелей величественным взглядом, и вкрадчиво добавил:

- Потому как всякая крайность должна иметь свою противоположность, и вместе они составляют необходимую целостность.

Ясно было, что Катаклизм в своей прошлой жизни прочёл много книг. Он и сейчас беспрестанно пролистывал журналы, подолгу водя по страницам корявым пальцем: зрение у Катаклизма сильно подсело, и даже переломанные в нескольких местах очки, замотанные изолентой, видимо, не помогали. Катаклизм натягивал их на нос для проформы, чтобы продемонстрировать свою «интеллигентность», и расставаться с ними не желал.

Вот и речь у Катаклизма была необычная, с вывертом, к которому и Чимуха, и Шо-Шо давно привыкли, а потому не обращали на неё внимания.

Что, казалось бы, может интересовать бича, оказавшегося «не у дел», кроме пропитания и крыши над головой, но Катаклизма, в отличие от его приятелей, бедственное положение ничуть не смущало: его исстрадавшаяся душа, тем не менее, неудержимо устремлялась к знаниям. А что больше всего может занимать непризнанного обществом философа? Конечно, правда жизни!

А ещё – причина страданий человеческих, истинная свобода, существование ада и рая, значение для заблудшего человечества спасительной религии, и всё, к чему оно всегда неудержимо стремится – вера, надежда и суть этой брэнной жизни... Но в течение своего нескончаемо страдальческого существования, Катаклизм как-то незаметно для себя забыл, что главный наш враг – находится внутри, так же, как и Господь...

- Сила – в правде, - неожиданно изрёк Катаклизм, и в подтверждение сказанного, с победоносным видом упёрся руками в колени.

- Это вряд ли, - спокойно возразил ему Чимуха. – Глядя на людей, как они безалаберно относятся к своей жизни, создаётся впечатление, что нет в них ни силы, ни правды. Живут так, будто у них вместо одной – существует несколько неповторимых судеб.

- Правда всегда себя проявит благодаря заложенной в себе силе. Всё минуется, а правда останется! – еле сдерживая себя, заключил Катаклизм.

- Ну-ну, ещё скажи, что Бог тому даёт, кто правдой живёт, и что без правды не житьё, а вытьё.

- И скажу! Правда, как говорится, со дна моря выносит, и из огня спасает... Правда есть, так и счастье будет. Она суда не боится!

- У каждого Павла – своя правда, - пригорюнился Шо-Шо. – И не всё то, правда, что про неё говорится.

- Вот и я разумею: по правде тужим, а кривдой живём, - усмехается Чимуха. – Без правды, конечно, жить легче, да и помирать тяжело, но только сила и правда – разные вещи, и далеко не всегда они сочетаются. Чаще всего оказывается так, что правде, как раз, не хватает силы, чтобы победить, и она нередко терпит поражение. Правде, для того, чтобы одержать победу над ложью, необходимо самой накопить в себе достаточную силу...

- Как же это она копится?

- А в результате постоянных духовных усилий, которых нам всем не хватает. Я тебе скажу такую правду, что будет вернее самой мудрёной лжи... Правда-то – всегда на поверхности, и нужно разглядеть – что скрывается под ней.

- И что?!

- А под ней ещё более правдивая истина: не ищи правду в других, коли её в тебе нет. Лучше загляни в себя, потому как только ценой своей жизни сможешь стать подлинным. Соверши свой духовный подвиг! – сдержанно попытожил свой монолог Чимуха.

- А от чего человек боится заглянуть в себя? – осторожно спросил Шо-Шо.

- Да тех самых усилий и боится, что совершать не желает. Надёжнее ведь оградить себя от разных волнений, чтобы ничего не мешало благополучно прозябать.

- Вот тут я согласен, - недовольно подтвердил слова Чимухи Катаклизм. – Страх потерять привычное – сковывает по рукам. Человек лишается важного для себя развития. Ему привычнее просто вести ни к чему не обязывающий образ жизни...

- И почему человеку просто не осуществлять свои желания? – задумчиво произнёс Шо-Шо. – Он всё только мечтает...

- Оттого и мечтает, что благодаря мечте чувствует, что живёт.

- Не делает ничего, а именно мечтает, - настойчиво подтвердил свою навязчивую мысль Шо-Шо. – Скорее всего, в мечтах он стремится избежать той действительности, что его окружает.

Катаклизм тяжело вздохнул, и будто очнувшись от тяжёлой задумчивости, устало произнёс:

- Вернее, не знает, как её применить, а если и догадывается, то сознательно избавляет себя от тех усилий, которые ему надлежит совершить, чтобы достигнуть желаемого.

- И вот человек создаёт вокруг себя мечту с целью заглушить потребность к действию, - спокойно заключает Чимуха. – Проявляя, таким образом, всем нам хорошо знакомую душевную лень. Точнее будет сказано – боязнь, что у него не выйдет задуманное, и главное – он нарушит это самое привычное благоденствие, что уже проверено и не несёт никакого риска.

- Мечта, значит, ослепляет человека?

Чимуха тяжело вздохнул, не спеша оглядел весь «Интернационал», и ровно отрубил:

- Не жизнь наказывает человека, а сам он.

- Зачем это? – недоумённо воззрился на него Шо-Шо.

- Когда идёт против неё, то есть – нарушает божественные законы.

- А что, ежели человек не в силах достичь в себе этого самого благословения?

- Зато с удовольствием отдаётся на волю собственных пустых мечтаний! Жизнь сама по себе прекрасна, и разве способны мечты изменить её к лучшему? Если мечты и необходимы, так только для того, чтобы их осуществлять, иначе они разрушают. Уж убеждался в этом фокусе не раз.

- Получается, реальность жизни такова, что человек, просто мечтая, избегает самого главного в своей жизни?

- Самого себя он избегает, потому, как не живёт естественной жизнью, не исполняет то, что возложено на него Господом!

- Вы что, верите в существование Бога? И в чём же тогда, всё-таки, корень бед человеческих?

- Корни у нас всех одни и те же, - задумчиво произнёс Чимуха. – Но мы сами различны, поскольку не созданы по единому образцу.

- Каждый индивидуум, значит, уникален?!

- Как это случается повсюду в природе. Главная проблема человека в том, что он, действительно, не смотрит в себя, а глазеет, постоянно, по сторонам, пытаясь обрести недостижимое и овладеть тем, чего нет.

- Это, выходит, само провидение встало у него на пути, а против судьбы, как известно, не попрёшь, - нравоучительно прошепелявил Шо-Шо. – Каждый должен знать своё место.

- Самая сложная штука на свете – научиться молчать в тряпочку, и никого не судить. Человека ждёт точно такая же жизнь, какой она была в его прошлом, даже – хуже, потому как ничто не изменяется само по себе.

Шо-Шо, не отрываясь, с недоверием вглядывался в Чимуху, не находя, что ответить.

- Обладаешь тем, чего заслужил, чего непонятного?! Именно вот таким образом выстраивая свою жизнь...

Чимуха, не хотя, кивнул в сторону Шо-Шо. Шо-Шо замер в напряжённой позе, не спуская с Чимухи пристального взгляда.

- Всё хорошее в жизни нужно заслужить, - уже сдержанно подтвердил свою мысль Чимуха.

- Причины многих несчастий и разочарований кроются в том, что люди не понимают и не пытаются понять законы этого мира, - наконец-то обозначил своё присутствие Катаклизм, с грустью посмотрев на своих друзей. – Они никак не могут принять то, что имеют, и постоянно желают оказаться в другом, воображаемом месте, где, по их мнению, гораздо лучше.

- Человеку нужны ни деньги и власть, а то состояние души, когда он переживает в душе радость. Богатство, власть и даже знания не спасают, ничего из этого невозможно будет забрать с собой после смерти... В жизни нужно, наверное, посадить свой сад, - грустно улыбнулся Чимуха, - чтобы быть в нём заботливым садоводом. Вот тогда ты – богач, и переживаешь в себе по-настоящему божественное состояние.

- Вот именно – божественное! – оживился Катаклизм. – От людей часто можно слышать, что Бога нет. А я говорю – Бог есть! Его не может не быть. Ведь Божья благодать – повсюду! Нас Он не от скуки выдумал, как уверяют некоторые грамотеи, а чтобы мы сами вмешивались в дела Господни, проявляли, так сказать, интерес к существованию.

С одной стороны, тебе, вроде бы, свобода воли даруется, а с другой – ответственность за всё живое. Иначе, зачем в тебя самого эту жизнь вдохнули?

- Зачем? – запальчиво выдохнул Шо-Шо.

- А за тем, чтобы тебе, дураку, не скучно было жить на белом свете, ты сам есть свет, и должен нести его другим!

- Скуки, значит, чтобы не было. Эксперимент, что ли, такой? А ежели я копыта отброшу – что со мной станется? Обрати меня с Богом соединят?

- Это вряд ли, - тихо заметил Чимуха. – В тебе свободы воли никакой нет. Ты о ней только всё время зубоскалишь, но на деле – лишь бы, ни во что, не вмешиваться. Бог всё видит и чувствует.

- Вот-вот, - опять оживился Катаклизм. – От людей часто можно слышать, что Бога нет. Иначе бы, Он, якобы, не допустил постоянно происходящие на земле злоключения, а если и существует, то, по непонятной причине, никоим образом человечеству не помогает.

- О чём я и толкую: только ввергает всех нас в пучину разрушительного непонимания, болезней и войн!

- На деле же, Божественное Мироздание помогает человеку уже тем, что просто есть, - с торжествующей усмешкой парирует Катаклизм.

- То есть – одним своим присутствием?! – от неподдельного удивления и без того оттопыренные уши Шо-Шо начали незаметно перемещаться к макушке.

- К тому же, безо всяких чудодейственных воздействий! Нескончаемым потоком добра и силы даже такой дуст, как ты, располагает. Ты просто об этом пока не знаешь.

- Бог с нашей помощью, если мы несём добро, глубокое удовлетворение в себе переживает, радуется..., - опять ненавязчиво вступает в разговор Чимуха.

- Кайф, значит, получает? Ну, а вот когда какому-либо индивиду жрать нечего, кто его чувство голода удовлетворит? Или, скажем, несправедливость голимую, что мне лично, обыкновенному бичугану, житья не даёт, искоренит?!

- Тот, кто утвердился в истинности своего пути. Правда, выглядит он всегда заурядно, - уже спокойно и вдумчиво доносит до него свою правду основательный Катаклизм.

- Как я, что ли? – не унимается Шо-Шо.

- Такой человек ни о чём не беспокоится, он всегда невозмутим, и живёт, вроде бы, беззаботно, - не обращая внимания на слова Шо-Шо, продолжает увещевать его Катаклизм. – О нём часто можно услышать мнение, как об очень беспечном человеке, который ни о чём не заботится...

Шо-Шо - человек, не помнящий родства, всегда смотрел на этот мир спокойно и безмятежно, застенчиво улыбаясь размытой темнотой своих бездонных глаз. Кажется, его действительно ничто не тревожило, со всеми он, в общем-то, был доброжелателен и учтив. Правда, порой, и проявлял свой строптивый характер. Казалось, не было в его жизни ни оскорблений, ни тяжёлых работ, а только одна беспечная радость от происходящего вокруг жизненного торжества. Шо-Шо восхищался любым маломальским проявлением жизни, хотя бы это была обыкновенная, неприметная никем былинка, но божественность мира отчего-то отрицал...

- Всё, что человеку нужно – это быть собой, полагаясь только на себя. Может, кому-то и захочется проявить собственную отвагу или терпение, которые не подарит тебе никто, как ты утверждаешь, даже – родители, но только ты сам способен возжелать быть свободным.

- Что тебе ведомо о свободе, голь перекатная? – с лёгкой усмешкой подзуживает его Чимуха.

- Свобода – это когда ты принимаешь жизнь со всей её радостью и болью! – тотчас отвечает Шо-Шо. – Если уж совсем быть честным, свобода человека выражается в том, чтобы переживать одно удовлетворение, наслаждаясь собственным существованием. Свободным хочет быть каждый, а у меня этой свободы – хоть завались!

- В человеке всё должно происходить по причине его высокой сознательности, - невозмутимо вразумляет и Шо-Шо с Чимухой, и самого себя Катаклизм. – Человек до такой степени становится сознательным, что никто в нём этой осознанности и не видит. И, тем не менее, человек этот не сбился с пути, а наоборот – спустился к нам с высоких вершин, чтобы помочь пробудиться.

- Пробудиться от чего? – не к месту, и с навязчивой дотошностью вопрошает Шо-Шо.

- Пробудиться от собственного мракобесия! Он как бы говорит всем своим поведением: я такой, какой есть, и хочу, чтобы и вы почувствовали в себе красоту обыденности, не считая себя каким-то особенным... Всё – в ваших руках, если захотите быть счастливым.

- Я же говорю – это про меня!

- Пробуждённый человек крепко стоит на своих ногах, - утвердительно заявляет Чимуха, - а относится ли подобное к тебе?

- Вот ты, скажем, идя по тропе жизни, упираешься однажды в непроходимую стену... Что будешь делать? – раздосадовано, еле сдерживая себя, негодует Шо-Шо.

Среди друзей на время повисает вынужденное молчание, и Шо-Шо, выдержав паузу, торжествуя продолжает:

- Не пытайся её, во чтобы то ни стало, преодолеть, а присядь и отдохни, разведи, если потребуется, костерок, завари чифирка, и именно так, спокойно, вернёшься к своим первоначальным истокам... Почувствуешь, что ты – дома...

Но на деле «домом» для четырёх членов «Интернационала» была землянка на берегу моря, где они ютились перед тем, как перебраться на зимние «квартиры» - в обшивающие теплоцентраль дощатые короба, там всегда было сухо и тепло. По рассказам бичей, в них даже зимой было жарко, так что они раздевались до рубаш. Жильё освещала свечка, плавающая в банке с водой. Выбирались на божий свет только за тем, чтобы насобирать и сдать «пушнину» - выброшенную несознательными гражданами стеклотару, и затем опять скрывались в своём убежище... Трудно было представить, что человек способен просуществовать в таком положении целую зиму, если их, конечно, не вылавливала милиция, но это было так...

- Три кола вбито, бороной накрыто, вот и весь наш дом, - с горечью заметил однажды Катаклизм.

Катаклизм, как уже говорилось, являл собой яркий пример умудрённого жизненным опытом человека, хотя и имеющего преступное прошлое, но совершенно беспомощного перед суровыми вызовами судьбы, а потому и изъяснялся, по большей части, с намёком на интеллигентность, даже, можно сказать, заумно. Сказывались тяготы лагерного заключения и превратности незамысловатого житейского быта у самого моря...

Но назвать его совершенно опустившимся типом было нельзя. Катаклизм всеми силами старался поддерживать свою «интеллигентную» марку, чтобы совсем не завшиветь, и, имея огрызок черепахового гребня, с чувством отрешённой сосредоточенности совершал каждодневный моцион умывания и расчёсывания остатков волос на своей плешивой голове. Происходило это так...

Ритуал приведения себя в порядок совершался Катаклизмом всегда неторопливо, без намёка на какую-либо спешку, можно даже сказать – очень основательно, и если бы вам вдруг вздумалось досмотреть это священнодействие до конца, вряд ли бы это получилось. Катаклизм вдумчиво наслаждался совершаемым им действием, размеренно расчёсывая засаленные пряди на сторону, чтобы прикрыть поблескивающую лысину, и старался достичь при этом безупречной укладки. Он осторожно повторял свои магические взмахи гребнем бесконечное количество раз, остановившись на миг, скрупулёзно вглядывался в замутнённый осколок зеркала, и только когда производимый эффект удовлетворял его, он начинал производить с волосами тоже самое действие, но только в обратную сторону. Для этого

зеркальце очень бережно переключалось им из одной руки в другую, тоже самое происходило и с гребнем, и чудодейственное занятие вновь продолжалось. Так могло повторяться по многу раз, но это никоим образом не влияло на невозмутимость Катаклизма.

- Ну, ты и шарлатан! - замороженный увиденным, восторженно провозглашал Шо-Шо, пристально наблюдая за размеренными движениями Катаклизма. – Но хоть лик свой святы не святы, а он всё в болото лезет.

Катаклизм никак не реагировал на подобные высказывания, но однажды, удручённо поглядывая на себя в зеркало, с горечью заметил:

- Хотя и не хорош ликом, да душа всё равно пришта к лыку.

Шо-Шо, выдержав для пушного фурору паузу, жизнеутверждающе добавлял:

- Кто без ангелов ликует, тому завсегда праздник!

- Чёрт тебя когда-нибудь утащит! – беззлобно отзывался ему Катаклизм.

- За что – про что, мы же не фашисты какие! – не унимался Шо-Шо. – Живу – никому не мешаю: какой с меня спрос? Много мне не надо: был бы кусок хлеба, кой-какая одежонка, чтобы, значит, местное население не смущать, чифир и сто граммов спирта... А ещё я абрикосовый компот люблю...

Шо-Шо расплылся в довольной улыбке.

Катаклизм был миролюбивый, но слабый человек, он просто физически не смог бы противостоять любому, даже – самому пропащему бичугану, но своим авторитетом прошлой многострадальной жизни всё-таки производил на собратьев по бедственному положению должный эффект, и из уважения к его былым заслугам Шо-Шо с Чимухой нередко умолкали, когда Катаклизм вдруг принимался философствовать.

Больше всего ему не давала покоя заковыристая суть судьбы-злодейки, по вине которой он, якобы, оказался на её дне, и Катаклизм не без удовольствия принимался поучать совершенно безграмотный, по его разумению, народ, тогда как ни Шо-Шо, ни Чимуха не давали ему для этого никакого повода. Они вообще ничего не придумывали, и жили – как придётся, будто текущий день был для них последним. Даст Бог бичу денёчек, даст и кусочек: куда хочешь – туда его и девай. А минует денёк – и заботу с собой уволокёт. Жили бичи без затей, божьих дней не замечая.

Катаклизм же, кажется, всякий прошедший день примечал, будто он для него что-то значил, и очень уважал индийский чай магаданского развеса. Видимо, ещё со времён отсидки, про которую он никогда ничего не рассказывал. Правда, заваривал нехитрый чифирок только поутру, вечером же, напялив свои покоцанные окуляры, принимался за изучение спёртых откуда-то журналов. В такие часы, поглощая научные статьи и фантастические очерки, Катаклизму, наверное, хотелось увидеть и в собственной непутёвой жизни нечто необычное, поверив в то, что всё ещё в ней может измениться.

- В чём суть жизни?! – в порыве минутного вдохновения, вдруг обратился он однажды к бичам, театрально взмахнув зажатым в руке журналом, так что те, от неожиданности, замерли с открытыми ртами. – Что представляет собой это невероятно чудесное явление?

Лицо у него при этом было настолько одухотворённым и счастливым, что извечно блуждающая на губах Шо-Шо ироничная ухмылка тотчас спала.

- Вопрос, конечно, не терпит отлагательств, и требует пояснений, - в деланном недоумении прошепелявил он.

- Как и полагается быть среди интеллигентных индивидуев, - подхватил словесные выкрутасы Шо-Шо Чимуха. – Не колхозники какие-нибудь.

Шо-Шо криво улыбнулся.

- Так чего же не достаёт человеку для счастья в этом хаосе мирового прогресса, - взывал к справедливости Катаклизм. – Как избавиться ему от душевного изъяна?

- И действительно, как? – подстраиваясь под жизнеутверждающий настрой Катаклизма, пытался сострить Чимуха. – Мы понимаем свою незащитность перед свершающимися в мире событиями.

Издевательская ухмылка тотчас нарисовалась на физиономии Шо-Шо, и он небрежно обронил:

- Продолжайте, профессор, о смысле бытия, раскрывайте нам, отщепенцам, высокие горизонты.

- Жизнь – просто феномен, на который нет ответа! – вдруг огорошил своих слушателей Катаклизм.

Чимуха, устремив восхищённый взор на Катаклизма, от переполнявших его душу чувств даже зажмурился, а потом выдавил из себя:

- Не дивят меня странности жизни, а удивляют люди, которые их не понимают, и над ними потешаются!

- Один Бог всё знает и видит, да нам не сказывает, - пытаюсь изобразить почтительное отношение к обсуждаемому вопросу, вкрадчиво добавляет Шо-Шо. – Придёт пора, что вся правда скажется!

- Человек так устроен, что скорее всё самым тщательным образом в других разглядит, порой – самое нутро, чем что-либо путное в себе увидит, - не обращая внимания на усмешки, наставляет Катаклизм.

- И что есть лучше всего?

- А то, чего нет ни у кого, только у тебя!

- Менять привычное на неизвестное завсегда боязно, - со знанием дела поддакивает Чимуха. – Люди смерти остерегаются, в рай просятся, а в ад с головою лезут, ничего не боятся.

- Бойся, не бойся, - конец один.

- Многие люди почему-то даже не хотят видеть то, что есть на самом деле, - не слушая никого, продолжает увещевать Катаклизм. – Они одержимы только тем, как, по их разумению, должно быть.

- При ести, получается, грош медный, а нет – серебряный?!

- А в основе всего – страх, что на тараканьих ножках бродит.
- Самое важное, между тем, скрывается за фасадом обыденной жизни: рядом с тобой происходит что-то особенное, интересное, но ты не обращаешь на него внимания, - гнёт свою линию Катаклизм.
- И всё из-за той же боязни изменить свою жизнь! – подстраиваясь под него, канючит Шо-Шо. – Как все мы... Живём, будто нас и не было.
- Надо жить так, други, чтобы подтвердить свою самостоятельность... У человека есть всё для этого, он только не желает им воспользоваться. Остальное не играет никакого значения. Знай себя самого!
- А мы-таки и есть единственные в своём роде! – с кривой усмешкой радуется неизвестно чему Шо-Шо.
- Не-е, бродяги. Таинственность жизни означает, что нет никакой возможности её разгадать... Где душа бродит, конечно, неизвестно, но коли нам суть жизни понять не дано, можно ведь её и на своём опыте пережить! – вдруг озаряет Чимуху.
- Ну, да... Ровно, как ты её пережил... Или забыл?!
- Не помнящие себя признаны нашим государством как особый разряд бродяг... Это, конечно. Но разве бродяге, что по свету шатается, не ведая порой – ночь на дворе или день, не заказано душещипательный вопрос жизни разгадать?
- И стражем, и скитаемся, - уныло промолвил Катаклизм. – А всё же прав Чимуха: можно ведь жизнь пережить и по-своему. Через своё переживание ты всё равно придёшь к какому-то пониманию... Например, к тому, что жизнь может обернуться совсем не так, как ты ожидал, но именно в этом её неожиданном сюрпризе и есть замечательная простота.
- Хороша та простота, что искренна, а значит – правдива, - обрадовался вдруг Чимуха.
- Правда, само собой, превыше всего! – довольно улыбается Катаклизм. – Без правды жить легче, да помирать тяжело.
- Ну, ты, Катаклизм, на правду – чёрт! – заявил развеселившийся Чимуха.
- А что есть правда-то? – удивился простоте своего вопроса Шо-Шо.
- Правда, наверное, то, что переживаешь сам, - нерешительно высказал предположение Катаклизм. – То знание, которое приходит к тебе в результате этого переживания.
- Получается, правда – сугубо личное состояние? – ещё более поразившись своей догадке, неуверенно промолвил Шо-Шо.
- И значит, делает человека свободным, - утвердительно воскликнул Чимуха. – Вот тебе и счастье!

А счастье, между тем, со всей своей пугающей очевидностью, миновало существование у самого моря нашего дружного «Интернационала»... Его там, если быть честным, и не было, только теплилась махоньким огоньком робкая надежда на то, что огонёк этот вовсе не затихнет. Теплилась в сердцах четырёх неприметных бичей их маленькая

большая жизнь, о которой они, казалось бы, ничего не ведали, честили на чём стоит свет, страшились её, и всё-таки – любили... Любили, как могли, и не будем их судить за то, что они прожили свои жизни не так, как бы им, наверное, хотелось...

Задайте вопрос себе: довольны ли вы собственной жизнью, смогли ли реализовать своё истинное «я», приблизились ли хотя бы к нему? Вряд ли ответ у всех окажется утвердительный, а потому – не осуждайте никого, каким бы неудачником этот человек вам ни казался, поверьте, что ему, действительно, могло просто не везти, удача была не на его стороне, и в какой-то момент у него не хватило сил противостоять несправедливости... Поддержите, если сможете, заблудшего человека, добрым словом, будьте снисходительны к одинокому существу – всем хорошо знакомому российскому бичу, робко, но надёжно охраняющему дальние, быть может, ещё никем и не пройденные, кроме этих самых бичей, рубежи нашей бескрайней родины!

Спросите: как им это удаётся? И я отвечу: самим своим незатейливым, но каким-то завораживающим ваше внимание существованием, вопреки всякому здравому смыслу, когда, кажется, человека уже ничто не может удержать на этой брэнной земле, а он, между тем, продолжает за чем-то противостоять жизненному неустройству.

Только на просторах нашей необъятной родины, со всеми её самыми невообразимыми передрягами, что не миновали, в первую очередь, людей, пополнивших великую армию бичей, совершалась диктатура какой-то измученной, выщербленной, но не уничтоженной до конца совести. Эта совесть позволяла бичам за чем-то продолжать свой неприметный и несуразный путь, вернее будет сказать – жалкое прозябание, в котором беззащитно распахнутая, не смиряющаяся со своим незавидным положением израненная душа кровоточила, но не сдавалась.

Душа бича, призванная, неизвестно за чем, мучиться и страдать, лишалась памяти, теряла сознание, но цеплялась за теплящийся в себе огонёк. Она уже миновала все свои уничтожительные угрызения, испытала покаяние, не принимая этого мира, но не покидала его. Глядя на бича, возникало сомнение: а сохранилась ли она вообще в этом тщедушном брэнном теле, и если да, то в чём ещё держится? И как-то само собой приходило понимание, что не позволяла растаять заблудшей душе именно совесть, пока та с Богом беседует. В чужую душу, как говорится, не влезешь, тем более – в душу бича. Она – темнее потёмок.

Накопленное в течение своих жизней знание теперь не приносило им ничего полезного. Что было толку в многострадальном тюремном опыте Катаклизма, его умудрённых взглядах на жизнь, вычитанных из книг, в том, как точно умел пролагать для своего судна путь в море Чимуха, или в умении Шо-Шо удачно предугадывать отёл у беременных маток, избавляя их от излишних мучений? Ведь своего поведения по отношению к жизни они изменить уже не могли, для этого просто не хватало ни физических, ни

душевных сил, и самое лучшее, чего они могли – это желать, чтобы завтрашние неудачи не становились больше сегодняшних. Бичи научились довольствоваться малым и радоваться ему, оставаясь обычными доходягами.

Слёзы не имеют запаха разложения, они – свидетельство мучающейся, израненной, но ещё пока чувствующей души, зачем-то одолевающей каждый божий день, чтобы он сменился на такой же, ничем не отличающийся от предыдущего, но почему-то представляющийся в воображении бича более удачным... Да и можно ли было назвать это сообщество опустившихся людей «дружбой», что, наверное, как раз не зарождается в нужде, а только – в достойных человека испытаниях, возникающих, как правило, на пути постижения себя и мира. А члены «Интернационала» оказались, как раз, в беде, в бесчеловечных условиях жизни, ими же самими для себя избранными, и разве можно было назвать эти отношения «дружескими»? Нет, в настоящей нужде человек остаётся всегда один, эти четверо оказались лишь случайными попутчиками в своём одиночестве, и кто знает – где находятся пределы человеческой выносливости и моральной силы?!

Вероятно, всё это таится за пониманием того, что память сохраняет в себе только хорошее. А хорошее – это дружба, когда, собираясь после долгой разлуки, полюбившие друг друга мужчины с радостью встречаются друг с другом, им приятно вспоминать приключившиеся с ними в жизни тяжёлые испытания, и они, конечно, не стыдятся вспоминать своё героическое прошлое. Они счастливы, что это прошлое в их жизни случилось, а всё нелёгкое забылось. Бичам же нечем было похвастаться, и они пребывали в забвении себя.

Я не знаю ни одной социальной прослойки нашего общества, которая бы умудрилась сохранять удивительное равновесие, изо дня в день ступая по лезвию бритвы. Как бы эти люди не хорохорились, я видел, что они презирают себя за такую жизнь, зная – им уже не выбраться из этого болота, они почти потеряли лицо, переводя причину бед и своего заблудшего состояния на государство или его представителей, демонстрируя тем своё неприятие каких-либо законов. Они были убеждены, что государство прошло мимо, когда им требовалась его поддержка, но и с себя ответственности не снимали, понимая: долг твой, ни при каких обстоятельствах, не проявлять слабость, не допуская душевного изъяна, но разве всякий из нас способен на решительность, отвагу и терпение, когда это от нас, действительно, требуется?

Видимо, глубоко скрытое нравственное чутьё подсказывало этим угасшим людям важность сохранения сердечного цветка, побуждающего их ещё тянуться к истине и добру, и они изо всех сил тянулись, боясь окончательно заглушить свою совесть. Робко начиная каждый последующий день, они, наверное, надеялись, что всё-таки существующий, по их мнению, Бог – это для них и есть добрая весть, ибо в ком стыд, в том – и совесть.

Кто были для меня эти люди?

Жизни их не состоялись, семьи не сложились, жёны и дети, если они когда-то и были – теперь не с ними, и всё же в них не угасал огонёк неизведанной душевности... Что же его поддерживало?! И вдруг я понял, что эти люди – сегодняшние безликие бичи, всё-таки имели своё лицо, по-своему, несмотря ни на что, жаждали истины со справедливостью, и я был признателен им за то, что они меня не оттолкнули...

Эх, телогреечки-душегреечки, бесприютный корявый народец! Сколько их, никому неизвестных и несчастных бичей, сгнуло на невидимых фронтах этой затянувшейся жизненной неразберихи, когда человеческому в человеке не уделялось внимания, когда «добродетель», лихо подбоченясь красивыми словами, проскакивала мимо, ненароком зацепив в толпе уверенным плечом неприметную телогреечку, так и не расчухав при этом, что собственное тело греется кое-как, а душа давно уже закисла на дне старого бездонного колодца... Сколько такого, позабытого всеми люда развелось по глухим, самым неизведанным закуткам нашей необъятной родины... Сколько их накопилось и продолжает копиться – людей с душевным изъяном, мимо которых пройти, не поняв, нельзя, если в тебе ещё не умерло человеколюбие, и если ты не равнодушен к судьбе своей страны.

Так, живя ожиданием у самого моря, я искал для себя ответа в надежде, что всё рано или поздно изменится к лучшему, и та таинственная птица, которую невозможно утопить в небесной глубине, лёгкой розоватой дымкой когда-нибудь всё-таки зависнет в сером свете полярного дня, спасёт ото всех бед, и прояснит, наконец, что-то главное в моей жизни... И так неожиданно и страшно было встретить это горе здесь, у моря, которое уже само помогало по-иному взглянуть на жизнь у него и понять, что вода в нём неспроста такая же солёная, как людские слёзы.

## «ПОЧЕМУ НЕРОН БЫЛ КРОВАВЫМ?»

Отход судна в море – это событие, это всегда мучительно для портовых властей и сопряжено с невероятным количеством препятствий, какие им приходится преодолевать, чтобы экипажи благополучно отправились в рейс. Отход – это нервы, напряжение, даже некоторая растерянность и бесшабашность, и требуется необходимое время, чтобы страсти улеглись, и команда пришла в соответствующую для работы форму. К тому же, ожидание отхода судна всегда сопровождается неприятно действующей на общее состояние личного состава неизвестностью, которую преодолевали многие поколения тех, кто хотя бы временно связывал свою жизнь с морем.

Наше судно стояло на рейде, команда рвалась на берег, но портовые власти были иного мнения на этот счёт. Новогоднюю ночь экипажу предстояло проторчать на окутанном морской темнотой судне, за которым, к слову сказать, в порту ходила слава невезучего. Правда, из этой худой славы команде, с божьими молитвами и непрекращающимися прибаутками, всегда удавалось выкарабкаться, нередко даже добиваясь высоких выловов, но невезение, всё же, какое-то время не забывалось.

На этом судне мне предстояло впервые выйти в море, и только через несколько лет я осознал, что так называемое невезение, надёжно закрепившееся за каким-либо судном, есть ничто иное, как наилучшая форма преодоления неожиданностей, которые несёт с собой море. Глубоко осознанное и не раз пережитое состояние, позволяющее экипажу наиболее благополучно справиться со злым роком, стихией и собственной слабостью.

Испокон веков суда уходили в бесконечность неизведанного морского пространства, с надеждой обрести там долгожданный жизненный уют, какое-то нескончаемое счастье, которого не доставало на земле. Как будто за расплывающимся и всё время удаляющимся горизонтом находилась удивительная страна, куда мог попасть каждый моряк, как только он покидал берег. Я был счастлив, что и мне, вместе с этими простыми и замечательными людьми, выпала возможность побывать в ней. Кто знает, думал я, что ждёт меня в этой неведомой стороне, но в душе моей неотступно звучал зов неизведанного, а тяжело ворочающееся в темноте море бормотало что-то неразборчивое под самым боком, уравнивая монотонностью своих звуков мои неуравновешенные мысли.

На душе было необыкновенно привольно и радостно: я теперь живу собственной жизнью! Я пересёк всю страну, чтобы оказаться здесь, на краю света, и вот-вот отправлюсь в какое-то захватывающее путешествие, конечно, полное приключений, и от всего этого меня переполняет гордость перед самим собой, что я решился на него, преодолел свои страхи, и вот теперь море готово принять меня в свои объятия...

Я даже не думаю об оставленном доме, родных, всё это – моя прежняя жизнь, что ничего уже для меня не значит. Главное – я у моря, на судне, что понесёт к незабываемым открытиям, и я стану насквозь морским, море

проникнет в меня своей тайной и захватит с собой, а я ему с радостью отдамся. Отдамся на волю волн, что помчат меня в долгий путь, я знаю – трудный, и мне хочется поскорее расстаться с этими покатыми угрюмыми берегами, портовыми постройками, застывшими в постоянном ожидании морских вестей «гансами», с брекватером и замершими на нём толстыми сивучами...

Что за страсть живёт во мне, так неудержимо влекущая в неизвестность, несмотря на какие-либо трудности призывающая прямо сейчас, безо всяких прощаний, отвалить от пирса, и не возвращаться к нему целых полгода! Страсть, несомненно, созидательная, пронизанная настоящим морским духом, в котором есть и немножко печальное, и отчасти тревожное, но более всего – радостное, переполненное восторгом дальней морской дороги...

Что заставляет человека устремляться вдаль, забывая родных людей, но соединяться с другими, совершенно незнакомыми, и представляющимися сейчас самыми дорогими? Они заняты знакомым им делом, которое выполняют с воодушевлением, и ты тоже тотчас заражаешься заведённым здесь исстари морским порядком, с удовольствием наблюдаешь за этими людьми, стараясь быть похожим на них, и думаешь о предстоящем плавании и нелёгкой морской жизни.

Но ради чего?! Наверное, только за тем, чтобы видеть море, вдыхать его запахи, будоражащие сердце больше, чем любовь, подставлять грудь безудержному морскому ветру, а плечо такому же работающему морскому человеку, если того потребует своевольная водная стихия... И при этом чувствовать себя частицей моря, нерасторжимой с ним ни при каких обстоятельствах.

Ах, как это чудесно, жить во имя самой жизни, да ещё пребывая в содружестве с морем! Если долго находиться в нём, то будто проваливаешься в бездонную пучину, теряешь чувство времени, и душа твоя уносится с безудержными чайками за линию горизонта, что то взлетает, то опускается, и вновь взмывает в глубовато-стальную вышину... Хорошо, дремотно, и ни о чём, кроме моря, не хочется думать.

Не в состоянии уже что-либо предпринять, я мучительно высиживал эти последние часы ожидания здесь, между сушей и морем, и думал о том, что там, за колеблющейся линией горизонта, через которую, верилось, можно переступить, целую зиму и всю весну будет безбрежная вода, льды, солнце и ветер, много рыбы и тяжёлой работы, и всё это предстояло осознать... Воображение беспрестанно путалось, прорываясь куда-то сквозь возбуждённые оклики матросов, вынужденных так же, как и я, мучиться неведением, гулкой топот ног, мерно подрагивающие переборки. Последняя ночь ожидания у моря незаметно накрыла своим тёмным, волнующимся покрывалом, и погрузился я в тревожное забытие только перед самым рассветом.

Утро выдалось хмурое, седое. Густое, как студень, неопределённого цвета море еле перекачивало небольшие тягучие волны, увенчанные белыми барашками, и с тяжёлым вздохом ухало в борта, над которыми низко кружили чайки. Несильный ветер легко поддерживал их расправленные крылья, в упругую, холодную воду сеялся мелкий снег. Несмотря на непогоду, ощущение мрачности, уныния море не вызывало. И в такое утро в нём чувствовалась жизнь.

К назначенному сроку все члены экипажа собрались на верхней палубе. В натянутых на телогрейки рыбацких робах, в напыленных как попало шапках-ушанках с кожаным верхом - рыбаки выглядели неуклюже. Опухшие лица многих светились заботой.

То и дело закуривая, глухо покашливая и зевая, один за другим они расходились по местам, заговаривая и посмеиваясь между собой вполголоса. Вплотную прижатые к холодным стенкам причала, озабоченно вздыхали истёртые автомобильные покрышки. Из провожающих никого не было видно.

Не обращая внимания на холод, в распахнутой форменной курточке капитан стоял наверху и отдавал какие-то последние распоряжения. Ветер раздувал его русые волосы, закидывал галстук за спину, уносил отдельные слова. Время от времени капитан исчезал в загадочной темноте рубки. Без его маленькой фигурки белая громадина эстэра казалась неуправляемой.

Но вот мотор муторно и жутко застучал, судно потихоньку отработало от стенки, берег плавно двинулся от нас – сначала медленно, а потом всё быстрее, так что стали видны все дома спящего Невельска, и через какой-нибудь час город вовсе исчез из глаз.

Море встретило ещё не виданным привольем и безудержной силой.

Судно неспешно взбиралось носом на волну, двигатель тарахтел так, что маслянистые переборки отбрыкивали сумасшедшую музыку, вода под упрямым носом шипела и пенилась... Над морем рождался новый день.

Палуба была опрятно и упорядоченно перегорожена сепарацией под будущий улов и таила в себе еле уловимый запах промысла. Знать его я не мог, но почти угадывал чутьём слабые и нежные волны, исходящие от пропитанных с прошлого рейса жиром и кровью измочаленных досок. Посвист ледяного ветра застревал в высоких судовых снастях и, запутавшись окончательно, рьяно пытался вырваться. Трюм был забит аккуратными грудями новеньких рыже-зелёных тралов, ещё пахнувших берегом и сетепошивкой, что предвещало удачное начало рыбалки.

Всё судно, от кормы до носа, сияло чистотой и порядком, двигатель работал исправно, а в упругой глубине мягко гудел гребной винт. Машина, рубка, ходовой мостик стали в момент рабочими, засветились размытыми огнями, и двадцать четыре человека превратились в хорошо отлаженный механизм, который тотчас закрутился, окунулся в радостную и долгожданную повседневность. И даже надстройки, зачехлённые шлюпки по

бортам и спасательные плотки, весь этот, ставший на полгода родным для нас мир, вдруг неожиданно ожил в сером утреннем свете.

Забегая несколько вперед, замечу, что обычно, когда уже скрывается из глаз еле приметная земля, на лицах людей нельзя не заметить изображения некоей растерянности, даже уныния, когда они пристально вглядываются в удаляющийся берег, что вот-вот скроется за горизонтом. Мне же сейчас почему-то не доставляло какого-либо неудовольствия удаление от земли. Наоборот, я был счастлив и переполнен самыми приподнятыми ощущениями и мыслями, уходя в бескрайнее водное пространство. Здесь, в море, на душе, как ни странно, становилось удивительно покойно, а дышалось более легко, чем на суше.

К полудню немного просветлело. Снег по-прежнему нещадно сёк воздух. Маслянистые плотные волны, тяжело вздымаясь, медленно ухали вниз, оставляя пенистые островки. Столбики пузырьков, с шипением устремляясь в глубину, придавали воде изумрудный оттенок.

Чайки, полновластные хозяева здесь, чувствовали себя совершенно свободно. Зависая в нескольких футах над колеблющейся поверхностью, они реяли так некоторое время, затем, плавно бросаясь вниз и изламывая крылья, усаживались на воду и снова взмывали, чтобы бумерангом возвратиться на прежнее место. Резкий порывистый ветер стремительно кружил охапки снежных конфетти, а белёсое небо как будто опрокинулось в море.

Я ещё долго не покидал палубы, нет-нет да выглядывая в распахнутую дверь, но ничего особенного не происходило. Судно набирало узлы и уходило в неприятное январское море, не оставляя никаких надежд на скорое возвращение. Первое оживление спало. Кругом было море, небо, горизонт, и требовалось немало усилий, чтобы осознать всё это, постигнуть новую неведомую жизнь, вдруг открывшуюся передо мной.

Впервые попав на судно, я сразу заметил некоторое недоверие к себе, порой доходящее до явной недоброжелательности со стороны членов экипажа. В некоторой степени такое отношение можно было объяснить: осторожность всегда была присуща простым людям наряду с самой открытой прямоотой. Стараясь не выделяться, я делал свою работу хорошо и не ограничивался только ею. В мои обязанности так же входило жить жизнью экипажа, неукоснительно соблюдая веками установленные законы, которые вступали в силу тотчас после отхода судна. Но многого я ещё не знал, а потому не всё и не сразу у меня получалось.

Как только судно снималось с якоря на рейде, люди удивительным образом изменялись, независимо от того, к какой части экипажа – палубной команде или командному составу они относятся. Всё, что было возможно в отношениях людей на берегу, теперь частично или полностью исчезало.

Я чувствовал натянутое отношение к себе, а для уверенной, спокойной работы, тем более в таких условиях, очень важны дружеские, добрые

отношения, и такие отношения у меня очень быстро установились с одним членом экипажа, временно разжалованным из штурманов в матросы за какую-то дисциплинарную провинность. Он так никогда и не рассказал, что это была за провинность... Проступки на рыболовецком флоте не редки, и связаны они чаще всего с нелёгким трудом в море и лихим характером людей, работающих там.

Вчерашнего штурмана звали Сашка Редуньков. Было ему за тридцать. Тучный, кажущийся медлительным вне работы, он преобразался на палубе. Жил он в каюте с боцманом, и это сожителство послужило вскоре для меня новым занимательным откровением из нашей судовой жизни.

Главным образом нас сблизила тяга к истории, но в дальнейшем эти отношения вышли за рамки только лишь околоисторических бесед и приобрели характер более широкий, который устанавливается по прошествии определённого времени, необходимого для достаточного узнавания друг друга.

Редуньков где-то совершенно случайно узнал, что у меня высшее историческое образование, и однажды, затащив к себе в каюту, налив полстакана водки и заставив опорожнить его, тут же открылся, что ему уже давно не даёт покоя одна историческая загадка.

К слову следует заметить, что спиртное на любом рыболовном судне имеет несказанное значение для нормальной жизнедеятельности всего людского механизма, который от него никоим образом не расстраивается, а, по-моему, только становится ещё более жизнеспособным. Водку пили везде и всюду с самого утра и до позднего вечера, словно это был чай. Никто не прекращал работы, не буянил, ну если только самую малость, не оставлял до строго установленного времени своего места и, главное, не терял разума. Мне начинало казаться, что этим людям после скуки портовой жизни необходима постоянная душевная раскачка, и водка дарит забытые ощущения трудностей, которые им в недалёком будущем вновь придётся переживать.

- Ты мне вот что представь, - сконфуженно проговорил он.- Жил в Древнем Риме такой император – Нероном звали. Отчего его Кровавым кличуть? Не скажешь?

В его глазах светилось такое нетерпение и мольба, что я, не успев очухаться от выпитого, и поперхнувшись, поспешил восстановить в памяти образ римского диктатора.

От напряжённого ожидания, выпитой водки и волнения, которое Редуньков испытывал из-за деятеля времён Римской империи, физиономия его покраснела и на лбу выступила испарина. От взлохмаченной макушки до измазанных кирзачей был он в этот миг – воплощённое внимание.

- Мать этого самого Нерона была женщиной властолюбивой, и это не могло не сказаться на её отпрыске, - поднапрягшись, начал я. – В те времена мамыши, попросту говоря, не имели возможности тешить себя Бенджаменом Споком, а потому испорчен он был, значит, с детства. Когда же малыш стал

императором, то всеобщее поклонение окончательно вскружило ему голову. По натуре он был довольно крутым парнем и беспрестанно давил на корню общественное недовольство, а также заговоры завистников, умножая, таким образом, свои кровавые деяния. Ему ничего не стоило отравить своего единокровного брата, претендовавшего на трон, а затем угробить родную мамашу, чтобы уж совсем развязать себе руки от родственных уз.

Редуньков с затаенным дыханием внимал каждому моему слову. На его бордовой физиономии теперь уже отражалось негодование к ненасытному угнетателю.

- И матушку не пожалел, - до побеления в суставах сжав пустой граненый стакан, выдохнул он и, тут же ухватив свободной рукой бутылку, бухнул в него изрядную порцию. – Ну-у, зверю-ю-га!

- Не погнушался он и своим учителем, знаменитым философом Сенекой, - уже войдя в раж, подытожил я императорские зверства.

- А воспитателя-то пошто?! – весь подобравшись и выпучив глаза, взревел Редуньков, и огромный красный кулак с грохотом опустился на стол. – Как его, убивца, земля, опосля, носила?

Я никак не ожидал подобной реакции и, стараясь быть сдержанным, попытался хотя бы немного уговорить своего собеседника и подвёл рассказ к благоприятной развязке.

- В конце концов, - сказал я, - Нерон зарвался и ихний сенат объявил его «врагом Отечества». Ему ничего не оставалось, как бежать из столицы и наложить на себя руки. Что он и сделал.

Пожалуй, ничто другое в этот момент не могло обрадовать Редунькова так, как это известие. У него, кажется, даже слезу прошибло. Он широким жестом долил мне водки, остатки выхлестнул себе и, положив тяжёлую руку на моё плечо, дружески произнёс:

- Вот что, парень, хочу я тебе заметить. Вижу – грамоте ты научен. Силён, прямо скажем, в науках. Так ты подсоби мне по книжной части, то есть – бумагу составь. Времени у нашего брата, сам видишь, кот наплакал. Ну, а уж я тебе всё нашинское ремесло разложу, и ежели какая помощь потребуется – прямиком ко мне. Вмиг, как говорится, просвещу. – И заграбастав могучей пятернёй стакан, он одним махом опрокинул его содержимое себе в глотку.

С тех пор Редуньков не отступал от меня ни на шаг, донимая иной раз даже в ночные часы. Однажды он порядком приложился к припасённой ещё на берегу заначке. Обычно припрятанное на экспедицию «горючее» выпивалось ещё до отхода судна, в чумном угаре расставания с землёй и друзьями, и сохранить что-либо хотя бы до следующего дня не представлялось возможным по той простой причине, что если француз последней рубашки никогда не пропъёт, то наш русский мужик очень даже может. Но Редуньков каким-то образом изловчился и сберёг.

Так вот. В один из серых будничных дней перехода в район лова, обуреваемый тоской и тягой к искусству, Сашка Редуньков, не наблюдая

никакого просвета, прикончил последние припасы шнапса, и, достигнув желаемого состояния духа, в два часа ночи завалился ко мне в каюту, слёзно прося процитировать нетленные строки персидского поэта Омара Хайяма.

Вернувшись после трудового дня в каюту, измученный и опустошённый изнурительно-нудной работой и непрекращающейся качкой, от которой мозги становились словно фарш, я испытывал единственное желание – добраться до своего ящика и завалиться спать, а потому я долго приходил в себя, пока понял, чего он от меня добивается. Разобрав, наконец-то, я был обрадован неудержимым стремлением Редунькова к поэзии и прочитал ему наизусть одну из газелей поэта, замысловатая мудрость которой о несказанном достоинстве вина совершенно повергла разошедшегося моряка.

Он долго стоял, не шелохнувшись и устремив на меня преданный взор, затем, размахнувшись, стукнул себя кулаком в грудь, но ничего не сказал, видимо, от переполнявших душу чувств, замотал головой и, покачиваясь, удалился. Я попытался заснуть, но это мне не удалось. Так до шести утра и провалился я в темноте с открытыми глазами, пока вахтенный матрос не поднял меня.

Начинался очередной нелёгкий день, и при мысли об этом накатывала жуткая тоска. Впереди предстояли бесконечные месяцы в безбрежном океане, монотонная работа, усталость и пустота. Такие чувства одолевали именно ранним утром, зимой, когда я с содроганием выскакивал из-под тёплого одеяла в холодную темень и, натаскивая на ноги стоптанные липучие кирзачи, и ещё окончательно не проснувшись, уже предчувствовал путешествие в отсыревший заржавленный кормовой трюм за овощами, до которого требовалось добираться по неосвещённой качающейся палубе.

Все в это время ещё спали. Бодрствовала только вахта.

В трюме всегда было промозгло и слизко. Две зарешёченные лампочки тускло освещали лишь центральную часть, оставляя в тени серые углы. Прямо посередине был свален запасной трал, а по краям, у стенок, теснились железные бочки с маслом и мешки с овощами. Я не представлял, как могут сохраниться овощи в подобных условиях, а поскольку другого места для них найти второму помощнику не удавалось, приходилось время от времени перебирать мешки, что было занятием малоприятным.

Если бы я знал, чем грозит мне отсутствие крахмала и капусты в будущем, то не покладая рук, ещё более бережно перекладывал бы каждый овощ, часами не поднимаясь наверх. Но по своей неопытности я не мог этого знать. Второй помощник, который отвечал за весь провиант на судне, обязан был хотя бы раз спуститься вниз, чтобы собственными глазами убедиться в плачевности ситуации. Но он пренебрёг этим и, к тому же, не слишком серьёзно отнёсся к моим неоднократным стенаниям. Всё это привело к тому, что старший механик судна, именуемый на флоте, независимо от возраста, дедом, неожиданно для всего экипажа лишился одного переднего зуба.

Дед тут же во всеуслышание заявил, что на судне началась цинга и повинен в приключившейся беде никто иной, как матрос-уборщик. В качестве доказательства он каждому совал под нос свой зуб и при этом многозначительно поводил глазами. Наглое предложение старпома выбросить «эту дрянью» за борт дед воспринял как личное оскорбление, расстаться с зубом не пожелал и схоронил его в спичечной коробке, которую я, по незнанию, выкинул вместе с мусором, убирая его каюту. Видно, одна только мысль о вероятности того, что его зуб может валяться на дне холодного Бристольского залива, неподалёку от какой-то там Аляски, казалась старшему механику кощунственной...

Когда же он узнал о бесстыдно совершённом варварском акте, то невзлюбил меня ещё больше, при всяком случае вздёрнутыми бровями давая понять крайнюю раздосадованность моим поступком. Каюту с тех пор он стал убирать сам, каждый раз, при уходе, запирая её на ключ, и даже простил своему соседу – второму механику, что тот у себя под подушкой прятал мешочек с чесноком, счастливым обладателем коего являлся. В глубине души я всё же вины за собой не признавал и относил потерю зуба на счёт психованной должности стармеха, за которой тот ничего, кроме здоровья судовых механизмов, не помнил. А вскоре постоянные неполадки в машинном отделении перенесли его вражду на подчинённых ему механиков, и он вовсе забыл о моём существовании.

Так вот, в этот самый трюм, с намертво захлопывающейся дверью и небольшой квадратной шахтой, вёл узкий гроыхающий трап. Но прежде чем спуститься по трапу, необходимо было отдраить не всегда поддающуюся дверь. К тому времени, как мне удавалось отворить её, минимум пару раз сверху обрушивалась ледяная волна, так что в трюм я попадал уже наполовину вымокший и злой.

Четырёхметровый трап вместе с тесной шахтой был крайне неудобен для движения по нему даже с пустыми руками, и потому, протискиваясь вниз с дребезжащими вёдрами, да ещё в намокшей телогрейке, я опускался на дно трюма выжатый и ржавый. Но можно ли представить себе, как выглядел я со стороны и что ощущал, когда с ведром картошки пёрся наверх, чествуя на все корки всех и вся. Держаться за ступеньки трапа приходилось одной рукой, и в хорошие шторма это могло сойти за неплохой цирковой номер.

Главное – добраться до шахты, из которой уж при всём желании выпасть было невозможно. С горем и матом пополам вскарабкавшись до верха, я, совершенно вымотанный, прижимался лбом к холодному железу долгожданной дверцы и, тяжело дыша, отдыхал с полминуты. Однако же, пока я совершал круиз по трюму, постоянно окатываемая забортной водой дверца успевала так застыть на резком холодном ветру, что отпереть её одним плечом, стоя на тоненькой ступеньке с полным ведром картошки, было делом нелёгким. Приходилось осторожно опускать ведро на шаткую ступеньку, прижимая его одной ногой к трапу и, упёршись спиной в заднюю

стенку надстройки, а локтями – в боковые стойки, пытаться другой ногой и двумя скованными руками отвалить дверь...

Подобные упражнения обычно заканчивались опрокидыванием ведра, гулкой дробью рассыпающихся картофелин и душераздирающим бряканьем железа о железо. Потом всё стихало, и было только слышно, как глухо ударяются о борта тяжёлые волны, чуть поскрипывают внизу гуляющие бочки и мерно пульсирует в висках кровь. Я застывал на мгновение, прислушиваясь к биению своего сердца и к тому, что происходит внизу, а потом спускался и начинал всё сначала.

Самое ужасное было в том, что предстояло осилить несколько таких подъёмов. Но Альпы, как известно, надо брать, и я брал их – свои, маленькие, но такие же труднодоступные, хотя и менее прекрасные. Интересно, о чём думал тем холодным сентябрьским днём Суворов, когда вёл своих солдат по крутому склону к Сен-Готарду, находясь, всё время, на глазах неприятеля? Наверное, о том, что обязательно победит. Я тоже хотел победить, но для этого ещё нужно было собрать по скользкой палубе разбросанные качкой стылые капустные кочерыжки, с трудом преодолеть разбитую на секции для рыбы палубу и, увёртываясь от настёрных обжигающих волн, пробраться на камбуз, чтобы встретить там гору грязной посуды, оставшейся после извечных ночных шатаний экипажа. Затем - спуститься в холодильное помещение и нарубить мяса, приготовить все необходимые продукты на день, почистить пару вёдер картошки, выполнить невероятное количество необходимых мелочей и, разбудив кандея, приняться за тщательную уборку всего судна, начиная с кают комсостава.

Это была лишь часть вверенных мне утренних обязанностей. И однажды я подумал, что после них вполне бы мог перещеголять старика Нерона...

Помню, меня всегда злило равнодушное отношение к моим мучениям: света на палубе, когда это требовалось, не зажигали, ссылаясь на память; крутись весь день как белка в колесе, я ни от кого не слышал ободряющего слова; старпом, как мне казалось, желал только унижить меня и завалить по горло никчёмной работой... Всё было против. Только позже до меня дошло, что так легче переносить все тяготы судовой жизни, что чем хуже – тем лучше для твоего же душевного здоровья, когда ты именно вынужден трудиться над собой. Несовершенство человека требовало строгости и дисциплины, особенно – в неординарных условиях моря, где порядок никогда дела не портил.

Я работал, стиснув зубы, уповая только на самого себя. И вот, когда казалось, что сил уже нет и больше не выдержишь, помощь всё-таки приходила и, как всегда, неожиданно: нахлынет прозрачным солнечным днём что-то неуловимое, защемит приятно в груди от пронзительного крика чайки, принёсшей на крыльях доброе известие из дома – письмо, или чья-то улыбка снимет груз с сердца. Так или иначе – она обязательно посещала тебя, эта

птица, птица-отрада, частицей которой было и море. А в птице почему-то всегда угадывалась розовая чайка...

Намотавшись за утро, я был полностью выжат уже к обеду. В эти утренние часы у меня было полчаса свободного времени, и я любил, забравшись на верхнюю палубу и закурив папиросу, смотреть на синее небо, море и белых чаек. Море – значительное и сумасбродное, с которым всегда было приятно иметь дело, по-прежнему дарило свои тайны, если ты хотел их видеть, обдавало пенистой свежестью дыхания, и я незаметно обретал знание и веру.

Жизнь опять брала своё, а значит, стоило жить, выполняя каждодневную, пусть и надоевшую, но нужную работу. Стоило терпеть эту опостылевшую обыденность и видимое к себе невнимание со стороны окружающих людей, стоило надеяться на то, что мечта – не пустой звук и когда-нибудь, наконец, приоткроется завеса над скрытым для многих людей смыслом, не существующим без дальней, дальней дороги...

Чем прекрасны путешествия?

В них всегда обнаруживаешь то, чего никак не ожидал встретить. Ты мечтал о чём-то ином, по твоему мнению – необыкновенно важном и интересном, не встретить его было невозможно: иначе – зачем путешествовать? Но вот, совершенно неожиданно, тебе попадается нечто абсолютно неожиданное, и это самое неожиданное, как потом обнаруживается, оказывается именно тем, чего тебе не доставало.

В этом – колорит любого странствования, казалось бы, редкий, необычайный случай, и всё же появление его – закономерно. Ты находишь то, чего, как правило, не ищут, а оно, тем не менее, приходит. Что это: действительно, случайность? Или, всё-таки, результат начатого тобой однажды поиска, завершившегося неожиданным открытием?

Наверное, и то, и другое, когда ты предан дороге, и ждёшь от неё самых невероятных открытий. И посещает вдруг простая мысль: как важно всё, к чему ты сейчас прикасаешься, и что составляет теперь твою жизнь! То, что ты взял на себя ответственность за собственную жизнь, чтобы она протекала достойно, в гармонии с самим собой и окружающим миром, приближает тебя к истинному осознанию Существования.

А осознание это возможно лишь после того, когда ты дорожишь своим словом, чего бы тебе это ни стоило; не сворачиваешь с достойного, пусть и нелёгкого пути, проявляя терпение и выдержку, когда, кажется, уже нет сил выносить напряжение; не боишься ничего, ясно осознавая, что иной дороги для тебя не существует, и поскольку ты сделал правильный выбор – не изменяешь себе; ты остаёшься верным самому главному в себе – своей божественной душе, призванной к нескончаемо прекрасному путешествию, и при этом – непременно находишь себя в этой жизни, лучшее, что в тебе есть, и стараешься развить его максимально; не обращаешь внимание на непонимание, даже если оно исходит от близких людей – их судьба может быть совершенно отличной от твоей; относишься ко всем людям

уважительно, в каждом различая Бога, независимо от его способностей и положения, ибо невозможно успешно прожить свою жизнь, не замечая других, и ты делишься накопленной в себе энергией, которая неиссякаема, если отдаёшь её с радостью; не отчаиваешься, если терпишь неудачу в избранном тобой деле, потому как в любом случае обретаешь ничем незаменимый опыт; не перестаёшь изучать себя, поскольку это единственный способ преодолеть своё невежество и получить силу; не позволяешь себе находиться во власти ненужных вещей, невольно привязываясь к ним; не растрачиваешь понапрасну отпущенное тебе время и стремишься к изучению окружающей жизни постоянно, ибо это приносит глубокое удовлетворение и переживание радости.

Радуйся жизни, человек! Сколько же можно печалиться по поводу зимнего мороза, летней жары и осенней распутицы? А ещё – из-за нескончаемого волнения на море, безудержного ветра и бури! Может быть, ты всё-таки увидишь и почувствуешь, хотя бы во временах года, или – в волнуемом у скалистых берегов море нечто прекрасное и содержательное, присущее только им?

Осознай, наконец, что ты обладаешь удивительной возможностью радоваться всему этому обыкновенному чуду, на деле являющемуся совершенно необыкновенным. И даже печаль в жизни имеет свой глубокий и замечательный смысл, именно глубокий и покойный, позволяющий каждому из нас просто быть, оставляя после себя только радость и благо, любовь и сострадание, бескрайнее доверие к этому неповторимому Существованию.

## «ЛИЦА НОВЫЕ – ЛИЦА СТАРЫЕ»

Весь январь и первую декаду февраля в иллюминаторе виднелось штормовое море. Выгибая свою упругую натруженную спину, оно несло сахарные закрученные барашки, перебрасывая сочные пенные хлопья с одной волны на другую, и глаза уставали от этой напряжённой бессмысленной слезки. В конце концов, всё сливалось в общую колышущуюся массу, несло, взметая зелёные брызги, и жутко ухало в крутые скулы судна.

Ровно и глухо ревели моторы эстэера, взбирающегося порой на невероятной высоты океанскую волну, недолго тянулись по бушующей поверхности широкие, взбитые винтами, перистые крылья. Размеренный гул из машинного отделения вперемешку с монотонным дребезжанием пластиковых переборок перекрывал собой утробный рокот окружающей судно стихии.

Суровое северное море, потемнев от ярости, рождало бесчисленные бури, и сокрушающие водяные валы беспрепятственно бежали по его поверхности, разбиваясь о встречные корабли. Море неустанно трудилось, вскидывая к низкому серому небу рваные столбы пены, и нескончаемый грохот будто дробил на мелкие кусочки всё это бескрайнее пустынное пространство, неминуемо утопая в его холодных глубинах.

Сырая промозглая тьма повисла над океаном. На десятки миль вокруг не было видно ни одного огонька: лишь посвист ветра, шум волн, да жалобное поскрипывание судовых снастей.

Ежедневно улавливаемые антенной корабля метеосводки не приносили ничего нового: «Судам в море... Всем судам, находящимся на лове в северо-восточной части Охотского моря... Ожидается шторм... Шторм... Шторм... Направление ветра NNO... Сила 9-10 баллов... Всем судам укрыться в гаванях... Всем судам в море... Надвигается шторм...»

Море темнело, неестественно затихало. Отяжелевшие волны лениво ворочались за бортом, изредка заглядывая в задраенные иллюминаторы. Резкий неприятный ветерок пробежал по ногам и, зарываясь в тёмных закоулках судна, ждал там своего часа, когда можно будет вырваться на волю и в едином порыве слиться с непогодой, чтобы с ещё большей силой обрушиться на любую преграду.

Давление повышалось, и тяжёлый воздух, до предела насыщенный влагой, медленно оседал на палубу, залепляя собой стёкла рубок. Матросы, торопливо озираясь, крепили судовые снасти, шлюпки, груз. Неестественно помахивая руками, боцман отдавал какие-то команды, но ничего не было слышно: ветер подхватывал слова и, тупо ударяя о борта, уносил их в невидимую морскую даль. На мостике, за толстым стеклом, тревожно белело лицо капитана. Пристально вглядываясь в море, он заранее был серьёзен и твёрд.

Пока шторм раскручивался, захлёстывая корабли и прибрежные скалы белой шипящей накипью, то и дело тянуло в сон. Судно вздрагивало под тугими ударами волн, раскачивалось, ныряло в бездонную глубину и неожиданно взлетало ввысь, а состояние тупой отрешённости не покидало. В умопомрачительном вое, грохоте и треске безнадёжно ускользало желание что-либо изменить, поставить на место. Судно беспрестанно ложилось в креновые зигзаги – со стола летели тарелки, миски; море хлестало его торжествующе и зло, стремясь проникнуть внутрь судовых помещений; оно ликовало.

Всегда при этом почему-то происходило так, что какой-нибудь предмет оказывался незакреплённым, и тогда матросы пытались взять палубу штурмом, но каждый раз море отбрасывало их назад. Сгрудившись у выхода на палубу, они что-то кричали друг другу, в узких коридорах слышалась весёлая брань, а огромные водяные валы перекатывались через борта белыми потоками.

Расползаясь по палубе, словно живые, волны слизывали всё на своём пути, доски сепарации неистово скрипели, размочаленный такелаж сиротливо бился о гудящие переборки. И только когда всё было закреплено, улажено, судно как будто успокаивалось, приноровившись к неутихающей стихии, и волны начинали обрушиваться на него со строгой закономерностью, - ты понемногу привыкал к воцарившейся вокруг кутерьме. Но ещё немало воды должно было схлынуть с палубы, ещё долго не уходила из тела свербящая дурнота, пока ты начинал воспринимать мятущиеся за бортом волны без страха, даже когда они на глазах вырастали в оглушительно бурлящие горы.

Тело то падало куда-то вниз, делаясь вдруг таким лёгким, что я совсем переставал ощущать свой вес, то, наоборот, медленно поднималось кверху и становилось таким тяжёлым и набрякшим, что стенки койки плотно врезались в спину, не давая возможности даже пошевелиться. Когда же на море устанавливалась мёртвая зыбь, тело начинало неприятно елозить вдоль спального ящика: при скольжении вниз ноги, казалось, сплющивались и вращались в тело, причём туловище неумолимо продолжало сжиматься, затем оно медленно вытягивалось и, переворачиваясь кверху ногами, повторяло малоприятное сжатие, с той лишь разницей, что все внутренности подкатывались к горлу, а голова наливалась кровью и становилась чугунной.

Но хуже всего, конечно, выглядела попытка производить во время штормовой погоды какие-либо работы. Смело вооружившись ведром, шваброй, веником и совком, я отправлялся на палубу, которая, по мнению старпома, недостаточно сверкала чистотой. И к тому же не всегда была достаточно ощутима. Она неожиданно убегала куда-то из-под ног, так что я вместе со всеми своими причандалами зависал где-то под подволоком, а потом, когда неумолимый закон притяжения вступал в силу, палуба стремительно мчалась навстречу, в какой-то момент позволяя «прочувствовать» мощь всего судна. Столкновения эти были безрадостны, но

чем чаще они случались, тем быстрее я, в конечном итоге, преодолевал в себе неуверенность и страх.

Да, всё было именно так: жизнь незамысловато воспитывала меня этим же самым неуправляемым ведром, выматывающей душу болтанкой и крепким ветром, который без устали хлестал обжигающей морской пеной. Жизнь учила быть спокойным, ловким и простым, и не было на свете учителя более мудрого, чем море, а труд на нём закалял и просветлял вдвойне.

По палубе где-то грохотали тяжёлые сапоги, остервенело захлопывалась металлическая дверца, и всё стихало. В такие моменты умиротворение и относительный покой были так долгожданны и хороши, что тут же остро возникала потребность почитать. Вдруг пришедшее желание затмевало собой все впечатления трудного дня, охватывая душу искренней радостью. Состояние это было чудесно, непередаваемо.

Но какие книги взять с собой в рейс, учитывая, что другие уже не увидишь в течение долгих месяцев? Ален Бомбар, пересёкший Атлантический океан на резиновом плоту, причём, без продуктов, посчитал, что у него должны быть все жанры и захватил томик Мольера, полное издание Рабле в одном сборнике, Сервантеса, том Ницше, драмы Эсхила на двух языках, Спинозу, избранные произведения Монтеня... Для удовлетворения своих естественных нужд ему необходимо было пожертвовать какую-нибудь книгу... Он долго колебался и, в конце концов, пустил в ход – что бы вы думали? – томик Рабле, разрешив, таким образом, стоявшую перед ним проблему.

Среди бесконечности морского пространства и несмолкаемого штормового гула Конрад и Грин кажутся просто заблудшими путниками. Ничего здесь так не радует человека, как земные запахи и звуки. Притяжение земли ощущается в любой вещи, захваченной ещё на берегу, но рука, в первую очередь, непроизвольно нащупывает зеленовато-серебристый томик Бунина... Зачарованно перелистываешь плотные матовые страницы, и каюта тотчас наполняется криком засмеявшейся от удовольствия галки, душистым дымом сжигаемых вишнёвых сучьев или крепким запахом грибной сырости... Почему-то именно Бунин оказывался с тобой в рейсе, и именно он первым приходил к тебе в гости, а ты всеми силами пытался удержать его присутствие, не упустить этой внутренней тихой мелодии, которую рождало поэтическое сочетание простых и необыкновенных русских слов.

От земли веяло множеством самых разнообразных запахов и звуков, что теперь угадывались особенно остро. Вместе они возбуждали в памяти незабываемые воспоминания, и тогда море незаметно отходило куда-то, и солнечный душный жар, от которого кружится голова, и мир вокруг радостно немеет, постепенно заполнял собой каюту. Качающиеся, тяжёлые от пыли листья акации и тополей, пряный запах самой пыли, застревающий мохнатым комком в горле, и ещё особое, непонятное оживление, появляющееся с приходом тёплых летних сумерек, наполненных тишиной и

мягким шелестом перелетающих майских жуков, - всё это по-новому возникало перед тобой, и на душе становилось хорошо, покойно.

Почему-то чаще всего вспоминалась пора детства... И от того, как сухая, нагретая за день земля до радостной жути обжигала босые ноги, так же остро и ясно всплывали из прошлого полузабытые радужные картины.

... Вот среди тёмных загадочных елей раскинулось золотистое пшеничное поле. Здесь, в море, оно пахло особенно терпко, душисто и дышать от этого запаха становилось даже труднее. Я бегу куда-то, и прохладные, затвердевшие стебли прокалывают майку, лезут в глаза, рот, уши, закрывают обзор и тихо трепещут под распростёртыми руками.

Всё дальше, метр за метром, по этому бесконечному морю увесистых колосьев ныряю я к самым корням, будто в морские волны, но не нахожу ожидаемой свободы, слитности с таким живым и близким простором. Внимание моё обращается к застывшему над головой голубому жаркому куполу: от прогретой земли к нему поднимаются тёплые и сильные потоки воздуха, но и синее небо не дарит ожидаемого соприкосновения с воображаемым бескрайним морем.

В памяти всплывало ещё и другое поле, которое всегда тихо копошилось в себе самом, также еле слышно поскрипывало упругими жёсткими листьями. Подкладка листьев была нежно-салатная, и когда поднимался лёгкий ветерок, то среди белого солнечного блеска судорожно пробегали свежие зелёные волны. Стоя один в глубине запретного для мальчишек горохового поля, раскинувшегося за дальним от деревни косогором, я вдруг отчётливо начинал ощущать огромный простор земли: жаркую красоту её неба, неповторимую яркость цветов у края опушки и спокойную крепость черёмухи, откровенно растопырившей свои старые ветви возле заброшенной кузницы.

Тугие гороховые стручки приятно охладили кожу, рваная майка отвисала неестественно надутым, тяжёлым животом, и сквозь узкие отверстия в ней топорщились мелкими завитушками упрямые усики. Замирая на какое-то мгновение, можно было услышать размеренную полуденную тишину, повисшую на невидимой трели жаворонка. А подняв к глазам ладони и посмотрев через них на солнце убедиться – они сотканы из тепловатого, розового света. Всего, конечно, не перечесть, если лучшую пору детства ты провёл в деревне, и тебе были близки её откровенные и самые укромные стороны жизни...

За полтора месяца плавания у меня почему-то ни разу не возникало желания ощутить поблизости бесшумный ропот слепого дождя, его гладко-струйную прохладную плоть, приносящую покой и умиротворение. Озадаченный этим, на первый взгляд вполне заурядным открытием, я в то же время никак не мог представить себе радостное с детства событие здесь, в море. Виделось всё, что угодно, только не солнечный дождь.

Находясь в неохватных объятиях воды, вздувающиеся на её поверхности дождевые весёлые пузыри никак не воображались, и снова

вспоминалась деревня, детство и маленькая речушка, медленно катившая свои воды под полуразвалившимся мостом, с которого так хорошо клевала в дождь очень живая и прожорливая рыбка щеклейка...

Противоположный берег речушки, скрытый в туманной дымке, едва угадывался за раскидистыми ивовыми ветвями, свисающими к прозрачным струям. И хотя берег был совсем рядом – верхушки деревьев казались далёкими, недосыгаемыми. Узкая полоска уже зеленеющего неба виднелась над горизонтом, отделяя темноту дождевых туч от земли, и от существования этой лазоревой дали на душе становилось надёжно и радостно. Никогда больше дождь не дарил такого восхищённого чувства, как в детстве.

А после дождя туман рассеивался, выглядывало солнце, и влажная летняя земля оживала. Леса, затаив дыхание, стояли умытые, цветы слабо шевелили чистыми головками, низины, наполненные живительной влагой, возобновляли свою скрытую от глаз таинственную работу. От разъезженных глиняных дорог поднимался парок, где-то облегчённо всхрапывала лошадь, и в сердце закрадывалось радостное понимание обратимости всего происходящего...

Человек в море пьянеет от дурманящего запаха земли, позабыв обо всём на свете, стремится к ней, и тогда к нему приходит одно из самых важных знаний, переживаемых в море: он начинает ценить то простое, чему не уделял должного внимания на суше. Это ощущение ценности обыкновенных вещей удивительным образом вдохновляет и подымает настроение. С особенным чувством переживаешь возможность исправить ранее допускаемое невнимание в отношении обыденных, но замечательных мелочей, ждёшь с ними встречи и с нетерпением предвкушаешь приближение сухопутной жизни, которую теперь, как тебе кажется, будешь ценить, воспринимая более мудро.

Ты уже по-особенному скучаешь о красоте земли, когда долго на ней не был, а вокруг только волны и небо. Душа просит этой земной красоты тем явственней и чаще, чем сложнее складываются в море обстоятельства. И тем желанней становятся ранее не замечаемые вещи, которые и составляют прелесть жизни.

Так хочется именно теперь отправиться в обыкновенную поездку за город, скажем, в осенний лес со всеми присущими ему замечательными мелочами, помочь тем, кому когда-то не помог, только сейчас почувствовав в этом потребность, прочесть те книги, что остались не прочитанными, осуществить, наконец, втайне задуманное... Каким чутким начинаешь ощущать себя, надолго оказавшись вне дома... Но богатому, говорят, везде дом, ты же – просто переполнен событиями и жаждой открытий!

Но иногда усталость подкатывалась таким тяжёлым грузом, что, ни о чём, не хотелось думать, а сон подолгу не приходил. Я выключал свет и, лёжа в темноте, тихо прислушивался к себе и к судну. Изредка за бортом раздавался неприятный, скрежещущий звук – это голые льдины, цепляясь зазубренными краями за обшивку судна, обламывались и ловко подныривали

под днище. Холод от этого становился ещё более пронзительным, предательски забирался под тонкое одеяло, не давая сомкнуть уставших за день глаз. Но, в конце концов, надоедливое всхлипывание мёрзлой воды, скрежет льдин за бортом и сотрясения корпуса сливались в единый подрагивающий гул, и сон неожиданно подступал вплотную, нехорошо наваливаясь на лицо промозглой каютной темнотой и кислым запахом непросушенных кирзачей.

Забывтье это длилось обычно недолго: нащупывая себе проход в кромешной темноте северной ночи, на каком-нибудь судёнышке завоет пронзительно сирена, тут же ей откликнется тоскливым дальним гудком затерянный в морском пространстве сухогруз, и всё опять стихнет. Но заснуть уже невозможно.

Потом дверца каюты мягко открывается, по палубе ползёт косою треугольник желтовато-усталого света, и до слуха начинает отчётливо доноситься гул машины. Это пришёл вахтенный матрос. Осторожно окликнув или тронув плечо, он стоит, затаившись, в голове коечного ящика.

Убедившись в твоём пробуждении, он тотчас неслышно исчезает: ему осталось стоять на вахте ещё около двух часов и он не хочет расхолаживать себя сонной обстановкой полутёмной каюты. В мелькнувшей в проёме двери согнутой спине можно угадать лишь бессонное напряжение вахты. Густая тёмно-сиреневая мгла крадётся за иллюминатором, и чувство одиночества, оторванности от всего мира невольно просачивается в душу.

А однажды пробуждение подступило пронизывающим всё тело тупым толчком, от которого в груди что-то словно оборвалось, и душная темнота навалилась на плечи. Через мгновение свет часто замигал, потух и вновь загорелся мутноватым вздрагивающим огоньком. Послышался пронзительный скрежет, потом кто-то как будто охнул, и мощная металлическая дрожь прошла всё судно от бака до кормы. Даже дизель, несколько раз захлебнувшись, бешено взвыл, стал неожиданно отрабатывать всё отдалённое, задумчивее, словно желая затихнуть на совсем. Воцарилась жуткая тишина, но в следующий миг уже слышались крики, и несусветная ругань отчаянных рыболовов разорвала нависшую над морем тревогу – наш легендарный «корвет» с ходу, в тумане, почти под прямым углом угодил в борт камчатского эрэса.

Было ещё совсем темно, и еле уловимая тягучая зыбь лениво ворочала между бортов аккуратно белеющие глянцевые льдины. Февральская вода в северной части Охотского моря, надо полагать, не парное молоко, и оказаться в таких «тропических» условиях мало кому климатило, а потому, следуя ни на секунду не угасающему в человеке инстинкту самосохранения и во все времена присущей ему любознательности, вся команда без исключения, кто в чём, повыскакивала на палубу.

После трудно переводимого диалога, состоявшегося между двумя противостоящими сторонами, выяснилось, что наше судно почти не пострадало, а вот эрэс надо было брать на борт: небольшая пробоина чуть

выше ватерлинии кровожадно зияла рваными краями у самой воды, и если бы случилось большое волнение – ошибка, конечно, обернулась бы непоправимой бедой. Халатность – независимо от того, где и отчего она допущена, остаётся халатностью, тем более, если под угрозой гибели оказывается, хотя бы, одна человеческая жизнь. В этой ситуации халатность была на лицо, и то, что столкновение произошло по нашей вине, ещё более усугубляло драматизм положения.

Камчатский капитан с окладистой бородой, в кальсонах и рыбацком свитере, с опухшим от недосыпания и, видимо, чрезмерного употребления накануне алкоголя, осипшим голосом заорал в темноту то, что орут, наверное, в подобных случаях все капитаны: «Полу-у-ндра! Все наверх! По местам стоять!» Так, в кальсонах, и командовал он, стоя на мостике в лучах наших прожекторов. Выглядела эта сцена посреди Охотского моря, во льдах, ночью, более чем, несуразно и, быть может, отчасти смехотворно, но так уж устроена жизнь – всё в ней соседствует бок о бок: горе и радость, утрата и обретение, смех и слёзы...

Уходя в море, я, конечно, начитался всякой литературы, повествующей о кораблекрушениях, и в представлении у меня тогда ясно стояла картина гибели четырёх судов, экипажам которых установлен на горе в Невельске мемориальный памятник. В городе трудно было найти человека, который бы не знал эту историю. Помнится, трагическая судьба моряков поразила меня простотой и реальностью, о ней говорили как о само собой разумеющемся факте, без видимой остроты сопереживания и без надрыва.

Из всех остался живым только один молодой парень... Выбравшись на лёд, он провёл на нём день или два, прежде чем патрульный вертолёт спасательной службы подобрал белого как лунь безумца, боявшегося хотя бы на секунду потерять твёрдую опору и окостеневшими пальцами судорожно цеплявшегося за скользкую ледяную поверхность.

Потребовалось совсем немного времени для того, чтобы я понял одну простую истину: то, что произошло однажды поздней осенью в водах Берингова пролива, отнюдь не единичный случай, а суровая правда нелёгкой работы на море. Её таила в себе необъятная морская стихия.

До сих пор колокол с погибшего в сильный шторм английского фрегата «Лютин», установленный в одном из залов Британского акционерного общества в 1896 году, оповещает мир о новых судах, трагически погибших или пропавших без вести. Это тоже своего рода памятник не только знаменитому фрегату, но и всем неудачам, постигшим моряков в их безудержном стремлении, во что бы, ни стало, плавать.

Шло время, и один день, умирая, порождал второй, чтобы тот неизбежно повторил его судьбу. В этой закономерности не было никакой логики, если человек оставался недвижим. А надо было жить и уметь видеть в беспросветной веренице дней и недель скрытую жизнеутверждающую

причину. Надо было быть уверенным и непоколебимым в том, что всё, по крайней мере, затеянное мной самим, не обречено на забвение и пустоту, что каждодневно повторяющиеся и выматывающие до одурения подъёмы, походы в трюм, рубка мяса, чистка картошки на разогретом камбузе, мойка посуды и многочасовое драенье судна – не бессмысленны.

С непривычки руки мои начали ужасно болеть, на ладонях, так что они стали плохо сгибаться, появились водяные мозоли. Суставы то и дело ломило, кисти рук невероятным образом распухли, и по утрам ими невозможно было что-либо делать. Проходило немало времени, прежде чем я мог их размять, и боль потихоньку отпускала.

Вспоминая сейчас те отрешённые, пронизанные холодным, бесприютным цветом забортной воды январские и февральские дни, промозглые, проводимые всегда в одиночестве ранние утра, когда неясный предутренний свет сиреневым тусклым облачком крался над мокрой палубой и бесцветная тугая волна размеренно и упрямо ударяла в судовую скулу, я думаю, что меня выручила неиссякаемая жажда познания... Именно она позволила справиться со множеством трудностей, которые теперь я воспринимаю как обычный труд.

Но мало было преодолеть усталость в себе, нужно было не допустить её в экипаже. Порой она доходила до того, что для людей было невероятной мукой обменяться друг с другом несколькими словами. Из-за этого портились человеческие взаимоотношения, а море, сближая людей, обязывало, между тем, ко многому, и в первую очередь – к терпению. Обтерпешься в морской стихии, говорят моряки, и в аду ничего!

Человек же без терпения и воли к противостоянию разного рода препятствий, погибал в городах, незаметно мельчая в изо дня в день повторяющихся автобусных давках и постоянных перееданиях, беспричинном выматывании нервов своим сослуживцам и близким, в одиноко метущемся отчаянии посреди ночи в уютной, тёплой и почему-то уже не приносящей радости квартире... Человек, не умеющий мужественно переносить лишения – порождение неуёмного до развлечений и лихорадочного века, существо без вины виноватое, без этой же самой вины и надежды на осознание собственной жизни, уходил в темноту, оставляя потомкам только растерянность перед невозможностью понять себя и мир, и ещё, быть может, еле приметную складку-морщинку в уголках рта, не утерявшую, впрочем, доли упрямства.

Трагедия такого человека заключалась в разобщённости с самим собой, в неумении установления подлинных взаимоотношений с другими людьми и окружающими миром. Оборвав однажды пуповину, человек не полетел, а повис и, оставаясь всё время во взвешенном состоянии, никак не находил в себе сил оглядеться, чтобы убедиться в своём неприглядном положении. Всё, то лучшее и светлое в душе, что предшествовало её оскудению, у многих людей, однако, не умерло, и те, кто сохранили в себе способность к принятию решений, обрели возможность и желание летать.

Душа такого человека парила, осуществляя любую мечту. Она взмывала к заснеженным вершинам самых высоких и неприступных гор, а достигнув их, устремлялась выше – в нескончаемо-пронзительную голубизну... Душа погружалась в неведомые морские глубины, чтобы обратиться умным и сильным дельфином, и помчаться по зелёным волнам своей любви ко всему живому. Душа была неуёмна, стремительна, добра и всемогуща, и человек следовал за ней всюду, куда она уносила его в своих исканиях.

Я как-то сразу понял, что случайные люди крайне редки в море. Море объединило в своей утробе тех, кто, однажды выйдя из него и пройдя долгий путь познания и разочарований, вновь обратился к нему в поисках собственной природы, только уже более мудрым, приближенным к собственной сути. Повязанные морем, эти люди были схожи лишь с теми, кто боготворил небо и горы, и удивительным образом соединялись в своём первобытном восприятии мира у его берегов. Лица их не были похожи ни на какие другие, в море они обретали свою сокровенную природу, становясь такими, каковы есть.

## ДОКТОР ХАЛИН

Кок на флоте – лицо далеко не последнее и, быть может, даже более значительное, чем об этом принято думать. К коку на любом судне, если он, конечно, этого заслуживает, относятся с уважением, доходящим порой до подобострастной услужливости, которая встречается и у некоторых капитанов. Происходит это из-за острого дефицита истинных мастеров своего дела, несмотря на огромную массу представителей «не мужской» профессии, заполонивших собой бесчисленные рыболовные сейнеры, траулеры, разные катера, буксиры и боты. Но так уж повелось, что весь этот ближний каботаж, в отличие от океанских лайнеров, устраивал только мужчин, каждый из которых зачастую имел опыт работы в каком-нибудь первоклассном ресторане и очень гордился этим.

Наш кандей Ваня Халин, следуя этой традиции и по неумолимому року судьбы, оказался в итоге на суровом каботаже. Без остатка выпивший пьянящее вино поварской славы, и по праву желая всегда находиться в центре всеобщего внимания, он всё же успел свыкнуться с поклонением, и все жертвоприношения, доставляемые к его ногам, принимал сдержанно. Никакого панибратства по отношению к себе он не терпел, при малейшем проявлении такового уничтожал его на корню, и, вообще, с первого взгляда казался неподатливой и дремучей личностью.

Уже в первый свой приход на борт судна, который, кстати, состоялся всего за какие-нибудь сутки до выхода в море, он показался мне человеком неприступным, знающим себе цену и понапрасну своё внимание не разбазаривающим. И как каждый, кто однажды связал свою жизнь с флотом, он к этому моменту, видимо, успел устать от берега, чтобы быть готовым

покинуть его, но ещё недостаточно ясно ощутил в себе тягу к морю, чтобы с головой окунуться в его распростёртые объятия. Он пребывал в очень неприятном для моряка состоянии неопределённости и, не находя из него выхода, выглядел хмурым и раздражительным.

Тонкая кожаная курточка, кое-как наброшенная на плечи, словно подчёркивала его пренебрежительное отношение ко всему происходящему. Не одобряя воцарившегося вокруг нездорового оживления и желая только побыстрее добраться до своей каюты, бывалый кандей неосторожно перешагивал через доски сооружаемой сепарации, инструменты, вёдра с краской и суриком, горы замазанной ветоши, чуть слышно чертыхаясь.

Его то и дело окликали знакомые голоса, выражая искреннюю радость от его долгожданного появления, а он, не смущаясь, мимолётом отмахивался от несущихся со всех сторон приветствий и вопросов:

- Иван Николаич, никак опять на голубоглазого?..
- Халин, не все ещё рубли обобрал?
- Привет Иван Николаичу!
- Когда отходите, маэстро?..

Иногда вынимая из кармана озябшую и неестественно разбухшую, как клешня, руку, кандей что-нибудь отвечал глуховатым голосом и, не дослушав ответа, спешил дальше. Большая кудлатая голова, тугие покатые плечи вместе со всей его неуклюжей фигурой и угрюмый вид почему-то напоминали в нём сказочного лешего, по недоразумению оказавшегося сейчас здесь. По внешнему виду трудно было предположить в нём человека с легендарным морским прошлым, но, тем не менее, это было так.

Маленькие колючие глазки его остановились на мне, и мгновение беспристрастно сверлили холодным непочтительным вниманием. В тот же миг я почувствовал себя до неприличия оголённым и беспомощным, чего нельзя было сказать о могущественном кандее. Не мигая, он продолжал бесцеремонно ощупывать меня пронизывающим взглядом, никак не выказывая своего отношения к моей персоне.

- Ты и будешь новый буфетный? – с хрипотцой в голосе, наконец, произнёс он и, нехотя отвернувшись, сразу словно потерял интерес не только к моему ответу, но и ко всему увиденному.

Не успев ещё толком запахнуться от разделяющего душу острого взгляда, я только умудрился кивнуть в ответ, и хотел было уже задать встречный вопрос, как увидел, что тучная фигура, неуклюже поводя плечами, исчезает в узком дверном проёме. Этот человек должен был стать моим самым непосредственным начальником, и именно с ним в течение нескольких месяцев мне предстояло просуществовать в одной каюте.

Не обратив внимания на наведённый мной порядок, кандей продефилировал в полуподвальное помещение судовой морозилки, и уже через каких-нибудь полчаса до меня очень ощутимо дошло: вся моя самоотверженная двухнедельная подготовка судна к рейсу не стоит и ломаного гроша в сравнении с тем, что предстоит осуществить в реально

подступившем настоящем и не таком уж далёком будущем. Только сейчас я так ясно и просто осознал, какой долгий и трудный путь нам предстоит.

Я не понимал и не знал, что людям придётся невероятно много работать. Им будет очень трудно там, впереди, в штормах, во льдах, и поэтому их надо вкусно кормить. Надо быть мастером, настоящим поварским чародеем, чтобы готовить в таких условиях добротную пищу. Быть может, кандею, как никакому другому члену экипажа, необходимо сознавать свою особенную ответственность и нужность. Ваня Халин лучше остальных понимал всё это и без суеты навёрстывал упущенное, своими решительными передвижениями по судну наполняя души моряков радостной уверенностью в завтрашнем дне.

Вот тогда, благодаря нашему многоопытному кандею, почувствовал я, что есть на судне команда. Не просто люди разные – штурмана, механики, мотористы, а именно добротная морская команда, с которой и сам чёрт не страшен. За многие годы их спаяла тяжёлая работа на море... И такое от этого радостное чувство охватило меня, что я обо всех своих переживаниях и трудностях забыл. Хорошо всё было очень, надёжно, и ощущал я это состояние впервые в жизни.

В отличие от большинства людей, как на словах, так и в мыслях умеющих с гениальной точностью предсказывать ход дальнейших событий, но поступать для удобства всё же вразрез с личными убеждениями, наш кандей Ваня Халин шагал по жизни непроторёнными тропами собственных, порой не совсем весёлых, размышлений. Ни полугодовалое детдомовское существование, ни суровые для его тогда ещё сравнительно юных лет законы исправительно-трудовой колонии, ни трёхлетнее безукоризненное учительство пахана на валке леса не смогли повлиять на самостоятельность и смелость принимаемых им решений.

Замечательно минуя зависимость от воли обстоятельств и вмешательство сторонних мнений, он упорно продолжал следовать своей гордой философии, при этом, ничуть не уставая, а только набирая смак от переполнявших его жизнь противоречий. Не переставая, таким образом, выработывать в себе кодекс чести и успех, между делом, закончить поварскую школу, в чём, несомненно, сказалось его природное добродушие, прозорливый кандей в один прекрасный день понял, что рядовая должность повара в одном из приморских ресторанов ничуть не удовлетворяет его душевным запросам. Далёкие острова Фиджи, где круглый год светит солнце и в голубой воде купаются неповоротливые морские черепахи, неодолимо притягивали его своей завораживающей экзотикой.

Правда, время пресловутой романтики вскоре закончилось, и на смену юношеским мечтам пришло осознанное понимание, что хорошие повара необходимы людям на малых рыболовных сейнерах не меньше, чем на океанских кораблях. С тех пор прошло немало лет, и он уже не раз успел разочароваться в выбранном пути, когда неистовый шторм разрывал судно на части и сальные миски с дребезжащим грохотом перекатывались по

голому кафельному полу, так что не было возможности остановить эту умопомрачительную свистопляску; когда проникающая сквозь незадраенные щели иллюминатора стылая вода заливала не первой свежести постельное бельё, а на куртке появлялись не выводимые жирные пятна; когда густой многодневный туман скрывал от глаз все различимые над морем ориентиры, растворяя в себе человеческую память, а рейс по какой-либо причине продлялся на неопределённый срок... И ещё тысячи мешающих работе мелочей изматывали, наполняя душу и тело невероятной усталостью.

В экспедиции он каждый раз зарекался, что с сумасшедшей работой навсегда покончено, что он бесповоротно завязывает с морями – и это его последнее железное слово. Что пора обзаводиться семьёй, втайне он даже вынашивал планы скорой поездки на Украину за будущей хозяйкой, присутствие которой должно было согреть теплом его холостяцкое обиталище, и что с его дефицитной специальностью можно неплохо устроиться и на берегу. Но заканчивался рейс, и к сердцу незаметно подкатывала щемящая тоска. Не важно, где и как, только неодолимо хотелось вновь ощутить всё то, что ещё совсем недавно раздражало и несло неудовлетворённость. Раз от разу обрекая себя на повторение пройденных ошибок, ему как-то просто и ясно однажды открылось, что обыденное преодоление всех трудностей в море и есть то, без чего его жизнь пуста и бессмысленна.

Когда это дошло до него, он понял, что не расстанется с морем по собственной воле, даже если придётся поступиться здоровьем. Но согласиться на очередной рейс было делом нелёгким: для этого требовалось опять перешибить в себе опостылевшую неустроенность в личной жизни, и с каждым разом делать это было всё мучительнее и труднее.

Характер даже очень сильного человека не сможет без последствий выдержать подобной борьбы, а значит, неминуем жизненный крен. Если к сорока годам мужчина подвергается такого рода завалам, он, так или иначе, обречён на ожесточение. Именно в этом таилась причина угрюмой неразговорчивости кандея, когда, завернувшись в старенькое одеяло и засунув руки в карманы, он, сосредоточенный и отчуждённый, лежал часами в остановившемся сумраке каюты, и всё время думал, думал, думал...

### ВЕЛИКИЙ МОТЫЛЬ

В узком проходе, ведущем мимо машинного отделения на палубу, вне зависимости от вахты механиков, всегда мелькала коренастая, с широко развёрнутыми плечами невысокая фигурка мотыля. Цепко и мягко ставя ноги, обутые в загнутые кирзовые сапоги, он ловко перемахивал через комингсы, исчезая за переборками многочисленных внутрисудовых отсеков. Ему было сорок пять, но, глядя на его неутомимое тело, от которого так и веяло силой и здоровьем, каждый понимал, что этот человек ещё сравнительно молод и только начинает нелёгкую морскую жизнь.

Облачённый по большей части в засаленную робу, он выглядел, между тем, свежо и непринуждённо, глаза его казались ясными и светлыми. Успевая с каждым перекинуться незатейливой шуткой, он был всегда при деле, и уж если требовалось принять какое-нибудь нестандартное решение – лучше его этого никто не мог сделать.

Трудно было понять психологию этих механиков, которым всю жизнь приходилось просиживать ниже ватерлинии, в духоте и гуле машинных отделений, но особенно любопытным оказывалось то, что именно механики слыли самыми весёлыми и неунывающими людьми на флоте.

Розовощёкий, с голубыми навывкате глазами и чистым, как у ребёнка, лицом, мотыль принадлежал к так называемой «бабьей» породе мужчин, обычно очень неприятной. Но он этого неприятного чувства не вызывал – был, напротив, многим открыт и близок, и добродушный нрав свой, не размениваясь, выплёскивал неудержимо в общении с каждым. Кроме того, он кое-чему учил меня: как называются те или иные технические части, снасти, показывал вязку хитроумных морских узлов, объяснял суть ведения судна по компасу и по автопилоту в ночное время.

Всегда живой, остроумный, языкастый, мотыль был приветлив со всеми, каждому помогал шуткой, сопровождая её быстрым, рассыпчатым смехом, умел ладить даже с теми, кого в экипаже считали неприступными, и уж, конечно, держал свою марку на вахте, отличаясь удивительной работоспособностью и находчивостью. Точно зная, что без него всё равно не обойдутся, он зачастую появлялся в машинном отделении не в свою вахту, суетился, брал на себя чужую работу, и от переполняющей деятельную натуру энергии и волнения круглый кончик его носа постепенно делался чуть красноватым.

Целыми днями он мелькал на палубе, но никогда попусту не заводился, в драку в спорных вопросах не лез и, как ни странно, эта суета и шумная неугомонность, которые исходили от него, ничуть не мешала работе экспедиции. Скорее, присутствие вездесущего мотыля приносило многим облегчение и улыбку, что было делом немаловажным в конечном итоге.

Но никто не знал - какая печаль гложет сердце Великого мотыля. Сам он никому ничего не говорил, виду не подавал, был волен, как птица морская, весел, неустрашим, и каждый, кто имел с ним хоть какое-нибудь маломальское дело, и мысли не мог допустить, что у мотыля в жизни не всё в порядке.

Жила в мотыле глубоко скрытая тоска. Тоска преследовала и томила его уже много лет, а он никак не мог сладить с ней. Живой образ немецкого солдата с шоколадкой в веснушчатой волосатой руке подолгу не оставлял, накатываясь по ночам невыносимым грохотом кованых сапог и душераздирающим шелестом серебристой обёрточной бумаги. Полуголодное детство подступало к горлу не проглатываемой сквозь слёзы сладостью и жутким, до боли в висках, страхом, что эту сладость отберут. Солдат, в расстёгнутой до пупа гимнастёрке, дико гоготал, задрав к небу белёсое

самоуверенное лицо, а Мишка жадно глотал ломкие шоколадные куски, уже ничего не чувствуя и позабыв о том, что детей у матери ещё шестеро по лавкам, мал мала меньше.

Страх голода неумолимо гнал его через всю войну и собственные унижения, через такое же обездоленное послевоенное время, когда порой было ничуть не легче, а даже тяжелее. Постепенно забываясь и отступая перед спасительной надеждой, голод ещё долго приходил унижающими воспоминаниями в ночных кошмарах, затем забывался, растворяясь в повседневных житейских заботах, и неожиданно возникал вновь.

С рождением двух дочерей страх перерос в обострённое чувство ответственности за судьбу детей, временами доводящее его до исступления. Изводя себя частыми восьмимесячными рейсами, Мишка уже не мог остановиться. Самозабвенно обеспечивая жене и дочерям далеко не безбедное существование, он своей обязанностью считал ежегодно посылать их на Чёрное море, одевать всех троих по последней моде, удовлетворяя малейшую прихоть.

В своей бескорыстной погоне за достатком для родных людей он начисто забыл о собственных нуждах, вернее, не считая их в достаточной мере значительными. Бывало, когда рейс подходил к концу, он, не сходя на берег, подменял кого-нибудь на другом судне, недавно вышедшем в море, и вновь без устали ломался долгие месяцы в маслянистом грохоте машины, совестливо отработывая за дочерей своё полуголодное военное детство и память. Имея один более-менее приличный костюм, он даже не пытался что-либо изменить в сложившемся положении, искренне полагая, что оно вполне удобно. Главную задачу он видел в благополучии своих родных и близких.

Но через годы вдруг нахлынула в душу непонятная тоска. Может быть, это усталость накрыла его своим крылом, или старые болезни стали давать о себе знать, только удручённость, которую он, умело, научился скрывать ото всех, без спросу поселилась в сердце. Она порождала тяжёлую пустоту и настороженность. Казалось, ничего хорошего в жизни больше не предвидится.

Когда хандра проходила, неприятный осадок от неё всё же оставался, но тоска, по чему-то не осуществлённому в жизни, не брала верх над его работой и отношением к людям. В этом Мишка Померанцев чувствовал залог своего душевного здоровья. Он ещё вполне мог руководить собственной жизнью, и это забавляло и радовало выносливого морского скитальца. Ведь помимо того, что он был чрезмерно заботливым и чувствительным отцом, в нём жила неодолимая тяга к морю, нелёгкой, весёлой работе на чистом ветру и несокрушимая ничем надёжность.

## ФЕРДИНАНД ФЕРДИНАНДЫЧ

Есть люди, присутствие которых никому почти не видимо, но всегда сильно ощущается. О них никогда не слагают од, им не поют дифирамбы, но

зато они надёжны до умопомешательства и никого никогда, за зря, не задевают. Последнее качество, в век оголтелого и безудержного самовыражения, особенно важно.

Присутствие Фердинанда Фердинандыча на судне в основном ощущалось по конечному результату содеянного им. А поскольку боцман жил по принципу «тише едешь – дальше будешь», то, естественно, звёзд с неба не хватало, не зарывался и, что было сил, неприметно для всего экипажа вкалывал, умудряясь при этом никому не попадаться на глаза. Фердинанд Фердинандыч никогда не ругался, ни с кем не ссорился, а в минуты раздражения ещё более ударялся в работу, был неутомим, и именно по такому его поведению можно было безошибочно заключить, что он не в настроении.

Скорее всего, Фердинанд Фердинандыч и не жил по какому-либо принципу, да и смысл этого слова вряд ли достаточно ясно доходил до его сознания. Был он, попросту говоря, от рождения необычайно трудолюбив, в рыбацком ремесле неуёмен и замечательно неприхотлив в быту. Каждый стоящий капитан, верящий в звезду рыбака, стремился завербовать в рейс именно этого боцмана. Боцман знал своё дело и, конечно, ведал про то, как ценится он среди капитанов, но к славе своей на базе относился равнодушно. Кажется, он вообще не замечал её. Без неё ему было просто спокойнее жить.

Внешне Фердинанд Фердинандыч, в противоположность своему громкому имени, выглядел очень тщедушно и смахивал на какую-то невзрачную, неопределённых форм глубинную рыбу. Лоб его сплющивался до немислимых размеров надвигаемой на самые глаза какой-то задрипанной меховой шапчонкой, тонкие губы, ежеминутно, то складывались в длинную отвисающую трубочку, то вытягивались до лиловых мочек невероятным образом приплюснутых природой к самому затылку ушей. Откровенно прямоугольный голый затылок безответно молящим вопросом возникал из помятого, в традиционной грязи измазанного ватника.

С ватником, к слову сказать, Фердинанд Фердинандыч не расставался круглые сутки, уютно почивая в оном даже в собственных апартаментах. С тихим упорством, невзирая на постоянные стенания по этому поводу старпома, боцман заваливался в подобном виде во время трапезы в кают-компанию и мог даже появиться на мостике, порождая исходящими от него многочисленными ароматами и невозмутимой малиново-сизой физиономией значительные перемещения. Это, естественно, не могло не сказаться на эксплуатации судовых устройств, и поэтому капитан, словно зеницу ока, берёг мостик от присутствия на нём «дракона», допуская его к себе только в экстренных, не терпящих отлагательства случаях.

На фоне тщедушной и худенькой фигурки боцман имел неожиданно большие натруженные руки. Пальцы – заскорузлые от соли и непомерной палубной работы, с широкими приплюснутыми ногтями, несмотря на свою неповоротливость, были очень точны и основательны. Неторопливо двигаясь в пространстве, они, казалось, не могли сделать ни одного лишнего и

ненужного жеста - так их движения были вымерены и бережливы. Собираясь что-либо сделать, боцман всегда ощупывал интересующий его предмет, а уже потом принимался за дело.

Вообще, за свой несусветный и бросовый вид боцману нередко приходилось выслушивать со стороны личного состава ехидные усмешки и разного рода ругательства, но он сносил их без всякого раздражения, словно и не замечая. При всей его способности к замкнутой сосредоточенности, Фердинанд Фердинандыч, вопреки здравому смыслу, всё же обладал какой-то затаенной скромностью, доходящей иной раз до откровенной стыдливости. Даже непонятно было порой, каким образом ему удавалось выбиться в боцманюги, ибо народ этот, в основной своей массе, дошлый, пронирыливый и до невероятной силы пробивной.

Любому мало-мальски связанному с морем индивидууму давно известно, что боцманская должность – сплошное страдание. Чтобы, к примеру, ускорить ремонт судна перед выходом в рейс, выписать на складе недостающие снасти или занять ведро сурика у соседского хапуги-боцмана, требовался минимум нахрапистости, коей у Фердинанда Фердинандыча именно в такие моменты не оказывалось. Перед реальной перспективой обращения к кому-либо с просьбой, он пасовал решительно и бесповоротно. С неприкаянным видом и извиняющейся глупой улыбкой он обычно подолгу мотался по палубе из угла в угол, прежде, чем на что-либо решиться. Затем принимался нести сущую околесицу, так что можно было заподозрить его в не совсем здравом рассудке, и, в конце концов, до последней степени измотав себя безысходностью своего скромного поведения, когда уже ничто не страшит и не удерживает, он готов был выброститься за борт, чем, естественно, и жалобил отзывчивые морские души. Вот по причине того, что ему приходилось многое сносить, то есть, иначе говоря, страдать, Фердинанд Фердинандыч, вероятнее всего, и оказался в итоге на неблагодарной боцманской стезе.

Пути боцманской мысли были неисповедимы, как и его страдания. В самый неподходящий момент он застывал, остекленелым взглядом уставившись в палубу, и стоял так с минуту, неслышно шевеля отвислыми губами. Затем брови его, корчась, мгновенно взлетали безучастным домиком к самой макушке, отрешённо оборачиваясь вокруг своей оси, он извергал что-то на недоступном для окружающих языке и, понутившись, вновь принимался за работу. Тот, кому хоть однажды приходилось наблюдать эти родовые потуги боцманского сознания, неминуемо оказывался под гипнотизирующим воздействием его таинственных чар.

Ещё большей загадкой являлась неповторимая речь Фердинанда Фердинандыча. Мало того, что боцман был сдержан на слова, так он ещё ко всему прочему обладал дефектом речи. Неизвестно было - достался ли этот дефект ему в наследство от предков, или же был приобретён на лихих поворотах его суровой моряцкой судьбы, только, что греха таить, никто ни черта не разбирал в его словоблудиях. Но все неизменно делали при этом

вид, что всё наилучшим образом понимают, и скрытые тайны боцманского нерукотворного языка они, наконец-то, познали.

Речь свою, даже не подозревая об этом, боцман строил всегда по примеру неизвестного многим французского слияния, когда буква предыдущего слова неминуемо соединяется с буквой последующего, в результате образуя бесконечный поток невообразимо булькающих созвучий. Все слова, как это было видно по его оживлённой мимике, Фердинанд Фердинандыч произносил обстоятельно, так же добротнo и неторопливо, как он делал всю палубную работу. Замечая же некоторое непонимание со стороны матросов, начинал нервничать, комкать и без того уже перековерканные слова и, достигнув бессильного раздражения, завершал всё такой умопомрачительной тирадой, что судно в прямом смысле сотрясало от оглушительного хохота. Боцман, конечно, глубоко переживал все эти издевательства со стороны экипажа, старался не обращать на них внимания и затаенно ждал такого момента, когда можно будет с наглым вызовом прищучить кого-нибудь из матросов за сачкование и разгильдяйство в исполнении своих прямых обязанностей.

Но самым тяжким для Фердинанда Фердинандыча было объяснение на своём тарабарском языке со старшим командным составом. Требуется, к примеру, раздосадованному мастеру лицезреть перед собой голову палубной команды, и по запарке он, конечно, забывает, что Фердинанд Фердинандыч членораздельно ответ держать не способен. Боцман, в болезненном ожидании очередного спектакля, понурившись, поднимается на мостик, как на Голгофу. А капитана, при виде его неприкаянной фигуры в источающем «ароматы» ватнике, уже бить мелкой дрожью начинает: он от легендарного моримана ясной речи не слышит, по приборным щиткам кулаком стучит, страшно глазами поводит, и на Фердинанда Фердинандыча в остервенении своём норовит наскочить. Старший помощник с электромехаником, что было сил, стараются разбушевавшегося мастера аккуратненько в уголок прижать, ограничить, так сказать, его свободу действий, и с растерявшегося боцмана в то же время глаз не спускают. Последний каменным изваянием посреди рубки застывает и только глазами обескуражено хлопает: мол, довели старика до белого каления, больше ни звука от меня не услышите, и пусть горит всё синим пламенем!

И вот уже по судовой трансляции разносится долгожданное: «Матросу Редунькову в срочном порядке явиться на капитанский мостик!» Весь экипаж от неминуемо назреваемой хохмы бессильно давится, стараясь всеми силами сдержать бурно подступающие эмоции, а матрос Редуньков, поспешая, грохочет сапогами по трапу. Тут нужно заметить, что Редуньков – единственный и неповторимый в своём роде среди всего личного состава «Стройного» индивид, который хитросплетения дремучего боцманского языка очень даже понимает и без особого труда может перевести. Способности этой уникальной он достиг благодаря глубокому и искреннему уважению к Фердинанду Фердинандычу, а также по причине совместного, то

есть, значит, в одной каюте, с ним проживания. Редуньков как личную обиду воспринимал шпильки в адрес боцмана и первым долгом своим считал просвещать кругом бестолковый народ относительно светлой души Фердинанда Фердинандыча. Кстати сказать, прозвище это несуразное – Фердинанд Фердинандыч, боцман получил именно за схожесть своей речи с иностранной. На деле же коренной выходец из-под Воронежа был с рождения наречён Фёдором Фёдоровичем.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАРШЕМ ПОМОЩНИКЕ КАПИТАНА

Наш старпом казался, на первый взгляд, нудным и, мягко говоря, не совсем далёким человеком. Он просто с ума сходил, и его бросало в мелкую дрожь, когда он видел меня прохлаждающимся, а прохлаждаться мне, следует заметить, удавалось до невозможности редко, и попадался я ему на глаза именно в эти бесценные моменты. Собственно говоря, всё моё прохлаждение заключалось в лихорадочном выкуривании одной «беломорины» в укромном местечке над капитанским мостиком, куда я забирался каждое утро в любую погоду, до боли тараща глаза на море.

А море было всяким... Оно никогда не повторялось, и это было приятно. Приятно было иметь с ним дело, потому что оно многому тогда меня научило или, вернее сказать, способствовало каким-то важным открытиям.

Именно в эти минуты, над мостиком, я напрочь выкидывал из своей жизни злостного чифа, находя успокоение в обществе морских пернатых. Ненавистный старпом растворялся среди переборок где-то там, внизу, под толстой обшивкой эстэра. Это временное забвение помогало, но приходилось, всё же, спускаться вниз, и делал я это, с глубоко затаенным нетерпением ожидая, когда мне этого делать не придётся...

А впереди ещё были долгие недели экспедиции: умопомрачительные и выворачивающие наизнанку шторма, холод Охотского моря, бесконечные авралы в забитом льдами Бристольском заливе, пурпурные восходы какого-то дикого солнца среди крошёного льда, обилие косаток и дельфинов, фырканье неповоротливых сивучей под бортом... И ещё – необозримое море, к которому я так стремился, и в которое всё-таки попал.

Шёл к концу второй месяц плавания, и второй месяц старпом, не переставая, злобствовал, собираясь не на шутку, видимо, уморить меня. Я был не против порядка и чистоты, в душе считая себя закоренелым аккуратистом, и даже очень часто убеждал себя, что в море так и должно быть. Я уже давно уверовал, что мне самой должностью, по неписаным морским законам, суждено крутиться на протяжении всего доблестного похода подобно белке в колесе, и всё же, в глубине души безудержно бунтовал против ненасытного инквизитора, отравляющего моё существование...

Если старпома всякий раз при виде меня праздничношатающимся бросало в мелкую дрожь, то я готов был целый день просидеть в морозилке среди наших мясных запасов, лишь бы не попадаться ему на глаза... Вот до чего мы дошли в наших с ним взаимоотношениях! В довершение всего, этот, поначалу не видимый для экипажа, конфликт был однажды замечен третьим штурманом и немедленно обнародован в форме, достаточно соответствующей его юмористическим способностям. В этом плане штурман Кузнецов являлся прямой противоположностью чифу, который расплывался в улыбке только уж при совсем явной шутке, непременно принадлежащей при этом вышестоящему лицу, и в первый подвернувшийся случай не преминул козырнуть этим.

В один из утренних часов, когда на судне повисает непривычно тягучая тишина и, упираясь в подволок, нагоняет на всех сонливую хандру, старший помощник забрёл в безлюдную кают-компанию. Я к этому времени домывал последнюю партию посуды, оставшуюся после завтрака, и был несколько удивлён подобным визитом. Отстояв ночную вахту, чиф обыкновенно отправлялся поживать в собственную каюту, но стрелка на часах показывала ровно десять, а старший помощник пребывал в состоянии бодрствования, и это не укладывалось у меня в голове.

Чиф вошёл хмурый, видимо, занятый собственными невесёлыми мыслями, и по внешнему виду его можно было с точностью определить, что он не способен в данный момент ни на какое зверство. Сейчас его явно не занимала мучительная мысль, чем бы занять своего подчинённого, что было невероятной редкостью. Он был не в себе, и это состояние я готов был поддерживать в нём, если бы это от меня зависело, всё время экспедиции. Но судьбою мне суждено было иное, и в лице её с удовольствием выступил ни кто иной, как наш Пиллерс, то есть – третий штурман, прозванный так за высокий рост, худобу, явную принадлежность к морскому делу и кристально чистый юмор, служащий надёжной опорой всей команде в ходе плавания.

У штурмана, в отличие от старпома, настроение находилось в превосходном состоянии, и на его самодовольной физиономии чёрным по белому было написано, что грустить он не собирается и другим не даст. Это меня, естественно, насторожило.

Усевшись напротив угрюмого старпома и обстоятельно закинув ногу на ногу, он зловеще оглядел помещение. Затем, остановив свой взгляд на моей мечущейся в проёме кормушки фигуре, и даже не учитывая нашего дружеского расположения друг к другу, произнёс сакраментальную фразу:

- Сдаётся порой, что нет у нас на судне должного порядка!

При этом он задумчиво воззрился на не чищенный мною уже в течение месяца подволок и ехидно ухмыльнулся. Внутри у меня с глухим хлопаньем что-то оторвалось, в глазах начали появляться разноцветные круги, и, выронив из дрожащих рук недомытую чашку, я обессилено поднял глаза к его бесстыдной роже. Господи, думал я, если кому-то доставляет удовольствие зрелище чужих мучений, и он облегчает этим своё сердце, то

не покарай его. Пусть он сам наладит себе путь из мира заблудших, а ты помоги ему исцелиться от жалкой скверны, ибо высшее чудо в этом мире есть ни что иное, как способность переживать за кого-то не меньше, чем за самого себя.

Со стороны третьего штурмана это была, конечно, неудачная шутка, а старпом, в свою очередь, воспринял её слишком серьёзно, как будто именно из этого исходили все его беды и несчастья. В результате, оставшуюся часть дня я провёл за чисткой металлических судовых переборок, которые, в конце концов, приобрели свой первоначальный, ещё до спуска судна на воду имевшийся вид. Еле добравшись поздним вечером до своей каюты, я почувствовал себя последним бедолагой, окончательно потерявшим веру в человеческую справедливость.

Старшего помощника за особую вредность по отношению к личному составу, с лёгкой руки всё того же третьего штурмана, прозвали на судне Торквемадой, и прозвище это быстро к нему привязалось. На горе чифу, третий помощник много читал, самым незаконным образом скопив у себя под матрасом чуть ли не всю судовую библиотеку. Великий основатель испанской инквизиции, конечно, не мог предполагать, что послужит прообразом советского моряка, являющегося к тому же представителем комсостава. Основатель был фанатиком и видел основную цель своей жизни в уничтожении «неверных». Обладая колоссальной энергией, мстительностью и честолюбием, перед которыми трепетали не только жертвы, но и его сподвижники, великий инквизитор стремился к неограниченной власти и славе, и это было объяснимо. А вот что заставляло свирепствовать нашего старпома, понять было нелегко.

Во время экспедиции окончательное и объективное мнение о человеке сложить трудно. Ведь чиф мог быть страстным поборником дисциплины и порядка в море, а на берегу таковым совсем не являться. Правда, я в этом больше чем сомневался, но, всё же, решил, несмотря ни на что, скороспелых выводов не делать. Попробовать, в первую очередь, понять происходящее, а не судить с наскока, - это следовало давно уже взять себе за правило хотя бы потому, что окружающая жизнь в море не терпела сиюминутного, наносного. Она была по-настоящему мудра, и требовалось время, чтобы окончательно убедиться в этом.

Вот тут и произошёл случай, который сделал старпома в глазах всего экипажа истинным героем...

Дело происходило при самой рядовой выборке трала, когда на верхней палубе собирается толпа свободных от вахты прохлаждающихся, и, от нечего делать, глазеет на очередной улов, лениво комментируя происходящее. Со временем, конечно, это зрелище порядком приедается, и любопытство членов экипажа ограничивается справочным бюллетенем, каждодневно вывешиваемым в кают-компании, но день был такой пронзительно ясный и солнечный, что всех неодолимо тянуло наверх, к свежему воздуху, ветру и свету.

Верхняя палуба вместе с мостиком замерла в нетерпеливом ожидании, и было слышно только, как возбуждённо вскрикивают ошалевшие от предчувствия предстоящей трапезы чайки, и в струну натянутые стальные ваера трала истошно подвывают время от времени, словно желая тем облегчить свою нелёгкую участь. В моменты особого напряжения на их вытянувшихся натруженных спинах вздрагивали лиловато-серебристые фонтанчики, и даже судно, судорожно подобравшись, замирало, как будто приноравливаясь поудобнее взвалить на себя эту очередную ношу. Тихий азарт предвкушения удачного замёта постепенно сменялся у всех необъяснимым беспокойством, и тогда неестественная тишина повисала над морем и роящиеся в ней звуки замирали, неожиданно оказавшись в собственных путях.

И вот, в этой онемевшей тишине все вдруг увидели, как по слипу, изредка подрагивая и переворачиваясь с боку на бок, медленно заползает на палубу ... мина. Самая настоящая, неопратно и нагло вырисовывающаяся своими очертаниями, видимо, зацепившаяся за основание одной из распорных досок, мина лежала на палубе нашего мирного сейнера, зловеще поблескивая чёрными боками и наводя на всех тихий мертвецкий ужас.

Уже через какое-то мгновение все доступные места на судне, способные уберечь от разрушительных последствий взрывной волны, были заняты, и никто в дальнейшем не мог объяснить того факта, каким образом электромеханик, находящийся в тот момент у лебёдки, в следующий уже был, по утверждению очевидцев, замечен на баке. Причём сам он долгое время совершенно искренне недоумевал, что жив остался, когда, значит, лебёдку эту, едри её в корень, стопорил. По его сбивчивым объяснениям можно было лишь разобрать, что помирать ему было не с руки, поскольку по предстоящему с супругой разделу имущества половина честно нажитого добра, в случае его кончины, переходила бы, естественно, к ней, а этого светила, даже под страхом жуткой смерти, допустить не мог.

В сложившейся ситуации лишь чиф не потерял голову и, взвалив на плечо кувалду, геройской поступью направился к мине. Подойдя к ней вплотную, он не спеша обошёл её кругом, осторожно дотронулся рукой и, погладив уже более смело, со всего размаху бухнул кувалдой по ненавистному железному боку... Ручаюсь, что в тот миг перед остекленевшими глазами каждого члена экипажа, без исключения, промелькнула собственная жизнь, мир на какое-то время померк, и сердце, заматавшись, оборвалось куда-то в совсем не подходящее для него место.

На наше счастье, мина оказалась учебной. Многие потом, я думаю, из чистой зависти, пытаясь очернить старпома, считали, что он это с отчаяния на мину с кувалдой пошёл и бесстыдную панику среди личного состава ликвидировал. Может быть, отчасти всё выглядело именно так, но только чиф почему-то вырос в моих глазах, даже, несмотря на то, что по-прежнему продолжал относиться ко мне, как к бессловесной жертве. И прошло ещё немало времени, прежде чем для меня, со всей очевидностью, открылось:

всему приобретённому за этот первый в моей жизни выход в море я в большей мере обязан был именно ему – старшему помощнику капитана Виктору Александровичу Попцову.

С виду молчаливый и непрístupный человек, он как-то неприметно сумел разобраться в происходящей со мной внутренней борьбе, и не сделал ничего, что бы могло помешать естественному ходу событий. Его неукоснительная строгость, как потом оказалось, сильно выручала меня, не делая, в тоже время, виноватым. Он был суров, но милостив, грозен, но не жесток, и, не допуская в отношении меня какой-либо потачки, будил в моей душе совесть. Если ты жив, дорогой Виктор Александрович, мир и радость твоей душе, будь своею судьбою доволен...

## МАСТЕР

Нашему «мастеру» - Михаилу Александровичу Лычику, не было и тридцати, однако он уже слыл хорошим рыбаком с настоящей мужской хваткой, пользуясь среди моряков большим уважением, и тем, кто не боялся преодолевать заведомые сложности, почему-то приключаются с судном в каждом рейсе, нравилось с ним работать. Не взирая на не совсем приятную традицию и чёрные слухи, связанные с его родным сейнером, он ни разу не изменил своему «эстэру», поскольку без риска не мыслил себе успешной рыбалки, но именно благодаря этому стремлению рисковать – за СТР «Стройный», помимо успешно перевыполняемого плана, и укоренилась недобрая слава.

Каждый раз, уходя в море, капитан показывал экипажу, управлению Невельской базы тралового флота и всем нечистым силам, как можно справиться с невезением, чем, наряду с усмешками, без которых на базе не обходилось ни одно более-менее достойное событие, вызывал к себе искреннее и глубокое уважение. Капитан не по возрасту был твёрд в принимаемых им решениях, не желая сдаваться перед какими-либо трудностями, и всегда верил в свою звезду. А между тем, звезда его ждала на берегу и в нашей истории сыграла не последнюю роль.

Именно с этим капитаном – Михаилом Александровичем Лычиком, мне довелось впервые выйти в море, о котором я ничего ещё не знал, и только через несколько лет мне предстояло понять, что так называемое невезение, якобы стабильно закрепившееся за каким-либо судном, есть ничто иное, как наилучший способ его избежать. На деле, постоянно поддерживая в себе готовность к любым неожиданностям, которые несёт с собой море, и капитан, и экипаж судна просто не допускали для него недоброго «сглаза». Глубоко осознанное и не раз пережитое состояние такой готовности, а точнее – самодисциплина, позволяло команде судна наиболее благополучно преодолеть злой рок, стихию и собственную слабость.

Судно стояло на рейде, команда рвалась в море, на добычу минтая, но у рыбаков существует традиция, по которой перед самым отходом в рейс близкие родственники имеют возможность последний раз посетить их на судне, чтобы пожелать им удачного плавания и посмотреть – в каких условиях будет находиться долгое время в отрыве от семьи их отец, муж или брат. Иными словами – близким людям рыбаков разрешалось на короткое время проникнуться морской обстановкой, прочувствовав за своего родного человека хотя бы чуточку той нелёгкой доли, которую отмеривало ему на весь рейс суровое море.

Портовые власти в этой ситуации убивают сразу трёх зайцев: из суеверных убеждений моряков на сушу обратно не пускают, пророча тем самым экипажу будущую рыбацкую удачу; дисциплину в их рядах блюдут, ибо известно – чем могут закончиться подобные увольнения на берег перед самым отходом в море; и родственникам рыбаков дают время ещё раз попрощаться, хотя бы отчасти причащая их к морской купели, чтобы попробовав, так сказать, солёной водицы, те прочувствовали – почём фунт рыбацкого лиха! С ковша к судну обычно подаётся плашкоут, близкие расходятся по каютам родных и гостят несколько часов, порой – с утра до вечера, после чего в удовлетворении возвращаются на берег, а экипаж теперь уж точно готов к осуществлению самых немыслимых подвигов.

Вот и к нашему капитану прибыла проводить его в долгий рейс подруга, он тогда ещё не был на ней женат, и оставила у него в каюте, на зеркале, надпись на память: «Я тебя люблю». Написала её ярко-красной помадой, большими толстыми буквами, чтобы, значит, наверное, он её все шесть месяцев помнил, не забывал в тяжёлые минуты своего вынужденного одиночества, и благодаря словам любимой женщины выдержал бы с честью все приключения с ним в море невзгоды. В общем, смотрел бы и заряжался недостающей энергией родного человека, будь он хоть сам капитан! Не обошлось без любви и на краю света, среди бородатых мужчин, собравшихся вот-вот оставить землю на полгода и отправиться на ловлю минтая в штормовое Охотское море. Если бы мне привелось описывать этот случай в отдельном рассказе, я бы назвал его просто – «Про любовь».

Отход судна был назначен на следующее утро, первого января. Не обращая внимания на холод, в распахнутой форменной курточке, капитан стоял наверху и отдавал какие-то последние распоряжения. Ветер раздувал его русые волосы, закидывал галстук за спину, уносил отдельные слова. Время от времени капитан исчезал в загадочной темноте рубки. Без его маленькой фигурки белая громадина эстэра казалась неуправляемой.

Но вот мотор муторно и жутко застучал, судно потихоньку развернулось, и берег плавно двинулся от нас – сначала медленно, а потом всё быстрее, так что стали видны все дома спящего Невельска, и через какой-нибудь час город вовсе исчез из глаз.

Море встретило невиданным ещё привольем и безудержной силой, так, что я долго не покидал палубы, нет-нет да выглядывая в распахнутую дверь,

но ничего особенного не происходило. Судно набирало узлы и уходило в неприятное январское море, не оставляя никаких надежд на скорое возвращение. Первое оживление спало. Кругом было море, небо, горизонт, и требовалось немало усилий, чтобы осознать всё это, постигнуть новую неведомую жизнь, на которую я решился.

С первых дней рейса я старался не выделяться, делал свою работу хорошо и не ограничивался только ею. В мои обязанности входило так же жить жизнью экипажа, неукоснительно соблюдая веками установленные законы, которые вступали в силу тотчас после отхода судна. Но многого я ещё не знал, а потому не всё и не сразу получалось.

И всё-таки я стремился соответствовать занимаемой должности матроса-уборщика, поскольку обязанностей у него было предостаточно. Прежде, чем начать свою кухонную работу в помощь кандею, мне требовалось отправиться в холодный трюм за овощами, затем, нагруженный ими, я должен был преодолеть разбитую на секции для рыбы палубу, увёртываясь от настырно обжигающих волн, чтобы, пробравшись на камбуз, встретить там гору грязной посуды, оставшейся после завтрака и извечных ночных шатаний экипажа. Наведя порядок на камбузе, я спускался в холодильное помещение нарубить мяса, а подготовив там все необходимые продукты на день, поднимался с ними наверх, где чистил пару вёдер картошки, успевая переделывать при этом невероятное количество необходимых мелочей и, разбудив кандея, принимался за тщательную уборку всего судна, начиная с кают комсостава – стармеха, старпома и капитана. Пусть простят меня читатели, поскольку перечисляя все эти многочисленные обязанности, уже описанные в предыдущих главах, я лишь хотел подвести свой рассказ к главному...

Весь первый месяц, пока мы делали пробные замёты, постепенно продвигаясь в основной район лова, надпись «я тебя люблю» в каюте капитана оставалась нетронутой. Убираясь у него, я, бывало, нет-нет да поглядывал на надпись и мысли мои невольно уносились куда-то, где не было ни ветра, ни шторма, ни изматывающей работы, а светило солнце и мне дарили улыбки красивые женщины. От подобных мыслей всегда становилось неловко, и я почему-то сразу представлял лицо подруги капитана, чем она сейчас занимается и действительно ли думает о нём. Её любовь тогда начинала казаться какой-то нереальной, особенно здесь, посреди зимнего Охотского моря, и о самом капитане у меня уже складывалось впечатление как о несчастливом человеке, вынужденном надолго оставлять свою любимую в течение всей своей жизни...

Трудно, наверное, каждый день видеть перед собой нежные слова, написанные твоей женщиной, если её к тому же нет рядом, а ты - порядком измотан. Ветры, шторма и бессонные ночи постепенно берут своё: глаза краснеют, лицо покрывает многодневная щетина, незаметно превращающаяся в бороду, и если ты всё же забываешься в коротком тревожном сне, то прямо в телогрейке, в которой совсем недавно стоял на

мостики. Жизнь твоя – нескончаемое напряжение, в котором, кажется, нет места любви.

И вот когда рыба пошла по-настоящему, и мы только успевали сдавать её на плавбазу, придя однажды утром к капитану – надписи на зеркале я не обнаружил. Видно было, что оно тщательно вымыто и протёрто, а в каюте наведён порядок. Поймав мой удивлённый взгляд, Михаил Александрович только улыбнулся серыми глазами, и, помолчав, неспешно, но твёрдо произнёс:

- С сегодняшнего дня убирать я буду сам. У тебя и так забот хватает.

Затем достал из стола початую бутылку водки, придвинул мне стакан и, налив до половины, кивнул:

- Выпей... С морским крещением тебя. Вижу – справляешься. Так держать! Но как ты к нам сюда попал? Слышал, у тебя – высшее образование...

Облокотившись о стол, он чуть подался вперёд и опять улыбнулся, весело заглянув мне в глаза.

- Вы спрашиваете, как я оказался на вашем судне?

Капитан, не прекращая улыбаться, молча кивнул головой.

- Да очень просто!

Капитан только слегка вздёрнул брови.

- Чего не предпримешь, когда тебе всего двадцать три года!

- И ты свободен, как ветер, - он опять устремил на меня свой взгляд, но глаза его уже изливали холодную сталь, отчего лицо в мгновение преобразилось, стало серьёзным. – Может, ты ещё в море с детства влюблён?

- И это тоже, - смешавшись, заметил я.

- Но только не осенью и зимой, когда свирепствует норд-вест?

- Должен откровенно сказать, что знание морского дела у меня отсутствует, но тяга к приключениям огромная.

- Призвал, значит, своё сердце, и был им услышан! Верю. Не призван – не ходи, но ежели море позвало – в нём и пребывай... Так?

- Море, наверное, моё призвание. Я это недавно почувствовал в себе.

- Счастлив человек, что может следовать своему призванию.

- Признаю за собой это право.

- Рабочего человека по рукам признать можно, но как мне в тебе, дорогой, твоё призвание разглядеть?

- Если что, петлю на себя надевать я не намерен.

- Ну, в море – горе, а без него и того нет...

- Молодость привыкла отстаивать свою жизнь. Я мечтал обо всём этом...

- Ну-ну... Бабы узлы вязать разучишься – и то хорошо! А толк из себя ты сам должен сотворить.

Я же, без всякого колебания, уже давно приступил к исполнению возложенных на меня обязанностей, и был готов совершить любой геройский поступок, чтобы исполнить волю своего первого капитана.

А он, как будто ни в чём не бывало, говорит:

- Наука наша морская – простая: море мучит – уму учит, но ты не давай боли волю!

- Бывает, конечно, тошно, да миновать уже никак не можно. Каждому, товарищ капитан, своя болезнь тяжела, но какое это учение, если от него сплошное мучение?

- Верно, свою болячку не чужим здоровьем приходится лечить, и хоть она и не велика, а спать не даёт.

- Как же быть?!

- Иному горе – мученье, а кому-то – ученье. Наука не мука, ежели понимаешь, ради чего принимаешь страдания.

- А многих тошнит на море?

- Случается, что и мне становится так сладко, что инно тошно. Но как бы море не мучило, а умирать не тошней. Про других сказать не могу: каждый сам себе господин.

- Мы когда на пробное траление вышли, из меня словно пробку вышибло!

- Сразу прорвало? Это хорошо. А то, бывает, нескончаемо тягостно подбирается это общее осоловление, нет с ним ни какого сладу.

- Но меня как-то вмиг отпустило, и сделалось так легко, и так возбуждённо-весело, что я почувствовал себя счастливым человеком!

- Но качка-то, всё-таки, не отступит: куда в море без неё? А ты её не бойся: валяет, ну, да и бог с ним!

- Мне всё это подходит!

Капитан подался ко мне, обнял за плечи, и вдруг возбуждённо воскликнул:

- Дорогой ты мой, человечиче!

За бортом что-то угрожающе заклокотало и забурлило, судно вздрогнуло, будто отойдя ото сна, по нему пробежала металлическая скрежещущая дрожь, и оно от этого, кажется, ещё более нажало, чтобы поскорее очутиться на месте лова.

- Ледишка пошёл, - торжественно произнёс капитан. – Под кем лёд трещит, а под нами ломится!

- А не опасно?

- Если бы не ледок, то где нам, рыбакам, взять удачи огонёк?! Куда одна волна лёд положит, там другая его снесёт. В самый промысловый район идём, с моим удовольствием!

А судно, между тем, мучительно, с каким-то тянущим ощущением нескончаемого подъёма, всё взбиралось и взбиралось вверх, затем, остановившись на секунду в завораживающем дух оцепенении, от чего внутри меня тоже всё поднималось и замирало, ухало вниз, стремительно

погружаясь в какую-то неведомую глубину, пока не плюхалось в бурлящие волны, чтобы через несколько секунд вновь взбираться в головокружительную высь... Это невидимое море дышало под днищем судна, и вместе с ним, мы, то тяжелея и вплющиваясь в банки под собой, то приобретая необычайную лёгкость и взлетая, теряли ощущение собственного тела, и к этому болезненному состоянию необходимо было привыкнуть.

- Ничего подобного мне не приходилось испытывать в жизни...

- От жизненных бурь нигде не укрыться, а уж в море – тем паче. Зато – сколько здесь свежести и простора... Он, как ничто излечивает от качки: дыши глубже, моряк!

- А как ещё можно избавиться от морского волнения?

- Кому-то помогает лимон пососать, а иной раз рыбки солёной пожевать захочется... Особенно – вяленой. Морская болезнь всех уравнивает, но всякий в ней на свою особинку спасается.

Один старый капитан, с которым я ещё молодым штурманом в море ходил, никогда не расставался с курительной трубкой, попыхивая ею всё время, пока бушевала стихия. Он, вообще, кажется, не выпускал трубку изо рта.

Помнится, один электромеханик, его у нас на флоте «светилой» кличут, не переносил в шторм сдавленной обстановки каюты, и постоянно прогуливался по палубе, несмотря на потоки воды, что обрушивались на неё. Я в рубке стою, смотрю сверху, как нос судна, взобравшись на волну, с возрастающей скоростью валится вниз, с уханьем погружается в кромешную морскую темноту, всё бурлит, шипит, рассерженные волны, вот-вот, слизнут нашего «светилу» за борт, а ему хоть бы что. Стоит, не двигаясь, широко расставив ноги, будто вся эта катавасия ему нипочём, и ещё улыбается при этом, всем своим героическим видом будто увещевая кругом нерешительный народ: это, мол, для вас боязное дело, а я не боюсь никого, кроме Бога одного!

- Не всем такими героями быть.

- Да, качка порой становится настолько мучительной, что сейчас, не сходя с места, хочется умереть: лишь бы только прекратилось это отвратительное ощущение потерянности, безразличия. Качка невероятно выматывает, она может длиться и день, и другой, и третий, так что охватывает полнейшее равнодушие, и лучше всего прекратить это волнение в себе таким же насильственным способом, как это выходит у моря.

- Как же это?!

- Когда уже, кажется, нет ни воли, ни желания, ни сил, в тебе должна появиться решительность: тогда ты моряк! Подумав, что невозможно обойтись без решительного поступка, - решайся на него, уже не думая. Вот и весь секрет. Всё равно, как бы тебе привелось броситься в огонь или воду для спасения человека. Только в случае с зависимостью от морской болезни, ты должен спасти самого себя.

- Так на что же необходимо решиться?

- Выйти навстречу шторму! И тогда ты почувствуешь, как крепко, свежо и радостно пахнет морским воздухом. Как он тебе, оказывается, дорог, и то, что ты переживаешь сейчас, тебе уже не суждено пережить никогда!

Слушая капитана, я вдруг представил себе, как невероятно цельно и правдиво бушующее море, до такой степени всё происходящее в нём насыщено неподражаемой красотой и силой, отчего мне и самому сразу захотелось рваться и бурлить, сметая любые преграды на своём пути к желаемой цели. Ты и море – едины, вот что я почувствовал за первый месяц плавания, и в соединении с мощью этой природной стихии стал чуточку сильнее.

- Если небесные силы хотят сделать человека счастливым, то ведут его трудной дорогой, сказал напоследок капитан.

- Лёгких путей к счастью не бывает?

- Счастье – это не конечный пункт, а нескончаемый путь. Делай то, что делает тебя счастливым, и каждый день будет приносить радость.

Никогда, наверное, не забыть Михаила Александровича Лычика – самого дорогого капитана, который был и, навсегда, остаётся для меня среди встреченных за жизнь людей первым после Бога!

Когда ты оказываешься в море, то невозможно перезнакомиться со всем экипажем сразу: каждый здесь занят своим делом. Должно пройти достаточно времени, чтобы это самое дело столкнуло тебя с кем-то из штурманов, механиками или мотористом, с матросами и капитаном, наконец, с чифом и боцманом, а о существовании на судне «маркони» - то есть, радиста, ты лишь подозреваешь, потому как за первый месяц плавания вообще его не видел... На судне, во время всего рейса, непременно должно произойти что-то особенное, когда кто-то из членов экипажа обратится к тебе с просьбой, может быть даже пожелает познакомиться, если обнаружит в этом потребность, или ты сам заинтересуешься работой тралмастера или «светилы», как называют на флоте электромеханика, и между вами возникнут товарищеские взаимоотношения. Отношения в море складываются сами собой, так обычно выходит, и это очень верно в том смысле, когда с наскоку ничего хорошего не получается, всему, особенно в море, имеет быть своё время и место, и пока оно не пришло, ты вынужден, в первую очередь, смотреть за тем, чего стоишь сам.

Но кто знает самого себя, если он, хотя бы однажды, не побывал в море? Море не научит ничему худому, оно повышает в человеке крепость и силу ответственности: в первую голову – перед твоими товарищами, ну, и конечно, перед собой. В море человек быстро осознаёт, что хлопнуть дверью у него здесь не получится, и всё, что он когда-то не ценил в своей жизни, имеет свою немалую цену.

Очень скоро ему становится ясно, что обойтись без честного отношения к себе и своим возможностям недопустимо, если хочешь добиться уважения. А что может быть более ценное, когда на полгода уходишь в море?

Разумеется, доброе отношение друг к другу, от добра худа не бывает, потому как добрый товарищ – половина дела, цену ему только в дальней дороге узнаешь...

Завоевать уважение к себе, ясное дело, не просто, так кажется многим. Но если взять за правило делать только своё дело, прежде – определив его для себя, то выйдет, как раз, тот самый честный расклад, что устроит всякого, сомневающегося в тебе человека. Нужно лишь быть честным во всём, и тогда будет нечего и некого бояться.

Ведь всё, что человеку нужно, если быть точным, у него уже есть, он об этом, чаще всего, даже не подозревает, и это – его нескончаемая, ничем не ограниченная свобода выбора, право, которым он может воспользоваться в любую минуту своей бесценной жизни, но, как правило, не делает этого... В море же подобное пренебрежение к собственной природе не проходит, человек вынужден прилагать усилие, да и до моря ему ещё необходимо добраться, набравшись мужества потерять берег из виду... А это требует немалых душевных усилий!

Так кто и как узнает самого себя, если он не совершал этих усилий на пути собственного роста? Далеко не всякий идёт к истине, путь которой сродни с головокружительным восхождением. Но даже, когда вершина близка, и ты, вроде бы, до неё почти добрался, взору открываются новые, ещё более крутые вершины и бездонные морские пространства. Откуда знать: что тебя там ещё ожидает? Наградой твоему пытливому сердцу – собственная решительная отрешённость, с какой ты приносишь в жертву всю свою жизнь, и тогда она оказывается для тебя необыкновенным благом.

Жить своей жизнью, создавая собственное бытие, единое со всей Вселенной, и означает быть самим собой: всё, что нужно человеку. Вы есть – и это уже непередаваемое счастье, ибо правдивое отношение к себе и жизни подразумевает путь к Богу. Доверяйте себе, такому, какой вы есть, этого вполне достаточно, чтобы получать удовлетворение от жизни. Для этого, конечно, необходимо бесстрашие: решитесь на него, и превратите свою жизнь в настоящее цветение.

И вот, если ты однажды, всё-таки, решился отправиться в дальнюю дорогу, преодолел и вытерпел всё на пути познания самого себя, тебе становятся понятными и море, и люди, работающие в нём. Прекрасные простые люди, что всю жизнь ходят в море, выполняют тяжёлую работу, переживают друг за друга и гордятся своим судном. Люди моря...

Сначала я думал, что самое плохое в жизни моряка – это всё время разные люди. Не успеешь узнать человека, как уже надо с ним расставаться и идти в море с другими. Немало морской водицы пришлось выхлебать мне, прежде чем я стал принимать незнакомых людей сразу и бесповоротно.

Человека, если он не один год ходит в море, распознать нетрудно, и тяжёлый характер тут не помеха. Лёгкий человек на поверку часто оказывался занудой и хлюпиком. Такой в море – что кит на пирсе, весь на виду. Долго он не выдерживает и уходит, а море неотступно следует за ним

по пятам, с шумом накатываясь на берег, слизывает равнодушно следы, как будто его и не было на самом деле.

Встреченные мной новые лица неожиданно оказались самыми обыкновенными людьми. Они были по-человечески великодушны и щедры, опасная и тяжёлая работа не сделала их жестокосердными и осторожными. Умея преодолевать себя и быть непримиримыми к трусости и лжи, они, тем не менее, могли опуститься до самого непутёвого простодушия. Впрочем, давно выработанная в себе стойкость и умение собраться в короткий миг не позволяли им достаточно опасно увлечься на этом пути.

Люди эти умели взять себя в руки, не записывая на свой счёт пустой похвальбы о неминуемом исполнении самых недостижимых желаний. Они были просто по-настоящему мудры, не ставили себе это в заслугу, и скромно и надёжно вели своё моряцкое дело. Здесь, вдали от родных берегов, это ощущалось как нигде реально и ёмко.

И я, наконец, понял, что те, кто остаются где-то там, далеко в перенаселённых городах, всю жизнь добывая не имеющие к ним никакого отношения знания и даже не пытаясь им во чтобы то ни стало следовать, неминуемо оказываются не удел, принимая свои неудачи насчёт невезения или какого-либо ошибочного поведения... Они, конечно, уповают на то, что ещё многое сумеют совершить, в этом у них не возникает никаких сомнений, и мечтают когда-нибудь непременно достичь высоких целей, но почему-то не делают этого, между тем, самым старательным образом посвящая всё отпущенное им время на что-то несущественное. На всю эту возню уходят целые годы, вместо того, чтобы с самого начала присмотреться к ценности собственной жизни, внятно прислушаться к глубоко скрытому внутреннему голосу и, открыв, в первую очередь, для себя самого свой неповторимый мир, развить его как можно талантливее. Научившись же понимать голос живущей в себе природы, человек, безусловно, познает смысл деяний единого Творца.

Без всякого страха смотрел я на развернувшееся передо мной море. В который раз открывая, благодаря его красоте и силе, что-то значительное, меня словно осеняла внезапная возможность жить там, где хочется, видеть и слышать то, что есть на самом деле, попытаться найти слова и выразить смысл всего происходящего. Море дарило убеждённости в собственных поступках, и оказавшиеся старыми новые лица с каждым разом только более укрепляли её во мне. За это я был им искренне благодарен.

## «РЫЖИЕ, РОЗОВЫЕ, ГОЛУБЫЕ»

Давно известно, что любой флот славен традициями. Традиции на флоте очень сильны, вероятно, потому, что свобода действия у моряков также традиционно ограничена. За свою древнюю историю флот претерпел немало нововведений, многие из которых, как бы нелепо они на первый взгляд не выглядели, всё же помогли одержать морякам ту или иную победу в борьбе с собственными страхами и нерешительностью.

Обычно полюбившееся новое незамедлительно облекалось в традиционную оболочку, зачастую приобретая при этом весьма неожиданные черты и свойства. Эти черты и свойства во многом изменяли первоначальный облик нововведения, не выхолащивая, однако, его действительной сути. Не угасшие и длительное время просуществовавшие в море традиции наиболее бережно хранимы моряками, потому что именно в них заключена надежда на не всегда прочное настоящее и вероятность успешного завершения плавания.

Работая в море, а ранее – много читая о нём, начинало создаваться впечатление, что без укоренившихся на флоте традиций моряки просто не представляли своё существование, и присутствовали эти традиции в их морской жизни в великом количестве. Сродни им были и традиционные суеверия, среди которых оказывались необыкновенно забавные. А сколько во имя этих суеверий было сотворено в море занимательных нелепостей, между тем избавивших от разного рода напастей, и вовсе не перечислить!

Вспомнить, хотя бы, Джошуа Слокам: совершивший на яхте первое кругосветное путешествие, сам он плавать не умел! Как и Эрик де Бишоп, отстаивающий теорию, противоположную Туру Хейердалу: он попытался совершить плавание на плоту из Полинезии в Южную Америку и обратно. До этого Бишоп плавал юнгой на корабле, ходил вокруг мыса Горн, был лейтенантом дальнего плавания, командиром минного тральщика, затем пилотом морской авиации, капитаном каботажного плавания в Полинезии и в 30-х годах прошлого века совершил путешествие из Папеэте в Канн вокруг Австралии и мыса Доброй Надежды на двойной полинезийской пироге... Но плавать так и не научился, и всё же решался каждый раз на очередное плавание! Однажды он сказал об этом так: «Я и не хотел никогда учиться. Был уверен, что как только научусь, сразу же утону после этого».

Никогда моряк не был боязливым, и тем не менее он во все времена оставался суеверным... Это начиналось уже с постройки судна. Чтобы парусник обладал добрыми мореходными качествами, для его постройки следовало употребить несколько краденых брёвен. Под мачту, перед тем как её поставить, клали золотой. Из-за соблюдавшегося прежде пятничного поста считалось предосудительным пускаться в море в пятницу... Издревле форштевни кораблей украшались изображениями зверей, которых почитали как божества, приписывая им чудесные свойства. На многих грузовых парусниках форштевень венчался вырезанной из дерева конской головой: вера в спасительное действие символа лошади была настолько крепка на

кораблях, что вплоть до начала XX века моряки охотно прибывали к грот-мачте конскую подкову.

Великое время носовых фигур наступило в XVII столетии, с началом глобального мореплавания. Испанцы, например, называли большинство своих кораблей именами католических святых, и эти святые плавали вместе с ними в виде носовых фигур. И ни один моряк не нанимался на корабль, сменивший имя и носовую фигуру.

Самой известной и традиционной легендой, которой пугали друг друга матросы, была, конечно, легенда о Летучем Голландце. В каждой стране, оказывается, был свой «Голландец», и далеко не всегда он являлся голландцем по национальности. Основанием же для этой легенды служили встречи в море с таинственно проносящимися мимо безмолвными парусниками, а также исчезновения кораблей со всей командой. За какое-то совершённое капитаном судна или всем экипажем преступление корабль и его команда оказывались наказанными судьбой и были превращены в призраков, обречённых вечно скитаться по морям. Само же название «Летучий Голландец» произошло оттого, что проклятый корабль и в мёртвый штиль мчался под полными парусами.

К примеру, какому-либо судну нельзя было пытаться обойти мыс Горн, южную оконечность Америки, в Страстную пятницу при встречном ветре, но капитан не поверил в суеверия, нарушил святой запрет, отчего и угодил в беду. Несколько дней его корабль боролся со встречным ветром, а потом исчез. И теперь, по велению небес, он будет вечно пытаться обойти проклятый мыс, спуская многие годы попадаясь морякам разных государств. Паруса давно сгнили, и лишь их клочья болтаются на мачтах, но сам капитан стоит на мостике, сжимая в зубах трубку, и по груди его стекает кровь. Если кто-то встретит такой призрак, вероятнее всего, что и ему скоро придётся потонуть. Невероятно крепки на флоте и суеверия, и традиции.

Подрастающее поколение матросов зачастую не знает даже о самых элементарных традициях на флоте, касающихся, к примеру, одежды... И чёрные ленты матросской бескозырки, свисающие с затылка, и широкий, угловато распластавшийся на плечах воротник матросской блузы – всё это следствие достойных глубокого уважения морских правил. Начало этому положил обычай удальцов с парусных кораблей носить косичку, которая закреплялась просмоленной до черноты лентой со свисающими наподобие шлейфа концами. Для того, чтобы при этом не пачкалась куртка, за спиной пристёгивался длинный четырёхугольный воротник из тёмной ткани. В один прекрасный день косички были упразднены, а воротники остались. На них только позднее появилось три белые полосы.

Проявили упорство и чёрные ленты для косичек: их закрепляют ныне на матросских фуражках-бескозырках. Они свисают за спиной матроса, как косички прежних времён, напоминая о лихой моряцкой профессии. На части ленты, опоясывающей околыш фуражки, наносятся литеры названия корабля.

Длина матросских лент иной раз была просто поразительной: их концы свисали буквально до поясницы. Это должно было наглядно свидетельствовать, что владелец лент вернулся из дальнего плавания. Также украшались и проделавшие длинный путь корабли: на фок-мачте такого ветерана развевался длиннющий вымпел.

В кругу моряков, за долгое время общения их с морем, повелось множество поверий, и одно из них, что души моряков после смерти перевоплощаются в какую-либо птицу или морское животное. Например, в черепах, как считали те, кто частенько бывали в морских походах у Галапагосских островов. Внешний облик этих животных заключал в себе отрешённый, проникнутый самоосуждением вид, которого мог быть удостоен только грешный моряк. Ни в каком ином одушевлённом теле не выражалась так очевидно извечная печаль и безнадёжность существования, как в черепахах, что, несомненно, подходило после смерти только человеку.

По другому поверью, бытующему среди скандинавских рыбаков, постоянная неприкаянность и жажда бесконечных странствий обеспечивали ушедшему из жизни моряку обличие малого буревестника или чайки, которое, по их мнению, как ничто выражало вознёсшуюся после кораблекрушения душу. Злыми ли чарами были околдованы души моряков, обернувшиеся в результате кончины в морской пучине в этих надоедливых и вездесущих птиц? А может быть в подобных перевоплощениях нужно усматривать больше романтики морских дорог, преимущественно возвышенную, склонную к мечтаньям душу? Но сколько же их безвозвратно забрало море, и главное – во имя чего? Все поверья, в том числе – связанные с морем, это, наверное, просто глубоко скрытое желание людей вернуться к своей родной стихии.

Кстати, ещё в XIX веке океанологи установили, что животные, живущие в океанских глубинах, после смерти попадают на дно и там сохраняются так, как если бы они покоились в растворе формальдегида. Изоляция от воздушной среды, высокая солёность и огромное давление на глубине, несомненно, делали распад невозможным. В царстве Нептуна рука разложения была бессильна, и даже быстро гниющие вещества, попадая на дно, спасались от тления.

Сотни лет назад моряки также полагали, что море бальзамирует трупы. И когда на борту какого-нибудь корабля или судна умирал моряк, его тело зашивали в койку /койки на старом флоте – это, обычно, подвешенные гамаки-качели/, к ногам привязывали два пушечных ядра, и затем труп бросали в море ногами вперёд. Считалось, что мёртвое тело не будет затронуто разложением, что оно будет «жить» на дне, а душа моряка, в лучшем случае, превратится в чайку.

Это было, пожалуй, одно из основных суеверий, так же как и бытующее морское выражение: «Сыграть в сундук дядюшки Джонса», что означало просто погибнуть. По английским морским преданиям Дэйви Джонс был злой дух моря, а ввели в обиход это выражение никто иные, как

пираты, выходцы с британских берегов. «Сыграть в сундук дядюшки Джонса», по тем временам, считалось делом обычным, как бы неотъемлемой и скорее даже неминуемой частью быта моряка, и потому относились к этому спокойно, даже с юмором. Суровый юмор тоже оставался для моряков утешительной традицией в их нелёгкой морской жизни.

Но вот самой забавной и трогательной морской традицией оставалась, всё же, приверженность моряков к ... земле, в какие бы дальние странствия они не отправлялись, вернее – их неистребимое желание брать с собой в море какую-нибудь живность. Бесконечные водные поля, навевающие неистребимую тоску, обезумевшие от собственного однообразия шторма, вдрызг выматывающие душу и мозг, а главное – обречённость людей на длительное существование без земли породили эту своеобразную традицию. Век технических реконструкций и ультрасовременных нововведений в корне изменил обиход моряков, заполонив каюты многоликими телеэкранами, холодильниками, кондишенами, мягкой мебелью и ковровыми дорожками, надёжно хранящими в своих ворсистых шкурах отголоски команд, топот ног, все корабельные звуки. Пришедший на флот комфорт немилосердно сравнивал старинную морскую экзотику с почти роскошной осовремененной обыденностью. Но этого представителям суровой морской профессии оказалось недостаточно: они желали бы, наверное, скорее загнуться от крысиных блох, кишмя кишачих в полуистлевших переборках, или, на худой конец, околеть на затиснутом льдами хрупком многомачтовом паруснике, но сохранить за собой привилегию на маленькие человеческие слабости.

Любознательность человека, его стремление непременно заглянуть за горизонт неизведанного, как это ни противоречиво, сильнее чувства самосохранения. Человека неодолимо тянет в дальнюю морскую дорогу, куда ему бывает просто необходимо захватить упоминание о земле. И он берёт с собой предметы, порой самые неожиданные, ничуть не смущаясь и даже радуясь своему постоянству, поскольку ничто так не дарит уверенности в себе, как способность соперживать.

Теша себя подобного рода развлечениями, моряки приближали к себе ощущения и запахи, свойственные земле. Пример меньших братьев, независимо от обстановки находящихся всегда поблизости, оказывал необходимое воздействие лучше любого, самого эффективного возбудителя. Испокон веков Богом и чёртом крещёные мореходы, уходя в море, брали на борт кошек, собак, козлов, попугаев и даже змей, совсем не считая всю эту тварь панацеей от бед. Зверье обретало на всевозможных судах приют только лишь в силу обыкновенной человеческой сентиментальности.

Правда, иногда взятые людьми в море звери могли оказать им и верную службу... Древние полинезийцы использовали в море разные способы ориентировки – по солнцу и звёздам, течениям, полёту птиц, но когда их судно окончательно сбивалось с курса, они прибегали к последнему отчаянному средству – бросали за борт ... свинью. Уходя надолго в море, они обычно грузили в каноэ с десяток свиней, в первую очередь, на случай, если

кончатся запасы еды, но главное – чтобы отыскать землю. Свиньи помогали в тех случаях, когда рулевой сбивался с курса, а поскольку у свиней особый нюх на землю и они чуют её даже за несколько десятков миль, то животное бросали в воду и наблюдали за его поведением. Если свинья начинала бесцельно кружить у каноэ, все понимали, что надежды почти не остаётся, когда же она после некоторой растерянности устремлялась в определённом направлении, у экипажа появлялась надежда. Всё зависело от расстояния до ближайшей земли, чтобы свинья не выбилась из сил и не утонула. Людям лишь оставалось плыть за своим поводырём, пока на горизонте не покажется желанная земля и молить Бога о спасении.

В смысле приверженности морским традициям, а также отдавая дань любви к родным берегам, заслуживает внимания и тот факт, что профессиональный жаргон моряков просто нашпигован названиями самых разнообразных животных, приспособленными для обозначения предметов совсем иного рода. Под «угрём» моряк понимает канат, а под «конём» - перт, трос, натянутый под реей, стоя на котором матросы крепили паруса и брали рифы. Эзельгофт – двойное кованое или литое из стали кольцо для соединения вершины мачты со стеньгой, являющейся её продолжением, получил своё название от немецкого слова «эзельхаупт» - «ослиная голова». Окон на корабле раньше не было, а были «бычьи глаза». Рыбаков называли «пикшами», червей же в солонине или сыре – «слонами». Имелись, наконец, «камбузные жеребцы» - коки, «собачьи вахты», «девятихвостые кошки» - плети, и «крысиный яд» - водка или ром. «Звериные названия» преобладали и в оценке погоды. При свежем ветре вокруг корабля плавали «белые гуси». При ветре до пяти баллов волны «лаяли», как собаки, при восьми баллах они «бодались, как бараны», а при десяти – «ревели, как быки».

И так, традиция брать с собой в море разное зверье не обошла стороной и наш эстээр, воплотив в полной мере неиссякаемую древнюю традицию. Имея на борту большущий шарообразный аквариум с чудесными рыбками, обладающий способностью не выливаться во время шторма, светло-рыжую, общительного характера псину – Чиж и самого настоящего поросёнка по кличке Чу, команда ещё раз подтвердила своё непреодолимое жизнелюбие и верность морским неписанным законам.

Светло-рыжий, с загнутым кверху пышным хвостом, пёс по кличке Чиж был всеобщим любимцем экипажа, который дружно признавал в нём своего законного члена. Чиж был совсем молодой и хитрый: любви и уважения не замечать он не мог, но виду не показывал, и каждый раз с максимальной выгодой для себя их использовал. Все это знали и всё же не могли удержаться от хотя бы ласковой фразы в его адрес.

Чиж был весь такой мягкий, живой, и морда его так симпатично расплывалась в длинной улыбке, что всегда хотелось потискать пса за загривок. Пёс не лаял и не рычал, а валился покорно на бок и, повиливая пушистым хвостом, затуманенным от наслаждения взглядом косил

исподтишка, пытаюсь до конца удостовериться в благих намерениях по отношению к себе.

Без него не обходилось ни одно дело, требующее хоть малейшего риска и сноровки. В такие минуты Чиж всегда появлялся молниеносно и начинал действовать, но суеты в его движениях никогда не было, словно пёс догадывался: главное – появиться, а возьмут его с собой обязательно. Лучшие куски с камбуза шли капитану и Чижу.

Такой невозмутимой жизнью прожил Чиж на судне около трёх лет и до того с ней пообвыкся, что даже в порту, на перестое, палубы не покидал, на местных красавиц никакого внимания не обращал, словом, выглядел последним сибаритом, вызывая тем самым непроходимую зависть у портовых кобелей и сучек. Когда начинали заводить швартовы или стравливать якорь, Чиж незаметно для всех куда-то исчезал и возникал только тогда, когда трап на берег был спущен, строп-сетка под ним закреплена, и весь экипаж, свободный от вахты, покидал борт судна.

Подобное поведение Чижа вряд ли можно было объяснить его искренней преданностью морской стихии: любое волнение, вплоть до незначительной зыби, пса неимоверно раздражало. Он сразу забирался в какой-нибудь укромный уголок и, ревниво урча на нагло переваливающиеся через фальшборт пенистые солёные волны, терпеливо просиживал в своём укрытии, пока море не успокаивалось. Скорее, здесь был замешен случай, о котором сам Чиж, наверное, вспоминал с большой неохотой.

Дело происходило на одном из островов Малой Курильской гряды. После длительной и утомительной не только для обыкновенной псины, но даже для закалённого матроса, многомесячной болтанки мастер принимает решение зайти ненадолго в пользующийся широкой популярностью среди плавающего люда порт с целью запастись свежей водичкой, кое-каким провиантом и дать ребятам передохнуть день-другой, чтобы, значит, поднять их боевой дух на должный уровень. За всю свою морскую бытность ему приходилось сталкиваться с самым разнообразным контингентом, пунктуальности он был беспримерной, и к точному возвращению на судно он всю команду давно приучил, с твёрдой уверенностью зная: к моменту отхода экипаж, вне зависимости от степени невменяемости, в полном составе будет присутствовать на борту.

Вот и тогда он также своим морским характером блеснуть не преминул: как только ноги трального, в его кованных кирзачах, матросами аккуратно от поверхности причала были отделены, Михаил Александрович приказал всем по местам стоять, со швартовых сниматься, и никто в сутолоке на отсутствие Чижа внимания, конечно, не обратил. А когда хватились – было уже поздно.

Чиж по склонности своего молодого нерастраченного организма портовой сучкой Матильдой увлёкся, обо всём на свете позабыл, и к отходу судна самым бессовестным образом опоздал. По всеобщему признанию команды, Матильда того стоила, потому как была девицей привлекательной

и к тому же не в меру развратной. Чиж, значит, на её неотразимые прелести клюнул, и нелёгкая понесла его по незнакомому посёлку. Но та же, нелёгкая, и вынесла его тугим рыжим шаром с печальным для него опозданием на пустынный причал, и от переполнявших его мятежную душу чувств Чиж в отчаянии чуть не свалился в воду.

Команда полным составом, затаив дух, наблюдала за невероятными перемещениями своего любимца, то и дело взглядывая в сторону рубки, но мастер оставался твёрд: возвращаться, согласно предсказаниям всякого суеверного люда, встречающегося и на флоте тоже, не пожелал и таким образом ещё раз всему экипажу свою непреклонную волю продемонстрировал. Жалко было, конечно, Чижа на произвол судьбы оставлять на незнакомом для него острове, но делать нечего.

Только через полтора месяца, на обратном пути, радист со светилой с большим трудом выудили Чижа из какого-то захудалого собачьего питомника. Чиж угодил в него по причине своей полнейшей беспризорщины, в то время как Матильда снюхалась с псом по кличке Аванс. От частых переживаний, нежданно-негаданно навалившихся на незакалённые плечи Чижа, тот совсем захирел, и если бы не своевременная помощь – всё могло закончиться очень плачевно. С тех пор Чижа на берег, даже в родном порту, выманить ещё никому не удавалось, и таким образом сделался он насквозь морским псом.

Но была у Чижа одна странная черта, впоследствии послужившая поводом, с одной стороны, для необузданного веселья молодой части экипажа со снисходительными улыбками стариков и, с другой, для беспросветных мучений на протяжении всего рейса старшего помощника капитана.

Навечно утвердившееся в душе Чижа желание ни под каким соусом не покидать борт судна и его довольно миролюбивое отношение к личному составу компенсировалось лютой ненавистью к прихожанам, которых пёс кусал за ноги без разбора и молча. Причём, делал он это не по характеру расчётливо и коварно, как будто сначала даже не обращая никакого внимания на свою жертву.

Пёс, обычно, тяжело вздохнув, лениво укладывался на палубу у самого окончания трапа и, уместив свою большую голову на лапы, умиротворённо закрывал глаза. Вид у него при этом был самый блаженный. Но стоило только какому-нибудь чужаку, вне зависимости от рангов и регалий, ступить на борт, как пёс, молниеносно подобравшись, неустрашимо бросался к опешившему незнакомцу прямо в ноги и, бесцеремонно прихватив того чуть выше лодыжки, уже не отпускал до тех пор, пока кто-нибудь из команды не оттащивал его прочь.

Прихожанин, понятное дело, выказывал до глубины души оскорблённые чувства и требовал заслуженного возмездия, на что опять же кто-нибудь из команды резонно отвечал, что шляться по чужой палубе без спроса никому не позволено и, мол, любые угрозы псу нипочём, поскольку

он заслуженный член экипажа и чихать хотел на всякие постановления. Ещё при этом обычно перечисляли все его достоинства и напоминали, будто невзначай, о излишней осторожности на будущее. В итоге оказывалось, что пришелец сам во всём виноват и для него же будет лучше, если он, не отходя от кассы, как говорится, попросит у Чижа прощение за содеянную оплошность. Вообще, портовое начальство уже неоднократно пыталось «списать» Чижа на берег, но неоспоримый авторитет мастера делал своё дело.

И вот, через месяц после начала рейса, к нам на судно флагман присылает капитана-наставника, чтобы тот настрой всего личного состава во главе с молодым капитаном поддержал и своим богатым опытом просоленного волка-моримана поделился.

Высадка мудрого наставника происходила глубокой ночью, под покровом непроглядной черноты, и Чиж такое знаменательное для себя событие, конечно, мимо своих зубов пропустил, потому как дрых без задних ног. Стыковка судов произошла молниеносно, и наставник, как он был поднят в физкультурном костюме, так в таком виде и сиганул к нам на борт с портфелем под мышкой. Присутствующие при этом члены экипажа ещё, помнится, остро пожалели, что Чижа в этот момент не оказалось поблизости, - больно заманчивый объект для нападения являл собой растерянный со сна пассажир.

Поселили капитана-наставника в одной из носовых кают, и для того, чтобы, скажем, пробраться в кают-компанию к завтраку, ему требовалось неминуемо продефилировать возле того места под трапом, где Чиж любил погреть бока в холодное время, потому что разделяющая отсеки переборка всегда дышала жаром машинного отделения.

Наутро наставник, как ни в чём не бывало, отправился заморить червячка, и уже было переступил через последний комингс на пути к гостеприимной кают-компании, как Чиж, ещё задолго до появления наставника почуяв чужеродный запах его физкультурных штанов и кровожадно притаившись в тёплом углу, стремглав ринулся навстречу обомлевшему от неожиданности старичку. Всё это, нужно заметить, происходило без обычных для такого щепетильного случая свидетелей, и старый покоритель морей и океанов, невзирая на свой почтенный возраст и неисчислимые перед флотом заслуги, полным ходом, без отработки, двинул обратно в каюту и не выходил из неё уже до самого обеда.

Наш мастер, так и не дождавшись в кают-компании своего наставника, был немало удивлён его странным поведением, поскольку последний за долгие годы работы на море должен был довести в себе дисциплину до автоматизма, но, решив, что тот с дороги просто отдыхает, не стал попусту беспокоить.

Не появился долгожданный наставник и на обеде, и это озадачило не только капитана, но и старпома, который, в свою очередь, предложил самочувствие почтенного коллеги немедля проверить и тут же об этом

мастеру доложить. Здесь, я подозреваю, чиф преследовал и корыстную цель: наставника, благодаря случившемуся с ним нездоровью, постараться охмурить, и себя в лучшем свете представить.

Растерянному и малость оголодавшему наставнику ничего не оставалось, как открыться во всём старпому, а тот, к своему огромному удовольствию, побожился, что старого мастера в обиду никому не даст и любыми путями, во что бы то ни стало, в кают-компанию проведёт. Ещё старший помощник убедительным образом своего коллегу заверил в несокрушимой никакими тёмными силами его дружеской поддержке, вкрадчиво при этом объясняя, что он сам пса этого терпеть не может и неоднократно об этом мастеру докладывал, что пора, наконец, на судне должный порядок навести, а то сущий зверинец развели, и никто ни за что не отвечает. И он, мол, старший помощник капитана судна, вверенной ему властью обязуется в ближайшее время беспорядок этот в корне пресечь, за что голову свою светлую на отсечение готов отдать, в противном же случае руки на себя наложит.

Словом, подобными заверениями он старенького наставника всё-таки успокоил, и из каюты в коридор за собой уже почти вытянул. Но того, так просто, голыми руками не возьмёшь, он огонь и особенно воду с медными трубами уже не раз в себе преодолел. В итоге - к успокаивающим речам старпома относится осторожно и правильно делает, потому как, тем временем, Чиж вдоль переборки к ним неуловимой тенью подбирается: вот-вот в ехидном оскале готов отвислые штаны наставника куснуть...

Чиф, завидев боковым зрением передвижения ненавистного злоумышленника, в то же время всеми силами отчаянные попытки уважаемого коллеги по отступлению в каюту старается предотвратить, ногой наглого пса в морду пихает и глазами, для пущего идиотизма, страшно поводит. На Чижа подобные действия старшего помощника влияния никакого не оказывают, а только ещё более распалют, и вместо того, чтобы, наконец, обстоятельно и вплотную чужеродным объектом заняться, пёс неожиданно чифовые портки зубами прихватывает и с невероятной скоростью начинает головой вращательные движения попеременно в разные стороны совершать.

Капитан-наставник такому раскладу, естественно, только рад: незримым броском, в считанные доли секунды, достигнув долгожданной кают-компании, он трясущимися руками на несуществующую задвижку дверь запирает, ножкой лихорадочно при этом притоптывает и дикими глазами безмолвно опешившим от несуразности происходящего матросам что-то объясняет. Те, со своей стороны, ничегошеньки не в состоянии понять, да и вмешиваться в дела начальства никто из них не желает, потому, как это начальство сам чёрт не разберёт, и в результате виноватым опять же не иначе как тебе оставаться. И уж только когда душераздирающие вопли старпома достигли наивысшей точки своего безудержного отчаяния, насквозь пронзив металлические переборки, помощь ему была оказана.

С того самого момента Чиж никого, кроме старпома, забыв даже вновь прибывшего капитана-наставника, более не замечал и, злобно затаившись под трапом, ежечасно своего неприятеля там подкарауливал. Он, по видимому, и раньше чувствовал нелюбовь чифа к себе, а теперь лишний раз в этом убедился. Чиф-великомученник перед всем экипажем тоже официально объявил, что Чижу этому паршивому суждено быть на судне только через его, то есть – старпомовский, труп, и что он эту заразу любыми путями выведет. В сложившихся обстоятельствах капитану ничего не оставалось, как удовлетворить жёсткие требования чифа, и Чиж в скором времени, на попутном судне, следующем в родной порт приписки, был под всеобщий траур личного состава отправлен.

Во время расставания, уже на борту чужого траулера, с Чижа всю гордыню как рукой сняло. Опершись передними лапами на тамбучину у кормы, он, вздрагивая всем телом и отчаянно виляя рыжим хвостом, с невыносимой тоской глядел вслед удаляющемуся судну.

Тяжёлые серые тучи равнодушно льнули к самой воде. Мокрый бесцветный лёд, задевая поржавевшие бока траулера, жалобно поскрипывал. Три силовых гудка, поочерёдно повиснув в тоскливом пасмурном воздухе, медленно растаяли.

Судно уже исчезло в тумане, а команда ещё какое-то время неловко топталась вдоль борта. Всем было очень жаль Чижа и как-то одиноко. Особенно переживал старший механик: Чиж был его главным любимчиком, потому что он сам его щенком на судно в хозяйственной сумке приволок, выходил, выкормил и всяким морским командам обучил. Чиж, в свою очередь, рядом с каютой деда под трапом поселился, поначалу только его одного признавал и, быть может, именно поэтому своё недружелюбие по отношению к незнакомцам каждый раз выказывал. Очень больно было стармеху с Чижом расставаться, и простить такую обиду чифу он, конечно, никак не смог...

Вахта старпома на всех судах, независимо от назначения, класса и устройства, официально морским уставом установлена продолжительностью в четыре часа через восемь, ежедневно с двенадцати до четырёх. Безукоризненно следуя заведённому распорядку, чиф каждый день, после обеда, ровно без пяти минут двенадцать покидал кают-компанию и не спеша поднимался по трапу на мостик, где в ожидании скорого принятия вахты со вкусом выкуривал первую послеобеденную сигарету. Но с тех пор, как Чиж покинул борт нашего судна, а старший механик воспылал к чифу вполне справедливым, на его взгляд, возмездием, количество послеобеденных сигарет, потребляемых старпомом, значительно возросло.

Когда, преисполненный служебного долга, чиф, забывая при этом обо всём на свете, устремлялся вверх по трапу, там его уже поджидал дед. Артистично выдержав необходимую паузу, он вдруг выскакивал откуда-то снизу и с остервенелой рожей принимался, бесподобно подражая своему оскорблённому любимцу, залиvisto тьявкать, рычать, издавать

умопомрачительные, холодящие кровь звуки, не на шутку норовя ухватить старпома за пятки. Ничего не подозревающий старпом, естественно, сначала бледнел, цепenea от охватившего всё его существо ужаса, затем, непроизвольно приседая и растворяя рот, издавал неудержимый вопль души, глаза его стекленели, и через какую-нибудь секунду, в таком идиотском виде, он появлялся на мостике. Там до него, конечно, доходило, что пса на судне, никоим образом, быть не может, и налицо - явные проделки старшего механика. После чего возмущённый чиф строчил очередную докладную мастеру, где излагал своё непозволительно пошатнувшееся в экипаже положение, требуя немедленно оградить себя от злостных и несправедливых нападков не в меру разошедшегося бескультурщины-деда, а то он, старший помощник капитана, за себя, и более того – за сохранность судна, не ручается.

Мастер отечески журил своего не по возрасту разыгравшегося стармеха, но поделаться ничего не мог. Обида деда была настолько велика, что он, несмотря на капитанские предупреждения и своё солидное положение, в определённый час неизменно занимал боевую позицию и, особо не утруждая себя разнообразием способов устрашающего налёта, по садистки планомерно изводил несчастного старпома. Чиф в постоянных заботах, конечно, забывал о грозящей ему опасности и, как мальчишка, попадался на бесхитростный трюк деда, каждый раз хватаясь при этом за сердце и, отупело охая, в страдальческом бессилии заводя глаза под давно не мытый мною подволок. Настроение деда от этих экзекуций заметно приподнималось: наслаждаясь мучениями чифа, он довёл свою необузданную деятельность до ювелирного совершенства, и только категоричное вмешательство капитана-наставника с мастером избавило старшего помощника от верного инфаркта.

За всей этой историей команда совершенно выпустила из вида ещё одного представителя животного мира, по воле случая получившего приют на судне, и, наверное, именно по причине исчезновения пса так неожиданно возник интерес к нашему маленькому, чудосочному поросёнку.

Нельзя сказать, что этот поросёнок успел совершить в своей короткой жизни что-либо полезное – такое, за что всему экипажу пришлось бы заслуженно им гордиться. Просто нашему радисту, в союзе с третьим штурманом и тральным, пришла под новый год отчаянная идея естественного воспроизводства ценного мясного продукта на борту судна, то бишь - во время плавания. Понятное дело, идея эта пришла в не совсем трезвые головы, а учитывая и без того буйное воображение всех троих, приобрела через короткое время, нужно сказать, мировые масштабы.

Дело встало за соседкой радиста, старухой Капанилихой, давнишней его собутыльницей, известной всему посёлку своей несокрушимой страстью к самогоноварению и выращиванию на дому легендарных свиной-медалисток. Дружно было решено причастить старуху к столу выдавших виды мориманов, и по сходной цене сторговать у неё пару животных для будущего племенного стада.

Вопреки известной всем русской пословице, проруха на сей раз миновала бывалую старуху, а заломленная ею цена даже на некоторое время отрезвила неустрашимых покорителей морских просторов. В свою очередь, исправно подливаемый радистом в рюмку Капанилихи самогон, ею же самой, со всею строгостью, приготовленный, должного действия так и не возымел, и с немого согласия всех троих выбор был остановлен на трёхмесячном поросёнке мужского рода, которого проворотливая соседка радиста тут же им в прихожую и подпустила.

Радиста звали Иваном Петровичем. Обнаружив на следующий день, поутру, у себя в квартире неокормленное животное, он долго переживал приключившуюся в доме метаморфозу. С помощью соседки кое-как восстановив в памяти бурные события прошедшей ночи, Иван Петрович даже несколько поначалу растерялся, но после предложенной ему на опохмелку чарки воспрянул духом и, прихватив с собой несчастного поросёнка, незамедлительно отправился к причалу.

Судно уже находилось под паром, и поросёнка, до прихода на борт мастера, быстренько запихнули в тёмный трюм, так что о существовании его знали только посвящённые, и чем эта затея могла закончиться, никто в то время с достаточной ясностью не ведал. Как впоследствии оказалось, старуха и здесь нарезала всех троих, всучив изрядно захмелевшим морякам недоношенного поросёнка, но с пьяных глаз этого никто не разобрал. Со слов третьего штурмана было только известно, что поросёнок во время рейса должен быть откормлен до неузнаваемых размеров и в экспедиции безжалостно съеден.

Прозвище своё поросёнок обрёл на второй день плавания, когда боцман, с глубочайшего похмелья, в сопровождении матроса Редунькова отправился в трюм в поисках верёвочного кранца. Именно тогда, чуть ли не нос к носу столкнувшись с поросёнком в липучей темноте, Фёдор Фёдорович произнёс сакраментальную фразу, благодаря матросу Редунькову тотчас облетевшую судно. Завидя перед собой силуэт неизвестного существа, боцман, отмахнувшись рукой, с присущей только ему гениальной краткостью обронил: «Чу!». Причём, повторил свой словесный шедевр неоднократно.

Сказанное Фёдором Фёдоровичем могло лишь означать: увиденное им ни в какие здравые рамки не укладывается, и он сам находится в полном замешательстве, что боцман незамедлительно и продемонстрировал, бухнувшись в лёгкий обморок от переполнявшего всю его растревоженную душу впечатления. Матрос Редуньков, сбегав к старшему помощнику капитана, заведовавшему аптечкой, сунул боцману под нос склянку с нашатырём и от волнения её расплескал, за что, естественно, впал к чифу в немилость. Капитан благодаря докладной записке уставника-старпома прознал о готовящемся на судне факте произвола и был до глубины души возмущён, что всё происходило без его, капитанского ведома. В общем, история завершилась чуть ли не со скандалом, а радисту был вынесен строгий выговор.

Единственным существом на судне, кто извлёк из всего этого хоть какую-то маломальскую выгоду, оказался, как ни странно, поросёнок, потому как, во-первых, был наречён собственным именем, во-вторых, официально зачислен на довольствие и, наконец, в-третьих, приобрёл немало друзей. Конечно, поросёнок даже и не подозревал о всех переменах, связанных с его обнаружением, и потому к всеобщему оживлённому вниманию в свой адрес относился вполне безучастно.

Поросёнок Чу был всегда грустный и задумчивый. Обычно он стоял неподвижно на дне влажного трюма, тихо шевелил смешными длинными ушами, да время от времени вздыхал розовым подтянутым животом. В такие моменты мне становилось нестерпимо жаль бедное животное, которому была уготована такая незавидная судьба, и я приносил ему вкусные картофельные и капустные очистки. Поросёнок, встряхнув ушами, неловко подходил к угощению, и, вяло потыкавшись в него пяточком, отворачивал голову в сторону: после жесточайших зимних штормов он окончательно потерял аппетит, и уже, ничто, казалось, не могло его обрадовать.

При появлении на море волнения поросёнок душераздирающе не визжал, как это случалось раньше, сидел в трюме спокойно, и даже, вроде бы, привык к своему постоянному раздражению. Он только неприкаянно, и очень неудобно для себя заноса вперёд худой зад, ковылял по палубе из угла в угол, а устроившись где-нибудь в укромном месте, неприметно затихал.

К штилю поросёнок Чу относился так же равнодушно, как и к ежедневным остаткам обильного матросского харча, вываливаемого к его ногам. Отупелый от постоянного одиночества и темноты, Чу не вскакивал на ноги, даже когда крышка трюма открывалась и в затхлый холод проникал ослепительный свет. Поросёнок, по-собачьи лёжа на боку, не поднимая морды, косил мутным взглядом в белое открывшееся пространство над головой и, не переставая тяжело вздыхать, неровно поводил волосатыми боками. За три месяца своего морского путешествия он незначительно прибавил в весе, зато неимоверно вытянулся в длину и оброс волосами, как настоящий дикий кабан. Рыжая с чёрными подпалинами шерсть лезла из него во все стороны, и от этого он стал выглядеть особенно жутко.

Оказавшись внизу, я всегда старался быстрее оттуда убраться: какое-то неясное чувство неприязни охватывало меня при виде его захудалой, беспомощной фигуры. Наверху это чувство проходило, и я продолжал относиться к поросёнку жалостливо, по большей части вовсе стараясь не думать о нём, как будто его и не было. Но, спускаясь в очередной раз в трюм, мне, так или иначе, приходилось вновь сталкиваться с ним, и неустроенность животного по-прежнему не давала покоя. Поросёнок привык постепенно к нашим частым встречам и вскоре вообще перестал обращать на меня внимание. Он, похоже, даже презирал меня, молча, на расстоянии, и это задевало.

Я знал, что большинство экипажа только и ждёт подходящего момента, чтобы разделаться с бедным поросёнком, тем более, что плавание незаметно

подходило к своему концу. Чем ближе подступало его завершение, тем дороже для меня становился этот поросёнок. Я и не заметил, как сам стал оживать в безответных беседах с Чу, часто ловил себя на мысли, что думаю о нём, - как он там один, в темноте, со своим бестолковым и хрупким пониманием окружающего. В такие моменты мне хотелось чем-нибудь помочь ему, и, захватив заранее припасённую кормёжку, я отправлялся в трюм, включал свет и, усевшись на какой-нибудь тюк, неподалёку от поросёнка, смотрел, как тот с неохотой, без всякого аппетита пожирает принесённое угощение.

«Вот было бы здорово вытащить его к свету, солнцу, к какой-нибудь медлительно несущей свои воды речушке! - думал я. - Чтобы Чу мог порезвиться, пощипать зелёной травки, поваляться на вольном просторе. Ведь он ещё ничего не видел и даже не представляет, что есть на свете такая земля. Причащённый волей несуразного случая к этой солёной купели, Чу, кажется, так и не привык к суровой обстановке, и через свои сплошные мучения глубоко тоскует, не понимая, что всё это означает и когда этому наступит конец»...

Через несколько дней я вдруг с радостью отметил появление на судне своих явных приверженцев. Сначала третий механик подозрительно зачастил на палубу, то и дело шныряя по ней шаркающей походкой с развёрнутым и сверкающим на солнце, как сабля янычара, щупом для проверки уровня масла в танках. За ним последовал неугомонный светила, который давно уже спал не раздеваясь, а заслышав тяготно взвизгивающий и надсадный гул лебёдки, сломя голову летел первым делом на выход к своему порядком искорёженному за рейс детищу. У меня начинало складываться впечатление, что делает он это умышленно – с затаенной надеждой лишний раз покрутиться неподалёку от трюма или даже посидеть на его крышке, вроде бы, наблюдая за работой непослушных механизмов.

В момент починки трала боцман требовал крышку трюма держать постоянно открытой, чтобы, значит, выражаясь его нерукотворным лубочным языком, - «во христову бога душу мать новёные сетя, прямком, за усища, имать, и опосля хвостьями у передь себе уторкивать». При этом, будто ненароком подковыляв к распахнутому трюмному пространству, Фёдор Фёдорыч перегибался через комингс и, буркнув нечто несусветное в зияющую темноту, норовил ещё стрельнуть в неё сморщенным окурком. Прodelывал он всю эту операцию, ясное дело, из гольного любопытства, но виду не показывал и достоинства необходимого не терял.

В первых мартовских числах установились тёплые, солнечные дни, и было решено вытащить поросёнка наверх. Для этого приспособили кусок прочной японской дели, подвешенной на крюк. Поросёнок быстро освоился с непривычной для него процедурой. Дело облегчилось и тем, что, как только матросам удавалось подсунуть сеточку под поросёнка и поднять его в воздух, он растерянно замирал, растопырив все четыре ноги в стороны, и лишь

изредка похрюкивал, выявляя, таким образом, скорее недоумение, нежели неудовольствие.

Оказавшись на палубе, поросёнок, сперва, долго стоял неподвижно, уставив свои маленькие глазки прямо на солнце, причём, свет на него, по всей вероятности, не произвёл никакого впечатления, потом, зашатавшись, медленно брёл к борту, стучался об него головой и только тогда несколько оживлялся.

Осторожно комментируя происходящее, команда с затаенным духом наблюдала за передвижениями поросёнка, а тот, никак не реагируя на всеобщее внимание и ничуть не смущаясь, как-то стянул с аккуратной прилаженной старпомом подставки его сушащийся ботинок и с самым серьёзным видом принялся обнюхивать его. Он лизал его со всех сторон, лазал ногой внутрь, долго там шарил и, ничего не выловив, совал в башмак как можно глубже пяточок, фыркал в нём, время от времени озабоченно похрюкивая. Неожиданные действия поросёнка вызвали неопишуемый восторг экипажа: от невыразимого удовольствия дико тараща глаза, гримасничая и залихватски улюлюкая, все подзуживали Чу быть более решительным в отношении ненавистного ботинка.

Однако были дни, когда поросёнок почему-то не желал, чтобы его поднимали на воздух. Подозрительно наблюдая из тёмного угла за чьими-либо приготовлениями, он каким-то образом угадывал, что к нему подходят не просто так, а именно с намерением вздёрнуть на сетке, и, подпустив поближе, неожиданно пускался наутёк. Поймать его в полутёмном, загромождённом ящиками и бочками трюме, было не так-то легко.

Прогулки на свежем воздухе сделали своё дело: поросёнок окреп, тело его налилось жизненной силой, и относиться теперь к нему следовало как к настоящему животному. При моём появлении в трюме, Чу теперь уже не забивался затравленно в угол, а норовил прижать меня самого к стене, самым недвусмысленным образом требуя еды, причём, в неимоверно возрастающих с каждым днём количествах. Завидя меня, он издавал восторженный визг и со всех ног бросался в мою сторону, почти выбивая ведро из рук и принимаясь жадно, без разбору, наяривать челюстями.

Вид безудержно гуляющих в нескольких дюймах от моего незащищённого колена челюстей вызывал в душе противоречивые чувства. Я никогда не питал слабости к семейству свиней, хотя порой не в силах был устоять от очарования и беспомощной непосредственности только что появившихся на свет поросят. Зная, что всё обаяние и прочие личные качества любого свинтуса с возрастом улетучиваются, я старался держаться с Чу несколько настороже, и, надо заметить, не без оснований.

В считанные секунды покончив с трапезой, пару раз удовлетворённо хрюкнув, поросёнок опускал перемазанное рыло к палубе и, выжидающе нацеливаясь неприятными маленькими глазками мне на ноги, застывал так на какое-то время. От этого безмолвного внимания и его устрашающего вида становилось жутко. Из захудалого поросёнка он уже давно превратился во

взрослого поросё, обросшего рыжеватой жёсткой шерстью и невероятно раздавшегося в боках и холке, а чётко обозначившаяся ядовитой ухмылкой, от уха до уха, полость рта с завораживающим откровением оголяла здоровенные зубы. В такие минуты и без того скудный свет мерк вокруг меня, наполняя трюмную тишину заповедными лесными шорохами, и свирепый секач-пятилетка с девятидюймовыми клыками выходил на свою охотничью тропу, пробуждая во мне мирового рекордсмена по прыжкам в высоту.

Тут уместно будет заметить, что зубов у свиньи – сорок четыре штуки, и двенадцать из них – резцы, что выступают наружу. Ещё у неё имеется четыре клыка, они большие и острые, и помогают свинье справляться с огромным количеством пищи, а также – отбиваться от других свиней и хищников. И потому я с каждым разом я всё опасливее относился к попытке Чу вступить со мной в непосредственный контакт, так как в назначенный час он уже нетерпеливо поджидал меня у самого трапа. По виду его можно было решить, что мы не виделись долгие годы, и все они были для него пустыми и безрадостными. Яростно повизгивая и без усталости шоркаясь боками о подвесной трап, так что стоять на нём с ведром в руках, да ещё в волнение, было небезопасно, Чу, казалось, буквально упивался встречей.

Я осмотрительно спускался лишь на несколько ступенек, переправляя поросёнку еду на принаитовленном к ведру конце, сам, к своей радости, оставаясь в неприкосновенности. Постепенно меня даже стала забавлять собственная недосыгаемость, и если бы в трюм поселили только что выловленного в дремучих лесах неукротимого вепря, мне бы и тогда, наверное, всё было нипочём.

Продельвая однажды очередной фокус с кормлением, я зазевался и нечаянно уронил кепку. Подарок Семёныча был мне дорог, обойтись без него я никак не мог, и, собрав остатки воли в кулак, я предпринял свой рискованный спуск.

Множество слышанных от кого-то или самим прочитанных и до холодящего ужаса пробирающих сердце сюжетов с участием одичалой свиньи – пожирательницы людей, устрашающе замелькали перед глазами... Свинья со вкусом пожирает у разбитого деревянного корыта своё только что принесённое потомство, получая при этом необычайное наслаждение... А вот озверевший боров справляется с жалкими останками ненароком задремавшего неподалёку нерасторопного фермера... Или ещё виделась груда розовых нежных косточек – всё, что сохранилось от несчастного ребёночка, неосмотрительно оставленного родителями без присмотра... В общем, в голову лезла разного рода чертовщина, от которой волосы становились дыбом, и предпринимать что-либо решительное у меня не было малейшего желания.

Исподтишка наблюдая за ненасытно чавкающим животным и стараясь не допустить лишнего шума, я уже почти достиг цели, как вдруг щёлкнул наверху выключатель, с безучастным лязгом захлопнулась крышка входного

люка, и всё погрузилось в темноту. Первым желанием, тут же остро охватившим всё моё существо, было, как можно громче, заорать. Но затем я сообразил, что произошедшее, конечно, не обошлось без участия третьего штурмана на пару с радистом, и те только и ждут сейчас моего сумасшедшего вопля, чтобы от души повеселиться. Подобные развлечения, считал третий штурман, очень хорошо снимают накопившееся в рейсе напряжение, а поскольку доставлять им такого удовольствия не хотелось, я, что было сил, зажал руками рот и, забравшись с ногами на какую-то липкую бочку, поклялся убить обоих тотчас, как выберусь на свет божий.

Сидя с вытаращенными глазами, в крошечной темноте, я прислушивался к каждому шороху, пытаюсь определить, чем сейчас занят мой подшефный. Тот изредка пофыркивал, кровожадно поводя при этом челюстями, и так же ненадолго замирал, как будто выжидая что-то для себя. Немыслимых размеров свинья, прижавшая перед нападением уши к затылку, целится перехватить хрупкое человеческое горло – это была, пожалуй, единственная картина, которая в самых живописных красках стояла в тот момент перед моими глазами.

Вконец обезумев от дурных мыслей, я предпринял необдуманную попытку вырваться из кошмарного плена, и в залихватском прыжке преодолев, как мне представлялось, довольно небольшое расстояние до трапа, к своему удивлению его там не обнаружил. Сей неожиданный выпад был, по-видимому, воспринят кабанчиком как вызов: он часто и взволнованно захрипел, мелко засучил копытцами в моём направлении и, бесцеремонно поддав головой под коленки, ошалело закрутился на месте... Не придумав ничего лучше, я наградил поросёнка увесистым пинком в бок, отчего тот так взъерепенился, что я уже не помню, как пронёсся в противоположный угол, укрывшись там в импровизированной засаде. Казалось, что всё это происходит не со мной...

Если кто-то думает, что обыкновенный домашний кабан, помещённый в экстремальные условия, не может заменить образцовую розыскную собаку, то он очень глубоко заблуждается. Никакие земляные орехи и луковицы на свете не могли бы сейчас увести со следа моего ощерившегося противника. Жадно поводя своим отвратительным, всё ухватывающим и чувствующим рылом, Чу безошибочно приближался, и в голове у меня вдруг вспыхнула мысль о том, что человек для удовлетворения своих гастрономических запросов выбрал не лучшее животное создание. Между тем, ненавистный кабан уверенно продвигался вперёд, сводя до минимума площадь предстоящей охоты.

Покоряясь своей судьбе и отчасти обуреваемый паникой, я в отчаянии решил напоследок разрядить сложившуюся не в свою пользу ситуацию геройским поступком: взяв на прицел предполагаемый загривок приближающегося животного, я коршуном бросился на него. На деле же оказалось, что железной хваткой я сомкнул руки вокруг ... свинячьего зада, после чего принялся проделывать головокружительные кульбиты,

неотступно следуя за взбесившимся свином. Каким-то образом я ухитрился не разжимать пальцев, в то время как поросё, повернув голову и не в силах до меня дотянуться, всюю лязгал челюстями и брызгал липкой слюной, обрабатывая мои ноги острыми копытцами.

Внезапно он прекратил противоборство и принялся издавать чудовищные, душераздирающие вопли. Кабан орал благим матом вплоть до той минуты, пока меня не осенило, наконец, ослабить хватку. Некоторое затишье, по-видимому, послужило сигналом наверху: крышка люка медленно отворилась, пронзительно-жёлтым светом вспыхнула лампочка, и в отверстие склонились побледневшие, испуганные лица. С участием глядя на мою растерзанную фигуру, они, вероятно, уже не сомневались в потере мной рассудка...

Конечно, человеку в жизни приходится нередко иметь дело с более серьёзными и достойными испытаниями, но подобного рода эмоциональные встряски и далеко заходящие шутки, несмотря на последствия, составляют, порой, чуть ли не главную основу необходимого душевного здоровья. Особенно – в море. Длительное отсутствие земли могло бы породить у многих поколений моряков обременительные комплексы и извращения, если бы не спасительное чувство юмора, благодаря которому каждый, хотя бы относительно, мог разрешить свои проблемы. Наваливающаяся на плечи тяжесть изнурительной работы, всё чаще подступающее по ночам одиночество, безымянная тоска с пустотой были более частыми гостями, чем безмятежные солнечные дни, и тогда незамысловатая игра с животными, высмеивающая маленькие человеческие слабости, опять приходила на помощь, и все неприятности исчезали куда-то, уступая место добрым мечтам и надеждам.

В минуты отчаянной усталости я обычно усаживался возле нашего аквариума, наблюдая за плавными, усыпляющими движениями диковинных рыб. Какие-то неясные миры передвигались в моём сознании, кружились пёстрым колесом, сверкали и дурманили, когда в кают-компани воцарялась неестественная тишина, время замирало, и мир чарующих сказочных существ неслышно возникал перед глазами.

Словно выплывая из неведомых морских глубин, рыбки выглядели загадочными, со слабым серебристо-лиловым отливом... Но попав в полосу искусственного освещения, становились ярко-жёлтыми, играя различными оттенками – от золотисто-огненного до медно-красного, в зависимости от того, под каким углом их чешуйки отражали световые лучи.

Быть может, наиболее поразительной особенностью этого аквариума было то, что всё в нём производило впечатление необычайной лёгкости. Даже каменные украшения на дне, какими бы тяжёлыми они ни были в действительности, имели воздушный вид. Ощущение лёгкости постепенно передавалось и мне, и я начинал чувствовать себя более живым и покойным. Далёкие, ещё не изведанные границы собственной судьбы неудержимо манили, звали к себе, и всё это происходило за неисчислимы доли секунды,

которые были так сладостно хороши, и их дарили маленькие голубые существа, под чьим таинственным и робким знаком мы оказались в лучшее для нас время и в лучшем месте.

## « ПОД ЗНАКОМ РЫБЫ »

Бесконечность моря необозрима, но с этим постепенно свыкаешься, несмотря на то, что тайны, заключённые в нём, не перестают возбуждать твою любознательность. Тайн, порождаемых морем на протяжении всего плавания возникает очень много, и всё же они не надоедают, а приносят чувство глубокого удовлетворения.

Мы шли вдоль безжизненных берегов Курильской гряды, и каждый, наверное, испытывал при этом сложное, почти необъяснимое чувство, как это всегда бывает при виде чего-то прекрасного и неведомого. Белые вершины гор, глубокие и узкие ущелья, в которых светились на солнце водопады, курящиеся вулканы невидимым прикосновением трогали сердце и неотступно манили, открывая за каждым мысом ещё более загадочные картины.

Никто не выходил встречать проходящие суда, никто ещё основательно не жил на этой земле, кроме немногочисленных племён айнов, уже давно исчезнувших с её лица... Редкие приморские городки и посёлки на нескольких островах, что были основаны русскими людьми после войны с японцами, казались незаметными, их как будто и не было. Курильская земля была пустынна, таинственна, но тверда своей скрытой силой и неосознаваемой красотой. Казалось, древние духи витали над застывшими в суровом молчании пиками гор, и, должно быть, их не следовало тревожить.

Все зачарованно смотрели на проплывающие за бортом горные цепи, величественно и нескончаемо громоздящиеся у горизонта, на отражающиеся в тяжёлой океанской зыби снежные вершины, и каждый, наверное, опять же благодарил Бога за то, что тот уже однажды предоставил ему и дом, и любимых людей, и дорогую его сердцу сушу. Но каждый, в то же время, должен был признаться самому себе, что отныне и эта дикая земля, так волнительно тронувшая его душу, помимо воли стала ему родной навеки.

Горы выросли сразу из таинственной бездны, потому что пенистый след штормового наката чуть видимой в бинокль полосой охватывал обрывистые берега. С гор дул ветер и приносил запах льда, а шум прибоя не был слышен. На фоне отливающих голубизной склонов изредка возникал хрупкий силуэт чайки. Чайка, не взмахивая крыльями, уверенно парила в пронизанном чистотой пространстве, и была удивительно свободной в своём полёте, вот именно сейчас представляющемся человеку вполне достижимым...

Под нами, на глубине нескольких тысяч метров, тоже проплывали горы, ущелья и бесконечные впадины, завораживающие своей неизведанностью. Эхолот вычерчивал в торжественной тишине их обрывистые склоны и размытые вершины, и тайны другого, более чужого мира, так же заманчиво роились в недоступном кромешном мраке.

Заворожить человека может любой мир, если он остался для него пока недосягаем, в том числе – и подводный, и человек, вопреки самой

безупречной и удобной для него логике, непременно пренебрежёт всеми земными благами, что бы только на шаг подступиться к раскрытию не дающей ему покоя истины. Ведь его философский ум не может не принимать того положения, в котором он оказался: ясно осознавая свою временную отторгнутость от земли, человек стремится возвратиться к ней, не пренебрегая на этом пути самыми притягательными тайнами этого удивительного мира.

Одной из них является постижение человеком секрета счастья. Моряки утверждают, что самый верный путь к нему – это увидеть зелёный луч. Если день выдался достаточно погожим и солнце низко-низко садится в синие волны, то иногда, в момент, когда оно совсем исчезает, на линии горизонта вспыхивает и несётся над водой вместе с последними оранжевыми лучами крохотный зелёный огонёк. Он летит весело, без напряжения, через всё небо, трепеща и переливаясь зелёными крылышками, словно ожидая, что его вот-вот увидят, навсегда запомнят этот краткий миг и оставят при себе. Тогда зелёный луч сможет принести подлинную удачу.

Всё необъяснимое, из ряда вон выходящее, как ни странно, воздействует на умы людей наиболее существенно. Определённая предубеждённость к необычным вещам, конечно, присутствует и нередко удаляет от понимания истинного, но даже вполне научное объяснение такого физического явления, как зелёный луч, не может умалить очарования древней загадки. И люди, достаточно ясно отдавая себе отчёт в этом, тем не менее, будут часами сторожить неповторимый миг счастья, а, не увидев его, ни за что в этом не признаются. Более того, они с присущей в подобных случаях энергией примутся утверждать, что луч действительно возник над морем, такой зелёный, маленький и яркий, и он так сладостно дразнил их своей близостью, что они от счастья позабыли обо всём на свете.

Но зелёный луч всё-таки можно увидеть, если этому способствовало стечение некоторых обстоятельств и тебе повезло. Во-первых, поверхностные синие слои воды должны быть чисты от разного рода взвесей, то есть – фито-и зоопланктона. Во-вторых, небо непременно должно оставаться безоблачным, а атмосфера – ясной... Благодаря этому заходящее солнце не окрашивается в багровый, алый, малиновый или оранжевый цвета, как будто рассеивая и ослабляя свои лучи во всех его переливающихся оттенках, находясь в цветовом отношении целостным, насыщенным ярко-золотистым сочным светом. Солнце, полностью закатываясь за горизонт, и в какой-то момент оказываясь со своей стороны под определённым углом к нашему глазу, чтобы попасть в него, неминуемо пронизывает синюю толщу воды... И тогда, при полном слиянии чистой синевы и ярко-золотистой желтизны, образуется эта самая долгожданная зелень, которая может при определённых обстоятельствах образовать и несколько лучей, вырывающихся будто из-за края земли, вернее, прямо из воды. От этих же, именно таким образом складывающихся обстоятельств зависит и продолжительность зелёного луча...

Но вот земля совершает ещё один невидимый шаг, мгновенно всё покрывает собой ночь, и только что вспыхивающий над морем луч уже начинает казаться чем-то нереальным, чего и не было вовсе, а только на краткий миг представилось. Но от этого он не становится менее прекрасным, и ты не устаёшь назавтра опять вглядываться в очередной закат над морем, надеясь вновь увидеть это маленькое морское чудо.

Впрочем, не ограничиваясь только устремлениями к собственной лучшей доле, человек ещё желает постигнуть и секреты рыбного царства. Рыбы столь же многочисленны, как и звёзды на небе, и разнообразие их поразительно. Во времена, когда рыбы имели костяной панцирь, все они, вероятно, были на одно лицо. Сейчас же любому известно, что своей неповторимостью рыбы могут поспорить с птицами и цветами.

Среда обитания рыб, во множестве подстерегающих их там неожиданностей, подарила им удивительную и не превзойдённую никакими другими представителями животного царства способность менять «ливрею». Один из обычных способов камуфляжа состоит в том, что рыба сливается с фоном.

Для всех океанских рыб характерны тёмная спина и светлое брюхо. Белое брюхо снизу нелегко разглядеть на фоне освещённой солнцем поверхности воды. Если же глядеть сверху, то спина сливается с морем и тёмным дном. Такое двухцветное одеяние как нельзя лучше подходит для жизни в открытом море.

Здесь нет нужды в кричащих, пёстрых красках и быстрых сменах маскировки. Обыкновенная тихоокеанская сельдь всегда одета в неизменное сине-зелёное платье, а минтай вторит ей голубовато-серым, строгим фракком.

Издавна повелось с морем связывать молчание. Но рыбакам давно известно, что под видимым спокойствием морской поверхности стоит сущий бедлам. Подобно людям, рыбы невольно восклицают, испытывая страх, печаль или недовольство, когда питаются, собираются в стаи или же пытаются отыскать верную дорогу.

Рыболовы наших дней взяли на вооружение многочисленные «Омары» и «Палтусы» - чувствительные акустические приборы, позволяющие отыскивать рыбный косяк в любой толще воды, причём принцип работы такого устройства основан на природе самих рыб. Сигналы – звуковые волны, издаваемые рыбой, наталкиваются на предметы, попадающиеся на пути, и, отражаясь от них, принимаются рыбами обратно. Рыбы благодаря отражённым волнам получают необходимую информацию и даже, кажется, способны почувствовать расстояние до того или иного предмета, каким-то таинственным своим механизмом определяя время, за которое издаваемый ими звук вернулся назад. А поскольку рыбы, избегая ненужных неприятностей, как правило, перемещаются огромными косяками, это совершенно облегчает задачу эхолота, призванного человеком на вооружение для неминуемого рыбоубийства.

Промысловики всегда поступали так, и даже явная незащищённость рыб не могла их остановить. Несмотря на это, рыбы никогда не плачут, потому что морская вода, постоянно омывающая орбиты их глаз, очищает их от посторонних предметов, заменяя веки и слёзы. Серебристые обитатели морских глубин слишком малы, чтобы выразить человеку своё крайнее недовольство, подобно сильным китам, выбрасывающимся на отмель. Но безмолвное выражение протеста вповалку лежащих на палубе и тихо шевелящих жабрами рыб более чем красноречиво.

Рыбы очень чувствительны и способны осязать всей поверхностью кожи. Свободные нервные окончания разбросаны у них по всему телу, и воспринимать чужие голоса они могут кожей даже на расстоянии. Человек не в состоянии понимать их язык, и это, отчасти, разумно: пропуская через себя эмоциональные волны птиц, зверей и рыб, он тогда просто не вынес бы голоса собственной совести.

Ещё в незапамятные времена люди возвели рыбу в ранг божества. Они верили, будто в образе живых рыб пребывают духи. Население многих древних государств преклонялось перед «священными» рыбами и держало их под заботливым присмотром в превосходных бассейнах при храмах. Иногда им даже приносили в жертву пленённых чужеземцев, веря, что обильный улов зависит от щедрости рыбы, и если она обидится, то удача отвернётся. Кое-где делали фигурки рыб из золота и серебра, их носили на шее, а затем клали вместе с умершими в могилу, надеясь охранить усопших от злой напасти...

В России же рыбаки считали, будто улов зависит от водяного, а заступником рыбаков являлся Николай Угодник. Икона святого хранилась чуть ли не на каждой рыбацкой лодке.

Под знаком Рыбы возвещал ученикам свою истинную веру и любовь при море Тивериадском Богом благословенный Иисус Христос, взывая: «Дети! Есть ли у вас какая пища?». Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете». Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Из рыбаков апостолы, помнится, даже выходили.

Символ пищи людской был если не священен, то возведён в знак должного почитания. Явство, данное свыше, могло выражать лишь самую соль земли, её мудрую простоту и добрый труд. Потом и слезой политый хлеб был добыт в праведном отношении к жизни, а свидетельством расположения богов служили доступность и обилие рыбы.

Рыбаки французского порта Сен-Мало, например, никогда не берут первую рыбу, пойманную в начале путины. Они выливают в её в горло полбутылки вина и бросают обратно в море. Рыбаки считают, что её сородичи, почувствовав запах вина, устремятся к поверхности моря, горя желанием быть пойманными.

Ведь рыбы, убеждены все рыбаки, в независимости от их национальной принадлежности, ведут между собой разговор, который человеку, конечно,

непонятен, и он может по движениям рыб лишь догадываться о том, что они сообщают друг другу и, разумеется, не могут не передать своим собратьям о гостеприимстве, которое ждёт их наверху.

Рыбы принимают при этом странные позы, в которых без труда распознаются угрожающие или оборонительные. Они весьма выразительны и человеку их не трудно понять. Рыбы насакаивают друг на друга, но не касаются, приоткрывают рот, растопыривают жабры, надуваются, иногда даже становятся на голову... Иные ведут себя важно, медлительно, и в случае опасности – не улепётывают быстро восвояси, а расходятся с достоинством.

Давно известно, что рыбы имеют свой язык и ловко им пользуются. Стайка мелких рыбёшек неторопливо плавает, кормится, но вот к ней приближается другая стайка – и рыбки, до сей поры остающиеся спокойными, в мгновение возбуждаются и исчезают. Что же произошло? Соплеменники, безусловно, предупредили их о приближении хищника, который в скором времени действительно обнаруживает себя.

Сигналы у рыб, очевидно, подаются разными способами. Во-первых, это, конечно, позы. Бывает также, что рыбы трутся друг о друга и таким образом сообщают или получают нужную им информацию. Немалую роль играют и звуковые сигналы. Работая потом много лет под водой, мне часто приходилось слышать писк и стоны, шелест, треск и уханье, щебетание, отчётливые удары разных тонов, цоканье, свист, даже что-то похожее на пронизывающий гул... Мир «тишины и безмолвия» на деле оборачивался полным несмолкаемых звуков, а понятие «нем как рыба» оказывалось абсолютно неверным.

Рыбы, несомненно, и разговаривают, и кричат, и, вероятно, поют, только наше ухо не улавливает большинства звуков, издаваемых животными под водой, так как они воспроизводятся колебаниями, которые находятся гораздо ниже границы восприятия их человеком. И рыбаки любыми способами задабривают море, его обитателей, проявляя при этом удивительную изобретательность. Ведь и рыбы встречаются очень необычные, почти никому неизвестные и своим видом, и повадками...

Так, в Атлантическом океане на глубине 600 метров поймали очень необычную рыбу: её шарообразное тело усеяно разноцветными фонариками, которые, словно прожекторы, светят в темноте. По бокам рыбы проходят пять рядов красных и в центре – большие жёлтые фонари. Всего у рыбы насчитывается 140 источников света! Наверное, она очень эффектно выглядит в тёмных глубинах океана!

У Тура Хейердала описана удивительная рыба, которую он наблюдал на Маркизских островах... Рыба эта умела ходить по суше. Величиной с палец, чёрная, большеголовая, она скользила с волной к скале, подпрыгивала, приклеивалась к камню и начинала скакать так, словно боялась, как бы её не замочило. Нагуляется вдоволь и ныряет в воду, но ненадолго. Вскоре она уже спешит к берегу с очередной волной.

Но чем хуже давно известные всем рыбы, тем более – рыбакам, которые вылавливают их испокон веков?! Толстолобая треска, изящная селёdochка, муаровый минтай, окуни с торчащими в разные стороны иголками, - все они, вывалившиеся из трала на палубу, как на диковинном детском рисунке, будто это и не рыбы, а неведомые подводные цветы... Целые рыбные груды, переливающиеся разноцветными искорками, чего тут только нет! Рыбы бьют хвостами, соскальзывают с одной на другую, глаза выпученные... Смотришь на всё это шевелящееся, только что вытянутое из-под воды богатство, и внутри всё ёкает!

А воздух свежий, душистый, такого на берегу не бывает, даже у самого моря! Лишь здесь, в его утробе, всё налито запахом морских бездонных тайн, так что не надышишься. Кажется, и твоя жизнь вся перевернулась от этого чудесного морского присутствия, которое всюду! Каким бы счастливым ты ни был потом, в своих лесных вёснах, не сравнить их с теми днями, когда жизнь перед тобой распустилась прекрасным морским цветком, и даже обыкновенные привычные заботы стали восприниматься в ней как необыкновенная радость.

Каждый месяц года обозначается знаком созвездия, в котором солнце в этот месяц находится. Созвездие Рыбы соответствует февралю, но поскольку точка весеннего равноденствия непрерывно перемещается, то солнце находится обычно в двух смежных созвездиях Зодиака. «Рыбные» февраль с мартом по Зодиаку уже давно миновали, и весеннее море выглядело большим неведомым животным, только что пробудившимся от спячки. Ожившее, радостно вспенённое, оно дарило щедрые уловы, и работа не прекращалась ни днём, ни ночью.

Любая выборка трала, особенно ночью, проиносит незабываемые впечатления. В ожидании улова всегда думаешь, конечно, только о рыбе... Но когда из раскрывшегося кутца на палубу вываливается груды переливающихся в огнях судовых прожекторов ярко-красных креветок, то замираешь от неожиданности: всё, что угодно готов был увидеть, но только не это! Огромная масса шевелящихся глубоководных созданий, поражающих, главным образом, своим броским цветом, на какое-то время просто вводит в восхитительное возбуждение... Даже, скорее, в заблуждение, ступор: откуда здесь это чудо, присущее, казалось бы, лишь тропикам? Ведь именно с ними связана добыча самых крупных промысловых креветок, достигающих в длину более тридцати сантиметров, которых в ресторанах подают порциями по одной штуке как отдельное блюдо!

Травяной чилим, что держится обычно в дальневосточных морях в прибрежных зарослях zostеры, только в варёном виде становится красным, а тихоокеанская глубоководная креветка, именуемая как северная розовая, от рождения – алая. Особенно необычна эта удивляющая яркость воспринимается ночью, когда креветки огромным живым языком

выскальзывают на палубу из трала. Проектор уронит луч на копошащееся скопище креветок, а они так все и вспыхнут накопленным в глубине неожиданным карминовым огнём, будто тысячи фонариков загорелись. Смотришь на них, не отрываясь, и не в силах поверить, что это – суровое Охотское море, зима, и в этой холодной штормовой черноте так жизнеутверждающе, даже – весело, светятся алые креветки, радостно переливаясь в световых лучах...

На больших глубинах, которые называются абиссальными, у большинства рыб расцветка как раз коричневая, тёмно-фиолетовая или чёрная, но у многих креветок «одежка» очень яркая, часто – алая, почти пурпурная. Непонятно, чем вызваны эти аномалии, ибо красная часть спектра полностью поглощается у самой поверхности моря, а в глубины океана, где живёт креветка, проникает лишь слабый свет синей и фиолетовой частей спектра. В такой темноте алый панцирь креветки действительно становится чёрным, как смоль, то есть - практически невидимым для любого хищника. Но для чего креветка имеет алую окраску, если она ей, на деле, ни к чему, а в поверхностных слоях, куда креветка поднимается в ночное время для кормёжки, её красный цвет и вообще мешает, привлекая к себе хищников? Казалось бы, у этих алых креветок расцветка должна быть именно чёрной, на худой конец – фиолетовой, словом, как можно более незаметной, и креветки, постоянно находясь в полной темноте, как и обитатели глубоких пещер, должны быть хотя бы слегка обесцвечены, однако этого не происходит, и они, вопреки здравому смыслу, выглядят вызывающе ярко!

Вид ярко-красных, просто кричащих креветок, поднятых в трале к поверхности моря, помнится, всегда поначалу околдовывал, поражал, а уже затем озадачивал: в силу чего это происходит? Неужели неведомый мир морской стихии никогда не откроет своих секретов и так и останется непостижимым? И разве может океан быть бессмысленным, совершенно обезоруживая внешним видом и поведением своих обитателей?

Для того, чтобы понять важность и целесообразность окраски для животного, следует вспомнить, что цвет предмета определяется совокупностью тех частей спектра, которые не поглощаются, а отражаются его поверхностью. Так, если животное, обитающее у границы значительных глубин, окрашено в красный цвет, то на тёмном фоне оно будет казаться чёрным, поскольку красный цвет до этой глубины не доходит и, следовательно, нет лучей, которые бы отражались от его тела. Тело той же креветки остаётся красным просто потому, что природа не оставила ей иного выбора: в глубине ты никому не видим, а если поднимаешься на поверхность – рискуешь быть съеденным, хотя и выглядишь сногсшибательно.

Итак, в море точно так же, как и на суше, окраска помогает животным оставаться незаметными, но достигается это совсем иным путём, нежели на суше. Об этом непременно следует помнить всякий раз, когда мы видим, хотя бы на фотоснимках, окрашенных в весёлые тона обитателей морского царства. Животные, снятые в естественной среде вблизи поверхности моря,

обычно предстают на фотографии в своих натуральных тонах. Красочные же изображения глубоководных животных, полученные путём подводной съёмки, обманчивы. В естественных условиях эти же животные казались бы тёмно-серыми или чёрными, и в сумраке глубин вы их вряд ли бы заметили.

А на палубе, день за днём, молча, сновали рыбаки, ловко разбираясь в путанице снастей и блоков. Сверху были видны их склонённые спины, обтянутые оранжевыми рыбацкими куртками, взлохмаченная поверхность воды, и то поднимающийся, то опускающийся горизонт. Изредка шальная волна захлёстывала палубу, накрывая рыбаков ледяным гребнем, но они, ни на секунду не отпрянув, кропотливо продолжали заниматься своими делами, время от времени только поглядывая исподлобья на кипящую за бортом воду.

Таяли вдаль крики чаек, и дребезжащий голос боцмана был еле различим. Но рыбаки чётко реагировали на исходящие от него команды: на небольшом пространстве, свободном от мокрых снастей, они слаженно двигались в такт покачивающейся корме и тягучему скрипу такелажа. Казалось, качка ничуть не затрудняет их передвижения, а, наоборот, лишь помогает им.

Вдоль палубы бегут, напряжённо дрожа и потрескивая, стальные тросы – ваера. Концы их прикреплены к двум овальным траловым доскам, окованным металлом. Они под напором воды и раскрывают трал. Нижняя – подбора сети, унизанная бобинцами – большими металлическими шарами, сейчас идёт по дну. Смутно представляешь себе этот сумрачный и холодный мир, стараясь долго не думать о нём. Более занимает другое: что окажется в трале?

Ожидание, когда на слипе покажется набитая дарами моря мотня, всех держит в напряжении и даже как-то объединяет. Между наблюдающими членами экипажа всегда царит возбуждение. Но около ваеров с непривычки стоять страшно: а вдруг лопнут? Тралмастер чутко наблюдает за происходящим на палубе, и сразу же сообщает обо всём произошедшем на мостик.

Иногда в трал попадали красные морские окуни. Некоторые из них достигали чуть ли не метра длины. Завидев в рыбном отделе магазина, за стеклом, замерших в ледяном крошеве маленьких красных окуньков, никогда и не подумаешь, какими они бывают на самом деле...

Здесь же, на палубе, красные окуни поражают гигантскими размерами... Выпученные изо рта плавательные пузыри и тонкие розовые вздутия глаз говорят о том, что эта рыба живёт глубже, чем другие промысловые рыбы: окуней поднимали с глубины до пятисот метров.

Вода сжимается незначительно, а так как её в теле морских обитателей много, внутреннее давление организмов легко уравнивается с давлением среды. Но при подъёме внутреннее давление становится всё больше наружного, и животных буквально распирает. Поэтому на поверхность они

приходят деформированными: изо рта торчит желудок, глаза выдавлены из орбит, а чешуя отстаёт.

Порой в трале оказывались огромные пятнистые рыбины с человеческий рост, вызывая своими размерами тихое восхищение. Это была треска, которая при сушке, как дерево, расщеплялась или трескалась, что и послужило её названию.

Треска – одна из самых полезных и вкусных рыб у северных народов, и всегда служила для них главной пищей. Можно с уверенностью сказать, что для береговых северных жителей она заменяла хлеб. Её ели свежую, копчёную, вяленую, солёную, одним словом, во всех видах. Но более всего предпочиталось потребление сушёной трески, чем она обязана, конечно, постами, приписываемым католическою и православною церквами. Именно её щепили ножами, и она трещала, а народ треску с удовольствием трескал, то есть – лакомился ею.

В старину рыбаки Нормандии и Бретани ловили треску с судов таким необычным способом: моряки, защищённые от непогоды кожаными передниками, садились в бочки, спущенные за борт и привязанные к корпусу судна. Пока судно несло течением, они бросали в воду пеньковый линь с крючком и тащили его по дну. Не приходится сомневаться в том, что улов был не слишком хорош.

Русскими рыбаками на Мурманском берегу Ледовитого океана и в Белом море применялась ловля трески на «яруса», когда на пути движения стаи трески, на дне протягивались рядами канаты, на которых подвешивались на бечёвках крючки с какою-нибудь приманкой для рыбы. Через несколько часов канаты вытягивались вместе с рыбой, попавшейся на крючки, и затем рыба снималась, а канаты снова натягивались для новой добычи.

В наше время треску вылавливают тралом в открытом море, ибо треска всё-таки стадная рыба и держится большими косяками на глубинах до пятисот метров, иными словами – на материковой отмели и поблизости от её склона. Впрочем, в период икрометания она ищет более тёплую воду, выходя на меньшие глубины. Нерест у трески происходит в течение зимы и приходится на период с января по март. Особо нужно отметить плодовитость трески, самка которой вымётывает 5-10 млн. икринок.

К тому же, треска исключительно прожорлива: она не брезгует любой добычей, включая собственную молодь. Эта её необыкновенная прожорливость очень облегчает её ловлю: она ест всё, что попадается, даже проглатывает совершенно несъедобные предметы, в особенности, если они блестят. Именно поэтому треска просто вгрызается в густые стаи сельди, переливающиеся серебром. Может треска, нередко достигающая в длину метра, прихватить в свою громадную пасть и морскую птицу баклана, которая глубоко ныряет и оставляет за собой чётко очерченную полосу прозрачных пузырьков.

На севере Охотского моря, при одном из замётов, в трал к нам угодила как-то треска в добрую сажень, то есть - длиною более двух метров. Когда же я попытался приподнять её за плавники, чтобы сделать с ней на память фото, то у меня ничего не вышло: скользкая огромная рыбина постоянно выскользывала из рук, её даже трудно было обхватить!

Вообще, треска очень неприхотлива. Можно долгое время содержать её в неволе – и это никак не отразится на рыбе: она быстро и легко свыкается с предлагаемым ей кормом, совершенно не теряя в росте. Если вода в бассейне содержится в достаточной свежести, а пища в необходимом количестве, то треска не только чувствует себя превосходно, но и выживает многие годы в совсем тесных водоёмах.

На Беломорье рыбаки смотрят по пойманной треске, какая будет погода. Если треска слегка и мелко дрожит, будет северный ветер и погода ухудшится. Не было случая, по словам старожилов, чтобы примета эта подвела. Живой барометр – треска действует в точности, и как им было не воспользоваться опытному рыбаку.

И всё-таки, треска больше всего любит холодную воду и предпочитает её температуру в районе ноля градусов. Может быть, поэтому и окрас её довольно сдержанный, присущий северной, грязновато-свинцовой воде... Обычно треска имеет зеленовато-серую спинку, но иногда попадает и оливкового-бурого цвета, покрытая мелкими желтоватыми пятнышками. Чем дальше к северу, тем более преобладают тёмно окрашенные экземпляры, обыкновенно без всяких пятен.

Ещё треску отличает светлое брюхо, а вдоль боковой линии у неё по всему телу тянется белая полоска. Характерным признаком для трески так же служат и присутствие трёх спинных, двух заднепроходных плавников и одного уса на конце нижней половинки рта. Всё её мощное прогонистое тело свидетельствует о постоянной нацеленности на движение, призванное настигать добычу, которую ясно, треска никогда не упустит.

При этом треска поражает своей отходчивостью: только что выловленная, она не бьётся в исступлении, а лишь изредка шевелит жаберными крышками и подрагивает хвостом. На открытой палубе рыба быстро околевает, превращаясь в тугую, зеленовато-серую дубинку, с ледника же она становится более хрупкой, так что порой, от неосторожного удара, её заиндевевшие хвост и перья плавников обламываются. Рыбаки всегда весело рассказывают, какая из трески выходит уваристая и прозрачная уха, а печень отбирается для выработки пахучего рыбьего жира, от которого с детства осталось ощущение неминуемо-тягучей желтоватой постылости.

В связи с треской очень интересно проследить происхождение витаминов, которые необходимы человеку и то, каким путём они к нему приходят. Всем известно, какой ценный питательный продукт – рыбий жир, а витамин, содержащийся в рыбьем жире, вырабатывается диатомеями – микроскопическими водорослями.

Диатомовые водоросли представляют собой одноклеточные растения. Размером не больше булавочного острья, они настолько малы, что в одной чайной ложке может поместиться до миллиона экземпляров. Диатомовые водоросли размножаются делением клеток, и за короткий срок появляется огромное количество новых особей.

Сначала они переходят в желудки небольших планктонных животных, питающихся диатомовыми, а оттуда к маленькой рыбке мойве. Эта рыбка составляет главную пищу трески, которая живёт в северных водах и добывается рыболовными судами. Так витамин диатомовых водорослей продвигается по пищевой цепи, пока не попадает в аптекарскую бутылку и оттуда в наши желудки.

В тон треске вторит самый многочисленный из тресковых рыб – мягкотелый минтай. Набитый им до отказа трал расползлся, выворачиваясь на палубу шлёпающими рыбьими грудями, пропитанные рыбьим соком солоноватые брызги летели во все стороны, вода с шипением подкатывалась к бортам, и как в прорву проваливалась в шпигаты. Уже через минуту вся рыба оглушено застывала, тускло поблескивая оголёнными боками, затем её не спеша распределяли в сепарации и укрывали коробящимся брезентом.

В отличие от трески, минтай не такой крупный. Нам попадались полутора – и даже двухкиллограммовые рыбины, но это происходило нечасто. Собирая сизых, окаменевших от мороза рыб в ведро, я относил их на дышащий жаром камбуз и, пережарив с луком на широком, жирно чернеющем противне, выставлял в кают-компании к вечернему чаю. Рыбаки смачно охали, их разгорячённые лица млели от желанной сытости, и на освещённых столах быстро вырастали горы беловатых сочных хрящей.

С виду минтай лилово-оливкового неброского оттенка, тело его покрыто многочисленными тёмными пятнами, а широко раскрытые глаза – белёсо-голубые, как выстуженная весенняя поволока над морем, отчего рыбаки и прозвали его «миськой голубоглазым». Рыбы выбирают себе платье в зависимости от цвета воды, в которой они обитают, и минтай с треской тусклы и мозаичны в соответствии с охотоморским пасмурным днём, когда ветер рябит зимнюю бесцветную воду, и она, переливаясь, перебегает, словно от удара хлыстом, напоминая переход от тёмной окраски рыбьей спинки к светлому брюшку...

Голубоватый глаз минтая – большой, с чёрным цепким зрачком, будто нацеленным только на то, чтобы ухватить того, кто поменьше. Тело подбористое, гибкое, готовое мгновенно извернуться в любом направлении, чему немало способствуют мощные плавники по всему телу и широкий хвост. Рот же – подхватистый, призванный брать всё, что попадётся: ракообразных, корюшку, песчанку или мойву. Минтай – очень стремительная рыба, и он неутомимо рыщет в толще воды, не переставая интенсивно питаться даже во время нереста.

Запасы минтая, которому совсем недавно не уделяли должного внимания, оказались огромны, уловы его в зимнее время, когда не ловится

другая рыба, достигают колоссальных размеров. Из печени минтая добывается печёночный жир, содержащий витамин А, в четыре раза больше, чем жир, добываемый из печени трески. Но мясо минтая, обладающее почти такими же пищевыми и вкусовыми достоинствами, как и мясо трески, не всегда производит приятное впечатление, так как между его мускульными волокнами нередко обнаруживаются мелкие личинки ленточного червя, имеются они и в кишечнике, ими кишит печень минтая... Правда, все эти паразиты удаляются при обработке и чистке рыбы, червей же, находящихся в печени – удалить невозможно, и потому приходится всю печень пускать на вытопку жира. Черви, обитающие в теле минтая, хотя и наносят вред самой рыбе, для человека не опасны, если рыбу хорошо проварить.

Минтай никогда не слыл особенно ценным видом, мало того – долгие годы он считался сорной рыбой, но пришло, наконец, время, когда по уловам он вышел на первое место и стал очень важным для промысла. Преимущества его – это, во-первых, высокая численность; во-вторых, минтай очень быстро растёт и рано созревает, причём, одинаково и для самки и для самца; в-третьих, минтай хорошо себя чувствует как при положительных, так и при отрицательных температурах воды; и последнее – икра у минтая пелагическая, то есть находящаяся в толще воды, в открытом море, и поэтому он способен размножаться не только в разводьях, но и подо льдом. Охотское море для минтая имеет наилучшие жизненные условия, где он прекрасно себя чувствует.

Всю зиму мы ловили минтай в Охотском море, забирались иногда в Беринговое, в самый северный уголок Тихого океана, побывали даже в Бристольском заливе, но, ни разу, палуба нашего траулера не оставалась без рыбы, хотя безудержные, выматывающие шторма преследовали нас в течение всего рейса. Порой начинало казаться, что море и не утомится вовсе, что ему суждено пребывать таким во мраке непогоды всегда, среди бурь, ветров и жалобного скрипа судовых снастей, а нам, несмотря ни на что, преодолевать это буйство северной природы, ещё и перевыполняя при этом план по вылову рыбы. И всё же мы не могли представить себя без этой работы, и никогда в ту пору не наваливалась на сердце странная тоска, её просто не могло быть, потому, что мы находились в своё время на своём месте.

Время вообще терялось, когда огромная, тягучая зыбь поднимала судно к небу, солнце, кажется, рукой можно достать, и ветер упругий рвётся, гонит пенных «гусей» к самому горизонту, но разошедшееся не на шутку море вовсе не грозное, оно будто с какой-то затаенной весёлой думкою играет с рыбаками, дразнит их, вовлекая в свою игру. Словом, не даёт успокоиться, держит всё время в напряжении, и будто звуки мелодичные разносятся над волнующейся поверхностью, а солнце всё сияет, и море сияет, и всё выше и выше взбирается наше судно. Море не отпускает его, вроде как норovia донести до самого горизонта, и всё вокруг – отчего-то такое родное, от этой крутой зыби даже не мутит, и хочется глядеть на солнце и море, что слепят

своей напружиненной свободой и чистотой. Ни о чём глубинном, что скрывает море, даже не думаешь, а завораживают лишь громадные волны, на которые взираешь без страха, и все мысли только о том, что принесёт с собой очередной зачёт...

Там, в холодной охотоморской глубине крадётся, расправив распорные доски, донный трал... словно неведомое подводное чудовище неслышно ползёт он в необозримой темноте, захватывая в себя всё, что попадает к нему на пути. Сюда, кажется, не проникает волнение, но наверху море неустанно вздымает свои громадные валы, норовя нарушить рыбакам рабочий настрой. А рыбаки не переживают, будто и нет никакого волнения ни на море, ни в их душах, что, наоборот, становятся только более собранными, готовыми к любым вызовам неумолимой стихии.

За первые месяцы плавания на судне уже сохраняется устойчивый запах рыбы, и хоть трал ещё не поднят, доски сепарации источают крепкую рыбью свежесть, отчего крутобокие волны за бортом не пугают, а веселят. На палубе всё - как всегда, вроде бы, беспорядок, но на самом деле ничего не мешает здесь будущему улову, что рассыплется скоро жирным серебром, запляшут вместе, бок о бок, окунь, камбала, треска, ну, и конечно, минтай, - целый рыбный мир! Начнётся чёткая, размеренная работа экипажа по сортировке рыбы, повсюду - пузырящаяся вода, вперемишку с искрящейся на солнце чешуёй, живые груды рыбных лоснящихся тел в возбуждении шелестят, шлёпаются друг о друга, на палубе всё блестит и играет от этой сытной сырости...

В рыбьей чешуе и все снасти, сапоги рыбаков, оранжевые костюмы, а ветер свежеет, крепнет, словно заводит разговор с рыбаками об удачном улове, радуется за них. Море тоже не отстаёт, ещё сноровистей, веселей обнимает судно, но не свирепо, а с любовью. Сопротивляться северу, холодному бурному морю бесполезно, но можно взять его своею нежною заботою, честным устремлением сердца, и тогда и север, и море уступят, дадут вздохнуть полной грудью, непременно отметят ударную работу всего экипажа. А экипаж старается, рыбный промысел - не шуточное дело, жилы, кажется, вот-вот лопнут, руки от соли язвами идут и подолгу не заживают, про сон на двое-трое суток можно забыть, когда рыбка пошла, прилечь на минутку невозможно, море же всё клокочет, дыбится, бушует... Да-а!

Но вот, наконец, и вправду принялись за выборку трала... На людей, что безоговорочно приняли рыбацкое ремесло, как главное дело жизни, любо-дорого смотреть. Не думать о них невозможно, как и о предстоящем улове, что, конечно, верится, будет удачным.

Солнце ярко сияет в вышине, неумолимые волны разбиваются о борта и форштевень судна, и все в предвкушении того прекрасного мига, когда набитый рыбой трал начнёт потихоньку взбираться по слипу. Сердце рыбака готово оборваться от счастья при переживании этого мига, а лебёдка надсадно гремит, звонкий гул от натянутого троса закладывает уши, и даже море, кажется, подбирается от натуги, желая поддержать рыбаков в их

нелёгкой заботе. Оно пенисто перекатывается от борта к борту, словно смахивая с палубы всё ненужное, что может помешать приёмке рыбы, и низвергается обратно. А чайки уже тут как тут: присаживаются на судовые снасти, реют над самой водой, оглушительно вскрикивают... Чуют желанную добычу!

На мостике уже заметили в пенящейся морской дали пузатые бока набитого до отказа трала, что то показываются ненадолго, то опять погружаются в воду...

- Готовиться к подъёму трала! – слышится команда второго штурмана.

Судно от носа до кормы пронизано скрежещущей дрожью, но, всё же, размеренно вспарывает волны, тащит трал, отчего начинаешь воспринимать его как целостный живой организм.

Капитан со старпомом молча наблюдают за происходящим, вахта неспешно выбирается на палубу, ползут над ней, заунывно повизгивая, блестящие от влаги троса... Вот и распорные доски, после чего команда оживляется, встаёт по местам, изо всех сил звенит лебёдка...

- Как думаешь, старпом, - не поворачивая головы, обращается к нему капитан. – Тонны две подняли?

- Сколько не говори, а ещё на завтра будет.

- Нечего того и говорить, чего в горшке не варить?

Старпом переходит к другому борту, смотрит пристально в бинокль, и чуть натянуто усмехается:

- Поглядим... Уж больно поворот большой на зюйд взяли.

- Я всё ближе к делу, а он – про козу белу!

Траловый мешок неожиданно всплывает неподалёку от кормы, и штурман стопорит траулер, так что тот резко кладёт на бок, а потом даже немного сдаёт назад.

- Ловися, рыбка треска, большая и маленькая, - сдержанно торжествуя, улыбается капитан.

- Оно, конечно, на словах – как на гусях, а на деле – как на балалайке. Всякое случается.

- А мы с тобой, старпом, как рыба с водой... Али нам не дастся?

- Ваше слово впереди, товарищ капитан, - включается в разговор второй штурман.

- Твоё бы слово, Иваныч, да Богу в уши!

- Не дав слова – крепись, а дав – держись, - гнёт свою линию штурман.

– На рыбалке везение – это труд и терпение.

- Не всё с рыбкою, ино и с репкою, - дипломатично заключает старпом.

– Рыба не хлеб, ею одною сыт не будешь.

- Дал Бог рыбку, даст и хлеб, - не унимается капитан. – Наше дело – что же делать, а не как же быть!

- А то ещё случается, - оживляется опять штурман, - ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса!

- Не учи рыбу плавать, Иваныч. Тут, чей фарт, того и рыба! Согласен будешь?

- Не в бровь, а в глаз, Михаил Александрович. Отец рыбаков, и дети в воду смотрят.

Капитан за словом в карман не лезет:

- От правды не уйдёшь!

- И то верно: на правду слов не много, - уклончиво соглашается старпом.

В этот момент кутец тугим рыбьим шаром обозначился под самым слипом, чайки тотчас окружили его плотным кольцом, так что и рыбы не видать, неистово кричат, сталкиваются между собой. Сплошное светопреставление! Лебёдка же опять натужно взвизгивает, ваера гудят, и набитый рыбой трал тяжело заползает на палубу...

И тут – возня с концами: одни – подтягивают, другие – отпускают, кто-то что-то спешно завязывает, укрепляет, а трал медленно приподнимается стрелами, и вода с него низвергается мутными пенящимися потоками, окатывая рыбаков с ног до головы. Но никто не тушует, не до этого: знай, вяжи, укрепляй и подтягивай! Боцман хватается за нижнюю завязку, дёргает изо всех сил, и кутец раскрывается: рыбьи тела с влажным шелестом вываливаются на палубу серебристым потоком, и кажется, ему не будет конца. Такое стоит, хотя бы раз, увидеть!

Перед тобой будто распахнули море – водопад из его обитателей повергает своим разнообразием: сколько тут всего! Вот огромная рыба зубатка, длиною более метра, вывернулась из общей рыбьей массы, и ну, давай елозить на брюхе, расшвыривая хвостом всякую мелкую рыбёшку. Пасть у неё пострашнее акульей: два ряда исковерканных жутких зубов, так и норовит ухватить ими кого-нибудь. Тут же – крабы, усеянные колючками, глаза у них, как на шарнирах, бегают туда-сюда, ничего не упустят. За ними только ноги краба успевают, что всё бочком-бочком, куда его душе вздумается. Осьминоги от них не отстают, ловко подтягивают на щупальцах свои желеобразные тягучие туловища, распластавшись на досках, - вроде бы, беспомощные, но сдаваться, явно, не желают. Куда-то тоже устремляются, наверное, воду чувствуют...

Чувствуют воду и рыбы: жадно вздыхают боками, то и дело разевают рот, будто сказать что хотят, а желают, должно быть, только одного – оказаться в родной стихии, поплыть к своим родным местам... Но есть ли они у рыб, что всю жизнь находятся в странствиях? Здесь, на палубе рыболовецкого траулера, их путешествие завершилось, и рыбы не в силах смириться со своей судьбой.

Рыбы – прекрасные существа из неведомого нам мира, не перечить их цветастое великолепие. Как они прекрасны, даже без движения... В их телах ещё теплится эта чудесная свободная жизнь, они – там, в своём мире, и им, наверное, кажется, что она ещё продолжится. Хорошо бы тоже стать рыбой!

Когда-нибудь я поплыву по волнам своей мечты, я в это верю, для неё ещё просто не наступило время. Но оно обязательно наступит, и я стану таким же ловким и неутомимым, как дельфин, чтобы увидеть и запомнить неведомую для многих потаённую жизнь моря, сделав её своей, и, конечно, расскажу о ней в своей морской книге.

А пока я люблюсь рыбьим царством здесь, на палубе траулера, что вынули рыбаки из морских глубин. Не перечить его многообразию, где минтай, в обнимку с треской и палтусом, шевелят отрешённо жабрами, жадно хватают ртом насыщенный влагой воздух, сердито топорщат муаровые плавники. Желтопёрая и звёздчатая камбала, тоже, чуть вздыхая, покоится живой грудой за деревянными бортиками, посверкивая белизной нежных брюшек, и ты невольно поражаешься её обилию.

А вот и таинственные скаты... Поднятые из морской пучины, они превосходят других морских обитателей своими размерами, лежат неподвижно, будто уснули, но стоит прикоснуться к их литым мясистым телам, и они оживают, как крыльями волнообразно поводя мощными плавниками, словно требуя немедленно отпустить их обратно, в тёмно-синюю прохладную бездну, где им так вольготно летелось... И вся эта перемешанная между собой, сдавленная рыбья масса первые минуты просто обезоруживает своим обилием и оголённостью, лежит на палубе отупело, оказавшись вне родной среды, она повергнута вынужденным оцепенением, и ты даже сам невольно замираешь от увиденного, не зная – что со всем этим обилием морских даров делать?!

Помимо рыб, тут много такого, что раньше приходилось видеть только на картинках: сиреневые, жёлтые и карминовые, в синеньких пятнышках звёзды, самой причудливой формы; чёрные и бордовые ежи, вспыхивающие на кончиках влажных игл рубиновыми огоньками, а под ними – целый слой бирюзово-фиолетовых гребешков, похожих на игрушечные кастаньеты; и ещё – голубовато-прозрачные загадочные медузы, переливающиеся на солнце каким-то густым глубинным соком... Глядя на всё это богатство, я пытаюсь вообразить подводное пространство моря, его неукротимую и необъятную темноту... Что там творится?! И от этих мыслей вдруг становится так, будто ты неслучайно здесь оказался, не зря морская стихия приоткрыла тебе свои тайны, и ты отчего-то переполняешься гордостью за то, что совершаешь в своей жизни важное дело.

Ну, разве не важно всё это богатство моря, что оно щедро дарит человеку? И эта красота, и энергия подводного мира, что в каждой мелочи кажется тебе новым, а ты рядом с этим чудесным, щедрым миром, прямо сейчас, строишь свою жизнь, может быть даже – решаешь не только свою, но и чью-то чужую судьбу, закладывая для неё верную основу. Свяжешь ли ты её навсегда с морской стихией, сможешь ли обойтись без неё?

Всё в окружении щедрого и красивого моря представляется возможным, и жизнь твоя, ты это понимаешь, проходит не зря. Каким-то шестым чувством ты угадываешь, что всё делаешь правильно, да и разве

может быть иначе, если принимаешь всей душой то, к чему сейчас прикоснулся? Вроде бы, ничего особенного не происходит – люди просто ловят рыбу, но нечто необыкновенное, несомненно, присутствует: здесь, в море, на палубе добывающего рыбу траулера, царит особое уважение людей к своей работе, друг к другу, воздуху и запахам, требующих понимания и любви... А как иначе?!

За каждой судьбой – целый мир, и здесь всё про всех и про всё знают и видят, а главное – ты постигаешь: каков есть сам. Обстановка – лучше и не придумаешь, всё так здорово, что хочется кричать от радости, быть надёжным и сильным, и, конечно, весёлым – чего тужить понапрасну! Ведь вокруг – дорогое твоему сердцу море, замечательные люди, делающие одну работу, причём, выдерживают её годами, а сколько у каждого из них хлопот на земле?!

Будь здоров, если серьёзно подумать, но они не печалются, радуются доброму улову и своевольной рыбацкой удаче: к удалому и Бог пристаёт! И всё работают, работают, не разгибаясь, чаще всего – в несусветную качку, и ничего, дают стране намеченный план... Хорошо от всего этого становится на душе, радостно ощущать себя участником происходящего праздника жизни, и разве тут заскучаешь?!

О многом хочется рассказать, когда вытягивают на палубу трал, переполненный рыбой: это – незабываемое зрелище! И невольно подумаешь о том, что тебе-то всё увиденное представляется, конечно, в диковинку, а вот людям, связанным с морем всю жизнь, оно, наверное, порядком опостылело. Они, вообще, не видят в своей работе ничего героического, поэзия подвига, кажется, им совершенно чужда. Трудятся ради своих семей, никогда не рассказывают о себе, пока ты их об этом не попросишь, но даже если поинтересуешься – они не особо словоохотливы, чаще всего – молчаливы, даже скупы на слово.

Уже проработав в море много лет, я так и не услышал от кого-либо из этих людей жалоб на свою нелёгкую судьбу или какое-либо недомогание. Да и грусти с печалью за ними никогда не водилось: наперекор несчастьям честно исполняли они свой долг перед государством и близкими, всегда сохраняя в сердце тихое мужество и удивительную скромность. И глядя на этих людей, их бессловесные непростые судьбы, почему-то не покидало ощущение, что ты перед ними в большом неоплатном долгу.

Никогда, наверное, не достичь тебе чистоты их искренних устремлений, не научиться такому вдумчивому и глубокому молчанию... Смотришь на них – и, отчего-то, завидуешь этому душевному покою, житейской стати и неброской уверенности в себе. Что за замечательный простой люд: Богу – Богово, а им всё про свою незамысловатую и добрую жизнь ведомо.

Пока они тебя заметят, ты среди них не один год чёртом прослывёшь, и уж только потом тебе заживётся: может быть, и выведешь себя к свету, станешь настоящим. Что между людей моря водится и в них живёт, то и тебе

стоит пережить. Оно тебя не минует и никогда не подведёт, если его в дорогу с собой возьмёшь, а взять очень хочется.

Очень хочется быть, действительно, настоящим, глядя на этих людей, и ещё – на море, воспитывающее в них душу. Конечно, душу способен развивать в себе сам человек, но как ему обойтись без морской сини, упругого свежего ветра, бушующих пенных волн, нескончаемой, так тревожащей сердце дали? О чём мечтать ему тогда, к чему стремиться, и сможет ли он разобраться в собственной жизни, не заглянув за морской горизонт? На этом пути человеку не миновать людей, не мыслящих себя без моря, без их чуткого понимания этой замечательной жизни на краю света, на берегу Тихого океана.

Если ты не занят своей работой, трудно не заставить себя выйти на палубу при очередной выборке трала... Всё время кажется, что пропустишь что-то очень важное, чего уже никогда потом не увидишь, как ни старайся, и ты выходишь, и чего-то ждёшь, не в силах оторваться от волнующейся поверхности моря. Оно настолько тебе интересно, что ты не можешь не наблюдать, что происходит сейчас на нём, и всё смотришь, смотришь, впитывая нечто почти неуловимое, но такое притягательное. А это – всего лишь обыкновенная выборка трала!

Но ты продолжаешь тихо вглядываться в необъятные морские дали, воображая всю подводную тишину и мрак. Там, разумеется, есть и свой необыкновенный свет: вот бы его тоже увидеть! Мимо тебя пробежит с измочаленным пеньковым концом запыхавшийся матрос, задумчиво глянет тебе в лицо, и неожиданно чему-то, про себя, улыбнётся, но ты не перестанешь оставаться молчаливым и внимательным, даже – вдумчивым, и тоже спокойно посмотришь ему в глаза. После столкновения с этим матросом, выборка трала откроется для тебя уже новой, какой-то незнакомой стороной, и устремляя свой взгляд куда-то вдаль, ты уже почувствуешь себя успокоенным, другим...

Море – ворота в совершенно иной мир, неожиданно подумаешь ты, и за ними открывается загадочная дорога, что ведёт бог знает куда. Между миром человека и миром моря проходит какая-то вещая черта, что отделяет всё знакомое нам от необычайно сказочного, неизвестного. И ты, конечно, испытываешь глубокое волнение при мысли об обилии впечатлений, что могут открыться пред тобой в необозримой морской глубине. Хорошо бы побывать там, неспешно всё рассмотреть, проникнувшись её непостижимой тьмой, чтобы в глубине собственной души открыть долгожданный, незримый свет.

А пока – перед тобой мокрая, скользкая от рыбьей слизи и чешуи палуба, она теперь пуста, и повсюду журчит из шлангов вода. Ею матросы окатывают доски сепарации и борта, со смехом поливают друг друга, и кто-то зазывно покрикивает: «Эй, слышь! Кому голову помыть?» А в ответ: «Я ныне ещё и лица не мыл!» «Как ни мойся, белее снегу не будешь!» И опять: «Боцман, водичку будешь пить?» «Так и быть, окати!»

Люди уже работают не торопясь, расправив, наконец, натруженные плечи, скоро – блаженный отдых. Теперь только в их воображении останется незабываемая картина, как серебристо-жирным потоком валилась сверху рыба, с шелковистым плеском расплзалась между бортов, по колени обхватывая холодной, липкой массой, и как напряжены были руки и глаза: нескончаемый поток из живых рыбьих тел способен повергнуть кого угодно... А как головокружительно пахло морем!

В том, что происходило на судне, всё время присутствовало нечто таинственное, присущее только морю. Оно совершалось рядом с рыбаками, и о нём можно было лишь догадываться, но не замечать – невозможно. Как понять душу неведомой морской стихии, когда она - о! – так поразительно чиста, глубока и раздольна! Ты удивляешься этому ничем не заменимому простору, на все четыре стороны света, и обилию необъятного синего цвета... И почему у моря – простор, а в людях – теснота?!

Наверное, от того, что люди ещё не научились осознавать свою жизнь, их души бродят где-то у порога не дающей им покоя тайны. А тайна, между тем, в их сердце. Оно, как и море, вбирает в себя всё, что оказывается рядом. Но должно, видимо, пройти время, чтобы ему стало пусто без захватывающего дела, без необъятной всепроникающей сини, без увлекательных приключений...

Сердце жаждет озарения сознания, оно внемлет Богу, а Бог с морской силой неразлучен, и человек приходит к морю... Не жизнь наказывает человека, когда он идёт против неё, а сам человек, если нарушает её божественные законы. И хорошо, когда жизнь придерживается твоих устремлений, а не ты покорно следуешь за ней, как это выходит у людей, живущих морем. Я теперь тоже живу им...

Каждый день за бортом траулера вспучивалось высокими валами штормовое грозное море, и невозможно было разобрать: утро это, или дело идёт к вечеру. Когда долго находишься в море и видишь одну и ту же картину, всё сливается как будто в единый пенящийся и ревуший временной поток, то взлетающий к самому горизонту, то опускающийся в бездонную водную яму. Проходит, кажется, целая вечность, пока осознаешь со всей ясностью - где ты, что с тобой и когда-то ещё ступишь на далёкий и столь долгожданный берег...

В те зимние дни мы пока не думали про берег, поскольку было не до него: весь экипаж обуревало одно желание – ловить «митьку голубоглазого». С утра до вечера пожирая глазами притягательную, отливающую морской свежестью мягкость рыбьих тел, их такую замечательную доступность, образующуюся сразу после того, как рыб выловили из их чудесной таинственной среды, хотелось утопать во всём, что тебя окружало, и только солёные брызги выводили из этого сладкого помутнения. Даёт Бог рыбку, даст и хлебушка!

А какие палтусы нам попадались! По своему незнанию и отсутствию опыта я и не подозревал, что могут быть такие тяжёловесы: белокорые палтусы, очутившиеся в донном трале, достигали весом трёх-четырёх центнеров при длине почти в два метра! Толщина этих глубоководных красавцев – чуть ли не в туловище человека: не разберёшь – то ли скат, то ли палтус! Каких удивительных подводных жителей создало море, причём, не агрессивных, даже, можно сказать, очень спокойных и неприхотливых при их немалых габаритах...

Море-море, палтусы – достойный результат твоего творения! И как вкусна эта удивительная и в тоже время простая рыба... Жирное сочное мясо её тает во рту, а пироги с палтуса, кто их никогда не едал, несравнимое ни с чем, душистое, сытное блюдо! Именно палтусу присуща непревзойдённая ни одной из рыб нежность, я бы даже сказал – сладость какая-то неопишуемая, что в тесте приобретает непередаваемые вкусовые качества. Палтус, живущий на самом дне и питающийся, помимо рыбы, ещё и донными останками, отчего-то вобрал в себя неизвестно откуда взявшуюся ароматную прелесть, сок неизведанной подводной жизни, незабываемое наслаждение!

Кажется, всё из своих великих возможностей воплотило море в акулу – в безжалостного, никого не боящегося морского «волка», красивого и сильного существа, способного повергнуть даже такого великана, как кит, и что оно могло дать придонной неповоротливой «квашне», никем и ничем, вроде бы, не интересующейся, кроме как, только высасывающей со дна останки умерших животных, да подкарауливая зазевавшихся у самого дна мелких рыб?! Видать, на то оно и море, и уж, тем более, океан, что они отчего-то вдохнули в медлительного палтуса столько достоинств, и не только гастрономических. Палтус, каким бы странным это ни казалось, скрытая радость и тайна моря, его, не до конца, изученная сила, которую, между прочим, можно легко поймать.

Выдастся, бывало, в море свободный часок, и один из способов отдохнуть от опостылевшей судовой жизни, как бы это смешно ни звучало, та же рыбалка. Только не с помощью трала или сети, а на поддев! Наматываешь на палец или палку крепкую бечеву, снабжённую какой-нибудь приманкой – кусочком плёнки, усаживаешься там, где тебе никто не сможет помешать, скажем, на корме, и закидываешь свою нехитрую снасть в море: ловись рыбка и большая, и маленькая, и разве предугадаешь, что может угодить тебе в руки?

Время от времени подёргивая бечеву сильными рывками вверх и давая ей опуститься, думаешь о том, что и так, находясь в чреве моря, ты ещё как-то пытаешься с ним соединиться. Заигрываешь с ним, что-ли, отдыхая, а сам, втайне, неотступно загадываешь: кто-то ведь всё-таки позарится на твою бесхитростную приманку, клюнет в конце концов?! Опытные рыбаки рассказывали, что именно так, просто, можно поймать большого палтуса, не менее, чем с таз, и при подъёме его на поверхность он, якобы, даже ничуть не сопротивляется. Чудо, а не рыба!

А суть ловли подобным способом заключена в том, что палтуса привлекает не обманчивый вид или блеск наживки, и реагирует он на поддев не своими органами зрения: виной всему восприятие им ... колебаний воды! Ведь многие морские животные обладают способностью не только издавать самые разнообразные, иногда довольно сильные или очень слабые звуки, но и тонко улавливают их. И потому весьма вероятно, что палтус просто механически восприимчив к резким подёргиваниям наживки, отчего и попадает на крючок обычно не ртом, а любой частью своего тела, нередко и хвостом.

Американцы называют палтуса «халиботом», что в переводе, собственно, и означает «палтус». На него ставят закидушки, выходя на лодках в море к рифам, расположенным при входе в бухту. Закидушки оснащены крупными стальными крючками. Иногда попадаются огромные экземпляры до двух метров длиной. Такие гиганты оказываются настолько сильными и буйными, что таскают за собой лодку с рыбаком, и для того, чтобы успокоить рыбу, приходится стрелять в неё из ружья.

Широкую рыбу палтус не зря отличает внушительное рыло с гребенчатыми острыми зубами, - настоящие хищные челюсти, а глаза у неё покоятся на левой стороне, не как у родственной ему камбалы, и выражают неожиданную для довольно уравновешенной рыбы настороженность. Будто что-то неведомое, непонятное самому палтусу, неотступно беспокоит его затаенную душу, да он и не особо пытается его разгадать. Живёт в своём удовольствии на дне морей и океанов, весь покрытый тёмно-бурым мраморным рисунком и украшенный жемчужными светлыми пятнами. Хоть и кособокий, а привлекательный!

Оказавшись на палубе, такой палтус мощным хвостом разбрасывает рыбу и всегда привлекает внимание. При его размерах, неожиданно выделяющемся своей волшебной дымчатостью окрасе и обтекаемости совершенной природной формы, палтуса невозможно не заметить. Сразу захочется прикоснуться к нему рукой, а погладив и почувствовав всю его налитую силу, заключённую в этом спрессованном морем могучем теле, непременно поразишься. Не зря рыбаки, зная способность сильной рыбы уходить из трала и ценя вкусовые свойства, обычно применяют для её ловли яруса. Ничего не скажешь: хорош палтус, всем своим видом выражающий таинственность больших глубин!

В придонных холодных водах рыбаки вылавливают ещё ромбовидных камбал, из-за приобретённой с детства однобокой любознательности приспособленных только к жизни на дне, поэтому камбалу невозможно представить парящей в воде, как селёдку или терпуга. Маленькой, камбала плавает прямо и имеет, как обычные рыбы, по глазу с каждой стороны головы. Однако вскоре она почему-то начинает наклоняться в какую-нибудь сторону, и глаз, упирающийся в дно, перемещается к другому глазу. Находясь большую часть времени на одном боку, камбала лишается плавательного пузыря и совсем опускается на дно, превращаясь в настоящую

лежебоку. Распластавшись на дне невидимой лепёшкой, лежит камбала на боку всю жизнь, словно разочаровавшись от такого незатейливого своего пребывания.

Умело используя эту особенность рыб, неунывающие японские рыбаки сложили занятное поверье, по которому в полнолуние, в самый отлив, нужно войти в море по колена, встать на цыпочки и ждать. Освещённая лунным светом поверхность воды мешает камбале спать, и она ищет укромное, тёмное место, забираясь под ступни ног, бросающие спасительную тень. Тогда рыбак опускается быстро на пятки, прижимая её к плотному песчаному дну, прокалывает рыбу короткой пикой и отправляет в корзину...

На палубе траулера камбалы выглядят какими-то невесомыми симпатичными лепёшечками, тогда как у самого дна они всегда прыткие и юркие. Под водой камбалы принимают окраску песка или камней, облепленных моллюсками, не сразу их и разглядишь, а выловленные из моря, они безропотны и совершенно неподвижны, так что начинаешь воспринимать рыб, как удачно раскрашенные блюдца с разноцветными краями... Возьмёшь какую-нибудь понравившуюся тебе рыбку, слегка зажав между ладоней, перевернёшь её вверх белоснежным гладким животиком, белизна которого неожиданно поразит своей нежностью, и чему-то улыбнёшься: это само море подарило тебе доброе настроение через маленькую камбалку...

В противоположность камбале, сельдь – сущая непоседа. Рыбы, как птицы и как человек, склонны к путешествиям. Точнее сказать, эти странствия – их жизненная потребность, без которой они просто не в состоянии существовать. Вот сельдь постоянно и находится в движении: что-то гонит её из одного конца моря в другой, и, может быть, поэтому она выглядит такой стройной и подтянутой.

Ещё сельдь пленяет серебристой чешуёй с радужным отливом, нежно-изумрудной спинкой и маленьким изящным хвостом, но не красота создала ей повсеместную славу. Рыба – не мясо, и религия разрешала употреблять её в пищу во время поста. Народ, соблюдая религиозный обычай, особенно тянулся к сельди как недорогому и питательному продукту.

Все знают селёдку, будто у всех на устах всегда только она... Как сказал Брэм: «Без трески можно жить, камбалу и большинство других морских рыб доставляют в пищу по большей части лишь береговым жителям, но сельдь достигает до самой отдалённой от моря хижины». Во все времена сельдь была рыбой бедняков. Да и, по чести, нет другой рыбы, которая бы была более необходима, а сладка селёдочка всегда посолом!

Соление сельди в средние века было на особом счету, ей давалась привилегия по сравнению со свежими, копчёными рыбами, она освобождалась от государственных денежных сборов за ввоз в страну и вывоз. Английская королева Мария Тюдор, вошедшая в историю как «кровавая», издала закон, по которому плохой посол рыбы карался смертной казнью.

Укладывать сельдь в бочки придумали датчане. Голландцы же усовершенствовали посол: «... чтобы лучше сохранять сельдей солёных, им распарывали горло и вынимали челюсти, от которых они скоро портились». Заслуга в этом усовершенствовании принадлежит промысловнику Вильгельму Бевкелю.

Нововведение в посоле признавалось настолько многозначительным, что в 1556 году император «Священной римской империи» Карл 5, будучи в Нидерландах, специально съездил на родину Бевкеля в провинцию Брабант и почтил его память, посетив могилу. Но голландский метод посола не привился в России, где приемлемым оказался свой, когда по приказу Петра Первого астраханский губернатор обязан был «опробовать солить сельдь, которая в Каспийском море...», укладывая её навалом в предварительно замоченные бочки. В процессе заполнения бочки встряхивают, а верхний слой рыбы засыпают солью. Общее количество соли в бочке зависит от сезона, температуры воздуха и воды, жирности рыбы, температуры в трюмах. Затем в бочки заливают воду на два десятка сантиметров ниже уровня верхнего паза, в течение двух дней выдерживают на палубе и, слив их содержимое и проверив качество рыбы, бочки вновь заливают тузлуком – раствором определённой солёности, закупоривают и опускают в трюм.

В некоторых северных странах сельдь раньше своим массовым появлением доставляла береговым жителям единственные средства к жизни и служила для них главным источником дохода. От удачного улова сельди зависело всё их благосостояние. Трудно сейчас представить себе те громадные стаи сельдей, которые появлялись у берегов и Норвегии, и Шотландии, и России, когда наступало время прибытия этой рыбы в результате её миграции, а рассказы очевидцев просто кажутся невероятными. Стаи длиной и шириной в несколько миль покрывали поверхность моря и ночью отливали фосфорическим блеском, сельдь шла так густо, что лодки, попадающие в стаю рыб, подвергались опасности быть перевернутыми, и весло, погружённое в эту рыбью массу, будто бы продолжало стоять, точно его воткнули в землю.

Людей охватывало неописуемое оживление. В каждой маленькой бухточке или заливе скоплялась целая флотилия судов и рыбачьих лодок. На берегу приготавливались склады и дворы для укладки сельдей в бочки, и все думали и говорили только о сельди, ожидая известий о том, что «рыба идёт». Сердца всех были полны надеждою на счастливый улов, тогда как несметные полчища рыбы просто поражали воображение.

По воспоминаниям старых рыбаков, море, насколько хватает глаз, сверкало и серебрилось чешуёю необозримых стай сельди. Иногда рыба шла такими тесными рядами, что из общей массы множества тысяч сельдей рыба выпирала на поверхность, образуя нечто вроде живых трепещущих холмов, возвышающихся над плывущей стаей. Живая копошащаяся масса сельдей заполняла заливы полностью, так что рыба инстинктивно жалась к берегам. Киты и дельфины, акулы и сивучи, бесчисленные стаи чаек и альбатросов

постоянно сопровождали сельдь во время её хода, и на долю человека доставалась лишь сравнительно незначительная часть рыбы. Но сельдь не всегда появлялась у берегов сплошной массой, и в такие годы береговое население бедствовало совершенно так же, как бедствовали крестьяне от неурожая.

В связи с сельдью, мне сразу вспоминается бухта Сущёва на материковом побережье Татарского пролива, где колхозные рыбаки угостили нас бочкой отборной хоккайдской сельди... При перегрузке с кунгаса на судно бочка упала, переваливаемая рыбаками через фальшборт, раскололась, и из неё выскользнули на палубу широкие красивые рыбины, совсем не похожие на ту сельдь, которую мы покупаем в магазине. Это был шедевр моря, его одно из лучших творений, сосредоточенное в рыбе, призванной улаживать и китов, и косаток, и дельфинов, и человека...

Сельдь лежала на выбеленной палубе так свободно, легко, а бока её отливали таким радостным и чистым светом, что пролетающие над нами утки ясно запечатлелись в них; собственно, благодаря рыбе - утки и были замечены... Вот такая эта селёдка была широкая и жирная. Словом, роскошная!

Рыбаки, завидя возникшее на наших лицах недоумение, даже растерянность, тоже как-то неловко и широко заулыбались, они были искренне смущены приключившейся с их стороны неосторожностью. Но вид селёдки как бы всех успокоил, присмирил одолевшие души смешанные чувства и незаметно связал невидимыми узами взаимопонимания, одновременно соединив с окружающим диким миром природы. Обыкновенная, казалось бы, рыбка – сахалино-хоккайдская селёdochка, спаяла нас с рыбаками неподдельно дружескими чувствами.

Американские индейцы называли сельдь по своему – «менхаден»... Они применяли её в качестве ... удобрения. Индейцы из племени алгонкинов, сажая кукурузу, закапывали в каждую ямку по рыбе, которую они называли «манноквото» - «удобряющая землю». Постепенно это слово превратилось в «менхаден», совершенно нам, русским, ничего не напоминающее о красивой стремительной рыбке, так всеми любимой за своё доступное своеобразие и нежность вкуса.

Ни одной рыбе ихтиологи не уделяли столько внимания, как сельди. Ей посвящено и самое большое количество научных публикаций, что объясняется многочисленностью и ценностью этой рыбы. За последние 500 лет люди съели сельди гораздо больше, чем другой рыбы, и было бы не лишним поставить ей памятник.

Но вообще-то, все рыбы удивляют своей неповторимостью. Они свободны в привычках и порой очень изобретательны. Среда обитания сама располагает их к фантазии, а необычность поведения многих из них заставляет серьёзно задуматься.

Когда на море надвигается тёмно-синий сумрак, для маленькой серебристой сайры наступает покой. Рыбки поднимаются со дна ближе к

поверхности моря и начинают кормиться мельчайшими живыми существами. Светло-трепещущими облачками плывёт сайра в толще воды, совершая неторопливые движения вверх-вниз, вверх-вниз, и от этого маленькие облачка превращаются в огромные тучи.

С наступлением темноты рыбаки включают сильные прожектора, лучи которых скользят впереди судна, выискивая косяки жирующей рыбки. При попадании в полосу света, рыбки приходят в большое возбуждение: снуют и плавают друг за другом, время от времени выпрыгивая из воды. Прыжки их становятся всё чаще и выше. Затем они сбиваются в сплошную живую массу и с приближением к судну продолжают смыкаться всё теснее. Движение рыб то замедляется, то убыстряется, и вскоре они образуют сверкающий огромный шар, который кружится в черноте воды, переливаясь радужными отблесками. Околдованная светом сайра уже никуда от него уйти не может.

Подойдя к косяку, судно выставляет бортовую сетную ловушку и лучом ведёт к ней рыбу. Та послушно следует за лучом прожектора к судну, с обеих сторон которого выставлены над водой по нескольку люстр, излучающих красный и синий свет. Когда сайру подведут к судну, лампу одну за другой гасят, кроме красной, находящейся в зоне ловушки. Сопровождаемый не совсем приятным, даже для рыбаков, звуком сирены, красный фонарь начинает ритмично пульсировать в ночи, вводя сайру на время в откровенное заблуждение, после чего ловушку, наполненную рыбой, остаётся только поднять на палубу.

Чем зачаровывают световые ощущения эту маленькую рыбку – неизвестно. Мало вероятно, что сайра во всём своём стадном обитании до такой степени подвластна слепому любопытству, чтобы целыми косяками, без тени сомнения, обрекать себя на вымирание. Скорее всего, беззащитные рыбки днём не решаются подняться ближе к морской поверхности, опасаясь нападения хищников, и делают это под надёжным покровом темноты, во время которой и корм более заметен, и сами они неразличимы. Попав же в неожиданный поток света, рыбки, никогда не видевшие солнца, начинают безумно радоваться, следуя за ним неотрывно и беспрекословно. Этому стремлению серебристых рыбок стоит посочувствовать, на что у рыбаков, конечно, не хватает жалости.

К слову сказать, одушевление каких-либо явлений, предметов, самого судна во время плавания или же вот таких занятных рыбёшек – вещь довольно странная и непередаваемая, и она присуща, наверное, только мужчинам. Мужчины, остающиеся на долгое время одни, превращаются неминуемо в мальчишек, так же как взрослые женщины, сколько бы они не называли друг друга девчонками, никогда до состояния детства не поднимутся. А может быть, у них это происходит по-другому, нежели у мужчин. Так или иначе, но мальчишкой быть несомненно интересней. Мальчишки – большие выдумщики, только они наделены в полной мере стремлением к справедливости, а главное – способностью быть

справедливыми, и это позволяет им любить друг друга несмотря на то, что они постоянно дерутся.

Все рыбаки – тоже мальчишки. Как бы они ни жаловались на свою нелёгкую работу, никто ни за какие блага не променяет суровый удел промысловика на какое-либо земное, спокойное занятие. Каждый из них совершенно искренне любит рыбалку, но ещё более любит пойманную рыбку есть...

Традиционный рыбацкий праздник для непосвящённых – горы перевыполненного плана, но для настоящих рыбаков он начинается с хода корюшки. Корюшка – небольшая стройная рыбка, с телом веретенообразной формы, тёмной спинкой, серебристыми боками и таким же брюшком. Нивхи северного Сахалина всегда добывали корюшку, идущую весной на нерест, в изобилии, так что даже приходилось употреблять её на удобрение. Одно селение на северо-западном побережье острова даже носило название – «Корюшкино» или, по-нивхски, «Арково».

Для нереста корюшка подходит в конце апреля в низовья рек, но вдали от берега рыбаки начинают ловить её уже в марте. Если у Бунина Чёрное море пахло арбузом, а у Паустовского – персиками, то Охотское море в эту пору, без сомнения, благоухает свежими огурцами. Именно такой запах в период своего хода источает эта проворная, изящная рыбка, отчего, помимо своего основного названия – «малоротая корюшка», она ещё именуется и как «огуречник». Прочитав Брэма, я очень удивился высказанному им мнению, будто корюшка издаёт не свежий аромат, а запах гнилых огурцов...

Как бы то ни было, корюшка идёт безостановочно несколько дней кряду, в безотчётном порыве продолжения рода отдаваясь на волю морским волнам, и сумасшествие это неминуемо передаётся всем рыбакам, которые начинают её без усталости ловить. Экипаж разбивается на партизанские группки, группки объединяются вокруг добывания посуды, необходимой для засолки рыбы. Поскольку посуда находится в моём ведении, я на добрую неделю становлюсь центральной фигурой на судне, что не без основания тешит моё застоявшееся самолюбие.

Стараясь в первый день хода соблюсти хоть какие-то приличия, рыбаки обращаются ко мне уважительно, лицемерно называя при этом по отчеству, что, впрочем, не препятствует исчезновению в скором времени с камбуза всех пригодных сосудов. Уже на второй день невозможно было отыскать ни одного бачка, необходимого для приготовления пищи, затем в дело пошли столовые миски, а однажды я не досчитался даже помойного ведра. Пропавшая посуда, конечно, лежала на моём подотчёте, но единственным утешением было то, что старпом тоже не удержался и спёр-таки у меня кастрюлю под засолку вкусной рыбки. Это давало мне в руки козырь, который я благоразумно откладывал, надеясь воспользоваться им в чёрный для себя день.

Стремление насладиться лакомым блюдом у наших рыбаков было настолько велико, что, не взирая ни на какие положения дисциплинарного

устава, всё судно насквозь пропахло рыбьим жиром и огурцами, а машинное отделение походило, скорее, на рыборазделочное помещение или какой-нибудь цех по засолке, чем на главный связующий орган судовых механизмов.

Вяленая рыба – предел мечтаний экипажа в длительном рейсе, и дальше своих мелких побуждений команда не желала заглядывать в эти обезумевшие дни. Весеннее море вновь дарило удовлетворение, всегда по-разному доставляя его своим приверженцам, а сколько в нём было ещё того, что таилось в неизведанной глубине...

Вот, скажем, морской дракон – маленькое костистое чудище, сразу привлекающий к себе внимание необычной формой тела и расцветкой. Наверное, он получил своё прозвище за сходство с драконом, каким мы его знаем по древним сказочным изображениям в книжках, в которых у него всегда присутствовала раскрытая клыкастая пасть, торчащие в стороны жаберные крышки с шипами, рогатая голова и мощные спинные гребни с длинными иглами. Морской персонаж и на самом деле являет собой довольно устрашающий и грозный вид, несмотря на то, что не превышает в длину сорока сантиметров. Вернее будет сказать, что это всего лишь морской дракончик с приплюснутым телом, на боках – несколько рядов шипов, кожа очень плотная, шершавая, как наждак, хвост – пронизанное острыми иглами прозрачное опахало, и цвет – непонятный, муаровый, с тёмными и светлыми прожилками и расплывающимися неясными разводами...

Не алый, не коричневый, не пурпурный, не фиолетовый, не багровый, а какой-то сказочный, именно драконовой сути являет собой этот цвет, покрывающий шероховатое тело диковинного существа. Будто смесь всех выше перечисленных красок выплеснул кто-то на морского дракона, призванного то ли устрашать подводных обитателей, то ли удивлять... Просто, этот морской дракончик сам по себе такой, его невозможно обойти вниманием, хотя он и не отличается какими-либо вкусовыми свойствами, словом, дракончик поражает всех своим воинственным и очень впечатляющим видом.

Но, как ни странно, цвет этот удивительно подходит морскому дракону, цвет грязноватый, даже – аляповатый, и с бура, и с красна, и с желта, и с черна, но, тем не менее, словно светящийся изнутри, правда, неброско. Он уместен для этого колючего подводного существа, которое, по-видимому, никого в море не интересуется. Только рыбаки за своей однообразной работой порою любят его наострившейся во все стороны тёмно-багряной красотой, расправляя руками ещё не обсохшие плавники дракона: их сдержанное пламя неведомой морской глубины, приглушённое серыми тонами туманного северного дня, необъяснимо зачаровывает.

Водится морской дракон на больших глубинах, как будто скрываясь там ото всех, его таинственный образ жизни малоизвестен, а вызволенный на поверхность – он становится беспомощным, хотя и не теряет своего

ужасного вида. Часто попадаясь рыбакам в трал и запутываясь своими колючками в ячеях, морской дракон, конечно, становится предметом всеобщего недовольства, потому как каждого такого обитателя морских глубин приходится тщательно выпутывать, рискуя серьёзно поранить при этом руки. К тому же, в пищу морской дракон не годится, поскольку весь состоит из шипов и колючек: похоже, у него вообще отсутствует мясо. Но, зато, морской дракон ценится своим необычайно фантастическим обликом, и постепенно начинает даже нравиться рыбакам. Будто околдованные этой неведомой красотой, они уже сами начинают колдовать над морским «чудищем», перетягивая и закрепляя его плавники с хвостом лесой в какой-нибудь устрашающей позе, затем подвешивают в машинном отделении и уже после того, как чучело засыхает до каменной твёрдости, с одухотворённым выражением лица покрывают лаком...

Вращающиеся на верёвочках под подволоком, высушенные и поблескивающие в темноте каюты драконы, с растопыренными и округлыми плавниками и страшно разинутой пастью, навевают неясные, а порой и ужасающие образы и в не без того метущихся коротких снах усталых рыбаков, возбуждая что-то волнительное, переживаемое только в море. Куда-то они увлекают за собой, эти вызывающие ощущение полёта волшебные драконы, будто приглашая ухватиться за их плавники или даже оседлать. Очутившись же в машинном отделении и постоянно натываясь на разверзнутые пасти, торчащие в разные стороны иглы и страшные рогатые головы мерно покачивающихся драконов, и вовсе примешь их за какие-то диковинные морские игрушки. Постепенно к ним все привыкают, воспринимая как нечто неотъемлемое от судовой экспедиционной жизни.

Однажды, на одном добывающем судне, мне привелось лицезреть в каюте боцмана, которого, кстати, на морском жаргоне именуют не иначе, как «драконом», целую композицию, состоящую из трёх морских дракончиков, изображающих своеобразную подводную упряжку... В качестве кареты в неё была запряжена огромная раковина приморского гребешка, а в ней, удерживая в клешнях вожжи, восседал королевский краб, застывший в этом морском кабриолете на полусогнутых задних конечностях, в напряжённой позе возницы, и всё это, невообразимое на самом деле сооружение, лихо устремлялось в неведомую и манящую морскую даль, поражая своим сказочным своеобразием. Но глядя на такую композицию, в тоже время, сразу представлялось, что в море, среди многочисленного царства рыб, всё возможно.

Впрочем, назвать морского дракона рыбой язык как-то не поворачивается: до такой степени он напоминает нечто дьявольское, какого-то сказочного крылатого змея, у которого и глаза были змеиные, скорее – именно драконьи, да и в своём имени, по-латыни, рыба эта значилась не иначе как TRACHINUS DRACO! Драконья голова, драконьи шипы, драконья пасть, драконий взгляд, драконья неведомая кровь! Как тут не заинтересуешься и не возьмёшь в руки необычное существо, вывалившееся

вместе с треской, минтаем и камбалой из трала на палубу? Оно и лежит всегда как-то отдельно, хотя и вместе с рыбой, будто всем своим видом демонстрируя причастность к некоему особенному подводному ордену, в который не всякий из морских обитателей вхож.

Какой-то морской Змей Горыныч, житель подводной пещеры, хоть и маленький, а приковывающий к себе внимание. Даже в руки его поостережешься сразу брать: ан, как он – заговорённый самим морским богом и наделённый им неведомой чудодейственной силой?! Чудо, что не объяснишь никакими известными нам законами природы, диво-дивное, в которое всегда верили люди, тем более, в старину...

... Где-то в беспросветной тьме океанских глубин, может быть, до сих пор таится гигантское животное, неведомое пока человечеству... Во всяком случае, мне хочется так думать, и я не раз представлял его себе, особенно в детстве, когда рассматривал прекрасные иллюстрации к «Таинственному острову» Жюль Верна. Там был изображён огромный спрут, с чудовищной длины щупальцами, опоясавшими собой мачты корабля. Его глазницы поражали воображение размером и ужасной отрешённостью, с какой морское чудовище взирало на свою жертву. Люди в ужасе прыгали за борт, а некоторые корчились в сжимающихся щупальцах... Холодящая кровь картина, тем более, что мне искренне верилось: такое чудовище на самом деле где-то существует, и, значит, я его когда-нибудь могу увидеть!

После выборки трала палуба, обычно, бывает ещё усеяна кофейно-крапчатыми скользкими телами кальмаров. В отличие от своих гигантских сородичей, обитающих в немыслимых глубинах, они отличаются гораздо меньшими размерами, но в неистовости истребления мелкой рыбёшки вполне успешно конкурируют с другими морскими хищниками. Движения их легки и стремительны, а в скорости они не уступают неутомимым дельфинам.

Дальневосточный кальмар, временами массами заходящий в ставные невода и тралы, очень популярен среди местных рыбаков. Проплывая во время своих миграций колоссальные расстояния от южной оконечности главного из островов Японии – Хонсю до северной части Татарского пролива, он непременно и не раз попадёт на их обеденный стол. Кальмар держится обычно в районах ловли сайры, ибо так же, как и эта проворная рыбка, собирается на свет. Разве упустит он возможность продемонстрировать чудеса своего гидроактивного двигателя!

Что же касается гигантских сородичей кальмаров, то обитают они на больших глубинах океана, образ жизни их мало изучен, и известно только, что длина пойманных экземпляров, считая со щупальцами, достигает почти двух десятков метров, а диаметр глаз – доброго кухонного тазика. Много гигантских кальмаров, кстати, обитает в прилежащей к Курильским островам части Тихого океана, и поскольку они живут на значительной глубине, то возможность их встреча с человеком мало вероятна. С кем уж кальмарам и приходится чаще всего сталкиваться, так это – с кашалотами. В желудках

кашалотов постоянно находят их остатки, а на коже кашалотов иногда обнаруживают отчётливые следы огромных присосок кальмаров. Причём, это не просто следы, а шрамы длиной иногда в несколько метров, глубиной и шириной в несколько сантиметров. От обилия этих шрамов и сильных царапин старые кашалоты даже приобретают более светлый тон окраски, особенно на голове, которая в первую очередь становится объектом «объятий» гигантских моллюсков.

Б.А.Зенкович в книге «Киты и китобойный промысел» красочно описывает схватку кашалота с таким гигантским кальмаром, увиденную с борта китобойца. Известно, что длина гигантского кальмара-архитевтиса нередко достигает и 15 метров, но самый большой экземпляр, точно измеренный зоологами, был длиной 18 метров и весом, по-видимому, около 8 тонн. Вдобавок, время от времени из разных точек планеты не перестают поступать сообщения о ещё более огромных спрутах, существование которых вполне допустимо.

Но вернёмся к кальмарам, которых может увидеть в их родной среде каждый, если приложит к этому определённые усилия. Длина кальмаров обычно не превышает тридцати-сорока сантиметров, и напоминают они изящные фаянсовые сосуды, искусно выдутые неведомыми мастерами подводного царства. И голова, и мантия, и окружность глаз их украшены перламутровыми пятнышками, часто обведёнными голубовато-зелёными и розовыми разводами. При ярком солнечном свете, когда выбираемый трал весь увешан смирившимися со своим незавидным положением кальмарами, они воспринимаются какими-то ювелирными изделиями, усыпанными драгоценными камнями.

Медленно тянутся из морской глубины эти причудливые гирлянды... И ты, совершенно позабыв, что вытащенные на палубу кальмары, желая отпугнуть назойливых зрителей, способны выбросить на пару метров густую струю «чернильной» жидкости, имеющую в воде защитное маскирующее значение, подойдешь к ним и берёшь в руки... Перламутрово-гладкие, нежные тела, ещё несущие в себе трепетную жизнь моря, удивительно завораживают, вызывая в душе неопишуемые чувства...

Кстати, кальмары пускают в ход свои «чернила» очень точно, почти прицельно, и могут выбрасывать их длительное время. И даже когда покажется, что запас кальмара иссяк, следует всё равно опасаться очередного выстрела. Кальмар сопротивляется обычно до самого конца, и можно быть уверенным – напоследок он приготовит особый сюрприз.

Общеизвестны превосходные японские шкатулки, покрытые знаменитым цветным лаком и часто инкрустированные перламутром, так вот лак этот в Японии готовят из морских животных – кальмаров, вернее – их «чернильной» жидкости. Об этом способе получения лака почти ничего неизвестно. Секрет передавался из рода в род и очень бережно хранился. Мастера этого дела поодиночке выходили на лодках в море и там, вдали от любопытных глаз, варили лак из пойманных кальмаров.

Тем, кто наблюдал кальмаров только на прилавках магазинов – трудно представить, сколь совершенно это создание моря. Плывущие кальмары – живое воплощение скорости, они стремительны как молнии, пронзающие его глубинную суть. Их волнообразная мантия, накачивая и с силой выбрасывая воду из своей полости через узкое отверстие, расположенное на конце эластичной трубки-воронки, работает подобно насосу, а гарпунообразные плавники в задней части тела ещё более усиливают движение. Кальмары без усталости носятся взад и вперёд среди косяков сайры и другой рыбы, торопливо засовывая одну жертву за другой в свою маленькую пасть. С виду – ненасытные каннибалы, на самом же деле кальмары обилием поглощаемой пищи компенсируют значительный расход энергии.

Зигзагообразно мелькающие под бортом судна восхитительные кальмары, способные мгновенно уноситься прочь, совершенно очаровывают внимание. Глазом не моргнёшь, а их уже и след простыл. Кальмары будто прилепляются к рыбкам, за которыми гоняются без удержу, складывают в струнку щупальца, вытягиваются и стремглав несутся за добычей, выталкивая из себя воду. А то превращаются в изящных подводных бабочек, что отрешённо порхают в необозримых просторах океана, не ведая – куда себя девать. В порыве же охоты они способны развить такую бешеную скорость, что нередко даже выпрыгивают на палубу! Лежат на выбеленных досках и злятся, наливаясь красочным жаром, или же, от невозможности что-либо изменить, превращаются в невзрачных, почти неразличимых моллюсков, которых уже трудно представить неистово несущимися по волнам...

О летающих кальмарах я слышал и раньше, но одно дело – прочесть об этом в книге, и другое – наблюдать самому вырывающихся из воды животных, которых, почему-то, не удовлетворяют только морские просторы, и они ещё устремляются к парению над ними. Расположенные в мантии кальмара мощные группы мышц и нервные узлы так энергично сокращаются, что он представляет собой живое воплощение реактивного двигателя, на предельной скорости способного лететь по воздуху. Увидев подобное хотя бы раз – глазам не поверишь, но прелесть и восхищение от этого остаются незабываемыми. Ощущение такое, будто кальмар в полёте всё видит, понимает, что с ним происходит, и наслаждается своими удивительными возможностями. Созидающая его сила - великолепна!

Идеально гладкое тело этого морского хищника напоминает какой-то стремительный снаряд, и, покрытое множеством разноцветных и чистых пятнышек, сливающихся со стороны в сплошной розовато-кремовый тон, то вспыхивая, то тускнея, приковывает к себе необыкновенной красотой. Изящные плавники кальмара обёрнуты вокруг его тела так, чтобы не создавать завихрений, максимально вытянутые щупальца плотно соединены друг с другом наподобие липучих застёжек, и всё это выверенное и отшлифованное природой совершенство призвано стремительно и манёвренно лететь, хватать и пожирать. Учёные расходятся во мнениях – как

быстро плавают кальмары, но чаще всего в литературе можно встретить утверждения о том, что скорость их движения достигает 50 километров в час. В воздухе кальмар летит, конечно, ещё быстрее, поскольку сопротивление движению во много раз меньше.

Не исключено, что все эти цифры о скорости кальмаров изрядно преувеличены, но по манёвренности животные превосходят многих рыб. И хотя обычно кальмар движется «задом наперёд», он может, круто изогнув конец воронки, мгновенно изменить направление на обратное. Манипулируя воронкой, кальмар совершает и крутые повороты, и даже движется боком. Большую роль при повороте играет и положение плавников, а также – сложенных пучком щупалец, вращающихся во все стороны. Но если кальмару спешить не нужно, он пропускает через плавники мелкие волны нервических разрядов, спереди назад, и грациозно скользит, изредка подталкивая себя струями воды. Заглядеться можно!

Однажды мне всё же удалось лицезреть кальмаров, во всей своей красе взлетающих над водой и шлёпающихся в неё. Правда, я не мог достаточно ясно рассмотреть – как они вонзаются в колышущую морскую поверхность, ибо стоял уже вечер, на море было небольшое волнение, но взлёт белеющих в темноте моллюсков был хорошо заметен, и я сначала подумал, что это – летучие рыбы: откуда бы им тут взяться, ещё промелькнула мысль. Мы малым ходом продвигались вдоль побережья курильского острова Итуруп, в одной из его бухт нам предстояло набрать воды из родонового источника, и вскоре должны были высадиться на берег во время прилива, куда невозможно было зайти в отлив. И вот, уже на подходе к заливу, из чернеющего океана вдруг начали выпрыгивать кальмары...

Их было много, не пересчитать, и все они переливались красными, синими, жёлтыми и фиолетовыми огоньками, фосфорисцирующими в сгущающихся сумерках, и это было так обворожительно, что сидящие в боте усталые люди оживились, восхищённо стали обсуждать увиденное, а затем замолчали, задумавшись, наверное, каждый о своём. Стало совсем тихо, – только струящаяся рядом вода, упруго всплескивающая у пластикового борта, какой-то неясный гул, исходящий со стороны берега, вероятно, от прибоя, и вырывающиеся из утробы моря гладкие, плотные тельца кальмаров, тотчас падающие во влекущую к себе таинственную влагу, и опять возникающие из неё: реальные в своей притягивающей красоте, но необъяснимые... Не передать, как было хорошо от переживания всего происходящего, и думалось как-то надёжно, с твёрдой уверенностью, что всё тебе удастся. Опять же, почему-то, благодаря кальмарам, – загадочным морским обитателям, о которых все всё, вроде бы, знают, но никто толком не ведает.

Да и вообще, для непосвящённых нет никакой разницы между кальмарами, осьминогами и даже каракатицами. Всяк видит во всём неизведанном только какой-то необъяснимый подвох, тогда как

посвящённые ясно осознают: кальмары – великолепные, изящные существа, чудные пловцы, до того загадочные, что не знаешь – чего от них ожидать. И если душу океана выражают преданные ему дельфины, мудрость глубины – величественные киты, мечтания – отрешённые глупыши и альбатросы, сновидения – очаровывающие своей таинственной прозрачностью медузы, то безудержные кальмары – это его спутанные мысли, теряющиеся в нём самом поиски выхода необъятной морской энергии, способной, кажется, вырваться из глубин и улететь. Но что-то их не пускает... Наверное, кальмары просто не знают – куда себя деть, так их переполняет великая океанская сила, и они всё мчатся, мчатся, мчатся в зеленовато-голубой толще шелковистой воды, ласково обнимающей их совершенно обнажённые тела...

Здесь уместно будет заметить, что моё знакомство и с морем, и с морской кухней произошло именно благодаря кальмарам. Я только что приехал на Сахалин, ничего ещё толком не знал ни про остров, ни про море, и решил зайти пообедать в привокзальное кафе. Меня сразу привлекли маленькие пиалы с аккуратно уложенными в них нежно-кремовыми, какими-то бестелесными брусочками, так мягко уместающимися в белой простой посуде, почему-то необыкновенно притягивающие к себе. На ценнике значилось: «Кальмары в горчичном соусе, 90 копеек», и я, не задумываясь, поставил на поднос незамысловатое, но очень соблазнительное блюдо. Почему-то сразу поверилось, что это именно море, его маленькая и обязательно вкусная частичка, которую я с удовольствием попробую и полюблю. И я попробовал, и тотчас влюбился в то, чего ещё никогда не видел.

Кальмары, действительно, очень вкусны, ими питаются различные рыбы, птицы, дельфины, тюлени и киты, и почему бы им не оказаться на обеденном столе человека? Вдобавок, кальмары, видимо, любознательны и очень равнодушны ко всему яркому, цветному, что и порождает их довольно простую и эффективную добычу. Иногда складывается впечатление, будто они желают узнать как можно больше об окружающем мире, поскольку живут лишь год-два, и в этом своём откровенном устремлении часто оказываются довольно суетливы, даже - опрометчивы. Может быть, именно поэтому промысел кальмаров до сих пор ведётся ещё и примитивным традиционным методом – их ловят на поддев, используя в качестве приманки ярко раскрашенный фонарик из светонакопительного стекла в форме небольшой сигары с двумя венчиками острых безбородочных крючков, так называемый – «джиггер».

Ловец, удобно устроившись на корме, наматывает конец лески на палец, бросает снасть в воду и время от времени подёргивает её. Никакой наживки при этом не требуется. Кальмар бросается на яркую блесну и обхватывает её ловкими щупальцами, а овладев привлекательной игрушкой, уже не выпускает её из объятий, тем самым становясь легкой добычей: с такого крючка трудно сорваться. У моряков этот лов кальмаров называется – «удить на самодуры»...

Вылавливая любопытных головоногих подобным, очень доступным для каждого способом, человек как бы вступает с морем в открытое и разумное общение, пока ещё не утратившее налёта старинной, доброй романтики, и в кальмарах, оказавшихся вскоре у человека на обеденном столе, усматривается доброе расположение к нему морской стихии. Море, наверное, не зря посылает человеку кальмаров, чтобы он изредка лакомился его богатствами и оставался к морю благосклонным.

Изредка в трал попадали переливающиеся спокойными радужными оттенками мозаичные скаты. Несмотря на то, что скаты занесены в перечень опасных животных, на палубе нашего траулера они выглядели довольно безобидно. Замкнутые в себе и тихо обескураженные тем, что оказались вне родимой стихии, они неподвижно лежали посреди разнопёстрого улова, лишь иногда волнообразно шевеля боками и как бы тяжело вздыхая.

Не покидало ощущение, что скатов кто-то специально расплющил, и их грудные плавники, постепенно расширяясь, превратились в крылья, покрывая палубу наподобие живого одеяла. Не хотелось дотрагиваться до беспомощно распластавшихся на палубных досках скатов, боясь нарушить ту неуловимую трепетность, в которую они впадали, и только пристально смотреть на удивительных животных, пытаясь представить их скрытую под водой жизнь. Скаты не пугали, а наоборот, всем своим видом действовали умиротворяюще, отчего хотелось дотронуться до их округлых боков и погладить.

Опасными скаты считаются благодаря несомому в себе электростатическому заряду, и некоторые из них, в основном – из-за внушительных размеров, действительно имеют грозный вид, но никто не помнит случая, чтобы какой-нибудь скат совершил нападение на человека. Конечно, вам вероятнее всего захочется выскочить из воды, увидев рядом мощные многометровые крылья и длинный острый хвост необычного животного, но это только по причине собственного неведения. На самом деле, пугающие «крылья» - есть ничто иное, как расширившиеся со временем грудные плавники, представляющие одно целое с головой и боками.

Скаты, скорее, напоминают не устрашающих чудовищ, а гигантских бабочек или летучих мышей, каким-то чудом оказавшихся в подводном царстве. Особенно наглядно это сходство проявляется в их манере передвижения: края плавников у скатов совершают плавные волнообразные взмахи, вогнутые поверхности крыльев на мгновение замирают, и животное грациозными рывками скользит в водной толще, совершенно зачаровывая воздушностью своего подводного полёта. Кажется, будто в воде «летит» фантастическая бабочка, и происходит это в замедленном темпе.

Но завораживающая красота движений скатов – не главное: с помощью своих крыльев животные выкапывают из песка схоронившихся там моллюсков, а некоторые из них набрасываются на добычу, накрывая её собой. Ската, распростёршегося на грунте, чрезвычайно трудно обнаружить. Своё ложе скаты устраивают, тщательно взбаламучивая донные осадки,

которые потом наполовину погребают их. Крылья скатов слишком толсты и тяжелы, поэтому большинство их передвигаются медленно. Но лентями скатов не назовёшь. Может быть, поэтому в процессе эволюции клетки мышц у них не производили сокращения, а специализировались на выработывании электричества.

Говорят, что лечебное свойство этих рыб было открыто императором Тиберием, который во время купания наступил на электрического ската и обнаружил, что разряд облегчил подагрические боли. Древние римляне, следуя примеру родного императора, стали с тех пор оборачивать скатами ноги и даже клали их на головы, дабы избавиться от душевных болезней. С лёгкой ноги Тиберия и сами того не ведая, римляне ввели в обиход электротерапию.

Обычно электрический заряд, представляющий собой, по существу, серию очень коротких импульсов, используется скатами для отпугивания хищников, вроде акул. Это также превосходное средство, с помощью которого можно добыть себе таких быстроходных рыб, как лосось, сайда или треска. Так называемые «электробатареи» ската представляют из себя плоские дискообразные ячейки, напоминающие пластины автомобильного аккумулятора, и располагаются в крыльях животного. Средних размеров электрический скат способен вырабатывать ток силой в 50 ампер и напряжением около сотни вольт, которого вполне достаточно, чтобы умертвить крупную рыбу или даже сбить с ног взрослого человека.

И всё же, скаты – миролюбивы, к тому же, очень симпатичны, и при своём достаточно грозном вооружении – остром хвосте и способности поразить электрочарядом, ведут безобидный образ жизни. Но если скат окажется подцепленным на крючок или в него вонзят гарпун, то он может долгое время буксировать бот с несколькими людьми. От старых моряков я слышал, что иногда эти животные целиком выскакивают из воды, а зрелые самки будто бы даже производят на свет своих детёнышей в то время, когда взлетают в воздух. Мысленно я ясно себе это представляю, и мне хочется, хотя бы на короткий миг, стать скатом...

Однажды, в самый разгар обеда, мастер появился в кают-компании с толстенным томом «Морской кухни» под мышкой и торжественно объявил всем, что на ужин сегодня будет приготовлен невиданно вкусный деликатес из филейной части акулы, кальмара и ската. Дав мне кое-какие распоряжения по части приготовления этого необычного блюда, капитан, с заговорщическим видом запершись на камбузе с кандеем, проколдовал там часа три кряду. Команда в это время с настороженным вниманием следила за моими подозрительными передвижениями с набитыми морской животиной ведрами, а третий штурман, опасливо покосившись на закрытую дверцу кормушки, не удержался от своего очередного афоризма: «Когда резвятся слоны, резвятся и собаки, и даже мускусные крысы прыгают вокруг».

К ужину, как всегда, второй помощник пригласил всех по судовой трансляции в кают-компанию, но никто почему-то не отважился съесть хотя

бы один дымящийся бифштекс со щедро выставленного на стол кандеем противня. Решили испробовать новое блюдо на боцмане, поскольку трапеза для Фёдора Фёдоровича была делом, можно сказать, священным, и относился «дракон» к ней с предвкушением удовольствия, так же неторопливо и основательно, как делал он всю палубную работу.

В момент изготовления чудодейственного ужина Фёдор Фёдорович мирно почивал, а потому никоим образом о готовящейся над ним экзекуции не ведал. Войдя в кают-компанию и не заметив гнетущей обстановки ожидания, он без всяких предрассудков сжевал целиком бифштекс, тотчас попросив при этом добавки. То же самое произошло и со второй порцией, но ничего подозрительного с боцманом не случилось. Команда до неприличия откровенно тарасилась ему в рот, но Фёдор Фёдорович ничего не замечал и, выхлебав в довершение всего три кружки киселя, в полном удовлетворении удалился.

Старпом тут же со всей присущей ему официальностью заявил, что есть этого «дьявола» ни за что не будет и объявляет голодовку. Для разного рода неучей он добавил, что скаты эти самые сплошь напичканы электричеством, а ещё того пуще – встречаются ужасные хвосты с колючими шипами на противном, похожим на крысиный, хвосте... При этом он изобразил на лице отвращение, имитируя припадок бурной тошноты и желудочного расстройства.

- Шипы эти бывают размером с кинжал, - с вытаращенными глазами доказывал раззадоренный чиф свою матку-правду, - и кровопиец-хвостокол вонзает их в несчастную жертву, хлещет её хвостом, словно бичом. И, поди ж ты, разбери, иде скат, значить, нормальный, не психованный, а иде – выродок!

Мне самому, почему-то, думалось, что, несмотря на такое жуткое имя, зловещую внешность и гнусные качества, приписываемые ему старпомом, скат – не хищное, а очень даже уравновешенное и доброе животное. Самое крупное, что они едят, это мелкая рыбёшка, и, конечно, они никогда не нападают на человека зря. Обычно безобидные, в период любви они, должно быть, становятся неузнаваемыми и, обладая такими превосходными крыльями, взлетают в плавном прыжке, чуть касаясь друг друга и поднимая с собой мерцающие радугой облачка солнечных брызг над ласково темнеющим морем.

А вот об акуле, нередкой гостье в наших уловах, написано невообразимое количество научных статей и книг, сняты сотни документальных и художественных фильмов, существуют многовековые легенды и самые невероятные истории, в которых, кажется, всё о ней рассказано. Чего мы ещё о ней не знаем, что может нас по-настоящему удивить и даже поразить?! Способна ли на это акула, если её всегда по большей части только боялись и ненавидели?!

Согласно действительности и многочисленным наблюдениям моряков, акула – одно из самых ненавистных и страшных морских животных. У акул и

врагов весьма мало и друзей почти нет, а страх и невежество людей окутали акулу покровом таинственных предрассудков, изображающих её обычно как не ведающую сомнений убийцу или тупую наглую тварь. Но так ли это?

В акуле, как ни в каком другом существе, воплощены природой её упущения, сложности и загадки. В отличие от рыб она была когда-то обделена плавательным пузырьём, и с тех пор обречена на вечное движение с устрашающе разверзнутыми зубами. Незначительная, казалось бы, мелочь породила уйму возмещающих её «достоинств», даже шершавые, как напильник, складки кожи превратив в наружное окаймление пасти. Ненасытная утроба акулы, как правило, совершенно непропорционально велика по отношению к остальному телу, острые как бритва зубы усеивают серповидную пасть, аж, в несколько рядов, а запах ничтожно маленькой капельки крови она в состоянии почуять на значительном расстоянии. Необычайно развив в себе способность к агрессивному образу жизни, акула, сама того не подозревая, приучила многих обитателей моря ценить её, воспринимая в то же время как нечто неотъемлемое от него.

Учёные, занимающиеся акулами, считают, что не существует ни одного достаточно веского объяснения того, что делает или чего не делает акула. В одном случае в воде есть кровь и всё же акула не нападает на плывущего человека. В другом – нет никаких явных причин, которые бы могли спровоцировать нападение, и всё же оно происходит. Каждое нападение представляет собой парадокс, как, впрочем, и сама акула.

Взять хотя бы нелюбовь акулы к белому цвету... Акулы, якобы, всегда предпочитают тушу белой лошади туше гнедой. Туземцы, ныряльщики тропических вод, надевают чёрные сандалии перед тем, как идти в воду, чтобы не были видны более светлые, чем тело, ступни их ног. Греческие охотники за губками, ныряющие в чёрных костюмах, прячут ладошки под мышками, когда поблизости появляется акула.

Однако японские ама, или «морские женщины», ныряют на дно в поисках жемчуга в белых юбках и белых кофтах. Ама считают, что белый цвет, наоборот, отпугивает акул. И женщины, и девочки, так как многие ама - всего лишь подростки, обматывают свои угольно-чёрные волосы белым полотенцем, когда погружаются под воду. Их снаряжение состоит из очков, сумки, куда они складывают добычу, и кривого ножа акойя, которым они срезают жемчужниц с подводных скал на глубине десять и более метров, а белый цвет, по-видимому, им только помогает.

С акулами всегда было связано что-нибудь необычное, например, множество магических заклинаний и обрядов. На Гавайях акул ловили на крючки, которые делались из человеческих костей, и в стародавние времена вождь племени нередко завещал свои кости друзьям и верным слугам, чтобы они выточили из них орудия лова. Особенно ценились кости умелых рыбаков...

Полинезийские женщины чутко уловили всевозможные ухищрения, находящиеся на вооружении этих необыкновенных животных, и кое-чем

даже воспользовались. В древности женщины носили рукавицы, украшенные острыми акульими зубами – для защиты от чересчур назойливых кавалеров.

Думая о коварности этих морских обитателей, вспоминается и одна игра, которую устраивают на бесчисленных океанских атоллах местные мальчишки... Они ныряют в воду с брюками-парео, сложенными в виде мешка, подплывают к акулам и бесстрашно накидывают им мешок на голову. Ослепшая акула начинает отчаянно метаться из стороны в сторону, иной раз ткань плотно прилипает к жабрам и акула погибает. Но чаще мальчишки, позабавившись с разъярённой хищницей, стягивают с её головы свои брюки и отпускают. Это, наверное, не большие по размерам животные, но поражает сам настрой мальчишек, не ведающих страха, и он лучше всего свидетельствует о том, как близки в своих отношениях люди и море.

В наше время акулы не перестают привлекать к себе внимание людей, чего бы это ни касалось. В Калифорнии существуют спортивные клубы аквалангистов, попасть в которые можно лишь прокатившись на ... акуле... А в Австралии уже давно заведено общество укушенных вездесущей «злодейкой»!

Акулы недаром заслужили известность своей невероятной прожорливостью и всеядностью. Предпочитая более свежую пищу, они нередко с удовольствием пожирают отбросы с проходящих судов, морских птиц, тюленей, черепах, крабов и даже людей. Если какая-то из акул случайно окажется раненой плавником другой акулы, вся стая набросится на своего сородича и разорвёт его в клочья, так же как и не родственную жертву. Существует история, будто акулы однажды сожрали какого-то заблудшего слона, чудом очутившегося у моря.

Гастрономические вкусы акул очень разносторонни. А их на редкость крепкий желудок может переварить абсолютно всё, что акуле случится проглотить. Обильно выделяемые желудочные соки, одной из основных частей которых является соляная кислота, с такой быстротой растворяют питательные вещества, что не приходится удивляться тому, какой неутолимый голод всегда гложет акул. По мнению некоторых учёных, желудочные соки акул настолько сильны, что они растворяют лак, которым покрывают палубу, и могут постепенно растворить даже металлические предметы, к примеру, подковы, проглоченные акулами.

В желудках выловленных рыбаками акул находили всё, что угодно, начиная со свиных голов и кончая обломками гарпунов, обрывками сетей, кухтылями, заржавевшим будильником, пишущей машинкой и даже деревянными ящиками. Самые невероятные предметы, которые и на берегу-то вряд ли отыщешь, невообразимым способом попадали в животы этих поистине безумствующих хищниц: собачий намордник с поводком, сапоги, мешки с углем, куль с картофелем, пивные бутылки, пальто и водительские права. Кроме этого, незадачливая кошка, старые брюки, олени рога и курятник, внутри которого нашли грудку косточек и немного перьев. Ещё у одной акулы обнаружили в желудке мешок с деньгами и человеческий череп,

а другая акула, которой приглянулась взрывчатка, проглотила глубинную бомбу, выпущенную с корабля при промерах глубин в Тихом океане.

Выброшенная из трала на палубу, акула всегда выглядит подозрительно успокаивающе. Но стоит только приблизиться к ней с каким-либо самым незамысловатым намерением, и акула тотчас преобразается, выделявая сумасшедшие кульбиты туловищем, головой и хвостом, устрашающе щёлкая зубами и злобно взглядывая на вас холодными маленькими глазками, словом, всем своим поведением демонстрируя несокрушимую мощь и жизнестойкость.

Бывали случаи, когда особо крупные, будто отлитые из морской плоти животные выдерживались нами на палубе до часу, но сброшенные за борт – потихоньку оживали и, лениво поводя плавниками, а затем – резко взмахнув хвостом, стремительно ускользали в манящую глубину. Акулы поражали неистовостью и откровенным презрением к смерти. У них было чему поучиться.

Вообще, всё указывает на то, что боль, в том смысле, как мы её понимаем, не существует для акул, а если и существует, то у них очень высокий болевой порог. У человека ощущение боли возникает в определённых нервных рецепторах, которые передают болевые импульсы высокоразвитым нервным центрам в мозгу. По-видимому, чем ниже стоит живой организм на лестнице эволюции, а акулы, утверждают учёные, находятся на одной из нижних ступеней, тем менее они подвержены чувству боли.

«Мёртвая» акула часто ведёт себя совсем как живая. Один рыбак, например, лишился руки, которую откусила выпотрошенная им акула. Морской офицер презрительно пнул ногой мёртвую, судя по всему, акулу, лежавшую на палубе, а она тут же пробудилась к жизни и содрала ему с ноги всё мясо.

Живучесть акул просто неправдоподобна. Известен случай, когда рыбак поймал акулу, распорол ей брюхо, выпустил кишки и кинул её обратно в море. Когда затем он снова забросил крючок с насаженными в качестве приманки внутренностями акулы, он поймал на него ... ту же самую акулу!

У нас на судне произошло следующее происшествие. В трал нам попала сельдевая двухметровая акула, и кандей, желая попотчевать экипаж полезным деликатесом, извлёк из неё печень и вытолкнул акулу за борт, как падаль. Но акула спокойно поплыла прочь, словно с ней не произошло ничего плохого.

Вспомнишь распахнутые челюсти акулы, усеянные круглыми, белыми и очень острыми зубами, и отчего-то засомневаешься – стоит ли пробовать её мясо. Ту акулу, которую я себе живо представляю до сих пор, наши матросы поймали неподалёку от Северных Курил, и когда вытащили вместе с другой добычей на палубу, то даже не сразу обратили на неё внимание. Акула была в добрую пару саженой величиной, спина тёмно-серого цвета, с голубоватым

отливом, брюхо ярко-белое, глаза оловянные и колючие, так что не покидало ощущение, будто она всё замечает и видит насквозь.

Поначалу акула лежала неподвижно, так что это успокоило всех, и они подошли к акуле поближе, желая её лучше рассмотреть. Один матрос даже ухватил акулу за хвост, после чего она зашевелилась, изгибаясь то в одну, то в другую сторону, и вдруг начала трястись, страшно разевая свою зубатую пасть. Акула сжималась в кольцо, подпрыгивала, ударяясь о комингс, и так, постепенно, оказалась у самого борта, после чего опять впала в неподвижность. Все члены экипажа с большим любопытством наблюдали за морской хищницей, многие даже видели её вблизи впервые!

Прошло минут десять, пока тот же матрос решил снова потревожить замершую акулу. Казалось, она испустила дух, не проявляя никаких признаков жизни. Когда матрос подошёл к ней и ткнул шваброй в бок, акула начала так рьяно изгибаться и хлестать хвостом по воздуху, что не верилось, будто она пробыла на нём значительное время. Акула остервенело билась о борт и обо всё, что возникало у неё на пути, а более менее успокоилась только после того, как её опутали верёвочными концами. Но даже в таком незавидном положении акула продолжала тупо биться, ползть по палубе и дубасить хвостом по доскам. Все не могли наглядеться на эту удивительную нестигаемость и мощь, не в силах понять: откуда акула черпает свою живучесть?

А акула вела себя так, будто её и не извлекали из родной стихии. От кончика тупого рыла до заострённого пера хвоста она являла собой неуёмный сгусток энергии. Кто-то из членов экипажа, кажется, второй механик, саданул акулу в бок кухонным ножом, затем распорол её брюхо, но связанная акула продолжала неудержимо изворачиваться, расплёскивая по палубе кровь и размазывая какие-то отвратительные на вид, серые внутренности. Электромеханик со всего маху обрушил на её приплюснутую голову лом, ещё один матрос пытался затолкать в разинутую пасть акулы металлический багор, остальные же с неиссякаемым интересом наблюдали за происходящим, подбодряя новоиспечённых экзекуторов ошалелыми возгласами. Любопытствующие теснились вокруг, взбирались на судовые надстройки, и всё пытались обнаружить у акулы признаки её кончины, но признаков не было: акула оставалась бессмертна.

Порядком израненная, но по-прежнему красивая, акула продолжала бороться за жизнь и уже у многих начала вызывать симпатию, а не презрение, как к тупой, равнодушной силе, но эти люди боялись показать перед другими проснувшееся уважение к акуле, даже просто жалость, и не решались приостановить развернувшуюся бойню. Некоторым вообще наскучило смотреть, как окровавленное животное бьётся на палубе, и они разошлись. Кто-то всё же осмелился приблизиться к акуле и стянуть с неё верёвки, и акула, как бы в благодарность, затихла.

Пора было убирать её, может быть выбросить акулу за борт, но вот именно в этот момент второму механику вздумалось оставить себе на память

спинной плавник. Только он успел ударить топором в самое основание плавника, посередине хребта, как тотчас его нога в ботинке очутилась в пасти акулы. Обезумевшая от боли, акула принялась судорожно мотать головой, так что у незадачливого моряка слетел второй башмак, и это вызвало поначалу безудержный хохот, но тут же все поняли опасность произошедшего и ринулись на очередное укрощение зверя.

На сей раз акуле досталось изрядно, её били всем, что попадало под руку, но удары почти не доходили до цели, потому что движения акулы были очень порывисты. Ей, кажется, всё было нипочём, и лишь когда на палубе появился разозлённый происходящим капитан, с пистолетом в руке, и выстрелил акуле в голову, чтобы она не мучилась, акула присмирела, конвульсивно дёрнулась несколько раз и даже проползла метра два, оставив на выбеленных досках кровавый след. Второй механик, которого акула прихватила за ногу, с нескрываемой злобой ударил бедное животное обухом топора, а затем отчего-то принялся разделять её и без того истерзанное тело, но и тогда акула слабо разинула пасть, рванулась вперёд и, изогнувшись, судорожно задрожала. Челюстями она шевелила ещё несколько минут, и только после этого постепенно угасла. Всем стало дурно, и многие поспешили покинуть палубу, а акула презрительно ощерилась своими мощными челюстями, как будто не желая смиряться с уготованной ей людьми незавидной судьбой.

Но обычно появление очередной «малютки» на палубе нашего судна не вызывало среди моряков беспричинно вспыхивающей злости, когда они, как это нередко бывает в затянувшихся рейсах, под предлогом остро назревшей необходимости к развлечению, дубасят беспомощное животное, чем ни попадая, по морде, получая при этом непередаваемое наслаждение. Безобидно застывшие голубовато-глянцевые тела акул чаще всё-таки вызывали у матросов чувство любопытства, и, изредка поглядывая на затихших в стороне хищников, они перекидывались друг с другом незначительными шутивными репликами. Но в каждом из них отчётливо угадывалась завуалированная видимым пренебрежением заинтересованность вперемешку с не покидающей настороженностью.

Не зря принято думать, что многие люди испытывают к акулам скорее страх и отвращение, нежели уважение. И то и другое порождено, скорее всего, незнанием. Незнание это неудержимо подхлестывает не на шутку разыгравшееся воображение, и остановить его оказывается делом почти безнадежным, если сам человек не готов преодолеть собственную ограниченность.

Оттого, наверное, каждая нация, живущая у моря, выработала собственные любимые противоакульи средства... На Гавайях женщины, чтобы предотвратить нападение, татуировали себе лодыжки. На Фиджи ныряльщики за жемчугом смягчали акул ... поцелуями! На Соломоновых островах для умиротворения акульего бога использовали заклинания и

человеческие жертвоприношения, а на американском побережье некоторые ныряльщики верят, что акул отпугивают визг и шлёпанье по воде.

Чего только не придумает вечно сомневающийся во всём человек, лишь бы - не быть самим собой, не принять акулу такой, какая она есть! И при этом никак ее не провоцировать, не издеваясь и не проявляя по отношению к ней невероятное бездушие, а увидеть в акуле существо, для которого, так же как и для человека, море остаётся родной стихией! Всплывая из морских глубин и будоража человека своей неразгаданной тайной, акула, несомненно, служит для него учителем и, не используя преподаваемого ею урока, он не имеет права её ненавидеть.

Просто удивительно, как необыкновенно живуча акула, и природа зачем-то не оставила её без внимания даже в экстремальных для животного ситуациях, когда потеря и сотен, и тысяч экземпляров не могла бы нанести какого-либо урона всему акульему виду! Об акуле явно кто-то заранее позаботился...

В середине прошлого столетия американские исследователи, к своему удивлению, обнаружили, что при воздействии электрическим током, во время испуга и при погоне за добычей сердце акулы неподвижно. Это было тем более странно, что именно в такие важные моменты ткани организма испытывают наибольшую нужду в кислороде и питательных веществах, и всё-таки сердце акулы останавливалось, чтобы, наверное, дать возможность её организму переждать последствия стресса. Природа, видимо, оберегает от потрясений того, кто несёт своим существованием необходимые для жизни потрясения другим!

Словом, всем акула взяла, но, несмотря на невкусность заглатываемых ею предметов, а также того, что она пожирает своих собратьев, мясо её очень вкусно. На деле люди съедают больше акул, чем акулы людей. Знатоки утверждают, что приготовленное особым способом свежее мясо многих видов акул – совершенно непередаваемо на вкус. Правда, свежее акулье мясо обладает неприятным запахом, так как в нём содержится много мочевины. Но это легко устранить, вымочив мясо в соляном растворе.

Часто акулы, мясо которых едят во многих странах, появляются на тарелках под чужим именем. Когда торговцу рыбой или хозяину ресторана предлагают, скажем, сельдевую акулу, у него может возникнуть искушение преподнести своим покупателям и клиентам акулу в замаскированном виде. Для этого нужно только отрубить ей голову, плавники и хвост, и разрезать её на куски. В таком виде её мясо вполне сойдёт за мясо меч-рыбы, марлина или тунца, и мало кто почувствует разницу. Даже в рыбацких портах разные виды акул сходили за палтуса и треску, так что никто и не догадывался о подлоге.

В течение многих лет торговля акульим мясом в США велась только благодаря китайским иммигрантам и их потомкам. По всему тихоокеанскому побережью выходцы из Китая обеспечивают спрос на акульи плавники для любимого супа, который у них считается наивысшим деликатесом. Китайцы

верят, что тот, кто ест акулий суп, разделяет трапезу с самим Богом, и не притронутся к такому лакомству – есть высший грех.

Та же самая сельдевая акула, например, благодаря своим вкусовым качествам, основной поставщик рыбных котлет в ресторанах многих стран мира. Гурманы так расхваливали суп из плавников этой акулы, что и акула получила имя суповой. Правда, когда во время второй мировой войны в её печени было обнаружено большое содержание витамина А, ей дали ещё одно имя – витаминная акула.

Что же напоминает на вкус акула? По мнению всё тех же гурманов акула имеет вполне приличный вкус, хотя мясо её несколько жёстче, чем у других рыб. Для особо изощрённых ценителей она – самая вкусная рыба на свете.

Тропические туземцы убеждены, что если только что пойманной акуле отрубить хвост и выпустить кровь, её мясо от этого становится белее, и, соответственно, вкуснее; не сделав этого – акула не оставляет желать ничего лучшего. Кто-то искренне верит, что акулы просто восхитительны на вкус и некоторые из них весьма напоминают нежных креветок. Отдельные виды акул, такие, как акула-молот и гладкая кунья акула – одно объединение. Вполне приемлемы на вкус колючая и сельдевая акулы, напоминающие мясо тунца и морского гребешка, а американский президент Теодор Рузвельт считал, что у акульего мяса существует непревзойдённый аромат, причём, заявлял об этом публично, чтобы побудить людей есть акул!

Англичане испокон веку едят акул и ничуть об этом не сожалеют. Неизвестный поэт елизаветинской эпохи упоминал в своих стихах наряду с любимыми в народе сельдью, треской и палтусом также морскую лисицу, а у Шекспира в «Макбете» ведьмы используют в качестве одного из ингредиентов в своём снадобье акулу. В начале XX столетия, во время экономической депрессии, необходимо было отыскать такую рыбу, чтобы её можно было дёшево продавать бедным, и ей оказалась колючая акула... Мелкие лавочники, торгующие жареной рыбой, обнаружили, что могут покупать колючую акулу по шиллингу за 30 килограммов; они назвали колючую акулу «горный лосось» и продавали её вместе с жареным картофелем по полтора пенса за порцию – дешевле некуда.

Кстати, анализ мяса скромной колючей акулы, именуемой иначе – катраном, показал, что в нём содержится больше протеина, чем в молоке, крабах, скумбрии, омарах или сёмге, и калорийность его куда выше. В Норвегии же, помимо мяса, употребляют яйца колючей акулы, добавляя их в тесто вместо куриных яиц. В яйцах колючей акулы желтка даже больше, чем в куриных яйцах!

Акулье мясо пользуется спросом и в Австралии. Было время, когда акулу в Австралии осторожно называли «флейк», но в последующие годы её стали продавать под собственным именем, и спрос на неё настолько вырос, что вызвал к жизни коммерческий лов в самом широком масштабе. Мало того, лов акул принял такие размеры, что ведомство промыслового

рыболовства начало компанию защиты некоторых видов акул от полного уничтожения. И это в стране, где купающиеся уже многие годы пытаются найти защиту от акул! Только акулы-людоеды не продаются на австралийских рынках, но остальные виды акул пользуются большой популярностью. Австралийские матери обнаружили одно выгодное свойство акульего мяса: оно без костей и его можно без риска давать маленьким детям.

Жители Кореи и Китая едят акулье мясо с незапамятных времён. Но, возможно, нигде на свете акул не употребляют в таком количестве, как в Японии, где их ежегодный улов исчисляется миллионами тонн. Из акульего мяса более низкого качества делают рыбные хлебцы под названием камабоко, пользующиеся в Японии огромным спросом, а одни из самых распространённых консервов – копчёное акулье мясо в соевом соусе. В общем, из всего вышесказанного явствует, что акула – украшение любого обеда!

Помимо вкусного мяса акула располагает ещё одним богатством – своим жиром, содержащимся в печени. Акулья печень из-за этого была названа «серым золотом», и во время второй мировой войны 75 % витамина А, добываемого в Америке, производилось именно из акульей печени. Витамин А считали панацеей чуть ли не от всех болезней. Обнаружили, что он способствует росту, увеличивает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, помогает превозмочь простуду и лихорадки, что он более богат витаминами, чем жир из тресковой печени, и открывает многообещающие перспективы в борьбе с двумя врагами человека, куда более опасными, чем акула, – раком и пороком сердца.

Жир акулы – идеальный предсказатель погоды ценой всего за один доллар. Если выставить на окно запечатанную бутылку с акульим жиром, как об этом сообщалось в Коннектикутском «Календаре погоды», то он мутнеет при похолодании и снова делается прозрачным, когда становится тепло. Вот и на Бермудских островах туземцы используют акулий жир в качестве примитивного, но надёжного барометра. Они утверждают, что жир из печени акулы, помещённый в какой-либо сосуд, мутнеет, когда надвигается шторм.

Но лучше всего человек научился использовать несокрушимо прочную кожу акулы. Акулья кожа начала свою долгую карьеру в Древней Греции, в руках греческих ремесленников, которые применяли её для полировки твёрдых пород дерева. В эпоху парусного флота моряки ловили акул, снимали с них кожу и использовали её для чистки палубы. Акульей кожей оборачивали часть вёсел – ту, которая ходит в уключинах, чтобы уберечь их от быстрого изнашивания. Акулья кожа получила название «шагрень», то есть кожа, которая благодаря своим плакоидным чешуям имела зернистую фактуру и считалась идеальным материалом, например, для рукояток мечей, так как её шероховатая поверхность позволяла крепко держать меч в руках.

Практическую ценность акульих зубов оценили и эскимосы Гренландии, изготавливая из них ножи, которыми обрезали волосы своим детям, так как на железо в этом случае у них было наложено табу. Сами же

взрослые использовали зубы акулы – всё ещё такие же острые, как миллионы лет назад, в качестве бритвы. Кожу полярной акулы они нарезали длинными лентами, соединяли их и использовали в качестве верёвки.

Кстати, гренландские рыбаки утверждали, что мясо полярной акулы ядовито, и наевшись его, собаки обычно делаются сонливыми и «пьяными», а для того, чтобы употребить в пищу мясо полярной акулы человеку, его надо прокипятить в трёх водах... На самом деле у полярной акулы отсутствуют почки, и мочевину она выделяет через кожу, отчего и содержит в себе опьяняющие свойства. Именно поэтому у съевшего мясо полярной акулы начиналось онемение конечностей, подобное состоянию опьянения. Недаром у северных народов такого «пьяного» человека называли «больным акулой».

Море... Оно многолико и всемогуще в желании удержать человека от неблагоприятных поступков в отношении своих обитателей... Море убаюкивает его волю мерным бегом неустанных волн, остужает упругим морским ветерком не иссякающий к познанию пыл, но чаще всего отправляет вдогонку верных своих посланников, незаменимых гонцов всевышней воли Посейдона – дельфинов...

Иссиня-серые, с белым брюхом и нежными разводами на литых блестящих боках, дельфины всегда появляются неожиданно, грациозно взлетают над голубой водой и неторопливо погружаются в её маслянистую прохладу. Настолько легко, без всяких видимых усилий несутся они рядом с носом судна, то приближаясь к поверхности, то погружаясь в глубину, что все, словно зачарованные, безмолвно наблюдают за ними, не в силах оторвать взгляд. Дельфины возникают из моря, набирают новую порцию воздуха и ненадолго исчезают. Это поистине великолепный танец морских обитателей, преданных посланников моря.

Если судить по греческим мифам, даже боги дружили с дельфинами. Дельфины были, например, верными помощниками бога морей Посейдона. И когда его строптивая избранница, златокудрая Афродита, спряталась в пещере на дне моря, Посейдон направил на её поиски дельфинов.

Само слово «дельфин» олицетворяется с изображением плавных движений животного, грациозно изгибающего в воде своё тело, с удовольствием взмывающего в воздух и с нескрываемой радостью возвращающегося в море. Тёмно-синее гладкое слово, омываемое пенящейся прохладой морской волны, будто подстраивающейся под скольжение дельфина. Из всех китообразных нас более всего интересует это животное, с таким чудесным греческим именем, и только в дельфине мы почему-то находим своего самого близкого собрата в мире природы.

Древние греки действительно видели в дельфине нечто божественное. Они почитали его выше всех живущих в море существ, потому что приписывали ему свойство оплодотворять море. Это священное животное было близко Апполону, поскольку приняв образ дельфина, он привёл критян в город Дельфы, название которого и произошло от имени этого

божественного животного. Греки были убеждены: дельфины никогда не забывали того, что были когда-то сами людьми.

Длительное и упорное следование дельфинов за судами, вероятно, есть своеобразное проявление периода их младенчества, когда после рождения у детёныша проявляется реакция следования за матерью. Животные не желают расставаться с детством, а может быть, просто не могут, в силу своей врождённой доброжелательности, преодолеть его. Они – провозвестники незамутнённого ничем отношения к жизни, которую очень любят и, кажется, только наслаждаются ей.

Беременность у дельфинов длится год. Детёныш рождается под водой и выталкивается матерью на поверхность, где он совершает свой первый вдох. В течение восемнадцати месяцев он плавает рядом с матерью. Молоко из млечных желез выделяется рефлекторно сильной струёй, когда детёныш берёт в рот сосок, которого по одному с каждой стороны тела и расположены они на брюхе в специальных кожных складках. Кормление детёныша происходит также под водой, и твёрдую пищу, в том числе и мелкую рыбу, он начинает получать ещё до того, как полностью прекратится вскармливание молоком.

Ещё Аристотель в четвёртом веке до нашей эры писал о страстной привязанности дельфинов к своим детям. Он приводил случай, когда в большом стаде, состоящем из взрослых дельфинов и их детёнышей, очевидцы видели двух дельфинов, которые долгое время поддерживали своими спинами мёртвого дельфинёнка, не давая ему погрузиться в воду: они старались не допустить, чтобы его сожрала какая-нибудь хищная рыба. Возможно, подобная привязанность дельфинов к своим детям изредка проявляется и в отношении человеческих детёнышей, чему имеется множество свидетельств...

Плутарх много веков назад писал в своей книге «О способности животных», что первым смертным, познавшим благорасположение дельфинов, был сын Одиссея – Телемах. Ещё совсем маленьким он упал в море и стал тонуть. Оказавшийся поблизости дельфин спас мальчика.

В истории Древней Греции, во времена Александра Македонского, упоминается несколько случаев, когда дельфины подныривали под плавающих вблизи берега детей и возили их на спине по морю. Известный древнеримский историк Плиний Старший, живший в первом веке до нашей эры, в своём многотомном труде «Естественная история» рассказал о мальчике из посёлка Байнаум близ Неаполя, который мог в любое время возгласом «Симо-Симо!»/что на итальянском языке значит «Курносый»/ позвать своего друга-дельфина для совместной игры в водах лагуны. Дельфин охотно брал пищу из рук мальчика и со временем стал перевозить его через залив в школу и обратно. Так продолжалось регулярно много лет. Но вот мальчик заболел и умер, а дельфин продолжал ещё долго приплывать к месту игр со своим другом.

Конечно, все мы достаточно наслышаны о необычных способностях и дружелюбии дельфинов. В природе нет ни одного достоверного случая, чтобы они ранили или просто напали на человека. Вполне возможно, что у дельфинов существует своё, более обострённое восприятие и понимание природы, нежели у нас.

Так, например, выныривание дельфина для вдыхания воздуха легло в основу инстинкта сохранения им собственного вида. Если какой-нибудь дельфин, потеряв сознание, начинает опускаться на дно, другие дельфины выталкивают его на поверхность и удерживают там до тех пор, пока у него не восстанавливается дыхание. Поднятие пострадавшего на поверхность автоматически вызывает у того дыхательный акт. Поэтому самой ценной поддержкой для погибающего животного будет именно выталкивание его из воды, что стимулирует дыхание.

Подобные действия – яркая иллюстрация того, что дельфины – общественные животные, оказывающие помощь друг другу. При этом инстинкт сохранения вида подавляет инстинкт самосохранения особи: помогающие оказывают помощь даже при смертельной опасности для себя. Взаимопомощь у дельфинов существует благодаря унаследованным рефлексам и отшлифована личным опытом. Никто из живущих существ не обладает, пожалуй, в полной мере этим качеством, как они.

В Тихоокеанском Маринлэндском океанариуме существует даже хор дельфинов, которые при взмахе дирижёрской палочки или при соответствующем словесном приказе начинают петь, причём их пение напоминает вой сирены. Каждый хоть сколько-нибудь обученный дельфин начинает высовывать из воды дыхало и издавать звуки в воздушной среде, а не под водой, как он это обычно делает. Следовательно, это дельфины приспособляются к нам, а не мы к ним.

Скорость обучения у дельфинов так велика, что мы сейчас даже не можем её точно измерить, но, по-видимому, обучение проходит в столь же быстром темпе, как и у человека. Стоит дельфину показать хотя бы раз какой-нибудь приём, и он уже сразу усваивает его. Нужно только не забывать поощрять животное.

Мозг дельфина по сложности строения не уступает даже мозгу человека: складок, щелей, борозд и извилин в коре мозга у дельфинов больше, чем в коре человека. Общее число клеток в коре головного мозга у дельфинов также выше, чем у человека, а общий вес мозга составляет 1800 гр, что примерно на 300 гр больше, чем у взрослого мужчины ростом 180см.

Дельфины обладают поистине замечательным зрением: в воздухе они видят так же хорошо, как и в воде. Во время сна у дельфинов один глаз обычно открыт, причём, оба глаза закрываются и открываются по очереди. Это ещё одна особенность дельфинов, так как большинство наземных млекопитающих во время сна выключают предметное зрение, закрывая глаза веками, а некоторые животные ещё прикрывают глаза лапами или хвостом. Но интересно, может ли зрительная система дельфинов выполнять

сторожевые функции во время сна? Оказалось, что может: если в поле зрения открытого глаза спящего дельфина бесшумно появлялся новый предмет – это вызывало его пробуждение.

Возможно, такое чередование зрения во время сна у дельфина объясняется работой его полушарий: когда правое работает, левое – отдыхает... И наоборот. Полушарие, находящееся в более активном состоянии, может значительно успешнее, чем другое полушарие, воспринимать и анализировать внешние раздражения и при необходимости вызывать пробуждение животного.

Дельфины могут плыть со скоростью более 30 узлов, и за несколько дней, в поисках пищи или воды нужной температуры, покрывают расстояния в тысячи морских миль. Будучи теплокровными млекопитающими, дельфины дышат лёгкими и при плавании тело и хвост у них изгибаются не в горизонтальной плоскости, как у рыб, а в вертикальной. С точки зрения гидродинамики – хвост дельфина совершенен. Дыша воздухом и имея тёплую кровь, дельфины развивают большую мощность и быстрее восстанавливают мускульную энергию. Рыбам – холоднокровным обитателям морей, требуется в несколько раз более интенсивный кислородный обмен, чтобы сравниться с дельфинами и китами.

Но дельфины снабжены не только самыми мощными двигателями, они обладают и превосходными гидродинамическими обводами. Форма их тела почти совпадает с эллипсоидом, у которого длина в четыре-шесть раз больше диаметра. Любопытно, что большее удлинение приводит к увеличению сопротивления трения, а меньшее – к возрастанию сопротивления формы. Длина тела дельфина как раз идеальна и секрет быстроты дельфина заключён в поразительно малом сопротивлении его тела во время движения, а не за счёт гладкости кожи!

Немногие из тех, кто не боится акул – именно дельфины. Когда самка дельфина должна дать потомство, остальные дельфины окружают её стеной, чтобы оградить от акул, и если акула подходит близко, дельфины набрасываются на неё и ударами головы отшвыривают в сторону. Вы когда-нибудь видели такое? Мне привелось...

Всё происходило вблизи острова Топоркова, где мы как-то наблюдали поселение тупиков и топорков, располагающихся в отвесных береговых откосах, просто источенных миллионами птичьих ходов. Судно стояло на якоре с северо-западной стороны острова, несмотря на обычно туманную в этих местах весну был ясный солнечный полдень, и в чистой воде, где глубина просматривалась на три-четыре десятка метров, матросы заметили самку дельфина с детёнышем, которого она слегка подталкивала носом к поверхности и, кажется, ничего не предвещало беды. Но уже в следующий миг, откуда ни возмись, метнулась изогнувшаяся тень серовато-коричневой акулы, детёныш был схвачен зубами хищника и в считанные секунды разорван, так что пока все приходили в чувство – ничего от малыша не осталось. Только маленькое кровавое пятно...

Но акула почему-то не покидала места своего пиршества, нервно кружила беспорядочными рывками у самой поверхности, жадно сглатывая окрашенную кровью воду. Вскоре мы увидели стадо дельфинов, голов в тридцать, стремительно поднимающееся к акуле из бирюзово-молочной глубины, и то, что произошло у нас на глазах в следующее мгновение, можно описать так: невероятно быстрая и жестокая расправа, в сравнении с которой нападение акулы на детёныша даже померкло. Акула просто исчезла, растворилась, как будто её и не было, и какое-то время ещё дельфины с отрешённой неутомимостью разрезали водное пространство, словно пытаясь удостовериться, что ничего более от акулы не осталось, а затем, так же незаметно, как и появились, исчезли...

Было так же замечено, что в Мексиканском заливе дельфины часто прогоняют акул с их «охотничьих угодий». А когда их держат вместе в неволе, дельфины нередко, собравшись скопом, убивают акулу. По всей видимости, они бьют головами по нежным жаберным щелям, а затем, прижав акулу к стене резервуара, не дают ей плавать, и, следовательно, дышать.

Часто нападая на акул и убивая их, дельфины также дерутся друг с другом в брачный период, но они никогда не нападают на человека, даже если он причиняет им боль. Да и между собой столкновения у них – крайняя редкость. У дельфинов, вообще, очень нежный и доброжелательный характер, они любознательны, страстно привязаны к своим детям и им присуще необычайно развитое чувство локтя.

А ещё дельфины, пожалуй, единственные в море существа, которые никогда не теряют бодрости. Как правило, они встречаются на одном и том же месте, будто у них свой, ограниченный невидимыми в воде границами, совершенно определённый район, которого они, по каким-то причинам, неизменно придерживаются. Если в этот район попадает какое-либо судно, дельфины встречают его, долгое время сопровождают, а затем возвращаются. И всегда это происходит у них весело, дельфины неизменно резвятся у носа судна, выскакивая в воздух на два-три метра, и вновь неожиданно исчезают, захватив всех искоркой своей неутомимой живучести.

Куда плывут дельфины в этом бесконечном пространстве воды? Плывут дружно, скопом, целеустремлённо и легко. Будто знают точно, что их там, в морской дали ожидает... Извечные путешественники, в то же время всегда находящиеся у себя дома. Просто, дом их – огромен, бескрайний чудесный океан...

В этом своём путешествии по океану, дельфины часто, помимо охоты, затевают игру... Кажется порой, что это их основная черта жизни: быть игривыми, живыми, необыкновенно привлекающими к себе внимание именно способностью любить жизнь и наслаждаться ею. Поэтому, совершенно заслуженно, наверное, они – её баловни из всех морских жителей.

Дельфины играют всегда всей стаей: кувыркаются у самого борта, мчатся наперегонки с судном, ловко ныряют в прохладную синь и, на

мгновение, исчезнув из виду, вновь вырываются в искрящихся брызгах на свободу. Изогнувшись в дугу, они иной раз пружинисто взмахивают хвостом, застывают в воздухе, и задорно шлёпаются в воду. В полёте, высоко подскочив, некоторые из них порой взглядывают украдкой на судно и как бы лукаво улыбаются, будто зная о людях что-то такое, чего они сами о себе не ведают. Но от этого на душе становится только празднично, привольно, и тебе тоже хочется точно так же, легко, лететь над изумрудными волнами, чувствуя себя совершенно свободным.

Однажды ночью, выйдя на палубу, я вдруг увидел, что неподалёку от судна, среди звёздных отражений, играют в воде два дельфина, то приближаясь вплотную к борту, то резко устремляясь прочь. Долгое время они никуда не уплывали, и только в точности повторяли одни и те же перемещения, отчего складывалось впечатление, будто эти действия выражают нечто осмысленное. Под самым фальшбортом отчётливо раздавались тревожные попискивания, из дыхал животных рвались громкие вздохи, и они с усилием хлопали плавниками по воде.

Я пытался разгадать странное поведение морских животных, но они по-прежнему метались рядом, нетерпеливо рассекая воду быстрыми телами, и мне стало казаться, что дельфины заметили меня и пытаются что-то передать... В морской практике известно немало случаев, когда дельфины «наводили» рыбаков на сети, в которых запутывались их собратья. Животные спасали тонущих людей, предупреждая их о приближении какой-либо катастрофы... Кто знает, не происходило ли сейчас что-либо подобное?! Но судно продолжало идти заданным курсом, и дельфины вскоре исчезли...

Когда наше судно стояло на якоре, то по утрам я часто слышал со стороны моря всплески и шум, похожий на вздохи: это опять появлялись за бортом дельфины. Они будто старались привлечь к себе внимание людей, но поскольку я в такие ранние утренние минуты чаще находился один, то постепенно стал относить появление дельфинов на свой счёт. Мне начинало казаться, что они меня чувствуют и словно хотят что-то рассказать, желают поделиться какими-то своими мыслями, которые, наверное, достаточно просты.

Милые дельфины подолгу не исчезали, и я начинал волноваться от их присутствия, будто тоже желая передать им то, что переживал в душе. Так, незаметно, устанавливалась связь между мной и свободными животными, которые зачем-то, на время, эту свободу желали оставить, ища общения с человеком и легко доверяя ему себя. Я мог поклясться, что это не плод моего воображения, и дельфины действительно добиваются контакта, осуществляя его красиво и просто.

Дельфины дружно фыркали, весело косили взглядом на судно, казалось, точно отыскивая взглядом меня, и не спешили оставлять. Перед тем, как удалиться, они ещё долго описывали в зелёной воде прощальные круги, ловко взрезая её упругими плавниками, и совсем не хотелось, чтобы дельфины уплывали.

Я думал о дельфинах, и всё более убеждался, что они смотрят на нас доброжелательно, с большим любопытством. Они удивительно терпимы к появляющимся в течение последних нескольких лет судам в море, профессиональным пловцам-аквалангистам и просто терпящим бедствие людям, не проявляя при этом какой-либо агрессивности. В дельфинах не чувствуется нетерпения или раздражения, и это не смотря на то, что человек постоянно приносит для морских обитателей больше проблем нежели пользы. Дельфины всё же не отталкивают человека, а наоборот – приветствуют его взмахами хвоста, весёлым настроением и изящными прыжками, кажется, даже улыбкой, застывшей на их доброжелательных мордах. Дельфинам неведомо такое понятие, как эгоизм, и они не несут в себе ничего кроме миролюбивого настроения.

Очевидно, что мчась под бортом корабля, дельфины не только проявляют завидные примеры ума, дружелюбия, весёлости и искреннего расположения к человеку, но и вступают в определённый контакт с ним, вернее, пытаются это осуществить при помощи стремительного бега по волнам, подныривая под форштевень судна и взлетая в фонтане мелких брызг. Доброжелательность дельфинов есть ни что иное, как необычайно развитая за многие миллионы лет удивительная одарённость, благодаря которой они первыми вступают в отношения с человеком, причём делают это с непосредственной открытостью. А что лучше этого может свидетельствовать о состоянии душевного здоровья дельфинов, если у них, конечно, есть душа?

Наверное, она есть. Должна быть, несомненно, у таких глубоких существ, для которых кодекс дружбы и ответственности друг за друга ставится в первую голову. И ведь это только приглашение к столу. А что же последует за встречей, и может ли она в полной мере когда-нибудь состояться?!

По крайней мере, дельфины, видимо, желают её и не боятся при этом получить разочарование. Человеку, в свою очередь, следует преодолеть ограниченность и, запасшись терпением, отправиться ещё дальше по пути познания окружающего мира.

Если бы дельфины могли говорить, они бы, наверное, перестали подстраиваться под медлительно пробуждающуюся мысль человека, когда он пытается познать только себя, не думая о животных. Вероятнее всего, дельфины великодушно относятся к действиям человека, с помощью которых он пытается постичь сковывающую его тайну. При этом малейшая обида, нанесённая животному человеком, оборачивается для последнего его забвением в глазах дельфина, который будет стремиться поддерживать теперь безопасное расстояние, избегая всяких контактов. Это ли не свидетельство чистоты побуждений дельфина, заложенной в нём природой, когда на агрессию животное не отвечает агрессией!

Чтобы обида была забыта, должно произойти что-нибудь из ряда вон выходящее, например, гибель самого человека. Только ситуация, требующая

от животного самопожертвования, может исправить положение, и, оказывая нуждающемуся человеку помощь, дельфин позабудет о мелочном, отбросит его без сожаления одним неповторимым взмахом хвоста, оно незаметно исчезнет в таинственной глубине и растворится там, не оставив следа. Чего по-настоящему заслуживают великолепные животные, так это неподдельного уважения, интереса к ним и ласки.

Не зря древние греки уподобляли корпуса своих кораблей телам животных, предпочитая при этом дельфина. Киль переходил в носовой части в резную голову, которую нередко использовали как таран. Задорные пляски дельфина на волнах, когда он, играя и резвясь, следует за кораблём, его «смеющиеся», почти человеческие глаза вызывали у древних греков беспредельную любовь.

Этой любовью дельфин пользуется у моряков и по сей день. Он как бы являет собой контраст ненавистной акуле. И наряду с альбатросами и буревестниками дельфин причисляется в суевериях людей к животным, в которых переселяются души моряков.

Подобные представления встречаются нам уже в «Одиссее». Когда бог Дионис взошёл на корабль заблудившегося в Средиземном море Одиссея, спутники его испугались, «прыгнули разом они, чтоб спастись от несчастья, в волны священного моря и тут же дельфинами стали».

Сенсационный случай произошёл с японскими рыбаками. В один штормовой апрельский день 1963 года их промысловый бот перевернулся в 36 милях от полуострова Ава-Кацуса. Из десяти человек экипажа шестеро погибли. Остальные продолжали бороться с разбушевавшимся морем и вскоре им на помощь пришли дельфины. Животные всеми своими действиями принуждали погибающих моряков уцепиться за их плавники и подталкивали боком, принуждая усесться верхом, а когда отчаявшиеся люди поверили им и взобрались на спины дельфинам, те быстро преодолели 36-мильное расстояние, отделяющее моряков от родного берега, которого бы без дельфинов им, конечно, не удалось больше увидеть.

После этого необычного случая спасения людей дельфинами, каких в мире зарегистрировано множество, такие древние мифы, как, скажем, миф об Орионе, предстают в совершенно реальном свете. По описанию Геродота, в шестом веке до нашей эры прославленный музыкант и непревзойдённый певец древнего мира Орион, победив в Греции на очередных музыкальных состязаниях, возвращался с драгоценными призами и дарами на греческом судне в Коринф. Команда судна решила убить певца, чтобы завладеть его сокровищами. Певец попросил разрешения у пиратов спеть в последний раз и предпочёл сам прыгнуть в море. Но Орион не погиб, его спасли привлечённые песней дельфины, один из которых поднял певца на спину и вынес на мыс полуострова Пелопоннес. Здесь воздвигли впоследствии памятник в честь Посейдона, изображающий Ориона верхом на дельфине, а вскоре в городах Греции и Италии появились монеты с изображением

человека, сидящего верхом на дельфине. Кроме того, астрономы перенесли Лиру, Ориона и Дельфина на небосвод как созвездия.

Вспоминается и знаменитый дельфин Опопони. Эту самку назвали так по имени прибрежной деревушки на острове Северном, в Новой Зеландии. Недолгая жизнь Опопони была ярка и восхитительна, а началось всё с того, что владелец одного небольшого судна в этой деревне обратил внимание на молодую самку дельфина, которая не выказывала страха перед людьми. Затем её стали замечать и другие. Она любила приближаться к купающимся и постепенно привыкла подплывать совсем близко к берегу, позволяя людям поглаживать её. Особенной её любовью пользовались ребяташки, с которыми она возбуждённо играла и катала на себе.

Во время рождественских каникул заштатный пляж становился всемирно известным местом для туризма с роскошными отелями, ресторанами и кемпингами. И Опопони никогда не подводила: каждый день приплывала на пляж, где её ждали тысячи туристов. Она играла с ними в мяч, доставала со дна разные предметы и резвилась в воде, с большим искусством и изобретательностью проделывая всякие цирковые трюки.

Что ещё интересно, у неё была поразительная способность определять, кто из её поклонников отличается мягким нравом, и она всегда держалась в стороне от тех, кто склонен к грубым развлечениям. Некоторые из приезжающих приходили в такой восторг при виде Опо, что бросались в воду в полном облачении, торопясь поскорее коснуться её. Правительство Новой Зеландии даже издало закон, охранявший Опопони, но в тот самый день, когда закон был обнародован, она исчезла, а позже её тело обнаружили в коралловой заводи неподалёку от деревни. Обстоятельства смерти Опопони так и не удалось выяснить.

Когда в деревне узнали, что дельфиниха погибла, там воцарилось самое мрачное настроение. Вечером, уже в сумерках, тело Опопони отбуксировали к пляжу, где ещё недавно она так весело играла. Позже её похоронили со всеми почестями, какие обычно новозеланцы воздают покойным, а могилу Опопони завалили цветами...

А вот колдуны с островов Микронезии умели и сами, с помощью волшебства, приманивать к берегу дельфинов: они призывали дельфинов во сне, где бы те не находились. И сразу же, будто бы, волшебный дух покидал тело спящего жреца и улетал в море за дельфинами. Отыскав их, дух приглашал дельфинов на празднество в селение. При этом следовало называть дельфинов не иначе, как «наши гости с моря» - в противном случае они не приплывут.

И дельфины, действительно, приплывали в лагуну, спокойно, без всякого сопротивления позволяя себя вытащить на берег, где женщины украшали их гирляндами из цветов. Уже потом, во время отлива, к лежащим на песке дельфинам подходили мужчины и принимались ножами разделять их. Разумно ли было это делать при обилии рыбы в море? И

достойны ли дельфины такой незавидной участи при том, что они такие замечательные?!

Полные веселья и восторга, летят дельфины по жизни с волны на волну. Невозможно не восхититься лёгкостью их появления и какой-то одухотворённой игрой, которую они тотчас затевают под бортом. Глядя на них, всегда испытываешь радость, и почему-то действительно начинаешь верить, что дельфины приносят удачу.

Дельфины дружно выскакивают из воды вертикально вверх, причудливо изгибаются в воздухе и, издавая чуть слышный звук «пых-пох», бесшумно погружаются в волны. Следуя неотступно по волнам, они словно выполняют волю всемогущего морского владыки, желающего оказать морякам своё благосклонное расположение. Радужно сопровождая судно, дельфины, должно быть, напоминают своим присутствием о неразрывной связи людей с морем, о той памяти, которую хранит оно в себе испокон веков.

А море многолико и всемогуще, и оно в силах удержать человека от неблагоприятных поступков в отношении своих обитателей. Море убаюкивает его душу мерным бегом неустанных волн и остужает упругим ветерком дальних странствий. Когда над ним выглядывает солнце, то холодное и туманное, оно становится светло-синим и тёплым, и в его водах появляется стадо великолепных животных...

В любой дороге, под любым знаком непременно возникает ожидание некоего восторженного откровения. Всё ближе сталкиваясь с морем, я не переставал убеждаться: море несёт с собой много такого, о чём человек и не подозревает, и если существует какая-то связь между ним и человеком, то она ни на мгновение не прерывается. Может быть, поэтому нам небезразлично всё происходящее там, в глубине, и, оказываясь в непосредственной близости к морским обитателям, мы невольно переживаем за них, печалимся или радуемся.

В такие минуты я мысленно был всегда с ними, и было приятно представлять, будто, проплывая над синими волнами, я вновь встречаю и узнаю их, и они понимающе приветствуют меня неслышными взмахами своих светлых плавников.

## «АВРАЛ»

Как только я очутился в небольшом приморском городке Невельске, так почти все повстречавшиеся мне люди, узнав, что я приехал с мечтой отправиться в море, сразу посоветовали подняться на самую высокую сопку, где возвышалась белоснежная скульптурная группа – три рыбака, подающие сигнал бедствия. Вокруг памятника – венки и цветы, а перед ним – гранитная плита со словами скорбного текста: «В результате жестокого шторма, сопровождавшегося морозами до 21 градуса и интенсивным обледенением, 19 января с.г. погибли находившиеся на промысле в Беринговом море средние рыболовные траулеры «Бокситогорск», «Севск», «Себеж» и «Нахичевань». Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям погибших на своём посту моряков советского рыбопромыслового флота. 11 февраля 1965г.»

Помнится, мне стало жутко, когда я представил эту ужасную картину: вокруг только льды и нависшее над ними ледяное низкое небо, морозный ветер пронизывает насквозь, никакой помощи сюда уже не пробиться, а сейнер уходит под воду, в завораживающую своей бездонностью стылую бездну, и жалкие фигурки рыбаков беспомощно цепляются за стремительно ускользающую от них жизнь... Трудно справиться с воображаемой реальностью происходящего, с тем, как бы ты повёл себя в сложившейся ситуации, и от всего этого, глубоко переживаемого, пугающего, тебе, как ни странно, всё равно хочется отправиться в рейс. За этим ты сюда и приехал, и каменное олицетворение простых рыбаков, погибших страшной смертью, вызывает к жизни какие-то глубинные силы и веру – с тобой такого не случится, Бог не оставит тебя в трудную минуту, всё будет хорошо...

И именно в первый рейс, отработав всю зиму на добыче минтая у берегов Курильских островов и вдоль южного побережья Камчатки, мы к весне отправляемся на север Охотского моря, где и оказываемся затиснутыми льдами... Там ко мне приходит недостающее знание о коварности морской стихии, и впервые ощутив в своей душе настоящий страх, я начинаю верить в существование Бога, потому как только в таких условиях ты переживаешь Его присутствие наиболее чутко. В моей жизни появляется неизвестное ранее слово «аврал», строгая необходимость следовать этой твёрдой морской команде, и, наверное, этот опыт значительно укрепляет веру в собственные силы, предоставляя возможность в дальнейшем правильно выстраивать жизненные шаги.

Что же это такое – обледенение судов? Особого объяснения этот процесс не требует, поскольку даже не сведущему в морских делах человеку он достаточно понятен: при сильном волнении небольшое низкобортное судно интенсивно заливаётся водой, которая под воздействием ветра и низких температур быстро замерзает, превращаясь в лёд. Центр тяжести

судна при этом резко перемещается вверх и тогда достаточно резкого порыва ветра или крутой волны, чтобы оно опрокинулось. Это, несомненно, отчаянная опасность, в коей лучше не оказываться, и огромное напряжение людей, на пределе сил отстаивающих свою жизнь и судьбу вверенного им плавсредства, и, конечно, надежда на то, что всё обойдётся, люди не сломаются, с честью выйдя из создавшейся ситуации, а судно выдержит все нагрузки.

Но лёд не в силах себе изменить, он насаждает и сдавливает, уничтожая всё на своём пути, и разве можно ему противостоять?! Лёд – неминуемая смерть, если попал в его безжалостные тиски, ужасающее зрелище, когда неоткуда ждать поддержки, и все члены экипажа, вне зависимости от своего положения, возраста и занятости вынуждены подниматься по авралу и скалывать его настывшие глыбы, сковавшие палубу, борта, мачты и снасти. Всё покрыто льдом, а волны, не переставая, захлёстывают судовое пространство до верхнего мостика, так что уже туда не подняться по трапу – он превратился в сплошную наледь!

«Аврал» - слово повелительное, скорее даже - это команда, в переводе с английского означающая «все наверх». Учитывая особенности парусного флота, когда личный состав располагался внизу, он, естественно вызывался на палубу в случае какого-либо происшествия, требующего напряжения всего судового экипажа или большей его части. Незамедлительность подобного вызова не обсуждалась, повиновение, с коим эта команда осуществлялась, должно было оставаться безукоризненным, потому как экстренность предполагаемой работы не терпела никаких отлагательств. Авральными работами могли быть срочная отдача якоря, съёмка с него, борьба с оледенением судна, чреватое потерей остойчивости и большим креном, ведущим к тому, что судно просто переворачивалось.

Больше ста лет тому назад жил в Англии знаменитый корабельный инженер Джон Рид. Он для каждого корабля делал чертёж, где видно было, как растёт и падает остойчивость при крене. На его чертежах показано, с какой силой корабль сопротивляется крену. Когда его положат на пятьдесят градусов, это значит – он с наибольшей силой старается выпрямиться и встать ровно. Но в шестьдесят градусов уже нет никакой силы у корабля сопротивляться крену. Это значит, что если довести его до этого наклона, то он без сопротивления опрокинется, ляжет мачтами на воду или вовсе перевернётся. Эта линия начерчена для каждого корабля, её знает всякий капитан, она называется диаграмма Рида.

И на нашем эстэре, на котором мы добывали рыбу в Охотском море, у капитана тоже была диаграмма Рида... И он знал, при каком наклоне судно уже не будет сопротивляться крену, не будет больше стараться выровняться, а опрокинется, как сражённый насмерть. Капитан хорошо представлял себе, как это может произойти только здесь, в Охотском море, в момент шторма, сопровождающегося сильным обледенением. И капитан, конечно, был очень напряжён, впрочем, как и любой член экипажа.

Но что нужно делать, чтобы судно не потеряло остойчивости?! В случае обледенения, тем более, при сильном волнении, только одно – безостановочное скалывание мгновенно намерзающего льда, не прекращая работы ни на минуту, ибо последствия могут оказаться необратимы.

Когда температура воздуха, по крайней мере, на 9 градусов Цельсия ниже температуры воды, и если температура воздуха падает ниже нуля градусов Цельсия, то в море возникает очень своеобразное парение, происходящее в слое толщиной около метра. Если верхняя граница слоя парения располагается ниже уровня наблюдателя, то моряки называют его «белым туманом», если выше уровня наблюдателя – «чёрным туманом». Во время морозного парения капельки воды находятся в переохлаждённом состоянии, так как температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия, и когда эти капельки входят в соприкосновение с судном, они мгновенно замерзают, превращаясь в полупрозрачный гололёд, который, при достаточно обильном тумане, нарастает со скоростью две с половиной – три тонны в час. Такое обильное намерзание дают всего лишь капельки тумана, а что уж говорить о штормовых волнах во льдах, беспрестанно захлёстывающих палубу?!

Причиной обледенения судна может быть и дождь при условии, что температура воздуха ниже точки замерзания. Капли воды, попадающие на палубу и надстройки судна, должны иметь температуру, близкую к нулю, или быть переохлаждёнными. В этом случае вода сразу превращается в лёд, который покрывает судно сплошной ледяной коркой. Но самый сильный дождь и арктическое морозное парение, конечно, не дают такого результата обледенения, которое происходит вследствие забрызгивания движущегося судна при ветре силой более 5 баллов. При этом температура воздуха должна быть ниже точки замерзания – минус 1,9 градусов Цельсия, а температура воды близка к точке замерзания.

При обледенении судна на его надстройках может нарасти очень большая масса льда. Особенно опасно обледенение для малых промысловых судов с низким надводным бортом, ведущих добычу в зимнее время. Добавочный вес уменьшает высоту надводного борта, что влияет на остойчивость судна. Опаснее всего, когда лёд нарастает на высоких мачтах, такелаже и надстройках, так как при этом создаётся большой опрокидывающий момент и остойчивость судна снижается. Обледенение может быть настолько интенсивным, что надводная часть судна оказывается тяжелее подводной, потому как сильно повышается центр тяжести судна, и оно переворачивается. Обледенение резко увеличивает парусность надстроек, рангоута и такелажа, что затрудняет управление судном в штормовых условиях. Случаи гибели траулеров вследствие обледенения широко известны и неумолимая статистика свидетельствует о том, что нарастание льда за сутки на этих судах составляет до 50-60 тонн, и, конечно, подобный перевес несовместим с тем, чтобы судно длительное время оставалось наплаву.

Обледенение судна – это страшное бедствие. Страшное именно своей неминуемой молниеносностью, какой-то безжалостной неукоснительностью, когда, вроде бы, все и ожидают возможность гибели судна, но верят, что всё обойдётся. И всё-таки, перевернуться судно может в самый непредсказуемый момент.

На Дальнем Востоке чаще всего интенсивное обледенение судов случается в Беринговом и Охотском морях, в северной части Японского моря, в северо-западном районе Тихого океана, вдоль Курильской гряды и у восточного побережья Камчатки... В Японии, начиная ещё с 60-х годов прошлого века, ведутся натурные наблюдения обледенения судов. В университете в Хоккайдо была создана специальная лаборатория, целью которой обозначались меры, обеспечивающие безопасность зимнего плавания судов, и прежде всего - предполагалось покрывать синтетическими материалами/например, полипропиленом/ те части судов, где интенсивно откладывается лёд. Было даже проведено испытание на рыболовном судне вблизи Камчатки и северных Курильских островов, результаты которого оказались обнадеживающими.

Каков смысл применения синтетических материалов? Тут, пожалуй, следует позаимствовать понятие из французского языка – «агдезия», что означает силу сцепления двух взаимодействующих веществ. Лёд, попадая на судно, примерзает к различным поверхностям. Это явление отличается от прилипания других тел тем, что образование ледяных отложений проходит через стадию жидкого состояния. Вода – это высокоподвижная жидкость, способная проникать во все микропоры и микротрещины контактирующего с ней твёрдого тела и состояние поверхности последнего существенно.

Так известно, что сила примерзания льда к шероховатой поверхности гораздо больше, чем к полированной, ибо на шероховатой поверхности, кроме молекулярных сил, действуют ещё и механические силы сцепления, которые, подчас, могут оказаться очень большими... Попадая в поры и замерзая, вода образует очень прочную систему. К тому же, превращаясь в лёд, вода расширяется, сжимая соседние впадины, и те давят на своих соседей. В результате общая площадь контакта льда с шероховатой поверхностью увеличивается, и значение агдезии растёт.

Важно и то, с какой скоростью происходит замерзание. Высокое значение коэффициента теплового расширения пластмасс и плохая смачиваемость их поверхности обуславливают меньшее примерзание к ним льда. Вот почему возникла идея разработать различные материалы и покрытия, с помощью которых удаётся снизить силу сцепления льда с твёрдыми телами. Следует помнить ещё и то, что сила сцепления льда меняется в зависимости от самого материала. Так, для меди она равна 8,6 кг/см<sup>2</sup>, для стали 8,4 кг/см<sup>2</sup>, а для полиэтилена 0,7 кг/см<sup>2</sup>.

В нашей стране разработка методов борьбы с обледенением начата сравнительно недавно. Это исследование под условным названием «Лёд» ведётся в трёх направлениях. Во-первых, изучаются гидрометеорологические

условия, при которых может возникнуть обледенение, его возможная интенсивность, делаются попытки разработать методы прогнозов и систему наблюдений на судах. Во-вторых, изучаются физические, химические, оптические и другие свойства льда и прочность его сцепления с различными материалами. И, наконец, в-третьих, ищутся и создаются эффективные средства и методы борьбы с обледенением судов. Уже имеются соответствующие документы – инструкции, атласы, помогающие предвидеть возможное обледенение.

Были проведены наблюдения и непосредственно в море. Два средних рыболовных траулера со спасательным судном в поддержку, что называется, были брошены прямо в пасть льву – они вышли в плавание с задачей попасть именно в обледенение. Опыт производился в северо-западной части Японского моря в течение почти всего февраля 1968 года и анализ результатов показал: скорость обледенения судна находится в прямой зависимости от частоты забрызгивания, которая, в свою очередь, определяется курсом судна. При одних и тех же условиях частота забрызгивания будет наибольшей, если судно следует курсом на ветер или под небольшим углом к нему. Когда судно меняет курс на 90 градусов, забрызгивание и следующее за ним обледенение полностью прекращается. Впрочем, это зависит от размеров судна. Наибольшее забрызгивание было при следовании под углом 40-45 градусов к направлению ветра.

В результате эксперимента удалось составить представление об условиях, при которых происходит медленное, быстрое и очень быстрое обледенение, а также - сколько часов оно может продолжаться до наступления критического момента...

Обо всём этом хорошо писать, сидя в тёплом уютном кабинете, лишь представляя вероятное напряжение сил, случающееся с экипажем судна в бушующем северном море в момент обледенения. Но вообразите себе весь ужас происходящего, когда вы оказались участником переживаемого в действительности, находясь в беснующихся широтах зимнего Охотоморья, при температуре воздуха минус двадцать пять-тридцать и шторме в 9 - 10 баллов?!

И так, вы очутились на настоящем рыболовном траулере, когда студёный охотоморский ветер мгновенно обращает водяные брызги в лёд. Руки тоже леденеют, и весь ты сам поначалу будто изледеневаешь, оказавшись на обледеневшей палубе. Всё вокруг быстро покрывается льдом и кажется - вот-вот навсегда замёрзнет, дыхание заледенеет, и сам ты скоро превратишься в ледышку, но именно охвативший пространство ледок и зажигает в сердце неистребимый огонёк. Всё в природе имеет суть, и всякая суть непременно должна идти на пользу! Но чем могут быть полезны ледовые объятия?

Наверное, льды, как это ни странно, объединяют людей потребностью держаться вместе, когда вокруг холод, а январь с февралём – самые холодные месяцы в Охотском море. Кроме того, зимою здесь очень часты шторма. Это чрезвычайно затрудняет проведение всех океанологических и промысловых работ, в особенности на небольших судах. Оказавшись во льдах, люди неслучайно ощущают друг к другу неразрывное чувство спаянности и братства.

В считанные часы лёд вокруг судна становится настолько толстый, что свободно выдерживает тяжесть нескольких человек. Крутая зыбь с юга и юго-востока уплотняет лёд, гонит на север мелкую шугу и он постоянно обрастает по краям, превращаясь незаметно в мощные ледяные глыбы. Глыбы эти поражают воображение людей скрытой в себе силою, но что может быть более сплочённым и выносливым, чем моряцкая стойкость и дружба?!

Погода в этих суровых северных условиях складывается чаще всего очень неблагоприятная. При морозе до двадцати градусов почти непрерывно штормит, ветер пронизывает ватник вместе с прорезиненной курткой. Особенно тяжело работать в такую погоду с металлическими приборами или орудиями лова. Поднятые из воды, они моментально обледеневают и «жгут» руки, а обогреться некогда... Холодное дыхание льдов согревает, да собственное усердие.

Попад в изрядный шторм, палуба, лебёдки и рангоут быстро покрываются от забортных брызг слоем льда. Он с каждым ударом волн становится всё толще, и это грозит серьёзной опасностью. Судно под многотонной тяжестью намерзающего льда оседает в воде всё ниже и ниже, или ложится на какой-либо борт и, потеряв остойчивость, переворачивается, что на морском языке называется «оверкиль»... Чтобы этого не случилось, капитан объявляет на судне непрекращающийся аврал.

В аврале задействованы абсолютно все. Штурманскую вахту стоит капитан. Кок обеспечивает морякам бесперебойную подачу горячего чая и бутербродов. Остальные – на палубе.

Вся палубная команда во главе с боцманом и другими членами экипажа дружно скалывает лёд, сгребает его в кучи и затем выбрасывает за борт. Совсем как на городских улицах! Люди сменяют друг друга постоянно, стараясь не давать льду нарастать. Каждый ясно осознаёт – как это опасно, и все, сменившись с вахты, спешат с пешнями, ломami и лопатами на переднюю палубу. Колют, рубят, выбрасывают лёд за борт, но он снова намерзает и намерзает, не давая людям передохнуть. Одежда покрывается сплошной ледяной коркой, судно всё время накрывает водой и она мгновенно замерзает, а капитан, завернувшись в полушубок, стоит бесшумно на мостике, наблюдая за морем, людьми и судном. Он один отвечает за всё, и все это хорошо понимают...

... Страшный, безжизненный вид имеет такое море. Непроглядная снежная муть окутывает всё вокруг. Студёный ветер, подгоняя колкую

крупы, засыпает ею бак, мостик, копошащихся на палубе людей. Чёрные волны неторопливо и жутко вздымаются за бортом, с какой-то неумолимой неукротимостью захлёстывают всё судно, тотчас превращаясь в пугающие ледяные наплывы. Трудно представить, что существует где-то иной, покойный и цветущий мир. Но нет времени и желания думать об этом мире, что кажется сейчас далёким, почти не существующим.

Со льдом можно бороться целые сутки, двое, а он всё нарастает и нарастает. Опасность положения осложняется силой волнения и мощностью ветра, во власти которых, помимо льда, оказывается судно. Ситуация может ухудшаться до крайности, и от капитана с экипажем зависит очень многое: борьба со стихией, несмотря ни на что, должна не прекращаться до самого конца. Присутствие капитана, его поведение, как ничто поддерживает в людях надежду.

Порой при полном отсутствии видимости из-за сильного снегопада и ветра приходится двигаться, не сбавляя хода, то и дело входя в поля разреженного льда и лавируя между льдинами по еле угадываемым разводьям. И это в шторм, при непрекращающемся обледенении, по причине которого судно подчиняется управлению с трудом или вообще временами выходит из-под контроля. Со всех судовых надстроек свисают огромные и страшные наплывы желтовато-грязного льда, превращающие судно в какое-то неведомое полярное чудовище, но работа продолжается, судно не сбавляет хода и оно неукоснительно следует своему курсу, преодолевая все возникающие трудности.

Бывает, ветер утихает, а температура воздуха понижается, и тогда оставшиеся разводья быстро покрываются льдом, и отдельные льдины смерзаются в большие поля. Куда капитану направить судно, как не ошибиться в этих бескрайних ледяных просторах?! Вот когда важно не растеряться, не отчаяться, и сохраняя присутствие духа, планомерно, не теряя между собой взаимоподдержки и понимания, хладнокровно выдерживать этот напряжённый ритм, называемый на флоте коротко и ёмко – аврал! Каждый член команды во время аврала отдаёт себя без остатка, а обезоруживающее своей простотой чёткое морское слово говорит само за себя: все наверх!

Невозможно оставаться в подобной ситуации одному. Один ты думаешь о себе плохо, потому как начинаешь жалеть о том, что однажды вошёл в этот мир, посчитав его своим. А нужно научиться не терять задора, когда жизнь берёт тебя на излом, не забывать про товарищей, чувствовать судно, как часть себя, а себя – продолжением его сокровенной жизни, и, конечно, не падать духом, наоборот стараясь, благодаря сложившейся обстановке, только ещё более его укрепить.

Да, страшно попасть в аврал, зимой, в Охотском или Беринговом море, - какой переплёт может быть ещё более губительным для людей и судна, подвергшегося настоящему ледовому нашествию?! Но разве это не та самая, настоящая жизнь, о которой ты с детства мечтал и к ней стремился? Разве

может быть что-либо более действенным в приобретении верного осознания происходящего и в тебе, и вокруг, когда под встречным неутихающим ветром солёные брызги моментально обледеневают на бортах, свисающем такелаже и палубных устройствах, и с каждым ударом упрямого форштевня о беснующуюся волну слой намерзающего льда стремительно увеличивается, а дальнейшее его нарастание грозит неминуемым оверкилем, случающимся, как правило, за единственный крик раздосадованной чем-либо чайки?!

Всё происходящее с судном в момент обледенения и потери им устойчивости ужасающе мгновенно и просто, а спасти его может только непрекращающееся ни на минуту скалывание льда, своими смертоносными щупальцами, как спрут, обвивающим палубу. Уже ничего не видно сквозь заиндевелый блеск слипшихся ресниц, в горле встаёт стылый ком, мешающий дышать, и от этого, кажется, что лёгкие окаменели и в них даже похрустывают острые хрусталики льда. Но ты не покидаешь палубы, и всё крушишь ломиком мёртвенно пожелтевшие бесформенные наплывы, а бурый от ржавчины судовых снастей лёд всё нарастает и нарастает, и уже не верится, что этому когда-нибудь наступит конец...

В такую пору всё смешивается – и день, и ночь, и ты только думаешь, как бы не перегорел чайный бачок, и люди не остались без согревающего, хотя бы на короткое время, кипяточка, у судовых механизмов и обшивки корпуса хватило бы запаса прочности выдержать натиск безжалостной стихии, и каждый член экипажа нашёл бы в себе силы всё это мужественно перенести... А вокруг, по-прежнему, лишь необозримое ледяное поле, в редких прогалинах – пугающая чернота, и серые тени от облаков, время от времени будто сползающие на такой же серый ледяной покров. И ещё – косые ледяные брызги, обезумевшая ледяная мгла, шквал ледяного ветра, сильнее которого невозможно вообразить... Льды!

Да вероятно ли всё это превозмочь человеку, когда часы сверяют по сдавливающему борта пронзительному скрежету или отрешённому эху, безжизненно отдающемуся в пустом трюме?! Сизый пар тягучей струйкой жалко выбивается изо рта, сбитое дыхание не в силах прорваться сквозь объявшие всё вокруг ледяные завихрения, и нет сейчас для рыбаков более важной заботы, чем борьба за живучесть судна, и эта борьба всех нас, совершенно разных людей, необыкновенно сплачивает.

Определённость критического положения в море, не позволяющего долго раздумывать, тотчас располагает к работе, потому как некогда думать, некуда отступать, за тебя никто ничего не сделает, и от этого работа, как ни странно, делается в охотку, с настроением, понуждая преодолевать любую трудность. Руки, спина, молодое упругое сердце и здоровые лёгкие сразу включаются в безостановочный ритм, не боясь ни больших нагрузок, ни низкой температуры, когда на лютном морозном ветру, постоянно захлёстываемый ледяными волнами, ты вынужден безостановочно отбивать ломом или киркой намерзающий лёд. Ты заслужил это право: по несколько часов подряд, не меняя скрюченной позы, без усталости откалывать

безжалостный лёд, крошить его, чем ни попадя, хотя бы и топором, если достался именно он. Причём, не прекращаешь изнурительную в своём однообразии работу ежечасно и ежесуточно, когда, перед очередной сменой своих товарищей, опухшие кисти рук не разгибаются, а между лопаток начинает тупо ломить лишь при воспоминании о предстоящих нескончаемых часах работы на обледенелой палубе. Нет ничего желаннее в такие минуты уютной тишины кают-компания и обыкновенной кружки горячего чая!

В кают-компания отчетливо слышно, как на палубе чей-то топор гулко вгрызается в ледовые наросты, ему вторят пещня и лом, а мы, отдыхающая смена, в молчании смотрим «Полосатый рейс». Все члены экипажа уже давно изучили этот фильм до тонкостей, и знают его наизусть, но судно, с которым бы можно было обменяться кинофильмами, давно не попадалось, и марконя в очередной раз крутит наскучившую всем киноленту. Фильм, конечно, хороший, но если ты смотришь его в двадцать девятый раз, он, к сожалению, приедается.

Одно хорошо – во льдах нет морской болезни, хотя тягостная бортовая качка временами донимает своей монотонностью, но пуще всего досаждают окружившие нас со всех сторон льды... Столько льда не увидишь даже в ледоход на родимой уральской реке, не то, что в море... Но что такое морской лёд? Просто застывшая и отвердевшая от стужи жидкость? Нет... Скорее, это полная несокрушимых возможностей сила, способная быть ещё и необыкновенно красивой.

На той же самой речке ледок не в диво – каждую весну идёт, а бывает даже – прёт, трещит, да ломится, но вот в северном море во льду – что в гробу! Одна волна лёд положит, другая его уже не снесёт, заковав, кажется, навеки. Если лёд на реке становится грудями, замечали в народе, то и хлеба будут груды, в море же от ледяных гор гладко никогда не станет: затиснуло – почитай, делу аминь!

Но не только опасным – скучным иногда представляется описание работы во льдах, и как тут не задашься вопросом: а кому нужен этот лёд? Ну, разве только морские звери – моржи и нерпы выбирают на него погреться в лучах скупого северного солнца или когда спасаются от кровожадных косаток. Изредка присаживаются на ледяные торосы вездесущие белоснежные чайки, отчего обнаруживаешь, что лёд – разноцветный: и жёлтый, и розовый, и голубой, и коричневато-серый... По льду лениво расхаживают своими неведомыми маршрутами и белые медведи.

Со льдом крепко связана жизнь и таких животных, как крупные пятнистые киты-нарвалы. Казалось бы, ледовый панцирь – смерть для животного, если оно не сможет выставить на поверхность, хотя бы на самое короткое время, голову с дыхалом, и естественно было бы китам покинуть опасные места обитания, но нарвалы почему-то не покидают их. Они спасаются тем, что не дают замёрзнуть полынье, или пробивают лёд, делая

так называемые «продухи». Киты для этого имеют соответствующие приспособления...

У нарвалов левый зуб верхней челюсти со временем превратился в огромный, спирально закрученный костный бивень длиной до трёх метров. Легко представить себе силу пробойного удара огромного костного стержня, если нарвал весом до двух тонн, развив скорость до 30 км/час, налетает на льдину снизу. Через пробитые «продухи» по очереди дышит всё стадо. И тем не менее, среди бивней нарвалов, собранных эскимосами, чуть ли не половина оказываются сломанными...

Представляя зверей, заселяющие окутанные холодом и покрытые льдами полярные моря, не устаёшь удивляться: отчего звери выбирают для себя такие трудные для жизни места? Дальше всех в высокие широты поднимаются эти редкие в настоящее время киты...

Однако не один из китов не приспособлен так хорошо к жизни во льдах, как полярный кит. Они даже детёнышей рожают среди льдов. В этом им помогает теплоизолирующий слой сала толщиной до 15 см, что вдвое превышает толщину сала даже у крупных усатых китов, например, у финвала. Могучие животные не только прекрасно ориентируются среди ледяных полей, в полыньях и трещинах, но не боятся толстых припайных льдов и могут проламывать лёд толщиной до 50 см!

И всё-таки, никто из китов, живущих в высоких широтах, и даже гиганты полярные киты полностью не застрахованы от попадания в ледовый плен, а при особо неблагоприятных обстоятельствах – и гибели. Известны находки вмёрзших в лёд трупов китов, не имевших никаких следов ранения. Надо думать, что такие животные задохнулись в воде, будучи не в силах пробить «продух» в крепких льдах. Не редки случаи гибели китов, запертых в узком пространстве могучими льдами под влиянием нагонных ветров, когда льды садятся на отмель и не дают животным уйти под водой.

На моей памяти подобный случай произошёл и у нас, в районе острова Итуруп с океанской стороны. Ночью подул сильный ветер, погнал льды на берег, и тогда целое стадо дельфинов было застигнуто врасплох. Под утро льды прижали животных ко дну, они никак не могли выбраться из западни, и на помощь животным поспешили наши матросы во главе со старпомом.

Совместно с рыбаками местного рыболовецкого колхоза они с трудом добрались до берега, где принялись шестами расталкивать льды, освобождая дельфинов из плена. Всего из ледовых объятий тогда удалось вызволить более двух десятков животных, и местные власти объявили нашему капитану благодарность, вдобавок угостив команду мороженой чавычей... Второй механик с радистом прибыли на судно с огромными рыбинами под мышками, и мы с кандеем наvertели с них к обеду сочных котлет, после чего лакомый до рыбки экипаж в тот день мошны, как говорится, не завязывал. Но хороша была чавыча не столько для насыщения, сколько для угоды вкуса!

Безо льда сейчас, оказывается, не могут обойтись и многомиллионные мегаполисы... В некоторых роскошных гастрономах Токио можно купить

лёд для прохладительных напитков из берегового припая Гренландии. Доставленный на самолёте, он стоит в двадцать раз дороже промышленного льда. Покупают его из снобизма, так как на этикетке стоит надпись: «Возраст – две тысячи лет».

А вот уже более интересный способ применения льда местным населением в низовьях Енисея, Оби и Лены, то есть, по берегам Северного Ледовитого океана, которым оно пользуется для расчистки дна реки от камней и песчаных банок. В толще речного льда выдалбливают широкие углубления, стараясь, однако, не пробить льда насквозь. К следующему дню под оставленную тонкую ледяную корой намерзает новый пласт льда, тогда в новой толще выдалбливают новое углубление и так далее, удаляя день за днём пласты известной толщины, чем заставляют воду замерзать всё на большей и большей глубине, добираясь до самого дна. Таким путём образуется нечто вроде шахты с ледяными стенками, где можно работать с удобствами, оставаясь сухим, поднимать камни, брёвна и вычерпывать песок, где нужно. По-видимому, это весьма практично в условиях суровой северной природы.

Север неразрывен со льдами, так же как невозможно себе представить полярную ночь без северного сияния. По климатическим условиям Охотское море, где рыбакам приходится совершать наибольшее количество экспедиций, мало чем отличается от полярных морей, большая часть его зимой замерзает. Огромные ледяные поля и причудливые остробокие льдины, будто айсберги, блуждают по морю всю зиму, весну и даже лето.

Кстати, противно утвердившемуся мнению, что в Северном полушарии айсберги не встречаются, иногда, они здесь всё же попадаются. Отсоединившись от ледников Северной Америки, айсберги редко достигают открытого океана и выходят лишь к бухтам, заливам и внутренним водным путям Канады и Аляски. Айсберги, образуемые этими ледниками, невелики по сравнению с айсбергами Гренландии, и тают уже в прибрежных водах. Но находясь в конце зимы в Бристольском заливе на добыче трески и минтая, мы одного из таких великанов обнаружили и были поражены тем, как он величествен и неподражаем в сравнении с торосами Охотского моря, если они даже превышают высоту восемь-десять метров...

Что же касается Охотоморья, то его холодные косматые волны всю осень и зиму с оглушительным гулом накатывают на скалы и прибивают груды льда к берегу. Вдобавок, дважды в сутки море наступает на сушу и тогда сильные приливы, которые в северной части Охотского моря достигают чуть ли не двадцати метров, разносят эти льды по многочисленным бухтам и забивают ими Татарский пролив. Когда вода уходит, каменисто-галечные крутые берега красуются голубовато-жёлтыми ледяными останцами, что постепенно и по-хозяйски осаживаются, будто намереваясь навсегда схорониться под этими неприятными скалами от редкого северного солнца... Сурово Охотоморье, но, между тем, оно – самое богатое из всех дальневосточных морей.

Штормы, пронёсшиеся зимой и основательно взломавшие лёд, превратили его в хаотические нагромождения торосов с зазубренными выступами, которые своими очертаниями напоминают складчатые горы, хотя высота их нигде не превышает нескольких метров. Оторванные друг от друга и переливающиеся в лучах скупого северного солнца, эти ледовые нагромождения величественно передвигаются по Беринговому и Охотскому морю, напоминая крадущихся или уснувших неведомых чудищ, которые сами по себе совсем не пугают... Привлекает в них величественная тишина, что, кажется, вот – вот должна разродиться какой-то неожиданной для людей стороной...

Торосья поменьше – ропаки, так же таинственно нацеленные ледяными зубьями в студёное небо, не менее загадочны, но ведут себя привольнее. Им легче обжиться в обретенной ими свободе, с которой, впрочем, они не знают – что делать... А ещё встречаются цельные ледяные глыбы, совсем не по-морскому называемые моряками «кабанами», и хотя они неповоротливы, никогда не знаешь – чего от них ожидать. Зачарованно наблюдаешь, как эти глыбы, столкнувшись, медленно переворачиваются, вздыхают, и вдруг вообразишь, что они – живые...

Кругом плавают голубоватые льдины размером до нескольких десятков метров. Над извилистыми тёмными разводьями дымится розоватый дымок... И так – до самого горизонта...

Отскакивая и переворачиваясь под напором стального корпуса, льдины тороятся, натываясь друг на друга, и издают ровный, мелодичный шелест. Напоминает это какой-то живой, не успокаивающийся звук, будто лёд жалуется на кого-то, еле слышно высказывая неудовольствие.

Море всегда разное, полное контрастов, опять подтверждает свою безграничную изменчивость. Покрытое первозданно чистой черепицей из крупных льдин и мелких льдинок, оно выглядит застойным, сладко подрёмывающим, но и коварным. Крики чаек, как-то покорно опускающихся к спящей воде, мягко тают в ней, но становится понятно, что под этой ледяной, слегка розовеющей черепицей кроется завораживающе стылая глубина...

Успокоенная призрачность окружающего морского пейзажа не влияет на остроту восприятия. Лёгкий аромат крошёного льда, до слёз щемящая в носу морская свежесть, краски неба, отражающиеся и переливающиеся в розовато-белом пространстве – веселят до беспричинного смеха, улыбок и радостных возгласов моряков, далеко раздающихся над водной пустыней. Нигде уже потом у меня не работало так чётко и ясно сознание, и не трудился я с таким удовольствием, как здесь, посреди Охотского моря, накануне трепетной североморской весны...

В такие тихие ясные дни свободные от вахты члены экипажа обычно выстраиваются вдоль борта и, молча, наблюдают, как судно плавно скользит мимо обломков битого пакового льда. Обломки эти удивительно красивы, кажется, невесомы. И вдруг до слуха доносится поначалу нечто непонятное –

«тр-р-р-р, тр-р-р-р, тр-р-р-р, пшы-ы-х!» Это судно с ходу налетает на льдины, они подминаются под борта и вертятся под днищем с такой силой, что стальная обшивка отзывается громким скрежетом и отчаянным скрипом, а потом – «пшы-ы-х!» - очумело выбрасываются на поверхность.

Иной раз какая-нибудь льдина угодит под ход судна только боком, тяжело накренится, и от неё отколется порядочный кусок, после чего оставшаяся глыба, переливаясь в лучах скупого солнца и утратив баланс, тоже начинает, что было сил, крутиться, переворачиваться, нырять, и являет глазу в какой-то момент уже новую фигуру, так что все присутствующие принимаются отгадывать – на что она похожа... Льдина же, словно облизываясь от удовольствия и издавая звуки, очень похожие на урчание сивуча, кажется, вполне искренне реагирует на незатейливые домыслы людей, отчего верится, что она всё понимает, оценивает оказываемое ей внимание, и благосклонно, насколько это способен себе позволить холодный кусок льда, принимает его. И лёд и солнце представляются живыми, и постепенно ледовый плен начинает восприниматься даже привлекательным, а северное море одаривает невидимым теплом.

А тут ещё, бывает, послышится под бортом чьё-то громкое сопение, так, что на минуту, ошарашено, застываешь, не в силах постичь – кто бы это мог быть в царстве вечной стужи и льда?

- Пуф-ф! Пуф-ф! Пуф-ф! – это среди разноцветных ледяных громадин с шумом возятся и фыркают толстые сивучи. Атласные тела зверей притягательно поблескивают, и хочется погладить сивучей рукой, прикоснуться к их мокрым кремовым усам, что задорно топорщатся в разные стороны. Сивучи кажутся такими огромными, а производимые ими звуки такими отчётливыми и громогласными, что представляется, будто животные вот-вот перевалятся через борт и очутятся на палубе.

Не без опаски подходишь к фальшборту, заглядываешь туда, в тягучую стылую воду, и тебя вмиг обдаёт утробный дух морских гигантов, облачка водянистого пара и фонтаны брызг. Покосив огромными тёмными глазами, сивучи тяжело, но без напряжения продавливают собой голубоватое, искрящееся сало, и на короткое время исчезают под водой...

- Пуф-ф! Пуф-ф! Пуф-ф!

А то вдруг заметишь с полдюжины китов, тесной группой дефилирующих у самых льдов... В тёмно-зелёной воде серые киты тоже кажутся каким-то диковинными льдинами. Невозмутимо передвигаются они вдоль кромки льдов, то почти сходясь друг с другом, то исчезая в маслянистой глубине. Тихо вокруг, первозданно, и только по тяжёлым вздохам животных, вскоре опять показывающихся на поверхности, да вырывающемуся из дыхала пару определяешь, что это живые существа, впрочем, неподдающиеся точному описанию. Нужно просто видеть, как мощные животные прекрасны здесь, во льдах, где самые обыкновенные чайки воспринимаются как нечто удивительное, даже – загадочное.

До самого горизонта простирается эта внушающая трепет картина: осколки огромного ледового поля. В лучах солнца белые грани тористого льда ослепительно переливаются, играют. Через каждую сотню метров торчат вмёрзшие в ледяной массив большие ропаки, образованные обломками многолетнего льда при сжатии. Возвышаясь над необъятной белой гладью, они тоже, как и плавающие льдины, напоминают причудливые изваяния: одни – покатые, с горбом, порой – закруглённые, другие ошетинились острыми зазубринами, а третьи – застыли с развернутой ледяной пастью, куда даже смотреть холодно, так что на душе сразу становится тревожно. Судно неторопливо следует вдоль этой бескрайней ледяной пустыни, то и дело шуршат под его днищем подавляемые льдины, которые с уханьем выворачиваются из-под бортов, и мы простосердечно, позабыв обо всём, любимся их фантастическими формами.

Когда солнце скрывается за облаками, красивые ледяные скульптуры уже не выглядят так симпатично, оборачиваясь другими, самыми неожиданными изображениями. И тогда ещё совсем недавно пронизанные светом льды становятся мрачными, даже зловещими, а воздух безжизненным...

Ночью, при свете прожекторов, представляется ещё более захватывающее зрелище... Со всех сторон нас опять окружают льдины – круглые, плоские, квадратные, но на сей раз они выглядят какими-то слишком чудовищными и зазубренными. Кажется, это совсем не тот лёд, который мы наблюдали днём. Вместо ясно очерченной, переливающейся в лучах солнца ледовой кромки – кошмарное нагромождение гонимых морским волнением и ветром льдин, что уже не выглядят такими уютными...

Но всё-таки огромный ледовый ковёр укрощает волнение, и остаётся лишь мощная зыбь, которая качает и вертит льдины как хочет. Местами мы выходим на широкие разводья, где плавают только куски рыхлого тёмно-синего льда, и несколько минут можно плыть без помех, но это происходит редко и вскоре судно вновь оказывается в окружении нескончаемых льдов. И опять – скрежет, скрип и гулкая мелкая дрожь, тягостно проплывающая через всё судно.

Порой перед самым носом вырастают ледяные гребни, образующие неприступный бастион, который приходится обходить. Пару раз из тумана выплывают громады, отколовшиеся от айсбергов, в несколько метров высотой, и мы с тревогой наблюдаем, как они тягуче и жутковато минуют наше судно. Сближаясь с ними, мы успеваем различить секущие глыбу зловещие трещины, которые грозят скоро обвалиться очередному внушительному обломку. От таких громадин следует держаться подальше, потому, как их может окружать многочисленная свита из подобных им ледяных чудовищ под водой.

Плавание в темноте, среди льдин, оказывает почти гипнотическое действие на человека. Равномерный стук двигателя, влажный мрак в тумане, стонущие под бортом волны и льдины – всё вместе порождает некое чувство

отрешённости. Причудливое зрелище дополняют фосфоресцирующие гребни ледовых волн, которые изредка вспыхивают зеленовато-голубыми, белыми или оранжевыми огнями, и ухая вниз, угасают, сбивая с толку усталые глаза. Немудрено на время забыться, но забыть это зрелище навсегда не получается, и ты вдруг понимаешь: только проработав в северных морях достаточное количество лет, начнёшь ценить нахождение среди льдов и их скрытую от глаз многих людей таинственную жизнь...

А многоцветность льда? Разве это не чудесное оптическое явление севера, не упомянуть о котором невозможно?! Даже в полярной ночи лёд излучает своё неподражаемое свечение, и тьме его не объять.

Но и вода морей по цвету и прозрачности не одинакова, каждый бассейн имеет, так сказать, свою индивидуальную окраску. Окраска моря определяется не светом, отражённым от его поверхности, а рассеянным светом, исходящим из глубин моря. Спектральное распределение излучения из толщи моря есть результат процессов поглощения и рассеивания света, как самой водой, так и взвешенными и растворёнными в ней веществами. Так как в различных морях соотношения между этими процессами различны, то моря имеют различную окраску.

Определяющим здесь является процесс рассеивания излучения. Интенсивность рассеянного излучения обратно пропорциональна длине волны излучения. Так как синий цвет имеет наиболее короткую длину волны из всего видимого спектра, он рассеивается больше всего. В чистом льде – та же картина.

Север, конечно, противоположен югу и предполагает более зиму, долгую ночь, нескончаемый ветер и стужу, но именно в силу оптических свойств льда и присущей северу силе самая холодная сторона земли способна согреть сердце полярника и моряка особым светом и необычными цветовыми оттенками. Только северу бывают присущи ночные пазори, зорники, зимние зарницы, багрецы, лучи, переходящие в столбы, сполохи и снопы, которые, в свою очередь, светятся, играют, дышат, идут, бьют и даже гремят, наливаются, мерцают и рассыпаются, а лёд лучисто отражает всё это удивительное многообразие. Со всего свету не собрать порой столько цвету, сколько заключено в северной утробе среди бесконечных загадочных льдов... Но отчего же зависит цвет самого льда?

Самоцветными камнями отливает лёд северных морей, и все цветовые гаммы, которые он излучает, так же, как и у воды, объясняются его избирательным поглощением световых лучей и количеством примесей. Большая глыба чистого, лишённого пузырьков пресного льда, к примеру, имеет нежно-голубой цвет. В море встречаются льды белые, коричневые, зелёные, голубые, синие и даже чёрные. Их цвета точнее было бы назвать оттенками, заметными только в больших кусках льда. Отдельные же небольшие куски обычно кажутся белесоватыми со «стальными» прослойками, в которых меньше воздуха.

Коричневатый или желтоватый оттенок выдаёт лёд сухопутного или речного происхождения – окраска его объясняется присутствием глинистых веществ. Белый лёд образуется из снега, в нём много крупных воздушных пузырьков или ячеек рассола.

Из многолетних льдов со временем вообще исчезает почти весь рассол, поэтому они голубые или синие. Высокие ропаки и торосы даже однолетних льдов чаще именно голубого цвета. В голубом льду кристаллы ориентированы одинаково, и структура ярко выражена, он легко колется в направлении кристаллов – обычно это плиты льда спокойного замерзания. Зернистый лёд – зеленоватого цвета, он состоит из слабо выраженных, неправильно расположенных кристаллов. Начальные виды льдов – сало, шуга и тонкий сплочённый молодой лёд – имеют тёмно-серый со свинцовым оттенком цвет. В течение зимы лёд проходит стадии светло-серого, а затем белого цвета. Весной, при таянии, тонкие мокрые льдины вновь принимают тёмно-серую окраску. А ещё её придают льдам колонии бактерий и водорослей.

Вот и молодой жемчужный лёд, который течением, поздней осенью, выносит в открытые воды, делает небо похожим на блестящий перламутр... Но чаще в море можно заметить белое или желтоватое сияние на небе, вызванное отражением льда на нижней границе низкой облачности. Среди моряков, работающих на севере, такое небо называется «ледяным», по этому признаку они безошибочно определяют – как далеко от корабля, и в какой стороне находятся льды. Явление это очень часто присуще Охотскому морю.

Но более всего мне почему-то запомнился и полюбился розовато-кремовый лёд, с золотистыми отсветами от восходящего из-за моря солнца... Именно такой лёд, прозрачный воздух над ним, отчётливость звуков, цветов и запахов, скупой, но удивительно умиротворяющий северный покой, - всё это неизменно, не истрачиваясь, до сих пор стоит у меня перед глазами... И я думаю: это лучшее, что привелось мне увидеть на севере. Картина незабываемого, редкого покоя во льдах вошла в меня навсегда, и даже утробные всхрапывания полуторатонных сивучей за бортом нашего судна не могли его нарушить...

Плавающие в тёмно-зелёной воде льдины сами напоминали диковинных морских животных. Они продвигались тихонько, изредка сталкивались и накренились, будто играя в одну им понятную игру. Льдины подставляли восходящему солнцу свои чистые бока и спины, отливая нежной розовой позолотой, а когда под напором форштевня переворачивались навзничь, то оголяли беловато-салатное, нежное брюхо, какое бывает только у белухи. Низкие облака, тоже все в розоватых отсветах, и те походили на льдины, беззвучно передвигающиеся по небу, так что всё это необыкновенно завораживало...

Как это ни странно, но именно суровые северные моря со льдами вызывали в моей душе тёплые мысли и краски, и мне до сих пор хочется

опять отправиться в дальнейшее увлекательное путешествие, безотчётно любоваться северными красотами, и думать только о хорошем.

Выйдешь, бывало, на палубу, оглядишься: Боже, сколько же льда вокруг! От одного этого вида сердце готово превратиться в ледышку. Между нами и чистой водой – ледяная стена, и нам ничего не остаётся, как преодолеть её. Но как не крути, а лёд – Божье творение. В общении с ним начинаешь понимать: как мелок ты в сравнении с его монолитной и величественной мощью. И всё-таки стоит, хотя бы раз в жизни, оказаться в этом царстве льдов, чтобы осознать собственную силу, и рассказать об этом другим людям.

Восприятие льда, конечно, относится к таким необыкновенным вещам, что не зависят от собственного опыта, и если тебе, хотя бы однажды, приходилось иметь с ним дело, то уже никогда не захочется это общение возобновлять. Лёд не манит тебя в свои объятия, он противопоказан человеку, и им хорошо любоваться лишь издали, поражаясь его многоцветностью, размерами и северными миражами над ним. И тем не менее, ты нет-нет, да вспоминаешь этот непереносимый холод и пустоту, что несут с собой бескрайние ледовые поля, они отчего-то до конца не отпускают, и ты только от одних воспоминаний о них мёрзнешь душой. Но память опять неминуемо уносит тебя туда, в северные моря, где стоит вечная зима, льды и нескончаемые ветра...

В такие минуты всегда поначалу задаёшься вопросом: а зачем стремиться к тому, чего, как ни старайся, не сможешь отыскать или объяснить? Может быть, его и вовсе нет. Но затем, всё-таки, посещает мысль о том, что всегда можно разгадать причину происходящего, если по-настоящему этого захотеть. Ведь дело того стоит, не правда ли?!

Если отказаться от поиска – ты потеряешь в жизни что-то очень важное. Какие-то очень ценные переживания, способные привести тебя к истине. К тому, что за пониманием этого земного мира лежит иной мир, с совершенно другими законами, и он никогда в полной мере не предстанет перед нами, если мы не отнесёмся честно к своему пребыванию на Земле, а для этого нам необходимо изучать её. Ведь наша душа не подчиняется физическим законам, она несёт в себе ещё присутствие чего-то божественного...

И пока я жив, я буду слушать музыку ветра, дыхание океана и вкрадчивые нашёптывания льда, когда ему не спится. И мне никогда не забыть, как налезавшие друг на друга огромные стамухи рассерженно переговариваются между собой, даже порой на что-то негодуют, копошась, как морские звери, прямо под бортом нашего судна. И незаметно всё это ледовое безмолвие добирается и до твоего сердца, и становится ему, как ни странно, дорогим, и ты понимаешь, что лёд очищает, он, как и море, учит жизни.

Обозревая всё это безжизненное пространство, скованное льдом, не покидала вот такая мысль: находясь на материке, в тёплой домашней обстановке, когда тебе только чудились эти таинственные северные просторы, ты мысленно прилетал сюда, поражаясь увиденному в собственном воображении, восхищался белоснежными и голубыми льдами, нежностью оперения розовой чайки, замершей в выстуженном сером небе, шевелюру твою трепал безудержный стылый ветер, и, счастливо пребывая в этом необычайно романтическом видении какие-то секунды или даже минуты, всё же улетал обратно, втайне надеясь однажды побывать там... Но в душе твоей при этом ничего не оставалось, как бы красочно ты ни представлял себе северное море, забитое льдами, и тогда ты понимал: чтобы пережить всё в полной мере, и оно бы навсегда запечатлелось в сердце, нужно его непременно пережить самому, и переживание это должно стать именно твоим духовным опытом.

Когда-то ты оставил свою прежнюю комфортную жизнь – и перемены не заставили себя долго ждать: ты стал другой. В тебе случилась перемена, которую не сразу и отметишь, но новое уже незаметно вошло в тебя, и необыкновенно обрадовало. Теперь оно будет вливаться в тебя каждый день: прошлое, как нечто ненужное, неминуемо уходит, а новое, такое радостное и крепкое, надёжно утверждается.

Судьба твоя бесповоротно изменяется к лучшему, но для этого тебе нужно было бросить себя в море, на север, когда ещё невозможно определить: прав ты в своём устремлении или же совершаешь ошибку... И всё же – ты решился, старый порядок мыслей отброшен, а новое – несомненно удивительное, идёт тебе навстречу. Ты – здесь, в глубине застылого Охотского моря, среди голубых и розовых торосов, где всё тебе почему-то кажется родным, и даже нескончаемый ветер, отрешённое поскрипывание серого льда за бортом и власть воцарившейся под нами охотоморской гибельной тьмы не удручает бесповоротно твоего сердца.

Скорее, ты не повергнут, а поражён величием окружающего мира, чувствуя нечто, что увлекает тебя в царство полярного мрака. Думается: вот то самое место, где лучше всего избавляться от гордыни, от всего наносного, что только обременяет жизнь. И где, как не здесь, в царстве кристального льда и бесприютных ветров, обретаешь душевную чистоту и порядок в мыслях. Лучше, всё же, попасть в него, чем мечтать об этой великой морской стране, которой суждено оказаться не каждому, только – по собственной воле, чтобы быть окрещённым в охотоморской солёной купели. Живота своего настоящему моряку ради этого не жаль!

В кают-компании нас четверо: радист Петрович, второй механик, дед и я. Второй механик, по прозвищу Солёный, после длительного молчания отрешённо произносит:

- Чёрт бы побрал этот ветер!

- Среди льдов приходится быть терпеливым, - никак не отреагировав на решительное заявление Солёного, спокойно увещевает Петрович.

- Да-а... Время здесь проходит, вроде бы, незаметно, но часы тянутся и тянутся: нет им конца, - так же отрешённо замечает дед.

- Интересно: сколько под нами кабельтовых? – неожиданно оживляется Солёный.

- У третьего штурмана поинтересуйся, Евгенийч тебе и не про то обскажет.

- Толща воды – не менее километра, а то – и два, - не унимается Солёный.

Я пытаюсь представить себе эту холодную, тёмную бездну, и у меня ничего не получается. Лучше – не думать об этом, воображая, что скоро мы преодолеем ледовый плен и обязательно выйдем на чистую воду. Вода – всему господин, и мы с полной отдачей сил устремляемся к ней, веря, что отыщем во льдах свой путь.

- Лёд – это холодная крепкая вода, сказал однажды Лев Толстой, - неожиданно подытоживает невесёлые рассуждения Солёного Петрович.

- Ты это к чему? – недоумённо вопрошает Солёный.

- Крепость этой самой воды – невероятная!

- Невероятно будет, если мы выберемся отсюда.

И тут в кают-компанию, отстояв утреннюю вахту, заявляется третий штурман. Не говоря ни слова, он выпивает кружку компота, затем наливает себе вторую, и в удовлетворении закуривает сигарету.

- Ну, как там? – осторожно осведомляется дед.

- Грех было бы жаловаться, пока не задул южняк губатенький... Загонит он нас в ледяной мешок!

- А что было бы, если б лёд не плавал, а тонул? – не сводя глаз с Евгеньича, с почтением интересуется Петрович.

- Ты бы, Петрович, ещё озадачился тем, отчего в море вода солёная! – усмехается Солёный.

- А между тем, вопрос-то вовсе не праздный, - выпуская дым в подволок, степенно заверяет всех третий штурман. – Если бы лёд тонул, то все водоёмы на Земле оказались бы заполненными им от поверхности до дна!

- Ежели такое возможно? – искренне недоумевает Петрович.

- Солнце не могло бы растопить эту массу льда, защищённую от его лучей, а вытаивал бы лишь тонкий поверхностный слой. На Земле царил бы вечный ледниковый период, и планета наша стала бы необитаемой!

- Нам-то от этого разве легче? – с негодованием восклицает Солёный. – Лучше бы этот лёд весь потоп, ненадолго...

- Тёмный ты человек, Солёный! – вступает в разговор дед. – Не улавливаешь угрозы мирового катаклизма.

- Мало того, - продолжает увещевать третий штурман, - лёд – наш спаситель!

- Поди ж, ты! – в отрешённом изумлении улыбается дед. – Загадывай загадку, перекинь её через грядку!

Солёный не остаётся в стороне от животрепещущего вопроса, и изобразив на физиономии искреннее удивление, но и с осуждением воззрившись на третьего штурмана, заявляет:

- Давно не удивляют меня странности нашего книгочехя, а поражает кругом безграмотный народ, который всему этому верит!

Но Евгений, не обращая на него никакого внимания, продолжает:

- Такое простое свойство льда, как способность при охлаждении расширяться – именно и спасает Землю от всеобщего замерзания.

В кают-компании воцаряется тишина, и слышно только, как этот самый лёд крошится под глухими ударами лома, безжизненно рассыпаясь по обледенелой палубе.

- Увеличение плотности воды при охлаждении можно объяснить тем, что молекулы воды замедляют своё движение, и это остаётся справедливым только до 4 градусов Цельсия, когда вода имеет наибольшую плотность. А вот при понижении температуры до 0 градусов Цельсия в молекуле воды происходит перестройка, она меняет свою структуру, становясь менее плотной, и объём воды значительно увеличивается. Такой перестройкой молекул воды и объясняется её расширение при замерзании. Это я перед самым рейсом в одной книге вычитал, знал – куда идём.

Все с нескрываемым уважением устремляют свои взоры к третьему штурману, и дед вдруг разрождается очередным, не дающим ему покоя вопросом:

- А как, вообще, зарождается и растёт лёд?

Солёный только хмыкает.

Третий штурман, не без удовольствия переживая свой звёздный час, размеренно выцеживает вторую кружку компота, с торжественным видом оглядывает всех и в полном удовлетворении провозглашает:

- Сначала на спокойной поверхности моря возникают ледяные кристаллы в виде игл, постепенно разрастаясь, они образуют скопления в виде пятен серовато-свинцового цвета, по виду напоминая сало.

- Поэтому-то скопления такого льда и называют ледяным салом! – воодушевлённо подхватывает Петрович.

Солёный не перестаёт вглядываться в лицо Петровича, не в силах проронить ни слова.

- При обильном выпадении снега на охлаждённую поверхность воды образуется ещё вязкая масса – снежура, а из снежуры и сала рождается шуга!

- Это, значит, уже комки льда покрупнее, - опять встречается Петрович.

Тут Солёный не выдерживает:

- Пружина что ли испортилась, всё выскакивает? А вот мне почему-то не выскакивается, ежели грамотные люди рассуждают!

- Ждать не устать, было б чего и с кем, - не моргнув глазом, парирует Петрович.

Евгений же, не обращая внимания на их перепалку, продолжает:

- Следующим по возрасту идёт, кажется, нилас, этот лёд – толщиной уже с ладонь...

- На рыбалке, зимой, замечал за собой, - не перестаёт удивляться Петрович, - чем меньше лёд, тем больше хочется всем убедиться, выдержит ли он!

Солёный, уже не в состоянии сдерживать себя:

- А вот встречается такой лёд, что по нему целый народ может пройти, но кто-то один – ухнет в бездну!

- Вы про лёд слушать собираетесь? – в сердцах восклицает третий штурман. – На ветер слова трачу?

В кают-компании опять воцаряется тишина.

- Значится, нилас... Он уже не трескается, и на ветровой волне быстро образует ступени, что постоянно наслаиваются друг на друга...

- Я ещё слышал, есть какая-то «склянка», - не выдерживает Петрович.

- Это пока только ледяная хрупкая корка, море ей покрывается, когда остаётся спокойным. Её ещё называют «резун», такой лёд беспощадно режет всё, что стоит у него на пути. А вот нилас постепенно превращается в блинчатый лёд.

- Что-то тёплое, домашнее, - расплывается в улыбке дед.

- Потому что имеет большое сходство с аппетитным круглым блином! Он, вообще-то, получается из сала, шуги и снежуры. Весь этот лёд – серый, он сильно пропитан водой, но когда поднимается над водной поверхностью – становится белым. Так и растёт... В открытых частях моря он никогда не находится на одном месте, а всегда дрейфует.

- А у берегов, в бухтах?

- Это – заберег. Образуется, как и в море, из молодого льда, когда же утолщается – становится припаем, но разрастаясь, постепенно уходит сё дальше от берега в открытое море. Там он соединяется с дрейфующим, растёт вширь и в толщину, и к концу зимы достигает наибольшей мощи...

- Это и есть те самые «стамухи»?

- Стамуха – плавучий лёд, что сел на мель... А может оказаться и на берегу, образуя непроходимые барьеры...

- Хорошо... Ты мне, книгочей, вот что представь... Почему у нас Охотское море так долго бывает забито льдом? Мы в Сахалинском заливе льдины чуть ли не в августе как-то наблюдали!

- В наших северных морях – Охотском и Беринговом, не весь лёд, что возник за зиму, успеваает растаять за лето. Появляются многолетние льды, они, в конце концов, образуют пак...

- Я как-то тоже вычитал такой фокус, что будто бы, когда возраст льда достигает года и больше, талая вода из него уже пригодна для питья... Старый лёд – пресный! Вот какое непонятное явление! – в удовлетворении от произнесённого, объявляет Петрович. – В старину такую талую воду мореходы использовали для пополнения судовых запасов. К тому же, там было написано, что она очень полезна!

- Море на всё гораздо: выкидывает и не такие штуки! – не отстаёт от Петровича Солёный.

- Да... Идти в Охотском море зимой, среди нескончаемых льдов – незавидное дело! В некоторых отношениях Охотское море вообще уникально...

- В чём, к примеру?

- Ну, что ж тут поделаешь: штормовые ветры, туманы и холод облюбовали это море, льды чувствуют здесь себя вольготно. Стоит штиль, течения нет, и поверхность моря покрыта ровным слоем льда. Но вот поднимается ветер, и лёд мгновенно приходит в движение, причём льдины начинают двигаться с различной скоростью. В результате – его сжатие и торошение.

В условиях Охотского моря обычная высота торосов два-три метра, но встречаются и десятиметровые великаны, и если судно оказывается в таких местах торошения – сами знаете, что происходит.

- Верные признаки близости большого льда – резкое понижение температуры воды и внезапное появление тумана! – со знанием дела докладывает дед.

- Ты-то откуда, машинная голова, это знаешь?

- Кстати, наиболее благоприятен для плавания южный угол моря, - не обращая внимания на колкости Солёного, добавляет дед. – Там отмечены наибольшие глубины!

- И температура воды более высокая, - подтверждает третий штурман.

- А вот северный мираж из вас кто-нибудь видел? – не без гордости заявляет вдруг Петрович. – Противоположность широко известного миража пустынь...

Все сразу устремляют взгляды на третьего штурмана.

- Когда на холодной поверхности застаивается массив прозрачного воздуха, его оптические свойства изменяются, и он преломляет свет наподобие огромной линзы, - не моргнув глазом, докладывает Евгенийч. – Мнимое изображение предмета, что находится далеко за горизонтом, появляется над ним и вводит в заблуждение моряков.

Петрович в удовлетворении от услышанного, одобрительно крикает.

- Слушай, Евгенийч, ты, как штурман, всё-таки мне объясни: как так выходит, что лёд захватывает здесь всю северную сторону даже больше, чем это происходит в Беринговом море?

- Ну, во-первых, в Охотском море – суровые и продолжительные зимы, с крепкими северо-западными ветрами они выхолаживают верхний слой до значительной глубины и на обширных пространствах. К концу ноября, лёд, как правило, покрывает почти всю поверхность моря.

Во-вторых, в эти суровые зимы северо-западные ветра прижимают плавучий лёд к Курилам и забивают ближние Курильские проливы, отчего лёд за зиму и скапливается в Охотском море. В нём нет такого места, где бы встреча со льдом была полностью исключена.

В- третьих, лёд захватывает северную часть моря, прежде всего, потому, что она наиболее мелководна, да и конфигурация берега способствует тому. Ледяной покров держится здесь чуть ли не десять месяцев!

И ещё: циркуляция вод в Охотском море происходит против часовой стрелки. Так же двигаются и льды, создавая в северной части ледяной мешок. Чтобы превратить эти льды обратно в воду – нужно колоссальное количество тепла, а его в северном море почти нет.

- Мы-то только зачем в этот прожорливый мешок влезли?

- А нам бы только подсесть к мешку, дай, и я нагрёбу! – горестно вздыхает дед.

И верно, это было странным – оказаться с таким опытным капитаном в этом самом, тугом ото льда мешке. Не зря говорят: перед Богом ставь свечу, перед судьёю – мешок. Да только кто же нас мог осудить, кроме нас самих?!

Решение о входе в лёд капитан принял после тщательного анализа ледовой обстановки, поскольку не было возможности обойти ледовый район по чистой воде. Даже, несмотря на то, что в большинстве случаев длинный путь по чистой воде гораздо выгоднее короткого пути во льдах. Судно могло войти в лёд только в том случае, если лёд в этом районе был проходим для него, на поверку это выходило именно так, а имеющиеся прогнозы не угрожали серьёзным ухудшением ледовых условий. Словом, вход в лёд, по мнению капитана и имеющимся прогнозам, не представлял затруднения.

Однако по мере продвижения вглубь льда судно стало встречать всё более уплотнённый лёд. Неблагоприятные погодные условия неожиданно подвергли судно сжатию, информация о вхождении в такой лёд оказалась не соответствующей действительности, а между тем значительные скопления льда быстро сплывались по бортам, появились вдруг тяжёлые льдины, и капитан стремился противопоставить им самую прочную часть судна – форштевень. К тому же, погода резко ухудшилась, и отыскать в кромке сплочённых льдов место наиболее слабого льда не представлялось возможным. По крайней мере, такой узкой перемычки не находилось...

Приходилось пробовать пробиться сквозь сплошной лёд, а для этого необходимо было подходить к нему с погашенной инерцией и, упершись в лёд форштевнем, постепенно подрабатывать, увеличивая ход, тем самым надеясь раздвинуть ледяную блокаду, поддерживая равномерную скорость продвижения. Вся свободная от вахты часть экипажа собралась в рубке и по бортам, выглядывая спасительные разводья, но их не было...

Чиф послал матросов смотреть обшивку корпуса внутри судна, а боцмана, как наиболее опытного наблюдателя, на корму, чтобы при движении задним ходом, когда гребной винт должен всё время вращаться назад, иметь возможность предупредить механиков не стопорить машину, ибо для остановившегося винта создаётся большая угроза поломки, а штурману нужно вовремя дать знать о необходимости продвижения вперёд с самой малой частотой вращения, чтобы потихоньку разрядить лёд в районе

винтов... Но даже при временной остановке в сплочённом льду судно не должно было оставаться неподвижным, и капитан с вахтенным штурманом периодически давали команду в машинное отделение подрабатывать передним и задним ходом, придавая судну движение.

Для того, чтобы совершить поворот в сплошном или сплочённом льду на судне, с трудом продвигающемся вперёд, нужно было отойти назад по своему каналу, положить руль на борт и дать полный ход вперёд. Что капитан и делал. После поворота на некоторый угол – манёвр повторялся. Маневрируя, таким образом, можно было развернуть судно на нужный курс, что нами нескончаемое количество раз и производилось. Если же при форсировании льда с разбега судно заклинивалось в скуловой части корпуса, капитан переключал руль с борта на борт, работая двигателями на полный ход, или резко менял ход с полного переднего на полный назад и наоборот, пытаясь сдвинуть судно с места. Иногда, чтобы освободиться от непрекращающегося навала ледового поля, тралмастер с матросами обеспечивали подачу на верхнюю палубу горячей воды и пара. И надо всей этой слаженной и чёткой работой экипажа повисало низкое ледяное небо, а на судне воцарялась глухая, такая же ледяная тишина.

Охотское море имеет ещё такую необычную особенность, как трёхслойные воды, что является причиной возникновения льдин в открытом море... Вдруг, ни с того ни с сего, в открытой воде на горизонте появляется лёд... Стоит ли обходить какие-то случайные льдины, думает капитан, по всем навигационным пособиям их здесь не должно быть в эту пору, и он, не меняя курса судна, направляет его вперёд.

Но обстановка с каждым часом становится всё серьезней. Совсем молодой нилас, по виду и толщине не отличающийся от обыкновенного стекла, начинает уступать место большим обломкам, а то и целым полям довольно толстого льда. Судно уже с трудом продвигается в них.

А дело в том, что первый, поверхностный слой, до глубины 50-100 метров, оказывается прогретым. Глубже, от 100 до 250 метров, имеется слой воды с температурами до 0 градусов, то есть – эта вода охлаждена почти до точки замерзания. И все эти холодные воды, вдобавок, подстилаются солёными тихоокеанскими водами с температурами до минус 2 градусов, – так называемый слой вечной жидкой мерзлоты. В результате ветров, глубинных течений и штормов зимой происходит вертикальная циркуляция вод, поэтому в открытом море и появляются значительные пятна льда, не связанные с берегом. Немало судовых донесений о подобных встречах со льдом в открытом море хранится в архивах Дальневосточного пароходства.

Вскоре к нам в кают-компанию заглянул и капитан.

- Ну что, архаровцы, готовы к труду и обороне? Скоро – ваш выход!
- Восстанут рабы труждающие! – Солёный за словом в карман не лезет.
- Как утверждал наш классик Александр Иванович Герцен: хронического счастья так же нет, как и не тающего льда, но мы эту

жизненную несправедливость исправим. Верно, братцы? – с усталой улыбкой произносит капитан.

- Михаил Александрович, уж больно рабом льда быть не хочется!

- Поживи в рабах, авось будешь и в господах. Иногда неволей подчиняешься рабству случайностей.

- Значит, одна забота – работай до пота?!

- Египетская работа – тяжкая, а наша – морская, мастера боится! Но и корить лёд нам не пристало: он – достойный противник.

- В чём же его достоинство? – будто только отойдя ото сна, вопрошает Петрович. – От него вода в постоянном стрессе!

- Да, на севере льдом не дорожат, но лёд – он разный... Может быть сначала водой, нагреешь – паром, а если охладить – льдом.

- А сила морского народа сильнее ледохода! – ни к месту встречает Солёный.

- Лёд всегда хранит в себе сюрпризы, - опершись локтями на поручни, вкрадчиво разъясняет капитан. – Вот, скажем, Тимирязев доказал, что семена растений могут прорасти даже во льду!

- И за счёт чего? – опешив от услышанного, растерянно воззрился на капитана Солёный.

- Он это объясняет теплотой, развиваемой дыханием растения, способной растопить лёд в непосредственном соседстве с растением.

- Ну, уж это – полная галиматья! – уверенный в своей правоте, довольно ухмыляется Солёный.

- Но с коварной силой льда не поспоришь, - не отступает капитан. – У Папанина в дневниках есть сообщение о том, что чукотские льды однажды как ножом срезали у корабля вал гребного винта!

- Лёд – он же из воды! – простодушно роняет Солёный.

- А диаметр вала был больше тридцати сантиметров первосортной стали...

Все сразу как-то притихли, и в кают-компании опять повисает напряжённая тишина. Неуёмный ветер порывами наваливается на судно, заунывно вскрикивает, надстройки ему не помеха, он свободен в своём неудержимом волеизъявлении, ветер будто надсмехается над нами...

- А я думаю, лёд – это наше спасение, - задумчиво произносит дед. – Он не позволяет нам опустить руки, а сохраняет честное отношение к тому, что происходит. Лёд показывает всё таким, какое оно есть.

- И нам приходится каждый день соскребать лёд со своей души, - вторит ему Евгений. – Мы внутри себя не должны замёрзнуть.

- Это и называется настоящей жизнью? – вступает в разговор Петрович.

- Да, всё, что не уходит под лёд, - заключает капитан. – Будем делать хорошо, а плохо само получится.

- И остаётся нам только оптимизм, который это лёд растопит! – с воодушевлением заявляет Солёный.

- Поблагодарим же царство льдов! – весело воскликнул капитан, и устремился на мостик.

Обрубая лёд, мы сменялись непрерывно, не говоря друг другу ни слова. Всё происходило само собой. В том, с чем мы столкнулись, не было нашей вины, и экипаж, то и дело обдаваемый морозной пронизывающей пылью, молчаливо вгрызался в лёд.

Одежда при обколке льда так сильно заиндевела, что становилась колом, не давая возможности передвигаться с топором или багром свободно. Чтобы, скажем, перейти на другой участок палубы и закрепиться там, требовалось сначала обломать её, а уж потом удобнее примоститься. Порядочный мороз, ветер и навалы волн творили своё гиблое дело...

Сжавшееся где-то в глубине этой окаменевшей одежды тело будто тоже одеревенело, но продолжало перемещаться от одного ледового наплыва к другому. И что интересно: никто из нас, находясь постоянно, по несколько часов на обледенелой палубе, под напором резкого ветра и ледяных брызг, не подвергся простуде... На севере не пристало оглядываться назад или задумываться над будущим, это – как будто стыдно, но всегда свойственно верить в лучший исход, не думая о худом.

Оттого, должно быть, здесь и не находит себе приют хвороба, нет и неженки, что простужаются на каждом шагу. Немочь не приживается в суровых местах, ей дай волю, так и киселя в рот не вольёшь, а уж коли упал больно, то поднимайся здоровым. Сердечное тепло моряков терпимо к ледяному холоду...

Из-за пронзительного свиста ветра в ушах тоже стоял несмолкаемый гул. Трещал и скалываемый лёд, и тот, что сдавливал клещами все судовые снасти и механизмы: ничего не было слышно. Чтобы передать команду – требовалось изо всех сил гаркнуть на ухо своему товарищу отрывистое: «Брось!», тотчас самому продолжая сбивать ледяные наплывы. Мы не замечали и времени – сколько находились на палубе, потому как были охвачены этой непрекращающейся борьбой за выживаемость судна. И не существовало для нас ничего, кроме взмахов, ударов и какой-то отрешённой, забитой в глубине души радости, что сокрушена ещё одна ледяная горка, но за ней возникала нескончаемая вереница вмиг намерзающих новых холмов и наплывов, превращающихся в гору. Лёд вставал перед нами неодолимой стеной, будто издеваясь над нашими отчаянными потугами, что начинали представляться бесполезными...

За этим, казалось бы, пустым напряжением совершенно не замечалось, как на море наваливалась мрачная мгла. Мглистому, сырому и какому-то отчуждённому небу будто вздумалось взгромоздиться всей своей необъятной тяжестью и на море, и на лёд, и на судно, чтобы вдавить его в необозримую ледяную бездну, и поглотить там собой на веки. Хоть бы лучик солнца или

чистого неба пробился в эту мглу, думаешь ты, сам из себя представляя маленький клочок теплоты в этом обледенелом неживом мире...

Ночью, сидя в кают-компании за кружкой кипятка и согревая им руки, хотелось представлять чернеющее небо – звёздным, с морозными вспышками далёких светил, вздрагивающими ярко, не тревожно... Но выходя опять на палубу приходилось убеждаться в обратном: невыразимо тягучая темнота обнимала всё вокруг, течения света в ней не наблюдалось, а шли третьи сутки авральной работы... Мы всё так же сбивали лёд ломами, топорами, баграми, а судовые снасти только увеличивались в размерах, превращаясь в серовато-мутные, безжизненные наросты.

Ветер к ночи немного утихал, но нарастающий лёд отнимал все силы, хотелось избавиться от него вместе с обледеневшим такелажем, но разве такое возможно?! Невидимые ледяные волны тяжело ворочались под бортом, вздыхали и охали, гулко отдаваясь где-то в утробе судна, и не верилось, что наступит рассвет. Тяжесть наросшего льда ложилась на всех невыносимым грузом, но его следовало сбросить.

Какой цвет был у этого нарастающего, не по дням и часам, а даже - минутам, льда? Цвет мглистого винца, такого же тяжёлого, как и металл, не имеющего никаких оттенков. Лёд этот сковывал все твои мысли и члены одним своим видом. Громады льда чудились повсюду, от них невозможно было избавиться даже в течение короткого беспокойного сна.

И воздух тяжелел, он наваливался на всю команду неповоротливыми мрачными думами, вынуждая становиться меньше, незначительнее... Всё время думалось: где этому конец, и засветятся ли когда-нибудь над нами звёзды?!

Сказать, что эти дни замучили нас – значит, ничего не сказать. Да и говорить, честно признаться, не было никакого желания. Говорить хочется, когда переполнен созидательными силами, работа в твоих руках кипит, и ты окружён друзьями, которые тоже полны заветных устремлений. В таком отношении к работе и жизни можно свернуть горы!

Но что, если друзья – с тобой, море давно приняло вас в свои объятия, но лёд сковал его, наши тела и мысли? Проклятый лёд, холоднее и коварнее которого, наверное, ничего нет, объял собой всё вокруг... Как ему противостоять?!

Только – молча, сжав зубы, иначе – никак. Оттого и лишние слова на флоте не нужны, лишь самые главные, без которых не обойтись: «Паруса поднять!», «Протянуться!», «Отваливай!», «Суши вёсла!», «Шабаш!», «Навались!», «Кранцы за борт!», «Рангоут рубить!». А ещё – «Полундра!», «Огни открыть!», «Право на борт!», «Из бухты вон!», «Свистать всех вверх!». Команды отрывистые, броские, побуждающие к молниеносному принятию решения и его незамедлительному осуществлению. Такие команды не подлежат обсуждению, они призваны чётко повиноваться во имя спасения экипажа и судна, и, конечно, не терпят какого-либо неприятия или

недопонимания. Ты предан капитану, судну и своей морской жизни, и должен стоять на том.

Молчание северного моря сурово, и люди, очутившиеся в нём по воле судьбы, тоже обретают непоколебимый характер. Глухая ледяная немота севера, конечно, сдавливает, как лёд, их сердца, но не ожесточает: в них проявляется стойкость. Говорить здесь много, действительно, не пристало: величественная тишина не позволяет.

Под спудом тяжёлых, кажется, безжизненных небес, что на первый взгляд не иначе, как угнетают, неимоверно тяготят, эта скрытная тишина всё же норовит озадачить: отчего она уготовила себе пристанище именно здесь? Тихое молчание севера – чем не ответ! Именно таким голосом в этих местах Господь говорит, а люди больше молчат: потише – к делу поближе. А дел тут для человека – невпроворот, коли он на севере, во льдах оказался, где уже против себя не повернёшь.

Все мысли и чувства выражаются здесь не в длинных речах, а в поступках: много говорить в подобных условиях – пускать слова на ветер. Слушай и запоминай больше, а говори меньше – вот каков закон севера. Кто же много говорит, тот мало делает: как не крути – молча легче.

Да... Кто в море не бывал, тот и горя не видал: такое поверье ведётся среди людей, побывавших в объятиях морской стихии. Но это не то горе, что убивает, ибо если горе, что в море, выпьешь до дна, то и наберёшься ума, изведав ту самую, нужную для себя правду. Море подарит её тебе, коли не побоишься его штормов, гибельных туманов и ледяного плена. И именно здесь, в глубине Охотского моря, на судне, угодившим в ледяные клещи, я не переставал думать о том, что мне нравится такая жизнь. Нравится постоянное предвкушение опасностей, что каждый раз ожидают нас в самый неподходящий момент, и то, что их приходится преодолевать.

Всем известна и расхожая поговорка про то, что хорошо море с берега, и, конечно, оно добавляет седых прядей, но море и исцеляет душевные раны. Морская свежесть, резкий запах солёной воды и льда – как ничто очищает душу. Она после этого приобретает удивительную крепость, а ум – спокойствие. Так пусть море грохочет, пусть смывает грязь со всего мира, и крепкий морской ветер, вперемешку с ледяными брызгами, бросает тебе в лицо его прекрасный и жизнеутверждающий запах!

Каждую минуту своего пребывания в море было переполнено для меня приобщением к чудесному миру, где всё слагалось на удивление замечательно и просто, так, как могло происходить только здесь, в северном море, на краю света, именно об этом я мечтал на университетской скамье, и был счастлив, что мои ожидания сбывались. Я столкнулся в своей жизни с тем, без чего просто не представлял достойного существования, моя душа пела, несмотря на льды и ветер, а общение с простыми, очень цельными людьми необычайно радовали моё сердце. Я переживал величайшую радость от того, что жизнь, связанная с морем, извлекла для меня из своих потаённых глубин что-то очень ценное для роста моего духа: я стал другим, во мне

проснулось нечто очень живое, большое и чудесное, и эту истину невозможно было отрицать.

Бог всегда помогал мне, но только после того, как я сам делал всё, зависящее от себя. И при этом я никогда не просил Его ни о чём, надеясь только на собственные силы. Я верил в себя, верил в то, что всё делаю правильно, и ничего не боялся.

Порой у меня просто захватывало дух от происходящего, но потом, когда всё благополучно совершалось, я чувствовал, что становлюсь сильнее. Мне было радостно, что я со всем в своей жизни справляюсь сам, и я был уверен: если, действительно, по-настоящему захотеть, то можно добиться всего, что на самом деле всегда и происходит. Сделай всё, что можешь, как бы ни было тяжело, а в остальном положишься на Господа, и Он обязательно тебя обнимет.

Нансен, кажется, заметил, что величайшая полярная добродетель – терпение. И мы убеждаемся в этом уже трое суток... Но ветер не прекращается, и в мгновение смёрзшийся лёд охватывает судно своими стальными щупальцами. Нам, действительно, остаётся только терпеть, надеясь на собственные силы. А льды, между тем, диктуют людям свою непреклонную волю.

Ночью незаметно налетел невероятной силы шквал. Ветер со злобным гулом обездоленно пытался забраться в малейшую щель на судне. Яростный свист от него закладывал уши, отчего приходило совершенно ясное осознание, что ты не находишься в безопасности. В любой момент может случиться что угодно, и никто из нас не сможет этому помешать.

Длилось всё это безумство неизвестно сколько: казалось, что ночь продолжается и днём... Да и наступит ли он вообще? Всё на судне ходит ходуном, и это при том, что мы почти впаяны в лёд. «Шабаш!» - хочется крикнуть и ветру, и льдам, и северном морю: вот уж когда по-настоящему приходится запастись терпением! И ждать, ждать, ждать в надежде на то, что придёт конец этой буре, и она захлебнётся...

И поговорить не с кем, ибо слова твои не будут услышаны даже соседом по каюте. Нет никакой возможности просто скоротать время: остаётся просто лежать, или сидеть, пытаясь успокоить свои мысли. Борьба со стихией, оказывается, можно и так – мучительно переживая её в собственном сознании. А ещё – этот предательский треск льда! Он, кажется, сводит с ума...

Северные грёзы, грёзы во льдах... Об этом я мечтал, мирно проводя жизнь на берегу? Я уношусь в своих мыслях в родные места, будто во сне, и воцарившееся вокруг ледяное безмолвие, кажется. На время отступает.

А в окружившем нас ледяном царстве стихия безумствует, она норовит сломить наш дух в своих безудержных порывах, веря, что нет её ничего сильнее. И тогда приходит в голову, что если она будет продолжаться вечно – самонадеянно будет её победить. Может быть, эта ледяная буря смилостивится над нами, там, где она зарождается, наконец, иссякнет заряд

сокрушительной энергии? Смять нас, конечно, легко, но отчего бы ей не стать по отношению к нам благорассудной, и не унести со своим свирепым равнодушием куда-нибудь подальше, на безжизненный север, где этой буре самое место?!

Нам же замёрзнуть никак не пристало, и оставаться навечно в этом царстве льда - мы не желаем. Цена жизни здесь, во льдах, разумеется, велика, но и в царство смерти мы пока попасть не торопимся. Осознание происходящего подсказывает, что жизнь, несмотря ни на что, очень сильна, и мы эту силу готовы любыми способами в себе поддерживать, вернее – копить.

Вокруг – смертоносный лёд, холодная мгла, а в нас живут любимые образы дорогих нам дел и людей, то, чего мы хотели осуществить, но пока ещё не успели... Мы - думаем о жизни, и жизнь незамедлительно выходит нам навстречу...

Под самое утро четвёртых суток разгулявшийся шторм неожиданно взломал льды... Сначала откуда-то издали донёсся неясный гром, затем он превратился в грохот, будто бы океанские валы со всего маху ударяются о неприступные скалы, рвутся у них в подбрюшье, неистово стонут и рокочут. Но скал нет, повсюду – ледяные заторы и серо-свинцовая тяжёлая мгла, а гул, между тем, усиливается, с каждой минутой нарастает...

И вот, груды льда, что окружали нас, зашевелились, послышался оглушительный треск, в глубине судна что-то глухо хряснуло, по палубе пробежала мелкая продолжительная дрожь, и опять, будто из пушки ухнуло, заскрежетало. Грязные льдины хищно полезли одна на другую, зашипели, какие-то стали взбираться вверх, упираясь в борт судна... Море под днищем заколыхалось, пошла крутая зыбь, и показались полыньи, где льдины помельче испуганно закрутились, опять же трепеща и повизгивая своими острыми краями... Вся поверхность моря, совсем недавно наглухо скованная льдом, теперь разверзлась, повсюду поползли трещины, навстречу им – другие, и, наконец-то, нам открылась вода, вся подёрнутая серебристо-прозрачной ледяной плёнкой... На палубе началась оживлённая суматоха, и все свободные от вахты и отдыха члены экипажа высыпали на верх... Путь свободен!

И не хочется уже видеть никакой другой жизни кроме той, что возникает перед обледеневшим носом нашего многострадального, но не сдавшегося траулера, загадочно отражаясь в постепенно открывающейся ото льда синеватой охотоморской воде. И страшен, и чёрен рыбакам вечный холод северных широт, который они благополучно миновали, но нет для них желанней работы, когда б была в ней и охота, и рыба, и стылые, непрекращающиеся всю зиму ветра, и долгожданная полынья, и долгие памятливые разговоры, и то неугасимое волнение, что сопутствует любому отчаянному делу. Суровое зимнее море всегда несёт в себе это неминуемое напряжение и неожиданные всплески восхищения, которые могут выражаться и в тяжелейшем труде во льдах, так что от него захватывает дух.

Да будет крепко рыбацкое братство, мужество отчаянных моряков, не ступивших перед стихией! Честь и хвала тем, кто отправляется в дальние края, оставаясь братом и ветру, и волнам, кто несмотря ни на что предан душою своим товарищам, с которыми преодолевает трудный рейс, кто не падает духом и борется до конца, кто верно хранит морскую честь и всегда держится с достоинством. Им, принимающим попутный ветер за истинную радость жизни, - удачи, семь футов под килем, и пусть их сердца не удручает ни жестокий шторм, ни злой ветер, ни безжалостные льды. Не уставай, моряк, уповать на помощь неба и свято чти своего морского защитника – Николая Чудотворца... Плыви вперёд!

## «КТО СМОТРИТ В МОРЕ»

... Семь часов ноль-ноль минут. Старпом включает трансляцию и объявляет по судну приход нового дня. Я его уже давно встретил, но только не разглядел за чередой утренних забот.

Сквозь густеющую на востоке синеву пробиваются нежно-розовые отсветы невидимого ещё светила. На душе становится трепетно и как-то очень хорошо. Хочется, чтобы этот покой никем не нарушался, и команда судна отдыхала долго, целое утро. Тогда можно было бы без боязни бесчисленных потерь подумать о многих замечательных вещах.

Мало ли людей задумывалось над тем, чем именно привлекает их море и что это за чувство – любовь к нему. Именно в своей неохватности, воплощающей в себе неподдельное ощущение свободы, море по-настоящему достойно внимания.

Склонность к безбрежному, радостному и какому-то отрешённому полёту над необозримым пространством выражалась в такие безмятежные утренние часы так же отрешённо и радостно в думах о морском ветре, рождающемся где-то на краю земли. В отличие от алого солнца, он не предупреждает о своём приходе. Это – его привилегия.

Поутру ветер, бывает, ровен, упруг и не надоедлив. Стоит высунуться на свежий воздух, чтобы понять, как он всемогущ и сдержан в собственных чувствах. Вечно молодой, не унывающей рукою он легонько причёсывает упрямые волосы, в мгновение пробирается под куртку чистым холодящим прикосновением, пронизывая насквозь. Но уходить с палубы не хочется... Ветер бы был, наверное, хорошим парнем, если бы превратился в человека.

Я бы и сам с удовольствием обратился в ветер. Подгоняя неповоротливые тучи, носился бы над морем, закручивая упрямые гребешки изумрудных волн и, не на шутку разгулявшись, безмятежно и дико принимал на свою неотягощённую совесть любые жертвы. Морской простор молодит и лечит уставшую от несовершенства душу, а от его необъятных пространств светлеет взгляд. Наверное, я был бы счастлив хотя бы на мгновение породить своими неугомонными усилиями бушующий океан.

Издавна среди моряков ведётся поговорка: «Не море гонит корабли, а ветер». Старые моряки испокон века рассказывали легенду о капитане, продавшем душу дьяволу, а взамен получившем ветры, которые жили на отдалённом острове. Корабль этого капитана однажды разбился, и заключённые в трюме ветры оказались на свободе. С того дня они стали царить в океане.

Моряцкие суеверия относятся ко всем силам природы, в том числе – и к ветру, который был необходим для мореплавания, пока корабли ходили под парусами, и которым не мог командовать никто из людей. Но моряк не хотел признаваться в своём бессилии. Подобно тому, как люди каменного века верили в охотничьи заклинания, так и морской волк был убеждён в том, что,

соблюдая определённые условия, он может повлиять на ветер, это капризное дитя небес.

О ветре во время плавания вообще нельзя было говорить, ибо в противном случае он мог внезапно прекратиться. От свиста на борту мог возникнуть встречный ветер.

Осторожное отношение моряков к ветру повелось ещё с начала плаваний под парусами. Ни на одном грузовом паруснике античного мира не обходились без жертвенника на юте, для ублажения бога ветров первоначально приносились даже человеческие жертвы. На жертвенник клались важнейшие части тела – голова и сердце. Лишь постепенно вместо человеческих в жертву стали приносить голову и сердце морских животных. Об этом обычае напоминает прибывание акульих плавников или крыльев альбатросов к утлегарю – рангоутному дереву на парусных судах, служащего продолжением бушприта. К утлегарю крепились передние косые паруса – кливера.

Ещё в позапрошлом столетии эта корабельная традиция, корнями своими уходящая в античные времена, бытовала на больших парусных барках, доставлявших селитру из Чили или пшеницу из Австралии в Европу. Ибо чем же иным, как не древним жертвоприношением, было то действие, которое совершали капитаны этих самых огромных из всех когда-либо существовавших парусников: вскоре после отплытия они бросали свои фуражки за борт, причём эта культовая жертва считалась обеспечивающей успех лишь в том случае, если приносилась с наветренной стороны!

Чтобы вымолить попутный ветер и моряцкое счастье, в новогоднюю ночь за бортом подвешивали метлу или рождественскую ёлку. Из-за соблюдавшегося прежде пятничного поста считалось предосудительным пускаться в море в пятницу. Рулевой, стоящий у штурвала и произносящий определённые ритуальные слова, мог, к примеру, вызвать желаемый ветер лишь в том случае, если он пользовался медово-сладкими интонациями. Если, несмотря на это, не возникало ни малейшего дуновения, следующее «вещное слово» можно было говорить более напористо и громко, примерно так: «Приди, дорогой бриз, с литаврами и трубами!» Рисковали даже вызвать шторм, совершая решительный призыв ветра: «Ветер, небесный пёс! Навались же, наконец, чтобы мачты задрожали и согнулись, как скрипичные смычки!»

Часто посылали на выбленки – концы тонкого троса, укрепляемые поперёк вант и служащие ступеньками для подъёма на мачту, марсового матроса: он должен был дуть в парус или бить по нему поварёшкой. Хотя при благоприятном ветре всякий свист на борту был запрещён под угрозой строгого наказания, тем не менее, верили, что в штиль ветер можно «высвистать». Его можно было также разбудить, почёсывая мачту. Встречный ветер нельзя было «пришивать»: иголки и нитки в это время отдыхали. У парусного мастера был перерыв в работе.

Были осмотрительные, а были и легкомысленные капитаны. Легкомысленные - не страшились никаких рискованных манёвров и, как множество нынешних автомобилистов, превыше всего считали необходимым выдерживать темп, невзирая на угрозу перевернуться. Среди серьёзных мореплавателей они пользовались репутацией одержимых. Рано или поздно они, как правило, теряли свой корабль.

Но морские просторы бороздили ещё и истинные мастера высокого парусного искусства, с которыми, несмотря на их дерзкую отвагу, никогда не случалось ни малейшей неприятности. Матросские суеверия утверждали, что эти лихие капитаны, подобно герою упоминаемой уже сказки, заложили душу дьяволу. Их якобы можно было узнать по тому, что в солнечный день от них не падала тень на палубу. Так сверхвезучесть или необычные способности человека, которые ничем иным, как дружбой с отцом зла, объяснить не могли, становились источником предрассудков...

Но ветер стоит всех этих пересудов и суеверий, поскольку настоящие морские ветры – посланцы богов. Они заявляют о себе во всеуслышание и открыто предупреждают людей о предстоящих испытаниях и суровых опасностях. И людям следует внимательно к ним прислушиваться и следить за их появлением, проникаясь глубоким уважением. Но все эти перипетии не простых взаимоотношений с ветром присущи, пожалуй, только морякам, надолго оставляющим родные берега, что, собственно, входит у них в течение жизни в привычку, а вот для большинства людей чаще всего приходится общаться с миниатюрной моделью морского ветра – так называемым бризом.

Бриз – это ровное дыхание моря, которое утром делает выдох и посылает бриз в сторону суши, затем приостанавливается и, «переведя дыхание», делает вдох вечернего ветра, как бы запасаясь воздухом на всю ночь. Причина и морского и берегового бриза одна – разная теплоёмкость суши и моря. Днём земля нагревается быстрее, чем море, давление над ней уменьшается и воздух устремляется к ней. Вечером же всё происходит наоборот.

В этом постоянстве ветра я вижу замечательную попытку не угасать, и при этом – никогда не повторяться, норовя продемонстрировать суше свои любовные чувства... Море – более тонкое существо, чем принято об этом думать, и оно способно совершенно искренне волноваться. Если угадываешь в нём это волнение – и самому хочется любить, полностью доверяя стихии, что бывает, кажется, неуправляемой в своём выражении чувств.

Когда солнце уже скрывается за горизонт, но его пурпурно-кремовые отсветы ещё окрашивают часть небосвода, прилетает этот трогательный, еле приметный ветерок... Не сразу заметишь, как он подул, только вода у самого берега заморщинится, будто затвердеет, а затем вновь расслабится, станет гладкой. Ветерок заиграет мягко, нежно, даже осторожно, никому собой не докучая, как осторожно дует сам человек себе на руку, когда получит лёгкую ранку.

Появление ненавязчивого бриза приносит с собой лишь покой и прохладу. От него даже можно почувствовать нежное тепло, на которое, в первую очередь, откликается лицо. Ветви на деревьях и кустах не качаются, а щёки и лоб ощущают приятное прикосновение чудесного дуновения. Воздух недвижим и лишь нащёптывает что-то сильное и ласковое, чего никак не понять, но внимать ему радостно.

Глубоко и величественно дышит море! В такт его дыхания стараешься упорядочить и своё восприятие жизни. И вспоминаешь вдруг старинную морскую легенду о ветре, носившем название «соранг»...

У моряков существует поверье, что среди бушующих нордов, муссонов и сокрушительных тайфунов скрывается жаркий ветер соранг, дующий один раз за многие сотни лет. Соранг приходит с южных румбов горизонта поздней зимой и обыкновенно ночью. Он приносит воздух незнакомых стран, печальный и лёгкий, как запах неведомых цветов. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, проникновенная заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются подснежники. У людей от радости темнеют глаза, а маяки зажигают кораблям приветственные огни, переливаются, играют в волнах, как таинственные морские звери... Соранг знаменует приход самого весёлого в жизни праздника – весны.

... Стоял апрель, благодатные тёплые дни. Мы были уже совсем отрешены от берега и чувствовали себя насквозь морскими. Это удивительное ощущение сопричастности с природой каждодневно воцарялось в душе, неизменно поддерживая в ней томительное ожидание полного счастья. А между тем счастье уже тогда было с нами: высушенная на постоянном солнце и ветре палуба белела среди синевы моря, и не верилось, что совсем недавно приходилось не раз играть аврал, чтобы спасти судно от обледенения.

Везде хороша весна с её свежей молоденькой зеленью, большими обещаниями собственного сердца, незабываемыми восходами и закатами солнца над морем. Когда наблюдаешь эти закаты и восходы солнца с борта судна, находясь в длительной экспедиции, то ловишь себя на мысли, что они совсем не такие, какими воспринимаются на берегу или в книгах, и тебе начинает казаться, что всё возможно, и это зависит только от тебя.

Тут, в море, происходит нечто удивительное и неопишное, и когда тебя обволакивает этот покой, скажем, рано утром, и команда ещё не поднялась, ты переживаешь ощущение неземного покоя. Будто нет ничего более, - только, вот этот, таинственный, завораживающий, и в то же время совсем обыкновенный, даже какой-то робкий восход солнца. Вернее, его предпоявление, очаровывающая прелюдия, а вокруг только тёмно-синее, лазурное, зелёное море, и необъятный простор, который не охватить, и всё же – он в тебе. Причём, не нужно осуществлять для этого каких-либо усилий. Слияние с малиново-розовой небесной мякотью и густой морской синью

происходит как-то исподволь, незаметно: и небесный свет, и морская синь втекают в твою душу совершенно свободно, как будто всегда были неразрывны. И вот это чудесное забытие оказывается, на деле, тем состоянием, к которому ты подсознательно всегда стремишься, а достигнув здесь, в море, обретаешь душевный покой, вернее – равновесие.

Весна незаметно вступала в свои права. Дни становились длиннее. Тяжёлые облака над морем всё чаще разрывались, и по вечерам на горизонте выкатывалось ярко-красное солнце. Оно было очень большое, красивое и близкое. Казалось, протянешь руку – и дотронешься до его покато жаркого бока. Пылающий таинственной красотой шар отчего-то не давал покоя, в сладкой истоме будоражил сердце, и всё время звал за собой, быстро сгорая за ускользящим горизонтом...

Наблюдая за садящимся солнцем, становишься свидетелем сразу двух явлений. Во-первых, яркость его постепенно уменьшается и наступает момент, когда можно смотреть на него, не ощущая боли в глазах. Во-вторых, солнце заметно меняет цвет, из интенсивно жёлтого постепенно становясь красным. В полдень оно испускает так называемый белый свет, в котором все цвета видимого спектра содержатся в равной пропорции.

На закате солнечные лучи, достигающие верхних слоёв атмосферы, имеют тот же спектральный состав, что и в полдень. Однако заходящее солнце стоит низко над горизонтом, и лучи, прежде чем дойдут до тебя, проходят в атмосфере более длинный путь, чем днём. В результате составляющие солнечного спектра с малой длиной волны – фиолетовая, голубая и зелёная рассеиваются, и к поверхности земли проходят лишь составляющие с большими длинами волн – жёлтая и красная. Поэтому садящееся солнце и похоже на раскалённый шар, а небо окрашено в розовые, алые и кремовые тона.

Днём же небо – высокое, синее и чистое, пронизанное мягкими, всепроникающими лучами солнца, словно ножом разрезающие его на сладкие и сочные ломти. Весенний воздух над морем роится от этого дурманящего аромата взрезанной плоти. Густая и душистая мякоть отдаёт теплом спёкшейся на щедром радостном солнце дыни, источающей мутновато-сахаристый сок. Всё это как сладкий сон из детства, который не прекращается даже после короткого и неожиданного пробуждения, а погружившись повторно в его ласковую золотистую паутину, ты моментально окутываешься приятной несвободой, завораживающей душу неизвестностью.

Морской воздух на севере поразительно чист... Особенно - весной, когда его, кажется, вообще можно пить, даже есть, проглатывая целыми пахучими кусками, и, наслаждаясь, не наедаться. Трудно выразить это ощущение тому, кто не пережил его сам, и, пожалуй, ради него стоит побывать на Дальнем Востоке, сходить в море хотя бы раз и почувствовать себя счастливым человеком.

Хорошо в такую пору ощущать приход весны, чувствуя, что на берегу, наверное, уже сходит снег, по вечерам воздух становится зыбким, и от этого

слезятся глаза. В особенности днём воздух полон зародившейся жизни: она спешит, неутомима, потому что молода. Жизнь вступает в свой новый круговорот, обновляя души людей, уставшие от долгого сна, который бы должен быть для них благодатью, легко и незаметно снимающей накопившиеся тяготы. Весна несёт новые заботы, но они ещё в радость. Весна творит жизнь, она рождает планы на будущее.

Так же, как и на суше, в море весна угадывается по своим признакам, которые порой бывают ярко выражены, а иногда воспринимаются лишь с лёгким намёком. Обычно весна в воде начинается со значительного увеличения количества фитопланктона. Потепление воды и увеличение интенсивности света стимулируют размножение этих одноклеточных водорослей. Они бурно размножаются, и вода приобретает зелёный оттенок. Как говорится, наступает «цветение» моря... Начало этого цветения в южной части Японского моря отмечается ещё в феврале.

В иллюминаторе – яркое солнце, голубое небо, на столе в каюте – большая морская звезда, а в скалах у моря, наверное, так же цветёт жёлтый рододендрон... Приближение дома, установившиеся солнечные дни и неплохо сработанный рейс наложили на людей отпечаток уверенности и покоя. Команда вздохнула полной грудью. Чаще слышались шутки, смех, да и я, постепенно привыкнув к морской экспедиционной жизни, находил сошедшее на нас благословенное время открытием для себя чего-то многообещающего нового. Только ли весна была тому виной?!

Но как тяжело начинать каждое утро с того, к чему уже не лежит душа... Так хочется чего-то большего, и это большее кажется таким близким, но яростная, неукротимая сила заведённой в тебе пружины морского порядка исподволь удерживает, нашёптывает свои предсказуемые решения. И ты не смеешь ослушаться этого властного внутреннего голоса, день ото дня и крепнувшего в твоём жаждущем свободы сердце, и утомляющего его.

Временами мне начинало казаться, что нет на судне более бесправного матроса, чем уборщик. Закреплённое неукоснительным морским уставом положение на самой низшей ступеньке внутрисудовой иерархии позволяло, со всей очевидностью, прийти к этому не утешительному для себя заключению.

Ситуация бывала, порой, схожа с безызвестными гребными банками рабов на древних галерах, которые служили этим рабам одновременно рабочим местом, койкой и гробом. Прикованные к банкам рабы тонули вместе с судном, так как никому до них не было дела. На груди у каждого висел деревянный грушевидный кляп из губки, пропитанной вином, и если, в случае ранения, раб начинал кричать, ему этим кляпом затыкали рот.

В моём случае дело, разумеется, не доходило до таких крайностей, поскольку, следуя тому же морскому уставу, я не заслуживал даже двенадцати ударов девятихвостой кошки за мелкие огрехи – прекословие и плохое исполнение порученного дела, коими в обильном количестве награждались на старом флоте матросы... И всё же каждый день старпом

продолжал немилосердно свирепствовать. Какая-то беспросветность начинала затягивать меня, так что, похоже, требовалось вмешательство случая, который рано или поздно предоставляется, если ты принёс в дар морю свою любовь и стремление к постижению.

И случай действительно пришёл в лице плавбазы, только что спустившейся с севера в новый район лова. Выглядела плавбаза замызгано – она производила удручающее впечатление смертельно уставшего человека. На первый взгляд, маловероятным было ожидать от неё каких-либо перемен к лучшему, поскольку с ней возникали не самые приятные ощущения, связанные с ежемесячной сдачей на её борт постельного белья.

В назначенный час я проходил по каютам и собирал в две огромные матрасовки всё имеющееся в наличии бельё. Поход сей, разумеется, не обходился без определённого рода эксцессов, поскольку я был непреклонен в достижении цели и неустрашимо пускался на поиски недостающего тряпья по всему судну, находя, порой, замасленные обрывки простыней даже в машинном отделении.

Вызывая подобным усердием неудовольствие у бывших владельцев недостающих наволочек, я, быть может, потому был непреклонен в их отыскании, что согбенная фигура старпома, попеременно зажимающего на руках пальцы перед самым моим носом, угрожающе заслоняла собой в такие минуты самую немислимую изворотливость со стороны команды, желающей любыми способами притупить мой обострённый нюх. Отчётность, по мнению старшего помощника, была превыше всего, потому как не сданные на базу полотенца естественным образом растворялись в небытии, в конечном итоге увеличивая его, старпома, недостачу и, соответственно, уменьшая мою заработную плату.

Но вся нервотрёпка, связанная со сбором и отысканием белья по судну, когда большая часть экипажа была занята сдачей рыбы, не шла ни в какое сравнение с доставкой его на плавбазу, на которую ещё требовалось взобраться. Возвышающаяся многоэтажной громадой над сиротливо приютившимся под её боком траулером, она не снисходила к нему спасительными ступеньками трапа, а как бы нехотя достаивала вниманием, предоставляя к услугам подозрительного вида покорёженную корзину, сваренную из отдельных прутьев и скреплённую круглым металлическим щитом, используемым в качестве днища. Всё это ненадёжное сооружение спускалось на тонюсеньком тросе, при помощи заедающей в самые неподходящие моменты лебёдки, которую потом подолгу не могли запустить, в то время как кренящаяся плавбаза всей своей мощью то и дело взмывала устрашающе над головой, и стывшая вода зловеще всхлипывала внизу, между расходящимися бортами.

Усаживаясь в эту шутовскую люльку поверх набитых тряпьем мешков, цепляясь что было сил за всю гуляющую поручни и, не надеясь уже более когда-нибудь ступить на землю, я с замиранием духа начинал свой умопомрачительный подъём, и моё размягчённое тело тотчас охватывал

липкий озноб, когда корзину со всего маху бросало на ржавый борт плавбазы. Жуткий скрежет от соприкосновения металлических поверхностей был под стать безумным вскрикиваниям чаек. Корзина от неловкого столкновения начинала с возрастающим остервенением закручиваться, в нос ударяла застоявшаяся сырость бортов, и только очередной толчок выводил из холодящего оцепенения, в которое я впадал вновь, по мере раскручивания злополучной люльки.

Если учесть, что вся эта эквилибристика происходила на высоте пятиэтажного дома, то становятся совершенно понятными мои опасения за своё благополучное возвращение не только на землю, но и на ставшее близким сердцу судно. В такие моменты мне начинало казаться, что все вокруг только и желают моего унижения, и никому нет дела до мужественно переносимых мною страданий. Всеми силами души проклинал я тогда и этот затянувшийся рейс, и неприветливую плавбазу, и нашего дотошного старпома, и море с чайками, и ветер, и неспособность что-либо изменить в своей жизни.

Вот почему особенно странным было услышать предложение капитана нам с мотылём перебраться на несколько дней на плавбазу, чтобы помочь с перегрузкой рыбы на «Якутию».

Напутствуя нас последним словом, он как-то непривычно горячился, подбадривал:

- Подрастроились, что ли? Не серчайте. Через пару неделек привернём к вам и заберём уж точно. Что поделаешь? Ну, мужики, бывайте, значит!

Поднятые руки, невнятные выкрики, улыбки, журчание воды под бортом – и скоро потеряли мы своё судно из виду, а потом уж я и не думал о нём, о ребятах, что остались добивать недостающий план, а думал о предстоящих днях, как всегда бывает, когда оставляешь что-то привычное.

Бесперебойно и слаженно трудится плавбаза: приёмка рыбы осуществляется круглосуточно, установленные в рыбоцехах машины обезглавливают её, потрошат, вырабатывают филе и рыбий жир, укладывают продукт в консервные баночки, закатывают, бланширователи обеспечивают обработку закатанных консервных банок острым паром. Отходы от разделки рыбы направляются на рыбомучную установку, которая вырабатывает рыбную муку – отличную пищу для домашних животных и птиц. В начале они попадают на автоматические ножи и рассекаются на мелкие кусочки. Затем сырой фарш поступает в варильники, отжимается, прессуется, рыхлится, сушится раскалённым паром, засасывается вакуумом в специальный барабан, в центре которого, подобно вихрю, вращается диск с корундовыми ножичками, дробящими случайно уцелевшие кусочки. Только после всей этой индустриальной процедуры получается продукция в виде серо-зелёной пыли. Это и есть мука, или как её ещё называют рыбаки – тук.

А вот из рыбоцеха отработанная рыба поступает в морозильное отделение для глубокой заморозки, откуда, в свою очередь, направляется на длительное хранение в трюмы. За одну неделю на судне вырабатывается столько консервированной продукции, что, если все банки поставить одна на другую, получился бы столб выше самой высокой горной вершины нашей планеты. Продукции, которая размещается в трюмах плавбазы, хватило бы, чтобы прокормить город со стотысячным населением в течение года.

Сама база под стать привычным понятиям о море. Длина её такова, что если базу поставить на попу, то она вознесётся к небу выше Исаакиевского собора, высота которого сто два метра. Положив подобную громадину на чашу весов, с целью уравновесить её, на вторую чашу пришлось бы поставить пирамиду из одиннадцати тысяч легковых автомобилей. Вот только какой марки? – статистики не уточнили. Моряку сухопутными понятиями мыслить не пристало, и потому нет для него лучшей мерки, чем собственное судно.

Десятки маломерных судов, словно слепые, беспомощные поросята вокруг свиноматки, теснятся по обеим бокам плавбазы в ожидании своей очереди. Чёрные, бокастые, со вздёрнутыми тупыми носами и круглыми кормами малые сейнеры стоят так родственно-крепко прижавшись друг к другу, что во время крупной зыби мачты кренятся и переплетаются между собой в нечто, напоминающее волнующийся сизый туман, а глядя сверху, кажется, будто по всем этим неприкаянным судёнышкам можно ходить, свободно перешагивая с одного на другое.

Средние траулеры-рефрижераторы тоже, под стать неприметным сейнерам, натружено вздыхают под высокими бортами плавбазы, то взлетая на крутой волне, желая хоть мачтами дотянуться до недосыгаемой палубы, то ухают стремительно в освободившееся на какое-то мгновение от мятущихся водяных горбов пространство. Их мокрые палубы, ещё скользкие от рыбы, возбуждающе пахнут свежестью моря. Фигурки матросов в глянцево поблескивающих и ломких рыбацких робах не спеша окатывают палубы из шлангов, везде по бортам журчит и пенится стылая вода, а капитан, сдвинув со лба фуражку, успокоено попыхивает папироской, с удовлетворением поглядывая на происходящее из узкого рубочного окошка.

И надо всем этим несокрушимым монолитом висится плавбаза. Ветер рвёт брезент на штабелях бочек, ящиков, тросов. Серебристо-матовые тюки с крупнозернистой солью и туком громоздятся под открытым небом. Здесь, наверху, ещё головокружительней пахнет морем, которое зябко морщинится, а затем вздрагивает неожиданными приступами недовольства.

Грязные брызги отработанных отбросов из шпигатов, сносимые ветром, косым веером разлетаются по поржавевшим выпуклым бортам. Людей на палубе почти не видно: те редкие фигурки, что копошатся под хлесткими, сбивающими с ног ударами непогоды, стараются быстрее разделаться с работой и скрыться вовнутрь. И сразу понимаешь, что главное происходит не здесь, а где-то рядом, за глухими переборками, под самыми

ногами. Это тайное действие совершается там, в утробной непроницаемой глубине, и о нём настойчиво напоминает только запах, который наполняет и пропитывает здесь всё своим смыслом.

И нас повели туда, в чрево этой мощи, подчинённой единому всепоглощающему ритму, узкими проходами, крутыми лязгающими трапами, пока мы не вошли в светящийся размытыми огнями цех рыбообработки. Здесь было оживлённо: так же непрерывно журчала вода, омывающая желоба, пол, тачки и транспортёры, отовсюду капала и сочилась влага, работа не прекращалась ни на минуту.

Рыбьи тела с еле уловимым шелестом валились сверху, мчались беззвучно по отшлифованным желобам, между ними сновали спорые руки обработчиков: переворачивали, шкерили, распластывали, солили рыбу, заботливо приготавливая ей временный покой в темноте бочек и банок. Там она будет наливаясь вкусным и питательным соком, после перегруза её отправят на материк, а затем рыба появится на столах людей и принесёт им немало радости.

Но руки не перестают двигаться, они напряжены до предела, напряжены глаза и лица людей, и сыровато-мягкий шум обработки захватывает тебя в своей безудержной круговерти. И тоже хочется попробовать, так же, сноровисто, отрезать рыбам головы, ловко укладывая их плотными красивыми рядами в приготовленные бочки, легко разделявать крутящиеся шелковистые тела на сочные розоватые ломти, дышать со всеми этим плотным, постоянно омываемым и шелестящим воздухом. Что творится на рыборазделке – понятно только тому, кто прошёл через это!

Каждый рыбообработчик прицеливается, ловко хватая с транспортёра рыбу, отсекает ей голову вместе с жаберными крышками, вспарывает брюхо, выскребает нутро и бросает тушку на соседний транспортёр. Поначалу шкеришь по одной-две рыбины за минуту, затем – по три-четыре, но вскоре уже – семь-восемь... Запястья к концу вахты деревенеют, становятся будто ледяные. Это, конечно, с непривычки. Опытные матросы за ту же минуту отшкеривают до полутора десятка рыбин. Руки у них быстрые, сноровистые...

Медленно разворачивается перед глазами забирающая дух картина, что-то смутное и большое прикасается к твоему ошеломлённому восприятию, и ты понимаешь, что смысл всего существующего вокруг имеет запах рыбьего сока, жира, липкого человеческого напряжения. Запахом этим было пропитано всё вокруг, и свежий воздух, невидимой стеной напрягаясь у распахнутых иллюминаторов, не в силах, наверное, был преодолеть его внутреннее сопротивление.

Блуждая глазами по сторонам, я, ко всему прочему, понимал, как трудно быть здесь одному. Один начинаешь думать о себе плохо, потому что не можешь вот так, сразу, войти в этот новый для себя мир, сделав его и своим тоже. Ты не заслужил ещё право по двенадцать часов, не меняя застывшей позы, стоять у рыборазделочной машины или на транспортёре.

Причём, повторять изнурительную в своём однообразии работу необходимо ежесуточно, когда перед очередной сменой опухшие, в ножевых порезах и жестоких рыбьих уколах руки не разгибаются, под лопатками начинает тупо ломить лишь при воспоминании о предстоящих нескончаемых часах, и так - в течение безнадежно долгих месяцев...

Но окружающая обстановка была схожа с только что оставленной на своём судне, и потому руки, спина, молодое упругое сердце и здоровые лёгкие с первого дня включились в безостановочный ритм работы, не боясь ни больших перегрузок, ни низкой трюмной температуры, когда голыми руками приходилось отдирать примерзшие друг к другу тридцатикилограммовые коробки, находясь на твиндечном дне по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Работа эта была, пожалуй, сродни только тем авралам в Охотском и Беринговом море, когда мы всем экипажем сутками отбивались от ледового нашествия, наверное, самого губительного переплёта, в которое может угодить маломерное судно.

И вот теперь, когда перегруз накопившейся рыбы на «Якутию» требовал такого же ускоренного, бешеного ритма, когда от подступающей натуги охватывала сковывающая пустота, я вспоминал недавние дни, и во мне опять закипало то неугасимое волнение, что сопутствует любому отчаянному делу. Море всегда несёт в себе эти неожиданные всплески восхищения, которые могут выражаться и в тяжелейшем труде, так что от него захватывает дух. И всё становится нипочём: так радостно, с настроением переносится это физическое напряжение, когда жилы, кажется, вот-вот порвутся, и хлынет горячая кровь, и застелет своим розовато-багряным светом опухшие глаза. Что за отчаянное ухарство просыпается в тебе! Что за сила!

В трюме сумрачно, тускло светят лампочки, обтянутые проволокой. Слышно, как за обшивкой борта, где-то над головой, плещется вода. Трюм расположен под ватерлинией.

Температура здесь минусовая. Воздух крепкий, морозный. Металлические трубы, уложенные поперёк шпангоутов, покрыты снежным намерзшим крошевом. Всё тут как зимой!

Скрипит под сапогами подмороженная палуба, мороз щиплет уши и нос, покалывает в кончиках пальцев. Но это продолжается недолго, пока не приступаешь к работе. В смёрзшемся воздухе глубокого трюма, скинув телогрейку и оставшись в одном колючем рыбацком свитере, ты начинаешь размеренно, с приятной ломотой в задубевших со вчерашнего дня мышцах, горбиться, подхватывать, вскидывать и тащить, постепенно наливаясь пузырящейся кровью и делаясь похожим при этом на безответного заводного человечка. Подлетая в несколько шагов к горе слипшихся продолговатых коробок, лезешь, изворачиваясь, на самую верхотуру, иступлённо расшатывая, опрокидываешь хрустящие ряды, и уже другие расхватывают свалившуюся кучу-малу, в считанные секунды высвобождая пространство для новой груды.

Стропа то и дело взмывают в необозримо чернеющее над головами небо, знай, поспевай наваливать, закрепляя ускользающий из рук груз узлом, хватывая в ходку по две, а то и три коробки, с натугой отдирая их голыми руками друг от друга. По-молодецки ухая и натужно выпрямляясь на вздрагивающих в коленках ногах, яростно и с удовольствием постукиваешь каблуками кирзачей по металлическому трюмному дну. То и дело гулко поскальзываясь и оступаясь, тащишь эти стальные коробки, а затем сваливаешь облегчённо, с молниеносно вымеренной точностью именно туда, куда и следует, чтобы, тотчас воротясь, вновь отрывать, тянуть, кого-то отпихивая и смеясь, может быть, даже мешая...

Слипшиеся волосы скоро превращаются в сосульки, на взмокшей спине выступает иней в два пальца, кровь стучит бесперебойно в висках, так что не слышно ничего, кроме скрипа крановой лебёдки, уносящей в высвеченный блёклыми огнями прожекторов квадрат очередную партию мороженой рыбы. Там, наверху, ждут тёплый, ласкающий душ, ужин в пустынной столовке, который отчего-то тянется непроизвольно долго, размеренно, потом кино и, к большому удовольствию, ещё не всё прочитанное у Киплинга. Но об этом пока не хочется думать, потому что представлять, как всё будет, тоже одно из удовольствий, - маленькое, непритязательное, но очень приятное, и упускать его просто так неразумно.

И опять, только находясь в море длительное время, подмечаешь, что занимать начинают более всего именно обыкновенные, заурядные вещи, и именно они дарят несравнимую ни с чем радость. Но для того, чтобы читать взятый прошлым утром в судовой библиотеке тиснёный, приятно оттягивающий руку коричневатый томик великолепного английского писателя, следовало остаться одному, быть помытым и разгорячено свежим, тихо лежать на спине в уютно освещённой каюте, с удовольствием переживая постепенно прокрадывающееся в душу тепло. И тогда мечты о каком-то необыкновенном будущем становятся осязаемыми, еле уловимо касаясь лба неимоверно тонкими, воздушными пальцами.

Удивительное дело – меня окружало то, без чего я, как мне совсем недавно казалось, не мог существовать, то, что, по мнению многих людей, оставшихся по каким-то причинам на берегу, необходимо запоминать, впитывать в себя каждой клеточкой тела, переживать, потому что это и есть истинная жизнь, и, конечно, преступно относиться к ней невнимательно... Но, как ни странно, именно теперь всё это почему-то не занимало.

После работы в рыбозаделочном цеху или на перегрузке рыбы в трюме остаётся вполне достаточное время, чтобы отдохнуть, а затем обойти всю базу, тщательно её осмотрев и заглянув в самые укромные уголки: ведь может случиться, что такой возможности тебе уже больше не представится. Или завести с кем-либо из бывалых членов экипажа захватывающий разговор о море, сильных уловах, безнадежно исчезающей куда-то сельди, посетовать на часто повторяющиеся в последнее время неудачи и, не стесняясь, вдруг порадоваться неохватному морскому простору. Можно, наверное, получить в

этих душещипательных беседах немалое удовлетворение от собственной неиссякаемой любознательности, любви к жизни и опьяняющего предвкушения невероятных открытий, и, конечно, все приобретаемые знания не разгодились бы тебе в будущей жизни, даже несмотря на их значимость в настоящем. Но, тем не менее, ты не находишь ничего лучше вот такого вдумчивого общения с книгой, а именно – с Кипплингом, когда вокруг так много умиротворяющего тепла и света, и тяжёлое дыхание моря едва угадывается за наглухо задраенными иллюминаторами...

Начиная с возрастом всё более тщательно относиться к собственной жизни, человек всё же очень часто выпускает из внимания обаяние обыденного, присутствующего на каждом шагу. Мелкие житейские прелести постепенно становятся для него вроде надоедливой обузы, без которой, между тем, не так-то просто обойтись, и он вынужден тянуть этот обременительный и не всегда полезный, по его мнению, груз. Когда же человек взрослеет от общения с морем, он обретает мудрость в восприятии простых вещей, тем самым не растрчивая себя понапрасну. Море помогает ему не состариться раньше времени и учит ценить вещи, которые в действительности своей и составляют основу жизни.

Ощущение от хорошо выполненной работы, тщательно смытого с себя тошнотворного запаха рыбьего сока и незамысловатого ужина в просторной столовке, вместе с пониманием, что всё это происходит с тобой в самой середине метущегося за бортом Охотского моря, окаймлённого неведомой ещё Камчаткой, Шелиховским заливом и Удской губой, и позволяли по-житейски просто и мудро относиться ко всему происходящему... Какая-то расслабляющая безмятежность, по-видимому, была связана ещё с непривычными размерами судна... Даже в сильные шторма волнения на нём почти не ощущалось, и только изредка, когда одна из тысяч многосильных волн всё же заставляла монолитную громадину врасплох, палуба совершенно неожиданно убегала глубоким креном из-под ног, и было ещё долго слышно, как этот крен, с гулким рокотом пронизывая переборки, прокатывается через всё судно, словно проверяя его на прочность. Там, подо мной, в самой судовой утробе, что-то отдалённо скрипело, выло и визжало, но стоны эти были даже чем-то приятны, и ни чуть не казались навязчивыми.

Здесь, на плавбазе, я неожиданно потерял связь с морем. Оно, конечно, постоянно ощущалось рядом, когда дыбилось, медленно перекачивалось за бортом, даже порой начинало ходить ходуном, и, разумеется, такая неповоротливая зыбь действовала на нервы, но страсть преодоления этой стихии, превозмогание, в первую очередь, самого себя, исчезла. Расслабляющее тепло большого судна действовало обезоруживающе: оно окутывало невидимыми нитями, и уже не хотелось с мальчишеским упрямством дерзить морю, как это происходило совсем недавно на затерянном среди бушующих волн маломерном судёнышке.

Так, иногда что-то негаданно толкнёт сердце и захочется выйти к морю, каким бы оно ни было суровым... Мокрая мелкая пыль приятно

солонит лицо и руки, и тёмная палуба отливает в сумерках скупым, хмурым светом. Судно, без удержу, мотает из стороны в сторону, а ты начинаешь с какой-то даже отчаянной решимостью свою незамысловатую игру – нужно удержаться на одном месте, то есть не сойти с него определённое время, и чем дольше ты сумеешь противостоять мятущейся стихии, тем радостнее достигнутая сопричастность с ней.

Порой удавалось поймать ритм бессистемной смеси качек – бортовой, килевой и вертикальной, но когда уже, казалось, судно выходило на волну, палуба неожиданно летела в пустоту, штопором вбираясь в манящую темь, пронизанную тяжестью волн, я терял равновесие. Решиться на подобное можно только при непосредственном соприкосновении с морем, когда защищающая тебя судовая оболочка сведена до минимума. Если же море витийствует где-то далеко внизу, то все его усилия кажутся напрасными и обременительными для него самого, и самая сокровенная связь прерывается, оставляя, правда, возможность взглянуть на море с недостижимой для себя высоты. Утерянное равноправие с ним уже не дарит истинной слитности с природой, которую всегда хочется понять, постигнув, наконец-то, искусство человеческой жизни.

И вот, мы опять на родном судне... Несмотря на усталость, мне отчего-то не спится, и я выхожу на пустынную палубу. Охотоморская ночь объяла собой всё вокруг.

Мерно поскрипывают судовые надстройки и такелаж, переборки чуть подрагивают в такт работы невидимых механизмов, однообразно плещутся под бортом равнодушные волны. Лёгкий ветерок, запутавшись в снастях, никак не может успокоиться, бессильно бьётся, изредка его перекрывают вскрикивания морских птиц, и вновь тишина...

Поднимаюсь зачем-то в рубку, и обнаруживаю на полу сторбленную фигурку капитана, закутавшегося в плащ-накидку. На голове у него – взлохмаченная кроликовая шапка, натянутая по самые глаза, так что не видно – спит он или просто пребывает в задумчивом одиночестве. Но когда капитан поднимает лицо, то я вижу, как оно осунулось, а глаза воспалены от бессонных ночей. Молча поприветствовав меня, он лёгким кивком головы указывает, чтобы я присаживался рядом.

- Рейс, как видишь, складывается у нас не просто.

- Мне всё равно: лишь бы он продолжался так, как и идёт. Я уже освоился со своими обязанностями.

- У каждого человека, конечно, есть выбор, и он может позволить себе уклониться от жизни, если его что-то в ней не устраивает: чтобы, таким образом, защитить себя. Но ты, похоже, не собираешься прятаться, и готов противостоять всем бесовским козням, на которые гораздо море?

- Если честно, то какая польза от того, что продолжаешь оставаться в наскучившей обыденности? И не в силах обуздать свой беспокойный ум,

пребывая в довольстве и праздности? Наверное, не следует скрываться от жизни, когда она предполагает открытия, и правильнее было бы принять мир во всех его проявлениях?

- Так-то оно так, - спокойно проговорил капитан. – Отказываясь от жизни, полной достойного мужчины напряжения, ты на самом деле не приемлешь её... Но отправляясь в море – не бежишь ли ты от себя, или проблем, и разрешит ли оно их?!

- Человеку следует обрести внутреннее равновесие, а его достижение, наверное, невозможно без этого самого напряжения. Как, скажем, доказать неверующему человеку, что Вселенная – божественна, что и в нём есть Бог? Как дать ему понимание, что он наделён огромными возможностями, и в его душе заложен жизнеутверждающий смысл?!

- Этому неверующему самому, должно быть, следует приступить к честному размышлению о жизни...

- Вот видите! Человеку нужно непременно захотеть думать о себе и о мире, о том, например, почему так происходит: ты делаешь что-то хорошее, достойное, но оно не всегда улучшает твою жизнь, даже, скорее, усложняет её...

- Я, как капитан, сталкиваюсь с этим постоянно. И дело тут в том, что подобное действие требуется совершать неизменно, каждый миг, не прекращая никогда. Только тогда будет толк. Ты к этому готов?

- Когда ты честен в своих помыслах и мечтах, чист в восприятии мира, небо должно помогать тебе.

- Правда, не всегда это происходит. Но если, всё же, сохранять в себе жизнеспособность, то у человека будет ровно столько сил, сколько ему нужно на прохождение и переживание определённого события. И ещё – времени, когда он своими усилиями пробуждает глубинную силу, несмотря ни на что добивается желаемого результата, и, в конечном итоге, живёт в гармонии с собой.

- Вот этого я и добиваюсь!

- Никогда у меня ещё не было такого разговора с кем-либо из членов экипажа... Ну, а как одолеет тебя тоска по дому, почувствуешь ты упадок сил и нежелание продолжить рейс, пусть не этот, другой... И придёт, в конце концов, душевная боль, с которой будет не сладить?

- Человек всё в состоянии превозмочь. Важно, я думаю, сконцентрироваться, понять, откуда эта боль исходит, и победить её, приняв.

- Верно. Принять – значит, правильно отнестись к происходящему с тобой, хотя бы это была утрата, одним словом – поражение. Пусть и не очень приятное, но переживание подобного пути обогащает.

- Я всё переживу.

Капитан мельком взглянул на меня, и, вдруг твёрдо произнёс:

- Мы всегда поможем. Лучше будет, если с головой окунёшься в работу, тогда меньше вероятности, что обнаружишь в себе слабевольные нотки...

Он немного помолчал, устало улыбнулся, и, опустив глаза, тихо проговорил:

- Находясь в своё время подолгу в море, я всегда принимал его полностью, со всем, что оно несёт в себе, и потому спокойно преодолевал отсутствие земли, морскую болезнь и одиночество, до возвращения на сушу, в общем-то, не претерпевая особого дискомфорта. Земля всё ставила на место, но благодаря длительному общению с морем – я становился самим собой, даже – лучше.

- Как говорится, если хотите радугу – привыкайте терпеть дождь?

- Надо ни мечтать, ни витать в облаках, а осуществлять задуманное. В этом – весь смысл нашего нахождения здесь, в море. И, конечно, на земле, где мы способны направить свою душу в осознанное русло. Земля – единственное место, где это возможно, несмотря на то, что сердца наши отданы морской стихии.

- Знаю, стать «морским волком» не просто, но мне хочется попробовать морской жизни, на многое самому поглядеть. Я уже год, как о море мечтаю, а берегом давно перестал интересоваться.

- Ну-ну, посмотрим, что из всего этого выйдет

- Выйдет, товарищ капитан. Обязательно выйдет.

- Ты помни одно: препятствия в жизни любого человека необходимы для того, чтобы развить в нём скрытые возможности, а преодолевая преграды – мы увеличиваем свою силу, ищем для неё выхода.

- Бывает такое, что вам самому становится страшно?

- Страх – это всегда напряжение, тогда как нужно расслабиться. Если тебе страшно – просто перестань беспокоиться, и от того твоё восприятие станет истинным, а волнение само собой рассеется.

- Куда же деться в жизни без невзгод?

- Вот именно, и воспринимать их следует исходя именно из представления, что она может быть всякой.

- Важно, как к ней относиться? Мне хочется прожить свою жизнь интересно и достойно.

- Всё, что человеку нужно – это быть самим собой, желая познавать то, что остаётся неизведанным. Счастлив тот, кто, не истратив себя, продолжает всю жизнь учиться, и как хорошо это выходит в согласии с морем.

- Хорошо было бы просто жить естественной жизнью, исполняя то, чего тебе хочется... Тогда, наверное, к тебе и приходит всё заслуженно и просто.

- Всё, что даётся в жизни легко, не приносит каких-либо преимуществ, то есть – ты в этом случае ничего не получаешь.

- Почему?

- Наверное, просто потому, что короткий путь следования для многих людей всегда преобладал над дальней дорогой, был для них достаточен и привычен, они не разожгли огонь своего сердца. Им выгоднее обращаться в молитве к Богу, непременно о чём-либо прося...

- Люди не желают оставаться честными по отношению к себе?
  - Попробуй делать только своё дело, которое непременно следует развивать, получая от этого огромное удовлетворение, и тебе не придётся ничего выпрашивать у судьбы. Бей в одну точку!
  - Я, кажется, нашёл свою, и значит, я на верном пути?
  - Правдивое отношение к жизни подразумевает честное отношение к своим силам, только тогда они будут пробуждены. А если ты не в силах обойтись без молитвы, то это должна быть лишь дань благодарности, что ты живой и здоровый, и это уже – непередаваемое счастье.
  - Я верю в свою дорогу, пусть она даже очень дальняя...
  - Доверяй себе, такому, какой ты есть, этого вполне достаточно, чтобы получать удовлетворение от жизни. Для этого, конечно, необходимо бесстрашие, но ты, я вижу, решился на него. В добрый путь!
- Он опять ненадолго замолчал, затем достал папиросу, но закуривать не стал, отрешенно разминая её между пальцами, пока она вся не высыпалась...
- Совершая свои бесконечные экспедиции в море, я даже не подозревал, что тем самым открываю спящее, уже в себе, внутреннее море, - вкрадчиво произнёс он, повернув ко мне на миг просветлевшее лицо.
  - Интересно... Как его можно определить?
  - Это – непосредственно тобой пережитый опыт, не заимствованный у других людей или из книг, и порой с ним тоже, как и с морем, не всегда получается сладить... Он есть доказательство того, как ты прожил, и ещё проживёшь отпущенный тебе срок.
  - Ведь Существование рано или поздно открывает тебе ту дверь, в которую ты стучишься?
  - К чему ты стремишься, то ты и имеешь. Чем больше человек в жизни переживёт, тем скорее обретёт мудрость.
  - И всё это определяет твой богатый опыт?
  - Если хочешь иметь многое, будь готов охотно отдавать ещё больше, а на это способен только тот, кто обрёл немалые знания. Когда мужчина понимает, что цель жизни ему хорошо известна, он становится покоен и твёрд. Ничего лишнего – только глубокое удовлетворение от того, чем ты занят, и что и кто тебя окружает. Я бы тебе пожелал определиться в своей жизни. Нет ничего хуже, когда видишь, как мужчина занят не своим делом, и значит – губит себя.
  - Если в чём-то нет потребности, то и делать этого не нужно?
  - Это хорошо отображается в пустых разговорах, которое вполне может заменить молчание... Всё излишнее омрачает жизнь, а дозволяется в ней только необходимое, что избавляет от векового непонимания человеком своей природы на пути к благу.
  - И его, конечно, нужно заработать?
  - Решимость – наиглавнейшее качество человека, основа основ для его развития, и ты молодец, что решился на своё путешествие. Решимость

требует отчётливого понимания, что иного пути не существует, и, следовательно, нужно непременно решаться, для этого пришло время.

- Совсем недавно осознал, что благодаря этой своей решимости, чего бы она ни касалась, я приобрёл некую, кажется, ничем непоколебимую и покойную уверенность в себе. Понимание, что именно её мне и следовало добиваться в жизни.

- Когда ты приближаешься к чему-то важному внутри себя, для тебя всё оказывается по плечу. Жизнь должна быть прожита так, чтобы всё в ней было узнано, услышано и увидено.

- Если человеку дана возможность пить, есть, дышать, то он должен изучать жизнь! И где, как ни в море, это получается лучше всего. Именно здесь перед тобой открываются настоящие характеры, да и сам ты обнаруживаешь в себе много интересного... Простые, казалось бы, люди в море становятся совершенно другими...

- Вернее будет сказать – самими собой!

- Простой человек – это человек, который крепко стоит на ногах, не витает в облаках и живёт самой обыденной жизнью, исполняя какое-то необходимое дело?

- И он делает его очень хорошо, а ещё неплохо разбирается во всём, что происходит в окружающем его мире, имея свой, устойчивый взгляд на жизненные обстоятельства. При этом, он никогда не теряет здравого смысла, чего бы в жизни не приключилось. Такой человек ничем особым, вроде бы, не выделяется, честно работает, и ему просто нравится так жить.

- Вы нарисовали портрет по-настоящему добродетельного человека!

- Так оно и есть. Именно такой человек способен надёжно обустроить отпущенное ему время, и пребывание в море помогает ему в этом. Простой человек, моряк, не верит словам, а живёт делами, признавая их самым важным в жизни. Он ценит жизнь, радуется ей, и не упускает возможности сделать её лучше. Он понимает, что многое зависит от его решений. Простой человек – это всегда свободный человек, он живёт простыми и доступными истинами.

- А что есть истина? И в чём заключена главная задача человека?

- Истина есть сама жизнь, которую ты познаёшь с помощью личного опыта. Чем больше опыта, тем ближе ты к своему природному существу.

- Войдя вглубь себя – истина откроется в тебе?

- Да. Это – не требующая доказательств, существующая сама по себе жизненная реальность, которая должна быть постигнута человеком.

- Получается, что истину достигаешь в момент собственного роста?

- Верно. И открывается она без всяких споров. Споры, вообще, не нужны, они не приносят никакой пользы, лишь попусту растрачивая энергию.

- Как, должно быть, радостно полностью обрести свою внутреннюю природу!

- Смысл жизни в том, чтобы достойно пережить всё, что она способна уготовить тебе в любом своём проявлении.

- И, наверное, нет в жизни ничего хуже утраченных возможностей, которые невозможно вернуть?

- И вот тут, помимо решимости, от человека потребуется воля.

- Воля – это способность преодолевать препятствия?

- Преодоление это способно приносить глубокое удовлетворение от противостояния неудачам... Ведь счастье, если разобратся, ничему не учит, в нём перестаёшь жить осознанно.

- И можно легко потерять себя?

- Если человек не управляет своей жизнью. Воля – это, как раз, приложенные тобой усилия, когда приходится делать не только то, что ты хочешь, но и чего вовсе не желаешь, а не сделать не получается.

- Как это, чаще всего, наверное, и случается в море?

- Вода никогда никого не топит, топит себя сам человек, его собственный страх, который не позволяет поверить в свои силы. Очень важно научиться в жизни идти туда, куда тебя тянет природа, а не твоё эго.

- Меня с самого детства тянула к себе вода, то есть – море. Я просто не мыслил себя без него.

- Пожалуй, единственный грех – это забыть самого себя, собственные возможности, единственная же добродетель – самого себя помнить, а значит – быть верным своей природе.

- А как же страх?

- Страх – это всегда обращение к тому, что может случиться, а не то, что происходит сейчас. Сконцентрируй все свои чувства на том, что с тобой происходит, именно в эту минуту, посмотри на себя осознанно, со стороны, и страх уйдёт.

- А ведь верно, ты всегда только предполагаешь, что может произойти!

- Если уж попал в передрыгу, как все мы совсем недавно, не позволяй себе тревожиться, а просто расслабься, стань на какое-то время безмятежным, и ни о чём лишнем не думай, жди.

- И что, недостающее решение обязательно себя проявит?

- Выход из создавшейся ситуации найдётся непременно. Отбрось всё привычное, уже когда-то пережитое, и наслаждайся путешествием к новому, чего ещё не бывало в твоей жизни.

- Понимаю... В жизни нужно научиться решаться на многое, в том числе – на познание самого себя. И не важно – сколько времени на это уйдёт?

- Не рискуя – не обретёшь целостности, не отправишься однажды в своё путешествие. Ну, и не пристанешь счастливо к родному берегу. Истинное видение откроется, когда начнёшь доверять своему сердцу.

- Значит, реальность жизни такова, что она уже заключена в нас, и нам нужно просто хорошенько разглядеть её?

- Счастье человека зависит от заложенных в него возможностей, которые всегда находились внутри него, и следует лишь обратиться к ним пристальное внимание.

- Выходит, все переживания на этом пути тоже благостны?

- Ты только вообрази: они могут отвлекать тебя от недостойных поступков, и уже этим хороши. Никакого эго. Благослови пришедшие в твою жизнь препятствия, но только не сосредотачивайся на них.

- Не существует такой проблемы, какую бы человек не в состоянии был разрешить?

- Самое главное в жизни – решиться на действие, а приняв важное для себя решение, уже никогда не отступать от него. Пока полностью не исполнишь задуманного.

- Действие, конечно, предполагает движение к самому себе, к чему ты предназначен. Чаще всего, должно быть, люди задаются именно этим вопросом: в чём заключён смысл жизни?

- Очень важно, чтобы человек определил для себя в жизни собственную цель. Без неё просто невозможно отправиться в любое путешествие. Чего желаешь достичь именно ты, что более всего беспокоит тебя в пребывании на этой земле?

- Цель моя проста: как можно более глубоко заглянуть в самую суть жизни, узнать её лучше. Но как нелегка дорога к её постижению!

- Зато, какую огромную радость приносит знание себя и окружающего мира, когда живёшь и с ним и с самим собой в согласии! Как это у поэта:

«Есть Бог, есть мир,  
Они живут во век  
А жизнь людей  
Мгновенна и убога,  
Но всё в себя  
Вмещает человек,  
Который любит мир  
И верит в Бога».

- Вы и Гумилёва знаете... А «Капитанов» его помните?

- Читал, но по памяти вряд ли что-то восстанавливаю... Так, запечатлелись фрагменты, вроде –

«... Пусть безумствует море и хлещет,  
Гребни волн поднялись в небеса,  
Ни один пред грозой не трепещет,  
Ни один не свернёт паруса!»

- Bravo, Михаил Александрович! Догадывался, что вы – человек разносторонний, но Гумилёв в наше время мало кому знаком...

Капитан только устало улыбнулся, а потом говорит:

- Реальность жизни заключена в том, что узнать её возможно, лишь столкнувшись с ней напрямую, когда всё в ней для тебя становится по-настоящему реальным. Просто честно будь в том, к чему ты устремился,

ничего не выдумывая и не искажая. Многие люди и не подозревают, что сама жизнь и есть великий и радостный смысл, полная свобода от какого-либо беспокойства и страха.

Думая обо всём этом, я пытаюсь представить себе жизнь человека, непреклонно решившего стать моряком, а значит, самовольно обрѣкшего себя на очень длительное, постоянно повторяющееся удаление от земли. Пытаюсь понять, как удаётся ему в собственном сознании пересилить это противоречие, в течение всей жизни, наверное, так и не одолев его окончательно.

Жизнь в море протекает совсем в ином измерении, нежели в том привычном мире, который остался на берегу, за много сотен миль. И хотя это измерение – не более чем потерянная когда-то человеком реальность, требуется определённое время и знание для его верного восприятия.

Старые рыбаки утверждают, что ход времени полностью зависит от успеха промысла. Если рыба ловится хорошо, недели и месяцы мелькают незаметно, так что порой невозможно уследить за их стремительным бегом. Нет рыбы – время застывает, и, кажется, нет таких сил, которые смогли бы сдвинуть его с места.

Но вернее всего, что моряки выдумывают сложные отношения со временем, которое просто по-настоящему не учитывается, и то, что оно преподносит в море свои откровения, вполне объяснимо. В море невозможно уйти от него к чему-либо быстро разрешимому, и человек невольно проникается его мудрым течением. Море вынуждает задуматься, величественно и остерегающе одѣргивая людей в их искренних заблуждениях, тем более, что собственную разрозненность в состоянии преодолеть только они сами.

Если в море моряк думает о берегу, то это вполне естественно, и глупо видеть в этом стремлении какую бы то ни было раздвоенность. Рано или поздно он всё же подступит и укачает моряка покоем, так что тот на время забудет жизнь на судах, всю свою древнюю усталость, разочарования и грусть. Земные запахи опьянят, понесут и закружат его, и только в разговорах с друзьями он будет вспоминать о нелѣгкой работе, бессонных вахтах, порядком опостылевшем море...

Но, прожив на берегу неделю-две, моряк однажды утром обнаружит, что мозоли на руках шелушатся, становятся непривычно мягкими и постепенно сходят, все земные запахи кажутся уже пресными, а в душу крадывается непонятная скука. Душа его прямо-таки отравлена вынужденным бездействием: что и говорить, последние дни он только и думает о том, как бы занять себя, нет-нет да поглядывая на море. Мысли движутся не спеша, словно принаравливаясь к порядком изменившейся обстановке, а сердце нерешительно поѣживается в сладкой печали. Еле слышимая, но хорошо угадываемая волна вольной жизни неудержимо

поднимается в нём: любовь к этой жизни, ко всем её, не таким уж частым подаркам, если хорошенько припомнить, всё же, постепенно одерживает верх, и охватывает востребованную и занывшую душу радостным волнением...

И вот, человек опять смотрит в море, и море зовёт его к себе, тянет неумолимо, и он ничего не может с собой поделаться. Необъяснимая тревога вкрадывается теперь в его жизнь и гложет изо дня в день ожившее воображение, только никто из близких людей этой перемены в нём не замечает.

Однажды, навечно причащённый к своей солёной купели, он, в тайне ото всех, вынашивает в себе эту непонятную тоску... Поздно и плохо засыпает, много и без надобности курит на тёмной кухонке, запивая неприятный во рту привкус холодной водой прямо из чайника, которым непременно заденет о плиту и разбудит детей, начиная своими ночными бдениями вызывать всё нарастающее неудовольствие жены...

Под утро, вконец одурев от бессонницы и неясных обрывочных мыслей, ему захочется, как никогда, свежего воздуха, и, позабыв, где находятся скрипучие половицы, он неосторожно ступает по ним босыми ногами, ощущая в то же время их приятную прохладу и какую-то отрешённость всех окружающих предметов. Но никто не слышит его шагов: сладкий сон окутывает весь дом, и от сознания своего неприкаянного одиночества ему становится ещё хуже.

На улице он усаживается на какой-нибудь завалившийся чурбачок, смотрит с волнением на начинающую розоветь узкую полоску над морем, и всё курит одну за другой помятые папиросы. Их прогорклый привкус опять становится комом в горле, и он не в силах избавиться от приторного дурмана, который неприятно мутит, неотступно напоминая о чём-то близком и уже, казалось бы, виденном когда-то. Это память поднимает на крыльях свои успевшие потускнеть и слиться в единый поток дни, и, выпивая их маленькими торопливыми глотками, невозможно не ощутить, как твёрдая решимость заполняет собой мятущиеся мысли, и тоска постепенно уходит.

Тоска покидает сердце с ночной тишиной, но вместе с ней оставляет его и покой. Покой земли, который бывает в радость после долгого отсутствия на ней. Земля должна быть домом людей, куда им суждено время от времени возвращаться.

Любой человек должен выбирать свою судьбу сам... Но почему-то один становится моряком, не взирая ни на какие тяготы не изменяет своему выбору, а другой, не мысливший жизни без моря, даже не пытается противостоять душевной лени. Ощущение первоначальной свободы предполагает возможность отклониться от уже проложенного маршрута, и призывает проложить свой... Это, наверное, и отличает моряка от людей, не стремящихся заглянуть за горизонт.

Люди, отправляющиеся в морскую дорогу, несут в себе большие задатки к справедливости, чем те, кто остаётся, потому что не ищут выгоды,

а хотят обрести смысл. Тайну человеческого существования, предполагающую реальные условия более достойной жизни на земле. Может быть, именно поэтому те, кто смотрит в море, соединяются у его берегов, обретая друг друга и образуя этот неподдельный мир любви и истинного братства.

## «ВЕЛИКАЯ ЧАША ЖИЗНИ»

И вот уже всё дальше на юг спускались мы по наезженной морской дороге, и была она удивительно спокойна, и покой этот был радостен, как только бывает радостна неожиданно подступившая тишина после стольких дней безудержного шума волн и бесприютного воя ветра. Дорога каждодневно открывалась необъятным пространством, притягивала к себе, и не хотелось больше никуда идти, кроме как в её распахнутые объятия. Она как-то завораживающе действовала, наполняя всё тело умиротворённостью, а вокруг простиралось море – иногда сумрачное, холодное, но по-прежнему, такое же, покойное, чуточку сосредоточенное в себе.

Пролив Лаперуза ещё был наглухо забит льдом, и нам приходилось огибать остров Хоккайдо по Сангарскому проливу, чтобы, слившись с водами тёплого Цусимского течения, уже без задержек идти на север. В проливе Лаперуза, где летом вода достаточно тёплая, зимой часто создаются тяжёлые ледовые условия. Дело в том, что охотоморские льды, приносимые сюда Восточно-Сахалинским течением, не находят выхода в Тихий океан и спаиваются, часто образуя мощные ледовые поля, когда же льды отсутствуют – по проливу устремляется на восток ответвление тёплого течения Куроисио – Соя, тем не менее, постепенно растворяясь затем в холодных водах Охотского моря.

Пролив Лаперуза, связывающий Японское море с южной частью Охотского, расположен между островом Сахалин на севере и островом Хоккайдо на юге, и наиболее удачно предстаёт взору с мыса Крильон – самой южной точки острова. Именно отсюда пролив открывается в полной мере, как Край Света, откуда начинается нечто неизведанное, неизъяснимо притягивающее. Название пятидесятимильного пролива всегда воспринималось мною как единственно верное, почему-то и не предполагающее иного, а нахождение на его берегу представлялось наиболее удачной возможностью наблюдать, как прямо перед тобой сливаются два моря.

Кажется не случайным, что в таком просторном проливе находится единственно опасная для мореплавания скала – Камень Опасности. Расположенная в девяти милях к югу от мыса Крильон, скала возвышается над водой на десяток метров, длина её – 150 метров, ширина – около пятидесяти, и она совершенно лишена растительности. Моёвки с крачками так «выбелили» её вершину, что в солнечные дни она отликает снежной белизной, и благодаря этому заметна уже издали.

Склоны скалы круты и выглядят для мореходов угрожающе. Зато для птиц и животных это удобное место, где можно передохнуть, набравшись сил. Камень Опасности – маленький островок жизни в океане воды, к которому стремится всякий, кому нужно перевести дух и оглядеться, и сплошное море было бы для многих, наверное, непреодолимо. Его давно

облюбовали для себя тюлени и сивучи, рёв которых иногда, бывает, слышен на большом расстоянии.

Район скалы Камень Опасности чрезвычайно опасен в навигационном отношении. Здесь неоднократно отмечались случаи аварий и гибели судов. Несколько затонувших судов находится в непосредственной близости от скалы, а обходить Камень Опасности следует на расстоянии не менее двух миль.

Проходя мимо и глядя на одинокую каменную скалу, посещает вдруг мысль, что в ней заключена не малая сила. Скрытая самим морским пространством, но непреклонная, призванная, скорее, не устрашать, а быть примером нестигаемой стойкости перед бушующей стихией, самой жизнью, скала безотчётно притягивает. Свидетельница былых событий и эпох, она накопила в себе глыбы свидетельств, которыми, между тем, не обременена. Многому, наверное, можно научиться у одинокого морского камня, попробовав однажды самому стать непреклонной скалой.

Следуя этой необычной морской дорогой, стал я подумывать о земле, забывая на время о море. Волны, упругими струями расступаясь вдоль бортов, мерно взбулькивали, даже постанывали от натуги, так что было похоже, будто кто-то с неожиданной переменой настроения удивлённо восклицает, жалуется или плачет. А то вдруг чей-то голос окликал тебя, то справа, то спереди, и только тогда постигал ты собственную усталость, с некоторым даже безразличием разглядывая край необжитый и дикий, что изредка виднелся за бортом. Земля эта казалась всеми забытой, и от того ещё более хотелось попасть на свою, родную, не такую пустынную и голую.

Мы шли домой, и сотни миль нелёгкого пути вставали за нами в бурлящем кильватере. Сон в эти дни был короток, некрепок, и, просыпаясь мгновенно, я чувствовал в теле необычайную свежесть. Как будто и не было сна: всё так же веяло в раскрытый иллюминатор весной, светило ослепительное солнце, пластиковые переборки разгорячено и до привычного уютно подрагивали от работы двигателя, вспенённая вода ласково шипела за бортом.

Как весело было все эти дни после полудня на полубаке, как были оживлены матросы, как на загляденье сноровисто и красиво работали они, приводя утомившееся судно в порядок. Чинили и связывали вытащенные из трюмов сети, привязывали недостающие к ним поплавки из пенопласта, шпаклевали и красили палубные надстройки, а механики беспрестанно копались в машине, лишь изредка выбираясь наверх, где ярко светило солнце, пронзительная синева слепила глаза, а от гомона чаек над палубой можно было оглохнуть.

Вольные чайки, обрекающие себя на постоянное парение вдали от берегов, совершенно непугливы и большой осмотрительностью не отличаются – они настырны. Реют в метре над палубой, в непреклонном желании добиваясь своего неотъемлемого права на обладание отбросами с

камбуза. Чайки здесь полновластные хозяева, и трудно этому что-либо противопоставить.

Надо просто принять их, как неотъемлемую часть окружающего. Для этого, наверное, достаточно одного плавания, и плохо, что его действительно порой хватает, чтобы уже никак не воспринимать оглушительного чаячьего крика. А может быть равнодушное невнимание к морским птицам лишь внешне, и каждый моряк, в глубине души, радуется или клянёт их надоедливое кружение.

Интересно, как чайки относятся к тому, что человек вторгается в их владения? С неугомонным криком вьются они вокруг, оказывая нам самый недоброжелательный приём. Может быть, чайки требуют, чтобы мы убрались из их владений, и, кажется, приходят в отчаяние от бесполезности своих непрекращающихся угроз.

Кроме пользы им нечего ожидать от судов. К любопытствующим существам их не отнесёшь. Чайки знают, что делают. Главная их черта – непреклонность.

Море немислимо без взмахов над ним белых чаячьих крыльев. Устремляясь к объекту охоты, чайки безмерно возбуждаются, и непонятно – стараются ли птицы во что бы то ни стало перекричать друг друга, или они охвачены единым негодующим порывом. Соприкасаясь крыльями, чайки суетливо перемещаются в волнообразных потоках воздуха, и можно с замиранием духа видеть, как, неожиданно срываясь с вершины своего полёта, они в головокружительном падении входят в штопор, у самой поверхности выхватывают серебрящуюся рыбёшку, и тотчас взмывают в небесную глубину, лёгкие, как тени.

Каждая из птиц представляет собой совершенный летательный аппарат, который по-своему взаимодействует с ветром, неустрашимо вверяя себя его воле. Небесная лазурь, щедро напоённая встающим из-за моря солнцем, по праву принадлежит чайкам.

Задрав голову и вглядываясь в хаотическое переплетение клювов, лап и крыльев, можно легко оказаться загипнотизированным этим безостановочным кружением. Нередко оно вызывает в людях раздражение, и однажды мне пришла мысль, что если бы морские птицы пребывали в своём воздушном балете в полном молчании, то, несомненно, картина выглядела бы более чем зловеще.

В споре за свою долю добычи, чайки становятся злыми и драчливыми. Неистовство одних птиц незамедлительно передаётся другим, и, преодолев нерешительность, изогнув шею и вытянув вперёд клюв, они маленькими молниями низвергаются к воде, видимо, на какое-то время, забывая о вселившихся в них, по древней легенде, душах погибших моряков.

Когда на небе вспыхивают звёзды, недостижимыми золотыми птицами взмывая под чёрный небесный купол, чайки успокаиваются. Сгущающаяся темнота неудержимо увлекает их в свои сонливые тенёта, и чайки затихают, как пробки покачиваясь между лениво вздымающихся волн. Высвеченные

светом судовых прожекторов, чайки, молниеносно перекувыркнувшись, оставляют на воде пенящиеся шлейфы, и через мгновение предстают на поверхности в сверкающем одеянии, чуть растерянные, опутанные мельчайшей сеточкой воздушных разноцветных пузырьков...

Открытие для себя мира морских птиц всегда незабываемо. Соприкасаясь с ним непосредственно, невозможно не ощущать рядом взмахи их сильных белоснежных крыльев, поддерживающих в морях веру в возможность возвращения к когда-то утраченной ими стихии, в конце концов, к самим себе. Витая бесчисленными стаями, чайки, как бы исподволь, овевают головы моряков проникновенной прохладой, вдыхая в них первозданную свежесть, способную противостоять любой усталости.

Своим неподражаемым существованием птицы воплощают естественное слияние двух отражённых, друг в друге, великих пространств. Без их свободно парящего полёта, томительных взлётов и падений, неумолкаемого гомона роскошных базаров и даже без надоедливого плача – море бы, несомненно, потеряло часть своего очарования. А кому нужно молчаливое, наполовину мёртвое море, однажды оторвавшееся от небесной синевы и замкнувшееся в себе?

Очень многого не знал я ещё в этой жизни, и в том числе – такого неподражаемого явления, как морские птицы. Порой чайки витали над судном тысячами, не меньше, и все они самым бестолковым образом галдели, так что шум от них гудел в ушах, вернее, душераздирающий вопль – бесподобный по мощи и наглой отрешённости от всего прочего мира, до которого им, видимо, не было никакого дела.

Это многоголосое скопище морских пернатых то создавалось прямо на глазах, то так же мгновенно и с лёгкостью распадалось. Воздушное существование птиц предполагало их неподражаемый ритуальный танец, требующий полной самоотдачи, изящества движений, и мне почему-то однажды подумалось, что он для моря не случаен.

Неустанное птичье кружение открывало миру своих доподлинных артистов, представляющих неповторимый классический театр, который, кажется, не имел себе в природе равных. Беспременно покоряя собой самое бурное воображение, он желал такого же искреннего выражения своих возможностей. Что, если бы многомиллионные жители этой поднебесной страны вдруг были изолированы от живых существ, кому предназначались бы тогда головокружительные танцы, вскрики и касания крыльями?!

Подобно человеку, обречённому на одиночество, чайки бы в этом случае, пожалуй, тоже отрешённо замкнулись... Хотя их отрешённость от существующего мира, наверное бы, оказалась лишь видимой. Ведь жизнь просто перехлёстывала в птицах через край от радостного ощущения полёта, и даже если бы этот полёт не был никому видим, они не перестали бы безудержно взмывать и падать, взмывать и падать, будто выискивая в морском пространстве что-то утерянное ими, и так недостающее. Возбуждённое восхищение птиц, как бы там ни было, незамедлительно

передавалось людям, и те, как один, задрав головы, замирали, позабыв о времени.

Привлекая к себе внимание и вынуждая людей вглядываться в бескрайне синее пространство, птицы, наверное, становятся безмерно счастливы от того, что люди рано или поздно перестают воспринимать их крик как нечто несуразное, раз и навсегда отторгнутое от земли, и что своим неугомонным присутствием они ещё более полнят радостью великую чашу жизни, незаметно очаровывая своим безудержным кружением и человека.

Скоро для моряков должен был настать праздник жизни, а между тем он уже совершался в их душах. Приятно было сознавать, что через пару дней судно придёт в родной порт. Долгие месяцы работы выковали и оставили в нас всё самое необходимое для жизни. Лично я возвращался совсем другим: более сильным, уверенным и чистым. Омытый пеной и солёной водой, продутый ветрами и холодом, выдюживший тяжёлый труд, я чувствовал себя прекрасно, и мне поскорей хотелось ступить на берег. Как он примет меня? Не укачает ли?!

По ночам за бортом проплывали разноцветные огни маленьких японских городов. Притягивающее тепло их вздрагивающего время от времени света будоражило разгорячённое воображение. В размытой от этого волшебного свечения ночной темноте они казались ещё более желанными, хотя и чужими.

Зазывно подмигивая, охваченные еле доносящимся шумом неведомой нам жизни, огни всё-таки настораживали, и почему-то не прельщали. Отражаясь на колеблющейся поверхности воды густыми и сочными мазками, огни рождали в душе, скорее, неясное ощущение лёгкой печали, предшествующее, наверное, скорому возвращению домой.

Что же впервые привело человека в зыбучее царство ветра и волн? Наверное, вовсе не отчаянная отвага вынудила его вступить в спор с морем. Чарльз Дарвин, вернувшись из кругосветного путешествия на «Бигле», которое обернулось для него четырьмя годами морской болезни, заметил: «Лишь крайняя необходимость может вынудить человека выйти в море».

А человека погнал в море ... голод. Испытывая ужас перед ревущим океаном, человек всё же вынужден был выйти к морю, обыскивая пляжи в поисках моллюсков. Гигантские груды раковин, найденные на европейских побережьях во время раскопок, указывают на то, что образ жизни и способ добывания пищи связывали палеолитического собирателя именно с морем. Это было более надёжно и не столь утомительно, чем охота на пугливую дичь.

Следующим шагом был переход от собирания выброшенных на пляж морских животных к ловле их в воде. В этот час родился морской рыболовный промысел. Предок моряка – не старый строитель ковчега Ной, а ещё более древний безвестный рыбак. Родословная моряка начинается, таким

образом, от рыбака, и только затем в ней появляются торговец и морской грабитель. Как это ни странно сейчас звучит – именно тюрьма на заре мореплавания стала поставщиком моряков.

Те, кто отправлялись на свой страх и риск в море, по большей части не знали – что их там ждёт. В отношении моря удачно подходит старинная поговорка, что «отсутствие вестей – уже добрые вести», ибо дурные всегда приходят достаточно быстро и неожиданно. Так и море: только что стояла тихая ласковая погода, на воде – полный штиль, и вот уже во все лопатки свирепствует жестокий ураган.

Море, как и человек, повидало многое в отношениях с людьми, пытавшимися его покорить, но единственное, что ему, наверное, запомнилось по-настоящему – это напряжение, которое человек затратил на своё постижение морской стихии. Сколько жертв было положено на этом пути!

Древняя легенда утверждает, что море стало солёным от слёз, пролитых людьми именно за время его освоения. Но почему на самом деле океан солёный? Эта истина, без преувеличения, наиболее загадочное явление природы, хотя большинство людей воспринимает его как заурядный факт.

Вообще-то, океанская вода представляет собой раствор многих химических элементов, большинство из которых составляют таблицу Менделеева. Но учёные убеждены: в ней содержатся все элементы этой таблицы, дело стоит только за методами их распознавания. Если найти способ и осадить содержащиеся в Мировом океане соли, то его дно покроет соляной пласт толщиной 57 метров.

Первые толкования происхождения солей в океане уходят вглубь веков. Аристотель объяснял это явление природы тем, что солнце извлекает со дна океана множество веществ и паров, которые смешиваются между собой и поднимаются к поверхности воды. Там солнце их, как он считал, варит и сжигает, и в результате образуется соль. Ученик и последователь Аристотеля Теофраст полагал, что на дне находятся соляные горы, растворяемые водой. Авторитетный гидрограф эпохи Возрождения Фурнье усомнился в этом, ибо надо слишком много гор, чтобы просолить такое огромное количество океанской воды. К тому же горы эти, не без оснований полагал учёный, в конце концов, растворятся.

Известна ходячая шутка: «Морская вода солёная потому, что в ней селёдки плавают». А действительно, почему в морях и океанах вода солёная, а в реках и озёрах пресная? Это следовало объяснить.

Знания накапливались, развивалась наука о Земле, и постепенно стало ясно, что засоление океана – результат длительных геологических процессов. Первоначально возникла идея, что в момент образования Мировой океан был пресным, а соли в него приносили реки, размывая и растворяя на своём пути различные горные породы. И верно, хотя из-за невысокой концентрации солей речные воды на вкус и пресные, но в общем объёме они ежегодно

выносят в океан многие сотни миллионов тонн растворённых веществ, и это лишь за год, тогда как возраст океана исчисляется миллиардами лет.

Однако преобладающее количество растворённых веществ, приносимых реками в океан, выпадает в осадок, и лишь небольшая их часть должна скапливаться в воде, увеличивая её солёность, что не изменяет сколько-нибудь заметно природы и соотношения солей в океане. К тому же химический состав речных и океанских вод резко различен. Судя по ископаемым организмам и древним пластам горных пород, химический состав Мирового океана, по крайней мере, с начала палеозоя, почти не отличается от нынешнего. Таким образом, идея о засолении океана реками оказалась несостоятельной.

Бытовала среди учёных и такая теория, что происхождение солей связано ... с жизнедеятельностью морских организмов. Первоначально морские и речные воды были, по их утверждению, одинаковы, однако со временем организмы для построения своего известкового скелета/раковин, костей/ всё больше и больше извлекали из воды углекислых солей, а хлориды в ней оставались. За миллиарды лет вполне могло накопиться столько хлоридов/солей/, сколько мы наблюдаем сейчас.

Но ближе всего к истине оказалась обыкновенная скандинавская сказка, повествующая о том, что на дне моря работает солемолка, и оттого море – солёное. «Солемолкой», на деле, оказались глубокие расщелины в срединно-океанических хребтах – так называемые рифтовые долины. Это – «живые раны» Земли, и чтобы «залечить» эти раны, словом – «поставить заплатки», из недр поднимается магма, а вместе с ней – насыщенная солями вода, что и стала «прародительницей» воды океанов.

В дальнейшем изучение водных растворов современных вулканических извержений показало, что в них находятся основные химические элементы, свойственные океанской воде, и это заставило учёных обратить внимание на вулканизм как на основную причину засоления Мирового океана. Оказалось, что древние и современные вулканы занимают многие районы дна океана, и их там несравнимо больше, чем на суше. В Тихом океане есть потухшие вулканы-острова с кратерами, заполненными водой из недр Земли, химический состав которой идентичен солевому составу океанской воды.

Из сказанного следует, что на начальном этапе формирования лика Земли первые океанические впадины заполнялись не за счёт конденсации влаги из атмосферы при остывании нашей планеты, а сразу же при образовании дна океанов водой, которая вытеснялась на поверхность из недр Земли за счёт вулканической деятельности. Кстати, молекулы воды входят в состав многих минералов. Сейчас уже почти ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что если не единственным, то, во всяком случае, главным создателем Мирового океана был взрывной и лавовый вулканизм. В его сложном процессе и накапливалась первородная солёная вода – колыбель земной жизни. Океан, рождённый в огне и пламени вулканов, уже был солёным.

Конечно, нельзя исключать и такой источник солей в океане, как эрозия коренных пород земной коры. Некоторые из солей попали в морскую воду, несомненно, из коренных и осадочных пород ложа океана. Но всё-таки вулканические соли оставались основными в насыщении ими океана.

Впрочем, значительная часть попавшей в океан соли возвращается на сушу. Когда ветер срывает гребни волн, вместе с брызгами в атмосферу попадают частички соли, которые могут непосредственно переноситься на сушу, а могут попадать туда вместе с дождём, для которого они послужили ядрами конденсации. Кроме того, соль возвращается на сушу вместе с осадочными породами, поднимающимися в течение геологических эпох со дна океана.

Солёный морской воздух, его дурманящее благоухание, будто очищает, сбрасывает с тебя невидимое бремя и позволяет по-новому взглянуть на всё окружающее и на свою жизнь. Ты начинаешь жить по-другому, более вдумчиво и чисто, и всё это благодаря очищающему присутствию моря. При этом дальневосточным морям присущ более резкий дух, нежели, скажем, Чёрному морю, исключительно из-за обилия водорослей и большего содержания солей.

Все мы – обитатели суши, несём в себе нерасторжимую связь с морем: наша кровь и жизненные соки других животных не что иное, как некое подобие морской воды. Одним из совершенно очевидных свидетельств того, что мы вышли из моря, является количество воды и соли, содержащихся в нашем теле. Оно на 63%, а наша кровь даже на 92%, состоит из воды, этого наследства древнего моря.

Жизненную необходимость соли, находящейся в тканевых соках, доказывает удивительная устойчивость гемоглобина, составляющего белковую часть нашей крови. Он не разрушается только потому, что содержит почти 1% соли.

Находящееся в нас пятикилограммовое пурпурное море с его 22 миллиардами красных кровяных шариков и 30 граммами соли, так же как и морская вода, постоянно находится в ритмичном движении и течении. Если в море под действием Солнца, Луны, испарения и ветра возникают прибой, приливы и отливы, то в нас – это удары пульса, вызванные сердцем, которое ежедневно перекачивает через тело человека почти 10000 литров, а за год – 3500000 литров крови. Но, конечно, наше «внутреннее море» не может полностью заменить нам океан – колыбель всего живого, и ежедневно мы вынуждены вносить в тело некоторый минимум воды и соли, которые, опять же, дарит нам присутствие океана.

Солью питается и «запас» пота и слёз, хранящийся в теле. Кроме того, соль регулирует поток жидкости внутри наших кровеносных и лимфатических сосудов, а полностью обессоленное питание приводит к уремии, опаснейшему задержанию мочи при нарушении функций почек. Вода же выполняет в организме не только функции средства транспортировки и растворителя, без неё не может обойтись и

поддерживающая жизнь «химическая фабрика» нашего организма. Наш организм выделяет ежедневно, не говоря уже о моче и поте, около 1 литра слюны, от 1 до 2 литров желудочного сока, от 0,5 до 1 литра желчи и 0,75 литра сока поджелудочной железы. Таким образом, море совершает свой круговорот и в каждом жителе суши, невозможном без присутствия соли.

А какова солёность воды в океане? В открытых водах содержание солей обычно колеблется от 33 до 38 промиллей, означающих, что в литре морской воды растворено 33-38 грамм соли. К примеру, максимальная солёность Охотского и Японского моря – 35 промиллей, что соответствует солёности стакана воды, в котором размешана чайная ложка соли. По этой причине на берегах дальневосточных морей не встретишь купающихся, вообще не заведены пляжи, по крайней мере – они очень редки, поскольку стоит хлебнуть хотя бы глоток такого крепкого охотоморского рассола, как молниеносно срабатывает рвотный рефлекс. Исключение составляют пловцы с аквалангом или дыхательной трубкой, сжимающие во рту резиновый мундштук, выполняющий защитную функцию.

Крепость морского засола научились использовать и в русском мореходстве. В прошлом веке многие владельцы деревянных судов на Волге старались получить в первый рейс на новые, только что спущенные на воду суда полный груз соли, отказываясь подчас от более высоко оплачиваемых грузов. Такая уступчивость вызывалась чисто меркантильными соображениями: судно за время длительного плавания против течения, в основном - на бурлацкой тяге, настолько пропитывалось солью, что уже практически не подвергалось гниению и служило вдвое дольше.

Высокий процент соли делает морскую воду полностью непригодной для питья, но употребляемая в малых количествах, она полезна, даже живительна и целебна. Старые морские волки знали это и в долгом плавании разбавляли своё питьё на одну треть морской водой. Но положительное воздействие солёной воды оборачивалось своей противоположностью, если тот, кто испытывал жажду, выпивал «морского вина» большую дозу.

Ален Бомбар, переплыв в одиночку Атлантику, доказал, что морскую воду пить не опасно, если пить её умеренно и вовремя, не дожидаясь полного истощения и обезвоживания организма. Тур Хейердал и его спутники, пересекая на плоту Тихий океан, тоже утоляли жажду морской водой, но делали это с умом. Добавляя к норме пресной воды от 20 до 40 процентов морской, они с удивлением заметили, что такая солоноватая смесь хорошо утоляет жажду. Привкус морской воды долго оставался во рту, но никакого недомогания они не испытывали, и это позволило отважным путешественникам значительно увеличить суточную порцию воды.

Тур Хейердал ещё рекомендовал употреблять вполне пригодную для питья воду, получая её из сырой свежей рыбы, если пожевать её, проколоть или просто выдавить из неё лимфатическую жидкость. Ален Бомбар на своём «Еретике» использовал для этого соковыжималку и пил рыбий сок сколько влезет.

В полной мере вкусив солёной морской водицы в первом в жизни рейсе, я всё же осуществил свою мечту. За это время изменилось моё отношение к жизни, а мучительные поиски её смысла приучили к мысли, что нет ничего более достойного и интересного, чем добиваться правды, максимально приближаясь к пониманию сути и моря, и ветра, и скалистых утёсов, грозно поднимающихся из тумана, и людей, навсегда связавших свою жизнь с неукротимой стихией... Первое морское путешествие определило всю мою дальнейшую жизнь как полёт, означающий для любой птицы нестигаемость, а для человека – любовь и веру, желание добиваться справедливости и постижение своей природы, умение, несмотря ни на что, отыскать единственно верную и общую для всех истину.

Благодаря морю, Тихому океану, я открыл совершенно иную жизнь, более высокие горизонты, которые, наверное, и позволили позднее проникнуться мудростью Вселенной. Море, как ни странно, помогло мне в дальнейшем правдиво написать о земле... /Пауза/

Всё чаще обращали мы взоры к морю, всегда такому переменчивому, но непривычно спокойному сейчас, в надежде увидеть долгожданный берег. Раскинувшаяся впереди даль синевы ежедневно растворяла эти взоры в себе, до непостижимости радостно звенела музыкой высокого бездонного неба, криком белоснежных чаек, изломанным знаком застывших в воздухе, пронзала солёными брызгами и необъятным простором окружающей глубины, от близости которой захватывало дух и приятно холодило сердце. Взгляд каждого из моряков, изо дня в день погружаясь в эту неисчерпаемую глубинную синь, по давнему поверью, невольно приобретал её неизбывный во все времена оттенок.

Хочется, чтобы люди поверили в это доброе предание или сами отправились в дальнюю морскую дорогу, поскольку убедиться в истинности происходящего на свете им поможет лишь собственный опыт. Восхищённое удивление овладевает тобой, когда плывёшь по этой синей стране и день, и другой, а ей всё нет конца и края. Ничто не заслоняет твой взор. Всё, что ты можешь охватить взглядом в течение дня, - великий морской простор, напоённый воздухом необъятной воли. И даже существующий горизонт – не предел. То, что лежит за ним, есть мир синевы, простирающейся бесконечно. Мир этот не оставляет тебя безразличным, он безотчётно притягивает своей тайной.

Бесконечна и потрясающе прекрасна тайна моря... Взять хотя бы такие одноклеточные жгутиковые организмы как ночесветки, достигающие в диаметре всего лишь два миллиметра, а на один литр воды их приходится несколько десятков тысяч! В подавляющем большинстве случаев свечение Охотского и Японского моря вызвано именно ими...

Правда, для этого надо вынудить ночесветок светиться, так как светятся они только после раздражения. Таким раздражителем может быть движение воды под воздействием ветра или прошедшего судна, оставившего

после себя колышущуюся кильватерную струю, а возможно рядом проплывёт семейство китов. Особой силы достигает свечение моря при подводных землетрясениях, когда отдельные вспышки могут быть приняты за лучи прожектора. Такой силой обладают почти невидимые существа, которых можно считать наиболее древними предками животных.

На деле же крохотные ночесветки подобным образом лишь защищаются в моменты опасности, когда ночью и в сумерки поднимаются к поверхности для кормёжки, но от зеленовато-голубого свечения моря невозможно оторвать глаз! Винты ли судна взбудоражат вихри воды, испускающие целые каскады света, или играющие перед носом судна дельфины, окутанные искрящимися брызгами, привлекут к себе ваше внимание, вы будете поражены открывшимся зрелищем, описанным многими путешественниками. Гребешки волн светятся чудесными огоньками в черноте хмурой дальневосточной ночи, а ты воображаешь себе тропические моря и сказочные страны.

Существует интересное предположение, что Христофор Колумб принял мерцание подобных ночесветкам планктонных рачков за световые сигналы, подаваемые с неведомой земли. Он описал эти сигналы как свет свечи, которая, то поднималась, то опускалась. Колумб видел таинственные вспышки примерно в 22 часа 12 октября 1492 года. Историки, исследовавшие судовые документы «Санта-Марии», приходят к выводу, что во время наблюдения световых сигналов корабль Колумба находился в 80-85 милях от острова Ватлинг и, следовательно, нельзя было видеть на таком расстоянии никакого пламени.

В то же время естествоиспытатели заметили, что в этих местах в последнюю четверть Луны регулярно к поверхности моря поднимаются светящиеся рачки. 12 октября 1492 года также приходится на последнюю четверть Луны. Вероятно, внимание Колумба и было привлечено свечением планктонных организмов.

То, что подобные вспышки достаточно интенсивны и могут быть видны на значительном расстоянии, убеждает следующий пример. Всего шесть миниатюрных рачков-эуфаузиид, помещённых в стеклянную банку, излучают такое количество света, что человек с хорошим зрением свободно читает газету. Во время второй мировой войны японских офицеров снабжали порошками люциферина, извлечённого из светящихся ракообразных. Намоченный и растёртый на ладони порошок давал достаточно света, чтобы читать донесения в обстановке, в которой использовать электрические фонари было опасно.

А иногда на море, особенно – во время надвигающейся грозы, появляются блуждающие огни... Через три года после описываемых событий, в июле 1983 года, я участвовал в экспедиции от Сахалинского управления гидрометеослужбы по Курильским островам и, совершая переход с острова Шикотан на остров Парамушир, наше судно оказалось в эпицентре сильной грозы. Мы шли мимо острова Симушир, на траверзе вулкана Прево,

было около шести часов вечера, когда небо, и без того насупленное, хмурое, вдруг покрылось чёрно-фиолетовыми облаками. Через полчаса я увидел, как контуры мачт, ванты и надстройки как-то необычно ярко очертились, а ещё через несколько минут на выступающих наверху частях судна появилось свечение, постепенно превратившееся в голубовато-искрящуюся бахромку. Вскоре синенькие огоньки побежали по всему фальшборту, но особых звуков и запахов при этом не было замечено. Те, кто наблюдал за происходящим, ощущали себя как зачарованные, и тоже не произносили ни звука. Всё это длилось чуть более полутора часов.

Позже выяснилось, что подобного рода явление связано с атмосферным электричеством, оно было известно ещё в древности и носило название «огни святого Эльма». В эпоху средневековья в одном из небольших городков Италии стояла церковь, носящая имя ничем не примечательного святого – Эльма. Однако храм пользовался известностью далеко за пределами страны. Служители культа утверждали, что их церковь особенно угодна Богу: здесь, якобы, Всевышний преподносил свои «знамения». Время от времени крест на остроконечном шпиле начинал светиться и пылать голубоватым огнём. Церковь привлекала толпы верующих.

Чаще всего «огни Эльма» видели на кораблях. В эпоху парусного флота это зрелище вызывало суеверный трепет. Об этом писали Гомер и Гораций. В те времена люди также принимали эти огни как счастливое предзнаменование и обожествляли их, назвав именами Кастора и Поллукса – полубогов, покровительствующих морякам.

Позднее среди моряков распространилось поверье, что святой Эльм своими огнями выражает мореплавателям расположение. Если «чудесные» огни загораются на мачтах – значит, рейс окончится благополучно.

Сохранилось предание о том, что флотилия Христофора Колумба на пути в Америку была застигнута в океане жестоким штормом: «Казалось, что буря никогда не утихнет. Измученные тяжёлой работой, напуганные сверкающими молниями и свирепым океаном, матросы начали роптать. Во всём винили Колумба, затеявшего это опасное плавание. И тогда великий мореплаватель приказал всем подняться на палубу и посмотреть на мачты. На их верхушках находились голубоватые огоньки. Матросы обрадовались, посчитав рассыпавшиеся на мачтах огни вестником милости к ним святого Эльма». На самом деле весь секрет «огней Эльма» заключался в облаках, представляющих собой массу заряженных частиц, которые обычно несут отрицательный заряд. В ненастье облака могут очень низко опускаться и своей нижней частью касаться земных предметов: спилей церквей, башен, деревьев, корабельных мачт и надстроек. Капли воды с отрицательным зарядом встречаются с этими заряженными положительно предметами, и возникают нескончаемые разряды, своего рода микромолнии. Они-то и заставляют светиться шпили и мачты, но от знания причины этого необычного явления оно, помнится, не утратило для нас своей завораживающей тайны.

С морем связано много такого, чего бы никогда не приключилось на суше. Например, в середине 60-х годов прошлого столетия американский подводный аппарат «Алюминаут» обнаружил на дне Атлантического океана, на глубине 2000 футов, под Гольфстримом неподалёку от побережья Флориды кладбище дюгоней, огромных морских млекопитающих. Весят они около 1000 фунтов. Их милovidные морды и женоподобная грудь в течение многих веков поддерживали в морях веру в существование русалок. Кости валялись буквально по всему дну, они были выловлены и подвергнуты научному исследованию, после чего был установлен их возраст – 25 миллионов лет. Каким образом оказались останки десятков, а может быть и сотен животных на сравнительно небольшом участке дна?

Или вот ещё такой необъяснимый случай... В 1849 году английский парусник «Минерва» покинул один из портов Бермудских островов и направился с грузом в Африку и на Дальний Восток. Долгое время о судне не было никаких известий, и владельцы «Минервы» решили, что экипаж и судно погибли. Но вот несколько лет спустя в одно прекрасное утро жители порта, из которого «Минерва» уходила в плавание, увидели, что «Минерва» вернулась. Посланные на шлюпах моряки не обнаружили на корабле ни одной души. Заглянули в каюту капитана, и нашли там его дневник. Последняя запись была сделана 14 месяцев тому назад. А «Минерва» сама вернулась в родной порт благодаря случайным ветрам и течениям, преодолев при этом без людей расстояние в несколько тысяч миль. Загадка исчезновения экипажа не разгадана до сих пор.

В истории освоения моря нередко встречаются и просто забавные казусы. Так, вторым человеком, совершившим после Магеллана кругосветное плавание, оказался ... английский пират Фрэнсис Дрейк, который с небольшой эскадрой прошёл Магелланов пролив и ограбил испанские города по побережью Чили и Перу, где испанцами были приготовлены большие запасы золота и серебра для отправки в Европу. Затем Дрейк пересёк Тихий океан, побывал на Молуккских островах и, обогнув мыс Доброй Надежды, вернулся в 1580 году с огромной добычей в Англию. Тщётно испанский посол в Лондоне требовал от английской королевы Елизаветы возмещений за учинённый Дрейком грабёж. Королева лично посетила прибывший в Плимут корабль, возвела Дрейка в рыцари и назначила его своим адмиралом. Одним из самых крупных бриллиантов, подаренных ей пиратом из числа награбленных им сокровищ, Елизавета украсила свою корону.

Во времена парусного флота одним из простейших и относительно дешёвых способов наблюдений над течениями являлась так называемая бутылочная почта. Первоначально, до изобретения радио, закупоренные бутылки с записками внутри употреблялись и для передачи сведений о кораблекрушениях. Пути, пройденные некоторыми из этих бутылок – ещё одна тайна моря...

В своё время популярность «морских бутылок» была очень велика и ими заинтересовалась даже английская королева Елизавета, учредившая в 1560 году при своём дворе должность «королевского откупорщика океанских бутылок». Первым «откупорщиком бутылок» был назначен некий лорд Томас Тонфилд. За год службы ему доставили 52 закупоренные бутылки с записками. Согласно королевскому указу, любого, кто осмелится разбить найденную в море или на берегу запечатанную бутылку, ожидала казнь через повешение. Должность «откупорщика бутылок» при королевском дворе сохранялась в Англии до царствования Георга 111, то есть до начала XIX века.

Можно рассказать много историй о том, как записки в бутылках помогли выяснить причины гибели кораблей, но самое интересное, что подобный способ передачи информации срабатывал порой с удивительной точностью, причём, через столетия, а иногда бутылочная почта приносила с собой очень ценные открытия! Именно записка в бутылке сообщила о судьбе японского пиратского брига, вышедшего на разбойничий промысел из маленькой гавани на острове Кюсю. Бриг направился на юг к берегам Китая и Филиппин, где осенью часто наблюдаются жестокие штормы. Один из них потопил судно, и «рыцари удачи» вынуждены были вплавь добираться до ближайшего необитаемого островка. Без пищи и воды они не могли долго продержаться на острове и вскоре стали умирать один за другим. Последний оставшийся в живых японец Хунасуке Мацуяма написал записку о том, что произошло с бригам, вложил её в бутылку, засмолил горлышко и бросил в море. Океан с невероятной точностью доставил депешу на берег вблизи деревни Хиратемура, где родился Хунасуке, спустя ... 150 лет со дня её отправки!

Прослышав о «надёжности» бутылочной почты, многие предприимчивые люди стали употреблять этот способ для самых различных целей. Так, американский священник из города Сиэтл выбросил в море около 20 тысяч бутылок с проповедями. Пастор получил отклики со всех концов Тихого океана: из Новой Гвинеи, Мексики, Аляски и Гавайских островов.

Одна изобретательная норвежская девушка, поместив в бутылку с соответствующей запиской свою фотографию, нашла себе жениха из команды шхуны, выловившей её.

Ещё более необыкновенна история Александра Росса. В 1952 году, находясь на судне, севшем на мель к северу от Дарвина в Австралии, он бросил в море бутылку с запиской – сигналом бедствия. Спустя три года, в 1955 году, когда он уже вернулся в своё ранчо в Уаверли, в Новой Зеландии, прогуливаясь по пляжу, Александр наткнулся на бутылку с запиской, написанной им самим в 1952 году.

Но самая удивительная находка была обнаружена в Гибралтаре в 1856 году. Моряки четырёхмачтового брига «Грифтен» нашли на пляже обросший ракушками ящик. Когда его вскрыли, там оказался кокосовый орех, залитый смолой. В орехе была записка ... самого Христофора Колумба. Он сообщал

королеве Испании о том, что каравелла «Санта-Мария» погибла, а моряки каравеллы «Нинья» отказались ему повиноваться. Ящик с этим сообщением путешествовал по океану 358 лет!

На то оно и море, что дарит порой совершенно неправдоподобные вещи и явления. Гидробиологи, изучавшие морские глубины, однажды задумались над тем, отчего для их опытов попадаются только самки «морского чёрта», а самцы отсутствуют? Этот вопрос долгое время ставил их в тупик, пока они не обнаружили, что вместе с самкой всякий раз вылавливают и самца. Оказывается, самец всегда прикреплен к самке, но у взрослых экземпляров этого уже не видно.

В начале своего жизненного цикла самец находит подругу и сразу же прикрепляется к ней, вонзив зубы в её бок. Так он и плавает вместе с ней всю жизнь, питаясь непосредственно соками своей подруги. Многие из жизненных органов самца «морского чёрта» постепенно прекращают функционировать, и лишь половые железы продолжают созреть. По мере развития самки самец постепенно вырастает в её тело и, в конце концов, становится малозаметным бугорком на её боку. Но почему природа выбрала столь зверский способ размножения, и каково терпеть всё это самке, умудряющейся при этом ещё и расти!

Удивляясь и отдавая должное таинственной морской стихии, можно упомянуть и известных всем кашалотов, ещё совсем недавно в обилии обитающих в северо-западной части Тихого океана. Когда-то, в далёком прошлом, кашалота называли спермацетовым китом за то, что его сперма, якобы, находится в ... голове. Стоит, конечно, только посочувствовать невежеству этих наивных людей, давших кашалоту такое название, но ведь и мы, современники, не сумели раскрыть секрет гигантского черепа кашалота и того огромного количества маслянистого, воскообразного вещества, которое наполняет сложные лабиринты каналов, клапанов и тупиков его черепной коробки. Природа сочла нужным наделить кашалота таким грузом живой плоти, достигающей весом десяти-пятнадцати тонн, а для чего – до сих пор непонятно. Очевидно одно: значение спермацета в жизни животного в подобном количестве должно быть чрезвычайно велико!

Сказать, что в море существует постоянная опасность и напряжение всех сил – нельзя. Оно, помимо этого самого напряжения и опасностей, дарит массу самых чудесных переживаний, которых вы никогда не увидите с берега, как бы тщательно не вглядывались в морскую поверхность.

Даже сорвавшийся, неведь откуда, ветер может поразить ваше восприятие своим неожиданным напором и запахом, что он приносит из неведомых земель. Эти неизведанные земли сразу представляются вам недостижимыми, но необыкновенно притягивающими к себе, и, конечно, вы начнёте воображать себе какой-нибудь чудесный берег, порождающий магический ветер. А ветер подхватывает вас на своих невидимых крыльях – и уносит в открытое море, что живёт в добром содружестве с ветром, принимает вас в свои радушные объятия, начиная свою завораживающую

игру, и вы не в силах от неё отказаться. Вам приходится либо бороться с ветром и волной, либо отдаться на их волю, и разве это не прекрасно?! Чувствовать себя слитным с этой первозданной стихией, на которую и с берега порой смотреть становится страшно, великое счастье, и вы летите на белых гребнях, ощущая только радость от единения и с морем, и с ветром, и с этим опьяняющим своей свободой воздухом, что, конечно, не встретить на земле...

А бывало, небо распахнётся над морем, и из этого растворённого пространства будто выступят тебе навстречу очертания неизвестного берега... Сначала покажутся обрывистые светлые скалы, над ними – тучи морских птиц, а у подножия скал – белый песок, весь усыпанный разноцветными камнями... Сквозь золотистую туманную дымку вдруг выкатывается огромное солнце, оно пронизывает радостным светом роящийся над водой воздух, и от этой ослепительной картины остаётся только замереть. Даже не сразу сообразишь – хочется ли тебе ступить на этот неведомый берег, где, наверное, ещё не бывало ни одного человека, и ты на нём можешь оказаться первым. От этой мысли непременно вообразишь, что ты уже - на неведомом берегу... Идёшь вдоль покойно плещущегося моря, и отчего-то не покидает тебя желание изучать всякий, открывающийся кусочек таинственной земли, всматриваясь в каждый камешек, что тоже представляется солнечным, светлым, как и весь воздух, и душу твою переполняет только радость от слияния с возникшим перед тобой диким берегом, именно его ты, кажется, и ждал...

И действительно, работая потом долгие годы в море, на Дальнем Востоке, подобное нередко случалось со мной, от чего всегда сладостно замирало сердце, так что даже не верилось, что всё это происходит на самом деле. В такие минуты и думать забудешь про море, будто не оно привело тебя к этому удивительному берегу, и ты только всматриваешься в прибрежные причудливые камни, выбеленный плавник, увязший в плотном песке, радужные солнечные блики, вспыхивающие в прибойной полосе, у самой воды... Всё кажется: кто-то неведомый, как и этот берег, вот-вот появится перед тобой, произнесёт нечто заповедное, и оно непременно окрылит, охватив сердце необъятной радостью. И ты вдруг сразу поймёшь, что и камни, и птицы, и солнечное море равнодушны ко всему человеческому, если не быть равнодушным и к ним. И тогда море обнимет тебя и обдаст тёплым дыханием из своего безбрежного пространства, и ты почувствуешь себя весёлым и чистым.

Море никогда не было мне непонятным, даже – когда безумствовало в прибрежных скалах, будто норовя их разрушить. Всегда поначалу представлялось, что сила его скоро иссякнет, оно постепенно выдохнется и осядет, отступит, наконец, от своего бессмысленного натиска на неустрашимый берег, но сила моря никогда не ослабевала. Наоборот, море, кажется, становилось ещё более свирепым, совершенно безудержным, но такое его поведение не вызывало раздражения и не воспринималось

страшным. Море, как раз, было понятным, оно вызывало восхищение, а белоснежные пенные гривы на его волнах напоминали гривы диких лошадей, что рвались и ржали в восторге от происходящего. Это был целый ревущий табун великолепных животных, и я был восхищён и повергнут этой неуправляемой природной энергией!

Время, проведённое в море, было самое лучшее время для моей души, ни за чем иным я в ту пору не гнался. И я очень хорошо помню, как необыкновенно чётко и волнительно возникало в душе появление, а затем – осознание цели: цель производила в ней удивительную перемену, с ней не могло сравниться ничто другое. Как только цель возникала в сознании – начиналось упорное, не отступающее ни перед чем устремление к ней. И это было непередаваемо восхитительная радость, связанная именно с морем!

Никогда меня в море не переполняло ощущение пустоты от его беспредельности, и я с трепетом проникался своей духовной близостью с морем, с бездонностью его смысла. Душе моей не были чужды бескрайние морские просторы, отвечающие её внутренней природе. Всё во мне будто расцветало, когда я обращал к ним уже свои глубинные устремления, с упоением обретая среди морской необъятности Бога.

Море просто создано для того, чтобы по нему можно было совершать путешествия, а погружаясь мысленно в его глубины – воображать загадочных подводных обитателей. В его водах резвятся чудесные дельфины, и ими можно любоваться. Когда море выбрасывает на берег разноцветные медузы – оно словно делится своими богатствами, и ими невозможно не восхищаться, мысленно присваивая их. Морские птицы, разрезая пространство над водной поверхностью, своими стремительными росчерками завораживают взгляд, и хочется устремиться вслед за ними, чтобы заглянуть за горизонт. А волны, что разбиваются о прибрежные камни? Наблюдая за ними – сердце так же волнуется, то поднимаясь, то опускаясь в груди: так море дышит, а ты дышишь вместе с ним, наслаждаясь свежестью лёгкого бриза, впитывая каждую его каплю...

Солнце легко и просто растворяется в море, наполняя его волшебной игрой бликов, что не кружат голову, не веселят, а проникают в самое сердце еле угадываемой музыкой. Она тихонько убажает, укачивает, и хочется слиться с морской синевою, стать ей на неопределённое время, и тоже сиять, ласково переливаясь всеми оттенками глубокого и синего цвета. Цвет моря, его синь, несомненно, дар Господа, и его следует воспринимать только, как благо, необозримо чудесное состояние...

Синий цвет в природе смягчает яркость окружающего солнечного света, а в морской дали – он копит густоту проникновения во что-то таинственное и, верится, доступное. Купаться в этой синеве лучше всего взглядом, потому что она безмерна, и хочется охватить её хотя бы отчасти. Если небу необыкновенно близка только голубизна, то морю – синева. Море заслуженно перетянуло её на себя...

Морская синь – всеобъемлющая радость. Это состояние души, которую не пугают никакие ограничения. Нет ничего лучше, чем парить в ней.

В синеве, быть может, более, чем в других цветах, уютнее всего жить и мечтать, она, кажется, не может надоесть. Божественная мозаика из бирюзы, лазури и проникновенно густой сини мягко подпирают небесный свод, и так же ненавязчиво небо отражается в морской глубине. Именно синий цвет, ни какой другой, наполняет радостью жизненное пространство, и оттого рядом с морем всегда свободно и легко.

Сколько бы не утопал взглядом в морской синеве, она не перестаёт оставаться всегда новой... Как будто ты ещё совсем недавно вглядывался в неё, но она до сих пор не утомляет. Всё так же манит, обещая вот-вот что-то открыть, очень важное для тебя, но при этом по-прежнему изливает завораживающую бесконечность и покой. Огромное лазоревое крыло какой-то неведомой морской птицы нежно прикасается ко всему живому, в том числе – к тебе, и окрыляет...

Как тут не воспылать страстью к путешествиям, что за свойства своей потаённой души скрывает эта морская даль? Чувствуешь сердцем – неприступна таинственная морская глубина, а всё равно не перестаёшь тянуться к её внутреннему чудесному цвету и свету. Чудится, что даже отношения мужчины с женщиной более всего проникнуты именно синим цветом. Его глубина предполагает и нежность луговых цветов, и трепетную синь женского взгляда... Что-то неуловимое прокрадывается в душу человека через синий цвет, цвет непрекращающейся новизны и восторженной надежды, в нём хочется раствориться и остаться там навсегда.

В море меня, действительно, не покидало ощущение постоянной новизны, когда чуть ли ни каждый день случается нечто необычное, ранее невидимое. Мысль о дальних странствиях давно оставила меня, я уже осуществил задуманное, и путешествия стали моим образом жизни. Море утвердилось в моей душе, как само собой разумеющееся мероприятие, я не мыслил себя без него, и, казалось бы, повидал за этот год порядочно, но, тем не менее, меня всегда ожидало такое, о чём я даже не подозревал.

Хотелось написать обо всём этом с той силой, какую несло с собой и море, и люди, работающие в нём рядом со мной, и удивительная дальневосточная природа. Присутствие моря и путешествий превратило все мои дни в сплошной поток радости, так что постепенно я начинал воспринимать весь поток впечатлений, как обыкновенную действительность. И всё же, переживание новизны не проходило, она не покидала меня, и я окончательно убеждался в том, что жизнь моя и должна была сложиться именно так, а не иначе. Я достиг в себе полноту переживаний, что не могла приестся, и, ощущая в своей душе слитность с неповторимой жизнью, просто забывал обо всём. Для меня существовало только море, мои друзья и работа в нём.

В море мне некому было рассказать о том, что я готовлю себя к большому делу жизни, к занятию литературным трудом, которому, я это чувствовал, мне придётся посвятить все свои силы. Осознание этого уже давно совершенно ясно сложилось в моей душе, и я был уверен, что работа в море явится тем неременным, очень важным делом, что только будет сопутствовать в будущем моему литературному творчеству. Я был просто убеждён в своих душевных устремлениях, хотя не написал ещё ни единого рассказа. Но уже почему-то верил, что у меня есть перо, и, несмотря ни на что, я освою когда-нибудь ремесло писателя. А пока необходимо честно трудиться в выбранном мною морском деле, проникая в тайны этого чудесного мира.

Именно в море ко мне пришло осознание, что можно написать о чём угодно, полностью отражая суть изображаемого предмета, если, пристально вглядываясь в него, забыть обо всём, а думать только о нём: не важно – колышущиеся ли это на ветру листочки липы, тонкие блики солнца на них или живая тень от самого дерева... Сидишь напротив такого дерева, спокойно наблюдаешь и за ветерком, и за игрой красок, и не спеша пытаешься понять – в чём суть происходящих рядом с тобой жизненных явлений, что просто, но, тем не менее, ты не в силах оторвать от них взгляд... Вроде бы, ничего особенного не происходит, но все эти природные проявления не минуют твоего внимания, и тебе отчего-то хочется проникнуть в секрет их неотразимого присутствия повсюду, и ты начинаешь думать только о них. Если это происходит постоянно, то суть любой вещи или явления обязательно рано или поздно откроются тебе. Каждая новая мысль в общении с морем производила во мне глубокое потрясение.

А ещё меня в море поразило одно открытие... До того, как отправиться в своё морское путешествие, я уверенно полагал, что в каждом человеке заложены зачатки доброй воли, ему лишь остаётся вызволить их из внутренних глубин своего существа на свет божий. Затем, уже немало повидав, я убедился, что человек не так уж просто меняется к лучшему, большая часть людей и вовсе не помышляет об этом, вызывая во мне, скорее, недоверие, чем уверенность в устремлении к чему-либо светлому. Но оказавшись в лоне моря, я вдруг и совершил для себя то самое открытие, что поразило меня: всех, кто связал себя с морской стихией, отличало нечто особенное, это была какая-то печать, которую не сразу и определишь.

И я опять подумал обо всех этих прекрасных людях, что скоро, наверное, уйдут из моей жизни, и никогда уж больше их в ней не будет, и меня вдруг поразила эта простая мысль. Вообще, вся эта прекрасная жизнь, связанная с моим первым выходом в море, не вернётся, но случится ещё много другой, не менее интересной, и я стал думать о том, что каждый человек, встретившийся в моей морской жизни, уносит с собой частицу меня... Так мне казалось.

Правда, это касалось лишь тех людей, которым я дарил свою любовь, и даже восхищался многими из них. Впрочем, любовь, что я отдавал

окружающему меня миру, только росла от этого во мне, и так продолжалось из года в год, пока я был связан своей работой с морем. Это было удивительное время, и лишь много позже я осознал, что оно – лучшее в моей жизни. /Пауза/.

...Мы шли домой и пенистые волны, будто с укоризной, нехотя, расступались перед неумолимо взрезающим их форштевнем, вызывая лёгкое головокружение, если смотреть на них постоянно. Но головокружение это не мутило, оно дарило чувство полёта, и упруго вспенивающиеся под бортом зелёно-бурые валы, незаметно приобретали оттенок нежно-голубой лазури. За кормой волны постепенно таяли в туманной дымке необъятного водного простора, и там, далеко, уже почти синие у горизонта, обозначали край моря и начало неба. Эта покатистая и всеобъемлющая, на сколько только видит глаз, линия делила всю окружающую тебя жизнь на две перевёрнутые чаши – белую и голубую, которые стремятся друг к другу - и в то же время отталкиваются от надоедающей временами близости. И близость вдруг действительно пропадала, и охвативший тебя мир становился необъятен, и ты исчезал в нём, паря в его бескрайних просторах, где над синим морем и солнце синее, становясь ещё более загадочным и прекрасным.

А там, впереди, кажется, возле самого носа судна, из моря словно вырастали крылья. Крылья распахивались и, приподнимаясь, ловили золото солнечных лучей, а опускаясь – окрашивались лазурной тенью. Гладкие перья этой неведомой птицы переливались самыми причудливыми оттенками, и птица, уверенно взмывая и неся на себе линию горизонта, являла собой подлинное чудо, выразить которое было невозможно. Птица уносилась по такой же неведомой, как и она, дальней дороге, за море, и оставалось только поддаться неудержимому влечению следовать за ней и, ни о чём не думая, ловить и лелеять это неосознанное устремление.

В море печаль постепенно сходит у человека с лица, он успокаивается, светлеет душой, и возвращается домой усталый, но счастливый. Душа его исцелена, и ему хочется посадить ещё не посаженное дерево, прочесть откладываемые книги, стать, наконец, внимательнее к близким людям. Море побудило его душу к радостному труду, но вспоминает человек о чистоте излечивающей его стихии, опять же, лишь обессилев, вновь идя к морю за помощью. И море его принимает.

Чуть покачиваясь на трапе, моряки сходят на берег очищенные ветром, солью, нелёгким трудом, ошпаренные непогодой, и глаза их приобретают прежний цвет – зелёный, карий, серый, хотя в них ещё играет отблеск недавней голубизны. Море отражается в глазах моряков, когда они находятся в его крепких объятиях, и неохотно выпускает из них, в надежде ещё раз очаровать, продлив минуты расставания. Море любит нас.

Встречающие судно молча стояли на причале... Умытый морем, ухоженный экипажем и будто свободно вздохнувший от завершения непосильной работы «Стройный», медленно раздвигая носом голубоватую, недвижно нависшую над водой дымку, входил в родной ковш. Мимо проплывали, один за другим, знакомые причалы. От их бетонных склизких стенок чуть терпко отдавало холодной тиной.

Вдоль причалов неподвижно замерли только что прибывшие с моря сейнеры и траулеры. К прохладному запаху водорослей и рыбной гнили добавился резко ударяющий в нос налёт солёной ржавчины, которой в долгих рейсах обрастают бока понурых судов, вынужденных, на время, утихомирить свой боевитый нрав.

Было воскресенье, и вокруг не раздавалось надрывно-скрипучего гудения «гансов», лязгающего грохота беспрестанно снующих между причалами автопогрузчиков, резких окликов, властно требующих поостеречься. Нам надлежало швартоваться в самом дальнем углу порта, там, где под кургузыми брезентовыми парусами громоздились бесчисленные груды сетей, ящиков и бухт с тросами, а сопки, покрытые чахлой травой, лениво напозлали на замершие причалы. Слева тянулся брекватер, по правому борту проплывали наполовину зачехлённые сторожевики, впереди старый японский ковш уводил в неминуемый тупик. Порт как бы ненароком задремал в неожиданной для него передышке, безучастно свернувшись своим громоздким стальным кольцом у самого моря.

Какие-то незнакомые женщины, одетые в демисезонные пальто и плащи, робко приткнувшиеся к ним дети с цветами, даже дряхленькая старушка, стояли в уже не раз переболевшем ожидании своих родных какими-то настороженными, и потому выглядели на фоне разноцветных гор из сетей и грузов не торжественно, а как-то отрешённо... Каждая из женщин старалась, не теряя при этом определённой доли сдержанности, быстрее рассмотреть своего мужа, брата или отца, и лица их становились неестественно напряжёнными, чуть бледными. Все они ещё продолжали по инерции бояться чего-то неопределённого, как будто оно могло помешать долгожданной встрече, и, только завидев счастливую физиономию глуповато переминающегося у фальшборта отца семейства, начинали так же глуповато улыбаться, часто махать руками, суетливо выставляя напоказ ухоженных и чуточку растерянных отпрысков.

Моряки в этой ситуации вели себя не лучшим образом: словно стадо перепуганных овец, они бестолково сгрудились в узком проходе у борта, неуклюже тёрлись друг о друга перемазанными телогрейками и, по-дурацки улыбаясь, остолбенело глазели на приближающийся берег. Некоторые без всякой надобности начинали суетливо сновать по судовым помещениям, много и беспрестанно курили и, уже не выдерживая обременительного давления молчаливо кричащих переборок, вновь выскакивали наружу, чтобы с радостью в сердце взглянуть на родные, заботливо укрывающие собой маленький городок буроватые сопки. Всюду царило нервное оживление, и

только капитанский мостик излучал деловую сдержанность: пришвартоваться следовало безукоризненно.

Нельзя передать словами, как давят молчание и тишина причала, когда возвращаешься с моря. Как хочется праздничного оживления, музыки, махания рук и женских счастливых улыбок! Я думал, что так оно и будет, и часто представлял себе эту сцену, словно от этого зависело что-то очень важное в моей жизни, без чего невозможно было обойтись. Но потом я понял смысл этой остановившейся тишины, и серый свет, и молчаливо застывшие весенние сопки, когда, кажется, жизнь замерла и только с твоим приходом в природе должно что-то произойти, перестроиться, чтобы с ещё большим желанием начать жить, - более достойно и интересно. То было до конца не осознанное в душе обновление, сбрасывание отвердевшей, почти бесчувственной отмершей кожи.

Удивительно обыденно выглядел наш приход, и на берег я сошёл, даже не подумав проверить, а действительно ли он укачивает? Всё дожидался чего-то необычного, не веря в простоту, доступность происходящего. Нет, я ещё слишком осторожно относился к земле, не нашёл с ней окончательной связи, а только позволил напомнить себе в этом рейсе о её дорогом существовании в соседстве с порождённым ей, и не менее родным миром воды.

Жизнь здесь пока лишь теплилась в сухих ветвях пирамидальных тополей, недвижно застывших вдоль дороги, в покатых склонах бесцветных сопки, с которых уже давно сошёл снег, в жирно поскрипывающем под сапогами плотном прибрежном песке. Всё было удивительно ровным и спокойным: вода, свет, воздух и тишина. Такая стояла погода: словно облака растворились, тучи куда-то улетели, небо растаяло, и солнце ещё не показывалось, а, тем не менее, вокруг светло.

Тело было налито силой, будто набрякшее в ожидании своего скорого применения, и вынужденная расслабленность не затрудняла движение. Не требовалось совершать каких-либо усилий для преодоления этого необычного сейчас земного притяжения: та пленительная дрема, которой был заботливо окутан маленький городок у моря, сладко охватила и меня самого, и моё возвращение на берег уже представлялось каким-то полузабытым сновидением, что опять вдруг привиделось и околдовало.

Возможно, в другую погоду я был бы более оживлён и отправился бы, наверное, с моряками в ресторан отмечать наш приход, как это заведено – сдержанно, с достоинством и, между тем, весело. В другую погоду были бы видны дальние дали, горы и белеющие пики, и они, конечно, вызвали бы у меня какие-нибудь необыкновенные переживания, но тогда могло и не быть вот такого неторопливого всматривания в себя, словно со стороны, когда ты решил остаться один, наедине с собой. Да и день для этого выдался на удивление проникновенный, мягкий, и я был доволен воцарившейся над землёй тишиной и согласием со всем, что меня окружает.

После долгой разлуки берег был, несомненно, хорош и, может быть, даже казался во стократ многообразней самой пронзительной морской синевы, но только море опять стояло передо мной. Будто кто-то, неведомый, но очень ощутимый, за руку привёл меня сюда, на этот дикий, немного захламлённый во время зимних штормов пляж, отгороженный от приземистых домиков покосившимся выцветшим забором. А затем, постепенно, высвободил из низко нависшей над морем туманной пелены нежное солнце, и залил тихий день удивительно неброским, но радостным для весны светом...

Во всём, что происходило рядом и вокруг, ощущалось присутствие некоей силы, даже – божества, которое уже давно решило устроить всё именно так, как оно это замыслило. И здесь, на этом заброшенном пляже, у моря, я вдруг осознал, как благотворно может повлиять на человека проникновение в этот божественный замысел, когда ты един и с морем, и с землёй, и с самим собой. Страх же прекратить движение к познанию – худшая из бед, которые могут обрушиться на человека, и я верил, что меня ждут чудесные открытия.

В своём первом морском путешествии вера в то, что я делаю в своей жизни всё правильно, ободряла и утешала меня в любых трудностях, и вот сейчас я почувствовал, как она, эта вера, заполняет моё сердце всеобъемлющим удовлетворением, даже благодарностью перед какой-то неведомой силой. И Господь будто снизошёл ко мне на этот пустынный пляж, сквозь мягкую туманную дымку, и я понял, что уже никогда не расстанусь с Ним в своём сердце, и мне захотелось творить, как молитву, добро, быть умным и счастливым, неустанно и непреклонно продвигаясь в достижении истины и блага. В охватившем вдруг умиротворении пришло, наконец, ощущение того, что всегда недоставало именно этого переживания единения со всем, что тебя окружает, и тихая радость счастливо переполнила мою душу, и сердце утешилось необыкновенным покоем...

Сердце сладко ухало за взглядом, что плавно погружался в морскую синеву, и возвращалось назад уже омытым и чистым. Море, словно усыпляя внимание своими сонными отблесками, легко и спокойно, почти шёпотом подсказывало, каким должен быть следующий шаг, в преддверии которого и замер я сейчас в покорном восхищении...

Ещё в детстве избрал я для полёта в собственных мечтах подводную глубину. В ней можно было без особых усилий предаваться удивительному забвению, до щенячьего восторга наслаждаясь исчезновением собственного веса. Готовый умереть от любви к этому миру, лишь изредка показывался я на поверхности, чтобы, набрав в лёгкие воздуха и отразив своим кремовым боком щедрое солнце, с замиранием сердца очутиться там, в глубине. Возвратившись же – вновь с затаенным духом уходить под воду, унося с собой и удовлетворение от проделываемого, и счастье переживания всех этих простых и замечательных истин, и удовольствие, которое не охлаждалось на

дне, а сжималось в сердце упругим счастливым клубком, побуждающим к ещё более радостному возвращению наверх.

Не скажу, что мне было очень весело, скорее, охваченный необъяснимой и необыкновенно увлекающей сосредоточенностью, старался я серьёзно проникнуть куда-то, что пока ещё было недоступно, но верилось, что там непередаваемо счастливо и счастье это не обязательно должно быть заслуженным. Радостно было просто переживать это безудержно-завораживающее скольжение в затаившейся подводной тиши, отдающееся гулкими ударами в висках и отрывистым ёканьем в груди, нестерпимое желание вырваться наверх, к солнцу, и одновременно – томительное намерение дотянуться рукой до недостижимого дна, ещё немножко, самую малость... Что ещё могло быть лучше?!

Мечта об этом вставала теперь передо мной из морских глубин и, овеянная воспоминаниями далёкого детства, проведённого у манящей к себе тихими заводьями зелёной реки, хотя пока и безотчётно, но уже уверенно окрыляла неугомонную душу новым, единственно верным для неё знанием. Мне чудилась опять дальняя дорога, и неизбежное расставание с морем, и томительное ожидание встречи с ним... И всё это, вместе взятое, с каждым мгновением представлялось всё более осуществимым, а решение, во что бы то ни стало, поступить в подводную школу – закономерным, раз и навсегда утвердившимся...

... Песок под рукой был тёплый и, вонзаясь мелкими крупинками в ладонь, слегка пронизывал её мягким прикосновением. Приятное ощущение от него постепенно проникало куда-то внутрь, и затихало там неизъяснимым ощущением слитности с происходящим вокруг. Повсюду виднелись перевёрнутые кверху днищем облупившиеся пузатые лодки. В старинных рыбацких посёлках в таких, отслуживших свой век судёнышках сажали обычно цветы и ставили их перед домом. Цветы, наверное, оживляли людям вид, когда они подолгу смотрели в морскую даль.

Прибой набегал на песчаный берег, и люди обращали свой взор к морю, как будто оно способно было ответить, что ждёт их за колышущимся горизонтом этой великой таинственной чаши. И они, конечно, не видели ничего, кроме трепетного зеркала чайкиного крыла, на миг озарившего в натруженном изломе полотняную синь океана, но не было преград их неизбывному желанию разглядеть вдали что-то такое, чего нет рядом, и чему следовало бы учиться, не уставая. И люди без устали глядели в море, и тот, кто не переставал надеяться на лучшее, находил в нём свои сбывшиеся надежды, как если бы неутомимый искатель жемчуга, не оставляющий попытки, наконец-то, отыскать перламутровую слезинку океана, всё же однажды добивался своего – достигал на глубине полураскрытой раковины, трепетно дотрагивался пальцами волшебной горошины и, зажав в кулаке невесомую драгоценность, радостно взмывал с ней к желанно светлеющей поверхности...

## «РОДНАЯ СТИХИЯ»

Вода... Бескрайний завораживающий мир... Человек, поражённый величием моря, всегда приписывал ему огромное значение, влияющее на всю землю, и это недалеко от истины. Без моря вообще не было бы земли, ибо после вымирания бесчисленного множества морских животных остатки их скопляются на дне или отлогих берегах, и образуют отмели, а порой выдвигаются на поверхность океана в виде островов и рифов. Таким образом, море постоянно трудится над созданием земной поверхности, постепенно образуя новые материки. Испарения воды, разносимые ветром по всему земному шару, поддерживают необходимую для жизни влагу, нужную растениям, а течения, существующие в океане, переносят воду от полюсов к экватору и наоборот, уравнивая тем самым земной климат.

Абсолютно нерастворимых веществ в природе не существует, а вода обладает особо высокой растворяющей способностью. Благодаря этому она всегда оказывается обогащённой веществами, с которыми входит в соединение, и потому в природных водах находятся самые разнообразные по свойствам химические элементы и соединения. Вода в природе – это сложнейшая химическая лаборатория, где входят во взаимодействие разнообразные элементы земной коры и атмосферы, поэтому в природе не было более благоприятной обстановки для возникновения первичных организмов, чем водная среда.

Жизненные устремления человека охватывают разные стихии, в числе которых вода занимает не последнее место. В ней нет зла, присущего человеку, а лишь негибимость и какое-то всеобъемлющее материнское желание всех обнять, прикоснуться к каждому своей силой и разбудить в сердце то, что в нём дремало. Вода утихомиривает пыл неразумной жизни, незаметно вдыхая в человека веру в его духовное начало.

Ещё в утробе матери наш организм уже вёл водное существование, и ты не можешь переживать никакого чувства отвращения или неудобства, попадая в жидкую среду. В какой-то степени ты возвращаешься к самому себе, оказываясь у моря, в тебе просыпается непринуждённость и свобода, и ты, обнаружив в своей жизни утерянное было море, стремишься опять погрузиться в его глубину, чтобы постигнуть себя и Вселенную. Разве можно отказаться от столь захватывающего приключения?

Едва ли не все жидкости в природе содержат в себе воду. Даже твёрдые тела бывают большей частью ей проникнуты и давно известно, что капля камень точит, но не своей монотонностью, а частотой. Вода и сама порой обращается в твёрдое тело в содружестве с известными явлениями, как буря и мороз.

Состоит вода из двух газов – водорода и кислорода. Первый, сгорая при помощи последнего и соединяясь с ним, образует воду. Как чудесно и просто устроена вода, которая сама себе господин, её и царь не уймёт. И хоть

от огня вода ключом бьёт, но ею же огонь и заливают. Все беды, говорят, пропадают, когда в воду попадают.

Именно в необозримом водном пространстве раскрывается перед человеком простор в поступках, отсутствие какого-либо принуждения: ты попал сюда по собственной воле, призывающей теперь только к созидательному действию. Подчиняя себе свою волю, ты обретаешь в море гораздо более достойную долю, чем, если бы остался на суше. Ведь море не только прибавляет незабываемых впечатлений, но и множит нравственную мощь, ту силу, что приходит лишь благодаря миру воды.

Плотность воды, которая при нагревании уменьшается, а при охлаждении – расширяется, предполагает удивительную способность для человека к тому, чего он лишён на земле: к полёту. Вода – это та среда, где можно оптимально воплощать свободу любых перемещений, тело человека в ней обладает положительной плавучестью. Захочешь – поднимешься, вздумалось опуститься – без помех устремляешься ко дну, а то можно оставаться на месте, и всего-то для этого требуется лишь чуть пошевелить ладонями, изредка плавно подрабатывая под собой ластами, и ты паришь...

А вода, запоминающая и несущая в себе любую информацию, по-матерински заботливо и мудро обнимает тебя, наблюдает за тобой, считывает твои мысли и желания, но при этом не меняет свою структуру, хотя способна приобретать новые свойства. Её исконное материнское начало располагает к покою и уюту, кажется, обещая исполнение любых желаний, когда можно легко и привольно лететь. Ненавязчиво окружая твоё тело, ровно убаюкивая его, вода в тоже время на всё очень чутко реагирует.

Вспоминается недавний случай с капитаном Кэри, по воле судьбы оказавшемуся без самого необходимого на маленьком шлюпе в море. Пресной воды у него, конечно, тоже не было, и он внушал себе и окружающему его пространству, что вода за бортом – пресная, и, в конце концов, она такой оказалась. По крайней мере, хотя бы немного изменила свои свойства, и это его спасло.

И почему, подумалось мне, к подобному опыту не прибег известный исследователь моря и человеческих возможностей Ален Бомбар, решившись однажды пересечь Атлантику на резиновом плоту без воды и провианта? Отважному французу понадобилось для этого около двух месяцев, сознание его было ослаблено, тогда, как капитан Кэри находился в море без всего считанные дни, и, наверное, именно это позволило ему быть более сконцентрированным на происходящем, добившись согласия с водной средой.

Воде необходима свобода, она должна существовать и двигаться раскованно, определяя сама своё нахождение и состояние, и лучшее подтверждение тому – море. Вода не должна от кого-либо зависеть, тогда она сохраняет свои чудесные свойства. Так же и человек... Имея в себе 70% воды, каждый из нас несёт в мир информацию и знание, свою программу

жизни. Он – источник энергии, хотя и маленький, но способный на многое. Что – в нас, какие знания, то и передаёт в мир наша вода, мы сами.

Кто знает, возможно, в воде была изначально заложена информация обо всех будущих живых существах, которые, появившись однажды на свет, развивались и достигали своего совершенства. Формула любой жизни заключена именно в воде.

Вода с определённой информацией, введённая в организм человека, несомненно, должна изменить его. Может быть, она обогатит его, а может – повергнет в бездну, если человек утратил с водой связь. Но что происходит, когда ты находишься в водной среде, несущей определённую информацию, достаточно длительное время?

Вероятно, ты тоже её усваиваешь, если чутко выстраиваешь отношения с морем и его обитателями. Вода – связующая среда Вселенной со всем живым на Земле: через неё передаётся знание. Почувствовав в детстве свою древнюю связь с водой, я посвятил ей в дальнейшем многие годы жизни, и, оказавшись на Сахалине, видимо, окончательно вернул древнюю память о самом себе.

Живительное свойство воды может ощутить всякий, кто приедет однажды на побережье любого моря, но лучше, если он обратит своё внимание к дальневосточным морям нашей страны – Японскому или Охотскому. Именно здесь, кажется, где, к тому же, находится самый Великий на земле Тихий Океан, заложена важная вселенская память, и именно на его берегах каждый человек способен созидать для себя неистребимое благо, навечно соединяющее его с божественным замыслом и бесконечной дорогой по его осуществлению. Вода дарит нам всем единственно достойное и здоровое существование, которое невозможно без моря. Ведь старение, это, вероятно, постепенное накопление с возрастом неразрешённых вопросов в считывании предоставленной каждому человеку генетической информации, а море постоянно напоминает о том, как замечательно всё время возвращаться к нему в поисках недостающих ответов.

Возможность, благодаря морю, окинуть взглядом прошлое и в полной мере насладиться настоящим – вызывает непередаваемые ощущения. Когда в твоей жизни появляется дельфин, кит или акула, это знак того, что ты можешь выработать такой же жизненный настрой, воспользоваться примером их поведения. При этом ты начинаешь осознавать, что повадки животных не сводятся к бессмысленному инстинкту, их действия не ограничены только им, и становятся для тебя всё более поучительными в плане собственного роста.

Порой в море встречаешь удивительные вещи, которые необыкновенно обостряют восприятие. Это своего рода послания с призывом тоже открыться жизни и стать сильнее. То, что дарит море – должно, по всей вероятности, означать – чего тебе следует ожидать в будущем... К морю, вообще, не стоит обращать своё внимание, если не готов быть вдумчивым и наблюдательным,

воспринимая всё правильно, в первую очередь, относительно своей судьбы. Море заряжает энергией только того, кто готов к совершению духовных усилий.

Когда ты угадал в себе древний зов моря, и оно откликнулось, неминуемо постигаешь: и море, и все его обитатели представляют часть твоей природы, и когда-то твоё сознание проходило их путь, развиваясь. Ты видел мир глазами осьминога и камбалы, морского котика и белухи, и, впитывая энергию и знания, всё более полнил свой дух. Наша потребность общения с морем, таким образом, пробуждает забытое, то, без чего каждый из нас не в силах стать в полной мере человеком, объединившись когда-нибудь с другими людьми для воплощения на Земле Божественного замысла: да приидет Царствие Его, как Оно есть на Небесах!

Каждый из нас способен смотреть на море – и не понимать его. Каждый может погружаться в глубину, но незначительно и ненадолго. Мы не в состоянии пить его воду, брать большую часть его богатств. Мы лишь поражаемся его размерам и скрытым загадкам, и вынуждены только восхищаться его грандиозностью и красотой.

Море пленяет нас своей силой, и самые отважные из людей посвящают ему свои жизни. Как бы нам хотелось, чтобы воды его разверзлись перед человеческим взглядом, как однажды расступилось Красное море перед израильтянами, и мы бы смогли, наконец, проникнуть в неведомый мир! Но разве возможно рассчитывать на подобные чудеса? Человек должен сам стать волшебником, чтобы со временем изучить море так же хорошо, как и сушу.

Человек никогда не довольствовался уже накопленными знаниями, ибо в самой природе его души заложено стремление к росту. Человеку всегда хотелось заглянуть за горизонт, обогнуть ещё один мыс, провожать взглядом заходящее за море солнце, терпеливо дожидаясь того момента, когда над водой блеснёт долгожданный зелёный луч, открыть новую звезду...

С древнейших времён человек пытался проникнуть в глубины моря. Благодаря морю учился он глядеть не только вверх, вниз и вокруг, но и в себя. Море поддерживало гармонию в природе, оно, как и Космос, во все времена оставалось великим утешением для человека, не перестающего мечтать. Оставаясь землёй обетованной для жаждущих открытий людей, море было зачинателем жизни, которая развилась на всей планете из его маленьких одноклеточных обитателей, и именно поэтому человек всегда стремился соприкоснуться с родной морской стихией.

А что, по сути, есть море? Дорога для мореходов? Предел суши? Грань материков? Огромное лоно, несущее в себе зарождение жизни? Бездна, пропасть, необъятность? Кладовая великих запасов? Необозримое место для заслуженного досуга? Непостижимое пространство? Удивительная и неповторимая взаимосвязь воды, воздуха и суши? Великий учитель? Тайна, которая никогда не может быть разгадана?

Разные люди относятся к морю по-разному, в том числе – и писатели. Вот, к примеру, высказывания о морской стихии Ивана Александровича Гончарова из книги «Фрегат «Паллада». Очерки путешествия», и Марины Ивановны Цветаевой, в одном из писем к Борису Леонидовичу Пастернаку...

Это – Гончаров: «Зачем дикое и грандиозное? Море, например. Оно наводит только грусть на человека, глядя на него, хочется плакать. Рёв и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха, они всё твердят свою, от начала мира, одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания». А вот – Марина Цветаева, отрывок из письма: «Борис, но одно: я не люблю моря. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, то есть моя вынужденная, заведомая неподвижность. Моя косность. Моя – хочу или нет – терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя – как Рильке/себя или божества – равно/. Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, а это и есть – оно, всё, что в нём ужасающего, - оно. Суть его. Огромный холодильник/Ночь/. Или огромный котёл/День/. И совершенно круглое. Чудовищное блюдце. Плоское, Борис. Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребёнка/корабли/. Его нельзя погладить/мокрое/. На него нельзя молиться/страшное/». И ещё, далее: «Главного не сказала: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк или рыбак знают, что это. Моя любовь была бы превышением прав».

Да... К встрече с морем, конечно, нужно быть готовым. Море надёжно предохраняет и очищает душу от засорения даже малейшими обидами и печалью, не говоря уже о каком-либо большом горе. Важно – как ты сам относишься к дикой неразгаданной стихии, что можешь противопоставить её окружающему натиску и мощи. Когда ты обнаруживаешь в себе достаточную силу и решимость – и море, к твоему удивлению, начинает приветствовать тебя...

Если поразмыслить трезво, без всяких эмоций, то решимость в отношении морской стихии учит очень многому. Это только дилетанты считают, что море хорошо исключительно своими положительными эмоциями, красотой, на самом деле сила его в том, что оно этой силой тебя со всего размаха шибает: устоишь – молодец, не удержался – отправляйся за борт. Простая арифметика, несложные умозаключения, а какая польза!

Например, если тебе страшно, не только в море, вообще, в жизни, не следует спасаться от страха бегством, а нужно принять его во всеоружии и попытаться сделать так, чтобы стало ещё страшнее, увеличивая напряжение от создавшейся ситуации до того самого момента, когда страх перевоплощается в отчаянное мужество. В верности этого незамысловатого секрета убеждался я неоднократно именно в море. Если же тебя посетила боль – не гони её, а живи ей, не желай для себя лучшей доли, и, главное, учись постигать при этом себя, то, что боль учит не смерти, а жизни, она – твой друг.

Только соприкоснувшись с морем, отдав ему полностью себя и не погибнув, понимаешь: в жизни надо научиться, спокойно, убирать дерьмо и выращивать деревья и цветы, при этом, соответственно, не жалуясь и попустому не восхищаясь, а надёжно исполняя своё дело.

Лишь в море почему-то открываешь простую истину – нужно научиться получать энергию от всего, что тебя окружает: от неба, гор, травы, ветра, огня, книг, картин великих художников, еды, людей, и, конечно, воды... А ещё благодаря этой обрётённой энергии следует постоянно расти, повышая свой энергетический уровень, найти в себе самое главное, то, что определяет именно твою жизнь, и несмотря ни на что развить.

Пройдя шторма, холод, великое физическое и душевное напряжение, ты не можешь пренебречь при этом тренировкой тела, осуществляя физические упражнения ежедневно, желательно – на природе, а совершая любую физическую работу, в море, даже не всегда приятную, необходимо проявлять обыкновенное терпение. Ты никогда не пересечёшь океан, если не наберёшься мужества потерять берег из виду, и только тогда море поможет тебе воспитать в себе решимость и отвагу.

Именно море учит тебя так воспринимать жизнь, чтобы ты не вспыхивал как огонь по любому поводу, но если это потребуется – сразу бы загорелся жизнью, не сгорая при этом.

Удаляясь от земли и от всего родного, вынужденный долгое время находиться бок о бок с разными людьми, ты начинаешь быть честным по отношению к себе и этим людям. Ты перестаёшь надсмехаться над человеческими слабостями и сначала невольно, а потом уже сознательно угадываешь в каждом из них самое лучшее, помогая этому лучшему открыться.

Для любого человека очень важно найти взаимосвязь со своей стихией, и если твой зодиакальный знак – вода, то нужно постоянно и очень чутко вслушиваться в окружающую тебя в море жизнь, всматриваться в неё и быть при этом неутомимым. Ведь до всего ты должен дойти сам, всё пропустить через себя и максимально усвоить, а где, как ни в море, можно быть верным своему сердцу, которое становится в нём безбрежным!

Правильно жить – это значит ставить себе самые высокие задачи и не знать ни в чём преград, в том числе – морских, чувствуя себя и послушным морю, и преодолевающим его мнимое безразличие, и благодарным ему. Не осуществлённые мечты – разрушают.

Море всего лишь плещется тихонько рядом, слегка волнуется, а на деле – его энергия уже переполняет твою душу, которая ничего не боится и только, знай, черпает знания, умудряясь не перебирать через край. Не перебирать через край и ничего не бояться – тоже заслуга, приобретаемая благодаря морю, когда ты знаешь, что с тобой ничего не случится: ты – непобедим, потому как не ограничен в своей утверждаемой духовными усилиями свободе, но не кичишься этим. Усилия души, когда ты находишься в море, залог её здоровья: они способствуют твоему бесконечному росту и

обретению силы, которую уже никогда нельзя потерять. Если тебя хотя бы однажды окружали волны Тихого океана, его энергия навсегда становится и твоей.

Птицы подают голос над морем – они поют для тебя, чтобы ты слушал, набирался сил и не увядал душой, которую бы можно было так же вольно, подобно морским птицам, изливать вокруг себя на суше, не боясь её когда-либо расплескать.

Рыбы или морские животные показывают на мгновение свои поблескивающие бока, даже выпрыгивают из воды, будто приветствуя тебя, и ты тотчас переключаешься на их завораживающую жизнь, обо всём забывая, и сам превращаешься в какой-то миг в морского зверя или рыбу. Но в этой своей отрешённой преданности морю - ты не становишься незащищённым, а наоборот непроизвольно впитываешь умение быстро перевоплощаться, заряжаясь красотой и энергией водной стихии.

Ты что-то планировал в жизни, осуществлял всё правильно и уже близок к положительному результату, и вдруг всё меняется и тебе надлежит вести себя иначе, многое переделывать и, может быть, даже не по разу. И вот, благодаря морю, ты обретаешь силу источника: постоянно перевоплощаясь и приспособляясь к новому, всё же продолжаешь струиться с ещё большей силой.

В море со мной никогда не случалось такого, чтобы всё в нём надоело, одним словом, опротивело. Когда мы отбивались в аврал от мгновенно намерзающего льда, и нас выматывали бесконечные зимние шторма Охотского моря, где волны высотой с пятиэтажный дом свободно гуляли через палубу, а как-то в проливе Фриза, на Курилах, судно попало в сильнейший ураган, терпя серьёзную аварию, мы почему-то не думали о возможности перевернуться, потеряв остойчивость, не боялись быть смытыми за борт, и не воображали с ужасом нескончаемость простирающейся под нами многокилометровой водной толщи. Иначе бы, нашему судну невозможно было достичь родного порта приписки.

Всегда, несмотря на какие-либо передряги, присущие морю, в глубине души не покидало ощущение, что всё это совершается не зря, кто-то за нами постоянно наблюдает и ждёт от людей достойных решений и действий. Именно своими каждодневными однообразными заботами, казалось бы, ничего особенного не разрешающими, а наоборот – только угнетающими, коими оделяло нас море, оно, как ни странно, придавало бодрости, завораживая своей тайной... Как же хотелось её разгадать!

Вот и сам остров Сахалин мне нравилось представлять кораблём или судном, ожидающим своего отхода. Казалось, оно терпеливо замерло перед длительным рейсом, что, верилось, будет, конечно, увлекательным и принесёт немало открытий... Так оно и получилось.

Сначала я решил ехать к морю только за тем, чтобы его увидеть. Не Чёрное, всем известное и наскучившее своими отдыхающими, а дальневосточное, с дикими неизведанными берегами и открывающимися океанскими просторами, - Японское, Охотское или даже Беринговое... Но потом мне захотелось в нём поработать, причём, не на берегу, а в самих морских чертогах, чтобы можно было ощутить благодаря морю свою нужность, и главное – найти то, что необходимо тебе самому, чего я пока не ведал.

Не знал я и того, что за вход в любую тайну надо платить. Ты хотел увидеть море и побывать в нём? Пожалуйста. Но тогда нужно что-то отдать: например, свою чёрную шевелюру, которую через несколько месяцев посеребрят седина... Чем интересней тайна, тем выше плата.

Как ни странно, но именно суровые северные моря удивительным образом лечат душу и успокаивают нервы. Ты перестаёшь воспринимать что-либо, кроме того, что тебя окружает: забывается и дом, и близкие, всё то, чем ты раньше занимался, и живёшь только дикими заснеженными берегами, незаметно проплывающими за бортом, суровым колючим морем и отрешённым вскрикиванием чаек. Близких вспоминаешь, только когда захочется вдруг поделиться с ними скупой северной красотой и тем восторгом, с которым воспринимаешь и дальние берега, и море, и воздух, где глаза становятся зорче, а душа более чуткой. Даже самые, казалось бы, бесчувственные, крутого нрава моряки начинают понимать в этих водах больше и глубже, отмечая нечто важное и в собственной жизни: это я нередко замечал по их лицам.

Грозное, как суд над самим собой, море усмиряет любые страсти, возбуждая к жизни совесть и волю. Именно они теперь определяют твои поступки, тебе открылось то, что пока неведомо другим, но это знание обязывает ещё пристальнее относиться к своим возможностям и людям, быть более чутким к жизни. Море смиряет только слабых, способных же идти дальше, намечающих себе самые высокие задачи, оно поощряет. Ты чувствуешь это не сразу, а лишь после того, как поделился с морем чем-то дорогим, но сам при этом стал лучше.

В море ты будто угадываешь какой-то давно забытый смысл, между тем, очень нужный в твоей новой жизни. Ты восстановил его в себе с помощью моря, возобновил с ним давно утерянную связь, и стал сильнее. Энергия моря теперь присутствует в тебе, она – неотъемлемая часть твоей души и тела, и ты чувствуешь, что ты и море нерасторжимы, а смысл жизни теперь не ускользает от тебя. Ты, наконец, понимаешь, что настоящая жизнь там, где ты находишься в согласии с собой и окружающим миром, и всё самое нужное, оказывается, всегда было с тобой.

Перед тобой – синее море, шумят набегающие на берег волны, кричат чайки, вроде бы, ничего не происходит, но ты уже знаешь, что море несёт в себе возможность постоянно вглядываться в него и учит принимать решения. Вернее, оно способствует этому, терпеливо донося своё дыхание до человека,

и никогда не прекращает этого кропотливого труда. Можно просидеть целый день, всматриваясь в море, и не увидеть ничего, а можно каждое мгновение открывать в нём для себя увлекательные события жизни. Море – постоянно обновляющееся полотно наших судеб, на котором мы воплощаем свои самые сокровенные мечты и поступки, но это никак не обременяет его вечное движение.

Мы порой и не подозреваем, как глубоко и прочно связаны с морем. Вот, например, к нам подкатывает душевная боль, и можно научиться воспринимать её как надвигающиеся на тебя морские волны, используя их энергию. Достаточно представить, что когда волны накрывают тебя с головой – ты заряжаешься их мощью и преодолеваешь благодаря нахлынувшей боли собственную слабость; если же волны спадают – ты отдыхаешь в их отсутствие и набираешься сил, готовя себя к новым важным событиям и переменам.

Море не убывает от того, что на него смотрят тысячи людей: оно, как раз, ждёт их внимания и надеется, что многие увидят в нём себя. От устремлённых к нему взглядов море только обновляется, и его маленькие недостатки, конечно, не могут затмить его большие достоинства. Но разве есть у моря недостатки?

Когда море отчаянно заходится в своей силе – штормит и бушует, человеку приходится очень нелегко, но зато какая это проверка на крепость! После шторма море долго ворочается, вроде бы, негодует на то, что ещё не успело натворить, а человек никак не может успокоиться, сидит в рубке за чашкой чая и всё думает о чём-то, не замечая, что его душу уже давно переполняет ещё неизведанная им до конца сила.

Когда же море впадает в штиль, человека постепенно охватывает печаль, хотя то же море незаметно выводит его из этого состояния, убаюкивая своими глубокими мыслями.

Я принимаю море таким, какое оно есть, и радуюсь всему, что оно с собой несёт. Теперь я уже точно знаю, что море не способно кого-либо повергнуть, если он был ему верен и всё в жизни делал правильно. Море только радуется тому, кто решился с ним на встречу и всегда его бережёт.

Море – живое, и всё в нём воспринимается по-особенному. Если это льдины – то представляется, что они всё время о чём-то думают, если небольшие островки, изредка показывающиеся во вздымающихся бурунах, то те непременно хитро ловчат, не в силах скрывать свою коварную суть, а туман, неслышно подкрадываясь, норовит обхватить всё судно в липучие объятия и задушить. Это от того, что не хватает земного многообразия, и тогда всё на вид в однообразном море сразу оживляется и становится одушевлённым. Даже судно. На перестое, в порту, ничего подобного в нём не ощущалось, но стоит только судну выйти в море – и оно будто стряхивает с себя сонные путы. Море бережно принимает его в свои могущественные объятия, оживляя.

В какой-то момент я понял, что если всё делаешь правильно, море обязательно тебя примет. Правда, долго будет испытывать на прочность, ужасая своей необъятной мощью, порой – чуть касаясь и будто не замечая, а иногда и вовсе скрывая характер, так что перестаёшь воспринимать его нестигаемую суть как нечто неизменное. Тебе начинает казаться, что море уже ничего нового не покажет, больше ничем не удивит, ну, если только в который раз разбушует... Но море не дремлет, оно затаилось, и только ждёт случая повергнуть тебя одной своей красотой.

Счастливы те, кто, не истратив себя понапрасну, продолжает искать свою жизнь, и как хорошо осуществлять это, находясь в непосредственной близости с морем. Море вдыхает неутомимость, отсеивая ненужное, выковывает дисциплину и умение признавать свои ошибки. Оно помогает воспитывать в себе самостоятельность, постоянно напоминая, что нужно очень много трудиться, причём, так хорошо, чтобы никогда не возвращаться к тому, что ты уже когда-то делал, но по каким-то причинам не оставался до конца честным. Человеку надлежит учиться проникать в суть своей проблемы, несмотря ни на что решать её, и только в море он перестаёт себя жалеть, уже не перекладывая этого решения на чужие плечи. Если ты совершил в своей жизни хотя бы одну морскую экспедицию, то уже никогда не останешься прежним, непременно становясь лучше.

В море достаточно быстро усваиваешь немудрящую истину, что счастливым можно быть всегда, даже когда просто пристально вглядываешься в окружающую тебя морскую повседневность – колышущуюся водную поверхность, ослепляющую величественным покоем и тишиной, чаек в небе и их неутомимый клёкот, шорох накатывающей на берег волны, неприступные скалы, таинственно чернеющие на горизонте... Даже обыкновенный цветастый камешек, почему-то выделенный тобой из всех других в прибойной полосе, становится тебе необыкновенно дорог. Внимание ко всякой мелочи и постижение её – есть уже огромная радость, только её нужно заслужить, однажды придя к морю.

И ещё я понял, что достижение поставленной цели само по себе не приносит удовлетворения, если ты не поделился знаниями с другими людьми. Часто нас любят не потому, что мы – хорошие, а просто хороши те, кто нас любит: чаще всего именно они работают в море. Чем больше выпадает на вашу долю совместных испытаний, тем содержательнее выстраивается твоя собственная жизнь. После морских путешествий уже не чувствуешь себя одиноким, и радуешься тому, что имеешь, дорожа им. Это, пожалуй, один из самых полезных уроков, который можно извлечь из общения с людьми в море.

А море бывает всяким и никогда не повторяется: так уж оно устроено. И осознавать это очень приятно. Приятно иметь с морем дело, поскольку оно никогда не лжёт, чаще всего – остаётся беспристрастным, но никогда – равнодушным, предоставляя тебе возможность выбора, и в этом – его непреходящая ценность.

Когда человек находит себя – это непередаваемый душевный праздник, и со мной подобное произошло именно у моря. У моря ко мне впервые пришло желание писать, а ещё захотелось отправиться в очередное дальнее путешествие...

В море мне удивительно часто открывалось то, как можно всё просто и замечательно обустроить в жизни, и я уверен, что именно присутствие огромной воды и удалённость от земли породили это простое и замечательное знание. Вдохновение жизнью входило в меня в море каждое свежее утро, обдавая целебной жизненной силой, и открывались все шлюзы души, предоставляя свободу внутреннему миру. Я даже и не предполагал – сколько во мне заключено творческой энергии, и именно благодаря морю я, быть может, и сумел сформулировать в жизни самые главные слова и мысли...

Море... Кто хоть раз увидел его, никогда не забудет. Первое, что поражает при взгляде на морскую поверхность – её безбрежность...

Не переставая, накатывают из этой необъятности на берег неутомимые волны, плещутся о камни и с грозным урчанием отступают. Можно часами смотреть на прибойную полосу и не найти двух одинаковых волн. Вечно изменчивое и неповторимое море бесконечно в своей неопишуемой и таинственной силе!

Перед ним не опустишься на колени, как это иногда хочется сделать в лесу, ты даже не помышляешь об этом, и стоишь всегда строго и отрешённо, с восхищением всматриваясь в его бесконечную даль, будто зная, что там, за горизонтом, вся твоя жизнь, до которой можно дойти только достойно, в полный рост, и никак иначе... «Отправляясь в море, грузите полные трюмы терпения», - призывал такой же нестигаемый, как море, Фритьоф Нансен.

Море не прощает малейшего пренебрежения, лености. Оно ожидает от человека мужества, мастерства и уважения к себе. Любой шторм никогда не разразится неожиданно, а заранее возвестит о своём приближении. Если же человек не понимает его предупреждений, то грех обвинять в своём непонимании море, виной всему – твоё собственное самонадеянное невежество.

Нужно поголодать, чтобы оценить пищу, испытать холод, чтобы постичь благо тепла, ощутить оторванность от земли, чтобы полюбить её, и только тогда обретёшь способность по-настоящему ценить жизнь, обнаруживая в ней смысл. Море закаляет волю, а каждой душе необходимо безостановочно упражнять её, без чего мы никогда не разовьём свою силу, оставаясь навсегда никому не нужными и беспомощными. Ведь сердце настоящего моряка своей широтой и необъятностью не уступает морю!

К морю нужно проникнуться уважением, сколько бы ты в нём не проработал, и как бы хорошо оно к тебе не было расположено долгое время. К морю нельзя привыкать, это чревато ошибками, которые можно было бы

избежать, воспринимая водную стихию с искренним интересом и вниманием. К морю всегда следует относиться так, будто ты отправился в своё первое морское путешествие: и со страхом, и с нерастраченным восторгом, и с надеждой, что, вот, оно вдруг развернется, напугает, но не поглотит, а наполнит энергией.

Долгое время находясь в море в какой-то миг начинаешь вдруг по-новому видеть и небо над ним, и само море, а ведь совсем недавно, вроде бы, наблюдал просто воду, по которой плывёшь, плывёшь и уже не задумываешься – что тебя ожидает за горизонтом. Но именно так, незаметно, обретаешь в море недостающую мудрость, которую, оказывается, порождает бесконечное однообразие водного пространства, между тем, никогда не повторяющееся. Благодаря морю начинаешь верить, что мудрость – не тяжкая сума, а то знание, что способно обогатить жизнь, сделать её лучше.

В море и сам видишь себя лучшим, чем оцениваешь в обычной жизни. Среди вольной воды и воздуха, где думы о жизни, кажется, теряют свой вес и насущность, ты словно очищаешься от житейской шелухи, и в тебе поднимается широкое, тёплое чувство любви ко всему. Море вливает в твою душу недостающие мысли и мечты, которые бы никогда не появились на суше.

Чаще всего я воспринимал море ни как водное пространство, ограниченное на карте названием – Японское, Охотское или Беринговое, а как некую совокупность всех морей, единое и огромное существо, объяввшее всю землю. Оно простёрло свои воды вокруг материков и неутомимо гладит землю равномерным движением приливов и отливов. Море обдаёт всё, к чему прикасается, вечным дыханием жизни, и неустанно в своём мудром благословении. Поднимаясь к облакам невидимыми испарениями, море чудесным образом возвращается на землю в проливных дождях, которые, восторженно журча, наполняют собой озёра и реки, а море вновь обретает себя.

Когда я теперь бросаю взгляд на прошлые события, связавшие меня с морем, они представляются происходящими как-то замедленно, не разделённые между собой временем, будто слившиеся в единый благодатный поток, за которым кто-то наблюдает с неба, и именно благодаря небу этот временной поток оказывается нескончаем. Ничто тогда, как ни странно, не совершалось быстро, стремительно, словно подгоняемое каким-то нетерпением, необъяснимо связанным с морем, а переходило от одного события к другому удивительно размеренно, неспешно, как наплывающие на берег волны... Эту неспешность всегда несло в себе само море, и присутствие его было непередаваемо приятно.

Никогда человек под водой не станет передвигаться с быстротой акулы, никогда он не переживёт срок, отпущенный морским течениям и туманам, ему не удастся построить под водой уютного и прочного жилища,

без которого бы он не смог себя помыслить, но всегда человек будет верить в бесконечную энергию океана, способного быть в ладу со временем, собой и людьми... До всего есть дело человеку, который глядит на воду с глубоко скрытой и естественной любовью, пытаюсь проникнуть в её суть. Разве это не заманчивая перспектива, ни одно из самых достойных занятий, что он подыскивает для себя? Глубинная связь с морем не отпускает человека, то и дело тревожит его душу и неумолимо притягивает к себе.

Ощущение морского простора, пустынность дикого пляжа, затиснутого высокими каменными утёсами, мокрая разноцветная галька, еле слышно крокошущая под неспешными накатами волн, - всё это необыкновенно близко и радостно человеческой душе. Может быть, даже ближе и дороже наших нескончаемых российских дорог посреди васильков, ромашек и ржи, тихих тенистых аллей из ясеня и липы, завораживающих лёгких вечеров с непрекращающимся стрекотанием кузнечиков...

В отличие от земли, несущей в себе бесконечное разнообразие, мы ничего подобного, конечно, не увидим на поверхности океана: повсюду – безбрежный простор, и только волны изредка нарушают его. На первый взгляд может даже показаться, что это необозримое водное пространство совершенно необитаемо, пустынно... Смотришь - и не в силах постичь: что так сильно притягивает тебя в этой синеющей нескончаемости?

Поначалу ничего не видишь: пред тобой расстилается безбрежный океан воды, стирающийся у неуловимой грани горизонта. Горизонт как будто слеп к тебе, несмотря на твоё желание проникнуть за его край, в самую суть и моря, и неба, и их непрекращающееся мудрое сочетание. Что интересно: ты никогда не устаёшь этого делать, - смотреть вдаль моря, и тебе это не надоедает; ты можешь только на время отвлечься, а потом вновь вернуться к этому ничему не обязывающему занятию. Но что-то, очень важное в тебе, обязывает к такому сосредоточенному времяпрепровождению, и между тем ты понимаешь, что время при этом не уходит бесследно.

Время, вообще, как будто теряется у моря, о нём забываешь, как о чём-то несущественном, и, тем не менее, именно у моря ты начинаешь по-настоящему воспринимать отпущенную тебе жизнь, угадывая в ней самое главное. Ты словно вспоминаешь своё происхождение, благодаря морской чистоте ни в чём не путаешься, всё для тебя становится простым и понятным. Море вдохнуло в твои члены забытые ими силы и настроило на преодоление любых препятствий. Становится так хорошо и радостно, что веришь: всё задуманное – осуществимо.

А там, в невообразимой морской глубине, кипит такая удивительная жизнь, какой порой не ведает земля, и именно человеку надлежит проникнуть в неведомые недра океана, чтобы жизнь его стала значительнее, лучше. Так, однажды, почувствовал я про себя, и про свою связь с водной стихией, и уже не отступал от этого глубоко затаенного знания, всё более раскрывая себя благодаря энергии моря, вдумчивому общению с ним.

В конце концов, море, благодаря отважным мореплавателям, перестало разделять народы между собою, а напротив, соединило их. Во времена морских путешествий люди подмечали разные интересные явления и изучали жизнь морских обитателей, они стали обмениваться знаниями и поняли, как могут быть сильны. Лишения и опасности только выковали людям характер, и отвагу со смелостью они черпали именно в общении с морем.

Иногда океан пробовал человека на крепость – топил суда, разбивал их о подводные камни, но люди, уже проникнутые духом странствий, не хотели признавать своё бессилие, побеждая ярость бушующих волн и свирепствующий ветер. С каждым новым путешествием они становились умнее, познавая величие ветров и течений, и не боялись единоборства с водной стихией, выходя из него часто победителями. Постепенно люди научились составлять морские карты, отмечая на них более удобные пути, для указания опасных скал и мелей ими сооружались маяки, и, отправляясь в море, они чувствовали себя увереннее.

Так, незаметно, море вдохнуло в людей ту самую энергию, которой не существует даже на земле, ещё у многих первобытных народов в легендах о сотворении мира называемой «дочерью океана». И тот, кто хоть однажды прошёл морскую стихию, навсегда по-настоящему проникся ей и уже не в силах был без неё обойтись, в самые ответственные минуты жизни произносил: «Клянусь морем!» Недаром в народе издавна повелось присловье: кто в море не бывал, тот горя не видал, а значит – и жизни!

А море, между тем, точно так же, как и всегда, бьётся о берег, наполняя всё вокруг своим глубинным запахом, зачаровывает шипением набегающих волн, умиротворяет и окрыляет. И пропадают тогда города и люди, и даже высоко светящийся огонёк маяка уже не привлекает так твоего пристального, очарованного ожиданием тайны внимания... Смотришь прямо перед собой и видишь только море: грозное, с затаенной непостижимой мощью, и в то же время – родное.

В детстве мне всегда казалось, вернее, верилось, что в воде со мной ничего не случится. Я не боялся воды, и не думал о ней плохо, а всегда ждал с ней встречи. Вода околдовывала меня, как волшебная музыка.

Помнится, меня никто не учил плавать, и, будучи шестилетним мальчишкой, я увязался за старшими на речку, хотя до этого ни разу не приходилось даже пробовать проплыть самому, без посторонней помощи, исключая купание с резиновым кругом на море, в Анапе, когда мне было пять лет. Видя, как пацаны, на несколько лет старше меня, бесстрашно сигают с крутого бережка в воду, я тоже разбежался и прыгнул. Прыгнул – и пошёл ко дну, но в какой-то момент остановился, взмахнул руками и легко устремился к поверхности, где сияло солнце, слышался смех ребят, и вместе с этим смехом в меня вдруг мгновенно вошла непоколебимая уверенность, что я никогда не утону, а вода – моя родная стихия.

Почти каждое лето мы с семьёй отдыхали в деревне у бабушки, и я всё время пропадал на деревенском пруду. Вода в нём резко пахла рыхлыми

лопухами, кувшинками и прибрежным камышом. У самого берега она тихонько вздрагивала от изредка набегавшей мелкой волны, и кожа от прохладного ветерка с воды сразу становилась твёрдой и шершавой. На самом же деле, вода была очень тёплой, и когда мы с мальчишками со всего разбегу валились в неё, поднимая прозрачные фонтаны искрящихся брызг, она обволакивала тело густой блаженной истомой, и выходить на берег не хотелось.

У меня была непреодолимая тяга к воде, и эту любовь я выпивал в такие летние тёплые дни до самой последней капли. Заплывая всё дальше и дальше, я нырял в зелёную мутноватую глубину, каждый раз пытаюсь ухватить со дна горсть песку или слизкого ила. Когда мне этого не удавалось, я не спеша всплывал на поверхность, и чувствовал себя разочарованным. В случае же удачи, когда ил неожиданно обжигал руку скользким холодящим прикосновением, рвался что было сил из пронизывающей до костей темноты подводных источников к тёплому свету. После всего этого, обычно, было очень приятно лежать на спине, подставив лицо ласковому солнцу, слегка покачиваясь на мелких волнах, и ощущать под собой толщу неведомой глубины.

В особо жуткие минуты, когда я решался открывать под водой глаза, благодаря еле просеивающимся в глубину солнечным лучам можно было рассмотреть вьющиеся бурые водоросли и чёрные плоские раковинки на дне, а если совсем повезёт, то какую-нибудь тускло-жёлтую рыбку размером с детский кулачок. Рыбка под водой казалась совсем не такой, как если бы я поймал её на удочку: она была здесь настоящей и неуловимой. Тайной своей игры я ни с кем не делился.

Так же таинственно нашёптывая о чём-то, набегали на плотный береговой песок в моём далёком и невозвратимом детстве ласковые волны Щучьего озера. Озеро волшебным зеркальцем залегло в глухой лесной тиши, поражая воображение своей нетронутой красотой и дичью, кажущееся необъятным. Какое бы впечатление произвели на меня тогда океанские просторы?!

Но озеро из детства вполне заменяло мне ещё неведомый океан... По берегам озера, в высокой сочной траве, водилось много змей: это были ужи. Мы знали, что они безобидны, различали их по ярко-жёлтым головкам, и не боялись бегать по траве босиком. Когда же под ногу неожиданно подворачивалось что-то скользкое, то сердце на миг холодила приятная истома, которая, впрочем, тотчас забывалась.

Детство, со сладким привкусом парного молока на губах, разогретой на солнце земляникой и только что испечённым бабушкой хлебом, запахом душистого зноя сеновала, в кровь ободранными коленками и неожиданной, даже чем-то приятной болью от укуса пчелы в ладошку, с брошенными по утрам в росистых лопухах плотными серебристо-фиолетовыми харюзками, несло с собой ощущение неограниченных возможностей... Верилось, что

они непременно когда-нибудь откроются перед тобой, и принесут много радостных переживаний.

Ничто не сдерживало тогда в этом красочном круговороте первых встреч и открытий, только чудесные неслыханности составляли твою жизнь, и сказка, таким образом, была рядом. Познавая окружающий мир, я рисовал его красками своего безоблачного детства, наполненного чистой музыкой весёлого смеха, улыбок, солнца, и эта раскованность никого не стесняла, потому что уверенность в обладании свободой ещё не была отягощена сонмом условностей и безверием в свои силы. Множество талантов, распирая тебя и не встречая барьеров, вырывалось в эту пору наружу, неся с собой свет.

Как чудесна была та естественная простота, что сопутствовала нашим бесконечным играм и всей жизни! Как легко воспринималось и усваивалось то, на что в будущем уходило вчетверо больше усилий, связанных уже с неестественным надрывом себя...

Одно удивительное увлечение сменяло ещё более удивительное другое, и ты верил, что всё осуществимо. Разве мог ты хотя бы допустить, что не достигнешь когда-нибудь самой важной человеческой правды, которая обязательно всех обнимет и спасёт?! И, конечно, ты мечтал о необыкновенных приключениях, дальних странах, но более всего притягивало к себе царство воды, к которому ты стремился даже во снах. Далёкое и невидимое море, оказывается, уже жило во мне, терпеливо ожидая, когда я его в себе угадаю, и, обнаруженное, наверное, готово было осветить своей мудростью весь предстоящий жизненный путь.

Все мы одинаковы своими общими корнями, но различны подходом к жизни, к самому себе, в конечном итоге – в уровне сознания, зависящего только от нашей работы над собой, и очень важно, если именно с детства ты склонен к постижению мира: это так естественно для начинающейся жизни.

Когда я чуть подрос, то проводил каникулы, в гостях у бабушки, уже каждое лето. Мне всегда нравилось находиться рядом с водой, нырять в тёмно-зелёную глубину деревенского пруда, и, раскрыв глаза, вглядываться в неизведанный мир, стараясь обнаружить там такое же неведомое мне существование того, о чём я даже не подозревал, но верил, что оно непременно есть. Нужно только не побояться заглянуть в это таинственное подводное царство, что почему-то не казалось чужим, и ничего странного в подобном желании я тоже не видел, а только хотелось всматриваться в то, что неизмеримо притягивало, возбуждало неподдельный интерес, и нисколько не пугало. Мне нравилось думать о чём-то неизведанном, особенно, если оно было связано с водой, и если выдавалась такая возможность, я оставался на берегу пруда или речки целый день...

В подводном царстве всё не так, как на том же берегу, вблизи пруда или озера, и тем более – в лесу. В нём чувствуешь себя невесомым, и потому можно летать, не ощущая своего тела. Маленькие рыбки и раковинки в воде становятся большими, вместо неба там – прозрачное зелёное стекло, за

которым облака превращаются в гигантских рыб, а вместо земли – разноцветные камешки и волнистый песок. Солнечные зайчики на нём такие же неуловимые, как и наверху, но прохладные, схожие на ошупь с колышущимися лиловыми водорослями. Ничто под водой не отбрасывает тени, всё призрачно, таинственно, и отчего-то очень близко, даже дорого, так что даже не хочется всплывать туда, где ласково припекает солнце.

Удивлённые твоим появлением рыбки останавливаются напротив, и, так и не разобрав в тебе своего, мгновенно юркают в таинственную холодную темноту. Мысленно сразу стремишься проникнуть туда за ними, а вода мягко укачивает тебя на своих невидимых волнах, постепенно упруго сжимает тело, и ты, несмотря на нехватку воздуха, восторженно понимаешь, как приятно находиться в объятиях воды. У поверхности она тёплая, радостно поблескивает в отражающихся от неё солнечных лучах, и даже резкий запах тины у камышей тоже сладок. Таинственно и маняще водное царство, и разве минует оно внимания любознательного мальчишки?!

Когда я только первый раз нырнул и открыл глаза под водой, оказалось, что это совсем не страшно, мне вдруг захотелось вглядываться в этот мир бесконечно, узнавать о нём всё больше и больше, запоминая каждую мелочь. Неизвестное всегда страшит, хотя, как убеждаешься впоследствии, в нём нет ничего пугающего: человек и подводную темноту наделяет тем, чего она не содержит. На деле нас влечёт в неизведанное неразгаданная тайна, желание, чтобы мир оставался неиссякаем для интересных и захватывающих событий.

Тебе, вроде бы, уже всё знакомо на родном деревенском пруду, с его затопленными колодами, прибрежными корягами, зарослями осоки и камыша, загадочными чёрными елями, склонившимися над его покойной водой, островками изумрудных водорослей, но, всё же, что-то самое главное, чего ещё не видел, будоражит твоё воображение, и ты ожидаешь с ним встречи. Очень может быть, что именно сегодня, на этом лесном берегу, я найду в воду, погружусь туда с головой, и тайное неожиданно откроется мне, и я не испугаюсь, а обрету какое-то важное знание. Как это просто и радостно – ничего не бояться, и стремиться всё в жизни узнать!

После того, как родители подарили мне маску и дыхательную трубку, подводный мир открылся предо мной уже во всей своей красе! Стройные рыбки, со светящимися серебряными боками, словно ласточки в июльском небе кружат вокруг, близко подплывать остерегаются, но при всяком удобном случае так и норовят рассмотреть меня получше, будто ненароком оказываются перед самой маской, а затем бросаются враспынную. Вода сильно увеличивает предметы, и сквозь толстое стекло они представляются совсем в ином виде: неказистые пескаррики вдруг превращаются в изящных и загадочных обитателей пруда, а подвернувшийся однажды у самого берега извивающийся уж так напугал меня своими размерами, что я выпрыгнул из воды!

Совсем неприметные раньше мальки через стекло маски и вовсе вырастают в гигантов, и когда они дружной стайкой устремляются навстречу, кажется, что на тебя надвигается какое-то мохнатое чудовище. Красавец-окунь в сравнении с ними – настоящий великан, нацелил свои страшные спинные иголки в подводную пустоту, и все сразу расступаются перед ним. Только зубастая щука, наверное, не боится бравого окуня, - вот бы её увидеть!

Даже обыкновенные раковинки-перловицы, в обилии устилающие озёрные и речные плёсы, здесь, под водой, становились величиной с кулачок, так что хотелось завладеть каждой, заглянув вовнутрь: а вдруг там прячется драгоценная горошинка? Полдюжины таких тусклых жемчужин уже хранились у меня на подоконнике, в спичечном коробке, и на солнечном свете они преображались, вспоминая, наверное, речную прохладу, струящийся жирный песок и ярко-зелёные водоросли. Всегда приятно было проплывать над ними, чуть прикасаясь к их покатым, бледновато-серым бокам, но они никогда не казались при этом скучными...

В солнечный день под водой даже весело! Зелёные водоросли на мелководье колышутся в такт мерно набегающей волне, будто играют в какую-то свою, понятную только им игру, пытаюсь ухватить меня за запястья и щиколотки, отчего становится щекотно. Из холодной сумрачной глубины выбираются на волнистый песок грязновато-карминные раки – принять солнечную ванну, и замирают там, пока солнышко не переместится к береговым камышам: тогда они недовольно начинают шевелить усами, не зная – куда себя деть. Рак – не рыба, ему спешить некуда, и начинает он тогда пятиться обратно в глубину, там ему, видимо, спокойнее.

А ещё под водой происходит удивительная игра света... Стоит только солнцу выглянуть из-за облаков, - розовые, золотые, кремовые лучи, необычно преломляясь при проникновении в воду, устраивают между собой весёлую толкотню: кажется, тронь их – и они тоненько и радостно зазвучат. Этот удивительный перезвон под водой представляется очень ласковым, он укачивает и навеивает приятные тёплые думы. Ты – и не на небе, и не на земле, а среди того, что прекрасно и неведомо, необычайно притягательно, где забываешь о самом родном, и живёшь только тем неизведанным, что таится в глубине.

Отчего-то притягивала к себе именно неясная и непонятная темень, которой бы следовало остерегаться, даже – страшиться, как это происходило со многими деревенскими жителями, искренне верящими в существование водяных и русалок. Но меня неудержимо влекло туда, в холодную таинственную глубину, и пусть её нельзя было сравнить с морской пучиной, незримая бездна обыкновенного деревенского пруда, всё же, манила меня не меньше. В глубине души я знал, что там, на самом деле, не страшно, и всё скрытое обязательно откроется когда-нибудь необъятной радостью. «Тиха вода в пруду, да омуты глубоки», - поучала меня бабушка, но я ничего не мог с собой поделывать: здорово было бы заглянуть и туда!

Только занимается над лесом ласковая июньская заря, а я уже с маской и трубкой бегу на пруд, где у берега, в привольной солнечной тиши, паук-бокоплав ловко скользит по глади воды на своих невидимых ходулях, тоже радуется жизни. Под растопыренной корягой бойко снуют головастики, солнце щедро распахнуло свои объятия надо всей деревней, и восторгу моему не уместиться во взбудораженном всем происходящим сердце. Мир и благодать там, где есть солнце и вода, её чудесное прохладное таинство, бросающее от счастья сопричастности с ним в дрожь, и как не принять его, не восхищаться им?!

Как вообще можно жить без радости? – думалось всегда возле воды, в зарослях камышей, на краю полянки, обрывающейся высоким берегом к тихо струящейся реке. Если есть вода, чудный берег, поросший осокой, потаённые заводы с кувшинками и краснопёрыми окунями, то это всегда так хорошо, свободно и радостно. И эту радость могут переживать и другие люди, все, у кого при одном виде синеющей водной поверхности и туманной дымки над ней, замирает сердце. Как возможно себе представить жизнь без лесного озера, уютного пруда под деревенской мельницей, свежего ветерка с воды, поутру, что приносит только доброе настроение?! С детства был я захвачен миром воды необыкновенно, а мир этот отвечал мне своею любовью.

И вот, мы сидим на юте, с молчаливой сосредоточенностью отскребая с лееров облупившуюся в рейсе краску. Над нами повисает скучное слово «перестой», что вынуждает вести совершенно безрадостный образ жизни, приводя судно в надлежащий порядок. Скоро нам наскучивает это занятие, и мы бросаем работу, без всякого внимания разглядывая прибрежные голые сопки, словно повисшие в туманной дымке, над самой водой.

Солнце припекает, хотя его ещё не видно из-за густой пелены, объявшей все портовые постройки, «гансы» и прижавшиеся друг к другу сейнеры. Только пришедшие с моря, они выглядят уставшими, осунувшимися. Где-то жалобно вскрикивают невидимые чайки, и тотчас замолкают... Влажно, душно, и ничего не хочется делать.

Под бортом размеренно плещется полное тайн Японское море, тайны его так и остаются для меня неразгаданными. Я полюбил это море, именно оно сейчас представляет для меня сокровищницу жизни. Там, в глуби, таятся какие-то неизведанные жизненные переплетения, о них даже страшно помыслить, но они есть, и мне начинает нравиться думать о них, воображая – как всё гармонично сложится, когда, наконец, удастся, хотя бы ненадолго, проникнуть в эти чудесные морские секреты...

Хорошо в море просто быть... В самой его глубине, в его необъятном чарующем пространстве, где с радостью отдаёшься на волю нескончаемых волн, и чувствуешь себя счастливым. И хотя ты не в силах до конца постичь все тайны неведомой морской пучины, к тебе постепенно

приходит понимание, что счастье – это ты сам, и оно, как и море, живёт всегда рядом, в самом тебе.

И, вроде бы, совершенно естественным оказывается появление на корме матроса с газетой «Советский Сахалин», что он небрежно роняет возле меня, явно желая избавиться от наскучившего времяпрепровождения, а в газете, на последней странице, крохотное объявление: «Завершается набор курсантов в Школу аквалангистов в городе Южно-Сахалинск. Срок обучения – 4 месяца. После успешной сдачи экзаменов, курсантам будет предложено отправиться в экспедицию, в качестве ловцов морских продуктов, на юг острова Сахалин, в лагуну Буссе».

## «ЛАГУНА БУССЕ»

Обучение в Школе аквалангистов пролетело незаметно, и когда я узнал, что нам предстоит почти два месяца добывать на юге Сахалина, в лагуне Буссе, трепанг, то был озадачен: никогда до этого я ничего не слышал об этом морском животном, и даже ни разу его не видел. Трепанг представлялся мне странным существом, по рассказам одного бывалого подводника напоминающим огромную подводную гусеницу, покрытую рядами крупных конусообразных выростов. Как он мне потом объяснил, это – промысловый вид голотурий, относящийся к классу типа иглокожих морских животных, научное название – Стихопус японикус, и достигает он в длину тридцати сантиметров. Рот у трепанга обычно находится на переднем конце тела и окружён венчиком щупалец с известковыми спикулами, на спине же – мягкие выросты, наподобие округлых рожков. Цвет преимущественно тёмно-коричневый, чёрный и даже фиолетовый, очень редко – белый, а обитает трепанг в защищённых от штормов бухтах, где илисто-песчаные площадки располагаются рядом с россыпями камней и зарослями морских водорослей.

После всего услышанного воображение, конечно, рисовало мне что-то подобное, но ясной картины, всё же, не возникало, перед внутренним взором всплывали уж совсем какие-то фантастические очертания этого неведомого животного, и мне не терпелось поскорее отправиться в экспедицию. Мы только что окончили Южно-Сахалинскую школу аквалангистов, никто из нас ещё толком не знал моря, то есть – не опускался в лёгководолазном снаряжении под воду, исключая занятия в бассейне, и все с полной ответственностью готовились к поездке, в который раз перебирая акваланги, приводили в порядок компрессор и отливали из свинца грузовые пояса... Требовалось также подобрать себе удобную маску и подходящий загубник для дыхательной трубки, именно по своему размеру, не перетягивающие ноги ласты, неопреновый костюм мокрого типа. Можно было, конечно, погружаться и в сухом, непроницаемом для воды «Садко», но у него был ряд значительных недостатков, проявляющихся при длительной и напряжённой добыче морских продуктов, и все старались раздобыть себе костюм именно мокрого типа, в который, прежде всего, легче было облачаться.

Отечественная промышленность в те годы почти не выпускала подводного оборудования, и приходилось многое дорабатывать самим, всеми правдами и неправдами пытаюсь раздобыть что-нибудь из японского, шведского или американского снаряжения. Стоило всё это, понятное дело, немалых денег, и мы, не колеблясь, отдавали последнее, только бы завладеть боксом для фотокамеры, монометром или подводным ножом. Мы жили морем, мечтали о захватывающих впечатлениях, и нашими неоспоримыми кумирами были Жак Ив Кусто и Жак Майоль, чьи книги только стали появляться в печати.

Пари знакомстве с лагуной Буссе, она показалась нам совсем небольшой. Но впечатление это продержалось до первого спуска, после которого она сразу стала восприниматься огромной. Когда наша дорка направлялась к дальним участкам, отведённым для ловли трепанга, то не покидало ощущение, что мы стоим на месте.

Окружающие лагуну высокие сопки, теряющиеся в голубой дымке, оставались неподвижными, только вода усыпляюще журчала под бортом. Солнце, отражённое от воды, слепило умиротворённым светом. Возле проплывающей мимо устричной банки вольготно покачивались на волнах чайки. Кажется, совсем близко взлетают впереди ярко-красные кухтыли, отмечающие район добычи, но идти до них приходится более часа. В эти томительно тянущиеся минуты лагуна сама представлялась небольшим морем.

Бывало, погода начинала портиться, задувал холодный упругий ветер, а солнце светило по-прежнему ослепительно, будто даже ещё ярче, но нас ничего не останавливало, и мы продолжали добычу трепанга. Волны окатывали с головы до ног, плескали искрящимися на солнце солёными брызгами в лицо, и наши маленькие судёнышки тоже, то ныряли в глубокую до черноты синь исчезающей под носом волны, то, до приятной дрожи в ногах, легко возносились к солнцу. Всё в тебе играло, и дух захватывало от непередаваемо радостного возбуждения при переживании происходящего.

Ощущение полёта, длящееся почти весь путь до синееющего у горизонта мыса, не покидало, помнится, ни на минуту. Бело-голубое небо кренилось к самой воде, рискуя опрокинуться в переливающуюся морскую гущу. Оно отражалось в матовых каплях, цепляющихся за лобовое стекло дорки, и вся лагуна Буссе представлялась какой-то волшебной природной чашей, в которую нам, к счастью, довелось попасть.

Когда на лагуну напал густой туман и очертания берегов стирались из вида, водное пространство лагуны и вовсе воспринималось бесконечным. В такие пасмурные дни от подводного пейзажа веяло тревожной суровостью. Был он однообразным, серовато-зелёным, и, проплывая над его потаёнными уголками, туда совсем не хотелось погружаться.

А вот юго-восточный ветер всегда приносил с океана не только туманную влагу, но и затяжное ненастье, над островом шли нескончаемые дожди, мутные волны с шумом накатывались на берег, срывая с подводных камней морские водоросли, и выбрасывали их туда, где песок заканчивался, и начинались заросли шиповника с шелковистой травой. Под водой все обитатели прятались, уходя на глубину, и там воцарялся непроницаемый мрак и какая-то неприкаянная пустота. Когда же ветер начинал задувать с материка, небо постепенно прояснилось, выглядывало солнце и море успокаивалось.

У берегов южного Сахалина и Курильских островов многочисленны глубокие заливы и бухты, изобилующие растительным и животным планктоном, зарослями водорослей и поселениями донных моллюсков, и

лагуна Буссе – уникальный водоём такого типа. Стоит только подойти к урезу воды летним солнечным утром, взглянуть на окружающие лагуну голубые сопки, чуточку вздрагивающие в насыщенном теплом и светом воздухе, и вы почувствуете удивительную особенность пребывания рядом с тем, что уже само по себе представляет особое внутреннее море... Совершенно неповторимая по своей подводной флоре и фауне лагуна, соединяющаяся с открытым Японским морем посредством узкой протоки, где скорость приливного и отливного течения за множество лет сформировала своеобразный подводный каньон, невольно завораживает...

Существование каньона угадывается по устремлённому потоку воды на поверхности протоки, но под водой вашему взору предстанет промытый за тысячелетия коридор, глубиной в три-четыре метра, а шириной - в пять. На дне этого каньона мы впоследствии не раз находили свидетельства стоянки древнего человека – каменные топоры и чаши. Помнится, меня поразил однажды обнаруженный там нефритовый топорик, с идеально выточенными на нём, крест на крест, бороздками для крепления к древку...

Если в нескольких словах постараться выразить суть этой удивительной лагуны, то к ней определённо бы подошли слова – «райский уголок». Конечно, подводная красота лагуны не идёт ни в какое сравнение с неподражаемым величием подводного мира Сейшельских островов, которое со знанием дела описывал Жак-Ив Кусто, но для умеренных широт – это совершенно исключительное место.

Лагуна невелика, площадь её чуть превышает сорок квадратных километров, длина береговой линии 27 километров, а максимальный поперечник – около 9 километров. В ней преобладают глубины от трёх до шести метров, но в некоторых местах достигают и десяти. На песчаных и песчано-илистых субстратах в ней произрастают ценные морские травы и водоросли – зостера, филлоспадикс, саргассум, но наибольший интерес представляет анфельция, многолетнее растение с продолжительностью жизни в 10-15 лет. Из неё можно получать агар-агар – растительный студень, без которого не обойтись при изготовлении духов и мармелада.

Здесь обитают также приморский гребешок, гигантская устрица, трепанг, креветка травяной шримс, королевский, волосатый и японский краб, попадаетеся гребешок Свифта и голубые мидии. Районы распространения промысловых беспозвоночных совпадают с зарослями морской травы и водорослей, а оптимальные условия для размножения и роста донных животных и растений приурочены к периферии лагуны Буссе, куда проникают свежие морские воды и где создаются круговые течения. На бурное развитие жизни в лагуне Буссе оказывает особое влияние именно смешивание морских и пресных вод, богатых биогенными веществами.

Дальневосточные моря почти одинаково охлаждаются зимой, а вот летом имеют различный температурный режим. И дело не в том, что в какой-то период года температура для многих живых организмов становится губительной, а в том, что в нужный период всё же наступает необходимый

для жизни температурный режим. Поэтому-то многие, даже субтропические, животные могут жить на крайнем юге Курильской гряды и в лагуне Буссе на Сахалине, хотя на зиму там вода замерзает.

Возникает это удивительное явление природы в результате того, что бухты и небольшие заливы обычно летом прогреваются значительно сильнее, чем прилегающие открытые берега. И чем больше бухта изолирована от моря, и чем она мелководнее, как это являет своим примером лагуна Буссе, тем вода в ней теплее, а значит, есть условия для жизни тепловодных организмов.

При японцах лагуна Буссе носила название Тойбучи, но впоследствии была переименована Н.В. Рудаковским, сподвижником Г. И. Невельского, в честь участника Амурской экспедиции 1849 – 1855 годов – майора Николая Васильевича Буссе. Чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе Муравьёве и назначенный Невельским начальником острова Сахалин, Буссе пробыл там с 21 сентября 1852 года по 1 апреля 1853 года. По возвращении в Иркутск, он управлял штабом войск Восточной Сибири, в котором сосредотачивались все дела по управлению Амурским краем, и, наконец, с 1858-го по 1866 год был военным губернатором Амурской области. Умер в 1866 году.

Сколь отличны в своих действиях Невельской и Буссе, видно из того, что первый не побоялся дипломатических осложнений с Китаем, не поостерёгся действовать вопреки приказаниям правительства, когда ему воспрещалось идти в Татарский пролив и, тем более, в устье Амура, а он пошёл на свой страх и риск, и доказал судоходность Амура и то, что Сахалин является островом; второй же, воспитанник Пажеского корпуса и гвардейских вахтенных парадов, не имел гражданского мужества и в малом превысить имевшиеся у него приказы даже тогда, когда видел, что они повлекут за собою ущерб для дела... Так Буссе поступил в отношении экипажа транспорта «Иртыш», который отправил без продовольствия в Императорскую бухту, и тем самым явился непосредственным виновником гибели многих людей от голода. Нелицеприятно и его равнодушие к исследованиям южной части Сахалина, которые он обязан был производить на острове с осени 1852 года по весну 1853-го. Зато в своих записках, изданных родственниками Буссе после его смерти, он во многом приписывает успех освоения дальневосточных земель себе, тогда как для этого нет никаких оснований.

Кстати, когда я узнал обо всём этом, что касается деятельности Буссе на острове, мне даже стало не по себе, поскольку работая потом не один год в лагуне на добыче трепанга и переживая все прелести подводного труда вместе со своими друзьями, я и подумать не смел, что имя Буссе так замарано. Нам всем представлялось тогда, что эта необычная и красивая фамилия обязательно связана с каким-то подвигом, в ней нам чудилась одна романтика, и мы, конечно, не догадывались – что здесь, на юге острова, происходило на самом деле сто тридцать лет назад.

А вот что касается Н.В. Рудаковского, то он, в отличие от Буссе, довольно тщательно исследовал западный и восточный берега залива Анива. Рудаковский был первым из европейцев, который дал о нём основательное и подробное представление. Он заключил, что лагуна Буссе – это замечательное место, удобное для зимовки судов, сидящих в воде до 5 метров, и оно единственное на всём восточном берегу острова Сахалин от 54 до 46 градуса широты, где, по-видимому, могут безопасно зимовать суда, правда, небольшие. Для окончательного решения, в какой степени безопасна здесь зимовка, предстояло сделать точные промеры и наблюдения над ветрами, а также проследить состояние залива во время закрытия и вскрытия его ото льда, и всё это можно было бы произвести экспедиции Буссе в 1852 – 54 годах, но он опять же не обратил на это должного внимания, хотя это обстоятельство составляло одну из его важнейших обязанностей...

И так, лагуна Буссе... Пожалуй, это – жемчужина из всех сахалинских мест на юге острова, где мне удалось побывать под водой. При первом спуске душу мгновенно охватили острые ощущения, которые поначалу совершенно ошеломили. Они были довольно противоречивы, и, вместе с тем, растерянности я не чувствовал, словно уже когда-то, давно, бывал под водой в открытом море. Но настроения неземного покоя я тогда в полной мере всё-таки не заметил, поскольку ещё не испытывал в нём какой-либо потребности. Волнение быстро сменило очарование от всего происходящего, и оно не покидало даже при самом крайнем напряжении.

Когда я первый раз увидел, как в мутновато-зелёной воде на белом песчаном дне пестреют фиолетово-коричневыми пятнами неподвижные для глаза голотурии, то на секунду опешил: уж слишком неожиданными показались эти существа, больше похожие на сухопутных гусениц. Мягкие выросты действительно обильно покрывали тело трепанга, правда, только его верхнюю выпуклую сторону, нижняя была плоская и усеяна множеством амбулакральных ножек, таких же, как и у морских звёзд. В этой прохладной безмолвной среде трепанги выглядели упругими, с ядрёными пупырчатыми боками огурцами, и, проглядывая меж тонких и блестящих полосок филлоспидикса, представлялись не в меру загадочными созданиями в глубине невыразимо сказочного огромного аквариума.

Словом, при первом столкновении трепанги восхитили меня своим спокойствием и необычной формой. Похожие, действительно, на гигантских гусениц, они казались совершенно неподвижными, и странно было встретить их именно такими, скорее - земными, а не морскими, здесь, под водой. Всё песчаное дно было усеяно замершими животными, которые, как я узнал позже, передвигаются почти незаметно для глаз. Жаль было привыкать к их приятно упругим, словно надутым телам, ведь нам предстояло собирать трепанга вручную целых два месяца, и он мог за это время порядком надоесть.

Но этого почему-то не происходило... Сначала кажущиеся чёрными, трепанги, по мере приближения приобретали свою истинную окраску –

тёмно-коричневую, почти шоколадную, и их продолговатые тельца на вид представлялись достаточно аппетитными. Как-никак, трепанг – любимое лакомство китайцев, кулинарное искусство и вкусы которых не требуют рекламы, и в дальневосточной кухне ему не зря отведено достойное место.

Но и крабы не брезгают деликатесом. Не раз приходилось мне наблюдать, как воровато-наглые тельмессусы, очень подвижные и настороженные крабы, при приближении ныряльщика опасно замирают у своей жертвы и вскидывают клешни, не желая покидать место пиршества, а то и вовсе, разгорячившись и обхватив свободными лапками покорно-неподвижную добычу, ловко ускользают с ней в густую зостеру. На гладких лиловых боках трепанга от таких объятий остаются голубовато-сизые язвы, поначалу вызывающие у нас недоумение.

И вот она, разгадка: виновники – крабы. Тонкая слизистая оболочка голотурий и притягивает коварных чревоугодников, которые, удобнее взгромоздившись на покорные жертвы, обсасывают их сочный эпителий. Крабы гурманят в любую погоду на холодном дне жемчужины-лагуны, чувствуя себя в безопасности.

«Трепанг» - слово малайского происхождения. Название это звучно, колоритно и загадочно. Сразу представляется что-то фантастическое и очень вкусное. К сожалению, мне так и не удалось обнаружить значение этого слова, но произносить его было приятно, как будто ты открывал для себя нечто удивительное, причащаясь к какой-то обворожительной морской тайне.

Трепанг и сам необычен на вид, и как уже говорилось – имеет чаще всего тёмно-коричневый, бордовый или чёрно-фиолетовый окрас, но встречаются и жёлтые разновидности, даже – зелёные, и очень редко – совершенно белого цвета. Именно такие альбиносы породили среди промысловиков стойкую легенду о голубом трепанге, имеющем сверхцелебные свойства и потому невероятно высокую цену. Самому мне посчастливилось только пару раз находить белого трепанга, и я подтверждаю, что он действительно имел нежный голубоватый оттенок.

По-видимому, голубого трепанга не существует, и им называют, скорее всего, именно белого-альбиноса. Издали такой трепанг кажется белым, но по мере приближения приобретает нежную голубизну, а у оснований шипов даже розоватые оттенки, поражая своим необычным цветом среди коричневых и фиолетовых собратьев. Если встречаются в природе белые вороны или киты, то почему бы не быть альбиносом трепангу, тем более – с голубоватым отливом?!

Не зря этот морской «огурец» получил название «морского женьшеня», как его называют в дальневосточных странах. Японские целители прописывают переутомлённым и ослабленным людям употреблять в пищу именно трепанга. При умелом приготовлении трепанг очень аппетитен, имеет своеобразный и тонкий вкус, а при кажущейся твёрдости – довольно мягок. Нужно только правильно его обработать, ни в коем случае не

переваривая и лишь обдав кипятком, но лучше подержать с полчаса над паром: тогда трепанг сохраняет нежность, даже некую изысканность, подавать же его можно в любом виде – варёном, обжаренным с луком, и даже – сырым, с добавлением разнообразных специй.

На добыче трепанга к нам в бригаду был вызван рыбокомбинатом повар-кореец, который привёз с собой маленький чемоданчик со всевозможными специями. Когда он открыл его – мы все замерли от увиденного: в отдельных отсеках красовались разноцветные пряности с загадочными корейскими названиями, и всё это были переработанные и высушенные, по строгому рецепту, морские водоросли. Именно ими повар-кореец, впоследствии, сдабривал наши обеды и ужины. Особенно запомнился холодный салат из сырого, мелко порезанного трепанга, с добавлением чимчи – корейской капусты, кальмара, моркови, лука и красного перца. Сначала вся эта смесь приятно обжигала рот, но потом вдруг по нему растекалась необыкновенная свежесть, а ещё через какое-то время появлялся изумительно тонкий аромат, описать который невозможно. Нечто очень душистое, сочное, и, главное, сытное, чего, собственно, нам и не доставало после изматывающего труда под водой. Сырой трепанг добавлял силы, очень быстро восстанавливая истраченную энергию.

Помнится, мы не сразу с доверием отнеслись к пока неизвестным для нас блюдам корейской кухни, во многом основанной на морских деликатесах, но постепенно, по мере улучшения собственного состояния во время добычи, признали, уже не мысля себя без них. Вообще, морская кухня на удивление проста, вкусна и целебна, я отчётливо и с радостью ощутил это потом, за долгие годы работы в море. Даже, если дело касалось обычной рыбы, того же минтая, который всегда был свежим и оттого непередаваемо вкусным, не идущим ни в какое сравнение с тем, что мы покупали в наших магазинах на материке. Что же касается трепанга, то он представлял из себя очень ценный морской продукт, поскольку состоял почти из цельного мяса с очень пикантным вкусом, удалялись из него только ротовые спиккулы-радулы и жиденький тоненький кишечник, всё же остальное могло быть употреблено в пищу.

Мне пришлось по душе рагу из трепанга, приготовленного с чилимами, молодыми побегами бамбука, черемшой и обязательным использованием корейских пряностей. А ещё – обжаренный трепанг в сухарях с луком!

На Филиппинах, например, распространено употребление трепангового супа, в который добавляют телятину, а подают, охладив льдом. В Японии с давних времён заготавливаются впрок внутренности трепанга. Тщательно промытые в морской воде, они обсыпаются солью, развешиваются на тонких жердях, затем складываются в горшочки и тушатся, сдобренные кусочками курицы или рыбы, а также уксусом и перцем.

А вот консервы из трепанга в собственном соку замечательны тем, что при стерилизации мясо его выделяет значительное количество бульона, что улучшает вкус консервов, и особенно они хороши из варёного трепанга или

обжаренного в растительном масле с томатным соусом. Очень своеобразны на вкус и консервы из варёного трепанга с гарниром из овощей и морской капусты.

Неумолимая статистика морских богатств подтверждает, что мясо трепанга содержит меньше белков, чем мясо морских моллюсков и ракообразных, но зато в нём значительно больше минеральных веществ. Трепанг содержит в тысячу раз больше соединений меди и железа, чем рыба; во сто раз больше йода, чем другие беспозвоночные; в десять тысяч раз больше йода, чем мясо. И при этом трепанг воспринимается естественно, легко, как нечто очень питательное, насыщенное ароматом моря, и к чему просто нужно привыкнуть, что, впрочем, происходит очень скоро.

Для полноты восприятия трепанга следует ещё дополнить его портрет тем, что на переднем конце тела/ именно переднем, а не головном, поскольку голова у трепангов, как и у всех иглокожих, отсутствует/ расположен рот, окружённый венчиком крупных тёмных щупалец. Щупальца голотурий – сильно изменённые амбулакральные ножки. У трепанга нет специальных органов чувств, он совершенно слеп, и потому функции органов осязания выполняют ножки и щупальца. На вершинах спинных выростов расположены папиллы – тоже бывшие ножки, утратившие функцию движения и служащие только для осязания. Но как тогда трепанг перемещается?

В стенках тела трепанга находятся кольцевые мышцы, при сокращении которых тело его утончается и удлиняется. По внутренней же поверхности стенок тела хорошо заметны пять продольных двойных мышечных лент, и при их сокращении тело трепанга уже укорачивается и утолщается. Всё это происходит очень медленно, незаметно для глаз, и, участвуя в добыче трепанга чуть ли не каждый год, я только однажды наблюдал, как он приподнимается при размножении, разбрасывая семя, но так, ни разу, и не увидел, как он передвигается.

Конечно, трепанг – весьма примитивное животное, про него без увеличения можно сказать, что он живёт, чтобы есть. Вот одно из щупалец вытягивается вперёд и своим концом как бы прилипает к грунту, после чего тут же втягивается в рот, а на смену ему приходит следующее. Захватывается самый верхний слой грунта с разложившимися останками животных и растений, чем трепанг очень напоминает известного всем дождевого червя.

Содержание органики в грунте невелико, поэтому, питаясь столь некалорийной пищей, трепанг вынужден есть непрерывно – и днём, и ночью. Из анального отверстия на заднем конце тела он время от времени выбрасывает с силой песчаные колбаски, по которым можно проследить путь трепанга. Иногда колбаски расположены довольно далеко друг от друга, иногда – кучкой: здесь трепанг набрёл на богатое питательной смесью место.

Трепанг живёт своей незаметной, скрытной жизнью, и убеждаешься в этом – только когда его потревожишь. Но он очень крепко цепляется присосками на концах ножек к грунту, так что нередко при попытке поднять

животное – часть ножек отрывается. Стоит взять трепанга в руки, в особенности – на поверхности, как он сильно сжимается, мягкие шипы его тотчас исчезают, и весь он превращается в слизкий плотный комок неопределённой формы. Трудно после этого сохранить к нему восторженное отношение.

Тем более - нелегко обрабатывать его ускользящее из-под ножа тельце. Острый нож норовит резануть вспухшие от работы пальцы, трепанг упрямо не даётся, будто не желая быть выпотрошенным и очищенным от ротовых спикул. Словно живое, прибывающее месиво из него на дне кунгаса обжимает сапоги вязкой прохладой, сдавливая всё сильнее и не даёт возможности переступить. Взобравшееся к зениту солнце неумолимо печёт наши головы, лица горят от крепкого загара, а трепанга, кажется, ничуть не убывает. Обработка его идёт полным ходом!

А бывает, над лагуной опускается промозглый туман. Или нескончаемый дождь принимается испытывать наше терпение, льёт целый день, к тому же – задувает пронизывающий ветер, волна сердито бьёт в скулу кунгаса, но работа всё равно не прекращается: трепанг поднимается со дна, обрабатывается, и всё труднее становится переставлять затёкшие ноги в этой холодной хлюпающей массе. Болотные сапоги расправлены уже до самого верха, а трепанг всё поступает, вываливается из питомзы прямо на стол, вернее, доски, проложенные поперёк судна от борта к борту. Обработчики стоят по обе стороны от импровизированного стола, и только успевают разрезать трепанга вдоль, ловко отсекая ротовые спикулы, после чего разделанная тушка летит вниз, но трепанга не становится меньше. Те, кто наверху, начинают клясть своих товарищей, находящихся под водой: им-то там хорошо, дождь их не мочит, знай, собирай толстые упругие гусеницы, набивая ими до отказа питомзу, да отправляй наверх. Скорей бы и нам под воду!

А на дне в эту пору, несмотря на непогоду, тихо, только вода немного помутнела, и песчаное дно, усеянное трепангом, воспринимается так, будто оно – за стеклом. Но протягиваешь руку – и мясистый упругий «огурец» отправляется в горловину питомзы, затем – другой, третий, и так до бесконечности, когда теряешь ощущение времени, и только стрелка монометра указывает на то, что необыкновенно растянутое подводное нахождение ограничено количеством сжатого воздуха в баллонах твоего акваланга. С лёгкой душой поднимаешься на поверхность: ты неплохо сегодня поработал, и тебе не стыдно перед своими товарищами.

Вообще, водолазный промысел трепанга обычно открывается, как только сходит лёд и продолжается до конца июня, поскольку в июле трепанг начинает размножаться. В период размножения голотурии ведут себя совершенно отлично от своего обычного поведения, когда они инертно лежат в водорослях или на песке, почти не двигаясь. Трепанги неожиданно подымаются на задней оконечности тела, извиваются, и, то и дело сжимаясь,

выбрасывают семя. Это может продолжаться несколько дней, поскольку не все особи достигают половой зрелости в одно и то же время.

Половые органы трепанга представляют собой кисть ветвящихся трубочек, у самок – красновато-коричневого, а у самцов – белого цвета. Икра и семенная жидкость изливаются через проток, открывающийся немного позади щупалец, прямо в воду, где и происходит оплодотворение. Ресничные личинки ведут плавающий образ жизни около полутора месяцев, после чего превращаются в маленьких трепангов, достигающих в длину четырёх-пяти сантиметров. На следующее лето они вырастают до десяти-двенадцати сантиметров, а на третьем становятся тридцатисантиметровыми. В общей сложности, если всё сложится благополучно, трепанги проживают до пяти лет.

После икрометания судороги у трепангов прекращаются, и они снова успокаиваются. Можно даже сказать – обессиливают, забираясь в убежище и впадая в оцепенение. Теперь трудно даже представить себе, что эти неповоротливые тёмно-коричневые, фиолетовые и красновато-бурые морские огурцы так отплясывали совсем недавно во имя сохранения вида. Их мускульные мешки потеряли свою упругость, трепанги утратили способность выбрасывать внутренности, и те животные, которые не успели добраться до убежищ, легко превратились в жертву крабов и морских звёзд.

В период оцепенения или, как его ещё называют – «летней спячки», трепанг теряет свои вкусовые достоинства, и его добыча в это время становится бессмысленным истреблением. Восстановление органов трепанга происходит к середине августа, когда можно наблюдать животных с достигшими нормальных размеров кишечником, водными лёгкими и кровеносной системой. Трепанги начинают выползать из убежищ, передвигаться по дну и питаться. Мускульный мешок снова становится упругим, промысел трепангов возобновляется и длится до глубокой осени.

Мы добывали трепанга двумя бригадами, в каждой по десять человек, расходуя за день, в общей сложности, семьдесят-восемьдесят аквалангов. Аппараты забивались сжатым воздухом ночью, в компрессорной, располагающейся прямо на берегу, и отвечали за это два человека, которые днём уже выполняли обязанности мотористов и на двух лодках объезжали подводных пловцов, забирая у них наполненные трепангом питомзы. Питомзы навешивались на специально вбитые в борта лодок штыри, чтобы сама сетка оставалась в воде, и трепанг не пересыхал, затем доставляли трепанга к причалу, где его принимали рабочие рыбокомбината. Там трепанга вываривали в специальных котлах, солили, опять варили, обваливали в пудре из древесного угля и сушили – вначале на солнце, а потом в специальных сушилках. Готовый трепанг приобретал вид чёрных шиповатых цилиндриков, которые могли храниться годами. Их оставалось только отмыть от угля, слегка отварить – и вкусный питательный и полезный продукт оказывался у вас на столе.

От каждого ловца требовалось собрать как можно больше трепанга из расчёта на один акваланг. Трепанг собирался, как уже говорилось, в специально изготовленные для этого питомзы, состоящие из железного круга-горловины и метровой сетки-плетёнки. Когда воздух весь «съедался», а происходило это в пылу работы молниеносно, акваланг заменялся на полный, и работа продолжалась.

При умелом расходовании воздуха, акваланга обычно хватало на 35-40 минут. За это время опытный пловец способен был поднять на поверхность до четырёх, а при достаточном обилии трепанга – шести питомз. Не набранные до конца, они почти не ощущались под водой, но наполненные доверху – волочились по дну с трудом, что требовало достаточной физической подготовки. Запыхаться в подобных условиях – означало начисто сбить дыхание, а это уже грозило опасностью для собственной жизни.

В подъёме же тяжёлых сеток пловцу помогал пенопластовый круг-буй, привязанный тонким фалом к поясу, со стороны спины. Буй неотступно следовал за пловцом на поверхности, одновременно указывая местонахождение пловца и выполняя роль опоры при всплытии. Аквалангист, что было сил, подрабатывал себе ластами и свободной рукой, желая только одного – быстрее выбраться с не пускающим грузом на долгожданную поверхность. Порой приходилось работать ластами с огромным напряжением, так что начинало казаться – тебе уже никогда не подняться наверх, и всё же, в конце концов, ты преодолевал сопротивление, вырываясь к свету.

В ожидании, когда подойдёт катер и моторист заберёт набранный трепанг, можно было лечь на пенопластовый круг и передохнуть, ни о чём не думая, что абсолютно исключено в его отсутствие. Получив же новую питомзу, ныряльщик немедленно опускается на грунт. Гул уходящего катера какое-то время сопровождает его, но вскоре затихает, и пловец опять остаётся один на один с подводной тишиной.

Используя два-три акваланга, ныряльщик поднимался на кунгас, переодевался, завтракал и вставал на обработку, подменяя там того, кто уходил под воду. Трепанг, таким образом, поступал без конца, и мы с трудом успевали его шкерить. Выпотрошённые органы выбрасывались за борт, где их тотчас подхватывали вездесущие краснопёрки. Монотонность обработки трепанга наверху - ни шла, ни в какое сравнение, со сбором его под водой, и все рвались лучше отработать две смены внизу, в холоде, чем потрошить выскальзывающий из рук трепанг.

Вечером катер трогался к пирсу, и загруженные под самый фальшборт кунгасы послушно следовали за ним. Утомлённые пловцы трепанга молча сидели по бортам и словно заколдованные смотрели на убегающую голубовато-зелёную воду. Перекидываясь редкими шутками, каждый из подводников наслаждался достигнутым покоем и думал о своём. Так продолжалось изо дня в день, и однообразие изнуряющих спусков

сглаживалось забавными встречами с подводными обитателями или же вот такими умиротворяющими возвращениями на берег.

Иногда под водой действительно происходило что-нибудь необыкновенное, и это вскоре становилось предметом самого пристального обсуждения. Прокусит ли кому-либо резиновую ласту резвящаяся нерпа, или незадачливый член бригады уйдёт под воду с неисправным лёгочником, так что сразу выскакивает оттуда пробкой, успев при этом пропустить пару-другую стаканов придонного слоя воды, а то вдруг вцепится в его неопределённую перчатку своей отвратительной пастью «морская собака» - зубатка, - всё это, несмотря на явную опасность, веселит неунывающий подводный народ... Ещё толком не оправившись от случившегося, пловцы наперебой начинают подшучивать над «пострадавшим» до тех пор, пока что-либо из ряда вон выходящее не случается с другим членом бригады. Всю накопившуюся усталость подводные пловцы разряжали именно таким незлобивым способом, и виной всему – трепанг!

А ведь дальневосточный трепанг – всего лишь один вид из более, чем тысячи существующих голотурий, известных науке! Большинство из них обитает на относительно небольших глубинах, некоторые даже в приливно-отливной зоне, но вообще-то голотурии относятся к наиболее глубоководным морским организмам. Их неоднократно поднимали со дна океанских впадин, почти лишённых жизни.

Но, несмотря на то, что все эти голотурии принадлежат одному виду, хотя и делятся на отряды, они всё-таки разнятся в строении тела, поведении и местах обитания. В тропических морях можно встретить и огромных, до метра длиной и в пуд весом, похожих на дыни, голотурий, и обитающих на глубине до 20 сантиметров, лежащих почти вплотную друг к другу, так что некуда поставить ногу. Есть голотурии, что всю жизнь проводят под коралловыми обломками или же буравят ходы в толще песка, поедая грунт на пути движения, а некоторые виды определённые часы суток проводят на поверхности грунта, в другое же время закапываются в песок. При этом одни активны днём и ночью «спят», другие, напротив, предпочитают питаться ночью.

Стоит дотронуться до крупной голотурии рукой или ножом, как задний конец тела животного изгибается и через несколько секунд из анального отверстия появляется пучок белоснежных нитей, удлиняющихся на глазах, чего у нашего дальневосточного трепанга никогда не увидишь. Нити приклеиваются ко всему, к чему прикасаются, а пальцы, склеенные ими, невозможно разжать, и их приходится долго оттирать от белой массы. Это – знаменитые кювьеровы органы, чьё строение и роль в организме голотурий во многом остаются загадкой, хотя открыли их более ста лет назад. Очевидно, что кювьеровы органы могут служить голотуриям для защиты от врагов, но сейчас накопилось много фактов, вынуждающих сомневаться в этом: встречаются такие виды, что имея отлично развитые кювьеровы органы, они никогда ими не пользуются.

Ещё одна загадка голотурий – способность выбрасывать свои внутренние органы, например, кишечник. Это также часто объясняют защитными целями – голотурия, мол, избавляется от части своего тела как приманки для хищника, чтобы самой благополучно миновать расправы. В одной из книг я прочитал, что багамская голотурия, обитающая в прозрачных водах Бимини, применяет чрезвычайно эффективный метод защиты от нападающего врага: она разрывает свою собственную клоаку и извергает в воду внутренности, что, как ни странно, не наносит ей никакого урона. Противник же оказывается в облаке разодранных кишок и нечистот. В течение нескольких сезонов добывая в лагуне Буссе трепанга, мне ни разу не приходилось сталкиваться с подобным поведением дальневосточных голотурий, хотя поводов для своей защиты во время того, как мы их добывали, у них было предостаточно.

Имеется и ещё одно объяснение, предполагающее такую естественную для живого организма реакцию, как отбрасывание органов: это – возможность борьбы ... с внутренними паразитами. Дело в том, что полость тела голотурий облюбовывают для себя некоторые беспозвоночные, и даже – рыбы. При любой опасности они мгновенно забираются в полость тела своей хозяйки через анальное отверстие. Пока рыбы или рачки – маленькие, они не причиняют особого беспокойства, когда же их величина возрастает, то происходит повреждение внутренних органов голотурий, в результате чего они и выработали такой необычный механизм, как отбрасывание внутренностей.

Правда, отброшенные органы быстро регенерируются: голотурии обладают очень развитой способностью к этому, как и морские звёзды. Стоит трепанга разрезать на несколько частей, как через некоторое время каждая восстановит недостающее и превратится в нормальное животное. Иногда голотурии даже могут размножаться поперечным делением тела на несколько частей. Однажды мы решили проверить способность трепанга к восстановлению и оставили в отмеченном буйком месте нарезанные кусочки трепанга, а через некоторое время их там не обнаружили: успешно восстановившиеся животные расплзлись.

Одна из представителей большого отряда голотурий – кукумария, попадает в лагуне Буссе, где мы добывали трепанга. Кукумария, или как её называют в Японском море – кукумария японика, по своему морскому образованию почти всем напоминает трепанга. Как и трепанг, кукумария имеет вытянутое, похожее на огурец тело, но при раздражении, за счёт сильного сокращения мускулов, она сжимается и приобретает почти шарообразную форму. Эта характерная форма тела кукумарии дала повод назвать её «морской картошкой» или «кубышкой». Поверхность тела у неё гладкая, блестящая и покрыта слизистой оболочкой, придающей кукумарии чёрно-лиловый оттенок.

Сила сжатия мышц у кукумарии бывает настолько велика, что под давлением сжатой в полости жидкости оболочка тела её зачастую лопается.

При извлечении кукумарии из воды, упругость тканей животного быстро проходит, а тело приобретает вытянутую, плоскую форму, как бы расплываясь. Такая «текучесть» тканей ведёт к тому, что при хранении кукумарии в решётчатой таре её тело под действием силы тяжести может буквально «вытечь» через отверстия и щели, и эта неустойчивость формы тела затрудняет возможность осуществления её заготовки.

Гладкое шарообразное тело кукумарии напоминает тугий подводный мячик, который почему-то хочется всё время подбрасывать в руке, не относясь к ней так серьёзно, как к трепангу. С трепангом мы её не мешали и старались избавляться, поскольку заготовители отказывались её принимать. И когда кто-нибудь из нас выбрасывал её за борт, то все в шутку произносили: «Ку-ку, Мария!»

Кукумария неподвижно лежит на дне, распустив пышные венчики своих разветвлённых щупалец. К щупальцам прилипают мелкие съедобные частицы, взвешенные в воде, и всевозможная живая мелочь. Кукумария поочерёдно засовывает щупальца в рот и съедает пищу, вроде бы, ведя совершенно безмятежный образ жизни.

Так и трепанг... Медленно, невидимо для глаз человека, продвигается он по дну морской лагуны, прощупывая его своими маленькими щупальцами-ножками, и опять надолго замирает, как будто и вовсе никуда не перемещался. Постепенно складывается такое ощущение, что трепанг всё время находится во сне. Но, тем не менее, во время своих редких прогулок, голотурии, всё же, непрерывно всасывают песок, перемещая огромные его массы, и тем самым способствуют активному перераспределению органических ресурсов.

Трепанг... Необычное чудесное слово, от которого веет не нашими северными морями, а южными, с самыми невообразимыми по красоте подводными пейзажами и приключениями. Недаром название этой голотурии, как уже говорилось – малайского происхождения, но что означает в переводе – никто не знает. Просто – трепанг, нечто загадочное и неповторимое, для него почему-то не нашлось слов на других языках. И какое мелодичное, но, в тоже время, определённое и ясное, открывающее, как волшебный ключик, кладовую удивительных морских драгоценностей...

И так, моё первое знакомство с подводным миром Дальнего Востока состоялось... Я добился, чего хотел: сходил с рыбаками в море, получив, в результате, драгоценный, незаменимый ни чем опыт, прошёл Курсы подводных пловцов и закрепил полученные знания на деле, приобрёл немало друзей, как среди моряков, так и в кругу подводников, полюбил удивительный мир дальневосточной природы с его дикими островами, штормами и водопадами, проникновенной тайной подводных глубин, без которой уже не мыслил своего существования, а главное – мне удалось окончательно осознать свой жизненный путь. Я понял: работая в море, с

удовольствием преодолевая все трудности, совершенно естественные в этой непредсказуемой среде, я незаметно наполнялся его энергией. Это происходило заслуженно, благодаря моим усилиям, и я был счастлив от того, что слагаю свою судьбу. Меня поражало, как легко можно достигать своих целей, просто доверяя себе.

Конечно, при этом мне приходилось преодолевать препятствия в лице людей, что зачастую меня не понимали, не всегда при этом сопутствовала и удача, порой возникали трудности с отсутствием самого необходимого, без чего очень не просто было продолжать дорогу, и, темнее менее, всё рано или поздно устраивалось. Я находил выход из любой, казалось бы, неразрешимой ситуации, и меня всегда, непременно, охватывала радость, что жизнь продолжается, а я исполнил в ней всё, что мог. Вот тогда и приходило ощущение лёгкости, несмотря на тяжёлый труд в море, тем более – под водой.

Подолгу находясь в море, я постепенно стал принимать его полностью, со всем, что оно несёт в себе, и спокойно преодолевал отсутствие земли, морскую болезнь и одиночество, до возвращения на сушу, в общем-то, не претерпевая особого дискомфорта. Земля всё ставила на место, но благодаря длительному общению с морем, я становился самим собой, то есть – духовно сильнее.

«Морем пахнет... Какая проникновенная свежесть!» - так и хотелось воскликнуть, когда мы выходили по утрам на наших облупившихся дорках в море... А море ласково раскинулось повсюду, насколько хватало очарованного его тишиной взгляда, и было мне так, что оно всегда такое – до умиротворения покойное, родное. Море не шумело, не сердилось, а приглашало окунуться в свои объятия, и мы безропотно отдавались на его величественную волю. Помнится, мне очень нравилось то состояние моря, часто случающееся именно по утрам, когда оно пребывало в задумчивом безделье...

Вместе с этим необъятным морским пространством что-то ещё более громадное входило в мою жизнь, ему не было имени, но оно наполняло душу простым и в то же время великим знанием: здесь, в окружении этой неудержимой стихии, с тобой никогда ничего не случится. Мало того, море буде беречь тебя, как свою собственную частицу, и от осознания этого хотелось слиться с ним, и самому стать морем.

## «ВДАЛИ ОТ МОРЯ, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ И БЛАГОТВОРНОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ»

Посвящается

– Наталье Евгеньевне

Штемпель

Я возвращался домой, в глубине души невольно ощущая сошествие с недостижимого когда-то пьедестала, который необратимо вознёс меня на определённую вершину, и в вознесении этом было позабыто однажды оставленное. Возвращение – это в некотором роде насилие над восплавленным духом, который, обретя желание трудиться и летать, уже требовательно напоминает о недостающем для этого свежем воздухе. Воздух должен быть пронизан чистым светом и надеждой: он непременно призван создавать свободное пространство.

Невозможно себе вообразить, думал я, что поездка бы вдруг не осуществилась... Удивляясь увиденным в дороге неслыханным ранее событиям и сравнивая их с домом, я лишь по возвращении со всей отчётливостью ощутил наметившийся разрыв.

Представший передо мной после долгой разлуки дом вдруг внезапно обрёл свою законченность: с неизменной последовательностью и безразличием он выслушивал внутри себя бесконечные обыденные мелочи и жалобы обитателей. Напоминая о чём-то дорогом, дом теперь уже ничего не давал. Он противоположно отличался от приобретённых в путешествиях веры и знаний, даже не стремясь приблизить к себе, чем-либо завоевать моё внимание. Это совсем не удивило, поскольку в отъезде правда захвативших впечатлений наполнила воображение неким неизгладимым достоянием, дающимся рано или поздно каждому человеку тем более богато, чем содержательнее он прошёл свою жизненную дорогу.

Увидев всё прежним, не изменившимся в оставленной когда-то жизни, я понял, чего не хочу, по-настоящему боюсь и всеми силами стараюсь избежать: я не желал привыкать к развращающей душу обыденности. Мне уже не хотелось привлекать на свою сторону холодное здравомыслие и осмотрительность, чтобы продолжать удобное и ничем не нарушаемое бездеятельное существование. Я был против того, чтобы зарывать свой талант в землю, по минимуму эксплуатируя данные мне Богом энергию и время, ограничивая себя лишь скороспелыми плодами, удовлетворяющими сиюминутную потребность. И уж само собой разумеющимся представлялось не противопоставлять единственно достойному для человека пути – отчаянное множество шакальих троп, по которым без усталости рыскают их обитатели, втайне ото всех радуясь, когда к ним попадает очередная жертва неверия в собственное назначение.

Невежественное отношение к собственным силам – главная болезнь нашего века, призванного, как никогда, возродить их и развить, поскольку незнание всегда приносит душе страдания. Самодовольство умело приноровившихся к себе душевных лентяев уже не способно отличить правду ото лжи. Драгоценное время, проскользнувшее у них однажды меж пальцев, рано или поздно начинает проноситься мимо сплошным потоком. Становясь неудержимым, оно измеряет собой тысячи потерянных для него жизней, оставляя человечеству лишь маленькую толику надежды на возрождение. Даже сама идея обладания журавлём, витающим в недостижимом небе, становится для них порядком захватанной и извращённой, чтобы воспользоваться ей открыто, не вызывая ни с чьей стороны намеренного сопротивления и злых усмешек...

Чтобы попробовать достигнуть давно задуманного, человеку следует самому стать журавлём, а не ловить большую птицу жадным взглядом, уподобляясь тем, кто превосходно обходится такой доступной синицей. Надо суметь оторваться от дома, всего привычного и устоявшегося в нём, от верного достатка на сегодняшний день и располагающего не меньшими надеждами завтрашнего, чтобы, не заблуждаясь понапрасну, для какой-то глубокой человеческой потребности взлететь в высокое небо.

Но великий смысл жизни заключён не в бесконечном отрыве от земли, а лишь в допустимой возможности, вполне реальной и порой осуществимой, взлетев и хорошенько осмотревшись, приземлиться. Не праздника одного ради, а во имя внутренней душевной работы, потому как в полёте успеваешь увидеть и понять гораздо больше. Время вмещает тогда в себя не только всю твою обыденную жизнь, но и мечты, а это уже, значит, б ы т ь, по-настоящему понимая и принимая открывающиеся с высоты собственное назначение и волю.

То, что меня сейчас ожидало, уже не могло не произойти, и время надёжно утверждало свои отличительные знаки, смывая испещрённые когда-то робкой рукой черновики. Впереди лежала жизнь, обещающая не то конец света, не то начало весны, а неведомый Воронеж, с его неизвестно для чего удалённой от моря водолазной школой, угадывался в легкой дымке грядущих перемен, потому что энергия поиска в то время как никогда переполняла моё сердце. И ещё вера, что за ближайшим поворотом опять заблестит долгожданное море.

Я так ждал с ним встречи, что в который раз вспомнил оставленную жизнь, заполнившую всё моё недавнее прошлое единственно допустимым смыслом. И сердце вдруг перевернулось от радости, будто съехав откуда-то сверху, с восхитительно недостижимой высоты, и увидело перед собой необычайной красоты море и светлые ряды горных вершин по его берегам. И я стал заново переживать всю эту пройденную уже дорогу с горячим чувством преданности к её крутым поворотам, запахам и теряющемуся в бесконечных далях морскому простору.

Ведь путешествие в душу моря – это, в первую очередь, путешествие к самому себе. Его необходимо непременно преодолеть, в полной мере осознав – кто ты, и для чего сюда пришёл? Только осознав это, ты обретёшь в сердце подлинную радость.

Что может человек знать о превратностях дальнего путешествия, если даже не задумывался о нём, не горел стремлением отправиться в заморские края, ни о чём не мечтал? Всё, что о таком странствии говорили «знающие» люди и писали в книгах, тоже не стало его истинным достоянием. Слова – и ничего более, что с них взять?!

Главное - душевное пробуждение, желание идти, пока, быть может, неизвестно куда, но, непременно, с потребностью сдвинуться с места... Хотя бы, отважиться на этот подвиг, копя уверенность в сердце и решимость для начального шага, вернее – броска в неизвестность, тем не менее, уже обладая зовом дороги. Отчего же так тяжёл человек на подъём, и подолгу не чувствует в себе жизненной силы? Разве совсем не интересны ему предстоящие приключения, новые впечатления и встречи? И как не ощутить при всём этом близость Господа, терпеливо ожидающего от человека справедливого отношения к собственным возможностям, каждый миг ненавязчиво побуждая его к полёту?

Всё в человеке, с самого его рождения, свидетельствует о том, что полёт этот возможен, почему же ему тогда не достаёт самого очевидного: веры в себя и принятие более достойной жизни?! Когда же он обнаружит в своём сердце храбрость, чтобы забилося оно неудержимо, по-настоящему жаждая свободы?!

Возьми за правило, человек, воспитать в себе любовь, чтобы поделиться ей с людьми. Пройди тысячи прекрасных дорог, чтобы увлечь за собой других. Стань неуязвимым для бед и распахни свои объятия навстречу царственной удаче, но не жалуйся, когда жизнь оказывается несправедлива: прими её целиком!

Помни: счастье создаётся твоими шагами на пути к Богу, но нужно положить ни одно существование в поиске удивительных чудес, обрести которые возможно только в дороге. Не требуй от жизни свершения задуманного сразу, не возжелай почестей и побед, ведь отдавая всего себя на возведение собственной неповторимой судьбы, ты переливаешь её незаметно в волшебный меч, благодаря которому завоёвываешь радость любви...

Настоящее чувство начинается там, где не ждут награды взамен собственных душевных устремлений, отдавая себя без остатка, и с наслаждением учатся жить. Любить – значит трудиться, открывая для себя и других огромный, неизведанный мир.

В жизни, конечно, не успеть сделать всего, чего желает твоё сердце, но можно совершить немало интересного, и если это удаётся, и тебе не в чем упрекнуть себя, твой Бог пребывает в радости. И когда ты понимаешь это, то тоже необыкновенно радуешься, восторг от переживания божественного

существования переполняет тебя, и душа твоя уже ни в чём не чувствует ограничений: она – безгранична, как море...

Бывает, оказавшись в незнакомом городе, теряешься и, как бы долго ни находился в нём, никак не можешь открыть его для себя. Порой города вихрем врываются в душу и, перевернув её, столь же молниеносно улетают, оставляя лишь пустоту и утомлённость. А есть города, понимание и любовь к которым приходят как откровение – через любимых людей, значительные события в твоей жизни... И ты оставляешь их в своём сердце навсегда и любишь больше, чем кого бы то ни было. Как будто ощущая в душе праздник...

Таким праздником для меня стали Воронеж, вместе с его рекой, в которой мне пришлось совершить свои первые в жизни погружения в тяжёлом водолазном оборудовании; поэзия Мандельштама, о пребывании которого на Воронежской земле попросил разузнать меня наш пермский писатель Лев Иванович Давыдычев; и женщина... Впрочем, всё по порядку.

Город встретил меня сильной оттепелью. Был он широк и строг в своём каменном одеянии. Широки были его площади, улицы, бульвары, и от этого казался он пустым.

Зима здесь была сродни поздней осени. Над голубовато-серыми и хмурыми зданиями, затянутыми сизой изморосью, неслись с северо-запада низкие, свисающие лохмотьями облака. По несколько раз на дню, ни с того ни с сего, начинало моросить. И промозглый ветер поднимался колючим и стылым столбом между безликих городских стен...

В такие дни окна домов, исполосованные изнутри душевой испариной, сумрачно блестели стекающими по стеклу капельками, отражая в себе серое небо. В воздухе начинало пахнуть сырой древесной корой, кисло-пряной влагой тяжело набрякших мостовых и тротуаров, резко сгустившимся ароматом открытых кофеен и закусовых. Голова с непривычки как-то сдавленно болела, в ушах не проходил гулкий звон, и сердце порой неприятно покалывало.

Непогода длилась несколько дней, но однажды утром в окне мелькнула улыбка чистого неба, а выйдя на улицу, я вдруг ощутил весь аромат ещё невидимых цветов, плодов и листьев. Душисто-терпкие прозрачные молекулы пробуждающейся жизни набились до отказа в организм, толклись в нём весёлою гурьбою, и велели лететь в звенящей синеве, словно ты чудесный шар воздушный. Так женщина иная дыханием обдаст душистым, бесследно ускользая мимо...

С ясными погожими днями пришло желание жить, учиться и ни о чём другом не думать. Уплотнённый график в школе, не позволяя ненужного расслабления, в то же время высвобождал час-другой для занятий в бассейне. Никакой устный рассказ не в состоянии был достоверно передать те эмоции,

которые я пережил, впервые опустившись на рабочем полигоне под воду в знаменитой «трёхболтовке».

Водолаз – это не тот, кто может спуститься под воду, а тот, кто выполняет там необходимую работу и делает это надёжно и верно. Вот истина, которую я в первую очередь должен был усвоить за время обучения в школе, но, предвкушая встречу с морем, в моём воображении было всё-таки больше экзотики, чем обыкновенного труда. Я тогда ещё не подозревал, что сама способность к проникновению в морские глубины принесёт возможность встретиться с неиссякаемыми загадками, которые никогда не надоедят.

Из-за занятости приходилось откладывать поиски материалов, связанных с Мандельштамом, и лишь позже я признался самому себе, что предчувствие необычного всё время не покидало меня и будоражило дух.

И вот однажды я обратился в краеведческий отдел Воронежской областной библиотеки им. И. С. Никитина с просьбой помочь мне обнаружить какие-либо следы пребывания Мандельштама в Воронеже. Библиотекарь быстро отыскала необходимый раздел алфавитного каталога и указала на ... единственную карточку. Это была статья доктора исторических наук А. И. Немировского в газете «Молодой коммунар» от 19 августа 1966 года, благодаря которой мне стали отчасти понятны причины, по которым Мандельштам оказался в этом городе.

Поиски в местном архиве не дали результата, так как документы интересующего периода погибли при разрушении Воронежа в годы войны.

Прогуливаясь как-то утром по городу, я набрёл неожиданно на двухэтажное, из бурого от времени кирпича здание краеведческого музея. У входа стояли пушки. На их лафеты и дула мягко падал снег.

Низкая арка вывела в маленький заснеженный дворик. Было очень тихо. У чёрного входа застыли в позах покорного ожидания три каменных идола. Видно было, что никому до них нет дела. Ощувив рукой их холодную шероховатость, вдруг показалось, что толкнулся комочек тепла. Может быть, они мне поверили.

Стёртые камни крыльца... Колокольчик-звонок... Звук его медленно таял в толстых стенах старого здания. Через некоторое время вышла сухонькая старушка. По совету старой служительницы музея, мне следовало отправиться в библиотеку университета, которая славилась своими богатыми фондами.

В отделе библиографии меня встретила очень отзывчивая заведующая и любезно предоставила в пользование дюжину карточек, заметив, что это вся их подборка по Мандельштаму. Это были в основном статьи в «Вопросах литературы», «Литературной Армении», «Литературном критике», и ни одной, касающейся воронежского периода творчества поэта. Заведующая поинтересовалась, что влечёт меня к розыску материалов относительно поэта, и, услышав, что личный интерес, дала телефон местного краеведа,

филолога К. А. С. По её мнению, он обязательно должен был знать что-либо по интересующему меня вопросу.

На следующий день я дозвонился до А. С. , и он предложил встретиться вечером у него на квартире. С нетерпением ждал я этой встречи.

А город с утра ополоумел от солнца и синевы, раскинувшейся куполом над склонами «горы крутопоклонной», с которой Мандельштам, наверное, не раз любовался открывающимися пейзажами, сравнивая их с картинами фламандцев.

Город жил весенним щебетом птиц, восторженным повизгиванием на поворотах трамваев, открытыми улыбками прохожих... В хрусте подтаявшей на тротуарах корочки льда слышен был звон капли, градом срывающейся с крыш.

На углах торговали пышными маслянистыми пирожками, от которых валил душистый парок, и бутербродами с сыром в ломком целлофане. В сочном морозном воздухе крепкий аромат кофе чуть щекотал ноздри, а маленькие тёплые глоточки его приятно сводили скулы. Город гудел и сверкал, был гибок, упруг и роскошен своим весенним многообразием запахов и красок.

Вот таким весенним днём, в ожидании вечера, решил я заглянуть в места, где бывал Осип Эмильевич, да и вообще побродить по Воронежу, познакомиться с ним поближе.

Поднявшись с набережной по крутой извилистой улице Степана Разина, вышел к Петровскому скверу с памятником Петру 1, основателю воронежской верфи, ставшей колыбелью первых отечественных флотилий. Памятник уже новый, установленный в 1956 году. Старый же, пропавший с гранитного пьедестала в 1942 году, обнаружить так и не удалось... Именно у того, старого бронзового Петра, и сидели, беседуя, Мандельштам и Ахматова, примчавшаяся в Воронеж в феврале 1936 года, когда получила ложное известие о том, что поэт при смерти.

Посидел и я немного на лавочке у нового памятника, а затем отправился в Музей изобразительных искусств, расположенный через дорогу. Осип Эмильевич был частым гостем там и подолгу стоял перед произведениями Дюрера и Рембрандта. Сейчас там находятся в экспозиции по большей части незначительные работы, и только греческий зал да чудесная коллекция фарфора с фаянсом приносят радость.

Вечером неожиданно пошёл дождь. Но он не испортил всех впечатлений дня, а, наоборот, лишь ласково отвёл невидимой рукой всю его суету и, пробудив в глубине души уверенность в правильности выбранного пути, прошептал свою тайну. Я тогда, конечно, всего этого не сознавал, а просто жил, верил в себя и очень терпеливо ждал.

... Мы сидели на кухне и пили кофе. А. С. рассказывал, а я слушал и смотрел в окно на серебристые струи холодного дождя в сгущающейся синеве. А потом А. С. сказал, что знаком с женщиной, которая лично знала Мандельштама, и, более того, она дружила с ним. «Она жива, -

предупредительно добавил он, осклабившись, видимо, желая произвести впечатление. – Небольшая формальность... Нужно позвонить, спросить разрешения... Возраст, понимаете ли...». Он удалился в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. В толстом дверном стекле мутно маячила его фигура.

Не видя этой женщины, я уже доверился ей в своём воображении, томился, предугадывая предстоящую встречу. Лицо – лишь символ: мудрый, добрый знак. Тёмно-синее платье, недорогая, но значительная брошь. Портреты в тонких рамках на стенах и, конечно, книги, книги... Не знаю - почему, но была твёрдая уверенность, что непременно будет чай с вишнёвым вареньем. «Она ждёт нас», - донеслось откуда-то сверху.

Дождь кончился. Тёмные деревья источали резкий, бодрящий запах коры. Лужи на мостовой отражали причудливые отблески витрин. Вымытый прозрачным дождём воздух был свеж и чист. Всё это отрезвило, и я вдруг почувствовал сильное волнение.

Дорогой А. С. рассказывал историю с воронежским домом, где родился И. А. Бунин, а я, не совсем внимательно слушая его и то и дело перебивая своими незначительными вопросами, воображал себе на разные лады предстоящую встречу. Всё это было для меня необычно, и волнение от этого только возрастало.

Вскоре свернули на Никитинскую. Мокрые лица домов казались сиреневыми от ночных светильников. Нырнули в арку, потом – другую, и оказались в маленьком тихом дворике старого четырёхэтажного дома. В подъезде тусклое освещение. Неширокая лестница. Третий этаж. На двери металлическая пластинка с плохо различимыми буквами – Наталья Евгеньевна Штемпель.

Всё. Так одним из мартовских вечеров я оказался у порога того необычного, что не давало покоя, будоражило воображение и несло очарование жизни.

Она встретила нас в простом цветастом платье, довольно изящном, свободно облегающем её маленькую хрупкую фигурку. Зная причину моего прихода, Наталья Евгеньевна казалась слегка взволнованной, хотя внешне это было незаметно. Она была сдержанна, стояла, чуть придерживаясь сухим кулачком стенки, и внимательно-вопрошающими глазами незаметно оценивала меня. Удивительные то были глаза... Сколько людей, не равнодушных к судьбе поэта и его стихам, побывало в этой квартире, и всегда, должно быть, это было волнующе и радостно для женщины, которая не скупясь, просто, помогала им, чем могла.

У Натальи Евгеньевны были гости. Не помню, на какую тему шёл разговор, но, только почувствовав, что Наталья Евгеньевна немножко волнуется, все вдруг замолчали, воцарилась тишина, и Наталья Евгеньевна

тихо спросила: «Вас интересует Мандельштам? Что именно?» Я ответил, что всё. «Как, Вы совсем?! – Она запнулась. – Хорошо... Вот послушайте:

«Ни о чём не нужно говорить,  
Ничему не следует учить,  
И печальна так и хороша  
Тёмная звериная душа:  
Ничему не хочет научить,  
Не умеет вовсе говорить  
И плывёт дельфином молодым  
По седым пучинам мировым».

А потом была «Армения»:

«Холодно розе в снегу: на Севане снег в поларшина.  
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани,  
Сытых форелей усатые морды  
Несут полицейскую службу на известковом дне.  
А в Эриване и в Эчмиадзине  
Весь воздух выпила огромная гора...»

И ещё: «За гремящую доблесть грядущих веков...», «Я пью за военные астры...», «Я скажу тебе с последней прямокой», «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме...»

Она замолчала, задумавшись, вспоминая, видимо, что-то далёкое, ставшее опять очень близким и родным сердцу, и вдруг весело воскликнула: «Давайте пить чай!»

Как объяснить всю прелесть того, что я испытал, окунувшись с головой в теплоту этой маленькой квартиры?! Гроздь сухих листьев в сердолике, вереницы тиснёных томов, бархат анютиных глазок и Модильяни... В тонких, вишнёвого цвета рамках – портреты Ахматовой, Пастернака, Блока...

За столом главенствовала Наталья Евгеньевна. Она была в приподнятом настроении, сидела, слегка откинувшись на спинку стула и, сияющими глазами окидывая гостей, следила, чтобы чашки с блюдцами не пустовали. Много говорила о создании большого альбома, посвящённого Мандельштаму, показывала его фотографии разных лет, расспрашивала о моей экзотической, по её мнению, профессии, которую я решил освоить. Волнения уже не чувствовалось. Было по-настоящему хорошо и свободно. Мы сидели в светлой, уютной кухне и пили чай ... с вишнёвым вареньем.

На следующий день Наталья Евгеньевна была дома одна, и мы проговорили до позднего вечера. На ней было лёгкое голубое платье, выглядела она свежей и бодрой.

Глядя, как она, сидя в углу небольшого диванчика, среди маленьких подушечек, положив одну ногу на стоящий напротив стул, читала свои любимые строки, изредка заглядывая в томик, который держала в маленькой сухой руке небрежно, но крепко, перевернув вниз обложкой, горделиво закинув голову с по-детски чистыми глазами, словно милый «щелкунчик», я вдруг ощутил огромный подъём сил, красоту и вкус жизни... Невольно

подумалось, что секрет вечной молодости, неувядаемого с годами душевного здоровья – в непреходящем стремлении беззаветно служить искусству и людям, которым оно помогает жить.

Она читала Ахматову и Гумилёва, Мандельштама и Цветаеву, Рильке и Пастернака... Какие имена и какие великие трагические судьбы многих из них... И как верна была им эта женщина...

Трудные годы не наложили мрачного отпечатка на её восприятие поэзии, прошедшей не менее тернистый путь, нежели те, кто создавал её. Наталья Евгеньевна всё так же молода, глаза её по-прежнему излучают свежесть и любовь, и она не перестаёт верить в «сказки таинственных стран», в «страсть молодого вождя» и в то, что «далёко, на озере Чад изысканный бродит жираф...».

Память её жива. И только цифры смущают – «не говорите мне, Боря, про годы...».

Увидев её впервые в тот незабываемый тихий вечер, когда город не утонул ещё в сиреневой кипени, он только готовился встретить весну, я встретил очаровательную женщину, которую никак нельзя было назвать старушкой... Просто – милая Наталья Евгеньевна.

В первый вечер знакомства она, как мне показалось, неохотно обратилась к воспоминаниям. Но потом я понял, что был неправ. Не составляло большого труда возродить давно ушедшие образы в памяти этой женщины. Для этого нужно было обладать всего лишь одним свойством – любить поэзию. А ещё – понимать и верить в прекрасное, уметь радоваться и удивляться, верить в мечту и добиваться её исполнения. Лишь в те тихие вечера на Никитинской я понял, что поэзией можно выразить то, что никогда не выразить прозой.

Увлекаясь, она вспоминает с удовольствием. Не теряя энергии ни на минуту, может без усталости читать стихи, и всё по памяти, в то же время незаметно занимаясь хозяйством. Не теряя интереса ни к чему, она по-детски любознательна. Всё неизвестное её волнует и трогает.

Читая как-то книгу о Пастернаке, я, видимо, про себя улыбнулся невзначай, чем сразу же привлек внимание Натальи Евгеньевны. Она потребовала зачитать, что заинтересовало меня на этой странице. Я прочёл вслух письмо Хемингуэя, адресованное Борису Леонидовичу в трудное для него время. Она внимательно выслушала, а потом, обратившись к своей старой подруге, приехавшей из Вологды, воскликнула: «Зина! Правда, чудесно?! Я не думала, что Хемингуэй способен на такое». Зная мою любовь к этому писателю, сказала уже мне: «Боря, вы не обращайтесь на нас внимания. Мы так все развращены на стихах Осипа Эмильевича и Анны Андреевны, что вряд ли уже что способны воспринимать».

Но это было не так... Уже через некоторое время я вновь зачитывал ей понравившиеся строки или какую-либо интересную мысль, и она, обласкивая своих изящных кошек, являющихся поистине украшением этой квартиры, приговаривала: «Кисик, кисик... Боря, я слушаю вас, продолжайте...».

Той ранней весной, когда я проводил наедине с Натальей Евгеньевной многие часы, мои скованность и робость постепенно исчезли. Я ощущал неподдельное дружелюбие Натальи Евгеньевны, видел, что она принимает меня таким, какой я есть, и нет никакой надобности казаться лучше, как это обычно заведено между людей. Постепенно всякие мысли о дистанции, которую бы надо было зачем-то выдерживать, пропадали. Сама эта женщина, со всеми её слабостями и недугами, являла собой причину моего бережного к ней отношения. С этим человеком можно было говорить о чём угодно: о только что прочитанной книге, удачно приобретённой у соседки накидке для дивана, новом платье, Маяковском. Впрочем, одежде Наталья Евгеньевна особого значения не придавала, скорее, она была в ней очень опрятна.

Увлекаясь в наших беседах самыми обыкновенными житейскими вещами, она в то же время не допускала ни малейшей пошлости, и когда, казалось, разговор доходил до мелочей, вовсе не заслуживающих внимания, Наталья Евгеньевна одной умелой фразой легко миновала опасное место, и в этой никогда не изменяющей себе тончайшей внутренней культуре была просто восхитительна... Любую обыденность эта женщина воспринимала под каким-то своим, вовсе не привычным для окружающих её людей, углом; обычные вещи почему-то становились значительными в её устах, и это всегда меня поражало.

Всё, к чему бы она в этом доме ни прикасалась, удивительным образом шло ей. И небольшой диван, на котором она любила сидеть, легко откинувшись и положив одну ногу на стоящую перед ней низенькую банкеточку. И портреты замечательных людей, в непроизвольном почтении застывших на стене, прямо над подвижным лицом очаровательной и неподражаемой хозяйки. И разноцветные, манящие своей прохладной гладкостью морские камни, к которым изредка прикасались её воздушные, крепкие пальцы. И таинственные, полные благородной лени и покоя кошки, являющиеся, по моему глубокому убеждению, живым продолжением её женских, сокровенных мыслей. Они были незаметны, но всегда ощущалось их близкое присутствие. А портреты, обрамлённые в тонкое, густого янтарного отсвета дерево, казалось, еле слышно переговариваются с ней иногда о чём-то глубоко раздумчивом, неторопливом...

... Вот одухотворённый Амедео Модильяни слегка улыбается уголками скорбного рта, и она, конечно, догадывается о его искромётно рождающихся, безусловно, каких-нибудь необычных намерениях... По-мальчишески задиристый, божественный Пастернак, с упрямо сбивающейся на чистый лоб чёлкой и угловато заострившимися к вискам скулами, вдохновенно и ободряюще взирает с недостижимой высоты своей славы, словно на мгновение желая сбежать к ногам этой женщины... Величавая и незабываемая Анна Андреевна Ахматова, словно пышный жасминовый куст, наполняет маленькую комнату тонким запахом царственного всепонимания... Все они, неподражаемо прошедшие по жизни каждый своей дорогой и успевшие кануть в нескончаемую Лету, теперь, тем не менее, были

здесь, на Никитинской, помогая своей хозяйке чуть уловимым присутствием почувствовать очень многое, может быть, самое родное...

По воскресеньям я обычно проводил в этой уютной и тёплой комнатке весь день. Квартира состояла из двух комнат, но во второй, дальней по коридору, я никогда не бывал, потому что Наталья Евгеньевна всегда принимала в большей по размеру, считавшейся, по-видимому, гостиной и лучше подходящей для этой цели.

Я работал с книгами, помнится, много выписывал, не желая упускать ни единой мелочи, она шила или читала. Потом я отправлялся в кулинарию за углом, покупал хлеб, сыр, молоко, и мы обедали. Обедали всегда подолгу, не спеша. Наталья Евгеньевна, увлекаясь, всегда начинала рассказывать что-нибудь интересное... О том, почему однажды не стало Владимира Владимировича Маяковского, о суровой судьбе Мандельштама, взявшегося писать не ради корысти, о неизъяснимой темноте Блока, его мрачно-прекрасном лице, о тех силах, которые, унося поэта от земли, бывают слишком серьёзны в его конечном отрыве от неё, и о многом-многом другом...

Очень часто меня поражали её неподдельное внимание и чуткость, когда она проявляла их к моим заурядным заботам. От неё ничто не могло укрыться – всегда полное понимание того, как настроен человек, что он чувствует, о чём думает и переживает. Она удивительно умела не ставить ни себя, ни другого, кому оказывала услугу, в неловкое положение отказывающего или принимающего её. Такое её умение всегда незамедлительно вызывало уважение и трогало.

Находясь в довольно преклонном возрасте, живя одиноко, Наталья Евгеньевна не казалась беспомощной в быту: квартира её всегда была прибрана, всё приведено в надлежащий порядок. Многие заботились о ней, помогая каждый в меру собственных возможностей, как бы по очереди беря на себя ответственность за её судьбу на определённый период. Невольным помощником оказался и я. Именно этим, наверное, можно было объяснить частичное отсутствие многих друзей на квартире Натальи Евгеньевны во время моего пребывания в Воронеже. Зная, что я захожу к Наталье Евгеньевне часто, они негласно передали пока эстафету помощи в мои руки, о чём я долгое время не догадывался и порой просто недоумевал. Мне казалось странным такое положение вещей, но в глубине души я даже радовался: все вечера с Натальей Евгеньевной были только моими.

Однажды Наталья Евгеньевна спросила у меня:

- Как вы думаете, Боря, в чём причина всех людских бед? Интересно было бы узнать мнение именно молодого человека, только начавшего по-настоящему жить?

- До того, как отправиться в своё путешествие, я ничего не знал об этом. Я только понимал сердцем, что нужно жить, не откладывая ничего на потом.

- Не перекладывай на завтра то, что можно сделать сегодня? Ах, как мне это знакомо, но всему виной – наши старческие болячки, - со вздохом проговорила Наталья Евгеньевна. – Так хочется успеть завершить Альбом, посвящённый Осипу Эмильевичу.

- У меня было достаточно времени, чтобы понять: жизнь твоя окажется благополучной, и ты не будешь в её конце ни о чём сожалеть, если не предашь самого себя. Ещё учась в университете, как-то подспудно почувствовал: упустишь отпущенное тебе время, его уже невозможно будет повторить, а потому находишься всегда в присутствующем моменте, дорожке которого, наверное, нет ничего на свете.

- Приятно слышать подобные слова от человека, когда ему всего лишь 25 лет, тем более, что они очень созвучны убеждениям Анны Андреевны Ахматовой. Она никогда не считала жизнь бессмысленной, если открывать в ней одну дверь за другой, не теряя для себя подлинный интерес к каждому мгновению...

- А ещё – достойное отношение к собственным возможностям!

- Верно, - улыбаясь, заметила Наталья Евгеньевна. – Так что же, относительно возникновения человеческих страданий?

- Именно после работы в море ко мне пришло понимание, что несчастье человека – в его бессознательности, и как только он начнёт сознательно относиться к собственной жизни, она перестанет его удручать.

- То есть, смерть не беспокоится о том – кто вы, и привилегия самого человека позаботиться о себе?

- От того, что мы ежедневно делаем, и зависит: как счастлива будет прожита наша жизнь, и, наверное, старость.

Пока человек не поймёт, что он ответственен за каждый свой шаг, ему никогда не откроются его удивительные возможности.

- Рассуждаете вы, Боря, как будто прожили целую вечность!

- Чем чаще тебе приходится принимать ответственные решения, тем более ты начинаешь ценить каждый миг. Я это хорошо осознал именно в море.

- А мне представляется, что надо жить так, чтобы с каждым днём любви в твоей душе становилось больше... Хотя бы – самую малость.

- Это, пожалуй, невозможно, если к тебе не пришло осознание и себя, и окружающего мира.

- Боря, а что вы подразумеваете под сознанием? Природа этого состояния так эфемерна... Простите меня за это выражение.

- Всё, что я успел открыть для себя: осознание – есть достижение целостности, в этом заключён смысл собственного существования.

Осознать – значит, думать только о том, чем ты занят, и ни о чём ином. Осознанность – это когда вы делаете то, что вам и надлежит делать: в вас отсутствует надобность выбирать, всё для вас ясно, в осознанности вы лишены замешательства. В вас только благостная тишина и божественный покой.

- Почему люди предпочитают жить неосознанно, не желая пробудиться?

- Становясь по-настоящему осознающим – у человека неминуемо возрастает ответственность перед собой и миром, которой он уже не имеет права пренебрегать, и для многих возможность этого оказывается обременительной.

- Но ведь и возможность быть здоровым и счастливым при этом повышается?

- Да, и это кажущееся противоречие и есть, должно быть, истинное существование, когда непрекращающаяся радость возможна, если только ты живёшь осознанно!

- Часто люди не знают – чему следовать в жизни, и посоветовать им, получается, можно лишь одно: живите осознанно – и всё приложится?!

- Из этого совета проистекает главная жизненная цель – работа над собой, то есть – познание своего истинного «я», Бога в себе. Это, пожалуй, наивысшая добродетель, и пока вы её не достигли – вас не существует, неоткуда струиться в мир любви и состраданию.

- Ну, а что же, всё-таки, есть само «сознание», а не осознание его в себе? Если можно так выразиться...

- Вероятнее всего, сознание – наша исконная природная суть, те возможности, что великодушно предоставило всем нам Бытие. Это – пуповина, соединяющая человека с тем Миром, что его породил, а осознание себя – это принятие в себе Бога.

Сознание – это состояние, в котором совершенно свободно и ясно воспринимаешь себя частью Великого Целого, подарившего тебе возможность радоваться и творить. Как вы полагаете?

- Вы правы. Осознать себя – значит, именно проявить свою индивидуальность, открыть для себя собственное настоящее лицо, твоё естество, данное тебе от рождения. И здесь, наверное, невозможно обойтись без творчества...

- Во всей своей жизни, как и в детстве, я никогда не прекращал в себе потребность жить интересно. Имея полное право быть счастливым, я и был им. Человеку, если он всё время задумывается над тем – как стать счастливым, я бы позволил себе дать добрый совет: если в ваше сердце проникнет желание творить – создайте что-нибудь достойное, и вы почувствуете себя на вершине блаженства!

- Согласна. Творчество – это желание что-то важное произвести: то, что вас никто не заставляет делать, но вы делаете. Творчество – дар Божий, оно – в генах, и вы не можете не выражать себя через увиденное, через то, что вас заинтересовало и поразило. Это – способ мыслить и поэтично излагать пережитое, стремясь максимально приблизиться к истине.

- Творчество – свидетельство того, что мы слышали Бога в себе, с радостью отправились к Нему, и открываем на этом пути и для себя, и для других чудесные вещи, созидавая при этом новые, ещё не бывалые...

- А вот в этом – очень глубокий смысл существования во Вселенной: возможность создавать то, чего ещё, быть может, действительно, не существовало!

- Я уверен, что основываясь на Боге в душе, художнику-творцу следует идти своим путём, ещё дальше, чем задумал Господь! Вероятно, Он создал духовное семя человека из-за большого интереса, с загадкой на длительное время, может быть – на бесконечность: а чего человек добьётся? Что из всей этой задумки получится? А ну, как какой-нибудь человек перещегооляет Меня? Вот будет дело! По-настоящему великое человеческое дело!

- Знаете, Боря, я уверена, что вы в своей жизни никогда не будете зависеть от внешних обстоятельств, до того в вас много всего сосредоточено внутренне... И это, наверное, одно из главных достоинств развитого человека.

- Правда, это сродни тому, как если бы вы практиковали ненасилие, находясь в сибирской тайге и воздерживаясь от желания прихлопнуть хотя бы одного комара, сохраняя при этом спокойствие!

- Вы всё преодолеете, я это чувствую, и море, действительно, ваша стихия.

- Я жил всегда так, что обыкновенная морская галька под ногами выглядела, как рубины и изумруды...

- Творчество – это ещё естественное желание проявить накопленный в себе потенциал, понимание, что уже невозможно ничего откладывать. Тебе хочется жить в полную силу, если ты – творческий человек!

- Хорошо, если людей побуждает творить осознание, что иного пути не существует... И даже когда тебя в твоём творческом пути подстерегает болезнь или смерть – потребность к созиданию не должна покидать твоего сердца.

- Как всё легко и радостно происходит, когда человек любит и творит!

- Мне нравится жить, делая то, что я хочу делать, и что бы ни случилось со мной – всё приходится мне по душе, потому как я честен по отношению к самому себе, а единственный способ донести до мира своё сознание – есть искреннее следование жизненной дорогой, которую ты выбираешь с невинной чистотой ребёнка, как в детстве, когда просил бабушку в очередной раз прочитать уже давно известную тебе сказку.

- А самое лучшее, что есть в жизни, случается само собой, когда ты этого не ждёшь! Величайшее из всех сокровищ – наша возможность жить, открывать себя, стремиться познать не познанное... Что может быть прекрасней?!

- Но приходит это понимание только после того, как ты всё попробуешь и переживёшь. Сделай всё, что только было можно, и никогда об этом не пожалеешь.

- Вы счастливы?

- Моё счастье заключено в моём знании, в том, что я ценю своё время и всегда использую так, будто его у меня совсем не осталось. Жизнь прекрасна

и удивительна, и если для какого-то человека она не оказывается таковой, значит, он просто перекладывает ответственность за своё счастье на кого-то другого. Зачем попусту тратить своё, отпущенное только тебе драгоценное время?

- Вы знаете, Боря, мне порой кажется, что суть жизни можно отыскать лишь в себе, сколько бы вы ни путешествовали и не преодолевали препятствий...

- Конечно, можно прочесть множество мудрых текстов, а ещё существуют всякие диковинные древние сказания... Когда идёшь по проложенной кем-то колее – ничего нового в твоей жизни не предвидится. Чтобы обрести интересное и достойное будущее – нужно ступить на целину, не боясь отдать себя на волю самых невероятных приключений... Только тогда возникает вкус к жизни, тебя охватывает её неподражаемый аромат, и сердце открывается для дальней, захватывающей дороги, где ты становишься, несомненно, богаче.

- Жизнь – прекрасна, но отчего тогда все несчастья?

- Опять же – из-за неосознанности человека, который не то, что утратил, а даже не обрёл свою связь с землёй, воздухом и людьми, всем тем, что даровано ему просто так, ради великой благодати.

Я уж не говорю про море... Люблю его. Именно оно представляет для меня сокровищницу жизни. Там, в глубинах, таятся самые сложные жизненные переплетения, о которых просто страшно помыслить, но они есть, и тебе, постепенно, начинает нравиться думать о них, пытаюсь даже разгадывать, представляя – как всё гармонично сложится, когда удастся, хотя бы чуть-чуть, проникнуть в эти глубинные секреты...

Глядя в море – запасаешься его простором, чтобы и самому нести в жизни умиротворение, покой и счастье...

- Не представляю, как можно находиться в море целых полгода?!

- Перед тем, как отправиться в своё первое морское путешествие, я буквально жил морем, оно мне снилось, и я был переполнен жадной воображаемых приключений. Это состояние можно сравнить с тем ощущением, когда отец прочитал мне «Остров сокровищ». Мне тогда было лет пять, и я просто грезил дальними странствиями и героическими поступками. Я ещё в раннем детстве почувствовал, что море – моя родная стихия, правда, желание отправиться к нему пришло гораздо позже.

- Как вы можете объяснить эту тягу?

- Вероятно, это было моим предназначением, и мне просто предстояло его осуществить. Всё в доме родителей и бабушек, во всей окружающей меня жизни, как будто предопределяло этот шаг.

- Расскажите!

- Сразу всего и не вспомнить...

- Ну, хотя бы одно событие!

- Даже когда я был совсем маленький, я думал, что море располагается неподалёку от бабушкиного дома, через улицу, и ещё чуть дальше – за

парком, а там, на самом деле, находилась река Кама. Откуда же мне было знать, что это – не море, и здесь, совсем рядом, живёт, оказывается, иная стихия, о которой я ничего не ведал. А между тем, убеждённости в том, что море где-то поблизости, не покидала меня. Только одно присутствие около нашего дома воды - уже предполагало существование именно моря.

Уверенность в этом подкрепляло старинное здание речного училища, мимо него мы с бабушкой часто проходили, когда гуляли, и я, кажется, даже начинал угадывать неслышно звучащую в себе музыку неведомой морской жизни. Особенно, когда из резко распахнутых дверей высыпали на улицу фигурки молодых людей в форменных, м поблескивающими пуговицами тужурках, и, задорно стуча каблуками по разогретому асфальту, спешили туда, где было неизвестно как, но куда невыразимо тягостно тянуло. В моём разгорячённом представлении это были непременно моряки, которых я, правда, видел только в книжках, но ведь у них такие сверкающие пуговицы и чёрное деручее сукно! Как-то я ухитрился-таки до него дотронуться, что не осталось никаких сомнений: где-то рядом – море.

Наталья Евгеньевна в восхищении всплеснула руками, прижав их к груди, и смотрела на меня сквозь очки своими огромными голубыми глазами так восторженно, что я вдруг вспомнил свою бабушку, и тоже заулыбался.

- А однажды, весной, бабушка повела меня в кинотеатр, что тоже находился неподалёку от нашего дома, за углом. Этот день запомнился ещё и потому, что собираясь в кино, уже в коридоре, когда бабушка надевала своё поношенное демисезонное пальто, из его рукава вдруг выскочил огромный рыжий хомяк, и скорее не напугал, а очень рассмешил нас. Дом был старым, деревянным, и, спускаясь по скрипучей лестнице, мы с бабушкой тогда решили, что хомяк, наверное, перепугался не меньше.

Наталья Евгеньевна опять, как девчонка, сначала обрадовано воззрилась на меня, а потом, весело рассмеявшись, воскликнула:

- Как это, должно быть, необыкновенно: обнаружить в рукаве пальто такого толстяка!

- И вот, мы тихонько шли, держась за руки, и меня отчего-то переполняло непонятное волнение. Я до сих пор не могу себе объяснить, почему бабушка решила повести меня именно на этот документальный, чёрно-белый фильм о четырёх героях-моряхах, чей катер оторвало в сильный шторм от пирса в заливе Касатка, на далёком курильском острове Итуруп, и носило по морю сорок восемь суток!

- Я помню этот фильм, об этом событии тогда говорила вся страна, о нём писали газеты...

- Вот и бабушке, наверное, очень хотелось посмотреть фильм, а меня не с кем было оставить. Несмотря на мой небольшой возраст, фильм буквально приковал всё внимание. Моряки в нём мужественно боролись с захватившей их стихией, не поддаваясь ей даже тогда, когда нечего было есть. Они варили в морской воде обрезки своих кожаных ремней, чтобы те стали мягче, а потом жевали, подолгу не выпуская измочаленные кусочки изо рта.

Помнится, каким устрашающим и грозным выглядело море, даже в безобидной темноте притихшего зала, а что же оно представляло из себя на самом деле, думал я, в этом недостижимом краю земли, куда, казалось, ни за что и никогда не попасть!

- Конечно, разбушевавшееся море, наверное, ужасно, но что в этом странного? Ну, если только этот неведомый огромный мир просто пока не умещался в вашем маленьком понимании!

- Да. Очень остро переживалось за отважных людей, и ещё не покидало ощущение, будто я сам, вместе с этими моряками, противостоя бурному морю. И разве мог я знать, как через двадцать лет попаду на Курилы, и буду работать под водой именно в заливе Касатка, и зимние шторма будут угнетать своей безысходностью и меня тоже?!

- А вот это уже удивительное совпадение...

- И я вспомню тогда захудалый старенький кинотеатр со скрипучими вытертыми креслами, бабушку в поношенном пальто, и то удивительное переживание слитности с предстоящей жизнью, что уже, оказывается. Приходила ко мне в детстве. Всё приключившееся в ней и бережно хранимое с раннего детства с неимоверной силой тогда охватит меня, понесёт над ожерельем из таинственных курильских островов, и уже больше никогда не отпустит...

- Так увлекательно, Боря, слушать о вашем детстве. Действительно, всё это неспроста пришло в вашу жизнь уже в таком раннем возрасте, и как прекрасно, что вам удалось разобраться в этих знаках, не пропустить их!

- Потом ещё было много всего, и оно, кажется, именно подталкивало меня к мысли, что упоминание о море неслучайно то и дело возникает в моей жизни, как будто подсказывая: вода – твоя родная стихия, и тебе не обойтись без неё.

- Пожалуйста, расскажите что-нибудь ещё.

- Взять, хотя бы, альбом, что я обнаружил в комодике бабушки, он принадлежал дяде Володе, брату моей мамы, погибшему на фронте. Сын бабушки Саши, у которой мы тогда жили всем семейством в деревянном доме, дядя с детства мечтал стать художником.

Альбом был старый, с пожелтевшими грубыми листами, и на каждом рисунке в нём изображался корабль. Иногда корабль был нарисован с надутыми ветром парусами, но чаще – с многочисленными надстройками, что красиво громоздились друг над другом, и завершались дымящейся трубой. Будучи ещё совсем маленьким, я тогда, конечно, не в силах был постигнуть того, что каждый корабль будто приветствует меня, и приглашает ступить на его палубу.

Все эти корабли, когда-то мастерски изображённые моим дядей, удивительным образом завораживали, и хотелось научиться, так же правдиво, изображать их самому. Но требовалось какое-то знание, чтобы правильно и красиво их нарисовать. Больше всего поражало в рисунках то, что корабли двигались именно на меня.

- Вы почувствовали это?

- Я ровно слился мысленно с ними, сам превращаясь в гордый и сильный корабль. В детском саду, во время уроков рисования, я пытался достичь сходства с дядиными кораблями, но у меня ничего не получалось. Нос корабля, как я ни бился, выходил кривым, борта разъезжались далеко в стороны, иллюминаторы будто повисали над морским пространством, которое тоже получалось каким-то неправдоподобным. Мне становилось очень горько, что у меня не выходит подходящий рисунок...

- Но все мечты ваши, тем не менее, были неотрывно связаны с морем, укачивая на своих невидимых волнах, - с улыбкой заметила Наталья Евгеньевна.

- Мало того, на рисунках дяди море редко выглядело спокойным, а больше – бушующим, неукротимым. Оно будто стремилось захватить корабли и повергнуть их в свою бездну. Но корабли мужественно преодолевали разгулявшуюся стихию, так мне казалось...

- И конечно, море всё чаще захватывало ваше воображение и уносило в неведомые дали?

- Они даже не представлялись, а только угадывались, но при этом я переживал непередаваемое счастье! Потом, при переезде на новую квартиру, альбом, конечно, пропал. Никто из взрослых не позаботился о том, чтобы его сохранить. Но главное, я уже познакомился с ним, запомнил всё, что он нёс в себе, и не забывал никогда, стремясь потом всей своей морской жизнью продлить в себе мечты дяди, осуществляя собственные...

- Вы знаете, Боря, из того, что вам открылось о море, когда вы были ещё маленьким, мне становится понятным, какой интересной может оказаться ваша судьба... Всё, что будет связано в ней с морской стихией, вероятно, дар Бога, благословенный для вас крест, - тихо промолвила Наталья Евгеньевна. – Это очень важно!

- Иначе, зачем я тогда появился на свет?

- А что, вообще, это огромное море может значить для человека?

- Природа моря помогает нам настроиться на целостность жизни, на восприятие себя её частью, всегда оставаясь осознанным участником в постижении таинственной Вселенной. Сколько замечательного в окружающей жизни минует человека, пока он не обретёт способность понимать и впитывать эту мощь моря, силу скалы или мудрость вековой чащи... Когда человек внимателен и неутомим, он берёт из природы всё лучшее, что она в себе содержит, пусть это будет огромное море, даже – океан.

- Сколько же времени нужно провести в нём, чтобы напитаться его силой?!

- Если задуматься – мимолётное счастье не приносит человеку такого удовлетворения, какое доставляет в своей неустанности сама жизнь, чем бы ты ни занимался, главное – любимым делом, и если ты любишь море – оно входит в тебя сразу, бесповоротно, как только ты раскрыл ему своё сердце.

- И тогда счастье оказывается не удачным сочетанием обстоятельств, а состоянием твоего ума?

- Вернее, души... В море я вдруг осознал, что когда ты всей душой отдаёшься любимому делу, то можно трудиться в нём всю жизнь, оставаясь безвестным, не добиваясь славы или успеха, и быть при этом счастливым.

- Кажется, японский поэт – Акутагава Рюноскэ, однажды заметил, что жизнь в безвестности не страшна, если сумел сохранить в сердце цветы жизни?

- Вот-вот... Но только тот, кто не хочет работать, счастливым быть не может, ибо счастье достигается в непрекращающемся труде души, и тогда не почувствовать её другим будет невозможно.

- Сколько же человек должен познать, и от чего отречься, чтобы достичь такой душевной чистоты?!

- Человеку никогда не пересечь океан, если он не наберётся мужества потерять берег из виду...

- Вам это, Боря, удалось...

- Да... И наградой твоему пылливому сердцу – собственная божественная, а значит – и радостная отрешённость, с какой ты приносишь в жертву всю свою жизнь, и если она отдана морю, душа твоя полнится его энергией до краёв!

- А вы пробовали писать? У вас бы, я думаю, неплохо получилось.

- Для этого я и отправился в своё морское путешествие. Если кто-то желает познать себя, он должен понять, что сначала ему следует измениться, стать свободным, ибо для каждого существует только его, собственная правда, на обретение которой ему необходимо решиться, и я решился.

- Вы меня всё больше поражаете этой своей целеустремлённостью.

- Мне кажется, очень важно прийти к пониманию, что нужно прекратить всякое беспокойство, когда из плохого хочется стать хорошим, а из некрасивого – красивым, и просто начать жить, наслаждаясь всем происходящим. Радоваться тому, как всё само собой длится. Нужно принять жизнь!

- Согласна. Жизнь, какова она есть, уже вполне достаточное богатство, чтобы не просить большего. Мы – родились, и только поэтому стоит позволить вещам существовать так, как они устроены!

- Конечно. Если всё в жизни происходит без нашего ведома: и рождение, и смерть, и любовь, то отчего нам волноваться? И если у нас есть возможность радоваться, пока мы живём, то почему бы нам не следовать этому жизнеутверждающему настроению? Мы здесь только для того, чтобы с каждым днём процветать, живя счастливо и богато, ибо Вселенная изобильна, и она всегда и во всём нам помогает.

- Милый, Боря, - Наталья Евгеньевна положила руки на колени, и, опустив голову, на минуту задумалась, а потом радостно спросила:

- А вы знакомы с творчеством Константина Паустовского?

- В одной из его книг я как-то прочитал, что он с детства любил, лёжа, прикинувшись спящим, выдумывать всякие необычайные случаи с собой, или путешествовать с закрытыми глазами по всему свету...

- Я помню это у него, - мягко произнесла Наталья Евгеньевна.

- Как бы это не выглядело странно, я в детстве никогда не мечтал, выдумывать – выдумывал, но как только появлялось то, к чему устремлялось всё моё существо, я тотчас отправлялся в своё внутреннее путешествие, и уж ничто не могло мне помешать. Обнаружив в себе ценное желание, и поставив перед собой цель, я все свои силы направлял на её осуществление. Даже – в раннем возрасте.

- Какой бы далёкой эта цель ни казалась?

- Однажды намеченное, оно сразу оказывалось для меня всем, что составляло суть жизни, и разве можно было делать в ней что-либо достойное, искренне полагал я, если у тебя нет настоящей цели? Цель представлялась для меня с этой поры началом и корнем дела, достижение её становилось первостепенным вопросом жизни, и промаха невозможно было допустить. Так я был устроен.

- Откуда же в вас бралась эта отвага, ведь только с ней возможно достижение задуманного?

- Наверное, из прошлых существований, а значит – и увлекательных путешествий. Захотел пройти океан – и вот я посреди Тихого океана, чего никак не мог представить себе, пока доподлинно не увижу его. Цель моя достигнута, но сколько неизведанного ещё предстоит увидеть! Не есть ли это истинная радость для человека, не мыслящего себя без путешествий и приключений?

- А что дальше?

- Цель любого путешествия – однажды, всё-таки, остановиться, но ... ощущая себя наполненным энергией замечательных открытий.

- Получается, целью путешествия являются знания?

- Открытие себя и мира, его красоты... Когда вы скажете: «Я – здесь и сейчас», то значит, вы пришли к Богу. Ваше путешествие завершено, и ваше внутреннее равновесие найдено.

- Я понимаю – о чём вы... Знаю, Осип Эмильевич ощутил это равновесие, оно, кажется, всегда в нём было.

- Не сомневаюсь. Даже прочитав одно его стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков», я уже понимаю, что Осип Эмильевич достиг Источника собственной духовности, и он, конечно, воспринимал это Вселенское Мироздание и своим тоже.

- Абсолютно точно, Боря. Если у поэта есть воздух, еда, крыша над головой – зачем ему желать чего-то большего? Уж кто-кто, а Осип Эмильевич постиг себя изнутри, и, разумеется, достиг своей внутренней природы. Хотите, я прочту вам этот стих?

Наталья Евгеньевна тотчас нашла на этажерке маленькую голубую книжечку, раскрыла её на нужной странице, и, замерев, на одном дыхании пропела нетленные строки поэта:

«За гремучую доблесть грядущих веков,  
За высокое племя людей  
Я лишился и чаши на пире отцов,  
И веселья, и чести своей.  
Мне на плечи кидается век-волкодав,  
Но не волк я по крови своей.  
Запихай меня лучше как шапку в рукав  
Жаркой шубы сибирских степей.  
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,  
Ни кровавых костей в колесе,  
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы  
Мне в своей первобытной красе.  
Уведи меня в ночь, где течёт Енисей  
И сосна до звезды достаёт,  
Потому что не волк я по крови своей  
И меня только равный убьёт».

- Когда поэт создаёт такие стихи, он может быть покоен душой – путь его на Земле завершён, и он готов к дальнейшему развитию и пониманию этого удивительного мира.

- В смысле, что он – больше не человеческое существо, а божественное?

- Да. И жить должен как просветлённый. Не зря своим просвещённым Учителям в Индии добавляют приставку «свами», что означает – «учитель самому себе». С этого момента просветлённый человек готов направлять к своему истинному «я» других, и это – новое, невероятно увлекательное путешествие!

- Боря, вы – чудо! Из того, с чем вы уже успели познакомиться за наши вечера, что-то вам понравилось у Осипа Эмильевича больше всего?

- Вот это:

«Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!  
Я нынче славным бесом обуян,  
Как будто в корень голову шампунем  
Мне вымыл парикмахер Франсуа...  
Держу пари, что я ещё не умер,  
И как жокей ручаюсь головой,  
Что я ещё могу набедокурить  
На рысистой дорожке беговой.  
Держу пари, что нынче тридцать первый  
Прекрасный год в черёмухах цветёт,  
Что возмужали дождевые черви  
И вся Москва на яликах плывёт.

Не волноваться. Нетерпенье – роскошь.

Я постепенно скорость разовью,

Холодным шагом выйдем на дорожку.

Я сохранил дистанцию мою».

- Мне кажется, вы сейчас так и живёте!

- Да. Я переживаю огромную радость. И ещё – единение со всем миром, что чувствует, и, кажется, приветствует меня.

- Говоря о просвещённых учителях Индии, вы упомянули такое понятие, как истинное «я»... Что вы под ним понимаете?

- Что представляет из себя истинное «я»?

- Да. Как можно просто объяснить это человеку, чтобы не ошарашить, а приблизить его к пониманию себя.

- Наверное, это «я» принимает мир таким, каков он есть, и ему присуща очень развитая интуиция: она позволяет делать в жизни всё, как надо.

Осознание своего истинного «я», мне кажется, это просто естественный человеческий опыт, врождённое право каждого человека найти своё предназначение и развить его, становясь с каждым шагом немного лучше – более добрым, великодушным и покойным. Если вы всё делаете верно, со временем открывается, что вы не отделены от всего Мироздания, и способны видеть совершенство в самом обыденном настоящем.

- Нет при этом никакого надлома, и ты не чувствуешь разобщённости с миром, правда? То, что было раньше недостижимым, теперь, без каких-либо чудес свыше, становится для тебя обычным... Встреча с Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной очень помогли мне в этом.

- Простите, Наталья Евгеньевна, а как вы сейчас относитесь к неминуемому в жизни увяданию?

- Тревожные эмоции, конечно, не покидают при этом человека, они – естественное проявление жизни... Просто, к концу её ты становишься человечнее, глубже... Я совершенно спокойно стала относиться к процессу старения, и приближение смерти не причиняет мне никаких страданий.

- Наверное, это происходит потому, что осознав себе истинное «я», человек уже непривязан так к своему телу, оно – лишь очередная одежда для его бессмертной души...

- Вы знаете, Боря, старость прекрасна: она – испытание для духа человека, что подошёл к краю своей физической жизни. Но край этот может быть отодвинут до самого конца, когда просто закрываешь глаза, и улетаешь в иной мир, в Мир душ, где тебя ждёт, в первую очередь, осознание своего жизненного пути. Затем – встреча с Учителями и Верховными Мудрецами, разбор собственных жизненных поступков и размышления по поводу предстоящих воплощений, если в них возникает потребность.

- Даже, когда ты ещё не оставил этот мир, и понимаешь, что ничего уже в нём, скорее всего, не совершишь?

- Мысленно ты всё равно находишься в согласии со всеми жизненными энергиями, с какими тебе привелось быть: и с морем, и с землёй, и с лесом, и

с миром растений и корней, с загадочной потаённостью камня, - как я её люблю... И хорошо, если ты со всеми этими энергиями был честен, а это – главное. Честно относиться к тому, что тебя, действительно, трогает, разве не счастье? Именно в таком отношении к миру заключена любовь, и если ты следуешь путём, что угадывает и предполагает твоё неутомимое сердце, значит, родится в преклонные годы и радость, и желание созидать. А созидать в эти самые годы – ой, как важно!

- В отличие от несовершенного мира человека, мир природы и творчества совершенен, и это необыкновенно успокаивает... Сознание, тогда, утрачивает границы, ты свободен от страха перед жизнью и исполнен блаженством, беззаботно плескаясь в её реке, в своём истинном «я»!

- Скорее – в море... Ах, Боря, как бы мне хотелось тоже попутешествовать! Вы – романтик, недаром у вас такая экзотическая профессия, и вам подвластна «муза дальних странствий».

- В море ты не можешь не преисполниться величием окружающего тебя пространства, в полной мере наслаждаясь его свободой и возможностью пребывать в своей, когда управляешь судном, с радостью устремляясь за неведомый горизонт. Пребывание в своей свободе оказывается невероятно благотворно, но понимание этого приходит только после экспедиции, при возвращении на землю. Познать глубокий смысл вещей – значит, достичь многого в изменении самого себя, а это очень не простая вещь.

- Ведь в нас заключён целый мир, изменить внутри себя такое огромное пространство – всё равно, что постичь Вселенную!

- Но так и происходит, когда оказываешься в море. Именно там приходишь к пониманию своей внутренней природы, и не имеющее границ водное пространство, окружающее со всех сторон, помогает тебе в этом.

- Ну, а если что-то складывается не так, ивы оказываетесь в непредсказуемом штормовом море?!

- В этом смысле, наверное, важен ваш душевный настрой, когда мы сами выбираем – как отнестись к какой-либо ситуации, и здесь, как раз, и помогает эта безграничность моря. Лучше всего – просто принять душой происходящее, видя в этом проявление Божьей воли.

- И принять всё это следует спокойно?

- Даже – с любовью... Жизнь предоставляет тебе замечательный случай – воспитать в себе внутреннее бесстрашие, и как радостно совершать это посреди бескрайнего морского пространства! Глупо было бы им не воспользоваться.

- Как чудесно, наверное, всё это переживать, - с затаенным духом, еле слышно проговорила Наталья Евгеньевна.

- Радостно понимать, что ничего не происходит случайно, и от тебя требуется готовность принимать любые испытания ради постижения жизни. Развить уверенность в себе – это ли не предел мечтаний для любого мужчины, тем более, связавшего свою судьбу с морем?! Моряк никогда не

должен устать работать над собой в духовном плане, и разве это не пример для того, кому дорого небо или бескрайние лесные дали?!

- Боря, вы меня всё более восхищаете своим отношением и к жизни, и к морю, и как тут не вспомнить Осипа Эмильевича:

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса.  
Я список кораблей прочёл до середины:  
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,  
Что над Элладою когда-то поднялся.  
Как журавлиный клин в чужие рубежи,  
На головах царей божественная пена –  
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,  
Что Троя вам, одна, ахейские мужи?  
И море, и Гомер – всё движется с любовью.  
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит  
И море чёрное, витийствуя, шумит  
И с тяжким грохотом подходит к изголовью».

- Мне кажется, Осип Эмильевич, несмотря на жестокое непонимание и гонения, что он претерпел, всегда находился в гармонии с собой и окружающим миром, и даже мог при этом только сам признать себя успешным, тогда как другие люди его таким не считали, но, тем не менее, успех был на его стороне.

- А что вы подразумеваете под этим словом – «успех»? Именно в отношении Осипа Эмильевича?

- По-моему, успех – это когда человек находится на своём месте, выполняя именно своё предназначение. А если это так, то он выполняет и волю Бога, как Осип Эмильевич... Его успешная жизнь – лишь ступенька на пути к Абсолютному Свету.

- Боря...

- Только сильный человек может взять на себя груз постижения этого пути со всей его темнотой и муками, потому что уже попробовал на себе их сладостный привкус...

- Как и вы взвалили на себя все тяготы этой морской дороги!

- Миновать её невозможно, если сознаёшь в душе Бога. Человека, обычно, одолевают зной, грех, да проклятие Божие, что он безропотно принимает, ещё изнуряют непосильный труд без радости и неразумная взыскательность к людям, но разве сравнишь всё это с тяготами моряка, что, кажется, никогда не обременён нелёгким трудом в море и оказанием доброй услуги своему товарищу? Хлопоты моряка – ему в радость, потому как совершаются блага ради, и хоть тяжело самому терпеть, а ещё тяжелее других обижать!

- Ваша работа, мне кажется. Так необычна и интересна, что по экзотичности её можно сравнить только со стихами Гумилёва. Помните его «Приглашение в путешествие»?

«Уедем, бросим край докучный

И каменные города  
Где вам и холодно, и скучно,  
И даже страшно иногда.  
Нежней цветы и звёзды ярче  
В стране, где светит Южный Крест,  
В стране богатой, словно ларчик  
Для очарованных невест...»  
- Не могу забыть только это:  
«... Я буду изменять движенье  
Рек, льющихся по крутизне,  
Указывая им служенье,  
Угодное отныне мне.  
А вы, вы будете с цветами,  
И я вам подарю газель  
С такими нежными глазами,  
Что, кажется. Поёт свирель...»  
- И ещё в конце:  
«Когда же смерть, грустя немного,  
Скользя по роковой меже,  
Войдёт и станет у порога, -  
Мы скажем смерти: «Как, уже?»  
И, не тоскуя, не мечтая,  
Пойдём в высокий Божий Рай,  
С улыбкой ясной узнавая  
Повсюду нам знакомый край».

Наталья Евгеньевна задумалась, с лица её не сходила ласковая улыбка, и так мы какое-то время сидели, молча, в полном согласии с воцарившейся тишиной, а потом она спросила:

- Боря, а чего вам сейчас более всего хочется?

- Спросишь, бывало, об этом какого-либо человека, и тот, почти не задумываясь, начинает стенать о несправедливости жизни, ратуя лишь за материальные блага для себя и своих близких, доброе здоровье, отсутствие каких-либо неудач и препятствий, тогда как истинное сердечное смирение в нём отсутствует... А ведь именно из него исходит настоящая радость и выдержка, когда все причиняемые ему беды человек переносит достойно, может быть только с лёгкой грустинкой, как это было присуще Осипу Эмильевичу, и каким вы, Наталья Евгеньевна, запомнили его навсегда: « с гордо закинутой назад головой, почти с военной выправкой, даже – с королевской осанкой...»

- Именно таким он и остаётся в моей памяти.

- Так вот, я бы хотел всегда видеть мир таким, какой он есть, ведь это – великое благо, но люди продолжают создавать свой, надуманный, и в этом им помогают их беспокойные умственные проекции... Поэтому нужно, для начала, изменить ум, сосредоточив всё внимание на развитии души, а уже

потом управлять и умом, и своей жизнью. Я хочу научиться жить в согласии с самим собой и Богом, чтобы максимально использовать заложенную в себе божественную энергию.

- Каждому человеку, наверное, хотелось, хотя бы однажды, отправиться в путешествие, - вдруг мечтательно произнесла Наталья Евгеньевна.

- На первый взгляд кажется, что путешественником может стать каждый, если, конечно, захочет, но на самом деле для поиска приключений необходимо быть ... счастливым.

- Счастливым?!

- Да-да, потому как если вы несчастны, то не сможете решиться на проникновение в неведомое, для этого у вас просто не будет сил, а вот когда вы ими переполнены, то есть – удовлетворены своей жизнью, неизвестное вас никоим образом не обойдёт и не испугает: чтобы ни случилось – Существование всегда с вами!

- Но чтобы быть переполненным счастьем, нужно, наверное, заслужить его, начиная с путешествия к самому себе?

- Ничто не может быть его прекрасней, убедился на собственном опыте. Без этого внутреннего движения вам никогда не встретиться с Богом. Стоит, хотя бы раз, пуститься в своё внутреннее путешествие, и ты уже больше никогда не будешь таким, каким был прежде.

- Можно, должно быть, предпринять долгое путешествие для того, чтобы самому создать нечто прекрасное, как это получилось у Гумилёва, когда он решил отправиться в Египет: ведь ему предстояло прожить именно небывалое...

- И тут нужно быть готовым к тому, что оно далеко не сразу тебе откроется, даже если ты был искренен.

- Почему?

- Вероятно, Существование ещё не успевает освободиться от сомнений относительно твоих, не совсем ясных намерений, пока ты сам не пережил их. Так произошло со мной.

- А что должно явиться самым важным толчком, после чего человек всё же решается на поступок? Ведь отправиться в дальнее путешествие, несомненно, подвиг?

- «Если не сейчас, то когда?» Взяв это утверждение как единственное верное и неотъемлемое жизненное правило, когда решаешься отправиться в путешествие, ты навсегда избавишь себя от необходимости выбирать наименьшее сопротивление на пути продвижения и к своей истинной сути, и ко всему неизведанному.

- Каким бы опасным ни казался этот путь в неизведанное?

- Никто не сможет отнять у тебя то, что ты приобрёл с помощью собственных усилий, а сам ты никогда не овладеешь тем, чего не заслужил.

- Только не всегда тебе в этом сопутствует удача...

- И всё-таки, человеку однажды необходимо устремиться в неизведанное, чтобы открыть себя для великой бесконечности... И тут не

обойтись без мужества и осознанной отваги, когда способен отбросить привычное, всё уже давно познанное, что только мешает твоему путешествию к самому себе.

- Сколько же вам привелось пережить за время своих странствий, что вы научились делать такие верные выводы? В вас, Боря, несомненно, присутствует слог, вам непременно следует писать. Пробуйте, не бойтесь неудач и того, что впереди вас ожидает труд, труд и только труд.

Чтобы чего-нибудь достичь – необходимо что-то отдать, словом, пожертвовать очень ценным, вполне возможно – самым дорогим, и всё только для того, чтобы потом обрести нечто большее.

- Я уже убедился, что именно благодаря воле ты с минимальными потерями проходишь самые трудные времена в своей жизни. Я к радости своей совершенно недавно осознал, что только преодолевая очень дальнюю и длительную дорогу, можно почувствовать в себе любовь к жизни и уважение к малому.

- Вот и Осип Эмильевич, несмотря на превратности судьбы, писал много чудесных стихов, и внутренне был всегда свободен:

«Лишив меня морей, разбега и разлёта

И дав упор насильственной земли,

Чего добились вы? Блестящего расчёта:

Губ шевелящихся отнять вы не могли».

- Не берёшь ответственность на себя – не обретаешь собственный свет. Распоряжайся своей жизнью сам, ибо никто не в силах тебе помочь. Ведь чего бы с тобой ни случилось – в ответе за это только ты! А имея возможность управлять своей судьбой – радуйся такой возможности, именно это делает тебя сильнее, и лишь пережив всё, что стоит пережить, ты становишься освобождённым от каких-либо условностей, ты – индивидуальность, и рано или поздно обретёшь божественную истину!

- Вы непременно достигните раскрытия всех тайн, и ничего не упустите. Для того, чтобы понять жизнь – нужно распахнуть ей объятия, как это делаете вы. Не разделяйте ничего на одно и другое – что важно, что нет, всё едино, и чтобы постигнуть смысл существования, нужно сначала прийти к простой истине: всё, о чём вы думаете и во что верите – тем и становитесь. Откройте своё сердце жизни, испейте её до дна, как чудесный напиток, а не горькую отраву, и поверите в себя, в то, что рождены для счастья. Дерзайте, и будьте всегда с Богом!

- Жизнь так устроена, что человеку нужно непременно отправиться в дальнее путешествие, и замечательно, если им окажется море. Преодолевая на этом пути самые невообразимые препятствия, ты обязательно откроешь для себя и других чудесные вещи, а главное – ты достигнешь находящееся в самом себе, только глубоко позабытое, счастье существования, радость отдачи себя другим. И вот это преданное в твоей внутренней природе забвению удивительное состояние однажды предстанет перед тобой

настолько очевидным, что ты вмиг осознаешь: оно, оказывается, раньше тобой просто не замечалось!

- Душа жива тем, что было ею отдано, и жизнь для любого человека подразумевает в себе, кажется, только одно: в ней должно быть сделано что-то прекрасное.

- Да... А у Гумилёва я больше всего люблю «Капитаны», даже прочёл когда-то этот стих своему первому капитану – Михаилу Александровичу, и ему, помнится, тоже очень нравился Гумилёв, в особенности, его «Жираф»...

- Надо же, морской капитан знает стихотворение «Далёко-далёко, на озере Чад, изысканный бродит жираф...», а мои литературоведы, что часто посещают меня, далеко не все даже подозревают о его существовании!

- Мой капитан – замечательный, самый первый, и мне хочется поскорее увидеть его, и говорить обо всём...

- Знаете, Боря, я вам по-хорошему завидую: сколько интересного и необычного ждёт вас впереди, в вашем морском путешествии на пути к неведомому!

Наталья Евгеньевна вдруг оживилась, и, подбоченившись одной рукой, а другой - взмахнув над чуть закинутой головой, торжественно процитировала:

«И взойдя на трепещущий мостик,  
Вспоминает покинутый порт,  
Отряхая ударами трости  
Ключья пены с высоких ботфорт,  
Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвёт пистолет,  
Так что сыплется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет...»

Я, конечно, не мог не поддержать Наталью Евгеньевну в её поэтическом порыве представить себя, хотя бы на миг, бесстрашным морским капитаном, и с таким же задором продолжил:

«Пусть безумствует море и хлещет,  
Гребни волн поднялись в небеса,  
Ни один пред грозой не трепещет,  
Ни один не свернёт паруса.  
Разве трусам даны эти руки,  
Этот острый, уверенный взгляд  
Что умеет на вражьи фелуки  
Неожиданно бросить фрегат!»

Мы опять немножко помолчали, и улыбнулись друг другу...

- Если Гумилёв предпринял путешествие для того, чтобы создать нечто прекрасное, и прожить небывалое, то почему это недоступно тому, кого тоже манят приключения? Сложность и тайна предстоящего пути точно так же притягивает и меня, - немного погодя, сказал я. – Этот путь и предполагает

дерзновенную отвагу в отыскании неизведанного, способного побудить к созиданию...

- А женщина? – воскликнула Наталья Евгеньевна. – Отважная душа мужчины должна, наверное, расслабляться в её ласковой энергетике, наполняясь жаждой последующих приключений и открытий!

- Мне думается, что самую большую энергию даёт изучение своей внутренней природы, что и представляет из себя самое великое путешествие. Но пробудить её может только дальняя дорога...

- Я полностью согласна с вами, Боря. Даже просто быть, ничего больше не делая, уже удивительно прекрасное путешествие, и оно – нескончаемо.

- И всё же, только риск, без оглядки, по-настоящему отчаянный поступок предполагают наполненную приключениями жизнь... Если ты готов к этому, то всегда будешь свободен и радостен. Не хочется тратить свою жизнь понапрасну, просто ничего не делая.

- А что для вас, Боря, означает свобода?

- Каким бы это ни казалось странным, но нет ничего более ответственного по своей сути, чем свобода. Она же, в полной мере, присуща только разумному существу, а значит, подразумевает под собой, в лучшем случае, движение вперёд, к росту.

- И тут никак не обойтись без путешествия? – улыбнулась Наталья Евгеньевна.

- Свобода, это когда тебя ничего не сковывает, ты обрёл в себе Бога, заложенное Им в тебя божественное сознание, развил его, и значит – живёшь свободно.

- И радостно? – Наталья Евгеньевна опять улыбнулась.

- Невозможно не ощущать себя радостным в этом удивительном мире, где всё проникнуто свободной волей, и её нужно лишь почувствовать и принять.

- Очень важно, Боря, чтобы человек определил для себя в жизни собственную цель, без которой просто невозможно отправиться по ней в путешествие. Чего желаете достичь именно вы, минуя понимание смысла существования другими людьми, только вы и никто иной? Что более всего беспокоит вас в пребывании на этой земле, в хорошем смысле – не даёт покоя, и вам бы хотелось добиться самого сокровенного, без чего вы не представляете своей жизни? Есть такое? Если есть, то вы переполнены жизнью... Так что же это за цель?!

- А цель проста, по крайней мере, для меня: узнать жизнь лучше, как можно более глубоко заглянув в самую её суть, побывав в других бесконечных мирах... Ведь так интересно то непознанное Божество, что создало всех нас, а мы Ему не соответствуем. Я уж не говорю про удивительные места, где так хочется побывать!

Мне, например, пришлось пережить невероятное преображение, когда я столкнулся не только с морем, с океаном! Словно родился заново, и понял, что никогда уже не стану прежним, будто получил ключи от удивительных

тайн бытия, открывающих чудесные секреты, разгадать которые суждено мне одному.

- Очень красиво и достойно... Не беря на себя ответственность – не обретаешь собственный свет, это вы точно сказали...

- Я ощутил это именно рядом с океаном, в результате путешествия, что совершил сначала к самому себе, а затем – к нему.

- Это очень хорошо, что вы распоряжаетесь своей жизнью, ибо никто не в силах вам помочь. Знайте: что бы с вами ни случилось – в ответе за это только вы!

- Я уже давно убедился в том, что возможность управлять своей судьбой – не приносит ничего, кроме радости. Ведь именно это делает человека настоящим.

- И всё же, для путешественника, наверное, всегда очень дорого возвращение домой?

- В любом путешествии важнее переживание возможности возвращения домой, нежели сам приезд и встреча с близкими.

- Отчего же?!

- Потому, что встретившись с родным домом, ты уже начинаешь скучать по дороге, тогда как в экспедиции ещё переживаешь все её прелести, и в то же время – предвкушаешь возвращение...

- Нет, наверное, ничего слаще для путешественника экспедиционных приключений, хотя бы они были связаны с преодолением разного рода мытарств и неустройства, что, тем не менее, обогащают его жизнь?

- Откуда у вас, Наталья Евгеньевна, такие познания о сути путешествий?

- Именно в этом я убеждалась при прочтении дневников и писем Николая Гумилёва, когда он путешествовал по Африке.

- Да, человек способен одолеть любые препятствия – и холод, и голод, и всепокрушающие шторма с бурями, когда он знает, что у него есть отчий дом.

- Но именно в напряжении сил, вдалеке от родного дома, человек, должно быть, обретает крылья и обнаруживает переживание роста... Правда?

- В дороге, когда организм максимально мобилизуется, человек чувствует себя выше, сильнее, в нём пробуждаются лучшие стороны его души, и ему хочется развить это удивительное состояние сопричастности всему живому, не упуская в нём ни капли. Не нужно искать в жизни счастье, необходимо изливать его из себя, а это возможно, только пройдя дальнюю дорогу...

Удивительной теплотой и обаянием были наполнены наши с Натальей Евгеньевной вечера в её маленькой уютной квартирке. Сколько я там бывал, меня никогда не покидало ощущение чистоты и добра. Всегда было светло и радостно, хотелось мечтать и откровенничать. Было по-настоящему хорошо,

и ни разу я не почувствовал, что женщине, дарившей мне неповторимую радость, за семьдесят...

Я смотрел на неё, невольно представляя себе ту Наташу, представшую в своём юном очаровании перед опальным поэтом на одной из его воронежских квартир, и понимал, почему состоялась эта встреча, почему были сохранены воронежские тетради, посвящённые Осипом Эмильевичем ей, «милой Наташе», почему продолжалась многолетняя дружба с Надеждой Яковлевной, его супругой. И ещё на многие и многие «почему?» находил я ответ, глядя на эту прекрасную женщину, о которой сам Мандельштам написал:

«К пустой земле невольно припадая,  
Неравномерной сладкою походкой  
Она идёт, чуть-чуть опережая  
Подругу быструю и юношу-погодка.  
Её влечёт стеснённая свобода  
Одушевляющего недостатка,  
И кажется, что ясная догадка  
В её походке хочет задержаться –  
О том, что эта вешняя погода  
Для нас – праматерь гробового свода,  
И это будет вечно начинаться.»

Она находила такие слова, которые убедительно и точно передавали неведомый облик великого поэта, его манеры, привычки, присущие ему странности, большие и малые неурядицы, преследовавшие Осипа Эмильевича на протяжении всей жизни. Передо мной постепенно изо дня в день, по мере знакомства с Натальей Евгеньевной, вырисовывался образ Мандельштама, приходило истинное понимание его трудной, но счастливой судьбы, и становилось вдруг ужасно больно за него его же болью, помноженную на исковерканные судьбы других, таких, как он... Больно и страшно. «Благополучные» тридцатые для кого-то, кто сладко ел и пил, протитупировал в литературе и жизни, предавая себя и других; «вороньи» тридцатые – для «Мандельштамов».

Каким был тот барак или дворик, где он встретил своё последнее мглистое утро? Полный чувства собственного достоинства, с высоко поднятой головой и безжалостно редеющими на ней волосами, выставя острый кадык на тощей, небритой шее... «Я – трамвайная вишенка страшной поры...»

Трудная, но счастливая судьба... Тяжёлое, незабываемое время, в котором жила страна...

При воспоминаниях ушедшего времени и чтении любимых строк голос Натальи Евгеньевны – удивительно певучий, но с твёрдыми, звенящими нотками, молодец, он необыкновенно волновал, проникая в тайники души, поднимая всё лучшее в ней.

Были у Натальи Евгеньевны и любимые воспоминания, к которым она возвращалась охотно и повторяла с большой любовью и трепетом. Это, конечно, знакомство с Мандельштамом осенью 1936 года, поездка по поручению Надежды Яковлевны Мандельштам в Ленинград, к Ахматовой, и тот облик поэта, каким его запомнила Наталья Евгеньевна для себя навсегда: «Лицо нервное, выражение самоуглублённое, внутренне сосредоточенное, а иногда – по-мальчишески лукавое. Голова несколько закинута назад. Очень прямой, почти с военной выправкой, нет, скорее, с королевской осанкой, среднего роста, в руке неизменная палка, на которую Мандельштам никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему. Не новый и редко поглаженный костюм на нём был элегантен. Вид независимый и непринуждённый... У меня было ощущение, точнее, убеждение, что таких людей, как он, нет».

Незаметно минул по-весеннему неутомонный февраль, ещё быстрее пролетели март с апрелем, и подступил во всём своём великолепии май – с сухими порывистыми ветрами, выдувающими диковинные звуки в верхушках пирамидальных тополей, с арбузной мякотью долгих закатов над вскрывшейся рекой. По утрам из окна номера гостиницы при водолазной школе был виден освещённый солнцем город, раскинувшийся на противоположном правом берегу. В ясные утренние часы он казался розовато-золотым. Влажный ветерок вносил в комнату запах светло-зелёной речной воды, заставляя приятно сжиматься сердце в предчувствии пробуждающейся жизни...

Каждый день, по утрам, пока стояла зима и начало весны, мы приходили на тренировочный полигон и, облачившись в порядком потёртое водолазное обмундирование, опускались под лёд, прямо в вырубленную майну, выполняя разного рода незамысловатые технические приёмы. Буровато-зелёная стывшая вода тягуче смыкалась над медным шлемом, многочисленные испуганные пузырьки торопливо бежали вверх, мимо лицевого иллюминатора. Не по размеру вместительную, неудобно корящуюся перед погружением рубаху, под водой моментально обжимало, так что она намертво присасывалась к телу. Неприятный холод постепенно окутывал с головы до ног, вокруг сгущались рыжеватые-свинцовые сумерки, и неожиданный мягкий удар о дно выводил из охватившего на миг оцепенения.

Волнообразный мельчайший песок струился, кажется, прямо за стеклом, на вытянутую от тебя руку, дно было совершенно голо, и каждое движение отдавалось в скафандре каким-то неестественным, потусторонним гулом. Изредка перед глазами пробегали грязновато-бурые непривлекательные раки, но они были так проворны, что мне никак не удавалось поймать хотя бы одного. Постепенно я начинал привыкать к необычности окружающей обстановки, лишь изредка забывая нажимать на головной клапан для стравливания воздуха.

Имея опыт обучения на Курсах аквалангистов на Сахалине, и трёхмесячную работу по добыче морепродуктов в Японском море, мне не составляло особого труда выполнение учебных упражнений, что подготовили для курсантов преподаватели Водолазной школы. На занятиях в бассейне инструктор требовал от нас безукоризненное овладение аквалангом, для чего разбрасывал лёгочный аппарат, ласты, грузовой пояс и маску на дно в противоположных углах, на различной глубине. Курсанту необходимо было в течение 45 секунд включиться во всё это лёгкое оборудование, представ потом целым и невредимым перед лицом мастера. Я умудрялся проделывать это задание за двадцать восемь секунд, что вызывало зависть у товарищей, прозвавших меня за подобное умение «дельфином», преподаватель же, как правило, ограничивался снисходительно-уважительной улыбкой.

Что касается погружений на речном полигоне, то все они тоже не представляли из себя ничего сложного. Так мне, по крайней мере, казалось, когда я сращивал под водой концы или предстояло соединить фланцы импровизированной трубы, продеть в отверстия болты и наживить на них гайки. Прямо у основания трапа, уходящего под воду, был сооружён верстак с тисками, в них следовало зажать деревянный брусок, с начерченными на нём фигурками рыбок, птичек и разных зверушек, и лобзиком выпилить такую фигурку, после чего она на специальном буйке из пенопласта всплывала, а инструктор с секундомером засекал норматив исполнения задания.

Всё это освоение подводных навыков представлялось мне достаточно забавным, при осуществлении не вызывая никаких затруднений. Даже учитывая, что часто мне приходилось возвращаться от Натальи Евгеньевны через весь город и реку пешком, лишь под утро, и на сон совсем не оставалось времени, я, тем не менее, успевал по всем предметам. Наверное, потому, что думал только о достижимых вещах, ставя себе выполнимые задачи. Иначе, как добиться желаемого?

За шесть месяцев обучения я не получил ни единой четвёрки, только отличные отметки, по всем дисциплинам, включая выполнение подводных нормативов в бассейне и на тренировочном полигоне. Куратор нашей группы, преподаватель водолазной техники и подводных работ, зная, что я частенько прихожу в Школу поздно, и, вероятно, принимая меня за завязатого «гуляку», постоянно пытался поймать меня не подготовленным к какой-либо теме. Но я всегда знал ответ и чётко излагал суть вопроса, вызывая у него этим даже некоторое чувство досады.

Преподавателю, не буду называть его фамилию, почему-то очень хотелось подловить меня на незнании предмета, но я лишал его подобной возможности. Помнится, порой он не в силах был сдержать озлобленности, по-видимому, недоумевая – как я, при своих постоянных «гулянках», умудряюсь отвечать на «отлично» по всем вопросам? Я же, наоборот, ещё более тщательно готовился к каждому занятию, вконец обескураживая его

своей осведомлённостью по любому предмету. Он не понимал – как это у меня выходит, а предметов было немало: водолазная техника, единые правила безопасного труда под водой, гидрология, водолазная медицина, водолазные работы, спуски под воду в водолажном снаряжении, выполнение работ под водой...

Кстати, на «отлично» я сдал и все выпускные экзамены... И вот, когда по завершению обучения в Школе стали подводить итоги, то оказалось, что из 70 курсантов только четверо имели по всем предметам самые высокие результаты, и трём из них, помимо похвальных грамот, вручили золотые значки выпускников Школы, а мне – нет. Не скрою – было обидно, хотя виду я не подал и никому никаких претензий не предъявил.

Позже я понял, что награждение это, по сути, ничего существенного бы мне не дало, а вот силу я обрёл. Именно так, подспудно, накапливается в душе мужество, настоящее чувство свободы от какой-либо зависимости, и ещё – великое терпение. Я должен был принять этот удар, понять его и ни на кого не сердиться.

Я рассуждал так: если бы тебя судьба не била, ты бы становился важным, не чувствуя свою истинную значимость. В таких ситуациях наш беспокойный ум обычно создаёт для себя целое несчастье, сплошные и пустые переживания, но когда ты получаешь незаслуженный удар, - тебе больно, и это мобилизует. Подобного рода испытание необходимо – и оно происходит, тебе его нужно просто принять. Это – своеобразная энергетическая помощь, которую тебе великодушно предоставляет жизнь.

По всей вероятности, думал я тогда, Существование просто проверяло меня на крепость. Воспитывало этими препятствиями, выковывая незаметно волю и оттачивая терпение. Настоящая сила вливалась в меня по капле, зато лишиться её было уже невозможно. Я становился её законным обладателем, она насыщала меня энергией надолго, может быть – навсегда.

К слову будет заметить, что оплату за обучение в Школе, включая питание, я производил из собственного кармана, тогда как остальные курсанты пользовались поддержкой организаций, от которых они были направлены на учёбу. Даже по тем временам она была достаточно внушительной, и я во всём ограничивал себя, не позволяя ничего лишнего. Курсанты могли позволить себе полноценный завтрак и обед в столовой Школы, а мой обед состоял из половины пакета вермишелевого супа, что я заваривал у себя в кубрике, и маленькой порции винегрета за 8 копеек из гостиничного буфета. Если бы не поддержка со стороны Натальи Евгеньевны, которая, конечно, догадывалась о моём бедственном положении, я бы, наверное, не осилил своё обучение в Водолазной школе...

Я никоим образом не обижался на все эти незначительные удары судьбы, осознанно принимал их и верил, что рано или поздно всё наладится. Не пугало и то, что, казалось бы, самые обыденные ситуации оборачивались нешуточным душевным напряжением. Притом, что я видел, как благоволит жизнь к другим людям, даже если они этого не заслужили.

Со временем я понял, что у жизни не существует пустых ударов: все они благоприятствуют росту. Если только ты не нанесёшь такой удар себе сам: своим равнодушием, трусостью и ленью. И дело тут в том, как ты всё воспринимаешь, как относишься к своим собственным возможностям. Важно, чтобы для проверки твоей сути пришло время и понимание, что ты должен отказаться от того, что тебе мешает. Это – необходимая жизненная школа, которую следует, не огорчаясь, спокойно пройти.

И всё это происходило при том, что мы с Натальей Евгеньевной почти каждый вечер беседовали о литературе, и я ещё успевал просмотреть множество книг, что она великодушно предоставляла мне для прочтения, но только у себя дома, заботясь о моей безопасности: ведь это были запрещённые тогда авторы – Булгаков, Мандельштам, Гумилёв, Пастернак, Абрам Терц... В такт своим неторопливым передвижениям под водой, во время погружений на полигоне, я невольно начинал думать о Наталье Евгеньевне, о книгах, которые ждали меня в тихой уютной комнатке с кошками, цветами, мерным боем старинных часов, вниманием и теплотой хозяйки. Забывшись, я даже принимался иногда читать стихи, и нетленные строки великих поэтов звучали под водой величаво и неприступно.

В такие минуты я был счастлив от того, что где-то на том берегу, в небольшой квартирке встречала своё утро женщина, подарившая мне такую же радость, какую несла весна. Сознание этого усиливало возбуждение, но, в тоже время, незаметно подкрадывалась грусть – скоро нужно было уезжать...

Вспомнилось, как морозными лунными ночами, пешком, возвращался я через весь город к себе в гостиничный номер, как, оставаясь в нём наедине с «Кипарисовым ларцом» или «Жемчугами», по-особому переживал протяжённость времени, вернее – совсем его не замечая. Проходя по мосту через реку Воронеж, над моей головой кружились нежные хлопья весеннего снега, и я чувствовал себя самым счастливым человеком, не ощущая никакой усталости... И ещё – как обрадовало предложение Натальи Евгеньевны обойти все места, где жил и бывал Мандельштам. Такая прогулка могла бы дать много интересных находок, догадок и мыслей, а имея в качестве гида Наталью Евгеньевну, несомненно, стала бы просто неповторимой. К тому же, мне очень хотелось в один из таких мягких, сухих и пасмурных дней, прямо на улице, подарить этой женщине маленький букетик лесных фиалок... К сожалению, осуществиться этому не было дано...

В тот последний день я пришёл на Никитинскую раньше того, чем мы запланировали. Было ещё утро, и хотя Наталья Евгеньевна придерживалась давно выработанной привычки вставать и ложиться поздно, она всё же предоставила мне возможность поработать с книгами. Я уже дочитывал «Прогулки с Пушкиным», когда, остановившись на пороге комнаты, Наталья Евгеньевна взволнованно произнесла: «Боря! Вы могли уехать, так и не услышав голоса Осипа Эмильевича! Как я могла забыть?!». Она бережно взяла со стеллажа пластинку в потёртом пакете и, поставив её, предупредила:

«Не обращайтесь внимания на шум в самом начале. Это пройдет... Вы услышите музыку его стиха и всё поймете...»

... Голос Мандельштама звучал тихо, доносясь откуда-то издалека, часто срываясь и проваливаясь из-за давности записи, хоть и реставрированной, словно преодолевая невидимые преграды, но сильно и возвышенно. Это были призыв, восторг, мольба к людям грядущих времён, вызывающая к пониманию благородного дела поэта и его души... Он пел свои стихи...

Голос Мандельштама... Наверное, его невозможно описать. Лучше будет промолчать, потому что голос поэта ни с чем сопоставить нельзя, так же как невозможно подыскать достойное сравнение тихо журчащему горному источнику или красочному оперению диковинной птицы...

Пора было уходить, но Наталья Евгеньевна, не желая отпускать, доставала уже другую пластинку... Мне было суждено услышать ещё один необыкновенный голос – милый, по-мальчишески обаятельный, какой-то ... совершенно неподражаемый. Я слушал, глядя на застеклённый в рамке портрет: скуластое, чистое, с молодым чубом, открытое лицо, и во мне торжественно, крепнув и нарастая, звучал его «Шекспир»:

«Извозничий двор и встающий из вод  
В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,  
И звонкость подков, и простуженный звон  
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.  
И тесные улицы: стены, как хмель,  
Копящие сырость в разросшихся брёвнах,  
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,  
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных...»

... Мне никогда не забыть этого прощания под голос Пастернака, раздающийся во всю свою мощь и прелесть в сводах старого подъезда. В этот подъезд мне всегда страшно хотелось возвратиться, пробежав под двумя низкими арками. А пока, понапрасну не растрчивая всё очарование воронежских дней, я нёс его в себе, наслаждаясь и лелея.

И я тогда ещё подумал, что главное в жизни – ни сколько ты проживёшь лет, а сколько в твоей жизни было вот таких встреч. И, поняв это, я остро ощутил тоску по странствиям, по таким встречам с дорогими сердцу людьми, и без этого уже себя не мыслил.

После встречи с домом, в душе моей затаилось какое-то неизъяснимое чувство потери, неприятно-въедливое и горькое, ни за что не желающее меня покидать. А вот теперь, оказывается, я что-то нашёл, и найденное было даже лучше, чем можно себе представить. Женщина, живущая в истинном времени, сумела без видимого напряжения убедить меня в том, что признание всё равно приходит очень поздно, но следование к нему, по неухоженной дороге жизни, оправдывает любые неудачи.

Уже спускаясь по лестнице, я на миг задержался, в последний раз устремив взгляд к Наталье Евгеньевне. Стоя в простом цветастом халатике,

аккуратно поджав ножку и слегка придерживаясь за перила, она тихонько проговорила: «Боря... Передайте, пожалуйста, от меня привет ... Океану!»

## «ОСТРОВ – КАК ОН ЕСТЬ»

По возвращению на остров, моё настоящее было таково, что требовалось как можно скорее определиться: от какой организации я в ближайшее время отправлюсь в море в качестве новоиспечённого водолаза 2-3 группы квалификации? Много хорошего у меня уже было связано с Сахалином, и в душе от предстоящих событий я не ощущал ничего, кроме приподнятого настроения и радости. Это настоящее, по моему мнению, было настолько хорошо, что я ни на миг не сомневался в таком же многообещающе раскинувшемся передо мной будущем. Был я молод, полон сил и планов, к тому же – дипломированный подводный специалист, а уж как меня тянуло к себе море – трудно передать.

Но при этом в душе присутствовала серьёзность и последовательность в поступках, я точно знал – чем хочу заняться и зачем вернулся на остров. Я не только рвался исследовать морскую глубину, быть там, ощущая всеми чувствами её темноту и тайны, очень близкие моей душе, но меня охватывало неопишимо восторженное желание постигать и красоту моря, вообще – всей жизни, в которой я ещё очень многого не понимал. Сколько, всё-таки, прелести в окружающем мире, даже – на суше, и всё это необходимо самым тщательным образом рассмотреть и запомнить, а лучше – записать. Само собой разумеющимся представлялось ведение дневниковых записей в предполагаемых экспедициях, в которых, верилось, я непременно окажусь. Но с чего начать своё пребывание на ставшем дорогим для тебя острове, когда убеждён: ты, как никто во Вселенной, достоин её внимания, точно так же, как и она заслуживает твоей любви и преданности?

Чаще всего мы и не замечаем, как судьба преподносит нам свой щедрый подарок, до того он бывает обыден и прост. Эта привычка человека пускать всё на самотёк, не наблюдая в своей жизни божественного промысла и не радоваться мелочам, стара как мир. Но я чувствовал себя тогда самым счастливым человеком, воспринимая малейшее событие за непременно удачу, и когда повстречал на улице руководителя Курсов аквалангистов, набирающего нас год назад на учёбу и возглавившего затем бригаду по добыче трепанга в лагуне Буссе, то сразу ощутил: всё складывается именно так, как и должно быть.

Увидев меня, человек этот несказанно обрадовался, взмахнул руками и счастливо воскликнул: «Боря, уже приехал? Ты-то мне и нужен!» Откуда он мог знать, что я куда-то уезжал, и, тем более – вернулся, мне было неизвестно, но обрадовался он при нашей встрече совершенно искренне, после чего, этого уж я совсем не ожидал, крепко обнял меня и, немного отстранившись, но не выпуская из объятий, весело провозгласил: «Есть предложение, от которого трудно отказаться... Мне тебя сам Бог послал!», чем абсолютно меня огорошил...

Оказалось, что его добрая знакомая – заведующая лабораторией Сахалинского Филиала ТИНРО, набирает в научно-исследовательскую экспедицию по Татарскому проливу группу аквалангистов для съёмки нерестилищ сахалино-хоккайдской сельди, и ей, до отхода в море, срочно требуется отыскать хотя бы двух человек. Мне шло в руки именно то, что и было нужно, и разве можно такое предложение моего знакомого назвать простой случайностью или обыкновенным везением? Я сразу почувствовал, что это – знак судьбы, всевышнее согласование Вселенной с волеизъявлением отдельного человека, то есть – меня, и, следовательно, так тому и быть.

Вот что значит, когда благотворные семена падают на подготовленную почву, и это приносит за собой благое преобразование, после чего всякая мечта сбывается, если человек Бога в своей душе разглядел и к Нему идёт. И тогда дорогу своей жизни можно считать исповедимой, ты её полностью осознал и сердцем принял. Да здравствуют праведные устремления, а не слепой рок!

Моё же устремление оказалось истинно, и никакие сложности у меня на пути не могли стать препятствием. Случилось так, как и должно было случиться, и всё произошедшее представилось мне достаточно очевидным, поскольку я не привязывался к привычному, что дарило заведомый покой, и не уповал на удачу, что не зря в народе брагой зовётся. Когда ты сам удалец, тогда к тебе и Бог пристаёт.

Для изменения своей жизни в лучшую сторону важна готовность принять ответственность за всё, что ты совершаешь в ней, чего бы это ни касалось, и если такая ответственность тобой осознана и принята – ты открыт для добрых перемен. Жизнь твоя полнится новыми возможностями, и ты готов к её прекрасному созиданию... Всё заключено в твоей ответственности перед самим собой, в способности развести свой внутренний сад, и от тебя зависит – каким ты его сотворишь. А сотворить хотелось праздник собственной жизни, и у меня всё для этого было, а чего не было – приходило в новых незабываемых ощущениях, красотах острова и людях, порой просто вливаясь в меня неохватным благостным потоком...

Глядя с моря на седой сахалинский берег, обычно всё в тебе будто переворачивается, цепенеет, и отчего-то сквозь нависшую над островом туманную хмарь и порождаемую ей непонятную печаль - в душу всё же просачивается гордая уверенность за то, что ты находишься сейчас именно здесь. Но почему я выбрал замкнутое пространство – остров? Не виною ли тому окружающая его вода, неизъяснимо влекущая к себе таинственная морская плоть, повсюду граничащая с не менее могущественной сушей?

Отдавая дань поочерёдно то одной, то другой стихии, а то и обеим сразу, я выбрал остров как место, от которого легче всего можно было бы оттолкнуться для полёта. Здесь, на краю света, лежала удивительная земля,

окрыляющая и заражающая возможностью всей душой устремиться в неизведанное жизненное пространство! И я устремился к этой долгожданной для себя земле, сразу после окончания учёбы в Воронеже вернувшись на Сахалин, и устроившись водолазом в Тихоокеанский институт океанографии и рыбного хозяйства в качестве водолаза. А ещё через каких-нибудь пару недель мы отправились в экспедицию по Татарскому проливу на небольшом судне «Армавир», и я был так счастлив, что во время сборов даже не успел повидать своих друзей.

Самые настоящие неожиданности поджидали нас на каждом шагу, и не оставалось времени, чтобы всё увиденное переварить. Оно требовалось для понимания того, что самое невероятное - есть радость от встречи с давно существующим подводным миром Сахалина, но ещё не открытым для себя. Бесконечность этого пути представлялась единственно достойным состоянием души. Истинность же подобного устремления подтверждалась мудрым слиянием моря и острова, чаще всего – не замечаемого людьми...

Какой доступной при этом становилась исключительность влекущей к себе слитности неба и моря на горизонте! Нигде так остро не ощущались монолитная тяжесть и мощь земли, как на стыке воды с сушей. Обрывающиеся в воду утёсы производили именно такое ошеломляющее впечатление, если не стремиться понять возникающий перед тобой суровый пейзаж.

В здешнем пейзаже всё так плавно и стремительно оборачивалось другим, ранее неизведанным: линии сопков, кроны вытянутых ветром сосен, пышность трав, неслышный шорох многочисленных серебристых речек... Одна за другой сменялись проплывающие по борту картины, и так же отчётливо восхищение в душе сменяло завораживающее угнетение чувств.

По выразительному описанию Чехова, совершившему героическую поездку на остров в 1890 году, сахалинский пейзаж не удовлетворял его, вводил то и дело в грустные раздумья, сводящиеся, в конечном итоге, к тому, что остров тяжёл для души, и нормальному человеку вытерпеть его причуды просто не под силу. Вероятно, охватившая писателя действительность, заключающаяся в каторжном состоянии острова, играла в подобном отношении главенствующую роль. Иначе бы, учитывая все самые неприятные и необыкновенные несуразности сахалинского климата, и имея за спиной незабываемые картины российской природы вместе с Ялтой, Мелиховым, московскими улицами и всем уютом оставленного им родимого дома, Антон Павлович воспринял увиденное им на острове более радостно, открыто. Ведь даже в своей видимой унылости остров был, несомненно, притягателен и интересен для любого неравнодушного человека.

Я постепенно знакомился с островом, и меня не покидало чувство, будто его оригинальная природа по чьей-то неведомой ошибке была признана русской, между тем как на самом деле таковой не являлась, и являться ни в коем случае не могла. Во всём облике Сахалина угадывалось что-то своё собственное, неповторимое и, конечно, ни с чем другим не

сравнимое отличие. Даже относящиеся к русской национальности коренные жители острова, когда я в беседе с ними касался вопроса о среднерусской полосе, такой дорогой и близкой сердцу каждого из нас, недоумённо пожимали плечами, искренне огорчаясь при этом: чем же может очаровать равнина, покрытая в некоторых местах утомляющим вниманием однообразием скучных берёз? То ли дело неподражаемая, изумрудная пышность сахалинской растительности, головокружительные взлёты и падения крутолобых сопков острова, хрустальная чистота его горных рек и ручьёв! Нет, среднерусская природа чужда им, непонятна, но, несмотря на это, они считают себя русскими ничуть не меньше, чем те, кто живёт где-нибудь под Владимиром или на Вологодчине.

Отделённый от материка бурным морем, остров, как никакой другой клочок земли, обещал истинную свободу. И он, конечно, в состоянии был подарить её, если бы человек действительно был готов к заслуженному для себя обретению. Но во времена сахалинской каторги эта завидная островная привилегия была в корне извращена и сведена к нулю, оправдывая лишь несвободу и полную безысходность от окружающей действительности. Стремление же к свободе, всегда присущей человеку и составляющей одно из его благороднейших свойств, неудержимо гнало людей с острова, чему на деле не могли помешать ни непроходимая сахалинская тайга с крутыми сопками, ни непереносимая влажность с удушающими туманами, ни безлюдье, голод и медведи, ни страшные затяжные метели...

Тоска по свободе, видимой человеком лишь за горами в голубой дымке на далёком противоположном берегу, заключалась в каждодневном угнетении его духа, так как только истинно отрешённый от самых тяжёлых житейских обстоятельств философ мог бы, наверное, достичь в подобном положении желаемого равновесия и целостности. По тем временам на это не был способен даже Чехов.

Природная уникальность Сахалина и его островное положение были по-своему использованы когда-то царским правительством, которое учредило здесь каторгу, и, таким образом, само свободное существование острова, созданного природой, было в корне извращено. Географическое положение Сахалина избавляло администрацию от нежелательных побегов, к тому же наказание на удалённом от материка островке земли приобретало надлежащую репрессивную силу: оно уничижало воображение заключённого, сознательно не оставляя ему возможности вернуться. Ведь с точки зрения государственной пользы, сосредоточение на Сахалине ссыльных представлялось залогом для упрочения нашего обладания островом. Да и угольные залежи, в достатке присутствовавшие на острове, могли быть с выгодой эксплуатируемы дешёвой рабочей силой ввиду громадной потребности в то время в угле. Природный простор Сахалина с его протяжённостью почти на тысячу километров, именно его уникальность, предполагающая, с одной стороны, удалённость, а с другой – достаточно близкое нахождение от материка, и составляли неповторимость острова,

которая так и осталась незадействована равнодушным и нелюбознательным человеком.

Во времена существования на острове каторги, люди не любили его, при любом удачном случае предпочитали бежать и, конечно, не помышляли о том, что остров способен подарить им ощущение свободы. Каторжан и ссыльных постоянно не покидало сознание необеспеченности, скуки, страха за свою жизнь и будущее детей, а главное – в каждом неотступно присутствовало желание хотя бы перед смертью подышать на свободе и пожить настоящей, не арестанской жизнью. О материке в этом смысле говорили с любовью, с благоговением и уверенностью, что там-то и есть настоящая счастливая жизнь. И это на острове, который всем своим положением как раз подразумевал свободу, не возможную нигде на материке!

Несмотря на глубинную предрасположенность человека к свободному существованию и постоянному развитию, остров сводил это его неограниченное душевное состояние на нет. Там, где человек мог быть по своей природе по-настоящему свободен, он оказывался совершенно стеснён в своих самых обыкновенных и добрых устремлениях. На острове должны были жить люди непременно свободные духом, и таковыми могли являться местные коренные народы – нивхи и орочи, но и их бесстыдно развратили: сначала – во времена царской каторги, а затем – при советском правительстве. Чехов, во время своей поездки на Сахалин, вспоминает, что встретил на острове только одного человека, который выразил желание остаться на острове навсегда: это был несчастный человек, черниговский хуторянин, пришедший на каторгу за изнасилование родной дочери, и не любил он родины только потому, что оставил там о себе дурную память.

Отсутствие к началу двадцатого столетия на Сахалине общественного управления, медицинского персонала, дурная молва об острове каторги – «кругом море, а посредине горе», – не способствовали его быстрому заселению, какое предполагает обычно любое новое, ещё не опороченное ничем место. Каторга на острове была упразднена 10 апреля 1906 года, в этом главную роль сыграла буря первой русской революции. Но население Сахалина всё более уменьшалось. Остров ничем не привлекал людей: он был неинтересен и чужд им. На нём царило угнетение духа, и это не могло не сказаться на отношении к островным климатическим особенностям. Только в годы первой мировой войны благодаря освобождению жителей Сахалина от воинской повинности население начало возрастать.

И всё же, это было вынужденное переселение, продиктованное тогдашними жёсткими условиями, обрекающими прародителей сегодняшних сахалинских поколений на забвение среднерусского, близкого сердцу пейзажа во имя более спокойной жизни. Людей не одолевала страсть к открывательству, и, по большей части, они стремились освободиться от ярма непосильной жизни, не подозревая об истинной сути острова.

Может быть, именно от безысходности, порождённой кандалной историей острова и всеобщей атмосферой удручённости, царившей долгое время на Сахалине, и возникали разного рода смехотворные версии и рассказы старожилов... Когда-то, ещё во времена сахалинской каторги, на острове сочинили легенду о «происхождении Сахалина», которая была связана с именем старейшего сахалинского офицера, штабс-капитана Шишмарёва. Штабс-капитан этот ходил в вязаном сюртуке с пришитыми погонами, и отличался крутым нравом, называя инородцев «дикими обитателями лесов». Так вот по легенде, когда-то, в отдалённые времена, Сахалина не было вовсе, но вдруг, вследствие вулканических причин, поднялась подводная скала выше уровня моря, и на ней сидели два существа – сивуч и штабс-капитан Шишмарёв...

На острове существует ещё одна легенда, которая уходит корнями во времена его первооткрывателей... Когда русские заняли остров, установили на нём свои посты и стали притеснять местное население в лице гиляков, то гиляцкий шаман проклял Сахалин и предсказал, что из него не выйдет никакого проку. Так оно будто бы и вышло... Но на самом ли деле Сахалин уж такое гиблое место?

Не имея достаточных условий для передвижения в глубь острова или располагая к тому ограниченными возможностями, поначалу быстро приходишь к мысли, что вся жизнь здесь зачем-то втиснута между обрывистым глиняным берегом и морем. Эта особенность островной жизни удивляет, затем пугает, а потом и вовсе обескураживает: как же тут жить и не упасть душой? Вся жизнь острова будто ушла в эту узкую береговую отмель, ко всему прочему затопляемую в прилив...

И всё-таки, именно своеобразие острова с его необычными рельефом и географическим расположением, погодой и разнообразными климатическими поясами, с изобилием рыбы и богатыми полезными ископаемыми предполагало, как раз, достойное существование для людей, когда они были готовы к восприятию такой природной уникальности. Что с того, если природа создавала Сахалин, казалось бы, меньше всего думая о человеке?! Может быть, как раз видимое отсутствие благополучных условий для жизни и подтолкнуло все будущие поколения острова к созидательному труду, поскольку они считали его своей родиной, несмотря на то, что многие предки их прожили на материке, и эти поколения уже не представляли себе существования вне Сахалина, окружённого морем...

Людей не пугали непрекращающиеся дожди, туманы и ветра, холодные течения Охотского моря и льдины, которые плавают у восточного берега даже в июне, из-за чего всё лето стоит промозглым, но зато привлекала необыкновенная ясность охватывающих тебя мыслей и чувств, когда ты устремлял свои взоры к Тихому океану, на восток. Там лежало нечто такое, чего никогда не ощущалось на материке, а здесь, у моря, переживалось каждый день.

Восточный берег Сахалина производит на неподготовленного человека ещё более удручающее впечатление, нежели западный. Конечно, в глубине острова растительность выглядит достаточно обильной, особенно в северной и южной его части, но чем ближе к морю, тем она становится скуднее. Мало-помалу в общей картине уже преобладает песчаный берег либо болотистая невзрачная низина. С безлико простирающегося вдали севера задувает дикий пронизывающий холодок, и не хочется даже помышлять о том, что он за собой скрывает.

Неурожаи, холодный сырой климат, нехорошая земля – что, кажется, доброго всё это может породить? Зачем, за каким счастьем приезжают сюда люди? И всё же приезжают, обустраиваются и, в конечном итоге, побеждают неблагоприятные условия островной жизни, которые как-то незаметно становятся родными, ничем другим незаменимыми.

Долго я не мог разобраться в этом вопросе, наблюдая в течение нескольких лет за молодыми ребятами, приехавшими на Сахалин, на край света, попытать своего счастья. В основном все их устремления были связаны с морем, с рыбалкой, которая, по их мнению, должна была принести им искомое желаемое. И ради вот этой, ещё не ощутимой удачи, коей они непременно жаждали обладать, и совершались внутренние подвиги, когда оставлялись родной дом, друзья и близкие, самое дорогое и привычное, отсутствие чего потом вызывало необыкновенную тоску. В разговорах люди жаловались на суровые климатические условия острова, даже временами кляли их, но, всё же, не уезжали, оставались. Остров неотступно притягивал их любознательные сердца, обещал чего-то несбыточное, и повинным в этом, наверное, оставалось море, без которого Сахалин не был бы собой, тем, чем он и притягивал и отталкивал.

Тяжело и скучно на острове может быть только ленивому, нелюбознательному человеку. А для того, кто всем интересуется и неравнодушен к окружающему миру, здесь сразу обнаруживается занятие. Уже одно присутствие моря дарит невероятное количество впечатлений, любое из которых способно повести за собой в увлекательную дорогу, и она наполнит ими вашу жизнь до краёв. Невозможно жить у моря и не находить для себя какое-либо замечательное дело.

На многие мили вокруг раскинулось огромное, кажется, совсем бесчувственное море: вода тяжело отливает свинцом, на неё всей грудью навалилось бесцветное небо, а суровые волны бьются о пустынный берег и не слышно даже крика чаек. Зябнет душа, во всём чувствуется только подвох и недружелюбие природы, но в тоже время душа переполняется необъяснимым счастьем от того, что ей привелось здесь оказаться, видеть всё и переживать вместе с островом и морем, ощущая их для себя как нечто самое родное. Часто, несмотря на выработавшуюся к Сахалину и его климату привычку, особенно укладу жизни у моря, я ловил себя на мысли: это чудо, что я нахожусь здесь, за тысячи километров от дома, будто выполняя

чрезвычайно важную миссию, которая мне и самому неведома, а ведома только Богу.

Одинокие острова всегда волнуют, как отшельники, которые в одиночестве накапливают неведомую внутреннюю силу. Заряженные таким наполненным одиночеством, они неминуемо разряжаются при столкновении с кем-нибудь, отдавая свои необъятные силы и знания тем, кто в них нуждается.

Сахалин неотступно притягивал к себе. Такого вольного пространства, не скованного никакими ограничениями, трудно было ещё отыскать. В том смысле, что вольное состояние духа и тела предполагало бы всё необходимое для разбега и парения, как на Сахалине. К тому же остров этот, окружённый морем, был расположен на краю света...

Когда исчезает в туманной дымке островной берег и бесконечный океан теряется в неведомых далях, начинает казаться, будто здесь действительно находится этот самый край, и что дальше уже некуда плыть или идти. Душой овладевает какое-то неясное томление, приятное предчувствие чего-то несбыточного, несравнимая ни с чем радость вперемежку с боязнью, что это состояние так и останется никогда не разрешимым. Совершенно очевидным и вполне естественным в подобном положении представляется, должно быть, только возможность ... взлететь, но до этого очень далеко, поскольку нет ещё необходимого знания – нужно ли такое действие, вероятно ли оно само по себе или нет? В этом притягательном священнодействии собственной души и моря ощущается какая-то притягательная тайна.

И если однажды, каким-нибудь самым, что ни на есть, обыкновенным утром, может быть, по-сахалински чуточку ненастным и тихим, вы вдруг попытаетесь пройти на судне вдоль острова, то в береговом неярком облике его обязательно будет угадываться что-то такое, благодаря чему он, по меткому утверждению Чехова, вполне мог бы обходиться без человека. Восприятие открывшегося незамедлительно станет переживаться вами, а затем непременно усилится от гордого осознания, что просто удалось увидеть эти берега. В них действительно заключена непреодолимая притягательность. Всё, что по этому поводу думалось, представлялось не иначе как обретением чего-то необыкновенного, нового.

И, тем не менее, мне не раз приходилось замечать, какое тяжёлое впечатление производит на многих людей сахалинский берег, в особенности весь восточный и за незначительными исключениями западный. Берег этот, как правило, отвесный, с тёмными безжизненными ущельями и неглубокими распадками, или же на многие километры угрюмо спускающийся к морю пологими, глиняными холмами, не отличающийся разнообразной растительностью, прибиваемой частыми и едкими туманами. Берег бывает, разумеется, и весёлый, и грустный, и просто бесцветный, доводящий порой до беспросветной мрачности, но воспринимать его постоянно в чёрных красках было бы неверно, тем более, что отношение к нему диктуется, по

большей части, лишь причудами природы, на которые она в этих местах так горазда.

Мне бы не хотелось живописать островную линию, когда она благополучно обласкана солнцем и теплом, поскольку подобные дни на Сахалине редки и не отражают его истинного лица. В действительности же остров суров, климат его обязывает к несгибаемой стойкости, постоянно требуя к себе достойного уважения и внимания тех, кто однажды ступает на его берег. И ещё остров, будто негласно, призывает людей быть ответственными перед собой, потому что свет в их душах способен всегда преодолеть подступающий к ним мрак, когда невзрачные сахалинские берега наваливаются на человеческие сердца неизъяснимой тяжестью, ввергая их в безотрадное состояние.

То обстоятельство, что Сахалин когда-то не побоялся отправиться в путь в одиночку, что он постоянно развивается, в тоже время, оставаясь самим собой, и до сих пор жив, вынуждает относиться к нему с глубоким уважением. Разъединённость какой-либо части земли – закономерность природы и, как всякая её живая доля, в частности – остров, должна нести на себе определённые жизненные функции. Представляя себе острова живыми, необходимо, наверное, видеть в их существовании единственно допустимый и верный смысл.

Непреклонное стремление отдельной части земли оторваться от материка, превратившись в остров - в его верного посланника в океанских просторах, поистине достойно уважения, поскольку ведёт, в конце концов, не к бессмысленному отрыву, а к разгадке чего-то важного, не терпящего никаких отлагательств и слабости. Подобно человеку, что не устаёт вглядываться в убегающую и манящую даль, и готов в любой момент устремиться в дальнюю дорогу. Может быть, Сахалин действительно когда-то отделился от материка, и происходило это из-за их тесного соседства даже не один раз, но трудно себе отчётливо представить, как на самом деле происходило рождение острова.

Некоторые исследователи считают, что ранее остров являлся частью обширной области, находящейся под водой, и что со временем происходило его постепенное поднятие. Другие же полагают, что в начале четвертичного периода, более миллиона лет назад, не было ни Японского моря, ни Охотского, ни Сахалина, ни Японских островов, а весь этот участок занимала обширная суша. Бурная вулканическая деятельность, наступление и отступление моря, частые землетрясения, подъёмы и опускания суши, всё это, в конечном итоге, определило нынешние очертания Сахалина. Но только в нашу послеледниковую эпоху произошло отделение Азии от Америки, гибель Берингии, окончательное опускание Охотии на дно будущего Охотского моря и исчезновение под воду суши, соединявшую азиатский материк с Сахалином. В результате долгих преобразований – остров Сахалин обрёл форму рыбы, устремлённой на север, и рыба эта будто замерла от

наслаждения, что наконец-то окружена привычной водной стихией и хотя бы на время получила благодаря этому желанный покой.

Так или иначе, но остров, всё же, пожелал остаться один, вернее, к этому его принудило общее непрекращающееся развитие земли. Отторжение отдельных участков её от материков, где бы оно ни проявлялось, сделало остров необычным, ни на что не похожим, и потому подразумевающим в себе не только своеобразный колорит, но и недостающую человеку загадку. Может быть, даже только надежду разгадать её, но и это уже ничуть не мало.

То, что одинокие острова нас так сильно волнуют, объясняется, наверное, их нестигаемостью и волей. Тем, что они своим одиноким существованием свидетельствуют о достойной и интересной жизни. А вольный воздух и морской простор закономерно вдыхают в них, помимо всего прочего, что-то неизмеримо важное, дороже которого нет ничего на свете.

Долгое время не было известно о том, что Сахалин – остров. Неудачную попытку обнаружить это первым предпринял в 1787 году небезызвестный французский исследователь Жан Франсуа Лаперуз. Заключение его было однозначным: Сахалин – полуостров. И даже несмотря на то, что в последний момент Лаперуз засомневался в этом и выслал вперёд шлюпки, они всё же вернулись, не найдя прохода.

В течение последующих восемнадцати лет безуспешные попытки пройти по проливу совершались дважды: первая – англичанином Броутоном в 1796 году, вторая – в 1805 году Крузенштерном, являющимся, кстати, составителем первой карты Сахалина, которая была вычерчена мичманом Беллинсгаузенем, будущим первооткрывателем Антарктиды.

К этому самому времени, к октябрю 1806 года, на юге Сахалина был впервые поднят военный и коммерческий флаг России. Местному населению было объявлено, что оно с этих пор взято под покровительство России, а японцам, находящимся в селении Томари-Анива/современный порт Корсаков/, было предложено покинуть остров. Мера эта выражала желание правительства официально закрепить за собой дальние владения, поскольку ранее этого сделано не было, несмотря на то, что ещё в сороковых годах семнадцатого века Иван Москвитин со своими товарищами увидели западное побережье Сахалина. Затем это удалось сделать экспедиции Василия Даниловича Пояркова, и именно тогда, по некоторым сведениям, русские казаки стали постоянно бывать на острове, собирая с местного населения ясак.

В 1809 году появляется загадочный японский землемер Маамио Ринзо, образ которого я почему-то никак не могу себе представить. Он прошёл пролив, исследовал лиман Амура и составил карту своих плаваний. Но результаты его исследований из-за изоляции Японии не стали достоянием всего мира. Записи его лежали в архиве забытыми. Только в 1834 году их нашёл немецкий учёный Зибольд, но им не доверяли, по-прежнему считая

остров полуостровом. К тому же японец плавал на лодке, а важно было доказать, что проход возможен для морских судов.

В июле 1849 года на палубе транспорта «Байкал», находящегося в водах Татарского пролива, стоял небольшого роста человек, по описанию очевидцев, очень подвижный, беспокойного нрава, доходящего порой до вспыльчивости, и, прищутив узкие глаза, пристально всматривался в безжизненные сахалинские сопки. Был он тогда, должно быть, предельно собран, внимателен и строг. Чем-то встретят его мутные воды лимана, заставят ли вновь повернуться вспять, как это уже было с Лаперузом, Броутоном и Крузенштерном?

Звали этого человека Геннадий Иванович Невельской... Именно ему, правнуку боцмана при Петре 1, капитан-лейтенанту, достигшему к сорока годам звания контр-адмирала, удалось доказать судоходность Сахалинского лимана, так же как и то, что Сахалин является островом. В результате его самоотверженного прохода - вековое заблуждение положительно было рассеяно и истина, наконец, обнаружена.

Кстати, Геннадий Иванович Невельской, произведённый за благополучный переход в капитаны второго ранга, не был награждён орденом и не получил полагающейся ему пенсии, в отличие от других офицеров – участников этой экспедиции, по той причине, что пошёл в Сахалинский лиман без утверждённой царём инструкции, а лишь с её копией. Царские чиновники не прощали ни малейшего ослушания. Интересно: можно ли Невельского, при том, что он всегда поступал не так, как от него ожидали и требовали вышестоящие чины, а как он сам полагал – «чему по правде быть надлежит», назвать романтиком?

Так или иначе, все эти подвиги были совершены ради открытия самого острова, как части суши, окружённой водой, а сколько ещё предстояло всего преодолеть, чтобы познать его глубинную, неведомую суть, для чего требовались судьбы многих и многих поколений?! Здесь, на этом таинственном и продуваемом всеми ветрами острове, всё было так хорошо, надёжно и просто, что поначалу мне даже не верилось в естественность происходящего. Потом ещё минуло немало времени, прежде чем я убедился: остров – это не только отрезанный от материка участок суши, но и часть твоей души, если ты сумел постичь его жизнь и жизнь его обитателей, если ты успел сродниться с ним, как с чем-то самым близким и дорогим, и если ты уже не мыслишь своего существования без него.

Так правильно ли будет подобные душевные устремления ровнять с «романтикой»? Да и вообще, что это такое – романтическое, наверное, глубоко внутреннее настроение, вернее, отношение к жизни, когда хочется, по всей вероятности, удивить всех своими непревзойдёнными по восприятию и переживанию действиями и мыслями, словом, необычайным образом поразить? Быть романтиком, как это, по всей видимости, принято понимать среди большинства людей, склонных считать себя таковыми, значит, отображать своим поведением и взглядами на существование нечто

возвышающее человека, что есть верх его духовности, некое умонастроение, проникнутое мечтательно-созерцательным настроением, не всякому доступное для понимания. Либо романтик способен изящно сочинять нечто феерическое, ни на что не похожее, непременно сводящее с ума своей своеобразностью подавляющую часть человечества, либо он остаётся вольным и свободным, подобно ветру, и не стеснён какими-либо условностями. Отрицая давно известную всем, и оттого опостылевшую обыденность, его не сковывают какие-либо житейские рамки и всеобщая никчёмная суета. Чему только не подвержено, и чего только не отражает это необъяснимое никем, легкомысленное состояние, и, тем не менее, как это ни странно, многих легендарных личностей в истории флота и освоения морской стихии почему-то воспринимали не иначе, как именно романтиками, принёсшими свету в результате своих походов нечто значительное.

Так что же это за понятие – «романтика», что оно под собой подразумевает, и почему так гордятся некоторые люди тем, когда их называют «романтиками», а в особенности – «последними романтиками», но бесконечно огорчаются, когда в них этого самого «романтизма» не наблюдают? Чем же, всё-таки, пришлось по душе многим людям это достаточно расхожее, даже полюбившееся слово? «Романтик» ли вы, дорогой читатель? И быть может, стоит, наконец, поговорить об этом более серьёзно?!

При этом вы, наверное, совершенно справедливо желаете заметить: а что там с путешествием по Татарскому проливу? Мы были бы не против отправиться вместе с вами по его синим водам, чтобы обозреть необъятную красоту пролива, соединяющего два моря... И нам интересно узнать, в чём заключена тайна чудес подводного царства у берегов Мгачи, Виахту и Трамбауса с их полуметровыми жемчужными кунджами и перламутровыми морскими ушками...

А как поживает всё западное побережье Сахалина, Амурский лиман, загадочный полуостров Шмидта, одинокий остров Иона, затерявшийся среди Шантарского архипелага, и многочисленные потаённые бухты со стороны материкового побережья, а так же угрюмый мыс Сюркум? Где же, наконец, увлекательный рассказ о поиске нерестилищ знаменитой селёдки, что аккуратно откладывает свои кремовые икринки на водорослях саргассума и зостеры? Каким образом, и на каких глубинах водолазы определяют её количество, и помогает ли потом эта невидимая работа в холодных водах Японского моря рыбакам в их уловах?

Сможете ли вы обойтись какое-то время без описания жесточайшего шторма, неумолимо выносящего ваше судно на коварные прибрежные рифы? А может быть вам любопытно будет услышать о том, как пахнут по утрам мокрые полосатые камни у самого уреза воды? И как бесшумно, даже ласково ударяет волна в пластиковый борт судна, когда уходишь под воду, и

густой, как сметана, туман незаметно наползает на берег и море, обнимает своей пахучей густотой, и ты будто оказываешься в каком-то волшебном мире, где самые обыкновенные и простые вещи превращаются в необыкновенные... А как ослепительно сверкает в лучах скупого сахалинского солнца только что выловленная серебристая корюшка, резко пахнувшая огурцом, вам неизвестно? И как темнеет море у самого горизонта, перед бурей, когда на сердце становится и тревожно, и радостно, и ты счастлив просто от того, что всё это переживаешь...

Вам это, действительно, интересно? И нетерпение ещё по-прежнему переполняет вас? А если так, то я не подвергну вас долгому ожиданию: я скоро вернусь к вам со своими рассказами о том, как чудесна жизнь, если ты посвятил её морю и дальним путешествиям, и вы, может быть, узнаете то, о чём даже не подозревали... Нет ничего интересней жизни, чем ты сложил собственными руками, и сделал это с любовью. Это и есть самое хорошее в ней, честное слово!

Обо всём этом, дорогие читатели, я расскажу вам в отдельных главах, по-своему красивых и захватывающих, ну, а пока, поговорим, действительно, о таком небезызвестном для всех понятии, как «романтика». Что это за «селёдка», и с чем её едят? Стоит ли, вообще, к этой романтике серьёзно относиться, посвящая ей целую главу? Давайте разберёмся...

## « О РОМАНТИКЕ »

Нигде, как на флоте, вы не встретите такие точные и практичные термины, и было бы странно думать, что моряков – таких же точных и верных людей хоть каким-то образом занимает «романтика» - понятие достаточно неопределённое, даже размытое от частого употребления кем придётся, особенно – в последнее время. Но так ли это? Может быть к слову «романтика» и тому, что оно в себе заключает, следует отнестись более внимательно?

Один опытный моряк, проплавав несколько лет на тяжёлых грузовых судах и танкерах торгового флота, по его словам, ни разу не испытал романтики моря. Романтика захватила его только после того, как он освоил ... яхту, и мог плыть на ней куда угодно по просторам южных морей. Значит, романтика, по словам этого моряка, есть нечто такое, что наиболее и естественно приближает человека к природе, когда ты не можешь спрятаться за толстые надёжные переборки грузового судна, и разделяет тебя со стихией лишь тонкий пластик, а то и вовсе просто резина, которую в любой момент может прокусить акула... Выходит, «романтика» - это хождение по лезвию ножа, отчаянный риск, своеобразное щекотание нервов по собственной воле, когда ты сознательно обрекаешь себя на самые серьёзные лишения?

Что, скажем, вынуждало Чэя Блайта в конце 60-х отправиться в кругосветное плавание на яхте, в одиночку, не по обычному маршруту с запада на восток, каким до него проходили все яхтсмены, а, наоборот, с востока на запад, навстречу господствующим течениям и ветрам, причём, без заходов в порты? Жажда испытать себя и желание доказать возможность подобного? А может быть, его одолевала мечта к путешествиям? Но отличается ли подобная мечта от романтики, и не одно ли это тоже?

Наверное, истинно романтический настрой – это то, что движет человеком в его мечте и чего он, в конце концов, добивается. Романтика же в чистом виде не схожа с подобными благородными устремлениями, если только не рассматривать её как глубоко выношенную идею. Да и вообще, стоит ли приписывать романтике все замечательные открытия и подвиги духа, тогда как она всего лишь необдуманное действие, резкая смена обстановки, одним словом, блажь?!

Настоящая, наполненная жизнь, вероятнее всего, не имеет ничего общего с романтикой. Романтика – это что-то сиюминутное, пустое, пусть даже отчасти и красивое, но не настоящее. Жизнь же – серьёзна, она постоянно учит тебя: даже когда всё идёт хорошо – ни в коем случае не расслабляйся и не доверяй себя судьбе, а будь ещё более внимательным и трудолюбивым. Этим ты сохранишь приобретённое и уже никогда его не растеряешь. Губительно также пускать всё на самотёк, когда удача идёт тебе навстречу. И надо не уставать быть требовательным и неутомимым к себе. В жизни постоянно приходится чему-то учиться, и если ты не теряешь любознательности – жизнь будет вознаграждать тебя всё новыми

открытиями, успокоившись же – можешь упустить приобретённое, не закрепив его настойчивым душевным трудом, который никогда не должен прекращаться. Имеют ли подобные умозаключения что-либо общее с понятием «романтика»? Вряд ли...

У А. М. Горького в романе «Дело Артамоновых» по этому поводу написано: «Никто не понимает, что такое романтик... Это – нечто для красоты, как парик на лысую голову, или – для осторожности, как фальшивая борода жулику». Очень точное замечание, если учесть, что за понятием «романтика», действительно, не стоит на деле ничего серьёзного. Так, пустое романтическое настроение, не предполагающее ничего достойного, длящегося значительное время и при постоянно затрачиваемых усилиях. Больше – игра, миг незаслуженной удачи, нежели скрупулёзное и вдумчивое созидание, которое, между прочим, не обходится без замечательных открытий, радости постижения, незабываемой смены впечатлений...

Будет ли, скажем, справедливым назвать романтиками членов экипажей на старинных парусных судах, подвергающих себя постоянной опасности? Ведь команда вынуждена была ютиться на крайне ограниченном пространстве: корабли были небольшие, ещё со времён финикийцев главное место на них отводилось грузам, именно ради их перевозки ходили тогда по морям, а команда была делом второстепенным. Может, для капитанов и штурманов морская служба и была романтикой, для команды же – никогда. Романтика для команды всегда одна и та же: нечеловечески тяжёлый труд и скотское обращение.

Даже во времена великих географических открытий романтикой не пахло и в помине, и она была выстлана костями моряков. Недаром во Франции и Англии тот, кто записывался на морскую службу, полностью освобождался от отбывания наказания. Примечательно, что даже не все каторжники выбирали эту возможность! Именно тогда, наверное, и появилась поговорка: «Кто ни к чему не пригоден на суше, может ещё стать моряком!»

А был ли романтиком сам Христофор Колумб? Когда Колумб отошёл от Канарских островов на трёх маленьких судёнышках с экипажем около ста человек, он не имел ни малейшего представления о том, что его ожидает. У него не было карт предстоящего маршрута, не с кем было установить связь в случае необходимости, неоткуда было ждать помощи в минуту опасности, а кроме того, он даже не представлял себе, сколько времени продлится путешествие или какие неожиданности его подстерегают, но, тем не менее, он решается на него.

Вряд ли ему не доставало одних приключений, маловероятно и то, что он жаждал лишь золота. Скорее, ему было интересно заглянуть за горизонт, и он с отважной неукоснительностью стремился к новым открытиям. Христофор Колумб верил своему чутью мореплавателя и первооткрывателя, той непоколебимой убеждённости, что в задуманном путешествии с ним

ничего не произойдёт, если он будет оставаться честным по отношению к самому себе.

Разве всё это можно уместить в достаточно легкомысленное понятие «романтика», не скрывающего под собой ледяную глыбу неутомимости, терпения и непрекращающегося внутреннего труда, который всегда незаметен? Ведь своей убеждённой Колумбу следовало заразить весь экипаж, а по тем временам достигнуть этого было очень нелегко. Удалось бы ему осуществить задуманное, если им руководили только романтические настроения? Нет, ибо он точно знал – чего хотел. Штурмана и члены экипажа относились с величайшим уважением к научным познаниям Колумба, они поверили ему и пошли за ним, но главную задачу продвижения экспедиции к неведомым берегам ему приходилось решать в одиночку, и он решил её правильно потому, что надеялся на свои знания и веру.

Романтике же присуще принимать решения недостаточно обдумав их, с лёгкостью, даже некоторой юношеской бравадой, когда важен сам факт совершаемого, а не достижение достойной цели. Романтика вполне устроит неожиданная смена впечатлений и скорая победа, но ему не подвластны в полной мере глубокие знания и вдумчивый поиск. Только по-настоящему продуманный человек, чётко представляющий себе – во имя чего он решается на определённый поступок, способен обрести истину и сопутствующую ей радость овладения, к которой шёл долго и непросто.

Нет, определённо Христофор Колумб скорее оставался бесстрашным исследователем, отважным путешественником и отличным моряком, нежели романтиком. Несмотря на отсутствие знаний о неведомой земле, к которой он устремился, Колумб всё же искренне верил в её существование и, в конце концов, достиг. Разве помогла бы ему в этом одна романтика?

Как хороша, интересна становится наша жизнь, когда относишься к ней реально, без прикрас, в полной мере ощущая окружающий мир и составляя с ним одно целое! Герман Мелвилл, прежде чем написать своего «Моби Дика», отправился в четырёхлетнее плавание на китобойном судне «Акушнет» вовсе не из страсти к романтике. Уходя в рейс, Мелвилл уже хорошо представлял себе работу матроса, так как плавал им ранее на судне «Св. Лаврентий», совершавшем регулярные рейсы на линии Нью-Йорк – Ливерпуль. Да и выбрал он её не из-за привязанности к морю или путешествиям, как до этого к службе рассыльного в Нью-йорском банке, к профессии клерка в меховой компании и учительствованию не во имя карьеры, а по причине безысходности, из желания хоть как-то заработать, просто – не найдя ничего лучше. Романтики в этом не было ни на грош. И конечно, Мелвилл понимал, что морская романтика – понятие весьма относительное. Но соприкоснувшись с миром моря, изучив его достаточно хорошо и приняв, он очень романтично описал всё это в истории о белом ките.

Сама жизнь, связанная с морем, подарила Герману Мелвиллу необыкновенную судьбу, которая и легла в основу его будущих книг. Не выдержав изнурительного труда, смертельного риска и палочной

дисциплины, он дезертировал с китобойца во время его стоянки у Маркизских островов. Затем Мелвилл оказался пленником каннибальского племени тайпи, обитавшего на острове Нукухива, откуда, через месяц, ему удалось бежать на австралийском китобойце «Люси Энн». Спустя два месяца команда «Люси Энн» взбунтовалась во время стоянки у берегов Таити, и Мелвилл вместе с другими матросами попал в тюрьму, из которой вскоре опять совершил побег. Перебравшись на соседний остров Эймео, он завербовался ещё на один китобоец «Чарльз и Генри», через полгода был списан с корабля на Гавайских островах и какое-то время бродяжничал, живя случайными заработками. В августе 1843 года Мелвилл поступил матросом на военный фрегат «Соединённые Штаты», зашедший в Гонолулу. Плавая на фрегате, Мелвилл побывал в Вальпараисо, Каллао, Лиме, Рио-де-Жанейро, потом в октябре 1844 года возвратился в Нью-Йорк, и только после всего этого с морем было покончено навсегда. Мелвиллу тогда исполнилось всего лишь 25 лет... Справедливо ли будет назвать все эти перипетии его непростой морской жизни романтическими приключениями?

Но даже если кто-то думает, что морская романтика, назовём её так, легко даётся, то он глубоко заблуждается. Помню, с каким тяжёлым сердцем отправлялся я в своё первое плавание. Сколько сомнений грызли меня: правильно ли я всё сделал, что решился на подобное, хорошо ли обдумал, не поздно ли повернуть обратно и может быть лучше остаться на берегу?

Прямо скажем, что земля не горела у меня под ногами перед рейсом, и всё-таки я решился на поворот в своей жизни. Поворот, на первый взгляд, неожиданный, с присущим именно романтике авантюризмом, но как впоследствии оказалось – оправданный, потому что был длительное время выношен в душе и осуществлён серьёзно, без романтического необдуманного наскока. Это была даже не альтернатива, потому как иного пути мне тогда и не представлялось. Душа моя стремилась в открытое море, и я ничего не мог с ней поделать. Нужно было, оказывается, просто преодолеть себя, свой страх и незнание, и это была самая настоящая жизнь.

А романтикой, как я убеждался не раз в дальнейшем на деле, оказывались сменяющие друг друга поверхностные впечатления, не подразумевающие глубокого, вдумчивого отношения к чему-либо. В море важны присутствие мысли и напряжение во имя подвига над собой, когда не обойтись без красоты жизненной борьбы и правды, и только потом – поэзия, коей в значительной мере и является романтика.

Когда в детстве мне доводилось читать о морских путешествиях, то казалось совершенно обязательным, что путешествия должны сопровождаться романтическими приключениями и конец этих приключений подразумевался, конечно, благополучный: не погибать же герою ради замечательных открытий, во имя которых он решался на самые захватывающие подвиги? Думалось: какой интерес в путешествии без настоящих приключений?

Потом, когда вырастешь и становишься моряком или подводником, оказываясь путешественником при выполнении своих обязанностей, взгляд на необходимость романтических приключений совершенно изменяется. Ты начинаешь понимать, что путешествие для любого профессионала не развлечение, а напряжённая, повседневная работа, бывает, что и скучная. Приключения же, пусть даже с самым безобидным романтическим налётом, нарушают работу, ставят под угрозу её выполнение. Обычно они отражаются на здоровье членов экспедиции, ведут к неоправданным потерям. Ведь иной раз ситуация складывается так, что во второй раз в одно и то же место не попадёшь: не хватит ни времени, ни сил, ни средств. А любая экспедиция стоит недёшево, и нужно максимально использовать предоставленные тебе жизнью возможности...

Да и потом нередко разного рода неудачи, как-то – утрата оборудования, провианта или неверный выбор пути следования, чаще всего результат плохой организации и неопытности, что для путешественника недопустимо. К примеру, раз в жизни удаётся попасть в кратер затухшего вулкана, что и приключилось однажды со мной, где тебе суждено провести всего лишь пару часов и куда ты, это известно точно, уже никогда не отправишься, и разве простительно будет растратить такое драгоценное время на пустые блуждания и развлечения?

Нет, хорошо организованная экспедиция должна протекать без какой-либо романтики, приключения – это сама работа, в которой не допускаются никакие огрехи. Всё выверено, продумано и очень надёжно. Тем более, в таких изумительных по красоте местах, как Сахалин и Курилы.

Настоящему путешественнику всегда нужно находиться настороже, быть готовым к непредвиденным случаям и трудностям, так как часто приключения могут произойти сверх всякого ожидания, особенно в районах с необычной, своеобразной природой. Не исключено, что в любой момент разразится стихийное бедствие: шторм, тайфун или метель, не утихающая сутками. Может, наконец, приключиться какая-нибудь и вовсе неожиданная случайность, но всё это должны быть рабочие моменты по выполнению настоящего интересного дела, способного принести важные открытия. Если уж, всё-таки, и оставаться справедливым к овечьему запахом дальних странствий понятию «романтика», то следует, наверное, воспринять людей, называемых себя «романтиками», теми, кто не глядит на то, что скажут о них другие, и совершают они, по их мнению, действительно, что-то очень полезное и нужное. Странность и своеобычие их – не есть индивидуализм, устраивающий упрямо всё по-своему, вопреки общему мнению, а индивидуальность, то есть, знание и уверенность в своих действиях, направленных на познание мира во благо всех.

## «ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ»

Посвящается - Галине

Михайловне

Пушниковой

Нелегко рассказывать об единственном дне в году, когда весна вышла тебе навстречу, не таясь распростёрла свои объятия, и вокруг всё ожило, затрепетало, разбуженное пронзительным светом. Как передать те ощущения и мысли, когда, повернувшись лицом к небу, к этому открытому пространству голубой бесконечной дали, лежишь, слегка прикрыв глаза, на каком-нибудь прогретом солнцем бугорке, усыпанном неудержимо вылезавшей мать-и-мачехой, и чувствуешь, как в недрах просыпающейся земли струятся живительные соки, наполняя твоё сердце неопишуемой радостью и непонятно щемящей болью. Земля тогда словно начинает кружиться под тобой, приподнимая тело всё выше и выше, куда даже не залетают птицы. Если на какое-нибудь время отдаться такому порыву, свободно распростёршись на влажной пахучей земле, и не упускать ничего из того, что происходит в небе, то весна обязательно напитает тебя неизбывной силой, и в течение целого года будет поддерживать необходимой для жизни энергией.

Наблюдая малейшие изменения в природе, я сам оживал и, оттаивая от зимних холодов, в течение которых мы готовились к новым экспедициям, втайне надеялся на осуществление в летние месяцы того, что уже давно было задумано нетерпеливым сердцем. А порывистый ветер налетал с севера, оттуда, где тают громадные льдины, и непрерывно задувал по всей долине, в которой раскинулся город, не давая забыть о промозглом и неудобном марте. Медленно, но верно шла весна по сахалинской земле.

Темновато-бурые холмы, заслонившие долину с востока и запада, незаметно расступались, теряясь в весенней неясной дымке, и дорога неторопливой лентой убегала среди уже позеленевших полей на юг, к морю. Там, на побережье, в одном из многочисленных и неказистых портов нас ожидал теперь уже РС «Георгий Попов», зафрахтованный Тихоокеанским институтом океанографии и рыбного хозяйства, на котором нам предстояло провести исследование нерестилищ сельдевых рыб по всему западному побережью Татарского пролива. Продвигаясь на север, а затем минуя не безопасный для судоходства Сахалинский лиман, мы должны были выйти к материковому побережью пролива, и уже вдоль него, заходя во все доступные для судоходства бухты и заливы, спускаться к югу до мыса Сюркум, после чего вновь вернуться к юго-западным берегам Сахалина, постоянно осуществляя при этом научные наблюдения за водой, беря её на содержание планктона и кислорода, проводя пробные траления и гидрологические разрезы.

Сердце замирало в предчувствии встречи с морской водой и тихо переворачивалось в груди. Даже скрытое холмами, море ощущалось в нетерпеливом ожидании увидеть его вновь. С еле сдерживаемой жадностью обычно впиваешься в него взглядом, когда оно открывается взору, неожиданно возникая из-за поворота дороги, и до рези в глазах, до тихого, но сладкого помешательства наслаждаешься всей его широтой и синью. Сначала утопаешь в этой синеве с головой, напряжённо стремишься дотянуться до моря всем сердцем, не в состоянии унять внутреннюю дрожь, а потом постепенно отходишь, настраиваешься на размеренный лад, способствующий спокойному течению мыслей, и былые переживания, связанные с родной стихией, уже не донимают так ощутимо твоего сердца...

Море чуть беспокойно, но трепетно дышало во мне, и этим всё было сказано. Оно и не думало покидать мою душу, а только ещё более утверждалось в ней, не доставляя при этом какого-либо беспокойства.

Судно давно уже ожидало в порту отхода. Постоянные поломки в течение зимы и весны не отпускали его надолго в море. Липкий, вязкий туман по утрам наплывал с воды, чуть охлаждал своей угрюмо сочащейся массой, томил тишиной и вынужденным застоём.

Время шло. Окутанные туманом суда застыли у причалов, и каждый звук мгновенно затухал в нём, повисая и теряясь в его плотных складках. Наше судно считалось бесперспективным, потому что не ловило рыбу, а только обслуживало научные работы. Обычно на него направляли не самые ценные в паромстве кадры, и шли они туда, соответственно, без особого желания. В основном это была проштрафившаяся в чём-либо публика, и ожидать от неё особого рвения в работе не приходилось.

Это был РС, переоборудованный когда-то под научное судно. Экипаж его состоял из шестнадцати человек: капитана, чифа, двух помощников, деда, двух его механиков, мотыля, маркони, трального, боцмана, четырёх матросов и кандея.

Более значительные по размерам сейнера типа СРТМ и СТР, находящиеся рядом на перестое, представлялись с его палубы плавбазами. Они приходили с моря и опять уходили в рейс, а судёнышко всё стояло – тихо, неприметно и безобидно. Казалось, оно без особых эмоций ожидает своего часа, чтобы тотчас окунуться в работу, не жалуясь и не задаваясь ни перед кем. Почти каждый день, не взирая на постоянные обещания капитана, судно что-либо всё-таки удерживало в ковше.

Вечерами, когда город постепенно погружался в тишину, порт зажигал свои огни, а небо у горизонта отбрасывало на воду слабый розовый свет, на брекватере раздавался гортанный, с переливами рёв самцов сивучей, которые к этому времени сбивались в стаи. Будто о чём-то прося, и в то же время независимо, гордо издавали они свой крик в вечерней тишине, и город словно замирал, слушая эти необычные звуки – тревожащие и чем-то зачаровывающие... Может быть, какой-то неизбывной тоской, а может, удовлетворённым желанием и любовью.

Сопки еле заметно отражались в прибрежной тихой воде, таинственно чернея в перевёрнутом виде и в точности передавая картину на берегу. На голубовато-розовом, размытом отсветами исчезающего светила небе блестели своей сырой и сочной желтизной далёкие звёзды.

На Сахалине я впервые почувствовал, наконец-то, общий аромат земли, пробуждающейся весенней жизни. В этом хорошо знакомом и любимом аромате был ещё заключён особенный тёплый запах. Запах от перенасыщенного морской влагой воздуха, душистых невиданных трав, какой-то еле уловимой благодати. Даже изменчивый островной климат не в силах был вынудить весну к обману кратким теплом: если уж подошло время рождения новой жизни – долгожданное цветение не перестает дарить бесконечные улыбки, весь холод замирает где-то в глубине моря, а совсем, казалось бы, высохшая лиственница, к неподдельному удивлению, начинает нежно зеленеть.

Весна, словно не желая отпускать, томила ожиданием счастья вот в такие мягкие, многообещающие вечера. Быть может, она подсказывала какую-то свою, скрытую от нас истину, предоставляя возможность в досталь насытиться нарождающимися запахами земли, чтобы мы могли покинуть её наполненными жизнью, жаждой добрых и удивительных перемен.

И действительно, по необъяснимому чудесному случаю, в море мы вышли в первый день лета, под вечер. Был полный штиль. Жёлтое, в мареве, размытое солнце мягко отливало тёплым золотом, слегка приглушённым у горизонта. Этим жёлтым остановившимся светом были покрыты море, надстройки судна и лицо города, постепенно переходящего в узкую мутную полосу на фоне серовато-зелёных молодых сопок. Такое тихое и совсем обыденное начало плавания как будто заранее благоразумно настраивало всех на неторопливую и методичную морскую жизнь. Весна у моря невольно заронила в сердце каждого моряка непоколебимую уверенность: рейс непременно сложится удачно!

Когда судно достигает точки исследований, или – станции, как это принято называть у научных сотрудников, вахтенный штурман даёт распоряжение развернуть судно рабочим бортом на ветер. Благодаря эхолоту глубина известна, и теперь учёным надо измерить температуру воды на разных глубинах и собрать образцы воды для изучения их газового и химического состава. Для этого они употребляют батометры и особые термометры. В батометре заключена проба воды, а в прикреплённом к нему термометре ртутный столбик в капилляре позволяет измерить её температуру. В пробе воды важно, в первую очередь, зафиксировать количество кислорода, ведь им дышат все животные и растения, и уже затем – солёность воды, её физические и химические свойства. Но мало знать температуру воды, её солёность и химический состав, важно ещё определить морские течения, их скорость, для чего используют приборы, называемые морскими вертушками. Пока приборы идут в глубину, белым эмалевым диском Сейка измеряют прозрачность воды, а по особым пробиркам с

разноцветной жидкостью определяют её цвет. Также измеряют высоту и расстояние между гребнями волн, - работы на палубе у гидробиологов хватает!

Традиционное действие любых научных экспедиций – выполнение гидрологического разреза, предназначенного выяснить закономерность распределения температуры, концентрацию биогенных элементов на различных горизонтах для составления схемы течений, а также – изучение растительного и животного планктона, который служит, как известно, основным кормом в питании рыб. Вот участники экспедиции начинают опускать в море длинные шёлковые конусы планктонных сетей, что вызывает уже некоторый интерес у части экипажа. Обычная планктонная сеть имеет более 500 дырочек в одном квадратном сантиметре, но есть планктонные организмы, которые так мелки, что проходят и через эту сеть, и тогда поймать их можно только зачерпнув воду батометром и пропустив её в судовой лаборатории через частый фильтр. Планктонные сети устроены так, что их можно закрыть на любой глубине, причём глубинные слои облавливаются через каждую тысячу метров, срединные – через 100 метров, а поверхностные – через 10 или 25 метров. В баночки собирают организмы, живущие в различных слоях, от дна до поверхности.

По всему борту судна висят тросы с приборами, опущенными в море! Но надо быть очень внимательным, чтобы не перепутать трос своего прибора с тросом прибора соседа, ведь порой трос растянут на сотни метров. Большую помеху тут оказывает волнение моря, нередко переходящее в шторм, который не отменяет работы.

Ну, а венец всей палубной деятельности научного судна – донное траление! Приборы чутко нащупывают рыбу. Как только наскочили на косяк, с мостика раздаётся:

- Отдать стопора!

Ноздреватая кишка трала, уложенная тяжёлыми тёмно-бурыми пластами, начинает шевелиться, раскручиваться, и медленно сползает по слипу в море. И вот – трал спущен, взят на стопор...

Траулеры ловят рыбу на ходу, и трал тащится за судном по дну открытым. Чтобы нижняя часть мешка не зарывалась в ил, между досками по нижней «подборе» протянут толстый трос, на который надеты катушки – «бобенцы». Они катятся по дну как колёса. Чтобы верхняя часть мешка не спадала вниз и трал был бы раскрыт полностью, к верёвке, поддерживающей верх трала, прикреплены поплавки – пустые стеклянные шары, оплетённые толстой сетью. Распорные доски, кроме своего прямого назначения – поддерживать трал открытым, играют ещё другую важную роль: они как бы «сгребают» всю рыбу с большой площади в середину, где она и попадает в мешок трала.

Проходит час, другой, и, наконец, следует команда:

- Ви-и-и-ра-ай!

Машина – сердце судна, лебёдка же – его главный мускул. Именно она выбирает огромное траловое хозяйство. Когда работает лебёдка, судно сотрясается и раскачивается. Механики в машинном отделении стараются вовсю, а «дед» самолично несёт круглосуточную вахту у лебёдки: чутко вслушивается – нет ли посторонних звуков, стуков, хрипов. В непродолжительных паузах, когда рыбу ссыпают в бункера, старший механик вместе со светилой и мотылём буквально прощупывают лебёдку, словно обласкивая её... Нет ей замены на судне!

Надсадно гудит лебёдка. Из воды с плеском выбрасываются распорные доски, всплывают кухтыли. Тралмастер стоит между вздрагивающими от натяжения ваерами, крепко упершись ногами в дощатую палубу.

- Прибавь оборотов! – слышится его осипший голос.

Дымятся стопора лебёдки. Троса на пределе: прикоснись – зазвенят!

За слипом пенятся водяные холмы, из-под них тяжело выгребают трал. Трал полный! Тралмастер ловким движением расшнуровывает «рыбацкий штык»/морской узел/, дёргает циновку, с щелчком раскрывается глаголь-гак, гайтан слабнет, скользит по кольцам-восьмёркам, куток распахивается, и на палубу выливается серебристая рыбная масса... Сотни, тысячи, десятки тысяч великолепных рыбин!

Подъём трала неизменно вызывает живейший интерес, и все свободные от вахты собираются на кормовой палубе. Улов вываливают на выбеленные доски и ихтиологи вместе с аквалангистами едва успевают разобрать его по видам, обработать пробы для анализа, как уже заканчивается следующее траление, и приходится откладывать анализы на потом и заниматься новой разборкой. Обычно после просмотра улова на палубе остаётся груда раковин, медуз, звёзд и камней, и эта добыча уже привлекает к себе сторонних наблюдателей... Идут хорошо известные всем будни экспедиционной работы, за выборкой и разборкой трала опять следуют обязательные вахты визуальных наблюдений, ночью – световые станции, и вновь бесчисленные пробы, анализы, наблюдения...

Работы ведутся и когда полуденное летнее солнце заливают своими горячими лучами палубу и такелаж, и когда сечёт промозглый осенний ливень или завлакивает густой непроглядный туман, а порой даже – в не прекращающееся волнение или шторм! Конечно, работы на палубе хватает всем, но разве сравнишь её с тем, что приходилось проделывать матросам раньше, ещё до появления разного рода измерительных приборов! К примеру, простейший для сегодняшнего дня процесс измерения скорости судна во времена парусного флота производился с помощью лага и длился около минуты. Такое время требовалось, чтобы песок из верхней колбы специальных песочных часов перетёк в нижнюю. За часами обычно следил судовой юнга. Во время этого процесса квартирмейстер – испытанный моряк, который исполнял и обязанности рулевого, вытравливал рукой лаглинь с навязанными на нём узлами, к концу которого был привязан бросаемый в воду поплавков. Бросать лаг следовало слегка в сторону, чтобы поплавков не

двигался вперёд вместе с судном. По сигналу «Стоп!», когда в нижнюю колбу пересыпался весь песок, травить лаглинь прекращали и отсчитывали число прошедших через руку узлов. Оно соответствовало числу морских миль, которое оставляло за кормой судно в течение часа.

К слову сказать, научные исследования, связанные с изучением моря так увлекательны, что ими занимались даже ... пираты! Так знаменитый английский пират Вильям Дампир, живший в конце семнадцатого столетия, помимо разбоя собирал в своих плаваниях паразитологические материалы и обрабатывал их. Так же он известен трудами по метеорологии, гидрологии, этнографии, ботанике и зоологии, за которые был принят в члены Королевского общества, то есть – стал академиком Британской Академии наук. После того, как материалы были собраны Дампиром «между делом» в плавании под чёрным флагом, они вошли в две его книги, опубликованные в 1705 и 1714 годах. Чрезвычайно яркая учёная личность, выдающийся мореплаватель и удачливый пират – Дампир прожил жизнь, полную приключений. Кстати, Александр Селкирк, ставший впоследствии прототипом Робинзона Крузо, героя знаменитой книги Даниэля Дефо, был снят с необитаемого острова пиратским кораблём Вудса Роджерса, штурманом на котором в то время был тот же Вильям Дампир. Полагают, что и Пятница, верный спутник Робинзона, появился на свет благодаря именно Дампиру, привёзшему с собой в Англию островитянина, о котором хорошо знал Даниэль Дефо, по-видимому, так же избравший его прототипом своего литературного героя...

Что же касается лова рыбы, то и на добывающих и на научно-исследовательских судах применяются ещё плавные сети и кошельковые невода – ими собирают рыбу с поверхностных слоёв моря, но трал всё-таки используется чаще. Пойманную рыбу ихтиологи измеряют, взвешивают, выясняют, чем она питается, определяют её пол, берут чешую для установления возраста. Части живых рыб в жаберную крышку надевают особыми щипцами метку с номером. Записав в журнале номер метки и место лова, учёные отправляют трепещущую рыбу за борт.

Некоторые экземпляры меченой рыбы попадают в сети рыбакам. Они сообщают о своей находке или присылают метки, и учёные, сопоставляя место, где была выпущена рыба, время её поимки и расстояние, которое она прошла, выясняют пути миграции рыб.

Но этим любознательность биологов не ограничивается. Необходимо ещё увидеть, как ведут себя животные в глубине моря, и к спуску под воду готовятся аквалангисты...

Специфика лёгководолазных работ при обслуживании научных исследований, которые нам предстояло выполнять, была крайне проста. В каждой бухте, куда предположительно сельдь могла заходить на нерест, осуществлялись так называемые разрезы, непременно отмечаемые на карте. Разрезы эти, беря начало на самых незначительных глубинах у берега, постепенно удалялись в море. Вдоль каждого разреза устанавливались точки

погружений, из которых брались необходимые пробы водорослей с откладываемыми на них сельдевыми икринками. Содержимое проб исходило из расчётной квадратной рамки размером семьдесят пять на семьдесят пять сантиметров. Рамка опускалась с бота на дно, и всё, что оказывалось захваченным ею, поднималось лёгководолазом на поверхность.

Обычно длительные погружения по выполнению сложных подводных работ, при таких обследованиях заменялись кратковременными, много раз повторяющимися, и потому подобный ритм требовал определённой привычки. Любой мало-мальски опытный водолаз знает, что самое неприятное при подводных работах – это подготовка к спуску. После тщательной подгонки снаряжения тобой овладевает единственное и непреодолимое стремление оказаться в воде, чтобы в невесомом лёгком парении, наконец, освободиться от немилосердно отягощающего плечи акваланга и сдавливающего диафрагму грузового пояса. Но, избавившись от неприятных воздействий, ты через короткое время уже вынужден был вновь возвращаться к незавидному состоянию ожидания в позе истукана, и это, несомненно, утомляло, несмотря на то, что нас было двое и мы каждый день подменяли друг друга.

Иногда такое однообразие в работе сменялось свободным поиском. Бот отводил нашу лодку к самой гряде, время от времени возникающей вдоль почти всего западного побережья, и мы осуществляли разведку нерестилищ, продвигаясь вдоль неё и заходя в укромные бухточки, которые она образовывала. Один из нас постоянно находился на подстраховке в лодке и внимательно следил за тем, как другой лёгководолаз, с отмечающим его на поверхности пенопластовым буйком, продвигается под водой.

У юго-западных берегов острова, в дымчато-голубой холодной воде часто можно было увидеть фиолетово-розовую с опаловыми пятнами кунджу. Двухфутовые рыбины, медленно поводя стального цвета спинкой, грациозно стояли среди камней, и, казалось, были совершенно не боязливы. Порой они очень близко подпускали к себе и, разглядев нас достаточно, недовольно покидали своё место, растворяясь в ещё мутноватой весенней воде.

Сразу после погружения студёные иглы холода пронизывали пальцы рук, сковывали мышцы лица, так что, казалось, загубник вот-вот выпадет изо рта. Разочарованно убегающие наверх пузырьки воздуха с булькающим гулом отдавались в уголках отрешённого мозга. Глянцево-зелёные тонкие стебли филоспадикса, облепленные по всей длине мелкими гроздьями икры сельди, плавно вздымались над безликим, почти белым песком, словно убаюкивали внимание.

Нередко встречались густые коричневатые заросли саргассума. На них так же были заметны безучастно замершие икряные крупинки, в которых, казалось, уже никогда не возникнут жизни. Но более всего поразило другое: довольно невыразительный подводный пейзаж, обдавая пронизывающим холодом и одиночеством, между тем, неизъяснимо манил к себе. Неведомая

темнота глубины, отталкивая, в то же время вынуждала заглянуть в себя. До сих пор не могу забыть это ощущение присутствия какой-то силы, даже неведомого существа, сдержанно наблюдающего за тобой, и тогда я это ощущение отнёс к мощи моря.

В отличие от сельди, мойва, или, как её называют местные жители, уёк, маленькая серебристая рыбка с тёмно-изумрудной спинкой, нерестится прямо на берегу, откладывая икру в песок. Вернее, стаи её подходят рваными лоскутами к урезу воды и, обжимая друг друга, подталкиваемые волнами наката и подступающего прилива, выбрасываются на прибрежный плотный песок, становясь при этом лёгкой добычей местных жителей и морских птиц.

Для своих самоотверженных нерестилиц мойва выбирает пустынные песчаные берега, избегая камней. Часто в период нереста можно увидеть неширокую дорожку этой рыбы, протянувшуюся на многие километры. Ярко отливая на солнце сухими слюдяными боками, она слепит глаза, и несведущий человек вряд ли догадается, что мешает ему смотреть на берег.

Однажды я брёл вдоль линии воды в сухой ветреный день, постоянно увязая в песке. Он был упругий, мягкий, приятно пружинил и пощёлкивал. Только позднее я узнал, что шагал по колено в икре...

По ночам судно часто стояло на рейде у западных берегов острова, давая возможность научным работникам взять воду на планктон и кислород, а экипажу отдохнуть от изматывающих штормов. Вот такими ночами с крутых прибрежных холмов спускались на берег лисы... В апреле или мае, когда здесь начинает сходить снег, лисам не хватает еды, и они выходят к морю, в надежде полакомиться выброшенными им дарами...

С узкими короткими мордами, чутко рыскают они в предрассветной мгле, не оставляя следов на плотном песке. В эти промозглые туманные ночи с берега доносится тихое цоканье когтей по битому ракушечнику и гальке, в обилии устилающих свежие отмели. Изредка ещё слышится их отрывистое тявканье, будто лисы влаивают от удовольствия, наслаждаясь своей привольной жизнью у моря, где они ничего и никого не боятся.

Так ясны были эти звуки среди ночной тиши, что мне казалось, до них – рукой подать, а на самом деле – не меньше морской мили. Но вскоре неясные шаги зверей смолкают и опять – тишина, мрак, да редкое всхлипывание волн в прибрежных камнях. Как будто и не было ничего, а ты всё равно не перестаёшь пристально вглядываться в темноту у моря, которую разбудили ненадолго, вот бы никогда не подумал!/, чуткие красивые лисы...

Самые невероятные неожиданности поджидали нас на каждом шагу, и требовалось время, чтобы всё увиденное переварить. Мне вдруг вспомнилось, что на Командорах существует интересная история приручения голубых песцов, построенная на выработке условного рефлекса у животных в определённое время получать свою порцию вяленой рыбы или проквашенного мяса.

В положенный час промысловик, волоча за собой на верёвке пахнущую потаску, шёл через весь посёлок и регулярно посвистывал в милицейский

свисток. Едва раздавались первые трели, как из тундры с побережья появлялись, задрав хвосты, дикие голубые песцы, окружали человека, и спокойно шли по улицам, едва не прижимаясь к его ногам, до места выдачи корма. И так изо дня в день до самого отлова. Сейчас же голубых песцов, как и норку, разводят на зверофермах, раскинувшихся на плато у самого моря, что оказывается более удобным и выгодным.

Лисы, как и песцы, чьё нахальство и вороватость общеизвестны, как видно, тоже порой теряют всякую осторожность и выбираются к прибойной полосе с целью полакомиться, даже если неподалёку присутствуют люди. Лиса на дальневосточном берегу всегда найдёт для себя что-нибудь вкусное: ведь ест она всё подряд, а здесь лисы – незаменимые санитары прибрежной полосы, или, как её называют на Дальнем Востоке, «лайды».

Чего на этой лайде только нет! Рыба, моллюски, крабы, а от запаха морской травы ни за что не укрыться: в некоторых местах берег напоминает своим зловонием добрую помойку. Это в вечно сыром климате гниют полузасыпанные или вовсе занесённые песком водоросли. В таком месте песок или галька не держит вес, и нога проваливается в отвратительную зловонную кашу. Впрочем, мне всегда нравился этот запах перегнившей морской травы, песка и камней, и я, как и лисы, любил часами бродить по такому дикому берегу, тоже находя для себя что-нибудь замечательное: выбеленный морской солью позвонок или ребро кита, таинственный голубоватый агат или мутновато-вишнёвый сердолик...

Особые думы навевал и берег Татарского пролива возле Александровска-Сахалинского, расположенного на нескольких возвышенностях и в долинах двух мелководных речек, одна из которых называлась Большая, а другая – Малая Александровка. На городе и окружающей его местности как будто лежала какая-то глухая тень, веяло былым бесправием и диким каторжным произволом. Утёсы и заливы тоже были пронизаны угрюмой неприступностью, стояли отрешённо-замкнутые, когда мы в молчании проплывали мимо них, и если бы не шум мотора, неутомимым рокотом отдающийся и вязнувший в неповоротливых каменных ущельях, удручённость, воцарившаяся в этих гиблых местах, и нас бы тронула своим невидимым крылом. Долгое время мы не могли избавиться от навалившегося неприятного оцепенения.

По признанию А. П. Чехова, когда их судно пересекло Татарский пролив, выйдя из Де-Кастри, и бросило якорь неподалёку от Александровска, настроение духа его было невесёлое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже. «Я был непокоен», - пишет Чехов в своих воспоминаниях об острове, и далее упоминает высказывание судового механика, который заметив, какое тяжёлое впечатление произвёл на писателя берег, заметил: «Тут в Александровске ещё ничего, а вот вы увидите Дуэ! Там берег совсем отвесный, с тёмными ущельями и с угольными пластами ... мрачный берег! Бывало, мы возили на «Байкале» в Дуэ по 200-300 каторжных, так я видел, как многие из них при взгляде на берег плакали.

- Не они, а мы тут каторжные, - сказал с раздражением командир. – Теперь здесь тихо, но посмотрели бы вы осенью: ветер, пурга, холод, волны валяют через борт, - хоть пропадай!»

Единственное, что более ста лет назад всё-таки порадовало в здешних местах воображение писателя, были киты, которые, пуская фонтаны, гуляли парочками по гладкому морю и это прекрасное, оригинальное, как он писал, зрелище развлекало его на всём пути. Теперь здесь китов ни за что уже не встретишь, а если подобное и произойдёт, то явится чрезвычайным событием. Несмотря на давний запрет китобойного промысла, поголовье животных восстанавливается медленно.

Помимо Антона Павловича Чехова, тридцатью годами раньше его, в Татарском проливе побывал ещё один русский писатель – Иван Александрович Гончаров... В 1850 – 1852 годах в Петербурге было принято решение отправить дипломатическое посольство в Японию, возглавил эту миссию вице-адмирал Евфимий Васильевич Путятин, а секретарём был Гончаров. Два года парусный 44-пушечный фрегат «Паллада» добирался к берегам Страны Восходящего Солнца, всё это время Иван Александрович вёл путевые заметки, но когда судно прибыло в порт Нагасаки, японская сторона всячески затягивала переговоры, а разразившаяся в 1853 году Крымская война и вовсе расстроила их.

В связи с этим событием российское посольство было вскоре отозвано, и экспедиция направилась к восточным берегам России, где Гончаров пересел на более лёгкую шхуну «Восток». Она и прошла Татарским проливом на север, где секретарь посольства, прежде чем он через Сибирь и Урал на лошадях и лодках благополучно добрался до Петербурга, всё же имел возможность разглядеть неприятные берега Сахалина. Они его, нужно сказать, тоже не впечатлили, мало того – он чувствовал себя в окружении их совершенно удручённым, и берега этого необычного острова, то есть – Сахалина, навевали ему невесёлые мысли, от которых писатель долгое время не мог оправиться. Татарский пролив словно выхолостил ему душу, настроив её перед дальним путешествием через всю Сибирь на суровый, но непреклонный лад: именно здесь, у нелюдимых берегов острова Сахалин, ему надлежало завязать в себе какой-то очень важный, жизненный узел, прежде чем отправиться домой. И, вероятно, Татарский пролив, этой своей отрешённой непреклонностью, помог ему в этом.

Ещё Александровский берег порадовал воображение высоким и обрывистым мысом Жонкиер, образованным северо-западным склоном горы высотой около двухсот метров. Именем своим он был обязан французскому мореплавателю Жану Франсуа Лаперузу, возглавившему в конце восемнадцатого столетия научно-исследовательскую тихоокеанскую экспедицию и прошедшему на фрегатах «Буссоль» и «Астролябия» Татарским проливом почти до пятидесят второй параллели северной широты, то есть до того самого места, где сейчас раскинулся город. О своём

пребывании в здешних местах Лаперуз оставил память, назвав один из каменных мысов именем участника экспедиции де ля Жонкиера.

Время, когда по высочайшему повелению было решено превратить остров в место каторги и ссылки, сохранило свой давний отпечаток мрачным тоннелем, пронизывающим мыс на двести метров. Прорытый политкаторжанами за шестнадцать с половиной лет, тоннель получился жутковатым и каким-то ненужным, хотя и сократил путь от города к маяку. Находясь под его сырыми сводами, хотелось быстрее выбраться к свету, тем более, что на другой стороне тоннеля располагалась скрытая от глаз бухта, пустынные берега которой были усеяны самыми причудливыми полосатыми камнями.

Мыс Жонкиер открывал ещё много своих тайн. Порой на его склонах неожиданно обнаруживались древние отложения с отпечатками давно не существующих рыб, растений или диковинных раковин... Под действием нескончаемых ветров и морского прибоя скалы постепенно разрушались, обнажая необыкновенные образования. Но чаще на подобные сюрпризы можно было натолкнуться под водой, и это представлялось куда более заманчивым...

Так была подарена мне морем каменная внутренность огромной раковины, крупнее самого большого ныне существующего приморского гребешка, достигающего порой тридцати-сорока сантиметров в диаметре. Когда-то давно она мирно покоилась на дне древнего моря, и створки её были широко раскрыты: раковина дышала вольным морским простором... И тут, по-видимому, произошло внезапное землетрясение, расплавленная масса лавы хлынула в её полость и своим давлением захлопнула стенки, навечно запечатлев, таким образом, рисунок всех её замысловатых линий, впадин и изгибов...

Раковина пролежала под водой долго, может быть, десятки тысяч лет, даже – миллионы, и неисчислимые шторма содрали с неё весь известковый корсет. Обкатанная песком и водой, она стала красивой и гладкой, вытянутой в форме гигантской слезы, с одной стороны закруглённой крючком, наподобие мидии. Её так приятно было держать в руках, ощущая эту многовековую тяжесть, и в то же время она казалась лёгкой, даже - живой.

Потом я не раз бывал с экспедициями в здешних местах и неизменно совершал у мыса подобные находки. Среди них встречались отложения с отпечатками исчезнувших животных, насекомых и древовидных веточек папоротника, а однажды подвернулся даже отпечаток рыбьего плавника. Но как бы ни были хороши все эти обретения, дороже раковины, которую я храню до сих пор, уже ничего не попадалось...

Чуть южнее мыса Жонкиер берег тоже представляет из себя высокие скалы, но склоны его местами уже покрыты светло-зелёной растительностью, и если море спокойно, то вода у тёмных скал тоже отливает волшебно-прозрачной зеленью, когда пронизана лучами редкого здесь солнца. Плывьёшь на боте вдоль береговой линии, и от переживания этого чудесного

мира на душе становится радостно. Вода за бортом – будто налитое в огромную чашу разбавленное молоко, и всегда угрюмые в непогоду скалы сейчас воспринимаются как мирно задремавшие сказочные великаны...

Но такое здесь – редкость, впрочем, редкость и знаменитые скалы Три Брата, которые предстают взору на рифе между камнем Бурун и мысом Жонкиер. Они вытянуты цепочкой на север, очень похожи друг на друга и различаются лишь размерами. По преданиям нивхов, исконно населяющих Сахалинскую землю, это были люди, когда-то обратившиеся в камни.

Давным-давно три брата из одного старинного рода пошли на море осмотреть выброшенного кита, - гласит древняя легенда. За ними увязались мать и сестра. Нивхские же обычаи запрещают женщинам смотреть на море, когда мужчины там ловят рыбу или заняты чем-то ещё. А тут женщины нарушили запрет. И потому братья окаменели. С тех пор скалы Три Брата, выдерживая на себе удары морских волн, смотрят в воды Татарского пролива. Они будто сторожат город и в то же время являются его своеобразным символом.

Именно Чехов обратил внимание на то, что на Сахалине дают названия селениям в честь сибирских губернаторов, смотрителей тюрем и даже фельдшеров, но совершенно забывают об исследователях, как Невельской, моряк Корсаков, сподвижник капитана Невельского лейтенант Бошняк, Поляков и многие другие, память о которых, как полагал Антон Павлович, заслуживает большего уважения и внимания, чем какого-нибудь смотрителя, убитого за жестокость... Сейчас это положение исправлено, многие достойные имена нашли своё место на географической карте и Сахалина, и Курильских островов, и Камчатки, и всё-таки не хватает названий, отвечающим своей истинной достойной сути, названий колоритных и по-морскому броских.

Чаще здесь можно встретить Чёртов Палец, Зуб Дьявола, Двух или Трёх Братьев и Сестёр, но за редким исключением натолкнёшься вдруг на Бухту Провидения либо звучное французское селение Де-Кастри... Обычно названия, даваемые людьми заливам, морям, островам, не отвечали их истинной сути, не отражали присущего им своеобразия, а выражали, скорее, настроение исследователя, его неудачу, успех или какое-нибудь мимолётное впечатление. Так, капитан Невельской, благополучно миновав низменные кошки у северных берегов Сахалина, назвал их не иначе, как шхеры Благополучия, а Южное море было отмечено Магелланом Тихим только потому, что за все дни плавания не случилось ни единого шторма, изредка дул лёгкий попутный ветер и ночи стояли великолепно спокойные. Подобная неопределённость, кстати, произошла с наименованиями самого острова и пролива, отделяющего от него материк, что со временем, впрочем, не помешало людям по-настоящему привязаться к этим названиям и полюбить, ни на миг не допуская каких-либо иных.

Иностранные мореплаватели называли пролив между азиатским материком и Сахалином – Татарским, по-видимому, благодаря

наименованию «Tartarie», дававшемуся иностранцами всем землям, лежавшим за Уралом. Но оно сохранилось почему-то только за Дальним Востоком, хотя здесь никогда не было никаких татар. Возможно, это название в какой-то мере объясняется русским выражением «провалиться в тартарары», если иметь в виду «конец света», край земли сибирской, начало океана, вулканические таинственные недра...

Что касается названия «Сахалин», то оно дано острову по реке Амур, а произошло это так. В начале восемнадцатого столетия китайский император Кан-хи поручил монахам-миссионерам составить карту Татарии, то есть западного побережья азиатского материка, выходящего к Татарскому проливу. В 1710 году католические миссионеры составили и выгравировали на медной доске карту Татарии, а один из оттисков карты был послан крупному французскому географу д,Анвилю, с именем которого отчасти связано название острова. У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте имелась надпись, сделанная монахами: «Сахалин улла ангахата», что в переводе с маньчжурского языка означало «Скалы в устье реки Чёрной». Название это принадлежало, должно быть, какому-либо утёсу или мысу около устья Амура, но д,Анвиль, видимо, по чистому недоразумению понял надпись по-своему, отнес её к самому острову, и, несколько сократив длинное наименование пекинских миссионеров, обозначил остров просто – Сахалин. Хотя в китайских летописях первые упоминания о земле, лежащей против устья Амура, относятся ещё к 7-10 векам, тот факт, что остров, имеющий в длину 948 километров, площадь которого вдвое больше Греции, был назван в 18 веке просто «Скалами», свидетельствует лишь о том, что в Китае так же, как и в Европе, знания о нём были весьма туманными...

Нивхи Амура называли Сахалин «Тро-миф» - большая земля, казацкие отряды первопроходцев, возглавляемые Москвитиным и Поярковым, - «Гилят», айны, коренное население Сахалина и Курил, - «Таракай» или «Трептун Мосири», японцы – «Карафутто», голландский мореплаватель Де-Фриз – «Портландом», а в древних китайских летописях он назывался «Дачжеу» и «Лючуй». Но на карты мира, с лёгкой руки французского географа д,Анвиля, остров вошёл именно под названием «Сахалин».

По мере нашего продвижения на север берег постепенно понижался, и в северной части становился низким и песчаным, без ярко выраженных скалистых отчуждений, безмолвно довлеющих над морем. Воды Сахалинского лимана встретили нас не растаявшими льдинами, которые противно скрежетали по обшивке судна и не давали ночью уснуть. Лёд затруднял дальнейшее продвижение, и потому было принято решение пока идти к противоположному, материковому берегу, опускаясь вдоль него до мыса Сюркум.

Материковый берег, в отличие от островного, выглядел более дремучим, широким и каким-то колючим. Не было в нём крутобокости

пустынных сахалинских сопок, внезапно взлетающих над морем, не ощущалось рассеянной мягкости дымчатого воздуха, неслышно роящегося в укромных распадках, и даже волны воспринимались здесь иными – не отрешённо набегающими на берег, а внутренне подобранными, готовыми ко всему, бесстрашно мятущимися между скал.

Скалы бухты Накатова тоже отличались от строгих сахалинских утёсов, замкнутых в себе, и выглядели задиристыми, с ощерившимся чахлым лесом на вершине. Густой туман, неторопливо сползая с них, превращался во влажные ключья, из которых неожиданно вырывались утки и так же мгновенно растворялись в нём. Уток было очень много и, медленно продвигаясь на боте вдоль еле угадываемых берегов, мы пытались охотиться на них.

Кто-то один всё время находился в носовой части бота, в любой момент готовый выстрелить, но шум мотора мешал услышать шелест крыльев, и это создавало определённые трудности. Подводные камни так же не давали возможности без оглядки отдаться азарту охоты, и тогда мы глушили двигатель и, поглощённые девственной тишиной, замирали, чутко вслушиваясь в разносящиеся над водой звуки. И только волны настойчиво чмокали под пластиковым бортом, и еле слышно крался возле мокрых скал туман. Отсутствие птиц во время таких кратких стоянок озадачивало нас, мы не понимали того, что утки большей частью сидят на воде, а поднимаются на крыло лишь испуганные.

Именно здесь, в бухте Накатова, набрёл я на мокрое каменное яйцо... Этот бледно-сиреневый, с мелкими белыми крапинками камень напоминал чем-то саму бухту, какой она бывала, наверное, в мглистое туманное утро, с еле морозящим сиреневым дождём. Он очень удачно выражал её настроение в это утро, и я решил взять его с собой на память. Я был почти уверен, что некоторые камни содержат в себе столетиями накапливаемый свет окружающего их места.

Бухта Чихачёва устроена природой у негостеприимных берегов Татарского пролива как по заказу, без неё бы судоходство в этих местах было значительно затруднено, и может быть даже невозможно. Бухта эта глубоко вдаётся в материк, в диаметре километров пять, берега её сравнительно невысокие, но обрывистые и скалистые, защищающие её от ветров и с не широким выходом в море. Правда, лишь с восточной стороны, с которой значительную часть года и свирепствуют сильные ветры. К тому же бухта мелководна, и суда бросают якоря в километре от берега, да ко всему прочему семь месяцев в году воды её скованы льдом.

Примерно посредине бухты между её северным и южным берегами тянется цепь скалистых островков – Устричный, Базальтовый и Обсерватории, поросших лесом. Эти окаймлённые рифами острова делят бухту Чихачёва на два рейда – внешний и внутренний, с глубинами 12-14 метров, а лучшее якорное место расположено к западу от острова Устричный, где мы совершили высадку и осмотр прибрежной части. Никогда

до этого не получал такого удовольствия от пахучего, густого тумана и от того, как мы пробирались в нём через огромные, серо-голубые валуны, которые воспринимались живыми, чувствующими все устремления твоей души. Так приятно было к ним прикасаться, к их шероховатым бокам, ощущая под ладонью таинственное внутреннее тепло...

Не забыть и бухту Мосолова – небольшую, в удобном распадке, с неприметно струящимся из скалы чистым ключом, защищённую с одной стороны мысом, далеко выдающимся в море. Семь рыбаков встречали нас на покривившемся пирсе и сразу осведомились – кто мы такие, откуда? Запомнился среди них один старик – худой, в штопанной выцветшей рубашке и штанах, белых от морской воды, потрёпанной безрукавке, старой ушанке, высоких сапогах-болотниках. Невозможно было отвести глаз от его изборождённого морщинами-шрамами смуглого лица, жилистой худой шеи с прилипшими к ней рыбьими чешуйками, складной раскованной фигуры. Он безотчётно притягивал к себе внимание, хотя и не прилагал для этого никаких усилий.

Старик показал нам, где может нереститься сельдь. По его словам он давал полный «гарант» в этом. Посетовав на то, что рыба надоела, а утку стрелять нечем, он получил все наши патроны. Как видно, старик был одним из тех, в чью жизнь с детства было заложено море с его чистотой, ветер, ничего не делающий попусту, и труд. Несмотря на постоянное напряжение, сердце старика не было омрачено несправедливостью, каждый день оно раскрывалось для нелёгкой работы и общения с людьми. Не сумев обрести многое, без чего не могут обходиться в городах люди, он, между тем, нашёл для себя самое главное здесь, в этих забытых Богом местах, и уже не отпускал его... Это чувствовалось во всём его облике, открыто и очень радушно расположенном к нам, вообще – к людям.

Когда бухта скрылась из глаз, и бот вывернул в открытое море, одна женщина, находящаяся среди нас, звали её – Галина Михайловна Пушкинова, руководитель экспедиции, задумчиво произнесла: «Знатный рыбак. Он мне очень понравился...» И все оживлённо заговорили о нём, а потом выяснилось, что даже не узнали – как величают этого замечательного старика.

В устье речки Серебряной местный лесничий встретил нас гостеприимным хозяином огромной территории, подлежащей его охране. Жаловался, что из-за обилия корма развелось пропасть норки и что она сильно донимает. Потом показал место с отвесной, поросшей чёрными елями горы, где лежала в леднике туша медведя. Как он попал туда – неизвестно. Вероятней всего, сорвался со скалы, когда полез в гнездо к орлану-белохвосту, за яйцами. Гору прозвали Медвежьей.

Взобравшись на неё, я долго смотрел на замёрзшего во льду медведя. Казалось, он забылся и от всего отдыхает. Густой мех топорщился в разные стороны, а голова покоилась на одной лапе... Всё выглядело таким естественным, что трудно было поверить, будто медведь неживой.

Голубоватый лёд вокруг его тела уже начинал подтаивать, глыба по краям становилась мутноватой и грязной. И почему-то захотелось, чтобы медведь лежал вот так вечно, чтобы лёд никогда не таял, и грязь не касалась его шкуры. Если бы всё это могло исполниться, если бы я знал, что так оно и будет, мне, наверное, легче было бы жить...

Но по большей части здешние берега пустынно, и за несколько сот вёрст береговой линии можно не встретить никаких следов человека. Только однажды мы натолкнулись на завалившуюся дощаную избушку, неприметно притулившуюся под отвесной скалой, в нескольких метрах от уреза воды. Видно было, что устраивалась она временно, из подобранного на берегу плавника, без учёта наступления больших приливов. Да ещё как-то разглядели в бинокль след костра на песке, высадились с бота, и неподалёку от кострища обнаружили труп мужчины, видимо, беглого, с четырьмя ножевыми ранами в живот. Пришлось капитану вызывать пограничников, и только через сутки они нас отпустили, опросив весь экипаж.

Не на чем задержаться глазу, когда идёшь вдоль материкового берега: то попадаются безликие черновато-серые скалы, подёрнутые никогда не исчезающей здесь туманной пеленой, то чахлые ели и лиственницы, угрюмо взирающие с обрывистых и таких же безликих скал. Редкие речушки прорезают пустынные холмы и тотчас теряются среди их диких склонов. Стук нашего мотора повисает в этих неприметных распадках, но быстро тает, будто его и не было. И опять воцаряется дремучая отрешённая тишина...

На всём своём протяжении, почти повторяя длину самого острова, Татарский пролив совершенно непредсказуем, и дарит неожиданные сюрпризы... Мы продолжаем идти на боте вдоль скалистого материкового берега на севере пролива, отыскивая места нерестилищ сельди. Воздух, как и вода, немножко копошится и кажется таким же мутновато-зелёным, даже тёплым. Яркое солнце пробивается сквозь густой туман и на миг становится даже жарко, так что наши телогрейки, ватные штаны и болотники представляются неуместными, хотя по здешним понятиям июнь месяц – ещё не лето.

И действительно, попав через несколько минут в сизо-фиолетовую тень отвесной скалы, нас окутывает промозглая прохлада и затаенный мрак, а набежавший откуда-то ветерок обдаёт лицо такой стужей, что по телу прокрадывается неприятный озноб и хочется поскорее выбраться на открытую воду. Но там липковато-влажный туман уже накрыл собой всё окружающее пространство, и как-то не верится, что совсем недавно выглядывало солнце, и тебе было даже жарко. Север, льды и холодный ветер дают знать о себе здесь и в июне!

Ветер налетает порывами, образуя грязновато-пенные задиристые барашки на тускло-зелёной, безжизненной воде, от чего становится ещё более неуютно, и ты съезжаешь на дно бота, где тоже сыро и неустроенно, но, по крайней мере, не так задувает. Сидишь, весь скрючившись, и, прислонясь спиной к пластиковому борту, неподвижно смотришь на

объяввшие всё это пространство мутноватые клубы тумана, а дребезжащий рокот мотора постепенно наполняет тебя ощущением покоя. Ты прикрываешь ресницы, слушаешь, как плещутся за бортом волны, изредка вскрикивают чайки, и эта, обычная на первый взгляд, обстановка, присущая нашей работе, незаметно заполняет сознание значимостью того, что происходит вокруг.

А из тумана неожиданно выплывают ... кекуры! Что это за удивительные произведения природы, которые если увидел, хотя бы однажды, никогда не забудешь!

Эти высоко возвышающиеся над водой камни, вернее – отдельно стоящие каменные столбы часто встречаются на Сахалине и Курилах. Они – свидетели прежнего положения береговой линии, остальные же склоны гор постепенно были срезаны морем. У материкового побережья Татарского пролива – это отроги гор Сихотэ-Алиня, а у западного берега Сахалина – Западно-Сахалинский хребет, что часто приближается вплотную к берегу, но иногда несколько отступает в глубину острова.

Кекуры образованы устойчивыми к разрушению породами – кремнистыми сланцами, порфиритами, и расположены обычно на продолжении мысов в виде игл, башен, бастионов, фантастических фигур животных и сказочных великанов. Окрашены они нередко в яркие, красно-оранжевые цвета кремнистых сланцев, или поднимаются над морем тёмными силуэтами порфиритовых скал. Благодаря именно им – однообразные скалистые берега дальневосточных морей становятся живописными, и я никогда не слышал, чтобы их называли здесь иначе, чем «кекуры», а вот на севере Берингова моря они именуется ... отпрядышами, видимо, по причине того, что камни однажды отпрянули, то есть – отделились от берега или утёса.

Кекуры всегда необычны на вид, и поражают взгляд своей крутизной, так что на них хочется смотреть долго, не отрываясь... Но более всего они притягивают внимание своей обособленностью... Берег рядом, а они, тем не менее, уединились. Застыли в каменном молчании, повергающем в онемелое лицезрение их непреклонной древней стати. С восхищением рассматривая эти древние каменные изваяния, вызывающие только необъяснимое уважение, сразу понимаешь, что они бессмертны. Столько в них этой непреклонной несгибаемости, скрытой природной воли.

Боцман с нашего «География Попова», может быть, именно от необъяснимости их величия однажды торжественно обронил: « Этим самым кекурам – имена давать надо. Как мысам, морям или заливам...». - И немного погодя, с таким же серьёзным видом добавил: « Например... «Мечта импотента»!

Кекуры... Завораживающие взор загадочные каменные идолы... Что выражают они своей обособленностью, и чего ожидают у самого берега моря?

Стоят кекуры негибаемо под натиском ураганных ветров и штормовых волн, разбивая их в солёную пыль, и веет от них старинными морскими поверьями, потому как повидали они немало. При их молчаливой величественности – они не замкнуты, даже открыты. Безропотные морские стражи, охраняющие покой земли в непосредственной близости с морской стихией, безмолвные свидетели её пребывающей в веках мощи... Кекуры!

Льдины – тоже частые гости на севере Татарского пролива и в мае, и в июне. Бывает, когда уже забудешь о них думать, какая-нибудь грязновато-оплывшая, но ещё внушительных размеров ледуха тукнется глухо в скулу судна, прошибает со скрежетом под килем и с шумом вывернется у другого борта, а ты, недоумевая, лежишь в каюте и думаешь: что бы это могло быть?

Часто льдину затягивает под днище надолго и она там неловко бултыхается в водных завихрениях, вертится очумело, пытаюсь хоть куда-либо выбиться, а когда выскальзывает со сдержанным вздохом далеко от судна, ещё какое-то время вертеться и изредка выглядывая из воды, то непроизвольно воспримешь её за небольшого кита или на худой конец – тюленя... Всё бы, кажется, отдал ради таких неожиданностей, связанных и с Татарским проливом, и с открытым морем, когда, к тому же, увлечённо занят любимым делом...

Почти вдоль всего берега пролива, даже под обрывистыми скалами, обычно полно уток... Огарь, нырковые, чернеть, каменушки – все они то и дело с гоготом перелетают, присаживаются на покачивающиеся волны, и вновь куда-то срываются, озабоченно лопочут. Те, что оказываются перед самым носом бота – что есть силы, бросаются врассыпную, почему-то и не думая взлетать, и чаще всего - ныряют, но с бака хорошо видно, как они продолжают удирать, только уже под водой, полагая, наверное, что их не видно. От того, что и утки и бот движутся, утки под водой растягиваются, становясь чуть ли не в два раза длиннее. Их вытянутые назад лапки напоминают развевающиеся на ветру красноватые лоскуточки ткани, и когда они вздрагивают – прозрачную воду прочерчивают искрящиеся шлейфы серебристых пузырьков...

А прямо над нашими головами взлетают и падают кайры с бакланами, будто пересиливая себя в полёте, который для них вынужден и не приносит удовлетворения. Забрав достаточно в море, они вскоре также обеспокоенно устремляются к берегу, словно запинаясь в воздухе, но почувствовав его близость – выравнивают полёт и переходят на парение, присаживаясь на осклизлые камни. Отряхнувшись и обрызгав камни помётом, птицы поворачиваются грудкой к морю, и на какое-то время настороженно замирают.

У самого берега, почти в прибойной полосе, резвятся нерпы... Чёрные, блестящие головки нерп хорошо заметны издали, и они всегда такие изящные, живые, что их никогда ни с чем не спутаешь. Чайки лениво кружат над ними, недовольно вскрикивают и тут же теряют интерес при виде

очередной добычи. Люди же в боте сидят неподвижно, даже оцепенело, давно привыкнув к северной природе у моря...

Но однажды нам привелось испытать на себе в Татарском проливе один из сильнейших тайфунов, который губительным смерчем прошёлся по Японским островам и Сахалину, и со всей мощью обрушился на наше маленькое исследовательское судно... Предельной силы встречный ветер и огромные валы высотой до десяти метров преградили судну путь в проливе. Оно с трудом удерживалось против волн, почти не продвигаясь вперёд.

А дальше случилось худшее: вышли из строя рулевые моторы, и судно стало неуправляемым. Его развернуло бортом к волнам и понесло к берегу, крен приближался к критическому. Стремительная качка парализовала жизнь на судне: она бросала людей на переборки, срывала прочно закреплённые к ним предметы...

Когда до каменной гряды, зловеще выступающей из-под воды вблизи берега, оставалось полмили, старший механик сообщил, что неисправность ликвидирована, судно кое-как развернулось на ветер и стало пытаться покинуть опасное соседство. Но сила сопротивления оказалась так значительна, что судно опять стало сносить на камни, и в сложившейся ситуации пришлось отдать якорь... Его тут же оборвало, то же самое вскоре произошло и со вторым, последним...

Мы, вероятно, были обречены, но море отчего-то не забрало нас, и судно каким-то чудесным образом, всё же, тогда выбралось. Татарский пролив, не уставая преподносить своё неповторимое своеобразие, всё-таки вознамерился испробовать нас на крепость: а достойны ли люди тех красот, которые он им великодушно открывает, и идут ли они им на пользу? Наверное, мы всё делали правильно, потому что стихия смилостивилась над нами, и подарила ещё одно знание, связанное с морем: беда учит не смерти, а жизни. Тем более, если ты находишься в объятиях такого загадочного пролива, соединяющего два удивительных дальневосточных моря – Охотское и Японское, с берегов которых, в свою очередь, берут начало воды самого великого океана...

Татарский пролив... Сейчас, когда я пишу эти строки и вспоминаю те далёкие берега, мне представляется, как они по-прежнему хранят молчание, беспристрастно ждут своих редких посетителей, из которых никому не дано слиться с ними, как бы долго они там не находились. Сердце щемит от мысли, что, вероятней всего, мне там уже не побывать, не ощутить раскованности удивительной дальневосточной тишины, и дикий ветерок, внезапно слетающий со склонов хребта Сихотэ-Алинь, уже никогда не освежит моё открытое лицо, не взъерошит на голове упрямые волосы. Но воспоминание о том, что всё это однажды я видел, наполняет уверенностью, и она незаметно умиротворяет душу.

И тогда вновь дикие пустынные берега Татарского пролива встают передо мной, то появляясь, то исчезая в туманной дымке... Из неё, прямо мне навстречу, изредка вырываются кайры или бакланы. Иногда мимо проносятся суматошные стайки каменушек... Серовато-коричневая студёная вода монотонно шлёпается о пластиковые скулы бота, взлетает в воздух солёными брызгами, обжигая лицо и руки, но ощущения неприятного холода не вызывает. Всё вокруг как будто поворачивается к тебе, покойно смотрит и наполняет жизненной силой.

Только здесь по-новому услышал и увидел я жизнь, проникнувшись этими огромными морскими пространствами, представляющимися для меня самыми уютными, дорогими. И переживая весь свой нелёгкий путь сюда, на берега Татарского пролива, я теперь с горячим чувством благодарности отношусь и к морю с его запахами, и к ветру, и к крикам птиц, и мне хочется с кем-то говорить обо всём этом, чтобы меня услышали, задумавшись о главном: отпущенном тебе времени.

## «СТАН»

Бот движется размеренно, время от времени окатывая покойно сидящих в нём людей водяной пылью от столкновения с крупной волной, и никто из них не произносит ни звука. Изредка кто-нибудь из научных сотрудников спросит:

- Далеко ещё?

- С полчаса ходу, - выдержав длительную паузу, нехотя отзовется моторист на руле, и опять тишина.

Бывает, мотор внезапно заглохнет, и моторист начинает свою неспешную возню с ним, а мы беззвучно качаемся на волнах и слышно только, как волны с глухим плеском разбиваются о скулы бота. Моторист, чертыхаясь вполголоса, что-то подкручивает, продувает, и остальные с каменно-равнодушными лицами наблюдают за его нехитрыми действиями, кажется, ничуть не сомневаясь, что мотор рано или поздно заведётся.

Мотор действительно вскоре начинает тарыхтеть, бот разбивает носом волну, и мы опять сидим, молча нахохлившись под неуёмным северным ветерком, косимся на неприятный пустынный берег и скрываем лица за поднятыми воротниками, невольно приподнимая плечо. Вокруг, куда ни посмотрит глаз, желтовато-свинцовые волны, низкое серое небо и безжизненные берега. Всё охвачено первозданным покоем, от горизонта до горизонта лениво переваливает свои холодные воды загадочный Татарский пролив, и вдоль его материкового побережья мы направляемся в бухту Суцёва...

- Митрич, - неуверенно обращается боцман к старпому. – Ты мне сурика ведро выпишешь, наконец, али нет?

Лицо старпома перекосится, будто от зубной боли, и он, немного помедлив, только недовольно обронит:

- И куда нонче селёдка подевалась?

- Ясное дело – к холоду, - кто-то повторяет за ним на корме, и разговор на этом обрывается.

Всех невольно пробирает озноб.

«К холоду, к холоду» - будто вторят людям безучастные волны, ударяющиеся в округлые борта, и из глубины моря на нас надвигается густой промозглый туман. Чисто морской запах, к которому мы успеваем привыкнуть, вскоре сменяется береговым: бот направляется к устью реки.

Неширокая полоса пустынного берега кажется близкой, но мы всё идём к нему, идём, разбивая носом холодные, теперь уже свинцово-коричневые волны, а берег будто и не приближается. Когда долго смотришь на воду, то кажется, что берег и вовсе удаляется... Только что в чернеющем на скалах лесу стали различимы отдельные лиственницы и ели, но уже в следующий миг, после того, как тебя отвлекает удар сильной волны в скулу, берег, вроде бы, ещё более удаляется. Не сразу привыкаешь к тому, что вода скрашивает истинное расстояние.

На буксире у нас болтается лодочка, в ней покоится невод. Мы хотим с помощью рыбаков сделать пару замётов, в надежде поживиться нежной селёдкой и жирной корюшкой. Нам хорошо видно, как рыбаки на берегу над чем-то копошатся у самой кромки воды, то сходятся, то расходятся, изредка отлучаясь в складское помещение, представляющее из себя ветхий, выцветший от времени и дождей сарай. Бот наш так незаметно приближается к берегу, что даже не верится, что мы его когда-нибудь достигнем и познакомимся с рыбаками, чьи фигурки кажутся просто крошечными.

Но вот, наконец, и берег! Осторожно, с выключенным мотором, подходим мы к песчаной косе, протянувшейся вдоль береговой линии, и нос бота со скрежетом зарывается в плотный песок. Весь путь до берега лица нам обдавал ледяной ветерок, но при высадке земля, несмотря на весенний холод, дохнула теплом. Все повыскакивали в воду, радостно почувствовав под ногами твёрдую почву, и торопливо взялись вытягивать бот подальше, а кто-то уже занялся неводом, складывая его по порядку.

На взгорке показались дощаные постройки, а чуть поодаль стали вырисовываться вешала с сетью. Сразу приятно запахло каким-никаким жильём, сушёной рыбой, деревом, мхом и камнями, даже, кажется, хлебом... Бригада колхозных рыбаков, пока не пошла основная рыба, видимо, сидела, по большей части, без дела.

У самого берега в нос крепко ударило запахом костра и недавно просмоленных кунгасов, перевёрнутых днищем вверх, неподалёку от уреза воды. Из дощаника один за другим показываются остальные рыбаки, потягиваясь и почёсываясь неспешно выходят нам навстречу, кто-то из них даже приветствует нас, старается помочь принять груз, забредя по колено в воду, но тут же одумывается и, нелепо улыбаясь, уворачивается от набегающих с шипением волн, будто впервые их видит. Всем сразу становится смешно, раздаются радостные возгласы, кто-то, к удивлению своему, обнаруживает старых знакомых... Словом, на берегу воцаряется непривычное для этих мест оживление, но природа также равнодушно и мрачно взирает на происходящее...

Все рыбаки, как на подбор, в выбеленных от соли телогрейках, брезентовых штанах, сапогах-болотниках, и почти у каждого на поясе нож, а на голове зимняя шапка. Большинство – с бородами или многодневной щетиной, вид – самый заскорузлый, сильно потрепанный, даже – опалённый, но в движениях и руках чувствуется сила и ловкость. Редкая улыбка – что кривая усмешка, не принято здесь много улыбаться, а всё более переживать длительное напряжение, проявляя порой великое терпение, и оттого – лица суровы, замкнуты, но заговори с человеком – и сразу раскроется его почти детская душа: чистая, наивная...

Рыбаки – сами как дети, что затеяли какую-то важную для себя игру у моря. Вроде, копошатся неловко, что-то там то и дело подтягивают, смешно перебегая, перехватывают и отпускают, вновь осторожно подбирая, а на следующее утро громоздятся по берегу пузатые бочки, в которых сочно

серебрится знаменитая декастринская селёdochка. Утки нырковые пронесутся над головой, чётко отразившись в её светлых широких боках, будто в спокойной воде, и подивисься этой нехитрой, но обаятельной поэзии севера...

Места здесь хмурые, солнечная погода – большая редкость, а если ещё разгуляется на море шторм – и вовсе невесело. Когда погоды нет – настроение у рыбаков плохое. Поминутно переругиваясь матом, без нужды цепляют они друг друга, шатаются от склада к засолочному цеху и обратно, или берутся плести сети, но надолго никого не хватает... Не достаёт рыбалки, родного для души и тела напряжения, а на море – великое волнение, и только Богу ведомо, когда оно прекратится. Рыбаки томятся. Скука!

Беспрестанно встающие у берега валы никого из рыбаков не пугают, но помочь это делу не может. Жилой сарайчик отчаянно продувает солёный ветер, и приходится, не переставая, топить печку. Можно, конечно, завалиться на боковую, никто ничего не скажет, и именно так все рано или поздно поступают, да только долго на жёстких досках не лежит. Каждый изредка прикладывается к щёлочке в стене и тут же с тоской отворачивается, со вздохом перевернувшись на другой бок. А если выбежишь до ветру, то опять же – ненадолго, и только справив нужду, хочется уже обратно в сарайку, к жаркой печке. На душе у всех становится неуютно, даже жутко. Когда же рыбалка, долгожданная рыбацкая работка!

К слову сказать, невод – самая большая из всех рыболовных сетей, состоящая из мотни посредине и двух приводов или крыльев. Невод закидывают и вытаскивают на берег, и всё это нехитрое устройство призвано ловить рыбу. На Дальнем Востоке морской невод часто зовут волокушей.

Невод завозят поперёк берега, пускают во всю глубину и загибают вдоль, по стрежню, то есть самому приглубому месту залива или устья реки, впадающей в море, которые обычно и выбирают рыбаки для лова. Старший из рыбаков, как правило, это бригадир, вымётывает невод, стоя на корме рыбацкой лодки. По верхней подборе идут поплавки, по нижней – камни или грузила. Береговой привод, с которого начинают вымётывать невод, крепится на берегу, а ходовой или выбежка, подтягивается рыбаками. Затем оба крыла сводятся вместе, и весь невод притонивается и вытаскивается.

К неводу у рыбаков самое трепетное отношение. Невод кормит рыбаков, это их основное орудие лова, и оттого среди них издавна существует поверье: на невод – не ступать и не плевать, рыба не будет ловиться. Относишься же бережно к своему рыбацкому инвентарю – счастье обязательно вывезет, рыбалка на славу удастся, и, значит, стану – самое место!

Вообще, станом раньше называли место, где путники останавливались на отдых, для временного пребывания. Неводные рыбаки, естественно, становились таким определённым местом для ловли и обработки рыбы, это было их временное пристанище. В старину рыбацкий стан ещё называли

ватагой, шайкой либо артелью, на время объединяющей рыбацкое товарищество для совместной работы. За ватагу рыбаков, говорили знающие люди, и одного богача не выменяешь, так дружны и спаяны были между собою рыбаки. Словом, своя рыбацья ватага, своя семья.

Стан в бухте Сущёва, где мы предполагаем провести очередную съёмку проб икры сельди на разных глубинах, хоть и старый, но, как водится, со всем заведением: небольшая пристань на сваях, обшарпанные, но ещё крепкие доры с кунгасами и лодки, снасти, выцветшие сети на вешалах, лачуги бытовые и погреба для засола. На рыбий промысел всякий местный колхоз нанимает обычно бичей, из бывших рыбаков, что оказывается дешёвым предприятием и достаточно верным, потому как люди собираются бывалые, знающие рыбацкое дело и привыкшие к разного рода лишениям. К тому же, каждый из них не прочь неплохо заработать, почти не имея никаких доходов в течение остальной части года, и конечно из кожи вон лезет, чтобы самым лучшим образом себя проявить. Благо, винные магазинчики на этих пустынных берегах отсутствуют и соблазн выпить, таким образом, никому из рыбаков не угрожает. Всё, что они припасли с собой с начала путины, а это, как правило, фляга со спиртом и несколько флаконов одеколона, уже давно выпито, и ещё незамутнённое сознание пока только жаждет нелёгкого рыбацкого труда, нескольких часов сна и нехитрой похлёбки с порцией забористого табака. С милостью божией и своим любимым промыслом именно эти рыбаки так не один план за свою жизнь и побили.

Рыбацкий стан поначалу вызывает ощущение заброшенности, хотя жизнь в нём до конца не угасла. Каждый год, по весне, небольшая бригада колхозных рыбаков всё-таки располагается здесь лагерем и ждёт, когда первая сима с корюшкой пойдут на нерест. На селёдку уж, как бывало, не надеются, хотя мы тут находимся именно за этим: ищем и обследуем нерестилища сахалино-хоккайдской и декастринской сельди...

Глядя на эти полуразвалившиеся, выцветшие от времени, бесчисленных дождей и ветров постройки, всё же не покидает ощущение уюта. За их ветхим и выщербленным видом скрывается преданность делу, которое составляет суть всей жизни рыбаков: ловить и заготавливать рыбу. Несмотря на незначительные уловы последних лет и ощутимый развал рыболовного дела, какую-то даже всеобщую неустроенность, вся здешняя, не совсем обустроенная обстановка не в тягость.

Берег, словно чайчье крыло красивой линией плавно изогнут вглубь материка, песчаный пляж с плавником окаймляет строгая щетина из лиственницы и ели, и даже холодные на вид серые скалы не удручают впечатления. В очертаниях бухты чувствуется простор, и только скудость северных красок несколько омрачает восприятие. Оживляют пейзаж люди...

Наш старпом радостно торопит матросов, находясь в необычном возбуждении.

- Ну как? – неожиданно кричит он нам, восторженно оглядывая постройку, залив, и уже обращаясь к собравшимся вокруг рыбакам, опять радостно восклицает:

- Пошла, что-ли, рыбка, едри её мать?

К этому времени двое матросов перенесли невод на корму лодки, оттолкнулись, и один принялся быстро грести, а другой стал торопливо вымётывать за борт стенку. Остальные матросы, забредя по колени в воду, взялись придерживать свой край, потихонечку подбирая и притапливая низы. Двое же в шлюпке отошли порядочно в море, плюхнули за борт мотню и повертели обратно. Выметав вторую стенку, они замкнули большое полукружье и причалили к берегу. Разбившись на две группы, все с весёлыми возгласами, дружно потянули невод.

Как это всегда бывает, не обошлось без суеты и показухи. Кто-то проявил особое усердие, нашлись и такие, что бросили тянуть и озабоченно забегали, к месту и не к месту выкрикивая разного рода команды. Когда мотня показалась на мели, её подхватили и поволокли на берег. До самого конца не было понятно – есть ли в неводе рыба, но вот мотня подтянута, и вперемешку с водорослями и песком все в ней увидели сбившуюся во влажный ком серебристую рыбу – мойву, белобрюхую с жёлтым пером камбалку, пятнистую кунджу... Несколько волосатых крабиков копошилось в пучках поблескивающей зостеры, здесь же находилась студенистая прозрачная медуза, две-три иссиня-багряных звезды патирии... А всей рыбы набралось ведра два...

- Что-то в этом годе никудышный прилов, - почесав в затылке, недоумённо пробормотал боцман, руководивший выводкой невода. Но потом, спохватившись, оживился и добавил:

- С прежним, ясно, не сравнишь... А всё равно хорошо! – И повернувшись почему-то ко мне, неожиданно спросил:

- Ты селёдочку-то, декастринскую, когда едал?

Я только помотал головой.

- Ой, жирна! И то говорю: отошла она куда-то... Так ничего уж третий год не попадается. Да мотню-то пообчисть толком! – неожиданно выкрикнул он кому-то, взмахнув рукой. Матросы готовились заводить ещё одну тоню...

И вот, завели, выметали и с нетерпением опять принялись выводить. Старпом, будто позабыв про нас и повернувшись вполборота к морю, какое-то время настороженно наблюдал, а потом, будто в сердцах, как-то очень надрывно заорал, да тотчас сорвал голос и уже сдержаннее, перейдя на сип, но с тем же азартом любопытствует:

- Ну-у, попало чего?

- Да, камбалёшка одна, мойвочки малёк, да симушка, кажись, - лениво откликнулся кто-то из матросов.

- Ну, это ведь надо! Глаза б не видели... А раньше, бывало... - в расстроенных чувствах чешет затылок старпом.

- Не рано, кому дано, а не дано, - поспекает со своими рассуждениями боцман. – Раньше-то, известное дело, душа пела... - И погодя, будто по-настоящему веря в сказанное: - Богатые, видать, раньше нашего встали, да всё и расхватили.

- Вот и я говорю, раньше... - задумчиво добавляет старпом.

Невод к этому времени вновь распутан, аккуратно уложен, и все чувствуют себя несколько озадаченно. Второй замёт выходит впустую, хоть по нему обухом бей! И тут уже не выдерживают рыбаки: закидываем невод с их помощью, как в сказке, в третий раз...

На берегу все в нетерпеливом ожидании: вот-вот из воды должна показаться мотня, и, конечно, каждому рыбаку верится, что она до отказа будет забита рыбкой. Перед самым выводом улова среди рыбаков случается необыкновенное оживление, слышится сопение и весёлая ругань, плеск воды, скрип мокрых сапогов, в лицо летят солёные холодные брызги... И, наконец, добыча!

Поначалу кажется, что ничего в мотне нет, замёт вышел пустым, но когда уже ничего не ждёшь, разуверившись в рыбацком счастье, в мутно-голубоватой воде возникает белым пятном сбита в самом кутце рыба... Неважно – какая, да сразу это и не определишь, главное, чтобы её было в достатке. Попадётся корюшка – все вешала вскоре будут заполнены изящными, жирно-светящимися на солнце рыбьими тельцами, и по берегу разнесётся резко ударяющий в голову запах свежего огурца. Набьётся в сетку мелкая мойвочка – тоже неплохо: будут рыбаки жарить вкусную нерестовую рыбку на больших противнях прямо на костре, прихватывать потом развалистое белое мяско пальцами и, обжигаясь и размазывая горячий жир по подбородку, со смаком отправлять его в рот, с удовольствием нахваливая... Ну, а залетит в невод косяк прогонистой, плотненькой симы, либо увёртливая кунджа – тут же на берегу в большом закопченном казане сготовят знатную наваристую ушицу! О селёдочке и говорить не приходится: её рыбаки жалуют особо, - солят, любят, как она ровными рядками покоится в пузатых бочонках, в воображении своём рисуя сладостную картину того, как будут пробовать её с чёрным пахучим хлебцем и маслицем. Всякая рыбка хороша, коли в невод пошла, и, наверно, спела бы песенку своему весеннему проходу, когда б голос был!

- А ну! А ну! Подналя – яг, станичники! – весело командует кто-то из рыбаков.

- А –ах! А – ах! – сиплыми голосами выкрикивают остальные, и по пустынному морскому берегу задорно перекачивается неуместное здесь ауканье, а потом быстро обрывается, стихает.

Небо заволокли тяжёлые чёрные тучи и от этого оно льнёт к земле, по которой хлещет холодный ветер, бесцеремонно вычёсывая вершинки и без того чахлах лиственниц. Прибрежные обкатанные морем камни замерли отрешённо у самой воды, их глубоких мыслей никогда и никому не

постигнуть, но рыбаки на мгновение, кажется, разбудили это каменное забвение и камни незаметно ожили, даже отчего-то разволновались...

- А ну – у, наддай – ай! – опять разносится рядом отрывистый рыбацкий призыв, и мокрые камни будто даже начинают озабоченно ворочаться, отчего-то недоумевая...

А рыбаки, знай, тянут невод. Неспешно тянется и время, как холодное сахалинское лето. Авось, не пустою будет мотня!

- Ныне рыба измельчилась, уловы никудышные! – жалуется бригадир.

В прежние времена бригадира обычно звали атаманом, предводителем, либо зачинщиком, а теперь просто – старшина! На минуту оторвавшись от наблюдения за выводом сети, он, улыбаясь, спрашивает:

- Присловицу – то про нас слыхивали? Пришли воры, хозяев украли, а дом в окошки ушёл? Воры – это мы, рыбаки, хозяева – рыбка, дом – вода, что в ячейки невода убежала... Да-а ... А то случится, что и ни рыбы ни мяса, ни кафтана ни рысы ... Под сетью-то только цыган да рыбак греются!

Бросив в очередной раз взгляд на сгрудившихся у воды рыбаков, бригадир ни для кого, а будто только самому себе еле слышно роняет:

- В иную тоньку воз вытащишь, а порой одним трудом мужички сыты. Пойдём-кася, глянем!

Работа у рыбаков идёт споро, одно слово – артель! В ней брюхо да руки – иной нет поруки. А уж в артельный котёл говядины без сетки не спускай, здесь смирный – клад! Пока один горюет, артель воюет: и за столом, и на берегу... Только держись!

- Замечи кромку, чтоб не сыпалась! – слышится чей-то бодрый окрик, и невод тотчас, ещё пуще, замётывается, всё ровно само собой делается.

- Заверчивай, заверчивай, - суетится меж рыбаков тщедушная фигурка боцмана. – Не допусти прорехи!

Замётчики стараются изо всех сил, шапки съехали на взмыленные лбы, некогда и перехватиться. Это тебе не ершей лавливать!

- Соберись, братцы, нажми! – слышится дружная команда.

- Половим маненько!

- Эх, ловцы рыбные, люди гиблые! Не притон поди у нас, ребята? Артель!

- Ухватись! Ловися рыбка малая и большая! – и с удовольствием: - Вишь ты, какой ловкий!

Расторопно действует бригада, а кто неловко возьмётся – тут же перехватится. Зевать некогда – рыбка идёт, а это в здешних местах по весне может быть и селёdochка с мойвой, и корюшка, и сима... Страсть, как любят рыбаки ловить рыбку, но ещё больше – есть, то есть, по-рыбацки, рыбничать...

Рыба в мотне как будто всегда таится, а когда уже невозможно скрываться – начинает неистово биться, вскакивать на боках, изгибаясь, переворачиваясь и перепачкиваясь в сером песке, вздымает серебристо-мутноватые фонтанчики воды. Рыбаки же перебирают раскрасневшимися

руками отсыревшие привода, тянут изо всех сил, опять перебирают и вновь подтягивают, а рыба сбивается в животрепещущий ком и брызги летят во все стороны. Через минуту, когда весь улов оказывается на берегу, рыбаки с ослабленными лицами застывают над ним и зачарованно разглядывают всех этих, в общем-то, давно знакомых им селёдок, корюшек, зубаток, пятнистую красивую кунджу, и только вволю нагладевшись, начинают неспешно выбрасывать рыбу из сетки и раскладывать её по сорту...

Каждая рыбина осторожно берётся за голову или жабры, приподнимается ненадолго, и уже в следующий миг равнодушно отбрасывается, будто наскучив. Кто-то тут же подбирает её, раскладывает на выбеленном, обкатанном плавнике, быстро вспарывает широким рыбацким ножом и тотчас вытягивает кровавыми руками внутренности, а другой уже заполняет ей, ошкеренной, неглубокие плоские ящики, удобные при переноске. Пара рыбаков, тем временем, промывают мотню, очищают ячеи сети от плавника и водорослей, попыхивая папиросками. Как рады рыбаки ощущать свою нужность на этом пустынном берегу, где всё мило их простому рыбацкому сердцу!

От всего здесь дурманяще пахнет морем, сетями в рыбной чешуе, просмоленными кунгасами и ещё водорослями, рыжими высохшими пучками покоящимися на огромных серых, чёрных и коричневых валунах. Ветер изредка треплет эти водорослевые бороды, ворочает ими в камнях, и от этого кажется, что камни сердятся и недовольно переговариваются меж собой. Порой возникают мысли, что стойкий, глубинный запах исходит и от них, но когда камни успокаиваются, он незаметно пропадает. Всё тут просто и одновременно важно, ибо, когда душа твоя неразделима с тем, что её окружает, она так же просто радуется хорошо прожитому дню, результат которого – пойманная сима, корюшка или селёдка, а остальное, находящееся где-то там, на материке, вроде бы, вовсе не нужно и неинтересно...

... Выскользнув из сети, спокойно лежали на песке крупные и чистые рыбины. Некоторые из них ещё взмахивали хвостами. Глядя на их лиловые бока, не покидало ощущение, что день погож и солнце нехотя гасит свои багряные лучи на западе. В этих светлых плотных боках виделся весь залив, опоясанный песчаной отмелью, ветхий рыбацкий стан, маленькие еловые деревца на серой скалистой гряде и даже дикие утки, опять низко протянувшие над водой и исчезнувшие на фоне тёмного леса...

Вся эта неприветливая картина рыбацкого стана необыкновенно умиротворяла, но обретение настоящего покоя пришло гораздо позже, когда всё произошедшее было выношено в себе и переосмыслено. Сейчас же я переживал только обоюдное проникновение в суть всего, что происходило со мной: меня – в молчаливую хмурость обрывистых берегов серовато-бурого цвета, в тайну никогда не обсыхающих от волн серовато-голубоватых камней с непонятными круглыми знаками, чахлого леса по склонам невысоких

холмов, оголённую бледность поднимающихся в отлив устричных банок; а неприступной природы – в мою теперешнюю и неведомую будущую жизнь, которая, верилось, станет благодаря этому ещё богаче.

При прощании с бухтой Сущёва кому-то из нас пришла в голову мысль бросать в воду монетки, загадывая ещё когда-нибудь вернуться к этим не совсем приветливым берегам. И примета действительно сбылась, в этих местах мне удалось побывать ещё не раз, но больше я уже не бросал в воду монеток и не стоял подолгу, как раньше, на холодном ветру, внезапно слетающим со склонов хребта Сихотэ-Алинь, безотрывно всматриваясь в туманную даль. Всё однажды вошедшее в меня, теперь уже оказывалось пройденным путём, а жизнь требовала открытия иных, более недоступных горизонтов.

И как хорошо было открывать их с помощью обыкновенных замечательных людей – простых рыбаков, которые не спят и день, и другой, и неделю, напряжённо работают, покуда идёт в свой поход долгожданная рыбка... И тогда словно расступаются хмурые, поросшие облезлой лиственницей берега, холодный воздух становится теплее и суровое северное солнце, изредка выглядывая из-за низких свинцовых облаков, наконец, обнажает свою ласковую улыбку. И ты уже точно знаешь: не забыть тебе эти пустынные берега, усеянные редкими раковинами, водорослями и облезлым плавником, ибо будут они вставать перед твоим мысленным взором всегда, пока жив ты и твоя неуёмная до впечатлений морская душа.

## «НИВХИ»

Многие подвиги во имя открытия и материкового побережья Татарского пролива, и самого острова Сахалин, как части суши, окружённой водой, а не полуострова, конечно, были совершены русскими первопроходцами, в частности – отрядами Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Семёна Шелковника, и уже ближе к нашему времени – экспедицией Геннадия Ивановича Невельского... Но сколько пришлось преодолеть в познании сути дальневосточной земли её исконным жителям – нивхам?! Для этого требовалось время, судьбы многих поколений, и нивхи оказались теми, кто первыми отправились в нелёгкий путь постижения жизни суровой островной природы.

За мысом Жонкиер, всё дальше на север, тянется земля сахалинских нивхов... Устья рек, посёлки и утёсы с отрывисто-плавными, как набегающие волны названиями сменяют один другого, и, кажется, нет им конца: Мгачи, Мангидай, Танги, Хоэ, Трамбаус, Виахту, Уанди, - и так до самого полуострова Шмидта...

«Уанды», кстати, означает по-нивхски «сражение», и наименование своё и посёлок и залив получили с того времени, когда здесь произошло айнско-нивхское побоище. Зная айнов как народ миролюбивый, даже застенчивый, о чём не раз писали многие путешественники и исследователи, трудно предположить, что они явились зачинщиками подобного столкновения. По-видимому, инициаторами произошедшего когда-то инцидента были всё же нивхи, перешедшие с берегов Амура на землю, принадлежащую собственно айнам, посредством перешейка, который раньше соединял материк с Сахалином. Продвигаясь с севера на юг, вдоль всего побережья, нивхи постепенно вытеснили айнов с их исконных земель, почитая остров как свою собственность.

По воспоминаниям Фёдора Ивановича Крузенштерна, побывавшего на Сахалине в начале 19 столетия, нивхи при встрече с ним всегда выказывали дружелюбие, имели в руках по лисьей шкурке и, махая ею по воздуху, не переставая, кланялись каждый раз весьма низко. Свидание тоже было самое приятное, нивхи даже обнимались с русскими моряками, как друзья. Правда, впоследствии наши путешественники обнаружили, что в лодках у нивхов находилось много пик, луков, стрел и сабель, и нивхи ни за что не соглашались показать своё жильё. Вероятно, нивхами руководило лишь опасение, и взяли они это оружие на встречу с незнакомыми людьми скорее выступая в роли защитников родного селения, но несомненно применили бы его в случае необходимости, что было хорошо заметно по их внешнему виду.

Обыкновенное платье нивхов, как описывал его тот же Крузенштерн, составляет парка из собачьего меха или кишёк рыбьих, которая называется на Кадьяке и Алеутских островах камайкою, широкие и длинные шаровары из толстой холстины и рубашка из синей бумажной ткани, застёгиваемая двумя медными пуговицами. Сапоги носят вообще из тюленьей кожи, а на

голове соломенную шляпу, подобно той, какую употребляет простой народ в Китае. Волосы заплетают по обыкновению в косу, висящую ниже пояса.

Дома нивхов были довольно велики и построены все на столбах высотой от 4 до 5 футов над землёю. Пространство между столбами под домами занимали их собаки. На передней стороне дома сделано крыльцо, шириною около 10 футов, на которое всходят по лестнице, состоящей из 7 и 8 ступеней. Дверь находится на самой середине крыльца: она ведёт в сени, которые занимают большую часть дома, но совершенно пусты. А вообще вся деревня состоит обычно из 15 – 18 домов, в которых проживает, как правило, несколько десятков человек.

Таковым застали устройство нивхских домов на Сахалине в начале 19 столетия Фёдор Иванович Крузенштерн со своими соратниками и, наверное, в подобном же состоянии, без особых изменений, оно сохранялось какое-то время и в последующем. Но чаще, всё-таки, жилища нивхов располагались в верховьях рек, обычно на возвышенных местах, защищённых от северо-восточных ветров, и жильём служили не дома, а землянки. Во многом определил тип жилища климат Сахалина, который практически не изменился за последние тысячелетия, и жилище должно было надёжно защищать людей от мороза, ветров и снежных заносов. Дело в том, что остров, расположенный у восточных берегов Азиатского материка, находится в сфере действия муссона умеренных широт, и для него типичны холодная зима и прохладное дождливое лето. В течение года над Сахалином проходит в среднем около 100 циклонов, вызывающих усиление ветра, пасмурную с осадками погоду, а в конце лета и в начале осени наблюдаются выходы тайфунов, зарождающихся вблизи экватора. Они сопровождаются штормовыми ветрами, достигающими скорости более 40 м/сек, и сильными дождями. На севере острова, зимой, минимальные температуры в отдельные дни могут опускаться до минус сорока – пятидесяти градусов, почвы промерзают на сравнительно небольшую глубину, что обуславливает большой снежный покров. К тому же, суровость сахалинской зимы усиливается частыми и длительными метелями, продолжительность которых может достигать нескольких суток, и самым естественным и удобным в этих условиях явилось жилище именно полуподземного типа, что выглядело более выгодным в сравнении с постройками на столбах.

Для этого выкапывали квадратную или круглую яму, глубиной свыше метра, диаметром до двадцати метров, окружённую земляным валом. Над ней ставили стропила из жердей для конусообразной или двухскатной крыши. На обрешётку из сучьев укладывали древесную кору, сверх которой насыпали дёрн и землю. Вверху оставляли отверстие для дыма, которое иногда служило и входом, причём, вместо лестницы применялось бревно с зарубками. Если вход был сбоку, его устраивали на солнечную сторону. Когда в землянке делалось оконное отверстие, оно закрывалось рыбьим пузырьём. Даже в самые суровые и снежные зимы такое жилище,

обогреваемое изнутри одним или несколькими очагами, способно было лучше защищать людей, чем наземные постройки.

Заготовив в достаточном количестве юколы, нивхам глубокой осенью ничего не оставалось, как именно залечь в такие землянки, располагающиеся обычно ближе к лесу, который защищал от буранов и ветра. Даже представив себе в суровых подробностях занесённое снегом жилище, где за зиму сосредотачиваются все запахи замкнутого человеческого быта, далёкого от гигиены, не мудрено будет понять, что гамма исходящих повсюду ароматов вряд ли способна выгнать хозяина наружу в сильные морозы. Если же подобное всё-таки происходит, то, в свою очередь, легко себе вообразить – каким понурым показывается на свет божий опухший и ослабший северный житель, которому судьба уготовила такое нелёгкое существование.

Резвыми в данной ситуации оставались только его собаки, если таковые не были съедены. Сам же нивх, даже на первый поверхностный взгляд, наверное, вызывал бы впечатление крайней неустроенности из-за месяцами наслаивающегося пота. Ведь, по-видимому, чрезвычайно грязная и засаленная одежда никогда им не снималась, в особенности – зимой, и носилась до истлевания на теле, а по выражению приплюснутого лица его, должно быть, можно было заключить, что охотнее бы он оставался дома... И как бы не были умелы руки нивхских женщин, очень красиво отделяющие мехом и вышивкой всю одежду, бытовая личная нечистоплотность неминуемо одерживала верх, а усугубляло подобное положение дел суровость жизненных условий...

Впрочем, и летом бельё не теряло своей замусоленности из-за суеверия, по которому купание в реке, якобы, уменьшало ход рыбы, что могло лишить нивхов их главного средства пропитания. С неводом они ходили по воде, не раздеваясь, до пояса, и от такого купания грязь и кожные выделения размазывались равномерным слоем по всему телу, окружая его такой же равномерной удушливой оболочкой. Из собственного опыта общения с нивхами могу лишь заключить, что предрассудки эти, кажется, так и не были со временем до конца преодолены маленьким интересным народом, хотя в какие-то периоды и изживались. Невероятные же запахи, преследующие нивхское жилище, в особенности – полуподземного типа, по упоминанию всех путешественников посещающих его, повергали их в великое желание поскорее ретироваться, ибо гнетущий дух этого жилища был просто непереносимым.

И, тем не менее, женщины у нивхов оставались женщинами, и носили на себе разноцветные кораллы, всякие медные побрякушки, а края воротника и рукавов вышивали цветными нитками или чаще – тесьмой. Украшая свои платья, изготавливая сапоги из нерпичьих шкур, оленьи шапки и красиво разукрашивая меховую одежду – кухлянки, в противоположность мужчинам женщины зимой были более заняты, а значит - не так подвержены унынию и безделью.

Что же касается землянок, то как-то в одной из маленьких неприметных бухт Татарского пролива, на материковом северном побережье, я натолкнулся на подобное странное жилище полуподземного типа. Даже не помню, почему я тогда оказался один, однако же, в памяти запечатлелось, что было утро, самое начало мая, и над морем вставало солнце. Времени в распоряжении оставалось немного, мы, видимо, разбрелись по берегу в поисках чего-либо занимательного, и вскоре мне необходимо было возвращаться.

Землянка находилась под отвесной скалой, в тени, и обнаружил я её, когда брёл по мокрой гальке, вдоль прибойной полосы. Странно, что землянка эта очень напоминала алеутскую юрту, которую мне пришлось наблюдать на побережье Берингова моря, в заливе Бристоль...

Углублённое в землю, жилище покрывали согнутые жерди, наподобие китовых рёбер, которые были покрыты дёрном, щепой и засыпаны землёй. Я обошёл землянку и обнаружил, что вход в неё находится сверху, в виде небольшого отверстия, куда вставлено белое, обкатанное морем бревно. Внутри землянка имела форму четырёхугольника, по сторонам сделаны небольшие возвышения, на которых под выгнутой крышей, видимо, и располагались обитатели жилища. Посреди землянки находился очаг, следы его ещё оставались заметны среди нескольких крупных камней, где когда-то готовили пищу. Кстати, алеуты, за неимением дров на севере жгли китовые кости, поливая их время от времени рыбьим жиром. Видимо, в таком углублённом в землю жилище проводили холодное время года – зиму, а летом ставили шалаш. Только кто мог соорудить подобное жилище в наше время, как это было заведено у северных народов, в том числе – и у нивхов, но даже у них сейчас позабылось?!

Теперь все нивхские посёлки располагаются в основном по северо-западному побережью Сахалина, и представляют из себя неприметно залёгшие, вернее даже – вжавшиеся между серым небом и таким же безучастным морем жалкие домишки, сам же берег – повсюду отмель и, кажется, совершенно пустынный. Мысы, если они и встречаются, - не обрывистые, а сильно покатые, окаймлённые осыхающими в отлив рифами, незначительно выступают в воды пролива... Все они, в отличие от материковых, безлесые, голые, и как будто тихо всматриваются в хмурый берег напротив. В их взгляде нет пристальности – за долгие годы мысы достаточно тщательно разглядели всё, что им нужно, и только по причине вынужденного бездействия не прекращают своего отрешённого наблюдения.

Не верится, что кто-то может жить здесь, даже нивхи... Земля пуста и неприветлива, берег изрезан очень слабо и не образует ни единой бухты, пригодной для якорной стоянки. Многочисленные речки и ручейки впадают в море, и в них по весне, наверное, идёт на нерест немало рыбы, но частые песчаные косы не пускают туда людей. Нужно постоянно жить на этом пустынном берегу с его въедливыми туманами, моросью и ветрами, чтобы хорошо разбираться в особенностях суровой северной природы,

приносившая её к собственным надобностям, и способны были на такое только нивхи...

Когда-то нивхи действительно жили полной жизнью. Строго отмечали все праздники, не забывая обычаев предков, чтители своих богов и, не желая их рассердить, приносили им дары. Но у всех северных народов, в том числе – и у нивхов, нет понятия – «убить зверя». По поверью, зверей не убивают, а они сами приходят к человеку в гости. Про охотника, добывшего какого-либо зверя, говорят: «онерпился», «оморжился», «омедведился».

Раньше после удачной охоты полагалось выполнить особый обряд. Когда глава семьи приходил с промысла, хозяйка встречала его у порога с ковшом воды. Вначале «поила» убитого зверя, потом пил охотник, а остатки воды выплёскивались в сторону моря, на удачу. С убитым животным были ласковы, его просили не сердиться, бросали в море клочок шерсти и кусок мяса, приговаривая: «Ты погостил у меня, теперь возвращайся к себе, но меня не забывай – заглядывай почаще».

Особо почитался у нивхов медведь, в честь которого устраивался праздник. На праздник обычно съезжалось много нивхов. Медведь принадлежал одному хозяину юрты, но он должен был разделить его со всеми. За неделю до праздника все желающие участвовать приносят владельцу медведя кто рыбу, кто нерпу, кто рис. Суть этого праздника состоит в том, что женщины собираются перед клеткой, где сидит медведь, пляшут и поют вокруг неё. Пляска, как и пение, грубы и безжизненны, в них нет радости. Женщины и девицы, одетые в собачьи шкуры, составляют круг и ходят, таким образом, до тех пор, пока не устанут; мужчины в этом не участвуют.

В продолжение праздника никому не дозволяется работать, так что если вы оказались в гостях у нивхов во время проведения медвежьего праздника – сами должны принести дров в очаг, либо воды напиться. Когда женщины утомятся, тогда вдруг выскакивают мужчины и, раздражив медведя, убивают его рогатинами или с помощью луков. Медведь ревёт, а вся публика поёт в один голос, так что получается несносный гам и крик. Когда медведь убит, с него снимают шкуру и делят мясо. Все усаживаются в кружок, но женщины особо от мужчин, а девицы особо от тех и других, и начинается общее угощение сырым мясом, водкой, рисом и нерпой. Праздник кончается обыкновенно тем, что все напиваются.

Что же касается рыбалки, то в этом занятии у нивхов не было недостатка. Весною в каждую речку в изобилии входила корюшка, она была излюбленным кушаньем у нивхов, и её, конечно, успешно ловили и вялили на специальных сушилах. Их конструкция оказывалась чрезвычайно проста, и состояла из четырёх, примерно трёхметровых, пар столбов, врытых в землю на одинаковом расстоянии один от другого. И уже на них, параллельно друг другу, были уложены продольные перекладыны.

Рыба нанизывалась на прутья, связанные попарно, а прутья были перевешаны через шесты, положенные концами на продольные перекладыны.

Чтобы рыба не сползала, на конец каждого прута, вдоль него, была насажена целая корюшка, а остальные нанизывались на прут головками сквозь жабры. Свежепойманная и нанизанная на прутья корюшка висела на вешалах до тех пор, пока не провяливалась на воздухе. Потом её связками складывали в амбар, это была еда на зиму.

Нивхи готовили юколу так, как и в старину, но тогда её только вялили, поскольку соли у нивхов не было. Чтобы достать её, они жгли деревья, выброшенные морем. Сожгут их, соберут золу и разведут водой из реки. Зола оседала, а вода становилась солёной. Её и употребляли вместо соли. В старинной деревянной посудине наподобие подноса, из которой ели тюленьё мясо, вырезали углубление, в него наливали этот рассол, макали туда мясо и ели.

Что и говорить, способ заготовки и употребление рыбы у нивхов был очень прост, даже – примитивен! Но ведь и рыбы на Сахалине – в достатке: весной – корюшка и сима, идущие на нерест во все ручейки и речки, летом – горбуша, осенью – кета. Чем тебе не рыбное раздолье, и это только представители лососевых, да и то не все: есть ещё тающая во рту чавыча, загадочная нерка и восхитительный кижуч! А форель-каменка, голец, кунджа и ленок, жирный палтус с камбалой, огромная, несущая в себе ведро чёрной икры калуга?!

Рыба на Сахалине, как и на всём Дальнем Востоке, конечно, составляет великое богатство, и у многих северных народов она остаётся основным блюдом, но это не означает, что нивхи отказывали себе в растительной пище, которой на острове – точно такое же великое разнообразие. При посещении нивхских жилищ Крузенштерн отмечал, что не обнаружил мест, где бы разводились огородные овощи, которые у китайцев, например, обыкновенны, и сразу сделал вывод: нивхи пищи из царства растений не имеют вовсе, как равномерно ничего и мясного. Наблюдая рядом с домами нивхов только рыбные сушильни, обильно наполненные рыбой, он потому и склоняется к мнению, что она – их основной источник питания, приготовляемая, к тому же, искуснее камчадалов. Но так ли это верно?!

Много путешествуя в дальнейшем по Сахалину, особенно – в его северной части, я как раз убедился в обратном. Нивхи не только пользуются самыми разнообразными растениями и в сыром и в варёном виде, но ещё и употребляют их для жертвоприношений духам гор, лесов и моря. Например, сарану, её корни, а орехи кедрового стланика идут повсеместно в качестве добавления к пище. В Виахту мне привелось видеть, как нивхи с удовольствием ели кедровые орехи и сухую икру, запивая их чаем. Причём, орехи они ели целиком, не выплёвывая шелухи.

Чай нивхи очень любят и пьют его в любое время дня в большом количестве, особенно – при приходе гостей, а готовят его из лишайника листовенницы и ещё какой-то неизвестной мне травы. Когда к нивхам пришёл чай кирпичный или в пачках, они заваривали его до такой

густоты, что доньшка не было видно, и пили его, нахваливая, из берёзовых чашек.

Немалое место в пищевом рационе нивхов занимают ягоды, которых на Сахалине с его болотистой почвой и мхами – не счесть. Здесь тебе и брусника, и голубика, и шикша с морошкой, и костяника... А ещё - малина, чёрная смородина и клюква, черёмуха, рябина и, конечно, шиповник, называемый на острове из-за своего крупного размера «сахалинскими яблоками». Ягоды употребляются нивхами в их естественном виде, но и идут в качестве добавки к любым блюдам. Поначалу я думал, что нивхи выдерживают рецепты приготовления пищи в строгих пропорциях, но позже убедился – ягоды смешивают, как придётся, и с рыбой, и с мясом, и с тюленьим жиром, и с печенью сивуча, пользующейся у нивхов особым уважением.

Приготавливая, скажем, студень из сваренных кож кеты, растёртых с нерпичьим жиром, нивхи непременно засыпают в это кушанье бруснику или клюкву, тщательно разомнут их и перемешают, а затем поставят в холодное место, где оно застывает. А то просто сделают толкушу из брусники, разотрут с сухой икрой, зальют всё это водой и варят. Когда кушанье сварится, переливают его в корыто и хорошенько растирают деревянным пестиком. После чего подливают немного тюленьего жира и вновь растирают, размешивают, и уже только потом употребляют в пищу.

Нужно заметить, что в качестве бактерицидного и противогрибкового средства, нивхи никогда не обходятся в еде без черемши – дикого медвежьего лука, как они сами его называют, а также – мяса, печени и жира морских животных. Именно эти продукты, насыщенные витамином С, долгое время спасали северные народы от поголовного вымирания, и мало того – становились постепенно любимым кушаньем. Чаще всего, не имея возможности сохранить мясо морского зверя, нивхи проквашивали его, надолго закапывая в землю, и уже затем с удовольствием употребляли в пищу. Как это ни странно, но именно в таком виде мясо приобретало свойства, защищающие организм от разного рода воспалений, но попробовать однажды предложенное мне подобное блюдо я всё же не решился.

Из морского зверя нивхи добывали преимущественно белуху, на других китов не охотились, а кашалота считали священным животным. Белух преследовали на большой лодке, в которой находилось до десяти охотников. Двое были вооружены гарпунами, остальные являлись гребцами. Гарпун метали в голову кита в момент его всплытия. Раненый зверь уходил вглубь, волоча лодку за собой. Это было не безопасно, и охотники выбрасывали в воду два-три надутых пузыря сивуча в качестве поплавок. У доставленного на берег животного отрубали голову, очищали череп от мяса и вешали на дерево у воды. Голову же бросали в море. Иногда вместо головы обрезали конечность морды, или выкалывали глаза. Делалось это для того, чтобы убитое животное оставалось в неведении относительно убийцы.

При отсутствии основополагающих знаний о Вселенной, нивхи, конечно, впадали в неминуемое заблуждение, и потому за всеми природными явлениями им приходилось ставить живые человекоподобные и иные существа. Нивхи считали, что их остров очень схож с фигурой человека, лежащего на правом боку лицом к материку. В своих легендах нивхи ещё сравнивали Сахалин с нерпой или китом: голова – мыс Марии, подбородок упирается в Охотское море, а ласты – это мысы Анива и Крильон. Нивхи настолько свыклись с этими представлениями, что даже и сейчас, когда речь заходит о каком-нибудь населённом пункте, они пользуются собственной терминологией. Так, например, о севере острова говорят: «На стороне головы...»

У нивхов почему-то было очень развито представление о сближении опрокинутого дерева с человеческим обликом, и оттого вывороченный вверх корень у них ставился как надмогильный памятник убитому чужеродцами соплеменнику, чья душа превращается в кровожадную птицу, ищущую отмщения, и, устанавливая выворотень, нивхи, по-видимому, желали добиться сближения опрокинутого дерева с рассерженным человеческим ликом. Такой корень, должно быть, по мнению нивхов, выражал истинное лицо самого дерева, которое могло рассказать своим родичам о нелёгкой судьбе души в потустороннем мире. Не зря предания нивхов повествуют о том, что произошли они от лиственницы!

Возможно, видя в этом дереве прародительницу, они проявляли к нему особое отношение, считая его родовым. Большое сильное дерево, к тому же, наиболее распространённое на острове, было покровителем, и люди, олицетворяя себя в символах-палочках, прислоняемых во время жертвоприношений к его стволу, искали у него защиты и опоры. Именно из лиственницы нивхи вырезали фигурки животных и людей, способных вместить в себя души живых существ.

Неподалёку от селения, в лесу, обычно располагалось медвежье кладбище, ибо медведь, как известно, почитался у нивхов за святого, а рядом непременно находилось родовое дерево – лиственница. Только в лиственнице, произрастающей на острове в изобилии, окружающей жизнь нивхов повсюду, видели они охранительницу и спасительницу своей судьбы, отчего и пытались её разглядеть в корне этого дерева – его лице. Лиственница, кажется, вмещала в себя души всех живых существ, и нивхи никак не могли обойтись без неё в своей жизни.

Все породы деревьев используются у нивхов для изготовления различных предметов, но преимущество сохраняется всё же за лиственницей... Именно из лиственницы выделывают длинные накладки на верхние края бортов у лодки, и из лиственницы же изготавливают гвозди, которыми прибивают эти накладки. Сначала гвозди, чтобы они подсохли, подвешиваются в жилище подле очага к верхней продольной перекладине, а верхние края бортов лодки, чтобы гвозди хорошо в них вколачивались, распаривают. После этого на край бортов накладывают лиственничные

планки, заранее подогнанные к ним, и просверливают их. Затем обмакивают концы листовенных гвоздей в тюлений жир и вколачивают их в отверстия, проходящие сквозь планку в борт лодки. Потом из листовенницы делают верхние поперечные распорки для бортов и устанавливают их так, чтобы края бортов удерживались на одинаковом расстоянии. Укладывают в корму специальную дощечку – скамеечку для рулевого. Из листовенницы изготавливают шест и вытёсывают рулевое весло, делают черпак для вычерпывания воды из лодки. Из неё же изготавливают и гребные вёсла.

Если зимние лыжи у нивхов производятся из ели, то весенние непременно из листовенницы. Для лука обычно выбирают рябину, древко стрел – из берёзы, а вот стрелы, употребляемые на медвежьих праздниках, из листовенницы. Такое знание древесины различных деревьев – это уже элементы подлинного понимания природы. По-видимому, предки нивхов не хуже знали и свойства камней, из которых они готовили орудия труда, правда, то время, даже для нивхов, давно минуло!

Нивхи плохо представляли себе всё то, что было отдалено от них. Но то, что находилось рядом и оказывалось жизненно необходимым, они изучили прекрасно. В море, омывающем берега острова, в реках, текущих со склонов его гор, в лесах, расположенных на нём, нивхи ориентировались безошибочно, поскольку это знание было обусловлено потребностями их хозяйственной деятельности – рыбалкой, морской и лесной охотой, собирательством.

Нивхи обладали блестящим знанием своей территории. В городах люди привыкли к упорядоченному образу жизни, тем ориентирам, которые дают им возможность безошибочно найти разыскиваемое место или лицо. Однако в море, омывающем берега Сахалина, в реках, текущих со склонов его гор, в лесах, расположенных на нём, нет ни улиц, ни домов с номерами квартир, и, тем не менее, каждый нивх блестяще ориентируется на территории в несколько десятков километров, находящейся неподалёку от его селения... Ведь каждый приметный пункт на ней имеет своё название, по которому он его безошибочно обнаружит, но больше всего удивляет то, что во время охоты на тюлений охотники могут договориться о встрече лодки с лодкой в определённом месте на море, расположенном на одной линии относительно какого-либо места, находящегося на берегу. Разве такое обозначение места встречи на море не замечательно?

Подобное знание помогало нивхам в достаточной степени комфортно обустроить жизнь и иметь возможность спокойно созерцать природу, неторопливо думая о чём-то неизведанном и далёком. Тянуло ли их это далёкое к себе? Может быть, именно неодолимость существующих где-то дальних далей помогала нивхам тщательно и по-мудрому относиться к родной стороне. Но как важно было оставить за ними право самим приблизить к себе, если они того пожелают, бескрайне далёкое и неведомое, сохранив при этом близкое, родное.

Нивхи искренне полагали, что земля родилась из моря. Раньше одно оно только было. Потом шторм пришёл, волны большие поднялись. Волны застыли, и так земля появилась. Откуда бы взяться тогда костям рыб, раковинам, которые часто попадались в горах и в верховьях рек, - думали они.

Всё неведомое и далёкое, при внимательном отношении к нему, оказывалось вполне простым и близким явлением. Объяснение его воцаряло в душах людей гармонию. Благодаря гармонии люди постигали всю мудрость покоя, обретаемого на нетвёрдой грани земли и морского пространства. Грань эта, переливаясь из одного состояния в другое, приоткрывала им на короткое время смысл всего сущего.

По представлениям нивхов, водное пространство являлось живой системой, организованной так же, как и человеческий мир. Они сравнивали море с большим домом, в котором жил седовласый старик или старуха. Это были «жители», или «хозяева», воды. Именно они посылали нивхам косяки рыб и стада морских зверей, чтобы те жили в достатке. В свою очередь, нивхи посылали «жителям воды» гостинцы.

Дважды в год нивхи устраивали большие кормления воды, являющиеся у них крупными родовыми праздниками. Кости животных они, как правило, складывали на настил, изготовленный на морском берегу, развешивали на рогообразных шестах или прямо на деревьях черепа морских львов и белух, смазанные едой, а также табак, юколу и чудодейственную траву. До совершения обряда кормления нельзя было ловить рыбу и спускать лодки на воду. Посылая гостинцы во время кормления, они поддерживали с «хозяином воды» добрые отношения. Тот, в свою очередь, посылал косяки драгоценных лососевых рыб. Таким образом, жители земли и «жители воды» находились в постоянной связи, а ведь именно на границе природы и человека нужно искать истину. По крайней мере, где-то совсем рядом, может быть, в самом себе, уже увидевшем её не однажды, но ещё не открывшем в своей душе достаточной глубины.

Надо, наверное, обладать невероятным воображением, чтобы представлять себе Вселенную живой: и небо, и землю, и море, которое всё время дышит. Когда идёт отлив – оно вдыхает в себя воду, когда прилив – выдыхает её. Мне хотелось воспринимать всё окружающее подобно нивхам, и, находясь на Сахалине, у самого моря, я силился почувствовать душу всего живого...

За исключением немногих сохранившихся привычек теперь весь уклад жизни аборигенов островного края претерпел, конечно, существенные изменения. Принято считать, что именно влияние русской культуры, более сильной и могущественной, привело к почти полному вытеснению из повседневной жизни традиционных бытовых предметов и утвари нивхов. Но вопреки распространённому мнению, думается, однако, что столь

незавидную роль своеобразному северному народу уготовило, скорее всего, русское бескультурье, вполне знакомое всем нам.

Оказавшись однажды в посёлке Виахту, славившегося тем, что в советские времена в нём располагался оленеводческий совхоз-миллионер, меня поразили горы оленьих выцветших рогов, бесхозно валяющихся под открытым небом. Они никому не были нужны, а между тем я отправился на север Сахалина и за ними тоже, даже не предполагая, что рога совершенно доступны, да ещё в таком количестве. Ценный природный продукт пропал почём зря, и мне стало как-то неловко от увиденного, хотя местных жителей подобное положение дел, кажется, вполне устраивало, никто не обращал на рога внимания, будто их и не было.

Остановив проходящего мимо пожилого, сухонького нивха и осведомившись у него – к кому стоит обратиться насчёт этих самых рогов, нивх только в сердцах отмахнулся от меня и тотчас исчез. Подойдя к выбеленной дождями и ветрами груди того, что когда-то представляло гордость и силу чудесных животных, я ещё раз поразился количеству рогов. А ведь это была ни единственная пирамида, неподалёку виднелась ещё одна и, я уверен, при желании нашлась бы и другая, ибо во всём обустройстве посёлка, а вернее – отсутствии такового, чувствовался полный разлад и развал.

Взяв в руки пару рогов, я осторожно ударил ими друг о друга и они от этого сухого стука зазвучали неожиданно бархатно, даже чуточку тревожно. И сразу будто загудела неведомая старинная жизнь, богатая большими событиями в жизни маленького народа... И взволнованно забилося в груди сердце, представляя себе прекрасное былое этих северных людей, живущих когда-то в удивительном согласии с собой и окружающим миром.

Когда-то нивхи действительно славились как отличные оленеводы, охотники и рыболовы, ведь жизнь их напрямую была связана с природой... Но постепенно умение это утеряло свои качества и из внутренне организованного народа, живущего в согласии с окружающим миром, нивхи постепенно превратились в никчёмных жалких людишек, вынужденных прозябать в лесу у моря без настоящего дела. Вот и олени все повывелись, вернее – их поголовно перекололи, потому, как пастбища были порядком подорваны из-за неразумного пользования островом, в первую очередь, русских людей, осуществляющих добычу угля, газа и нефти.

Правда, несколько лет назад осуществлялась попытка восстановить кормовую базу для оленей, перегнав их с одной части полуострова Шмидта, где наличие ягеля было окончательно подорвано, на другую – ещё более менее благоприятную в этом отношении, для чего через весь полуостров, с севера на юг, был возведён деревянный забор. Этим сомнительным предприятием занялась по просьбе нивхов какая-то неизвестная бригада бичей, подвизавшихся на подобную афёру, видимо, из побуждений собственного отчаянного положения и уж никак, конечно, не из стремления повысить оленьё поголовье, а учитывая протяжённость необходимого

заграждения и суровые погодные условия северного Сахалина, дело это развалилось, не успев завершиться. Свирепствующие над островом циклоны и тайфуны постоянно заваливали забор, к тому же, этому способствовали в большом количестве обитающие здесь медведи. Видимо, новшество это не пришлось им по вкусу, поскольку ограничивало территории их передвижений, и вскоре деревянное сооружение основательно было разрушено, в чём мы воочию убедились, когда пролетали над полуостровом на АН-2, завершая своё экспедиционное продвижение с юга острова на север. Словом, оленеводческое дело заглохло у нивхов где-то к 70-м годам прошлого столетия, сами они были расселены по нескольким северным посёлкам – Ноглики, Трамбаус и Виахту, что и вовсе связало им руки.

Несколько оленей нам всё-таки удалось увидеть. Правда, не в посёлке, а в лесу. По-видимому, это были одичавшие олени – остатки от тех огромных стад, которые нивхи когда-то перегоняли по полуострову Шмидта. Олени эти были малы ростом, довольно смирные на вид и с кроткими, большими чёрными глазами. Они передвигались короткими робкими перебежками, и замирали настороженно между островками стланика.

Сложены олени были очень стройно, и в малейшем движении их угадывалась былая связь с человеком. Нечто пугливое застыло в глазах животных, кажется, навсегда, и даже не верилось, что осенью головы их украсят ветвистые рога, высотой почти до метра, а весом – до пуда. Под такой тяжестью небольшая голова оттягивается книзу, давая красивый изгиб шеи полукругом вогнутым вниз. Зимой рога покрываются кожей с бархатистой невысокой шерстью, а к весне они линяют и шерсть, лоскутами свисая с них, местами окровавливается. Рога постепенно обламываются, пока не теряются полностью...

Разговорившись с одним нивхом по имени Найтан о том, как бы раздобыть свежие олени рога или нерпичью шкурку на обивку охотничьих лыж, нивх долго нахваливал свои рыбацкие подвиги. Разнообразными жестами давая понять – какой он удачливый охотник и за морским зверем тоже, нивх уверил меня в этом полностью, и, выпросив денег на какое-то неотложное по его словам дело, связанное, несомненно, с добычей зверя, в самом приподнятом настроении удалился. Появившись через пару дней с пустыми руками, да ещё порядком подвыпивший, весь в репье, Найтан в искреннем изумлении заключил: «Я посол на нерпуску, а она не посла!» После чего, с виду сильно раздосадованный приключившейся с ним незадачей, он покинул моё временное обиталище, коим оказалась заброшенная местная больница.

Раньше, чтобы проявить себя умелым и бесстрашным охотником, нивх несомненно показал бы все свои самые наилучшие свойства, неважно – необходимо ли добыть нерпу или догнать соболя, но все эти умения давно ушли в прошлое, ибо сейчас среди нивхов главенствуют лень и беспечность. Надо бы наловить идущей на нерест рыбы, чего уж проще, но отнял нечистый всякую охоту делать и это, и лучше оставить всё как есть:

полуголодный образ жизни куда более приемлем, чем каждодневный упорный труд. А уж системный труд, как-то – обработка земли и выращивание сельскохозяйственных культур, совершенно чужд нивхам. Вот во что за короткий срок превратилась маленькая северная нация, столкнувшаяся с полным равнодушием к своей судьбе более могущественного соседа...

Нужно заметить, что на лицо нивхи отчётливо напоминают монгольский тип. Разрез глаз у них не такой косой, как у тунгусов, верхнее веко не совсем нависает и скулы выдаются не очень резко. Лицо плоское, нередко с длинным носом, надбровные дуги высоки, глазные же впадины неглубокие. Цвет кожи грязно-коричневый, а не жёлтый, как у китайцев, и оттого даже самое чистое лицо производит впечатление невымытого.

Нивхи низкорослы, походка вялая, даже какая-то равнодушная ко всему, если можно так сказать. Словом, во всей фигуре нивха ощущается явная придавленность какого-то невероятно озабоченного человека, проводящего всю жизнь в тяжких трудах и заботах, что ему, в свою очередь, явно не по нутру. И вот от этой душевной раздвоенности в собственных желаниях и жизненных обстоятельствах, черты лица, помимо воли и сознания их обладателя, по-видимому, и унаследовали некую отрешённость, равнодушие ко всему окружающему. Гуляя по посёлку и общаясь с нивхами, я не раз отмечал для себя, что даже сквозь бодрое расположение духа, глаза и лица их выражают обратное.

В возбуждённое состояние нивха способно привести только вино, брага, либо одеколон, словом – любая спиртосодержащая жидкость, между ними он не видит особой разницы, а так же ожидание скорой выпивки. В тот день как раз должны были завести коньяк, и нивхи уже с раннего утра подтягивались к магазину со всего посёлка, оживлённо переговариваясь, так что я никак не мог разобрать – шутят они или на самом деле бранятся? Меня они как будто не замечали, словно я отсутствовал, и такое невнимание мою персону несколько озадачило.

Впоследствии оказалось, что равнодушие, которое я испытывал к себе со стороны нивхов, было на самом деле притворно. Нивхи вежливо отвечали на моё приветствие, даже с некоторой непринуждённостью, будто выказывали мне честь, но не высокомерно, и, не проявляя каких-либо признаков замешательства или любопытства, как ни в чём не бывало продолжали своё занятие. И всё-таки, я заметил, бегло поглядывали на меня, тихонько и беззлобно над чем-то подсмеиваясь, а когда я остановился и присел рядом на ступеньках ещё закрытого винного магазина, лица их тотчас приобрели озабоченное выражение и они серьёзно спросили: кто я и откуда?

Я ответил, что путешествую, после чего нивхи сразу окрестили меня «геологом». Весь мой внешний вид – штормовка, брезентовые штаны и болотные сапоги, вероятно, располагал думать именно таким образом, и я не стал переубеждать их в обратном. А с нивхов при этом сразу слетела всякая вежливость, они все залились захлёбывающимся смехом, так что я поразился

присущей им открытости и доброму нраву. Нивхи совершенно преобразились...

Несколько раз они пытались по какому-то непонятному мне поводу подзуживать надо мной, занятно горячились при этом, и заливи́стый смех их то и дело повторялся. Заметно было, что нивхи предвкушают скорое удовольствие, отчего все чувства их выступали наружу, и выглядели они очень наивно. Впрочем, именно эта их черта меня невольно очаровала, я пытался поддерживать наш светский разговор, и тоже стал вместе с ними смеяться, желая расположить нивхов к себе. Через какое-то время я заметил, что у меня это получилось...

Вино всё не привозили, ожидание затягивалось, и вскоре один из нивхов, отчего-то наиболее расположенный ко мне и возраст которого я никак не мог определить, неожиданно предложил мне в подарок ... свою жену. Их у него, оказывается, было семь! Он дружески похлопывал меня по плечу, цокал языком и восторженно убеждал, что без этой жены мне никак не обойтись, а на мой недоумённый вопрос: «Да зачем мне она?», с самым серьёзным видом разъяснил: «Однако, Фимка, очень хоро́сий жинка! Печурку топит, дровишки колет, рыбку вытассит... Бери, геолог, не позалеес!» И я вдруг понял, что прежде, чем отказаться, нужно хорошо подумать.

Не желая расстраивать подобного сердобольства, и более, конечно, для виду, я пообещал Пильтуну, так звали нивха, подумать, чем вновь вызвал его неподдельное возбуждение и заверения, что жалеть мне ни о чём не придётся. «Осень-но будет хоро́со, - утвердительно подытожил Пильтун. – Скусная бабёнка. С тебя, геолог, флаконсик!» И опять захлебнулся в хохоте, показывая на меня всем окружающим нивхам своим заскорузлым пальцем.

Когда, наконец, магазин открылся, мне привелось стать свидетелем того, чего лучше было бы не видеть. Маленькие, вполне занятные люди, которые совсем недавно начинали казаться мне даже симпатичными, люди, обладающие древними традициями, интересной историей и прошедшие немалые испытания в освоении ими суровой сахалинской земли, вдруг превратились в нечто невообразимое: они озверели...

Сгрудившись у самого входа, нивхи устроили такую толкотню, что никому из них не удавалось протиснуться вовнутрь. Они натужно кряхтели, сопели, изредка выкрикивая что-то обидное в адрес друг друга, кто-то принимался даже душить находящегося впереди соседа, стремясь любыми способами занять его место, и всё это происходило, в общем-то, с радушным в своём быту народом, которому всегда было за удовольствие доставленная гостям любезность. И всё-таки сила вина оказывалась для нивхов несказанной!

Многие путешественники и этнографы, описывая быт и нивхов, и других северных народов, приходят к единому мнению, что мирные и доверчивые по своей сути племена, благодаря чему их всегда легко эксплуатировали закупщики пушнины, под воздействием алкоголя начисто

теряют доброжелательный облик, да и вовсе человеческий. И повинна в этом их природная чистота, которая не допускает пагубного вмешательства в сознание последствий употребления спирта, когда он действует просто разрушающе.

К подобной невесёлой обстановке дела подвигло нивхов, конечно, отсутствие территорий, на которых они раньше рыбачили и охотились, невнимание к ним должным образом руководства области, сосредоточенного в руках русских. Советская власть, с одной стороны, наделила нивхов многим, чего у них никогда не было, да и, наверное, не появилось бы в будущем, без чего им нелегко было бы существовать. Но и то верно, что она ограничила свободу маленького народа – может быть, главное, чем он обладал до столкновения с русской цивилизацией, а взамен ничего достойного не предложила. Мало того, она ещё и отняла право на самоопределение, подчиняя неокрепшее сознание людей, всю жизнь связанных с природой, техническому вмешательству, далеко не продуманному, грубому и несовершенному...

К этому следует добавить и общие условия быта нивхов, ведущие если не к вымиранию, то к постоянным болезням: потере зрения, слуха, умственным ослабленным способностям и общей утрате организмом своих защитных функций. Грязь, с которой я столкнулся в стойбище, представилась мне невероятной. В месте, где сушилась юкола, вся земля была покрыта живыми, шевелящимися личинками, в самом жилом помещении невозможно было продохнуть от скопившегося смрада, а уж нахождение в нём ограничивалось несколькими мгновениями, после чего хотелось поскорее выскочить наружу. Положение отчасти спасали охапки наломанной пихты, используемые в качестве половиков при входе в жилище. Тщательно растирая их ногами, добивались распространения в воздухе невидимых паров фитонцидов, отчасти очищающих перенасыщенную естественными, но никак не удаляемыми отправлениями атмосферу.

К нечистоплотности следует добавить частые голодания, однообразную пищу – в основном, вяленую рыбу, скученность в проживании, послеродовые хронические заболевания у женщин, неизменно расшатывающих их здоровье. Во всём образе жизни нивхов, лишённых своих исконных территорий и занятий, и оттого, по-видимому, просто опустивших руки, ощущалось какое-то общее неблагополучие, невероятная внутренняя надломленность. Свою лепту в эти тлетворные условия вносили также ранняя половая жизнь и курение.

Женщин в среде нивхов всегда было меньше, чем мужчин, и уменьшению этому способствовал трудно искоренимый обычай, по которому женщине запрещалось рожать в юрте или доме, так как они после этого становились нечистыми, и продолжать в них жить уже было нельзя. Поэтому женщины рожали в специально сооружённых шалашах, легко продуваемых и не защищённых от холода. Ко всему прочему, нехватка женщин нередко вела к случаям купли себе жены, когда она ещё находилась в детском

возрасте. Такую жену нивх брал себе в дом и с наступлением у неё половой зрелости начинал с нею сожительствовать. Но трудно сказать – когда этот муж определял половую зрелость своей жены.

Ну, а что касается курения, то оно безжалостно съедало и мужчин и женщин. Причём, увидеть пожилую нивхянку с дымящейся трубочкой было более вероятно, нежели мужчину. Мужчины, особенно холостая молодёжь, начиная с детства, всё-таки склонялись к занятию разного рода состязаниями, и одним из самых распространённых были прыжки. Главный фокус заключался в том, что присев на корточки, без разбега нужно было прыгнуть на возможно большее расстояние, но опускаться только на одну правую ногу; не останавливаясь, ею же сделать ещё два прыжка, и последний – уже опустившись на обе ноги. Чем большее расстояние удаётся забрать таким манером, тем лучше.

Но всё реже можно наблюдать у нивхов игры и традиционные праздники, главным из которых остаётся медвежий. Порядок его прохождения выше уже описывался, и если кратко повторить суть праздника, то заключается он в следующем... Пойманный небольшим, медвежонок вскармливается/преимущественно рыбой/, и содержится до 3-5 лет в особо сложной из накатника крепкой клетки. В день праздника, приблизительно в конце декабря, его выводят на двух цепях, привязанных к ошейнику, причём, каждую цепь держат несколько мужчин. Женщины в это время колотят в чашки и поют, и под звуки этой музыки кто-нибудь из выбранных мужчин, как правило, им оказывается всеми уважаемый гость, стреляет в медведя из лука. Очень важно убить медведя первой стрелой.

На этот праздник съезжаются гиляки из всех ближайших стойбищ и обычно празднуют столько времени, за сколько удаётся всего медведя съесть. Но в последние годы отношение к строгому исполнению всех традиционных канонов этого знаменательного для нивхов события изменилось: сильные звери, от отсутствия соответствующей заботы, заметно захирели, меткие стрелки как-то постепенно перевелись, так что приходилось стрелять из лука по нескольку раз, а то и добивать зверя ножом, вилами или, того хуже, чему я сам был свидетелем, из ружья... Само отношение к празднику, настроение людей значительно упало, всё происходило без должного задора, будто из-под палки, и всё чаще – в изрядном подпитии... Попойка, вообще, стала выходить в сравнении с другими событиями в жизни нивхов, на первое место, оттесняя и свадьбу, и удачную охоту, и проводы соплеменников в иной мир.

В селе Некрасовка, где проживало немало нивхов, так же как и в Виахту, быт их был порядком запущен. Одно посещение кладбища, с захоронениями уже на русский манер, меня сразило. Не знаю, было ли такое отношение к умершим исправлено позднее, но во время нашего пребывания в Некрасовке, а происходило это в 1985 году, кладбище нивхов было превращено в свалку. Даже могилка единственного Героя социалистического труда – Пойтана Чайки, знатного оленевода, оказалась

совершенно запущенной, вся в мусоре, и это несмотря на то, что вокруг царило великолепие сахалинской природы – густые заросли стланика, чистый белый песок, высокие сосны и синее море... Казалось бы, что мешает обустроить свою жизнь, привнести в неё уют и порядок, но неумолимая ржа равнодушия разъедает любое желание, когда оно ещё даже не успевает зародиться.

Раньше кладбища у нивхов располагались на береговой высокой террасе, поросшей лиственницей и стлаником. Так уж выходило... И как раз на границе такого небольшого лиственничного леса и открытого пространства, устанавливались надмогильные домики нивхов – рафы. Подобные домики мы обнаружили в заброшенном посёлке Уанди/ жителей к этому времени успели переселить в Виахту и Трамбаус/, и по полусгнившим сооружениям было видно, что место это нивхами давно не посещалось.

По обычаю, надмогильные домики устанавливались на месте сожжения умершего, а вокруг домиков на земле раскладывались самые разнообразные вещи, по представлению нивхов, необходимые человеку в мире мёртвых: металлические части ружей, домашняя утварь – чашки, блюда, тарелки. Назначение надмогильных домиков – вполне определённое: в них душа умершего должна была найти приют на какое-то время, обычно короткое, пока она не соберётся в дорогу и не дойдёт до селения мёртвых. А если ещё не собралась – она нуждается в определённых предметах, заботливо оставленных родичами умершего соплеменника.

Предметы эти, кстати, намеренно повреждаются, на донцах чашек, к примеру, делаются отверстия... Только в таком случае умерший мог взять вещи в селение мёртвых. Ломали даже нарту, на которой привозили умершего, а во время сожжения убивали несколько приведённых специально собак, тут же совершалась и трапеза. После сожжения сородичи ходили на это место три-четыре дня. Проводы души в селение мёртвых, как правило, устраивали через 3-6 месяцев после сожжения, обычно в осеннее время. Одних провожали через небольшой промежуток времени, а других чуть ли не через год. Это зависело от характера и образа жизни умершего. Считалось, что прежде, чем отправиться в мир мёртвых, он должен посетить все места, где бывал до смерти. Подсчитав приблизительно, когда он вернётся назад, устраивали церемонию проводов души покойника. В это время изготовлялся родовой надмогильный домик «раф», если раньше его не было, а также вырезалась из лиственницы фигурка умершего.

Похоронный обряд, при котором ставился надмогильный домик «раф», осуществлялся нивхами в случае смерти от болезни или старости, а так же при самоубийстве. Во всех случаях нивхи сжигали трупы, и этот обряд очень стойко сохраняли. Вплоть до начала 20 века такой обычай соблюдался почти повсеместно, за редким исключением – когда некоторых умерших хоронили в сидячем положении без гроба. По утверждению самих нивхов сжигались обыкновенно правдивые, справедливые люди, а хоронили тех, кто отличался плохим поведением в жизни.

Ещё у нивхов было заведено так называемое «воздушное» захоронение, касающееся только годовалых младенцев. Тельца их заворачивались в бересту и оставлялись на ветвях деревьев, повыше от земли. Считалось, что так души ещё не живших толком детей не успеют уйти в царство мёртвых, а вернуться в утробы своих матерей.

Везде, и в Некрасовке, и в Виахту, и в Трамбаусе с Ногликами у нивхов на лицо во всём просматривается ужасающий упадок... Давно уже нет крепких нивхских селений, налаженной охоты за пушным и морским зверем, на вылов рыбы наложен запрет, а тот лимит, что допускается – вызывает лишь горькую усмешку. Среди маленького народа царит великая распущенность вплоть до кровосмешения, что порождает бесчисленные хвори. К наличию причин, болезненно влияющих на быт нивхов можно отнести и постоянную близость собак, и частые травмы, но обстоятельства не позволяют им воспользоваться возможностью подлечиться, местные же врачи отсутствуют, а та медицина, что представлена у нивхов в лице шаманов – не в силах сдержать многочисленные эпидемии, к которым очень подвержены, вообще, все северные народности.

Нивхов долгое время развращали русские: спаивали водкой, выменивая у них задёшево ценные шкурки пушных зверей, а во времена сахалинской каторги додумались приглашать их к участию в поимке беглых, причём, за каждого убитого или пойманного беглого положено было денежное вознаграждение, либо платили водкой. Начальник острова – генерал Кононович приказал даже нанимать гиляков в надзиратели...

Всё это, в конце концов, и породило в среде нивхов нежелание следить за организацией собственной жизни и своих близких, когда лень отнимает охоту добывать даже разрешённый десяток лососей, а на всю семью – единственную нерпу. И вот тут ты вдруг сталкиваешься с прямой противоположностью тому, что говорят и делают взрослые: их детьми... Вечно улыбающиеся, доброжелательные, любознательные, они, кажется, явились сюда, на север Сахалина, из другого времени и мира, которого однажды не получилось у нивхов сделать здесь.

Мальчишки у нивхов – самый весёлый народ. Все они очень милостивы, почти как девочки. Пухлые их личики и раскосые глазки озорно улыбаются, но худого в себе ничего не несут и унынию не поддаются, несмотря на то, что постоянно видят рядом пьянство и разнузданность в поведении старших, когда мать живёт со старшим сыном, а отец – с дочерью. Грязь эта, по-видимому, пока их не коснулась, и души малышей остаются какое-то время чистыми для будущей, неизвестной им ещё жизни.

Северный посёлок поразил нас своим светом, излучаемым соснами и чистым белым песком, в котором вольготно валялись лайки. Но более всего запомнились именно нивхские ребяташки, очаровательным образом воспринимающие окружающую жизнь. Они просто добавили солнца в эту удивительную северную природу, где солнечные дни – редкость, а всё больше задувают ветра, и на посёлок наползают с моря промозглые туманы.

Подкупающее обаяние нивхских мальчишек проявлялось во всём, вплоть до обычного приветствия, которое выходило у них с неподкупным задором, очень радостно. Своеобразие их жизненного восприятия проявлялось в каждой мелочи, например, в отношении к таким забавным и, казалось бы, совершенно не пригодным ни для чего зверькам, как бурундуки. Но взрослые, ещё несущие в себе уроки стариков, всё же нашли им мудрое применение и превратили их в воспитательную игру для своих детей.

Там, где мы работали, необъятные заросли кедрового стланика подступали к самому морю и изобиловали множеством бурундучков, что то и дело сновали под ногами, забирались в наше жилище, словом, не давали никакого покоя. И хотя мы к ним достаточно привыкли и иногда они нас даже развлекали, зверьки всё же порядком надоели. Терпение наше лопнуло, когда бурундуки за одну ночь перетаскали из нашего ледника почти всё сливочное масло, которое хранилось в большой картонной коробке.

Ледник мы выкопали в кустах стланика прямо за палаткой, положили туда, помимо масла, недавно попавшую в сети калугу и ведро её чёрной икры, но бурундуки из всего этого богатства выбрали именно масло, которое, по-видимому, легко было откусывать и прятать в защёчные мешочки. А поскольку зверьков в прибрежных лесах обитало невероятное количество, им не составляло особого труда довольно быстро разделаться со всеми нашими запасами, если бы мы вовремя не спохватились. Масло бурундучки старательно припрятали в свои норы, вернуть его уже не представлялось возможным, и, таким образом, на два ближайших месяца наш завтрак значительно оскудел.

Но бурундуки на этом не успокоились. У входа в палатку стоял внушительных размеров мешок с горохом. Как-то после обеда, когда мы отдыхали, бурундук показался перед отдёрнутым пологом очень осторожно, как будто оценивая обстановку, и удостоверившись, что всё спокойно, ловко нырнул в мешок. Пошурудив в нём какое-то время и набив полные щёки, бурундук незаметно выскользнул, но вскоре опять появился.

Утащив определённую порцию гороха, он тщательно умывался на улице, охорашивался и после небольшой паузы отправлялся к нам в палатку за новой порцией. По тому, как часто появлялся зверёк, можно было предположить, что у нас под боком орудовало целое семейство. Все бурундучки были очень похожи и одинаково мило вели себя, думая, что их никто не видит. Но однажды мы решили изловить хотя бы одного, и у нас это получилось.

По всей вероятности, бурундук привык, что он никому не докучает, никто его не преследует, и он может преспокойно заниматься своим делом. Забравшись в мешок через прогрызенное им отверстие, бурундук на короткое время притих, а потом зашебуршал, тихо затрумкал, и когда он стал выбираться, мы его уже ждали. Прихватив бурундучка за задницу, я попытался вытянуть зверька наружу, но он так набил свои защёчные мешочки, что голова его застряла в маленькой дырке. Больше всего

насмешило то, что в дырке застряли щёки бурундука, до отказа набитые горохом...

Так вот приручение бурундуков нивхами было основано на имитации их спасения. Зверьков вначале топили, несколько раз окуная в воду, а затем пристраивали за пазуху, согревая своим теплом, обещая, тем самым, в последующих взаимоотношениях заботу и ласку. После этой весьма неприятной для бурундучков процедуры они становились искренне, насколько это возможно, привязанными к своему спасителю.

Зверьки без устали сновали по карманам мальчишек, лутили кедровые орешки прямо у них на плечах, забирались под рубашки, словом, чувствовали себя совершенно свободно, не собираясь покидать нового прибежища, вполне их устраивающего. Даря, таким образом, своим детям маленьких забавных друзей, нивхи подвергали их души испытанию, и это было очень правильно: друга, пусть даже такого маленького и беззащитного, обретаешь только согрев своим теплом, к тому же, ты за него теперь в ответе, а потому обязан заботиться и оберегать.

Как мудро могли жить нивхи, а на деле порой начинало казаться, что они так ничего и не поняли из огромного опыта жизни, оставленного им предками, или просто потеряли однажды обретенное. Русская и японская колонизация принесли в среду нивхов много не существовавших ранее пороков. Так получилось, что разорение и полную кабалу им обеспечило и товарное хозяйство. А сами нивхи, не в силах сопротивляться пришедшим в их жизнь переменам, довершили развившееся общее неблагополучие: они потеряли собственное лицо, своеобразный колорит жизни, когда можно было так радостно существовать в согласии с собой и окружающей природой, но у них не хватило для этого ни сил, ни рассудка...

Маленький и чистый когда-то народ, как и любой другой, не должен был страдать от чужого несовершенства. Всё, что требовалось от русских, это поддерживать мудрое соседство с нивхами, основанное, в первую очередь, на невмешательстве в их быт и предоставлении независимому народу самому выбирать свой путь. А как здорово и надёжно, наверное, выстраивали нивхи когда-то свой мир! И разве имел кто-нибудь право ограничивать их в этой чудесно предоставленной им природой возможности?

Вынужденная неизбежность кое-как существовать на глазах у совершенно чужих тебе людей и среди чужих, непривычных вещей – вот что потрясло в быте нивхов. Она, эта неизбежность, почему-то не поддавалась объяснению. Убивала тянувшаяся изо дня в день череда несправедливостей, в какую был ввергнут своеобразный народ, постепенно превратившийся в равнодушную людскую массу.

Долго я не мог понять, что даже среди всего чужого можно отыскать близкое и нужное тебе, если не замыкаться только на собственной душе, но разве способны были на это внутренне неподготовленные нивхи, не имеющие каких-либо иных жизненных примеров кроме своего? И как трудно

было оставаться в ладу с собой, когда тебя лишают самого дорогого! Нивхи не были готовы к такой сложной душевной работе.

Зачем жили они, если им, как и многим другим народам, пришлось однажды уходить насовсем?! Неужели только затем, чтобы в ком-то оставить о себе изредка подступающую к сердцу боль или наваливающуюся в редких снах обездоленную память? Память об их блеснувшей когда-то жизненной удаче, впрочем, оставляющей под сомнением собственное бессмертие. Но в памяти этой, наверное, заключалось накопленное знание нивхов о себе, как оправдание их неминуемого исчезновения.

Многие поколения маленького народа трогательно поклонялись неизведанному, может быть, только в необозримом для себя будущем надеясь на истинное возрождение, и умирали... А происходило это на удивительном острове, который, в отличие от людей, никогда не оставался к ним равнодушен, пристально вслушиваясь и вглядываясь в быт народа, не по своей воле потерявшего связь и с морем, и с землёй. Я тоже находился на этом острове – в царстве, где господствовала воля древних нивхских богов, и это ужасно приятно было сознавать.

## «ИОНА»

Остров Ионы расположен в 175 милях к востоку от залива Аян в северо-западной части Охотского моря. Хотя скалистые склоны острова почти лишены растительности, и только кое-где на них заметны небольшие пятна травы или кедрового стланика, издали он выглядит большим стогом сена высотой в 150 метров. Берега острова круты, местами – почти отвесны, но с западной стороны в море выступают небольшие скалистые мыски, между которыми имеются узкие пляжи из песка и гальки, служащие лежбищами для нерп и сивучей.

В ясную погоду остров Ионы открывается с расстояния двадцати миль. При подходе к острову на расстояние полутора миль слышен вначале неясный, а затем всё более усиливающийся рёв сивучей. По мере приближения к острову, к этому сплошному рёву, в котором уже можно различить крики отдельных зверей, прибавляется шум, издаваемый множеством птиц. Летом остров обычно закрыт туманом и необходимо задолго до приближения к нему начать осуществлять измерение глубин, поскольку вокруг острова разбросаны многочисленные надводные камни, достигающие порой в высоту двух и более десятков метров.

Кстати, гомон островных обитателей для плавающих в этом районе судов – своеобразный «сводный хор», вернее – опознавательный знак, по которому не трудно определить местонахождение небольшого острова. Ведь постоянные туманы здесь – явление обычное, и в любое время года они укрывают остров от любопытных глаз.

Скупая статистика «Люции Охотского моря» совершенно точно отображает положение этих достаточно суровых морских мест. Странно только, что именно здесь, чуть севернее Шантарских островов, в царстве вечных туманов, холодных течений и льдов, обрёл свой покой небезызвестный пророк Иона, предстающий перед взорами моряков в лице маленького скалистого островка. Незадачливый пророк, послушавшийся самого Бога и за то угодивший во время морской бури в чрево кита, где он провёл три дня и три ночи, был, наверное, действительно схож с одиноким островом, когда-то возникшим посреди Охотского моря, и, должно быть, именно поэтому последний был наречён однажды Ионой...

К слову будет заметить, мог ли кит действительно проглотить Иону? На многочисленных рисунках, иллюстрирующих этот библейский миф, в качестве проглатывающей Иону «рыбы» изображён огромный синий кит – самое крупное в мире животное. На самом же деле через горло синего кита может пройти лишь маленькая рыбёшка, в основном же эти гиганты питаются крилем – мелкими креветками. Более подходящей кандидатурой на роль проглотившей Иону «рыбы» был бы кашалот: китобоям не раз приходилось наблюдать, как загарпуненный кашалот в огромных количествах изрыгает недавно проглоченную пищу и однажды так был извергнут гигантский кальмар длиной 3 метра и весом более 200 кг. Таким

образом, в горле и желудке кашалота вполне может свободно поместиться «взрослый» человек.

Если бы таковой на самом деле оказался в утробе кашалота, желудочный сок животного, разумеется, доставил бы проглоченному неудачнику массу неприятностей, хотя действие его вовсе не смертельно. Кит не может переварить живое существо – иначе бы он переваривал стенки своего собственного желудка, чего, естественно, не происходит.

Возможность быть проглоченным китом оставалась бы, наверное, устрашающим и маловероятным событием, скорее даже – мифом, если бы не приключившиеся на самом деле случаи, описанные очевидцами, к которым, впрочем, можно относиться и скептически. Одно из нападений кашалота на человека зарегистрировано в 1891 году, когда судно «Звезда Востока» находилось на промысле китов в районе Фолклендских островов. Дозорный на мачте заметил большого кашалота в трёх милях от корабля, на воду спустили два вельбота, и через короткое время одному из гарпунёров удалось ранить кита. Второй вельбот также приблизился к киту, но был отброшен ударом хвоста, причём, один из двух китобоев с этого вельбота утонул, а второй исчез. Исчезнувшего матроса звали Джеймс Бартли. Кашалота убили, и через несколько часов он уже был привязан у борта судна. Китобои занялись срезанием с туши подкожного жира. Они работали весь день и часть ночи. На следующее утро они извлекли желудок кита и подняли его на палубу. Моряки с ужасом заметили, что желудок шевелится; вскрыв его, они обнаружили пропавшего товарища, который лежал, скрючившись, и уже не подавал признаков жизни. Его положили на палубу, обмыли морской водой и привели в чувство. В течение двух недель пострадавший бредил. К концу третьей недели он полностью оправился от потрясения и вернулся к исполнению своих обязанностей.

Ещё об одном «проглоченном» сообщает Эгертон И. Дэвис, корабельный врач, который в 1893 году охотился на тюленей в районе Ньюфаундленда. В 1947 году, будучи уже весьма пожилым человеком, он писал: «Одному парню с другого судна не повезло: его унесло на отколовшейся льдине, а после он, на глазах у своих товарищей, свалился в ледяную воду, рядом с огромным кашалотом. Кашалот был явно раздосадован и озадачен внезапным появлением флотилии; было очевидно также, что он случайно оказался в полярных водах в такое время года и чувствовал себя здесь неуютно. Кит проглотил несчастного пловца и тут же направился к одному из небольших судов. Удачный выстрел из небольшой пушки, установленной на корме этого судна, смертельно ранил огромное млекопитающее и заставил его изменить курс; кашалот проплыл ещё мили три и забился в агонии. На следующий день его нашли плавающим кверху брюхом, и хотя разделать тушу не представлялось возможным, охотники много часов мужественно трудились, стараясь добраться до огромного, наполненного газами желудка кашалота, в котором они надеялись найти тело своего товарища. Отделив желудок от двенадцатиперстной кишки, они

доставили его мне, думая, что я извлеку, осмотрю и сумею забальзамировать тело, чтобы его можно было отправить на родину погибшего – в Ардженшию, на остров Ньюфаундленд.

Сначала я попытался вскрыть желудок скальпелем, но очень скоро сменил его на тесак, принесённый с камбуза. Наконец, желудок был вскрыт, отчего кругом распространилось ужасное зловоние, впрочем, не более ужасное, чем зрелище, представшее нашим взорам. Грудная клетка молодого человека была раздавлена, по причине чего, вероятно, и наступила смерть. Однако самые поразительные изменения обнаружились на коже жертвы. Выделения желудочного сока кашалота покрывали всё тело погибшего, и его обнажённые части – лицо, руки и одна из ног, которая не была защищена брюками, оказались изъязвлены и частично переварены... Я пришёл к выводу, что он потерял сознание прежде, чем понял, что с ним происходит. Как ни странно, несколько вшей в его волосах остались живы».

Верить ли нет подобным высказываниям – решать каждому самому, но вот, что касается охоты на китов в Охотском море, то два-три столетия назад их в этих водах добывали очень много. Особенно интенсивный промысел китов, в основном – гладких, вёлся в Охотском море в середине 20 века. Здесь плавало до 250 парусных китобойных судов, причём у острова Ионы в некоторые годы промышляло до 100 судов. С 1846 по 1862 год американцы вывезли из Охотского моря уса и жира на 135 млн. долларов. Они же с 1841 по 1850 год в северной части Тихого океана добыли около 1500 гладких китов. В следующее десятилетие добыча китов сократилась до 385 голов, с 1861 по 1870 – до 138, а к концу 19 века киты в этих водах стали встречаться лишь единицами.

Словом, киты здесь давно уже достаточно редки, и даже Антон Павлович Чехов, столетие назад путешествуя в этих местах, уже почти не наблюдал их, как бы ему того не хотелось. Киты обитают где-то далеко на севере, в Беринговом и Чукотском морях, куда лежит дорога не в одну сотню нелёгких морских миль...

Всё необыкновенное разнообразие этого морского пути по дальневосточным землям и морям отмеривает незаменимая «Лоция» - настольная книга мореплавателей. Даже опытейшие капитаны не имеют права, да и не смеют, идти без неё в открытое море или океан. В ней расписано всё, что судно может встретить в плавании: острова, мели, заливы, подводные скалы, камни, даже когда-то затонувшие корабли. Имея на корабле лоцию, компас и морскую карту, капитан или штурман, образно говоря, могут вести судно даже с закрытыми глазами.

Лоция не интересна только равнодушному, нелюбознательному человеку. За немногословным языком описания бесконечных морских дорог стоит вековая история освоения этих героических мест, где за каждым измерением глубин – подвиг живых людей, их ни с чем несравнимые терпение и воля, очень тяжёлый, не прекращающийся месяцами, а то и годами труд.

Чем-то необъяснимым, даже - неотступно притягивает к себе «Люция». Её хочется брать в руки, раскрывая, где придётся, и не спеша рассматривать все эти неизведанные тобой берега, заливы и мысы, запечатлённые в неброских, чуточку даже мрачноватых чёрно-белых фотоснимках. Просматривая сухие, но точные замечания, всегда невольно удивишься их скрытому обаянию, которое не сразу и уловишь. Если ты любишь море и посвятил ему немало лет своей жизни, то невозможно миновать общение с этой замечательной книгой.

В одной из экспедиций на научно-исследовательском судне «Анабар», когда мы совершали учёт морских каланов, старпом отчего-то однажды расщедрился и великодушно презентовал мне все тома Японского, Охотского и Берингова морей, которые я, помнится, сгрёб в охапку и незамедлительно уволок к себе в каюту. Каюсь, был грех из-за неустроенной экспедиционной жизни избавиться от этих тяжелых книг, поскольку при отсутствии на берегу собственного жилого угла - таскать их за собой было делом обременительным, но, тем не менее, я эти люции сохранил. Пять тиснёных томиков орехового цвета, словно отлитые из всех этих описанных в них угрюмых дальневосточных мысов и островов, непоколебимо простояли у меня в каюте в течение многих экспедиций, и вот сейчас, когда уже нет рядом моря, они своим сокровенным запахом и шелестом глянцевого страниц, наподобие тихо накатывающегося прибоя, лучше чем что-либо дарят мне его присутствие. И опять перед моим взором встают вулканы Тятя и Алаид, пролив Лаперуза и мыс Терпения, всё незабываемое Курильское ожерелье, и замкнувшийся в своём вынужденном отречении маленький остров Ионы...

Остров Ионы был открыт экспедицией капитана Биллингса в 1789 году. Название своё остров получил скорее всего не потому, что располагался один-единёшенек в северо-западной части Охотского моря, как и пророк Иона во чреве кита, а именно в честь святому, память которому в тот день была празднуема, то есть – 22 сентября по старому стилю. Так писал об этом в своей книге «Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану» соратник Биллингса по экспедиции – Гаврила Андреевич Сарычев. Он в ней отметил, как ещё находясь на рейде в Охотске, обратил внимание на то, что водяные птицы, особенно чайки, всякий вечер улетали от берега в море к югу и поутру рано опять возвращались. Отсюда можно заключить, пишет Гаврила Андреевич, что птицы бывали на острове Ионы, ибо именно на таких утёсистых одиноких островах морские птицы обыкновенно любят делать свои гнёзда: тут их никто не может беспокоить. И действительно, каменный остров Ионы оказался одинок, величиною в полмили и высотой от воды на 100 сажен, напоминающий своими очертаниями египетскую пирамиду.

Будучи неизвестен морякам в те времена, он, конечно, был очень опасен в туманное и ночное время. Многие суда в этом районе пропадали без вести, вероятно, находя покой на дне у его обрывистых берегов,

изобилующих, как уже говорилось, подводными камнями и высокими утёсами. Остров и перед нами возник из тумана неожиданно, как на картинке, после чего туман сразу почему-то рассеялся, воздух стал мягче, светлее и неожиданно выглянуло солнце. Пронзительный удар судовой рынды вмиг согнал с островных скал множество птиц, а могучие сивучи с шумом бухались в холодную охотоморскую воду, как-то уж очень задорно вспенивая её у прибрежных камней. Всё происходящее на наших глазах выглядело таким одухотворённым, живым, и почему-то даже не верилось, что это – север.

Помню, меня поразило зрелище необитаемого красивого острова, я безостановочно щёлкал фотоаппаратом, и одна фотография с его изображением до сих пор стоит у меня в рамке, на письменном столе, постоянно напоминая о чудесных местах, в которых мне когда-то удалось побывать. Порой, глядя на фотографию, мне даже не верится, что всё это происходило со мной на самом деле, я жил этой полной прекрасных событий жизнью и ни о чём не сожалел.

На фотографии запечатлён горделиво восседающий на скале взрослый сивуч, сам – как застывшее каменное изваяние, а прямо над ним, раскинув тонкие крылья, завис в прозрачном воздухе светлеющий нежным оперением вольный буревестник... И сивучи, и разнообразные морские птицы – главные обитатели острова, в прибрежных же водах его можно встретить обилие самых удивительных гидрокораллов. Благодаря нежному розовому цвету скелетов этих полипов и превосходным поделочным свойствам - они имеют промысловое значение. Кораллы хорошо полируются, изделия из них держат кромку, и их можно использовать для ювелирных изделий.

Надо же, возник когда-то из моря маленький дикий остров, никто о нём почти не знает и не видит его, но именно здесь постепенно рождается то драгоценное природное вещество, что способно радовать многих людей. В этом – глубокая суть моря, его бескорыстное желание преподнести свои дары, и никто иной, как одинокий, почти неведомый никому Иона – их хранитель.

Но преобладают на острове, конечно, сивучи, которые относятся к семейству ушастых тюленей. Как и котики, они водятся только в северной части Тихого океана. Это достаточно крупные животные: вес самцов порой достигает полутора тонн, самки же значительно меньше, но и они весят до 350 кг. Питаются сивучи главным образом рыбой, а остров Ионы – их крупнейшее лежбище, где они чувствуют полную безопасность. Здесь сивучи спокойно проводят лето и выводят потомство, на зиму же откочёвывают на юг в открытое море.

Сивучи острова Ионы, или как их ещё называют – морские львы, поражают не только своими гигантскими размерами и массой, но и способностью ловко забираться на самые высокие скалистые уступы. Мы зачарованно взирали, как с виду неповоротливые, передвигающиеся только с помощью ласт животные, словно скользят по камням, легко перенося свои

неуклюжие тела всё выше и выше. Одна самочка незаметно добралась до самой вершины острова, где мы её и запечатлели на плёнку, но, даже находясь под впечатлением увиденного, нас не покидала тревога: а сможет ли она, так же свободно, спуститься? Ждать долго не пришлось, самочку что-то потянуло обратно, к воде, и когда она начала движение вниз, мы поняли, что зря переживали: спуск со скалы животное осуществляло даже более ловко, будто ему только и приходилось перебираться по камням и отвесным скалам. В тюленях, по-видимому, явственно просыпается их первобытное прошлое, когда они ещё и не намеревались покидать сушу.

Интенсивный промысел сивучей, продолжавшийся почти до середины прошлого столетия, привёл к резкому сокращению их поголовья. В некоторых местах их выбили окончательно, но в других, в частности - таком труднодоступном, как остров Ионы, животные уцелели. Спасло сивучей от полного истребления своевременное запрещение промысла.

Когда мы отправились к острову на боте, сивучи встретили нас вполне дружелюбно, и даже позволяли брать на руки своих малышей, чем мы, естественно, не злоупотребляли. Соскальзывая с камней в воду, они не уплывали, а кружили тут же, неподалёку, тяжело пофыркивая и шумно, будто с угрожающим рёвом прочищая носоглотку. Но это было лишь видимое впечатление, на самом деле сивучи не проявляли ни малейшей агрессии, хотя и не дооценивать их доброжелательное расположение не стоило. В любой момент сивуч-секач мог углядеть в нас соперника, и бесстрашно броситься в атаку, чего, к счастью, так и не случилось.

Приятно было находиться рядом с этими дикими зверьми, видеть их вздрагивающие толстые усы, настороженно косящие, тёмные глаза и могучие гладкие тела, ловко переворачивающиеся в стылрой воде на расстоянии чуть ли не вытянутой руки. Сивучи, кажется, лишь для порядка побаивались нашего неожиданного появления, но чутьё и интерес к новому пересиливали в них природную осторожность, что незамедлительно сказывалось на поведении зверей: они как будто предоставляли нам возможность любоваться собой, не переступая в этом общении допустимую черту. И мы чутко поддерживали это необременительное для обеих сторон равновесие, надеясь продлить приятное соседство как можно дольше.

Птицы тоже оказались на острове совершенно доступными, чуть ли не ручными, потому как не знали человека и не были напуганы. Да и у кого могла возникнуть потребность бывать здесь, высаживаясь на совершенно голые, почти неприступные скалы? Ну, если только появлялось в этих неприятных местах такое же научно-исследовательское судно как наше, да и то крайне редко: часто погода не позволяет приблизиться к опасным скалам, обычное дело, если приключится какая-нибудь внештатная ситуация, которыми изобилует работа в море, а иногда время экспедиции оказывается на исходе, и хочешь-не хочешь – поворачивай к родным берегам... Много чего должно сложиться, прежде чем судно благополучно завернёт к одинокому острову и пробудет в его прибрежных водах хотя бы сутки. Нам

удивительным образом повезло, всё для этого очень удачно совпало, и мы были благодарны судьбе, что давнишняя мечта побывать на острове, наконец-то, осуществилась.

Что же касается птиц, они на острове действительно вели вольный образ жизни, а птичий базар Ионы славился на весь Дальний Восток. От огромного скопления пернатых к ним невозможно было подступиться. К тому же, большинство из них сидели на яйцах, и тревожить птиц даже запрещалось. Здесь же мы вынуждены были пробираться к вершине острова, чтобы снять для ремонта автоматическую радиометеорологическую станцию, и миновать птиц было просто невозможно, что заканчивалось для нас чревато.

Птицы, по большей части – это были птенцы, при приближении людей разевали огромный рот и исторгали в нас тугие красноватые струи. Из-за каждого камня и расщелины с шипением вылетали фонтаны птичьих защитных струй, немилосердно покрывая одежду густой жидкостью с резким запахом гнилой рыбы. Причём, взрослые птицы вели себя куда более сдержанно. Долго после этого мы ещё счищали засохшую слизь и стирались, пока не избавились от благоуханий, коими нас наградили пернатые Ионы...

Птицы, гнездящиеся на острове Ионы, хорошо известны рыбакам и морякам, поскольку обитают по всему Охотоморью, берегам Японского и отчасти – Берингова морей. Это, в основном, несколько разновидностей чаек – полярная, серебристая, сизая, тихоокеанская, чернохвостая и моёвка. А ещё - чистиковые птицы, среди которых обычно без труда можно отличить кайру, топорка и конюгу. Трубноносые – это буревестники, альбатросы и качурки, и, пожалуй, бакланы – берингов, краснолицый и японский. Всего – порядка двух-трёх десятков видов, и все они по-своему неповторимы, как и облюбованный ими остров.

Взять хотя бы качурок – маленьких, размером с небольшого куличка птичек. Вокруг острова их множество, к тому же качурок легко узнать. Обычно они порхают у самой поверхности моря, резко меняют направление полёта, и время от времени отталкиваются от воды ногами, как бы семена по поверхности. Качурки так устроены, что не могут обойтись без света, особенно они тянутся к нему по ночам и довольно часто залетают на палубы проходящих судов и даже в иллюминаторы. В штормовую погоду они способны заполнить собой все судовые помещения, перебираясь по полу кают и коридоров словно мыши, и вполне естественно, что их очень много гибнет, когда качурки натываются на металлические переборки и многочисленные судовые механизмы. Моряки пытаются их выхаживать, но из этого мало что выходит.

Когда птицы в большом количестве собираются для гнездования в одном месте, они становятся заметнее для хищников. Да и прокормиться такой ораве, на ограниченной акватории, трудно. И, тем не менее, в совместном обитании пернатые находят много преимуществ. Прежде всего, дружным сообществом легче защищаться. Те же мелкие крачки совместным

нападением способны обратить в бегство многих хищников. Интересно, что в едином строю птицы действуют лишь при появлении общего врага, в обычной же мирной обстановке они нередко ссорятся друг с другом и конкурируют за место в колонии.

Какими условиями должно удовлетворять птиц место, чтобы на нём могла разместиться колония? Первое условие – район должен быть продуктивным, то есть – достаточно кормным, иначе большой массе птиц будет трудно пропитаться на ограниченной акватории. Вторым и, может быть, решающим условием является наличие недоступных, чаще обрывистых и скалистых берегов, а ещё лучше – небольших островков, на которых нет хищных млекопитающих, коими оказываются, в основном, песцы, в изобилии уничтожающих и птенцов, и яйца. Но настоящую напасть для колониальных птиц представляют собой крысы, способные начисто опустошить птичьи базары и даже уничтожить их. Не случайно подавляющее большинство колоний птиц в Мировом океане располагаются не на берегах материков, а на небольших островках, подобно Ионе.

Как выглядит его птичье население – описать несложно... Всего на этом клочке суши, по подсчётам учёных, гнездится немногим больше 400 тысяч птиц. Основу базара, как уже говорилось, составляют открыто гнездящиеся виды – бакланы, чайки и кайры, а поскольку остров Ионы слагают гранитные скалы – здесь мало трещин, карнизов и россыпей камней, то это, естественно, уменьшает количество остальных птиц, использующих в качестве гнездовой земляные норы – топорков, конюг и стариков. Жизнь в птичьих колониях бьёт ключом только с конца весны до начала осени, в остальное же время года летнее пристанище птиц выглядит неуютно и сурово.

Весна в этих местах порой не менее холодное время года, чем зима, к тому же – очень хлопотное для птиц, и всё же оно радостно. Сначала птицы появляются на скалах лишь изредка, присматриваются и как бы вспоминают прошлый сезон. Затем – выбирают место для гнезда и борются за него, приводя в порядок, а у некоторых видов началу гнездового периода предшествуют и брачные игры, представляющие набор различных церемоний и ритуалов. Особенно занятно их наблюдать у кайр...

Кайры вообще очень забавные птицы, но при всей своей видимой неловкости и даже непутёвости, они обладают несравненно более зорким внутренним оком и тонким слухом, нежели котики и сивучи. Кайры обычно их неизменные соседи и бдительные сторожа. При малейшей тревоге кайры срываются с гнездовья и носятся над островом, оглашая всю округу пронзительным криком. Этот невообразимый шум способен разбудить кого угодно, не то, что спящих животных!

В какое-то мгновение все птицы оказываются в воздухе, а звери в море. Тогда птичья какофония усложняется басовитым рыканьем высывающихся из воды и старающихся понять, в чём дело, потревоженных секачей, дополняемом бляением детёнышей. Если тревога была ложной, спугнутые

животные постепенно успокаиваются и занимают прежние места, после чего размеренная жизнь острова возобновляется. Но только до следующего раза, пока кайрам опять не взбрeдeт в голову поднять суматоху, и так – без конца, в течение всего периода гнездования.

Очень интересно было наблюдать на острове за брачными играми кайр, когда самец демонстрировал свою готовность оказывать внимание своей очаровательной подруге. Пристроившись на каком-нибудь свободном карнизе, он гордо выпячивал грудь, вскидывал голову и направлял остриё клюва ввысь. А его ноги, опушённые над цевкой белоснежными перьями в виде «штанишек», шлёпали по ровной площадке скалы в своеобразном танцующем ритме. Изредка самец прохаживался взад и вперёд на виду у соплеменников, и выглядел при этом очень озабоченным. «Дамы» же всем видом выражали покорность, вели себя очень скромно, и всё время как будто к чему-то прислушивались. В ходе своего ухаживания самцы подбирали со скал мелкие камушки, стебельки сухой травы, перья, и танцующей походкой приближаясь к самкам, складывали эти подношения к их ногам. Вся эта картина птичьей любви до такой степени завораживала, что ты уже не замечал ни сивучей, ни суровой красоты самого острова, ни менее интересного поведения других птиц... Остров Ионы целиком захватил твоё сердце.

И при всём этом неотступно думалось о том, что огромная гранитная скала жива ещё и своей внутренней, незаметной никому жизнью, находящейся где-то там, в неведомой глубине, под водой, откуда она вырастала остроконечной горой, предназначенной утверждать силу земли даже посреди моря. Земли пусть и скалистой, но несущей в себе великий источник скрытой энергии, без которой не обойтись ни птицам, ни животным, ни человеку.

Неполные сутки пробыли мы на острове, а показалось, будто минула целая неделя: столько впечатлений вместило в себя общение с незабываемым Ионой. Редкое здесь солнце ещё с утра растопило густой туман, и весь остров высветился как на ладони: густое синее море, серовато-чёрные скалы с залёгшим в расщелинах розоватым снегом, коричневато-лоснящиеся сивучи, вальяжно разлёгшиеся на мокрых камнях у самого подножия острова, - всё вместе представляло собой незабываемое для этих широт зрелище. Даже носовая рында отливала на фоне темнеющих скалистых отрогов не холодной сталью, а какой-то проникновенно мягкой голубизной. День обещал быть необыкновенно радостным, возможно - даже восторженным, и его хотелось запомнить до мелочей.

Так получалось, что Татарский пролив не только помог побывать в гостях у нивхов, он ещё и благополучно познакомил меня с одиноким островом Иона, когда всё, казалось, было против: и непогода, и нежелание капитана отклоняться от уже намеченного курса, и отсутствие лишнего

топлива, но всё-таки мы туда попали... Я потом долго не мог объяснить себе – зачем он мне нужен, этот остров? Что в нём такого, отчего его присутствие не даёт мне покоя? Может быть потому, что я всегда стремился к неизведанному, и одинокий остров Иона невероятно притягивал меня. Завораживало именно его одиночество посреди Охотского моря, и хотелось разгадать его скрытую тайну...

Казалось, вот я увижу его – и что-то важное в моей душе обязательно откроется. В этом острове, что держится особняком, действительно, таилось нечто неизведанное, и его очень хотелось изведать, а когда я осуществил это, то есть – соединился с ним, он меня обогатил. При этом я почувствовал, как из самого острова оно, это неизведанное, утекло. Неизведанная сила заполнила меня, вернее, она не приметно влилась в моё тело, и стала мной, но в самом Ионе что-то изменилось: он, оказывается, подарил мне себя. Подарил, наверное, потому, что я заслуживал своей любви и преданности морю, всей жизни, и этому острову... Он, конечно, почувствовал мою любовь к нему, и отдал мне свою, и я был ему за это благодарен.

Между людей водится такая пословица, что один и у каши загинет, но это никак не относится к такому величественному, хотя и маленькому острову, как Иона. Достоинно и безропотно принимает он на себя безудержные гигантские валы, многодневные ветра, туманы и промозглый охотоморский холод, и по всему видать, ему не тошно находиться в постоянном одиночестве, не забывая оберегать своим существованием многочисленные стаи морских пернатых, котиков и сивучей. Одному за всех легче.

Самый, что ни на есть, независимый остров живёт своей, отторгнутой от других островов Шантарского архипелага суровой жизнью, но, кажется, совсем оттого не тужит. Он и море – едины, чего ещё желать одинокой скале, и если так, то остров находится именно на своём месте в этом морском мире. Он его однажды обрёл, и тем горд, никому не отдаст этой каменной свободы, слушая только своё твёрдое сердце. А оно у него, если внимательно к Ионе приглядеться, бывает и трогательное...

Остров, конечно, торчит посреди моря один, ровно как святой Иона во чреве кита, но ведь и Господь пребывает в одиночестве, хоть вокруг и молельщиков тьма, и это уединение, быть может, и наполняет его, как раз, монолитной силой. Ведь когда ты остаёшься в одиночестве, сознание твоё при этом никогда не угасает: только успевай жить, обретая не иссякающее желание это делать, и не бойся оставаться один. Долголетие и здоровый дух, не важно – человек ты или остров, это способность максимально длительное время сохранять активность, внутренний настрой, а его возможно накопить только в одиночестве, не расходуя понапрасну свою энергию на длительное общение с другими, пусть и такими же, как ты, скалистыми островами...

Остров, как и человек, может стать самим собой, только когда проявит самостоятельность, не надеясь на других. Он должен ясно осознавать, нести в себе эту правду, что в принятии верных решений ему никто не нужен, он и

сам способен на многое, если поверит в свои силы, что и является основой в утверждении стойкости его внутренней природы, природы непреклонного мужественного острова. Назначение таких состояний, как молчание и уединение, очень ценно, без них ни человеку, ни острову невозможно сохранить внутреннее спокойствие, и уж тем более – приблизиться к обретению себя. Тому же, кто боится оставаться наедине с собой, в море делать нечего, ибо истинное общение с ним предполагает именно переживание одиночества.

Если кто-нибудь, кто не добился в жизни того, чего хотел, начинает говорить, что у него не было полной уверенности в своей правоте, когда он не решился следовать жизненному выбору и идти до конца, я почему-то всегда представляю жизнь одинокого острова, как Иона... Не обладая такими возможностями, как человек, он не перестаёт поражать своим непоколебимым упорством, изо дня в день продолжая борьбу за то, чтобы оставаться самим собой, сохраняя свою неброскую красоту и мощь. Происходит это по одной простой причине: помочь острову в его одиноком противостоянии морской стихии никто не может, и остров словно бы сознаёт это и полагается только на себя.

Труд одиночки, несомненно, подвижнический труд, и остров не способен в своей жизни обойтись без подвига, который он незаметно и неумолимо, каждый миг, совершает. Остров мужественен только потому, что – один, он не способен переложить свою ответственность за собственное существование на кого-либо другого, и никогда не отказывается от дарованной ему свободы, в полной мере дорожа ей. Остров вынужден принимать на себя самые решительные удары именно в состоянии одиночества, и это состояние необходимо принять, что он и делает.

Только в одиночестве, если воспринимать его верно, можно становиться сильнее, ни от кого, при этом, не отдаваясь, и то, что человек, дерево или скала ничего не могут одни – неправда. Только одному и можно показать всем, и в первую очередь – себе, что ты способен на многое. Ни человеку, ни острову вообще не следует преодолевать своё одиночество, а нужно только правильно им распорядиться, ибо оно даровано Творцом, который сам мужественно прошёл и проходит через него.

Именно в одиночестве душа и человека, и камня способна осознать собственное достоинство и силу. Всякое живое существо, будь это хоть каменный остров, обязан приучить себя к тому, что полезнее для него будет непрекращающееся преодоление препятствий, а не безоблачное переживание счастливого покоя, какое само по себе ничему не учит, оно – статично. Лишь находясь в состоянии постоянной борьбы и противодействия тебе бурной стихии, ты сможешь выработать необходимые навыки в овладении внутренней энергии, когда она способна себя восстанавливать. Одиночество никого не должно пугать своей видимой неестественностью или ущербностью, потому как все мы, по земным меркам, одиноки. Но это не обречённое, а необходимое для нашей души состояние, чтобы она могла

проявить себя с самой выгодной стороны именно в некоей ограниченности, когда никто, кроме тебя, не в силах подтвердить собственную решимость, силу и правоту.

Чувствовать себя одиноким – это не значит оставаться одному, а лишь только идти достойным путём, быть самим собой, как это и получается у одинокого острова Ионы. Я это сразу понял, увидев его впервые, когда он медленно выплыл из тумана... И как представил, что если мне, прямо сейчас, опуститься под воду у обрывистых берегов острова, постепенно уходя в этой сероватой голубизне всё глубже и глубже, ощупывая взглядом его, кажется, безжизненные камни, а темнота будет сгущаться, то эта холодная стена не станет мне ближе, как если бы я вглядывался в неё наверху, где на её отрогах вальяжно покоятся толстые сивучи, а узкие расщелины дышат сокровенной и тупой мощью. В них бьются упрямые волны, будто разговаривают с внутренней сущностью острова. Большие белые чайки дико вскрикивают над пенящимся морем, неистово взмывают в безликое небо и валятся к самой воде, будто норовя зачерпнуть её крылом. Сивучи, ни с того ни с сего, задирают свои мясистые гривы, и гортанно взрывают в насыщенное влагой серое пространство, после чего тяжело вздыхают и бухаются всем своим тучным телом в маслянистую североморскую прохладу: плюю-ю-х... Вот, что мне было нужно!

А остров при этом невидимо улыбается, катает про себя неведомые мысли, чего-то ждёт... Может быть – внимания человека, равнодушного к своей жизни, и вот такой человек пришёл, и остров будто ожил, весь преобразился, словно, воспрянув от длительного забвения. Взаимопроникновение случилось, остров стал жить мной, а я – проникнулся его одинокой судьбой, и от этого все будто обрадовались: и остров, и море, и даже птицы с сивучами, и я...

В штурманской рубке, на столике, лежала раскрытая «Лоция Охотского моря», а из-под неё свешивался загнутый уголок карты. Было удивительно тихо, золотистые пылинки мягко роились в замершем воздухе, солнечные утренние лучи ласково заглядывали в иллюминатор. Пробегая по чётко очерченным коричневой линией берегам, заливам и островам, они вдруг весело скатывались по краешку свисающей карты и неслышно начинали весёлую толчею под штурманским столиком. В распахнутые двери вольно задувал упругий охотоморский ветерок...

Перед тем, как сняться с якоря, все отчего-то поднялись на палубу и, молча, наблюдали за красивой скалой, действительно напоминающей стог сена, или – пирамиду Хеопса. Неожиданно из-за неё показалась стайка дельфинов... Дружно выпрыгивая из воды, они на миг замирали в воздухе и исчезали в волнах, чтобы через мгновение вновь свободно взмыть над водой, элегантно изогнув блестящие хвосты. «Пых-пох, пых-пох, пых-пох» - еле слышно доносилось до нас упругое дыхание животных, а остров вместе с

неумолкающими ни на минуту птицами и застывшими на камнях сивучами уже тронулся, поплыл за бортом, и на какое-то время показалось, что он тоже ожил от окружающей его бурной жизни, превратившись в неведомого морского зверя. Прощай, Иона, теперь ты будешь видеться нам только во снах, поражая воображение своей дикой северной красотой!

## «О ЧЁМ МОЛЧАЛ КОЛОКОЛ ПОЛУОСТРОВА ШМИДТА»

Спокойно и размеренно живёт северный посёлок у моря, где всё проникнуто им: и дома, и улицы, и деревья, и даже забор... Среди ослепительной белизны песка и телесного цвета сосен, мягко упирающихся в ясное небо, посёлок кажется умудрённым и ни с чем не смиряющимся старожилом, знающим цену и себе, и окружающей его жизни. Неожиданной дремучестью окружающих его лесов посёлок напоминает мне родной Урал.

Как хорошо живётся в таком посёлке у реки, впадающей в море, я ощутил сразу. Любая работа здесь делается не спеша, как бы даже с ленцой, но результат оправдывает все ожидания, поскольку дело выполнено наилучшим образом и ничего большего не требуется. Ничто не может повлиять на этот однажды установившийся порядок. Даже погода, каким бы коварством она в здешних местах ни отличалась, и та не в силах изменить жизнь посёлка.

Простая и привлекательная мудрость такой жизни видна во всём: невозмутимые лайки лежат в песчаной пыли, не вскакивая при появлении человека, а лишь провожают его глазами, удобно уложив морду на вытянутые передние лапы. Изредка одна-другая поднимет голову – на этом всё внимание иссякнет, и в то же время ты чувствуешь его на себе – пристальное, без суеты, и это нисколько не мешает, а, наоборот, даже успокаивает.

Людей почти не видно, и складывается впечатление, будто никто в посёлке не живёт. Но жители тут – они всё видят, знают цель твоего приезда и то, куда ты ходишь. Твои странности и черты характера не остаются незамеченными, о тебе сейчас же складывается мнение, и ты негласно бываешь принят как ещё одна составная часть незамысловатой поселковой жизни. Приняв и ничем не тревожа особо, они всё-таки не оставляют тебя без внимания: каждый твой шаг находится в чьём-то поле пристального зрения.

Тебя будут проверять, если ты чего-то стоишь, над тобой будут подшучивать и смеяться. Но хуже всего, когда к тебе останутся вежливо-молчаливы и сдержанны: значит, ты не пришёл по душе, что-то в тебе самом не так. Тогда разберись, подумай, но не оставляй этого без внимания. Неказистый на вид северный житель глубок и наблюдателен, смекалист и лукав. За его незамысловатой простотой скрываются крепкая хватка, верный глаз и необыкновенное чутьё.

Когда впервые попадаешь в маленький посёлок у северного моря, все его жители воспринимаются особенными, необычными, каждый из них несёт в себе какую-то тайну. Те, кто родились и выросли у моря – не похожи на всех остальных людей. И ты сразу понимаешь, что это не заблуждение или наивное незнание суровой северной действительности, а просто само море накладывает свой отпечаток на тех, кто живёт рядом с ним. Все эти люди слитны между собой, потому как печать, накладываемая на них морским

присутствием, касается неминуемо всех, как общая забота, готовность к чему-то очень достойному, единый душевный порыв.

Уравновешенная жизнь посёлка неизменна. В этой неизменности – великий смысл мудрого существования. Так же размеренно течёт жизнь и на его пустынном побережье, куда мы не спеша пробираемся на стареньком «трумэне».

Машина неторопливо преодолевает низенькие сопки и неглубокие распадки, урчит, тяжело переваливаясь с бока на бок, и тебе даже не верится, что море где-то совсем рядом. О нём забываешь, когда мимо проплывают заросли кедрового стланика, каменные берёзки и корявые лиственницы, в которых изредка мелькнёт вдруг яркий лисий хвост. Или вдруг покажутся редкие северные олени, неспешно убегающие от нас, но не кажущиеся пугливыми...

Водитель так же, не торопясь, под мерное завывание двигателя рассказывает, что их стало совсем мало. Отсутствие корма, болезни и частое браконьерство ускоряют исчезновение животных. Олени вытоптали весь ягель на западном побережье, и их перегнали на восточную половину с целью восстановления ценного растения, а чтобы звери не возвратились сюда раньше времени, почти через весь полуостров протянули деревянный забор. По его словам, таким необычным сооружением занимались трое бичей, но это всё равно ничего не меняет: на значительном протяжении забор имеет заметные прорехи, оставленные неугомонными людьми, ураганными ветрами со снежными заносами и ещё, быть может, медведями...

А море уже изредка сверкает синеньким крылом, и сердце сладко замирает на миг, тихонько переворачиваясь в груди. Скрытое холмами, море ощущается в нетерпеливом ожидании увидеть его вновь. Давно готовый к очередной встрече, с еле сдерживаемой жадностью впиваешься в него взглядом, как только море возникает из-за поворота, и до рези в глазах наслаждаешься всей его широтой и синью. Утопая в ней с головой, напряжённо стремишься дотянуться до него хотя бы взглядом, не в состоянии унять дрожь, и постепенно успокаиваешься. Море теперь, ты знаешь, даже незримо присутствуя рядом, обдаёт тебя своим дыханием, помогая жить, думать и принимать решения.

В устье реки нас дружелюбно встречают несколько рыбаков маленького колхозного стана. Они только что поймали огромную калугу, на которую можно усесться верхом... Чёрной пахучей икры в ней – целое ведро!

Калуга населяет бассейн Амура и хоть в море далеко не уходит, но её нередко можно встретить в Татарском проливе, у северо-западных берегов Сахалина. Это одна из наиболее крупных пресноводных рыб, длина её тела достигает почти шести метров, а весит она целую тонну. Сосредотачиваясь на зиму в Амурском лимане, калуга становится малоподвижной и держится в основном на ямах, с началом же весны опять становится активной и после ледокола, уже со зрелой икрой, устремляется вверх по течению рек. Во время

хода лососей, который здесь начинается обычно с мая, калуга целиком переходит на питание ими, и вот одна из таких нерестящихся рыб попала к колхозным рыбакам в невод, и после долгих мучений они благополучно вытащили её на берег...

Калуга поразила всех своими размерами, но ещё более удивила её податливость: при длине в четыре метра, эта рыба, напоминающая какое-то доисторическое животное, совершенно не сопротивлялась. Вообще, все осетровые – невероятно терпеливые создания среди рыб. Всё затруднение при выводе этой необыкновенной рыбы на берег было вызвано её весом.

По характеру калуга медлительна, даже когда плавает на свободе в реке или море, зато «живуча» до чрезвычайности! На Енисее издревле принято дарить осетров в подарок друзьям, причём, рыб часто пересылали из одного города в другой, при этом закидывая им под жабры сырой мох или кусок осмоленной пакли, и тогда осётр мог прожить неделю. Этим осетры похожи на акул Ледовитого океана, которые в состоянии жить на льду в течение многих дней даже со вспоротым брюхом!

Удивительно, сколько даёт калуга! Во-первых, икру, во-вторых, мясо, которое считается всегда лакомым блюдом и в свежем, и в солёном, и в варёном, и в вяленом виде/ рыба эта, вообще, очень жирная, жирнее самой жирной копчёной лососины/, а в-третьих, вязигу – спинную струну, которую можно есть и в сыром виде и сушёную, разрезанную на мелкие кусочки, напоминающие крупу. В таком виде её кладут в пироги с рыбой, так называемую кулебяку. Крупа эта становится удивительно вкусной после варки, когда она разбухает и приобретает вид крупного саго.

Осматривая угодившую в невод калугу, наши рыбаки смачно прищёлкивают языками, затем разделяют на крупные сочные ломти и перетаскивают их в ледник. Их оживлённые глаза и некоторая суэта свидетельствуют о скрытом удовлетворении. Скоро они будут есть её целыми кусками, замоченными в уксусе с репчатым луком, радостно нахваливать и вспоминать наперебой, как рыба чуть не ушла, но благодаря их умению этого не случилось. В предвкушении долгожданного пиршества рыбаки выглядят словно дети.

И впрямь, немного отваренное, в меру сдобренное специями мясо калуги кажется очень вкусным. Отдалённо напоминая курятину, оно имеет необычный аромат, вроде бы, совсем не относящийся к морю. Бело-розовые, в обилии разваленные на деревянном столе куски манят этой заключённой в себе необычностью, и ты не можешь остановиться перед их аппетитно дурманящим видом, с наслаждением пробуешь и не устаёшь нахваливать...

Так же завораживающе действует вся нехитрая обстановка стана... Здесь в течение двух месяцев нам предстоит обследовать в качестве нерестилищ сельди несколько речек полуострова Шмидта, самая крупная из которых – Пиль. Она впадает в Сахалинский залив в девятнадцати милях к югу от мыса Марии, а низкая песчаная коса Кеми, протянувшаяся вдоль береговой линии, образует обширную лагуну Помрь. Когда-то тут

располагался небольшой посёлок Пильво, от которого ничего не осталось, и только ветер сейчас гуляет над пустынной песчаной косой, слышится крик вечно раздосадованного чем-то воронья, и молчаливо взметаются к небу сопки, поросшие частым лесом.

При первом взгляде на эту неутешительную картину трудно представить, что может по-настоящему занять тебя здесь кроме работы?! И так оно и было несколько дней кряду, пока мы совершали свои поездки на лодке вглубь полуострова в сопровождении проводника-нивха, брали на анализ воду и водоросли, делали пробные замёты, а вечерами любовались сдержанно полыхающими во всё небо закатами. И ещё помогали рыбакам вытягивать из воды переполненные сети, сортировать рыбу по ящикам и перетаскивать их из устья на самый берег моря. Сюда, в большую воду, приходил за ней с посёлка колхозный катер...

Время протекало незаметно, и я, кажется, не замечал в себе никаких изменений. Покоробившаяся от морской воды куртка, пропахший рыбой и вольным воздухом свитер, вечно задранные до самого верха болотные сапоги и разбухшие, красные кисти рук – вот что неизменно сопровождало каждый наш день, и в душе моей также воцарилась ещё не понятая до конца, но приятная размеренность. Всё текло в этом царстве тишины и молчаливой работы своим неспешным чередом, и я даже не заметил, что давно уже предпочёл такую жизнь какой-либо иной.

Устье реки Пиль – ничем не примечательное место, такое же, как и множество других на полуострове. Открытое всем ветрам, у вольно развернувшегося распадка с облезлыми и безликими по весне склонами, покрывающимися в начале лета огромными и рыхлыми лопухами, оно постепенно сужается к первоначальному источнику воды, затерявшемуся среди бесчисленных трав и камней. Место и впрямь самое обыкновенное, даже, несмотря на полуразвалившийся дом, одиноко приютившийся в полумиле от моря, под крутым каменистым склоном, кое-где поросшим кедровым стлаником. Подобных хибар, продляющих собой хрупкий человеческий век, на памяти леса у моря более чем достаточно.

Необычным для рыбаков представлялся хозяин дома – семидесятилетний охотник Щербина, прозванный так за свою одинокую и, как казалось многим, никчёмную жизнь. Меня сразу охватило желание побывать в гостях у старого охотника и, может быть, даже подружиться с ним. Мне было приятно думать о нём, когда мы, уставшие, возвращались поздним вечером или ночью с работы, и я представлял, как всё это будет. Щербина виделся мне почему-то мудрым и строгим стариком, и втайне я несколько остерегался предстоящей встречи.

Дом его стоял, скособочившись, крыша, как старая, ветхая шляпа, наехала на глаза-окна, тускнеющие серо-голубоватыми стёклами, стены ушли глубоко в землю, в некоторых местах они обросли светло-зелёным бархатистым мхом. У самого входа на поржавевших толстых гвоздях, накрепко вбитых когда-то в брёвна, висели запущенные охотничьи снасти –

капканы на медведей, соболей, заячьи петли. К дому вела вьющаяся тропка, выложенная дощатым, под бременем лет и непогоды намертво вросшим во влажную почву настилом, а на старой ели, неподалёку от входа, была прибита доска с надписью: «Всяк идущий в дом – возьми с собой полено!»

Казалось, никто не живёт здесь – так вокруг было тихо, да и сам дом открылся каким-то присмирившим, безропотным. Я вошёл в сени, и на ощупь постучал в дверь.

- Заползай, - послышался густой, с хрипотцой, баритон.

Дверь, обитая изодранным дерматином, подалась с трудом и, жалобно скрипнув заржавленной пружиной, тотчас захлопнулась. Сумеречное пространство избы представилось неожиданно просторным, и даже низкий потолок и выгнувшиеся посередине комнаты половицы не помешали этому впечатлению. Под потолком стоял табачный едкий дым, и пахло каким-то незатейливым варевом со специфическим привкусом моря: может, это были моллюски, морская капуста или мясо какого-то зверя.

За непокрытым столом, у самого окна, сидел старик. В одной руке он держал широкий нож, в другой – недавно выловленного гольца. На столе стояла алюминиевая миска, наполненная крупными кусками рыбы.

- Присаживайся, - сказал старик, и указал ножом на лавку напротив.

Он долго смотрел на меня из-под нависших бровей, не произнося ни слова, и я уже было подумал, что старик задумался о чём-то, но он вдруг пошевелился и спросил:

- Слышал, прибыли вы сюда с научным интересом?

- Проводим съёмку нерестилиц сельди. По всему западному побережью Сахалина.

- Сколько же её раньше у этих берегов было! И куда она вся подевалась?

Старик дорезал рыбу, положил руки на стол, и посмотрел в окно.

- Вот что тебе с моря? – тихо спросил он.

- Смотрю на него – и радуюсь. Не передать словами...

- А надо бы... Какую такую любовь получаешь от моря, что отдаёшь ему свою молодость?

- Большую любовь, и когда, как не в молодые годы, и получать и дарить её?

- Ну, тогда честь тебе и слава от всего морского населения! – воодушевился вдруг старик, и улыбнулся. – Ты на меня не сердчай, мало, кто сейчас море понимает: всё больше ухватить нороят. А ты, я вижу, сурьёзным чувством к нему проникся... Вечная память ему за такую красоту!

Старик попытался что-то ещё рассказать, но сильно закашлялся, и махнул рукой. Отдышавшись, он с укоризной обратился ко мне:

- Думаешь, я брешу? Это пусть наскрозь береговые похваляются, а я хоть и не был в нём, а всю жизнь возле прожил. Без моря бы у меня и на суше дела не ладилась. Смотришь в него, как дурак какой-нибудь, целыми днями, и разве скажешь, что оно некрасиво?! Всё чудится порой, что белые паруса

увидишь, да только откуда бы им взяться? Теперь белых парусов давно не изобретают...

- Не одиноко вам так, без людей, с одними собаками жить?

- Какой там! – изумился неожиданно старик. – Одно общее дело и с лесом, и с морем сотворяем. Да и то сказать: чего такому, как я, старику в городе прозябать, да к молодым пристраиваться? Я ведь не малое дитё, для государства, покуда силёнки имеются, стараюсь.

Старик говорил спокойно, раздумчиво, и было отчётливо слышно, как волны, так же неспешно, накатывают на берег, будто затаиваются...

- Я мелкой заботой не интересуюсь, - вдруг утвердительно заявил он. – Врать не буду, этою весною сорокового медвяка прибрал.

- ???

-Так-то вот... Всяк на себя хлеба добывает, вот и я не отстаю. Дураки о добыче спорят, а умные её делят. Ступай-ка, вон, в сенцы, да зачерпни из бочки кусок... Зацеп у входа на стене.

В тёмных прохладных сенцах, с низким потолком, я нащупал пузатый бочонок, и отворотив с него крышку, выудил из густого чёрного рассола увесистый шмат медвежатины.

- Есть кус, так гостя нет, нет ни корки, а гости с горки! – оживился старик, когда я вернулся в избу. – Дал Бог кусок, даст и роток.

- Не будь сыт куском, а будь сыт дружком? – подхватываю я.

Старик довольно заулыбался.

- С этим мясом все зубы перемозолишь, - тут же пожаловался он. – Медведущко-то старым оказался: у самого все зубы были поистерты. Но из горшка, как говорится, мяса не выкинешь.

А через полчаса мы уже сидели с ним за столом, закусывая мутный самогон разварившимися горячими кусками, и я слушал, как следует правильно приготовить медвежью желчь...

Изба старика была приземистая, свет в неё пробивался через маленькое оконце, но ощущения сдавленности не возникало. Комнатка, вроде бы, махонькая, всё в ней по-стариковски неприхотливо и даже голо, а всё равно угадывается незамысловатый уют, жильё человека, живущего лесом...

В окошечко, чуть освещённое заходящими солнечными лучами, проглядывала живая зелень совсем недавно распустившихся лиственниц, над ними – чёрные скалы и каменистый берег речушки, но было ясно, что тут же, за небольшим её поворотом, Охотское море катит свои настырные волны на отлогое песчаное устье реки Пиль, и тёплый воздух полнится его вольным проникновенным простором. Море было совсем рядом, я молча ел мясо последнего медведя Щербины, невольно вслушиваясь в то, как оно по-звериному, будто украдкой, шевелится и вздыхает, а старик сидел с закрытыми глазами...

- А море своё всё равно возьмёт, - вдруг тихо проговорил старик. – Кругом возьмёт. Но если уважение к нему выкажешь, как и к человеку, то

оно обязательно снизойдёт до почтительного к тебе отношения. У моря тоже живая душа имеется...

- Я чувствую это...

- И ты, конечно, уже знаешь, что никогда не пересечёшь океан, если не наберёшься мужества потерять берег из виду?

- И это мне знакомо.

- По тому, как ты пришёл ко мне – уважительно, с поленом, вижу, что тебе ведома и лесная жизнь?

- Да, отец с детства брал меня с собой на охоту. И я с ранних лет полюбил лес. Мне в нём хорошо думается, как и в море. Всё кажется осуществимым, и ты не боишься, что поток добрых мыслей остановится, и ты лишишься права именно так выстроить свою жизнь.

- А я в лесу ни о чём не думаю, будто боюсь вспугнуть удачу. Но при этом не спешу, понимая, что при всей однообразности работы промысловика =- каждый день такой жизни всё же заслуживает описания. И тут важна и интересна каждая мелочь. Если бы я попытался описать за все годы промысла пушнины все случившиеся со мной в лесу приключения, то получилась бы, наверное, не одна книга.

- Почему же вы их не написали?

- Не сподобился.

- Далеко не каждый день, должно быть, заслуживает описания...  
Случаются ведь и пустые дни?

- Это – как посмотреть... Если любишь свою работу – всё в ней может быть увлекательным. Бывает, за одну ночь услышишь столько звуков – и простых, понятных, и загадочных, беспокойных, что о них, кажется, возможно рассказывать бесконечно...

Живя в лесу, у моря, я даже затрудняюсь сказать – что меня сильнее захватывает. Больше всего я люблю вспоминать, как прошёл день, пока обходишь все капканы.

- А море?

- Притягивает его глубина... Тревожный крик морской птицы... Заслышишь его – и хочется ещё больше узнать о жизни.

- Чем больше знаешь о жизни, тем интереснее жить.

- Верно. Это ощущение дарит море. Хороший человек всегда это понимает.

- А мне раньше интересно было знать про каждого человека: зачем он живёт на свете?

- А ты сам - зачем живёшь?

- Наверное, чтобы разгадывать жизнь, и радоваться.

Мы оба замолчали, вслушиваясь в тишину, повисшую за стенами избушки. Эта тишина простиралась над забытым всеми полуостровом Шмидта, над его застывшими в молчании хвойными лесами и отлогими песчаными берегами, угрюмыми отвесными скалами и потаёнными распадками, убегаящими к морю... Такая тишина бывает только в

таинственной стране глухих лесов, словно притаившихся посреди бескрайнего вольного моря...

- Хорошо у вас тут! – невольно произнёс я.

Старик вдруг вздохнул и улыбнулся.

- Я здесь всё знаю, все глухие углы и тропы. Где какая птица заголосит или зверь объявится – вести до меня сразу доходят. Слухай тихонько...

Только один слух остался для меня на свете.

- Всё от сердца, я думаю, надо делать.

- Такое, значить, у тебя понятие...

Я только кивнул головой.

- Нету хуже, когда в человеке душа вялая. И что за ласковость, ежели эта душа на тебя ясными глазами глядит! Тогда и помирать сил не хватает, а ведь пропасть в мои годы недолго!

- Когда человек жадный до знаний – его ничего напугать не сможет.

- Одними книжками сыт не будешь. Я вот раньше, уйду на несколько дней в тайгу – и возвратиться не хочется: всё бы разгадывал лесную жизнь и птиц, и зверей, и разных корений... Лес научил меня любить жизнь. А теперь – не то живу, не то помираю.

- Без моря, всё же, всегда чего-нибудь не хватает. Здорово, наверное, вот так, как вы, жить в лесу, у моря...

- Без моря, правда твоя, жизнь совсем никудышная.

А лесной край, загадочный и огромный, простирающийся вокруг на сотни километров, как и суровое северное море, неприметно заворачивали наши со стариком души, и мы опять на какое-то время умолкали. Сидели в сумраке приземистой избы, но молчание это нас не одолевало.

- Только бы жить, да наживать счастье, - тихим голосом, еле слышно, произнёс старик. И уже приободрившись, в следующий миг весело заметил:

- Вот видишь, и тебе на что-то сгодился!

Когда-то, давно, у старика, оказывается, была жена, но, похоронив её, он ушёл из посёлка, и теперь коротает остаток жизни в строгом уединении. Щербина небрежно махнул рукой над пылающей печкой... Правда, иногда из города приезжает сын, но это случается редко.

По его словам, он ещё полон сил и крепок – по зиме, по-прежнему, ставит капканы на лису, соболя, стреляет белку. Всё как раньше, когда государство оценило его заслуги орденом Ленина. Вот только ноги теперь иногда подводят: ходит Щербина, опираясь на две гладко выструганные палки, торопиться ему некуда.

Когда сил хватало, и глаза хорошо видели, старик охотился и на медведя – около сорока зверей положил за свою жизнь, точно не вспомнить. Бог миловал, и его ни разу не задело: из всех ситуаций выходил легко, особо не задумываясь и подолгу не задерживаясь на приключившемся несчастье, которое случалось редко.

Сам Щербина не мог объяснить, почему так происходило. По лёгкости характера и данной от Бога удачливости ему не суждено было мучиться

подобными мыслями. Жил он просто, не зная сильных огорчений и глубоких переживаний, и была, наверное, в этом особая мудрость – спокойная, верная.

По своему глубокому убеждению, старик имел большое преимущество в сравнении с посельчанами: жил он на отшибе. Он не создавал ничего нового, и именно этим качеством отличался от них. Люди в посёлке всегда стремились к чему-то, в результате чего наступал хаос и возникало состояние беспокойства. В понимании этого Щербина был непоколебим. Неспokoйные люди изрядно докучали старику, и он уединился, вовсе не считая себя одиноким безмолвным утёсом.

В любом современном городе или посёлке нет такой наполненной тишины, которая необходима людям, она живёт только в лесу, у моря. Море помогает людям обрести свои растерянные мысли, и рядом с ним тебя никогда не застает безразличие. У моря хорошо жить в любом возрасте – одиноким стариком или малолетним юнцом: того и другого оно неминуемо коснётся своим благотворным дыханием.

Старик всю жизнь прожил у моря. Он родился в этом мире и не без оснований считал, что знает его назубок, хотя ему ни разу не довелось заглянуть за его горизонт.

Лицо старика отражало все жизненные страсти в той степени завершённости, когда уже вряд ли что-либо может случиться. Глубоко посаженные, затуманенные морской далью глаза излучали только мудрость и простоту, овеянную долгой чередой лет. И хотя в них ощущалось что-то глубоко затаенное, даже - затверделое, взгляд всё же оставался ясным – таким его сделала морская синева.

С годами старя тело, время как будто оттачивало чистоту его лица. Длинный с горбинкой нос завершался добродушными ноздрями. Тонкий разлёт затерявшихся в седых усах и бороде губ, по-мальчишески вздёргивающихся в простой, доступной улыбке, свидетельствовал о скрытой силе. Лицо старика было тронуту умудрённой усталостью.

Старость не коснулась и его способности к длительным пешим маршрутам по полуострову в любое время года: ходить ему приходилось немало. Не то, чтобы старик сумел сохранить неиссякаемый запас оптимизма или неистребимую веру в свои силы, однажды великодушно дарованные ему природой, а просто с годами, в силу того образа жизни, который он вёл, в нём установилась исподволь успокоенная убеждённость: всю красоту окружающего мира, что покорила его мудрым покоем, он успел сделать и своей... Ему не о чем было тужить.

Не было у старика никаких безымянных мыслей, зыбких в своей недостижимости желаний, а было годами установившееся понимание жизни у моря, нежелание что-нибудь в этой жизни менять. Правда, иногда, в какой-нибудь тёплый мартовский полдень, что-то мимолётное, внезапное и очень близкое, точно пробуждение утренней птицы, касалось старика глубоким и безнадежно утраченным воспоминанием, и тогда он часами сидел, глядя на

море, как будто чего-то ждал, зная, что оно уже никогда больше не придёт и не сбудется, словом, не повторится.

Но всё это не очень огорчало Щербину. К услугам его была окружающая природа, упорядоченная, без особых всплесков и падений работа добытчика зверя, которая составляла всю его жизнь, бесхитростные стариковские радости, закономерный риск. Непонятная и далёкая его взгляду жизнь больших городов, словно содержимое закатанной консервной банки, была недоступна, даже, можно сказать, безразлична ему, и только холодными зимними вечерами тешила его старческое воображение. После бесчисленных забот и треволнений, связанных с поиском и добычей зверя, старику было очень приятно помечтать о бесплодной, как ему казалось, жизни на материке, и в глубине души посмеяться, развлекая себя незамысловатыми представлениями из жизни непутёвых горожан.

В такие спокойные вечера у растопленной печки все тайны легко и просто раскрывались перед ним, и ему представлялось, что он знает этот старый мир с самого рождения, всё ему доступно и понятно, он в состоянии помочь любому нуждающемуся в постижении скрытых истин. Долгие годы отшельничества отгородили его от не прекращающихся в этом мире несчастий, людского отчаяния и ненависти – всего того, что не минуло когда-то и его. Теперь, не забывая о существовании этой грубой стороны жизни, он в то же время ни на минуту не сомневался в торжестве красоты, которую можно было обрести, по его мнению, только в одиночестве: в лесу, у моря...

Едва только приходила весна, жизнь для старика становилась теплее. Он чувствовал это особенно остро, когда яркое солнце и сырой будоражащий сердце ветер с моря заставляли корни деревьев гнать вверх сладкий живительный сок, а согретые им стволы лиственниц, распуская пышные игольчатые ветви, заглядывали в приземистые окна избышки.

День ото дня всё быстрее появлялась молодая листва и всё ярче зеленели склоны близлежащих холмов. Вечерами, когда солнце начинало клониться к закату, его лиловые лучи, отражённые в пахучей морской воде и проскользнувшие в комнату, создавали необыкновенную картину на дальней стене, у самой печки. Улёгшись на скрипучую деревянную койку, старик подолгу наблюдал за ними, тихо радуясь в душе, и слушал, как по-весеннему шумит море.

Вот из таких мало приметных, никем не замечаемых событий и складывалась его жизнь, и старик знал цену каждого мгновения, не пропуская его просто так, мимо. Будничным, неистощимым день наполнял его тысячами забот, радостных сердцу, несмотря на свою повторяемость. Жизнь вокруг не изменялась – она оставалась прежней, и безудержная спешка не одолевала старика. Всё он делал не торопясь, основательно, с душой, потому как чувствовал: познать и проникнуть в окружающий мир суждено только терпеливому и наблюдательному человеку.

Да и однообразие окружающей его жизни не было, как ни странно, монотонным – оно таило в себе залог душевного здоровья и равновесия, без

которого старик не представлял своего существования. Вставая до рассвета, он растапливал печь, с удовольствием наблюдая, как оранжевые языки охватывают в свои жаркие объятия упругие берёзовые чурки, будил Коменданта – подслеповатого кобеля-лайку, последнего из помёта, оставшегося в живых, шёл к роднику, где подолгу, то и дело сливая и вновь набирая в деревянную крепкую кадку студёную воду, добивался исключительной её чистоты, а затем нёс в дом, стараясь не расплескать ни капли, и, устанавливая осторожно на лавку у светлеющего окна, отмечал про себя, какая она прозрачная на вид. Потом старик готовил нехитрый завтрак, съедая его пополам с Комендантом, и, заблаговременно подбросив в печь пару-другую поленьев, отправлялся в лес.

Перед самым вечером, о наступлении которого он угадывал по лёгким теням, падающим от замерших деревьев, старик не спеша, по уже накатанной лыжне возвращался домой, готовил ужин, ничем не отличающийся от завтрака, потому как еда была одна и та же – хлеб, медвежати́на, солёная рыба, картофель, чай, и, сначала накормив возбуждённого от переутомления пса, усаживался за стол сам.

Бывало, охотясь и ставя капканы в лесу, он заходил очень далеко, не возвращаясь в избушку по нескольку дней кряду. Старик отнюдь не искал острых ощущений, к которым уже успел достаточно привыкнуть, приняв их как неотъемлемую часть собственного одинокого существования. Он лишь терпеливо и размеренно исполнял то, к чему его обязывал давно сложившийся рабочий уклад, и те неожиданности, что выпадали на его долю, обычно не заставляли его врасплох.

Передряги не сделали его угрюмым и мрачным даже тогда, когда всё, казалось, было против него. Однажды осенью, проходя вверх по реке и желая проследить, как далеко зашла в этот год кета, он угодил левой ногой в оставленный кем-то, по безумной неосторожности или забывчивости, капкан. Удар его был очень сильный, но на счастье капкан не был привязан к бревну, и, несмотря на поднимавшуюся в ногу с каждой минутой тупую боль, старик, всё же, кое-как доплёлся к ночи до избушки.

Раненая нога заживала медленно: глубокий порез никак не мог закрыться, до мозга щемящая и вьедливая боль, от которой дурно становилось во рту, не проходила, да и кость срасталась совсем не так, как это было нужно. Нога так и не выздоровела вполне: старик передвигался с трудом, опираясь на палки и слегка прихрамывая. Особое неудобство это создавало, когда приходилось набирать воду или нести из сарая дрова. Выносливости Щербине было не занимать – он достаточно претерпел в жизни несчастий, чтобы уделять им особое внимание, но вот везение не всегда оказывалось на его стороне.

А этой весной к нему пришёл медведь... Медведя привлёк ароматный запах крови и живой плоти самки ларги, выброшенной недавним штормом неподалёку от дома на узкую песчаную косу. Зверь спустился с ближайшего холма – косматый, громадный, с обагрившимся ненасытным взглядом, желая

одного – утолить одолевший его в пустые весенние дни неукротимый искус насыщения. Потеряв всякую осторожность, жадно обуреваемый этим естественным для себя стремлением, медведь выбрал самое недобычливое и убогое во все остальные времена место – жилище человека.

Старику мешала незаживающая нога: она не позволяла быстро обернуться за карабином, висевшим в сених на гвозде. Щербина понадеялся на собак, но всё было тщётно: Ласка с Комендантом, увлечшись игрой, не чуяли запаха зверя из-под лёгкого ветерка, налетающего временами со стороны моря. А лохматая морда медведя подалась совсем близко, так что маленькие глазки, подёрнутые полубезумной пронизательностью извечно лесного жителя, слегка скользнули над землёй и остро впились в лицо старика.

Щербина выдержал этот взгляд, и чудо свершилось: собаки неожиданно выкатились с противоположной стороны разномастными шарами и, уцепившись за бурю шерсть задних звериных ног, повисли на них. Не чувствуя боли в ноге, старик рванулся к ружью и, уже снимая его со стены, расслышал сквозь рык остолбеневшего медведя безнадёжно просачивающиеся, словно бордово сгустившиеся ягодки крови, тонкие завывания задранной Ласки. Волна отчаяния опять на короткое время охватила душу, но через секунду жалость отпрянула, и, спокойно отыскав мушкой нужное место, он нажал спуск.

Большая мохнатая голова медведя дрогнула, зрачки, сузившись, сверкнули безумной животной болью, и раздалось вдруг глухое, исходящее из самого его нутра хлюпающее фырканье, которое тут же сменил истошный рык, обращённый к высоко светлеющим в небе облакам. Зверь, вскинувшись от выстрела на задние лапы, неуклюже двинулся на старика тёмно-бурой грозовой тучей, но, не сделав и нескольких шагов, опустил на четвереньки и, выдохнув горячий, утробный смрад, устало повалился набок.

Это был последний медведь Щербины, встреча с которым ещё раз скрепила невидимой печатью его близость с вековой чащей, но и не дала отклика на окончательную и полную его причастность к жизни леса, на право беспрепятственно брать из его закромов, не принося никакой жертвы. Примером тому была Ласка, терпеливо затихающая под рукой своего хозяина...

Вот так, просто и непритязательно, жил старик в своей уединённой обители, слывя в посёлке за равнодушного чудака, а я проводил у него вечера напролёт, и слушал обо всём, что он претерпел в жизни. И ни о чём не думал, только любил его, восхищался и радовался этой обыденной жизни человека в лесу, у моря. Может быть, никогда я так трепетно и с такой благодарностью не воспринимал её, и в то же время не знал, что делать и как жить, чтобы достойно использовать эту замечательную возможность вглядываться во всё, вслушиваться и любить...

Для всего этого требовалось быть настоящим мужчиной, каким стал этот старик. Неприхотливая жизнь словно обнажала его изначальную суть,

которую он, должно быть, никогда и не утрачивал. Жизнь шла незамысловатым чередом, тем не менее, предрекая и возбуждая в старике пока ещё тёмное знание своего истинного назначения. И однажды оно ему открылось...

Незадолго до нашего отъезда он, всё-таки, рассказал мне, как оно пришло к нему в виде большого чёрно-бурого лиса, на которого старик охотился целый год. Но лис не подпускал его, и Щербина уже было совсем отчаялся, пока, наконец-то, не представилась возможность увидеть зверя прямо перед собой. Он тогда преследовал его почти весь зимний день, совершенно выбился из сил, и только к вечеру до него неожиданно дошло: лисовин не приблизит его к себе с оружием...

Щербина хорошо помнил, как что-то неуловимое и тяжёлое навалилось ему в тот момент на плечи, и он медленно стянул карабин и, отступив на шаг с лыжни, повесил его на ближайший еловый сук. А потом он увидел его: аккуратно обернув вокруг себя пушистый с белым кончиком хвост, лис, как будто не замечая присутствия человека, спокойно поглядывал в чернеющий справа лес. Глубоко посаженные янтарные глаза его смотрели невозмутимо, холодно и зорко.

Старик был поражён красотой лиса и сразу подумал, что никогда не причинит ему зла. Он не убьёт его, потому что это просто недопустимо, и даже если такое стало бы возможным, старик всё равно не смог бы совершить выстрел... Он, оказывается, сроднился с этим зверем и без него чувствовал себя одиноко.

Каждый день старик неминуемо возвращался в своих мыслях к лису, а в последнее время зверь приходил к нему даже во сне. Больше всего старику хотелось стать этим вольным, прекрасным зверем, чтобы лёгкой, сноровистой тенью скользить на рассвете по краю опушки, выискивая зазевавшихся на жировке зайцев, или, игриво перевернувшись на спину, тереться роскошным мехом о пронизанный светом лазурный рассыпчатый снег... И ещё бежать неприметной трусцой по выбитой в снегу звериной тропе, когда светит луна, и мороз, до пугающего временами треска в коре, сковывает стволы деревьев, а лапы ступают легко, бесшумно, воздушно...

Уже дома, куда он с трудом добрался к глубокой ночи, Щербина осознал: нет для него более жизни иной, чем, наблюдая из года в год за рождением мира, быть в нём неотъемлемой частью, той косточкой сердца и разума, что позволяет делать его осмысленным и нужным. И этот прекрасный лисовин – тоже часть всего сущего, а значит, и его жизни, и он не должен был убивать его, иначе все предшествующие смерти, принесённые им в жертву обрётённому знанию, были бы бессмысленны и ничтожны.

Неожиданно пришедшее понимание, что и он, и лисовин, и протекающая под боком река, полная рыбы, и поселковые жители есть одно целое, и что старик нуждается в них точно так же, как нуждаются в нём, наверное, и они, сначала тихо поразило, а затем успокоило. Янтарные глаза лисовина, на миг остановившиеся на нём в последний момент, соединили его

сердце с несчётными поколениями других таких же, как он, охотников и рыбаков, и он понял, что его судьба неотрывна от судьбы людей так же, как судьба леса неотделима от судьбы всей земли...

Находясь теперь со мной в сладком полусне воспоминаний, разморённый жаром печки и потрескиванием дров, старик открывал для нас обоим смысл собственного существования. С растекающимся по всему телу теплом приходила твёрдая и спокойная убеждённости в то, что жизнь замечательна своей нескончаемой дорогой, и она прожита не зря, если ты успел ощутить ясное осознание своего единства с окружающим миром.

- Честно признаться, от вас мне в эти дни большая радость случилась, - с благодарностью произнёс я. - Главное, чтобы сердце у вас было в исправности.

- Ну, так и быть - поверю твоему слову! Ты приходи ко мне почаще, пока вы ещё тут. И вот ещё что: до мыса Марии сбегай, не пожалеешь. Там один затворник обитает, вроде меня, только что помоложе... Тагиркой зовут. Благословляй тебя Господь, душа моя!

Когда я уходил от старика, то всегда чувствовал чудесное стеснение в сердце, что возникает только при мысли о настоящем человеке. Мне приятно было думать о нём, даже когда нами завладела увлекательная подводная работа, и мы опять становились насквозь морскими, исследуя все близлежащие бухточки на предмет нахождения в них нерестилищ сахалино-хоккайдской сельди. И полуостров Шмидта тогда становился для меня ещё более особенным и родным.

До мыса Марии путь не далёкий и не близкий: всего каких-нибудь двадцать миль. Если выйти рано поутру, как объяснил мне Щербина, и правильно рассчитать время отлива и прилива, то к вечеру обязательно доберёшься в это заповедное место. Заповедным оно представлялось потому, что завершало собой вместе с мысом Елизаветы весь остров Сахалин и было значительно удалено от людей, поражая своей нетронутой дичью. Ещё там жил отшельником относительно молодой маячник, а возле маяка, на самом краю обрывистого берега, сохранился будто бы в полной неприкосновенности старинный сигнальный колокол. К тому же, сама возможность пройти в одиночку это расстояние необжитым лесным берегом казалась мне необычайно заманчивой.

Поначалу берег здесь имеет вид сплошного песчаного обрыва, большей частью жёлтого цвета, и ты пройдёшь не одну милю, прежде чем поймёшь: самое интересное находится у уреза воды... Особенно в отлив, когда, оголяясь, каменистый берег поблескивает в себе разными цветами, зовёт побыть с ним некоторое время и, быть может, даже позабыть обо всём...

Я иду по самому краю открывшегося дна, камешки вперемешку с песком приятно похрустывают под ногами, и солнце так радостно высвечивает эти жёлтые застывшие обрывы, что не представляешь для себя

иной жизни. То и дело останавливаясь, я присаживаюсь на колени и с увлечением разглядываю маленькие раковинки, пятнистые звёзды, необычной расцветки камни. В одном месте таких камней попадаете сразу несколько, между собой они очень похожи и лежат почти рядом.

Даже при первом взгляде становится понятно: когда-то давно их касалась человеческая рука... Все они тщательно отшлифованы и имеют разнообразную форму: это несколько припухлые и совершенно правильные круги, квадраты и треугольники, значительно удлинённые прямоугольники и ромбы. Цвет камней напоминает все береговые оттенки с лёгким туманным налётом...

Ещё камни оказываются неожиданно легки и на ладони совсем не ощущаются... Взяв самые тонкие, я попробовал ударить ими друг о друга: к удивлению, послышался изящный и очень требовательный звук. Навряд ли камни использовались древними людьми как музыкальные инструменты, скорее, они играли роль каких-то амулетов, которые можно было повесить на груди или положить в мешочек...

Я тоже кладу их в карман и тотчас натываюсь у самого уреза воды на окаменевшие внутренности маленьких витых раковин, когда-то попадавших мне южнее, у мыса Жонкиер. Это туринделлы, сохранившие в обкатанном камне известково-белый рисунок изнанки своего панциря. А через несколько шагов в глаза бросается то, от чего перехватывает горло: ещё не обсохшая от воды, прямо передо мной лежит каменистая чёрная пластинка, в середине которой чётко, до мельчайшей подробности, желтеет отпечаток какой-то причудливой раковинки... Как точно воспроизвела и сохранила природа все её линии, и как повезло мне, что я нашёл её здесь по истечении многих тысячелетий, пока она покоилась на этом удалённом от людей морском берегу!

Далее на север в песчаных обрывах изредка начинают попадаться крутые каменистые разлоги, из которых к морю ниспадают хрустальные водопады. Со стороны их обычно не видно, и, только приблизившись вплотную, обнаруживаешь, к своему удивлению, широкую, гладко отполированную водой чёрную полосу на пологой стене, и прохладная морось приятно обдаёт твоё лицо. Задрав голову, с замиранием духа смотришь, как через каменистый разлом ухают вниз бурлящие потоки воды, и в них призывно играет множество изломанных радуг.

Полубовавшись так немного, решишь вдруг забраться по мощным уступам к самому верху, чтобы увидеть, как будущий водопад вырывается из глубины полуострова. Скользкие камни то и дело подворачиваются под ногой, а несущиеся навстречу потоки так устрашающе урчат, что даже не помышляешь смотреть вниз. Только вперёд, к вершине, где ждёт тебя укромный коридор из вьющихся лиан, сырых обкатистых камней и первозданной свежести горной речки. За всем этим – тайны сахалинской природы и их не пугающая нескончаемость.

Часто обрывистый берег вдруг уступал место отлогим распадкам, где прятались устья небольших речек и ручьёв. На первый взгляд ничем не выразительные, с моря они тоже производили впечатление примелькавшейся сахалинской обыденности. Значительной растительности на их склонах не было видно ни какой, сами распадки вместе с ручьями казались словно втиснутыми и в без того придавленный берег, и на душе от представшей картины становилось безрадостно и пусто.

Но стоило всё же пройтись немного по берегу устья, чтобы поразиться обилию кишачих в нём лососей... Я глядел на их толстые тёмно-синие спины, плавнодвигающиеся головы, плавники и хвосты, и пустынный берег уже не казался таким безликим, низко нависшее небо – безжизненным, а бесконечный песчаный пляж – равнодушным. Всё вокруг удивительным образом оживало, речка начинала двигаться, и что-то уже влекло тебя отправиться по её руслу в самую глубь острова.

Там ты обнаруживал нечто невиданное, существующее какой-то обособленной и скрытой от глаз жизнью: тебе открывалась сказка, до которой свободно можно было дотронуться. Осторожно погладить изумрудные и мягкие листья, полной грудью вдохнуть их диковинные запахи... И ещё жадно смотреть вокруг на эти чудесные переплетения растительности, влажную тишину и такую нереально чистую и выпуклую воду, что казалось – река сама подымает к тебе на своих ладонях каждый камешек с переламывающегося прозрачного дна...

В северной своей части берега полуострова Шмидта высокие и скалистые. На склонах прибрежных гор растёт хвойный и смешанный лес, который молчаливо смотрит в тебя из глубины своим тёмно-зелёным глазом. А внизу неприступные утёсы уже охвачены всё наступающим приливом и пройти там можно, только высоко подняв болотные сапоги. Местами даже приходится карабкаться по отвесным стенам, с трудом находя расщелину или выступ, за которые удобно было бы зацепиться...

Море вспенивается у подножия нахмурившихся скал, глубоко ударяет им подвздох и ненадолго отступает. Этот миг надо использовать, чтобы успеть преодолеть как можно большее расстояние. Только изредка успеваешь взглянуть вверх, где в редких впадинах между камнями усаживаются чайки, топорки, морские курочки и тупики. Они, без умолку, кричат, то и дело взлетают и вновь усаживаются на голые камни, без всякой надобности кружа над прибывающей водою. Внизу же осклизлые чёрные стены облеплены нарощими на них за долгое время сиреневыми полипами и жемчужным ракушечником.

Опираясь рукой о каменную стену, осторожно ступаешь по мокрым камням, а ракушечник иной раз так саданёт по ладони острыми краями, что в пылу этого необычного следования у самого моря ничего и не заметишь, кровь же вскоре останавливает перенасыщенная солью вода. Весь уже мокрый и оглохший от беспокойного вскрикивания морских птиц, неумоимо пробираешься вдоль скал и чувствуешь, как гул из глубины моря,

порождая этот неудержимый прилив и неизмеримо будоража чаек, входит и в твою душу. Он вливается в неё так обезоруживающе мощно, что у тебя просто не хватает сил ему противостоять. Да ты и не желаешь этого, и втайне мечтаешь с ним соединиться, чтобы так же безумствовать в своей силе, куда-то рваться и никогда не устать.

А вскоре показался и мыс Марии с маяком, ограничивающий залив Северный с юго-западной стороны. Поначалу почему-то подумалось, что мыс назван в честь старшей дочери Николая I, пожалуй, самой обаятельной и мудрой из всех. Как мне показалось, он производил впечатление такой же мягкости и скрытой силы. Вероятно, это являлось плодом моего воображения, но думать так было очень приятно. И хотя впоследствии выяснилось, что мыс Марии назван именем матери русского императора Александра I вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, моё впечатление о нём не изменилось.

С северо-востока же залив завершал мыс Елизаветы, что получил своё наименование в честь императрицы, приходившейся уже супругой российскому императору Александру I. Это произошло в 1805 году, когда Иван Фёдорович Крузенштерн, во время своего пребывания в Татарском проливе, назвал мыс в её честь. Незримый царский дух витал здесь повсюду, и даже горы спускались к морю широкими террасами величественно, подобно могущественному трону...

О нём напоминал и старинный сигнальный колокол, который я так хотел увидеть. Всего их сохранилось по Татарскому проливу четыре: на мысу Крильон – южной оконечности острова Сахалин, на мысу Жонкиер, что неподалёку от города Александровск-Сахалинский, третий – на противоположном материковом берегу у мыса Сюркум, и последний – здесь, на мысу Марии...

Кстати, в старину колокола играли огромную роль – будили и созывали, радовали и тревожили. В Турине пользовался известностью так называемый «хлебный колокол»: в ранние утренние часы по его ударам хозяйки принимались печь тесто. В Бонне был знаменит «колокол чистоты», который созывал горожан подметать улицы. В Гданьске звучал «пивной колокол», только с позволения его медного голоса открывали по вечерам двери питейных заведений, а в Париже несколько иную роль играл «колокол пьяниц», призывающий их возвращаться домой.

Колокола так и различали: «трудовые» и «добрые», созывающие на работу или оповещающие об отдыхе; «непокорные» - зовущие к восстанию; «набатные» - собирающие на бой воинов; «охранные» - звучащие только в непогоду, чтобы указать путникам дорогу к укрытию. А ещё существует колокол судовой, предназначенный для подачи звуковых сигналов на судне. С помощью его отбивали склянки, на языке моряков – полчасика, отмечающие начало работы и отдыха, принятие пищи, богослужение, пожар или появление неприятеля. Впервые судовой колокол появился на английском флоте во второй половине 15 века, считалось, что он отпугивает «злые

силы», будто бы населяющие моря. Располагали судовой колокол поначалу на корме, иногда – в средней части корабля, а позже – на носу.

Особая судьба у колокола, который висит в центре страхового зала «Ллойда» - ллойдовский бронзовый колокол. Чаще всего можно встретить утверждение о том, что вот уже более двух столетий два скорбных удара в этот колокол возвещают о гибели очередного судна. Но в позапрошлом столетии в него стали звонить ещё и перед тем, как огласить важные события: один раз, когда приходили хорошие известия, два – когда дурные.

Знаменитый колокол изготовлен в 18 веке во Франции для 32-пушечного фрегата «Лютина». Он был захвачен англичанами в Тулоне и стал нести службу в составе британского флота. 10 октября 1799 года «Лютина», с грузом стоимостью до 1,2 млн. фунтов, затонул во время шторма. Груз был застрахован у «Ллойда» на 900 тыс. фунтов стерлингов. «Ллойд» быстро и полностью возместил все убытки владельцам судна. По тем временам это была баснословная сумма.

На протяжении многих лет неоднократно предпринимались попытки найти груз «Лютина». Это удалось лишь частично. Был поднят и судовой колокол.

Колокол у мыса Марии, на севере Сахалина, сохранился в полной неприкосновенности. Мало того, был он ухожен, почищен и отделён от любопытных рук свежевывкрашенной оградкой. Раза в три превышающий по размерам крыльонский, колокол возвышался в нескольких метрах от обрывистого западного берега и, всей своей ощутимой тяжестью нависая над морем, таил в себе, должно быть, удивительные истории...

Низ колокола окаймляла отчётливая древнерусская вязь: «Лит в заводе торговаго дома потомственнаго почётнаго гражданина П. И. Оловянишникова и сыновья в Ярославле весу 48 пудов 17 фунтов /1882 года./» Сверху, словно умиротворяющий и несущийся из души Вселенной навой благолепно оповещал: « Благовестуй земле радость велию. Хвалите небеса Божию славу».

В силу времени отлучённый от своей неутомной жизни и сохраняющий теперь, по большей части, покой, он всё же излучал благодарность за доброе отношение к себе. О чём молчал он и сколько пережил в душе такого, что могло бы украсить жизнь не одного человека?! Не о том ли, как остерегал от беды отважных мореплавателей, как целый век слушал заунывные завывания северо-западного ветра и шорох льдин, сталкивающихся по весне у его берегов, и о первозданной тишине полуострова Шмидта, его нескончаемых лесных снах у самого моря? Наверное, он знал и о старом охотнике Щербине, живущем в двух десятках миль южнее, и ещё о многом другом, что ты, конечно, не успел увидеть здесь за два месяца пребывания и о чём даже не догадывался.

За изогнутой и крепкой спиной колокола неудержимо взбегала к облакам крутолобая гора Глена... Вообще, во всей тишине и чистоте окружающего пейзажа ощущалась чья-то волевая знающая рука. И у маяка, и

у колокола, и у самого мыса был, оказывается, свой хозяин, которому совсем недавно, как я узнал позже, перевалило всего лишь за тридцать. Звали его Тагир Исмагилов...

Для человека, обладающего столь солидной ответственностью, тридцать лет – возраст не такой уж и малый, чтобы завоевать доверие предметов, для большинства являющихся неодушевлёнными, а ему представляющимися живыми. Это был человек, слившийся с витающим над мысом вольным духом, душа его была наполнена светом, и колокол молчал и по нему тоже.

Невозможно было сразу не обратить внимания на такую черту его характера, как жёсткость, подразумевающую, конечно, и дисциплинированность, и неутомимость. Всё это, скорее, выражало одно свойство характера, без которого не обойтись мужчине, – внутреннюю силу.

Бывает, у человека стоит в глазах тёмная вода, случается в них и свет, а у Тагира взор разил огнём. Взгляд был острый, цепкий, порой – просто испепеляющий, и, глядя в его глаза, думалось: видит он тебя без остатка, всю твою суть, и как бы ты не крутил душой – бесполезно, верное представление о тебе составлено, и ему лишь интересно – можно ли от тебя ожидать чего-то большего. Прищур его глаз, должно быть, редко для кого был выносим, и я за наше короткое знакомство так и не привык к нему, всё время думая, что Тагир видит во мне что-то такое, чего я сам о себе не ведаю, а если бы он и поведал о нём, то уж точно это бы меня не обрадовало... Словом, Тагиру было присуще какое-то внутреннее знание обо всём, что его окружало, и трудно было не поверить тому, что он видит насквозь, несомненно, обладая этой самой внутренней силой.

Два раза в году на траверзе мыса бросало якорь судно, доставляющее горючее, провиант и необходимые инструменты. Всё же остальное время приходилось проводить в одиночестве. Люди забирались сюда редко: в основном это были местные охотники-нивхи и рыбаки, ежегодно приезжающие на путину.

Несмотря на положение отшельника, от людей он никогда не бежал, но что-то было в нём затвердевшее, раз и навсегда зарубленное для себя. Он вызывал чувство уважения, а своей цепкостью и стремлением доводить любое дело до логического конца – даже щемящее чувство восхищения. Этого так недоставало многим другим, с кем я имел дело, и становилось грустно от того, что им уже никогда ничего не суждено было в себе изменить, а Тагир утверждал знание о своей и окружающей его жизни каждый день.

Прямота его была истинная, не терпящая какой-либо фальши. Он много знал, прекрасно представлял себе современную литературу, и это было несколько неожиданно. Ведь свободного времени для чтения у него почти не оставалось – на плечи ложилась прорва хозяйственной работы: подъём воды на утёс, заготовка дров, сменная с женой служба на маяке, постоянная возня с двигуном, словом, не соскучишься.

А тут ещё медведи одолели... Особенно последней весной, когда старый зверь зажал его на узкой приливной полосе, между отвесными скалами и морем. И, как назло, не захватил он с собой ружья: таким оно, по привычке, представилось ненужным, когда следовало отлучиться от маяка неподалёку.

Медведь пошёл на него, как будто зная, что человеку некуда деться. Наверняка он так и думал и ожидал лёгкой для себя добычи, но выручили собаки. Без них пришлось бы туго и, должно быть, не привелось бы нам говорить сейчас обо всём этом...

Но больше всего досаждало одиночество, к которому бы уже давно следовало привыкнуть, и всё же, временами, оно наваливалось неприятной глухой тенью. Особенно зимой, когда, казалось, всё вокруг умирало. Сердце нещадно холодело в её выстуженном крошеве и метелях, и так хотелось вырваться к людям...

Однажды жену пришлось срочно отправить на материк – что-то серьёзное стряслось с матерью. Напарника, сменившего её, вскоре задрал медведь, и Тагир остался один. А потом разбушевалась сильная пурга, чуть ли не на неделю, и уж совсем некстати разболелись зубы...

Выпил бутылку водки – ни в одном глазу, и зубы по-прежнему ноют, хоть ходи по потолку. Взял плоскогубцы, но одолел только один, остальные оказались не под силу. Взыл тогда зверем от боли и безысходности, а пурга всё заметала и заметала...

... Теперь на полуострове стоит весна, над берегом осторожно крадётся тихий вечер, и огонёк печурки приятно потрескивает на самом верху маяка. Мы лежим на пушистой медвежьей шкуре, пьём неразбавленный спирт и всё говорим, говорим, говорим, втайне умирая от верности к выбранной жизни и друг другу. Всё нам кажется сейчас понятным и достижимым, и мы знаем, что так оно и есть, а море шумит где-то внизу, ровно как плачет или к кому-то взывает...

- Как же долго я тебя ждал, - устало улыбаясь, тихо проговорил Тагир. - Почему-то не покидало ощущение, особенно в последнее время, что кто-то появится, что-то произойдёт... Видимо, в этом назрела острая потребность.

- Раз ты пришёл сюда, в этот мир, значит, ты должен всё пройти... В этом заключается смысл жизни на Земле.

- Всё достаточно просто.

- Не стоит убегать от себя, упуская возможность познать счастье.

- А счастье откроется, когда ты примешь все возникающие перед тобой проблемы и научишься их решать?

- Да, и счастье без решения этих проблем существовать не может. Зачем лишаться того, что сделает тебя лучше?

- Скажем, вот это, неприятное, на первый взгляд, безжизненное море?

Мы оба смотрим туда, в это необъятное водное пространство, кажущееся нам сейчас самым дорогим, без которого мы не представляем себе

своей жизни. И оно будто отвечает нам, радуется, что к нему обратили внимание свои жизни люди, без которых оно себя не мыслит.

- Я только недавно понял, что в море нужно, как и в жизни, принять и этот его неприятный, кажется, безжизненный мрак, и радостную синеву, пронизанную солнцем. Всё хорошо, и счастье можно обрести и в темноте, если будешь видеть в ней свет. Оказывается, глупо было бы стремиться только к счастью, к одному благу, без ограничений и препятствий оно существовать не может.

- Опять выходит, что всё устроено очень просто, и человеку по силам устроить подобное в собственной жизни?

- Сила, на самом деле, находится внутри нас.

- А в чём она заключена? Откуда она берётся?

- Наверное, в мыслях, которые непременно нужно осуществить, вернее – воплотить, в общем, следовать им, но только чтобы они были жизнеспособны...

- Как всё-таки хорошо, что мы оказались у моря, именно оно нас соединило...

Я улыбаюсь всему, переживаемому сейчас в нашей жизни, и неожиданно, в такт набегающим где-то внизу волнам, шепчу:

- Море моё, море моё, море моё...

- Ты его чувствуешь?

- И слышу всегда, даже когда его не вижу. Оно как будто присутствует рядом, а набегающие волны, одна за другой, повторяют удары сердца.

- Мне кажется, что море безразлично к человеку...

- Но его щедрость безгранична, и при умении ей можно, наверное, воспользоваться. Так бы я начал свою книгу о море, если его образ когда-нибудь встанет передо мной во всей своей великой мощи, сквозь которую мне ещё суждено пройти. Вернее, соприкоснуться с мудростью водной стихии, что, не переставая, на протяжении длительного времени, тревожила мою душу, но приближаться не желала. Я сам должен был обратиться к ней, взглянуться в суть происходящего и сосредоточиться на осуществлении задуманного. Стоило только захотеть, и всё получалось. Нужно было лишь совершить шаг...

- Когда ты так говоришь, я верю, что всё возможно.

- У меня не бывает иначе... Смотришь на море – и объемишь его всего. Или оно втекает незаметно в тебя, и ты чувствуешь, что делает оно это незаметно, ничуть не смущая тебя, и ничем не досаждая. Море с тобой, оно никогда тебя и не покидало. Только ждало, что ты опять обратишь к нему свой взгляд...

- Я чувствую и переживаю то же самое.

Мы смотрим сквозь толстое стекло маяка в нескончаемую туманную даль, где нежно-розовое солнце мягко утопает в водах Татарского пролива, и в душе неминуемо рождаются мысли, многочисленные, как морской песок, как набегающие на берег волны, как птицы, витающие над необъятной

водной стихией, как невидимые существа, скрывающиеся в её неведомых глубинах... И там, в завораживающих своей необозримостью морских просторах, как-то подспудно угадывается что-то родное, оно и притягивает, и пугает. Благословенна жизнь, благословенно море, благословенно время, проведённое в непосредственной близости от него, даже – в нём. Во всём этом видится божественный промысел, и ты уповаешь на Господа, что Он причастил тебя к своему великому детищу... Радуйся!

- Как сложно научиться легко впускать в себя людей, - задумчиво произносит Тагир. – Я только сейчас, с тобой, начал осознавать это. А раньше почему-то никому не доверял. Наверное, просто не был готов к восприятию мира людей без осуждения, принимая их такими, какие они есть.

- И я только недавно вдруг осознал простую истину: если смотреть на мир с любовью, все проблемы неминуемо исчезнут. Внутри себя ты обнаруживаешь покой, а в окружающей природе и жизни – отражение Бога.

- Получается, на что человек обратил внимание в своей жизни, из этого он и строит в дальнейшем представление об окружающем мире?

- Да, и так он создаёт собственную жизнь, наполненную знанием, и лишь в этом случае научится с радостью отдавать. Ведь дарить можно только то, чем сам обладаешь...

- Хорошо, что есть такие замечательные и простые вещи, как море, камни, эти мощные лиственницы, хмурое небо и непроглядный туман... Глядя на них, обнаруживая их постоянно рядом, кажется, никогда не собьёшься с жизненного пути.

- Важно быть хозяином своих желаний и мыслей, чтобы они обязательно привели тебя к открытию для себя мудрой жизни. Зачем действовать наперекор её законам?

- Но отчего же тогда так много людей не делают этого, они оказываются совершенно беспомощными перед жизнью?

- Ты не поверишь, но ответ банален: они просто не хотят этого.

- Но мы-то с тобой очень хотим, иначе бы не оказались здесь и не встретились.

- Значит, мы всё делаем правильно, и Татарский пролив, и Японское море, и весь остров Сахалин – с нами. Ты это чувствуешь?

- Ещё как...

- А ты чувствуешь присутствие в здешних местах духа Марии – матери царя Александра I, именем которой назван мыс, где ты обитаешь?

- Я даже не подозревал, что мыс назван именно в её честь...

- Кстати, по воспоминаниям современников, одна из самых обаятельных и добрых женщин при дворе...

- О женщинах – ни слова.

- Хорошо.

- Самое главное, что мы знаем – чего нам надо.

- А наши желания составляют суть этого мира...

- И мы можем решать в этой жизни любые проблемы. Важно – действовать, помощь придёт всегда. Вот как ты ко мне припёрся, преодолев за день 38 километров, а ведь тебе было страшно – вдруг там, куда ты идёшь, никого не окажется? Или что-то случится в дороге... Ведь здесь полно медведей, приливы, которые могут неожиданно прижать к отвесному скалистому берегу, да можно просто ногу в камнях подвернуть – и не кому будет тебе помочь. Но ты почему-то рванул ко мне?!

- Сначала так и было... Именно – рванул, боясь неопределённости, того, что ожидает впереди, и к чему ты не всегда сможешь быть готов, но вот постепенно как-то приходило понимание, что всё будет хорошо. Солнце вдруг неожиданно выступило из-за низких облаков, и высветило необычные камни у самого уреза воды, это был, несомненно, добрый знак, а когда попал в какой-то удивительный по красоте распадок с чудесными цветами, то и вовсе поверил в правильность выбранного решения. Ты знаешь, несмотря на отсутствие людей в этих безлюдных местах - ощущения одиночества не возникало. Чудилось всё время, что кто-то находится рядом. Причём, не человек. Но где-то оставленные тобой люди тоже не забывались, и будто даже помогали тем, что они вообще есть.

- Я рад, что кто-то, наконец, пришёл ко мне сюда просто так, из любознательности, а не с какой-то конкретной обязанностью доставить недостающую технику или провиант. В душе я ждал тебя. Не тебя, конечно, а просто какого-то хорошего человека. А когда увидел, как ты устало, с этим твоим рюкзаком поднимаешься к маяку, после только что случившегося прилива, чудом не прижавшего тебя к камням, даже захотел пожалеть, обнять, но только увидел глаза – опять вернулся в себя...

- Почему?

- Потому что осознал силу, которой не нужно помогать, а нужно понимать. Я и сам такой. Только ещё более жестче... И это, наверное, мне мешает.

- Ничто не мешает, если так есть. Это твоя жизненная драгоценность, незнание себя, которое предполагает дальнейшее развитие. Ты благодаря этому жить потом счастливо будешь много лет...

- У меня от жены вестей никаких уже второй месяц... Должна родить.

- На пустом месте ничего не возникает, у всякого события, пусть самого маленького, незаметного, есть своя причина. Она кроется в нашем поведении, последствии наших мыслей... Будет сын, вот увидишь. Ты же его очень хочешь?

- Да, в жизни очень важно проходить правильно разные ситуации, но иногда, когда оказываешься по многу месяцев один, начинает казаться, что ты их как раз и не проходишь, удалившись от всего мира...

- Ситуации, в которые мы попадаем, это – уроки, которые мы должны пройти. Ты сам определил ситуацию, в которой подолгу остаёшься один, а значит должен приложить усилия, чтобы её преодолеть. Ведь никто тебя

здесь не держит, ты в любой момент можешь прекратить это отшельничество, и принятие решения только за тобой.

- Ещё раз убеждаюсь, что тебя ко мне Бог послал. Это я сейчас осознаю совершенно ясно.

- Да, это Он призвал меня сюда, и я не воспротивился этому позыву в себе, и принял всей душой. Иначе, наверное, и быть не могло.

- Давай за это выпьем.

Конечно, кому-то, может быть, покажется странным, что в столь возвышенном и умудрённом жизненным опытом тоне могут рассуждать двое довольно-таки молодых парней, но и то верно, что этим двум молодым людям было уже за тридцать, и нам обоим к моменту нашей встречи немало привелось передумать и пережить. Я к тому времени уже пять лет проработал в море. Мы были честны по отношению к себе, а это большого стоит, учитывая, что чаще всего человек всегда находит оправдание своего бездействия на пути к тому, чтобы стать лучше.

Люди даже не подозревают, как они могут быть сильны, какие возможности открываются перед ними, когда они не покривят в отношении себя душой. Нам-то, как раз, всё представлялось простым и доступным, и мы были уверены, что поступаем верно, но разве расскажешь – как это тебе давалось... Главное, мы пытались жить так, чтобы не было стыдно, даже более того – нас переполняло ощущение радости и свободы! И уж совсем гиблым выглядело бы какое-либо отступление... Нет, всё в нас было обращено к поиску, борьбе, всё было пронизано неугасающей надеждой, что тебе откроется то, чего другим ещё не открывалось...

... Море внизу по-прежнему шумит, мечется неистово в скалах, но ничто не мешает нам оставаться совершенно свободными, вызывая в воображении и мечтах что угодно, и общение от этого только выигрывает. Так бывает всегда, когда встречаются два человека, сродни друг другу душой, два человека, которым есть что сказать. Сказать не в пустоту, а с уверенностью, что эта встреча, если даже она единственная, не изгладится из памяти и западёт в сердце на долгие годы, может быть, даже на всю жизнь, и тебя обязательно будут слушать потом и другие люди, воспринимая каждое твоё слово как самую необыкновенную, недостающую ценность.

Узкий разрез тёмных глаз Тагира поблескивает бесовским огоньком, весь холод недоверия от первого знакомства давно растопился в обступившем нас печном жару. Монголоидное лицо, чётко очерченные скулы, отливающие медным отсветом пылающего огня, ни капли лжи. Такое никогда не забудешь. Приятно ещё было в нём то, что, общаясь с такими людьми, понимаешь: зависеть от их воли, опыта, обаяния или дерзости тебе не придётся.

Люди часто зависят друг от друга больше, чем им самим хотелось бы. Это порождает враждебность, непонимание, жесточайший эгоизм. Ты можешь увести человека своими чувствами и мыслями туда, куда вздумается,

но не забывай: ты в ответе за него, верни его разыгравшееся сердце на землю, прежде наделив его частицей своей любви.

Зависеть от кого-либо и не погибнуть – это значит принадлежать навечно друг другу, даже если между людьми надолго легла вынужденная разлука. Когда ты зависишь от кого-то больше, чем тебе самому хотелось бы, чувствуешь себя на краю пропасти: и дух замирает от невероятности восхитительной высоты, и страх падения ложится на плечи цепенящей тяжестью. Но, сорвавшись однажды окончательно, ты порой обретаешь любовь...

Именно с любовью, так приятно расточившейся в наших сердцах этой ночью, мы прощаемся наутро, и я прошу у Тагира позволения ударить в колокол... С волнением вхожу в оградку, трогаю рукой его прохладные бока и смотрю вдаль, куда сейчас понесётся его призывно-стонущий звон. Там ничего не видно из-за густой туманной дымки, и даже очертания маяка расплывчаты. Только колокол вырисовывается чётко и строго: такой большой и древний, он совсем рядом, и на душе от этого становится необыкновенно трепетно.

С волнением беру я в руки внушительную сердцевину-било, что было сил, раскачиваю её и вдруг ощущаю, что куда-то лечу... Неуловимый всепроникающий гул вливается в меня, полнит до краёв и поднимает к небу. Маяк, постройки, сопки – всё кружится там, внизу, а ты воспаряешь выше и выше, и уже летишь над морем, и твои руки и лицо мягко соприкасаются с лучами восходящего солнца. Совсем другое настроение возникает тогда в твоей душе, и земля с восторгом принимает тебя невероятно очищенным и смелым.

Только раз ударил я в этот волшебный сосуд, отлитый человеческими руками, а сколько всего поднялось в душе и вспыхнуло неутолённой жаждой?!

Тагир же смотрит мимо меня – туда, где скрыто туманной пеленою солнце, и где я летал миг назад. Он тоже, верно, воспарил со мною в этом колдовском звучании, но ещё не опустился. Видно по нему, что лишний раз он колокол не потревожит, и тот в мудром молчании копит свои знания о камнях, море и людях.

Мы не обнялись, а только крепко пожали на прощание руки. И ещё посмотрели друг другу в глаза, и я отправился в обратный путь по верхней тропе, которую он мне указал. Я шёл и чувствовал, как пристально смотрят мне вслед маяк с колоколом, а сверху, успокоено и чинно, взирает крутобокая гора Глена, и знал: Тагир уже занялся каким-то неотложным делом, но в глубине души желает мне удачи и доброго пути. Того же попросил для него у Господа и я...

А над полуостровом неслышно улёгся пасмурный сахалинский день, в воздухе повисла вязкая туманная дымка, и с моря, по-кошачьи мягко и настойчиво, пахнуло его свежей необозримостью. Всегда захватывающая неожиданно, она вмиг окутывает тебя с головы до ног непередаваемой

приподнятостью и, чуть отпустив, остаётся с тобой на всю жизнь. Ты ещё не успел посмотреть на море, а оно уже в тебе: плавно колеблется в душе, неумолимо струит свои волны, влечёт к себе зеленовато-синей густотой.

Тропинка вьётся уверенно по самому краю обрывистых скал, местами неприметно утопает в глубоком мху, и всё неотрывно манит своей неизведанностью. Из-за густых зарослей кедрового стланика моря не видно, но это тебя уже не беспокоит. Ты тихо ступаешь по неведомой ещё для тебя тропе, впитываешь все её запахи и ни о чём не сожалеешь.

Удивительное и близкое море нашёптывает свои заповедные северные сказки, и ты разгадываешь их в еле доносящемся шёпоте волн, их мерном накатывании на пустынный берег, в нависшем над ним неравнодушном сером небе. Ты идёшь не спеша, и так же спокойно думаешь о хозяине маяка, его одинокой жизни здесь, на мысу Марии, и о том пути, что предстоит тебе сегодня одолеть. А ещё - о медведях, встреча с которыми так волнительно ожидаема и в то же время страшна. Что, если в самом деле попадётся навстречу этот лесной сахалинский исполин, пользующийся таким уважением среди нивхов, и ты, конечно, будешь разговаривать с ним так же вкрадчиво и доверительно, как с морем, и медведь почувствует твоё отношение к нему и ничего не предпримет?!

В неглубоких распадках море вырывается к тебе зеленовато-серым или голубым лоскутком, маленькие снежные буруны тихо пенятся, как будто играют, а вокруг стоит такая тишина... Кажется, и морские птицы куда-то исчезли, оставив море наедине с собою, и оно нисколько на них за это не осерчалось, и только обрадовалось своей нескончаемой свободе. Столько настроений, наверное, приходится пережить ему в своей невообразимой утробе!

Ещё больше их переживаю я, и по-прежнему вспоминаю узкий разрез глаз, смуглое скуластое лицо и шрамы на нём. Старинный колокол что-то молчаливо вызванивает в моей душе, а я вижу с высокой скалы одинокие и редкие здесь суда. С ними на такие вот позабытые всеми земли приходят дружеские рукопожатия и улыбки, дороже которых нет ничего на свете. Они видятся в снежном крошечке непролазной сахалинской пурги, в здешних сумасшедших ветрах и ядовитых туманах, во всей безысходности и одичалости замкнутого существования на пустынном полуострове Шмидта...

В нём пребывает и сам полуостров, с таким подходящим для него почему-то названием. Название полуострова закреплено за ним геологом Н. Тихоновичем в 1908 году в честь первого геолога, посетившего Сахалин – Фёдора Шмидта, который в 1860-1861 годах, вместе со своим спутником – ботаником П. П. Гленом, производили на острове геологические и ботанические исследования от мыса Елизаветы на севере до мыса Крильон на юге. За долгие месяцы упорного труда они исходили пешком, изъездили на собаках и лодках многие тысячи километров, поднимались на сотни горных вершин, и дали первую научно обоснованную характеристику растительности острова. И я начинаю думать уже о Фёдоре Шмидте, об этом

замечательном учёном, и его образ, непременно с окладистой и седеющей бородой, мягко выплывает на меня с изумрудным дымом из только ещё распускающихся лиственниц... Волосы, густые и вьющиеся, аккуратно зачёсаны назад, серые же глаза смотрят пристально, даже – с улыбкой...

Он, как и Тагир, тоже где-то рядом, и мне не хочется их обоих отпускать. И я спрашиваю их о жизни, а они молчаливо, с достоинством, отвечают. О том, как беспросветна бывает отупелая морская жизнь, и как следует оставаться в ней мужчиной... Они не перебивают друг друга, никуда не спешат и, изредка вглядываясь в тебя, искренне надеются, что ты тоже будешь себе верен.

Как были дружны и преданы своему делу Георгий Байдуков и Валерий Чкалов, чьими именами названы острова в северо-западной части Сахалинского залива, совсем неподалёку отсюда... Совершая в 1936 году беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд, а затем через Северный полюс в США, они тоже, должно быть, разговаривали с теми, кто пытался проходить этот путь до них. Первопроходцы помогали друг другу постичь эту необъятную землю, и были так непреклонны и сильны.

Где-то чуть севернее, у Шантарских островов, нашёл свой покой и небезызвестный пророк Иона, вновь обрётший себя в лице маленького скалистого островка. Иона тоже почему-то не идёт у меня из головы, и я вспоминаю, как мы недавно, огибая Сахалин с севера, открыли его для себя по всё более усиливающемуся крику сивучей, исходящему с его лежбища. Иона предстал перед нами тогда из моря непревзойдённой сказкой, и носовая рында возвестила об этом миллионам морских птиц, облюбовавших его обрывистые утёсы...

Думая сейчас обо всех этих живых и давно ушедших людях, я начинал чувствовать их незримое присутствие, и одиночество моё оседало на самом дне сердца и лопалось там, как пенные пузырьки моря. На душе становилось так хорошо и свободно, что хотелось объять весь этот загадочный полуостров с его тишиной и каким-то неземным покоем. Даже медведи, кажется, не могли бы его нарушить...

Я иду и слышу только, как погрохатывает за спиной в подвешенном к рюкзаку котелке бордовый морской камешек. Причиной этому необычному способу отпугнуть находящегося неподалёку медведя – предупредительность Тагира. Его опыт и знание вызывают во мне глубокое уважение, и я опять остаюсь признателен ему в душе за проявленную ко мне заботу.

Камешек побрякивает в такт моим шагам и мыслям, и я не подозреваю, что ждёт меня перед открывающимся впереди глубоким распадком. А там, в густой и сочной траве на его склоне, кормятся три медведя. Шкуры их лоснятся жирным серебром, и при малейшем движении так начинают колыхаться, что создаётся впечатление, будто медведи поднимаются вверх галопом.

И они на самом деле побежали, когда услышали постукивание моего камешка, - так ловко и легко в своей видимой неповоротливости. Мне было

приятно смотреть на их удаляющийся бег, тёмно-бурые мохнатые спины и уши, и как смешно вздрагивают пушистые круглые зады... Было очень радостно сознавать, что я оказался с ними рядом, невольно подглядел эту лесную тайну у моря, и ещё я почему-то не чувствовал в себе никакого страха.

Как не чувствовал его, когда забирался, подобно медведю, к гнезду орлана-белохвоста на высокой прибрежной скале у самого устья реки Пиль, где расположился наш лагерь. Медведь, незадолго до этого попытавшийся полакомиться орлиными яйцами, оказался неопытен и сорвался, вероятно, напуганный неожиданно появившимся отцом будущего семейства. Это был пестун – двухгодовалый одинокий зверь, отчаявшийся отыскать себе по весне пропитание.

Медведь, непристойно, для своего звериного положения, распластанный, неподвижно лежал на гальке неподалёку от уреза воды, и на него не хотелось смотреть. Когти глянцевыми крюками безжизненно впились в золотистый песок, кудлатая голова неестественно вывернута... Только мех чуть заметно колыхается от налетающего с моря лёгкого ветерка.

Я стоял над медведем и не замечал, как тот же ветерок так же ласково ворошит волосы и на моей голове. А на следующий день кто-то вырезал когти у мишки, и когда я это увидел, сердце моё сжалось и застучало бешено, а потом отпустило, и только вздрагивало изредка, как тот бордовый камешек в котелке...

Так, между двумя одиноко обитающими здесь людьми, и протекало наше время, заполненное работой у моря, тишиной, запахом идущей на нерест корюшки и симы, мягкими отсветами маслянисто-гладкого оранжевого сердолика в прибрежной воде. Двумя мысами обозначили время эти два человека, и оно тянулось неторопливо и вдумчиво. Его совершенно не нужно было завоёвывать, а хотелось только успокоено внимать ему, ощущая при этом неповторимую радость и удовлетворение.

По утрам, когда я выходил из палатки, стоящая вокруг тишина оглушала, и в душе воцарялся удивительный покой. С моря еле слышно доносился прибой, незаметно растворяющийся в этой тишине, поверхность же реки была неподвижна. Изредка на ней появлялись круги от гуляющей рыбы.

Каждое утро над распадом парили в небе два орлана-белохвоста: гнёздо их располагалось на одной из ближайших прибрежных скал, откуда, совсем недавно, сорвался молодой медведь. Умываясь в тихой речной воде, я часто видел их застывшее отражение и, задрвав голову, заморожено вглядывался в этот неподвижный, удивительно притягивающий к себе полёт. Так же неподвижно и величественно преломляли свои кроны в утренней глади реки и тёмные ели...

К полудню сюда слетались вездесущие вороны, которые степенно расхаживали по разогретому песку и, замерев на мгновение с приподнятой лапой, что-то терпеливо высматривали в ярко отражающей солнце воде. Птиц всегда было много, и они с хриплым гарканьем носились над косою, обезумев от присутствия людей... Казалось, что их интересует каждая мелочь.

Эти были сытые вороны, и, по-видимому, не желали покидать здешние края. Рыбы и прочего корма им хватало вдосталь, но при этом они оставались очень любопытны, и ничего не боялись. Никто их здесь большую часть года не донимал, и они ещё не успели разочароваться в человеке. Постепенно мы привыкли к постоянному соседству непоседливых птиц, и когда вороны почему-то не прилетали, нам даже становилось без них скучно.

И вот одну из них однажды подстрелили... Откровенно безжалостно и, главное, впустую. Так, ради какой-то глупой забавы, а больше – от душевного безделья... Да, к тому же, не насмерть: перебили только крылья...

Ворона взлететь не может, из последних сил бьётся о землю, вся, ошалело, нахохлилась. Кто-то взял и привязал ей к ноге верёвку, другим концом закреплённую на высушенном плавнике, - знай, себе забавляются. Бедная ворона сидит на привязи, остервенело хрипит, пытается вырваться, а все вокруг будто заняты своим делом, и никто на птицу не обращает внимания.

Но это только видимое впечатление, на самом деле - во всём ощущается какая-то общая неловкость. Заметно, что люди чувствуют в себе неясную растерянность, и никто из них не знает, что делать. На душе становится горько, и как-то неопнятно.

Мысли вперемешку с раздирающими чувствами проносятся одна за другой, и, кажется, не найти на них ответа. Отчего-то начинаешь верить, что ворона на самом деле живёт на свете около трёхсот лет и, может быть, она даже присутствовала при том, как Крузенштерн проходил здесь туманным утром на своём бриге, и Сахалинский лиман ещё крепко держал в себе свою тайну, не разгаданную ни одним из предшественников отважного морехода. Его моряки высаживались на эту песчаную косу, а ворона была невольной свидетельницей давно происходящих событий, и никто тогда по ней не стрелял...

Если ворона и живёт так долго, думаю я, то природа наделила её этой способностью не зря. Что-то продолжительное и важное обязана была делать птица в отпущенные ей немалые годы, когда результат становится по-настоящему достойным заложенного труда и терпения. Кто знает, не приходилось ли этой вороне со своими сородичами ликвидировать длительные последствия стихийных эпидемий? И сколько этим санитарам природы потребовалось времени, чтобы обезопасить от губительной заразы какой-либо участок местности, хотя бы этот же полуостров Шмидта, с устьем небольшой речушки Пиль, отвесными скалами, и глухим распадком, теряющимся в глубинах острова?

Всё это, и многое другое может представиться человеку с обострённым воображением, глядя на отчаянные попытки подраненной вороны. Но только не тому, кто ни с того ни с сего выстрелил по ней. Всё, виденное вороной за жизнь и запечатлённое в её памятьном поведении, внезапно, прямо сейчас, погибает, и никто, кажется, не несёт за это ответственности, а обезумевший хрип птицы, не прекращаясь, стоит в ушах...

Нащупав в кармане складной нож, я поднимаюсь с нар, выхожу на улицу и не спеша направляюсь к беснующейся птице. Всё во мне вскипает пузырящейся злостью, кровь неистово ударяет в виски, и ноги становятся непослушными, ватными. Потная рука судорожно сжимает в штанах гладкую рукоятку, и я чувствую, как все смотрят на меня и чего-то ждут. Тишина от этой настороженности становится ещё более занемелой и гулкой...

Ворона, конечно, почувствовала происходящее, и немножко притихла. Она как бы вжалась в окровавленный песок, распластав по нему вывернутые крылья, и дико покосила в мою сторону чёрным глазом. По-видимому, она ещё чего-то боялась и на что-то надеялась. Надеялась прожить столько, сколько ей было отмерено природой, а боялась, наверное, нависшей в этот момент над косою тишины.

Привыкнув к широкому безмолвию своего северного дома, ворона, естественно, не понимала в этой тишине безмолвного присутствия человека. Человек в её представлении всегда казался существом непостижимо, даже для её изощрённого ума, непоседливым, что, разумеется, забавляло ворону, но сейчас ей было страшно. Она, верно, никак не могла поверить в то, что больше никогда уже не удастся ей отдаться на такие восхитительные мгновения вольному потоку воздуха, возносящему её высоко-высоко над полуостровом, прочертив затем усталый, но радостный полёт к земле.

Подходя к вороне, я почувствовал её отчаянное состояние, и мгновенно оно передалось мне. Но решение было принято, тем более, что перешибленные дробью крылья вряд ли удалось бы залечить. Отсечённая голова птицы упала на песок бесшумно и как-то воздушно.

Достаточно было того, что я не остался равнодушным к этой вороне, отгадал её, и собственной волей перенёс в будущее. Недоступное птичье восприятие стало неожиданно доступным, тогда как жизнь самой вороны оборвалась. И ещё показалось, будто кто охнул за спиной, слышно только мне одному...

Душа несчастной птицы неслыханным криком унеслась, наверное, к старинному колоколу, и колокол запомнил её страдания, и стал молчать и о ней тоже. Чтобы когда-нибудь, потом, благовестно возвестить виденные им за долгие годы победы и горести полуострова, и его потаённую красоту. Возродить своим глубоким знанием незатихающую волю Тагира, мудрую непритязательность никому не ведомой жизни Щербины, и метущееся от боли сердце вот этой самой вороны... Всё это должен был услышать человек, обрётший право однажды прийти к старинному колоколу, и ударить в него.

## «ОТКРОВЕНИЯ КРИЛЬОНА»

Мы ехали на самую южную оконечность острова – мыс Крильон, и в окружении неповторимой сахалинской природы меня не покидало щемящее чувство невозможности написать обо всём виденном так, как оно того заслуживало. Осознание своей беспомощности было очень остро, но для того, чтобы научиться воплощать всё пережитое в безукоризненную словесную форму, не теряя при этом связи с окружающим миром, требовалось время, а оно ещё, видимо, не пришло.

Хотелось думать, что невидимый, но приближающийся Крильон приоткроет новое знание, и именно с ним будет связано в дальнейшем окончательное утверждение веры в дорогу, которая тянулась сейчас через ухабистые высокие перевалы в глубине острова, по разбитым в пыль узким распадкам, уже давно не видевшим дождя. Машины превратили её покрытие в сухую массу, поднимающуюся из-под колёс непроницаемой стеной, забивавшей глаза, уши, рот и волосы. Эта пыльная завеса не позволяла наблюдать за всем происходящим вокруг, остановив для всех нас время на неопределённый срок, пока дорога не вывернула к морю и не потянулась по самому побережью.

Теперь можно было смотреть на морской прибой, высокие плотные сопки со светло-зелёными боками, которые так и хотелось потрогать рукой, и вдыхать свежий солёный воздух с лёгким налётом цветущего шиповника. Эти сопки, застывшие на фоне бледно-голубого неба неповторимой линией своих очертаний, казались тихо уснувшими у самого моря неведомыми зверьми. И хотя ни крик чаек, ни шум прибоя, ни урчание нашей машины, пробирающейся по пустынному берегу, не могли нарушить их глубокий многовековой сон, казалось, ты слышал неуловимое дыхание этих диковинных зверей, проникаясь, в то же время, силой и величию всего тебя окружающего.

По отливу нередко попадались большие королевские крабы, перевёрнутые на спину, кверху своими светло-лимонными животиками, хорошо отличимыми на сером песке, отчего их можно было легко заметить издали. Некоторые из них ещё шевелили лапками, и таких мы выбрасывали обратно в море.

Попав в родную стихию, крабы подолгу сидели на одном месте, плотно прижавшись ко дну и будто наслаждаясь привычной обстановкой, и только затем медленно уползали на глубину, растворяясь среди камней. Забавно было наблюдать за их настороженными передвижениями.

Вскоре показалась скала Стол, местные жители называют её ещё Коврижкой, выдающаяся далеко в море. Издали она напоминала большой вулкан с правильными склонами и как будто неизвестно кем обрезанной верхушкой, так что вполне могла служить местом трапезы для какого-нибудь сказочного людоеда. По крайней мере, скала действительно вызывала ощущение гигантского стола с идеально ровной поверхностью.

Путешествуя по Сахалину и Курильским островам, я сразу успел убедиться в том, что вот таким замечательным природным образованиям люди дают совершенно пустые, ничуть не выражающие и просто не достойные их названия. Мне очень часто приходилось сталкиваться с Горбом, Демоном, Карликом, Чёртовым Пальцем, Клыком, Кинжалом и Зубом Дьявола. На смену занимательной таинственности и сказке, так украшающих нашу жизнь, почему-то обязательно приходил элемент дьявольской силы и злобной неприступности, будто все эти природные сооружения были призваны именно устрашать.

Но мир устроен так, что когда человек долетает, наконец-то, до белой звезды, ему хочется отправиться на зелёную, а добившись своего, он уже стремится к оранжевой, и ничто его не может остановить на этом пути, потому что весь мир в его руках. Человек волен давать всему свои имена, будь это гора, звезда или далёкое лесное озеро, выражающие его внутренний мир, и, таким образом, эта звезда, залив или город могут стать на какое-то время только твоими, потому что всё в этой божественной жизни взаимосвязано и она едина для всех.

Вот что я подумал, когда смотрел на эту скалу, широкое ровное плато которой могло стать немалым полем для воображения всех тех, кто проезжает мимо. Пусть вершина её не будет просто будничным застольем, а послужит началом полёта для всех, кто хочет летать или уже давно забыл, как это делается...

... Шла середина сахалинского лета. Душное, с роскошной буйностью трав, огромными бабочками, витающими над чистыми ручьями в укромных распадках, с мягко наседающей по вечерам на сушу томительной влагой и необыкновенной бодростью по утрам, оно превращало всю окружающую жизнь в чудесное откровение.

Восприятие необычности лета мягко пронизывал сладковатый и приятный запах золотого корня, почему-то представляющийся желтовато-кремовым. Запах неожиданно подступал тёплыми волнами, подхватывал и нёс куда-то вдаль, будто звал за собой, и обещал что-то несбыточное, оставляя ни с чем. Запах этот был неотъемлемой частью сахалинского лета, с ним оно казалось таким же желтовато-кремовым, многообещающим, чуточку тревожным.

Поражало обилие совершенно неведомых трав, покрывающих склоны сопок. Золотой корень был наиболее известным мне растением, обладающим удивительными свойствами, но где-то здесь таился не менее чудесный и таинственный элеутерококк, что поднимался до трёхметрового роста и, тем не менее, терялся среди буйной сахалинской растительности. Не раз подтверждая целительные достоинства семейства аралиевых, он чуть ли не превзошёл в них самую родоначальницу – аралию, представлявшую из себя чаще невзрачный колючий кустарник.

Не уступал им и достаточно распространённый на острове китайский лимонник, пятнадцатиметровыми лианами цепко обвивающий деревья и кустарники, со свисающими с них душистыми белыми цветками, ближе к осени превращающимися в шарообразные оранжевые ягоды, собранные в плотную кисть. Сбор его запрещён, но весьма доступный и легко распознаваемый в разнообразии сахалинской флоры, он является объектом усиленного промысла и заготовки среди местного населения. Тяга островитян к такому близкому и потому представляющемуся родным богатству оказывается непреодолимой.

По склонам распадков и в речных низинах в обилии произрастает луковичное растение с душистым чесночным запахом – черемша. Учитывая суровый климат Сахалина, далеко не каждый может вырастить овощные культуры, и отсутствие соответствующих витаминов удачно пополняется этой травой. Когда-то у постовых солдат и ссыльных сахалинской каторги черемша считалась верным средством от цинги, и по тем сотням пудов, что ежегодно заготавливались на зиму военной и тюремной командами, можно судить, как распространена была здесь эта болезнь, являющаяся результатом однообразной пищи.

Цинга влекла за собой серьёзные последствия и чаще всего угрожала здоровью и жизни моряков. Антонио Пифагетта, участвующий в кругосветном путешествии Магеллана, в своём дневнике отмечал, что в продолжение трёх месяцев и двадцати дней они были совершенно лишены свежей пищи. «Мы питались сухарями, - писал он, - но то уже не были сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями, которые сожрали самые лучшие сухари. Она сильно воняла крысиной мочой. Мы пили жёлтую воду, которая гнила уже много дней. Мы ели также воловью кожу, покрывающую грот-грей, чтобы ванты не перетирались; от действия солнца, дождей и ветра она сделалась неимоверно твёрдой. Мы замачивали её в морской воде в продолжение четырёх-пяти дней, после чего клали на несколько минут на горячие уголья и съедали её. Мы часто питались древесными опилками. Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за такую цену их невозможно было достать».

Не мудрено, что в дальних плаваниях под парусами особенно разрушительно действовал на людей недостаток витамина С. Он и приводил к цинге, отчего кровоточили дёсны и шатались зубы. В конце концов, вся полость рта превращалась в сплошную рану, а тело покрывалось гнойниками. Моряки не могли жевать и глотать, и буквально умирали от голода.

Нередко от цинги страдали почти три четверти экипажа, и кок должен был придумывать такие блюда, чтобы их можно было есть даже с расшатанными зубами и распухшими дёснами. Тогда и возникло профессиональное матросское кушанье «лабскаус» - мелко рубленая варёная солонина, смешанная с перемолотыми солёными селёдками и истолчённая затем в жиденькую, сдобренную перцем кашу. Этот «мусс»

могли глотать даже тяжелобольные. Немало матросов обязаны были ему жизнью. Само название «лабскаус» пошло от норвежцев, и дословно означает «легкоглотаемое».

Рецептура лабскауса с течением времени менялась, и в более поздних плаваниях в него стали добавлять также лук, солёные огурцы и картофель. Лишь значительно позднее врачи открыли, что цинга вызывается отсутствием в корабельном рационе свежих овощей и фруктов. При цинге не помогали никакие лекарства, кроме свежей пищи, как мясной, так и растительной – зелени, фруктов, брюквы и других овощей, без которых зубы почти полностью оголялись от дёсен, а сами дёсны распухали в палец толщиной.

Лишь большие потери в людях на кораблях военного флота заставили прибегнуть к поискам профилактических мероприятий от этой напасти. Английские военно-морские врачи Линд и Прингл, узнав из старинных нормандских источников, что ещё викинги имели обыкновение брать с собой в дальние походы кислую капусту, настоятельно рекомендовали британскому Адмиралтейству включить в корабельный продовольственный рацион квашеные овощи.

Однако оказалось, что наличие на корабле, отправляющемся в дальнее плавание, бочек с кислой капустой ещё далеко не решало проблемы. Это подтвердили экспедиции Байрона и Уоллиса, а также первое кругосветное плавание Джеймса Кука. Цинге объявлялся шах лишь в том случае, если это профилактическое средство употреблялось в пищу регулярно, в качестве ежедневной закуски. Между тем создавалось впечатление, что английские матросы предпочитают лучше погибнуть от цинги, чем взять в рот квашеную капусту. Ни разъяснения, ни добрые слова не помогали.

Тогда во время своего второго путешествия Кук избрал иную тактику. Он распорядился к каждому обеду демонстративно приносить для офицеров с камбуза в кают-компанию большое блюдо кислой капусты. Камбузный юнга получил указание носить это блюдо к «нютовым гостям» ничем не прикрытым, держа его перед собой на вытянутой руке, чтобы привлечь внимание обитателей бака. Всё, что получали офицеры, казалось простым матросам значительно лучше и вкуснее того, чем кормили остальной экипаж. Впрочем, в большинстве случаев так и было. Подобный трюк с кислой капустой немедленно произвёл в умах матросов соответствующую переоценку её достоинств, и «парни с бака» охотно начали её есть. Кук возвратился из своего второго кругосветного плавания, не имея ни единого случая смерти от цинги.

Те же англичане вскоре обнаружили, что хорошим профилактическим средством против косящей людей цинги является крепкий лимонный сок. В 1795 году британское адмиралтейство предписало дополнить ежедневную выдачу рома порцией лимонного сока. Сперва офицеры и команды других флотов издевались над этим нововведением. Английских моряков презрительно называли «лайми» - лимонниками. Однако вскоре и другие

флоты решили прибегнуть к этому средству и стали брать с собой лимонный сок: ведь это обходилось дешевле, чем уход за цинготными больными.

Но как оказалось в дальнейшем, средство от цинги было уже давным-давно открыто народностями севера. Называлось оно «копальхен» - квашеное моржовое мясо, в прошлом почти постоянная еда береговых чукчей, охотившихся на этого морского зверя. Кто ел копальхен, тот не болел цингой, но редко кто без привычки отваживался попробовать её – запах у копальки был убийственный.

Интересно замечание В. М. Головнина в его книге «Путешествие шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершённое под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 гг.» о способе борьбы с цингой. Иногда в море он приготавливал напиток из так называемой спрусовой эссенции и раздавал по полкружки на человека в день. Спрус – это канадская или чёрная ель, из её экстракта варился суррогатный настой, считавшийся противоцинготным средством. А вот капитан И. Ф. Крузенштерн, совершивший в истории российского флота первое кругосветное путешествие в начале 19 столетия, рекомендовал употреблять ... обыкновенное пиво.

Страшная болезнь цинга унесла жизни многих славных сынов России, осваивающих её дальневосточные рубежи. Особенно во времена достопамятных зимовок на берегах Татарского пролива Г. И. Невельского и его товарищей, доказавших, что Сахалин – не полуостров, как считалось ранее, а остров. Весной 1854 года начальник Константиновского поста Н. К. Бошняк сообщал Невельскому, что в продолжение зимы из 12 человек команды умерли 2 человека, из 48 человек экипажа транспорта «Иртыш» - один офицер и 12 человек нижних чинов, а всего из собравшихся в глухую осень на Константиновском посту 84 матросов и офицеров умерли 20 человек, то есть каждый четвёртый был похоронен.

До сих пор стоит на месте Константиновского поста в Советской Гавани старинный памятник из гранита с высоким чугунным крестом и надписью: «Умершим от цинги в зиму с 1853 на 1854 года. Транспорта «Иртыш» штурман поручик Чудинов и 12 человек нижних чинов. Корабля «Николай» 4 матроса и 2 матроса постовой команды».

Нельзя без волнения читать подобные посвящения, и ведь спасение находилось у людей под боком: дикорастущая трава черемша в изобилии покрывала близлежащие сопки. В море же, у самого берега, держалась нерпа, чья печень являлась богатейшим источником витамина С. Но если нерпу ещё нужно было добыть, то черемша произрастала здесь вдоволь.

Ещё задолго до открытий экспедиции Г. И. Невельского многие наши землепроходцы и мореплаватели утверждали, что человек может подписать себе смертный приговор откровенной ленью, когда отказывается, может быть даже по нежеланию, пить свежую оленью кровь вместе с так называемой ложечной травой. Именно она, якобы, являлась самым действенным

средством против цинги, и эта «ложечная трава» была ничем иным, как черемшой...

На Сахалине и Курилах черемшу ещё называют «медвежий лук»... Нивхи крошат и едят её вместе с юколой, сырой и варёной рыбой или варёным тюленьим мясом. Однажды, в посёлке Виахту, я наблюдал, как жена одного нивха готовила ему еду. Она срезала ножом боковину свежей кумжи, затем мелко-мелко искрошила рыбу на доске, также мелко порезала черемшу и, перемешав её с рыбой, подала на стол. При помощи китайских палочек он быстро справился с этой смесью.

Вообще, я заметил, что черемшу на Сахалине любят все, не только нивхи, всегда мелко крошат её и добавляют в виде приправы к любой рыбной или мясной пище. Черемша, действительно, вкусна и питательна, но не всякому приятен её запах, и как только к вам близко подходит человек, употребляющий в пищу черемшу, то становится не по себе, даже душно, хотя сам я с удовольствием всегда ел черемшу, находя в ней непередаваемый, присущий только этому растению аромат.

На Сахалине много небольших речек, впадающих в Охотское и Японское море. В их поймах раскинулись лиственные леса из ивы и тополя, представляющие собой какое-то удивительное жизненное раздолье. Попав сюда – хочется жить. И не просто, как это происходило раньше, а по-новому, необыкновенно...

Сразу появляется желание неутомимо изучать этот удивительный край, где особенно поражает высокотравье из гигантских папоротников, лопухов, какалии, крестовника, шеламайника, крупный зонтичных и других растений. Эти гигантские травы, выше человеческого роста, хорошо себя чувствуют под пологом пойменного леса.

Высокие травы, может быть, одно из главных своеобразий Сахалина и Курил, ибо густота зарослей, состоящих чуть ли не из древовидных стеблей-стволов, повергает. Нечто такое, чего, вроде бы, и не должно быть, но оно есть. Слишком непривычно видеть такие внушительные травы, это никак не укладывается в голове, тем более, что многое из окружающего в природе схоже с материком. Но ходить по этим зарослям несложно, в отличие от зарослей бамбука или стланика, потому что травяные стволы – мягкие, податливые под рукой, их легко можно раздвинуть или сломать.

Огромные лопухи раскидываются над головой, они закрывают собой небо, и ты оказываешься в таинственном влажном сумраке. Здесь густо пахнет разными кореньями и травами, а стоит надломить какой-либо ствол – и в нос ударит опьяняющая сочность. Дурман такой насыщенный, что тотчас захочется выбраться на открытое пространство.

Вот, к примеру, курильская гречиха – травянистое деревце трёхметрового роста, которое без труда можно свалить, наступив сапогом на основание его ствола. Или огромный крестовник, тоже трёхметровый, верхушку которого украшают жёлтенькие цветочки. Тут же и хорошо известный всем, кто живёт на Дальнем Востоке, в особенности, на Камчатке

– шеламайник, легко поддающийся удару сапога. И наконец, самый толстоствольный великан среди сахалинских и курильских трав: дудник, или медвежий корень, зонтичное растение с крупными соцветиями в виде распахнутых парашютов. Вообще, неспешное движение по этим травянистым дебрям приносит ощущение чего-то первобытного, будто ты находишься там, где не ступала нога человека, и от древности переживаемого ты испытываешь незабываемые впечатления.

Как-то я шёл с нивхами в селение Мгачи. По пути они увидели гигантский лопух. Вытащив ножи, нивхи срубили стемель у основания, отсекали верхинку с листьями, содрали верхний корковый слой, и стали его есть. Очищенный ствол растения был зелёного цвета и просвечивал на солнце. Глядя, как нивхи едят это растение, я тоже решил его отведать, и мне оно показалось каким-то пустым. Но я с интересом наблюдал за нивхами, которые уплетали эти салатные кусочки с видимым удовольствием, или же пытались убедить меня в этом.

Нужно заметить, что склоны речных долин и холмов на Сахалине обычно усыпаны ещё одним распространённым на острове растением – дикорастущей лилией саранкой. Саранка имеет синий и розовый цвет, и чудесно смотрится в сахалинском пейзаже. Но главное, что сладкая луковица этого растения богата крахмалом, и плод этот также охотно употребляется в пищу нивхами.

В 1849 году нивхи охотно угощали сахалинской сараной Невельского и его спутников, приготавливая из неё так называемый «пахнувший суп». Все съедобные растения, употребляемые для супов, нивхи готовят примерно одинаково. Предварительно корнеплоды сараны отмывают от песка, тщательно размельчают и кладут варить в котёл. Затем добавляют свежую или сухую икру, разминая ложкой икринку за икринкой, пока не разомнут всю, а в довершение спускают в варево кедровые орешки.

Буйность островных трав и их разнообразие были бы, наверное, ещё более обильными, если бы не туманы, не прекращающиеся в течение всего сахалинского лета. С севера, вдоль побережий, идут холодные воды, дрейфуют льды, а с юга подступает тёплое Цусимское течение. Какая-то часть его уходит по проливу Лаперуза направо, образуя большой круговорот, рассыпается у юго-восточного побережья Сахалина в Охотском море и носит название Соя, другая же следует на север, вдоль западного побережья острова, и превращается из тёплого в холодное где-то примерно у Холмска.

Невидимыми объятиями дополняя друг друга, холодные и тёплые воды образуют в месте своего слияния обильные туманы, которые постепенно передвигаются вдоль западного побережья на север. В таком месте порой побеждает тепло, но ещё до конца не преодолит холод, изредка сияет солнце и господствуют пронизывающие ветры, словом, возникает томительная недосказанность. Неожиданно навалившись неведомо откуда на сушу и въедливо поглощая под собой всё живое, эта туманная неопределённость

через какие-нибудь полчаса неприметно ускользает, оставляя место вольному островному пространству. Таков неподражаемый Сахалин...

Если бы Сахалин представлял из себя равнину, большая часть, если не вся его поверхность, была бы тундрой. На растительность острова пагубно влияют в основном ветры: по этой наиболее главной причине в долинах и низинах острова общий тепловой режим значительно суровее, чем на склонах гор. Это положение подтверждается тем фактом, что в долинах и низинах острова развиты тундровые ландшафты.

Холодные ветры с моря, наступая на горные склоны, отражаются от них: чем круче поверхность гор, тем сильнее отражаются частицы холодного ветра, и, наоборот, чем положе горные склоны, тем больше по ним скользят холодные ветры.

Северная часть низменного восточного побережья острова вообще почти вся представляет собой торфянистую низменную тундру, насыщенную водой, изобилующую озерами и болотцами. На глубине полуметра здесь начинается вечная мерзлота. В этих низменных местах произрастает много клюквы, морошки, разнообразных осок, ядовитого багульника и пушицы.

Только по берегам рек и на водораздельных возвышенностях растут невысокие леса из лиственницы. Чем дальше к северу, тем всё ниже и уродливее становятся деревья. Лиственница тут прячется в торфянистых низменных пространствах и имеет вид низких корявых деревцев, обвешанных лишайником. Всё чаще она держится обособленными небольшими группами или отдельными, далеко отстоящими друг от друга деревьями.

На многих японских картинах или китайских вазах, которые встречаются почти в каждом сахалинском доме, поражают причудливые хвойные деревья, кроны которых необычно вытянуты и искривлены, так что, поначалу, кажется, будто художник специально старался добиться подобного эффекта. Но побывав на Сахалине, очень схожим по растительности и климату с японскими островами, понимаешь, что причудливые деревья с горизонтально вытянутыми в какую-нибудь одну сторону ветвями, всегда изогнутыми, обыкновенная реальность, к ней постепенно привыкаешь, так же, как и к привычным для себя уральским могучим соснам и елям.

Короткие, толстые стволы хвойных деревьев, точно срезанные с одной стороны и простирающие ветви в противоположную, как правило, в глубь суши, - результат упорных ветров с моря или океана. Обычно рост деревьев не превышает нескольких метров, крона их несимметрична и однобока, а на отлогих берегах вообще лишь флагообразна. Но в этом есть своя дальневосточная поэзия, некая недосказанность, как в японских стихах танка или хокку.

С уважением всегда разглядываешь такие деревья, они начинают казаться тебе совершенно необыкновенными. Причём, подобную форму приобретают не только лиственницы и сосны, но и пихты, ели, и даже ольха с берёзой. Сама природа подсказала художникам необычные сюжеты для их

замысловатых картинок, которые, несмотря на свою суровость, в то же время воспринимаются очень обаятельными и простыми.

На юге острова всё обстоит иначе... Даже воздух, насыщенный влагой, воспринимается здесь по-другому, свободно и радостно. Постепенно продвигаясь по юго-западному побережью, нам часто приходилось наблюдать, как перед машиной выплывают из пронизанного тёплым светом тумана самые невероятные повороты почти забытой всеми дороги. То неожиданно покажется какое-нибудь пёстрое стадо вальяжно развалившихся у моря коров, поражающее вполне допустимой этому случаю неуместностью, либо вырастают, из ниоткуда, одна оживающая под взглядом сопка за другой. Их несколько размытые очертания, как ни странно, не обостряли неминуемое дорожное напряжение, а почему-то сглаживали его, и именно так, спокойно и просто, перед нами, наконец, появился давно ожидаемый и по рассказам довольно знаменитый на острове Кузнецовский перевал...

Перевал не спеша громоздился куда-то в непредсказуемый верх, по мощи своего основания представляющийся величавым, невероятно красивым, но пока полностью не видимый, и, конечно, с предугадываемым тайным отношением и тотчас возникшей необъяснимой расположенностью к нему. Увиденное молниеносно поражало, но со следующего мига воспринималось уже как давно известное, наряду со всем встреченным полюбившееся. Как будто в какой-то другой жизни ты видел это, но по непонятной причине позабыл, и вот теперь вновь открыл в себе, чтобы уже никогда не потерять.

И опять нас не отпускала дьявольская сила, созданная по воле чьего-то досужего неведения. Чёртов мост – тяжёлый каменный перешеек, вылепленный однажды природой, был сохранён ею отчасти. Уже достаточно разрушенный временем, он еле перехватывал смело вздымающиеся сопки, и потому был опасен.

Невозможно было преодолеть его на машине в непогоду, но и для ясного полдня это было не каждому под силу. Камни осыпались под колёсами, и неслышно было их падения. Они возбуждали в душе страх, а рёв мотора порождал неясный кружащийся над перевалом гул, который долгое время не стихал и всё звенел в ушах, отталкиваясь от крутобоких безмолвных склонов.

Чёртов мост, по рассказам старожиллов, захватывал людские души, и в пылу его преодоления трудно было этому не подчиниться. Необходимо было справиться с чарами сковавшей камни силы, стать от неё свободным и с замиранием духа заглянуть в бездонные скальные проёмы. Там, среди увитых плющом и лианами отвесных стен, потаённо сбегаящих и теряющихся в пышности ядовито-влажной зелени, слышались необыкновенно родные сердцу птичьи трели: на самом дне огромных зелёных чаш неутомонно превозносили восторженность жизни сахалинские соловьи.

Как только мы одолели перевал и начали спуск, всё вокруг сразу обмерло, дорога выправилась, и небо необыкновенным образом прояснело. Зажурчали в расщелинах невидимые ранее ручьи, сопки как будто успокоено перевернулись на другой, более отдохнувший и светлый бок, спуск с перевала стал приятным. У самого его подножия засверкала ожидающая нас своим покоем заповедная речка Шистама...

Остановившись неподалёку лагерем, нам было весь день до удивления приятно и радостно наблюдать неторопливо протекающую по её берегам жизнь. Сами воды речушки несли в себе некую мудрую размеренность, волшебную доступность прохлады и чистоты, в которой в обилии попадались большие серебристые рыбины: приложи минимальные усилия – и будешь вознаграждён. Тотчас мы выхватили у самого берега увесистую симу, безудержно бьющуюся на брюхе в скользких камнях, и принялись варить уху.

Вскоре на берег выскользнула из кустов проникновенно чуткая норка. Изящно перегибаясь и лоснясь на солнце, она начинала подкрадываться к струящейся воде, время от времени останавливаясь, принюхивалась, и вновь неслышно продолжала путь. Как зачарованный, неотрывно, наблюдал я за её действиями, и очнулся, только когда в её зубах затрепыхалась рыба, почти превосходящая норку по размерам. Грация хищного зверька не могла не восхищать.

К тому времени, как солнце поднялось к своему зениту, налетел лёгкий ветерок. Он никак не изменил нашего отношения к окружающему, по-прежнему всё было так же открыто и свободно. Запахи и тишина не сбивали с толку, убегающие за спиной нежно-салатного цвета склоны сопки лишь немножко кружили голову, и море, бесконечно близкое и пустынное, не отягощало своей беспредельностью.

Солнце сияло, море ослепительно синело, и, забредя по колено в воду, можно было наблюдать за буровато-алыми, в зеленовато-грязных разводах королевскими крабами. Крабы неторопливо наползали друг на друга, то и дело соскальзывали и вновь неутомимо забирались наверх еле шевелящейся живой лепёшки. Таких крабовых скопищ, достигающих в диаметре двух-трёх метров, было много, и располагались они на небольшой глубине.

Вглядываясь в преломляющуюся прозрачность, я с необъяснимым чувством восхищения приближался к затаившимся крабовым нагромождениям, стараясь не волновать водную поверхность. Крабы сидели тихо, только изредка какой-нибудь из них начинал медленно передвигаться, неуклюже запинаясь о колючки своих собратьев.

Присмотревшись, я вдруг обнаружил, что не все крабы одинакового цвета. Те из них, которые находились в самом низу, имели нежно-розовый, с матовым отблеском оттенок спинки: они, видимо, только что сбросили старые панцири, а новые ещё достаточно не окрепли. Панцири были мягкими, свободно продавливались под пальцами, и от этой крабьей оголённости у самого на коже начинали появляться неприятные мурашки.

Свою незащищённость крабы прятали под ещё не сброшенными панцирями тех, кто находился наверху. Как могли, они оберегали друг друга от подстерегающей под водой опасности, и именно с этой целью перемещались с глубин поближе к берегу.

Но избавив себя от одной угрозы, они, в то же время, подвергали себя прямой вероятности побывать в кипящем котле. Несколько заторможенные в период смены своего покрова и потому легкодоступные, крабы почти не сопротивлялись, вяло потягивая ослабевшими ножками. Клешни их ещё не обрели свою коварную цепкость, колючки пока не заострились, а лишь мягко покалывали ладошку, и крабы безропотно падали один за другим в плывущую за спиной на привязи капроновую корзину, тотчас переворачиваясь в ней навзничь.

К обеду ветер так и не улёгся, но день продолжал быть ясным и солнечным. На берегу жарко дымил выбеленный плавник, в котле бурлила круто засоленная природой морская вода, сладкий запах крабьего мяса дурманил голову, выжимая во рту липкую слюну. Всё было так просто и хорошо, что ни о чём не хотелось говорить, только вдыхать приятный солёный дымок, и вместе с набегающим время от времени ветерком плавно кружиться в мыслях над белой песчаной косой...

На протяжении всего оставшегося до Крильона пути берег дарил нам немало интересного. Сначала это было полузатопленное ржавое судно американской постройки типа «Либерти», выброшенное на мель в 1952 году. Мёртвое и просвечивающее со всех сторон, оно, тем не менее, оживляло берег, напоминая огромного усталого кита, прилётшего на неопределённое время отдохнуть и в обременении своих усталых снов ещё не проснувшегося.

Проезжая мимо, почему-то не хотелось ни о чём говорить: громадность недвижных боков судна удивительным образом зачаровывала, так что выйти из этого состояния нам удалось не сразу, и даже когда «Либерти» уменьшилось до размеров спичечного коробка, мы продолжали оглядываться на него, провожая остановившимися долгими взглядами. Надо заметить, что во время второй мировой войны США обязались переправлять СССР через Атлантику и Тихий океан военные грузы: это были поставки по Ленд-лизу – так называлась помощь заокеанского союзника нашей стране, сражавшейся с гитлеровцами. Из американского порта Сиэтл шли в Мурманск и Владивосток суда с грузом сахара, канадской пшеницей и свиной тушенкой в банках, которую наши солдаты прозвали «второй фронт». Правда, помощь эта была не бескорыстной, а в долг, расчёт же осуществлялся после победы. Так вот по этому Ленд-лизу в нашу страну поступали не только продукты, но и военная техника, в частности – суда. Кстати, на Дальний Восток, а именно – через Аляску пришла почти половина Ленд-лиза.

При постройке судна приходится учитывать сопротивление корпуса, который должен быть таким, чтобы выдержать и силу ударов волн, и напряжение при подъёме корабля на волну. Небольшое судно иногда лучше выдерживает шторм, чем крупное. Короткие суда обычно «въезжают» на

один склон волны и «съезжают» с другого, тогда как длинные проходят по волнам на ровном киле. Опасная ситуация возникает, когда нос и корма попадают на два последовательных гребня волн, а центральная часть судна попадает на ложбину и испытывает прогиб, либо когда середина судна попадает на гребень, а нос и корма «повисают». При особо сильных напряжениях судно может разломиться надвое...

В частности, именно этому обстоятельству обязаны своей печальной известностью некоторые типы американских кораблей, переправляемые нам по Ленд-лизу. Например, «Либерти». Эти суда были построены в доках военного времени на скорую руку, обшивка их сваривалась из покрытых ржавчиной стальных листов, а иногда они и вовсе держались на заклёпках, так что вся конструкция лишь напоминала морское судно. При шторме подобного рода суда часто не выдерживали нагрузки и, конечно, переламывались...

Суда, оставшиеся после войны целыми, мы обязаны были отдавать или оплачивать, но после скорого запрета на сдачу техники, решено было передавать её народному хозяйству. Судно, отслужившее свой срок по состоянию корпуса и благополучно вернувшееся к родным берегам, приписывалось портам, где его использовали в качестве плавучего склада или бранд-вахт. В случае же, когда по истечении нескольких лет работы в море оно гибло, его исключали из списков флота... Обычно выброшенное в отдалённых и труднодоступных районах на мель, судно так и оставалось там на долгие годы. Наш «Либерти» оказался как раз из числа подобных кораблей-призраков...

Ещё через пару километров, неподалёку от устья реки Луки, мы заметили возвышающуюся над горой длинную серую трубу. Водитель объяснил, что мы видим остатки небольшого японского крабозавода, что завод был подземный, пройти туда невозможно, потому как все входы и выходы в своё время были взорваны, и осталась только торчащая из-под земли труба, поражающая здравый смысл напоминанием о непостижимых японцах, устраивающих всё на свой непонятный никому лад.

Потом я ещё долго гадал, зачем японцам понадобилось уходить под землю, и постепенно пришёл к мысли, что за видимой непостижимостью скрывается обыкновенная практичность, которую они не поленились по неведомой нам причине самым тщательным образом осуществить. Может быть, японцы, таким образом, пытались уберечь свои объекты от вражеского налёта с воздуха? Но учитывая трудоёмкость произведённых работ, причём, в короткие сроки, опять поражаешься удивительной изощрённости японцев, этой их способности, не задумываясь, жертвовать собой во имя общего блага...

Но как бы ни был разнообразен берег, море оставалось морем. Оно всё время находилось у нас справа и не могло оставлять равнодушным. Глядя, как оранжевое солнце опускается в него, невозможно было думать о чём-либо другом, и только посвистывающий в ушах ветерок обдувал лицо

душистой прохладой, и едкий морской запах приятно щекотал ноздри, а убегающая под колёса машины дорога по упругому мокрому песку представлялась нескончаемой.

На Крильон мы приехали поздней ночью. Над мысом загадочно дышала дурманящим туманом размеренная темнота, ничего не было видно, и только маяк напряжённо подмигивал что-то неопределённо-тревожное своим гигантским жёлтым глазом. Здесь, в этом медлительном царстве туманов, нам предстояло пробить неведомые два месяца...

Из «Лоции Японского моря», по которой происходило моё первое знакомство с Крильоном, я узнавал названия неведомых ещё мысов, островов и заливов. Благодаря их наименованиям здесь ощущалось постоянное присутствие бесстрашных первооткрывателей, в честь которых они были названы. В этих, казалось бы, не подходящих для французов местах никто иной, как Жан-Франсуа де Гало Лаперуз, возглавивший в 1785 году исследовательскую тихоокеанскую экспедицию на фрегатах «Буссоль» и «Астролябия», в 1787 году проник из Японского моря в Татарский пролив до 51 градуса 30 минут северной широты. Следуя вдоль берега Сахалина от мыса Жонкиер на юг до мыса Крильон и открыв на пути остров Монерон, Лаперуз прошёл между Хоккайдо и Сахалином к Камчатке, откуда уже повёл свои фрегаты к островам Самоа.

Именно Лаперуз увековечил имена своих соратников и видных людей Франции, придавших впоследствии неповторимый колорит уголку дальневосточной природы. Обнаруженному им у юго-западного побережья Сахалина острову Лаперуз дал имя инженера экспедиции – Монерон. Залив в северной части Татарского пролива получил название благодаря морскому министру Франции – Де Кастри. Нетленный дух члена Туринской Академии и корреспондента Королевской Академии наук Ламанона до сих пор витает над небольшим мысом в средней части западного побережья острова. Непревзойдённой чести был удостоен капитан одного из судов экспедиции – Де Лангль, чьим именем был наречён обширный залив на юго-западном побережье Сахалина. И наконец, Крильон – знаменитый французский генерал, участник Семилетней войны, своей дерзостью и умом дал повод обозначить собой на карте южную оконечность Сахалина. Имя самого Лаперуза соединило два достойных друг друга моря – Японское и Охотское.

Наличие французских имён будто обогатило эти берега, вдохнуло в них недостающую жизнь. Но чем дальше находился я там, тем более понимал, как хороши они сами по себе, в своей невзрачной, незаметной красоте.

Бывало, в сырые чёрные ночи, когда тревожный луч маяка безнадёжно зарывался в неумолимо наплывающем, нескончаемом тумане, на душе становилось как-то душно, даже – жарко, и сон не шёл. Запотелые окна в домике метеостанции дышали спёртым воздухом, сердце гулко ударялось в груди, и тянуло выйти на улицу. Туман тотчас въедался в кожу, наполняя душу неопределёнными желаниями, и будто распылял мечты.

И хотелось вернуться в комнатную духоту, в надежде там обрести успокоение, но и тянуло остаться и стоять неизвестно зачем, подставляя лицо липкой холодящей мороси. Было что-то приятное в этой неосознаваемой вдумчивой отрешённости, а в бесшумно ускользающих минутах начинало вдруг угадываться: эта отрешённая туманная тишина обязательно принесёт очень важное, близкое только тебе одному...

... Великий путешественник приходил тогда ко мне неясным образом, не улыбался, не был серьёзен, а только спокойно заглядывал в душу, был удивительно понятен и близок. Строгий мундир из тёмно-зелёного сукна, блёклые опрятные пуговицы, чуть белеющий в темноте парик... Без него невозможно было представить этого открытого лица. Отдав себя на волю собственного безбрежного воображения, можно было представить Жана Лаперуза с чёрными, как ночь волосами, и тёмно-синим глубоким взглядом...

Вероятно, он и был таким – смелым, великодушным до отчаяния, честным. Может быть, только чуточку корыстолюбивым, что, вполне возможно, даже помогло ему совершить своё плавание. Ему выпала по-настоящему достойная мужчины жизнь, он её не упустил, и вот теперь, навсегда оставшись в этих местах, что-то подсказывал мне своим присутствием.

Луч расплывающегося маячного света метался в неясной темноте. Неловко переваливаясь с одной стороны на другую, чем-то необъяснимым приковывал. Невидимая морская бездна и блуждающие в ней корабли почему-то не представлялись сейчас такими важными, а только сам свет маяка, ослепительное лицо линзы и бьющиеся вокруг неё птицы.

Птицы не успевали вскрикнуть, с размаху ударяясь о пылающее белое стекло. Их почти не было видно в рассеивающемся сыром свете. Только надтреснутое оханье, выхваченный на миг из мрака болезненный излом крыльев, неясный шум, который тут же утопал в перенасыщенном влагой воздухе. Сердце тяжело немело при мысли, что птицы бесследно проваливаются в туманном мраке, и их обмякшие тела разбивают о безжизненные камни настырные волны.

Когда-то, поздней осенней ночью, мы шли проливом Фриза на север, и море с ветром словно стремились превзойти друг друга в разгулявшемся надрыве. Доверчивые морские голуби, обезумев от рвущейся непогоды, налетали пепельными грудками на оконное стекло в рубке, жалобно чиркали о него длинными клювами и чёрными растопыренными лапками, и безжизненными тельцами валялись на палубу. Еле внятное туканье несло со всех сторон и казалось, будто птицы существуют за неизвестной стеклянной жизнью, где они не могут управлять своим полётом, и не в силах обрести родную для себя свободу.

Невозможно было помочь им, ежеминутно подлетающим с упрямой надеждой на спасение и тут же погибающим. От такого зрелища впору было напугаться самому человеку. А море рвалось неустанно под судовым

днищем, и ветер разбивал в пыль ледяные брызги. Нас тогда было трое в рубке, и, молча наблюдая за происходящим, каждый, должно быть, чувствовал, как самое доброе в душе куда-то незаметно ускользает...

И вот теперь опять, спасительный для кораблей, но одновременно притягивающий очередные птичьи жертвы, луч маяка безразлично взлетал и падал, и никак не мог разрешить моих неясных сомнений. Всегда принимая без затей обыкновенную сущность любого маяка, я вдруг с удивлением обнаружил, что ничего не подозреваю о его внутренней жизни. О том, что питает в ночные часы его силы, откуда берётся его неистощимость, и уж такой ли он на самом деле коварный? Почему маяк рождается и живёт вместе с морем дольше человека?

Обычное дело здесь, на Дальнем Востоке, маяки с проблесковым огнём, когда вращающаяся установка поочередно посылает в море то зелёный, то красный луч. Сектор маяка охватывает более двухсот градусов, высвечивая вместе с морем и часть скалистого берега с лесом, и голые сопки, и густую туманную завесу. Среди моряков бытует давно укоренившееся мнение, что маяк, посылая в штормовую тьму спасительный свет, придаёт всем уверенности, подымает настроение, а уж насчёт его навигационного свойства вроде как и неприято даже упоминать: это нечто само собой разумеющееся...

Но вот если ты находишься на берегу, а не в море, свет маяка производит совсем иное впечатление: он – завораживает, и даже пугает. Его немигающий, кажущийся от этого неживым зелёный луч не вызывает ничего кроме неясной тревоги, и всё же ты с затаенным любопытством всматриваешься в его бег по волнам и не можешь отвести взгляд. На душе отчего-то становится жутко, и уже невольно не завидуешь тем храбрецам, что оказались в штормовом ночном море, и хочется очутиться, наоборот, там, где покойно и тепло, и где тебя не будет преследовать неприятно мерцающий, зеленоватый до мертвенной бледности луч. Заглядываясь на высоко светящийся над морем огонь, всё вокруг обретает какую-то неуютную призрачность, а немые крадущиеся лучи маяка только ещё более усугубляют страх от бушующей стихии...

Маяк неразлучен с морской стихией. У её обрывистых берегов, на пути следования кораблей, стоит он для указания пути мореплавателям. С заходом солнца на его вершине зажигается огонь, который поддерживается всю ночь, с восходом маяк засыпает.

Маяки возводят на высоких неприступных мысах или других каких-нибудь опасных местах побережья. Основание и башню обычно выкладывают цилиндрической формы, чтобы снизить сопротивление ветру. И хотя ветер маяку не брат, живут они с пониманием извечного существования друг с другом.

Вольному ветру, не скованному пристрастием к осёдлости, легко подшучивать над неповоротливым богатырём. Он с размаху ударяется о могучую каменную грудь, без устали беснуется, будто подзадоривает его.

Маяку бывает нелегко справиться с одолевающими его желаниями, он сердится, но, всё же, стойко преодолевает обрушивающиеся на него испытания.

Особо не важничая своим неприступным видом, с достоинством несут маяки свою службу. Им, кажется, можно доверить любое, самое ответственное дело с полной уверенностью, что они его обязательно и наилучшим образом исполнят.

Портовые маяки помещаются при входе в порт, на головах портовых молов. Чувствуя за собой напряжённое оживление городской жизни, овеянные теплом тысяч уличных фонарей, квартирных окон и заводских труб, они не замечают своей избалованности. Вальяжно стерегут эти маяки морские подступы к городу, только изредка позволяя волнам лизать их каменное подножие. Жизнь их проходит сравнительно спокойно, без каких-либо нервных потрясений. Похоже, они вовсе не испытывают зависти к своим собратям, несущим службу на далёких островах.

Настоящие маяки-труженники – это маяки указательные, возводящиеся в открытом море, на отдельных небольших скалах и отмелях, а иногда и на искусственных возвышениях дна. Они служат главным образом для того, чтобы дать возможность судну, приближающемуся к берегу, ориентироваться относительно своего положения и проверить правильность своего курса.

Как бы тяжело не приходилось маякам в жестокие осенне-зимние шторма, они всегда настроены по-боевому. Переживать отчаяние им не пристало, так же как не пристало поддаваться благодущию. Открытым, ни от кого не зависящим, им редко удаётся насладиться отдыхом, поскольку живут они для других, и в этом всецело черпают для себя истоки искреннего долголетия.

Знаменитейший из всех маяков древности был маяк Александрийский, на острове Фарос, вследствие чего название острова сделалось нарицательным именем для маяков вообще. Александрийский фарос причислялся к так называемым семи чудесам света. Он был построен Состратом около 283 г. до н. э. и существовал ещё в середине 14 столетия. Высота его достигала 170 метров. Не меньшею известностью в древности пользовался Родосский колос.

К наиболее знаменитым маякам позднейшего времени принадлежит построенный в 17 столетии маяк Кордуанский. Маяки Венгерокский и Скагенский, на северной оконечности Дании, существуют более 400 лет. В конце 19 века самым старинным уже считался маяк Корунья в Испании, построенный императором Траяном. Возобновлённый в 1634 году и снабжённый в конце 19 столетия проблесковым освещением, он получил вторую жизнь.

Раньше считалось, что чем выше маяк, тем дальше он виден: маяки старались возводить уходящими в поднебесье, недоступными ни для кого, кроме птиц. Однако, впоследствии оказалось, что при большой влажности

воздуха, снижающей прозрачность атмосферы, свет высоких маяков виден плохо, а невысоких - хорошо. Но высоким маякам, наверное, не стало хуже от того, что кто-то из их собратьев более различим в непогодном мраке. Выстроенные на совесть они по-прежнему оставались горды собой.

Помимо различия в характерах, внешнем виде и окраске, маякам, для возможного различия в тёмное время и для предотвращения весьма опасных ошибок в этом отношении, присваивалось только им одним присущее освещение. Для этого вводились цветные стёкла фонарей, не всегда, к сожалению, способные к употреблению, так как на больших расстояниях цвет огня терялся. Поэтому различие маячных огней достигалось переменами света, для чего устанавливались его деления на постоянный, вертящийся, мерцающий, постоянный с проблесками, проблесковый и переменный.

В древние времена для освещения маяков жгли костры из дров или каменного угля, бочки со смолой и смоляные факелы. Источником света для маячных огней в 19 столетии служили большей частью лампы с несколькими концентрическими светильнями, с полным притоком воздуха между ними и полным сгоранием масла, обыкновенно сурипного. Из минеральных масел, которые впоследствии вошли в употребление вследствие их дешевизны, применяли бензин и керосин. Однако, они портили стёкла, которые тускнели.

Такое же влияние имел китовый жир и спермацет, которые были весьма употребительны для маячного освещения в Америке. Масло накачивалось в лампу из запасного резервуара с помощью насоса, который приводился в действие часовым механизмом.

Газовое освещение было удобно лишь в тех случаях, когда маяк располагался на берегу вблизи города, в котором имелось газовое освещение. На смену газовому освещению, вскоре пришло электрическое, включающее систему отражательных и преломляющих линз, концентрирующих излучаемый источником света поток в пучок с небольшим углом рассеяния.

Дальность действия современных маяков составляет от 20 до 50 км, тогда как на рубеже 19 и 20 столетий свет двух самых мощных маяков – Ла-Гевского в Гавре и на мысе Пенмарк, близ Бреста, был замечен за 50 морских миль. Молодость, как видно и у маяков не всегда преимущество, если она не обуздана. В полную силу дана возможность трудиться только тому, кто, обретя седины, достиг наивысшей крепости духа и чистоты помыслов.

Маяк на Крильоне был не так уж молод, как это показалось мне при первой встрече. Вернее, я даже совсем не обратил на него внимание. Перестроенный заново при японцах, он не отличался с виду чем-либо знаменательным.

Старые добротные постройки строго обрисовали его двор и казались невыразительными и скучными. Острые углы их поддерживали серые каменные желоба, по которым во время дождей вода стекала в подземный колодец, расположенный посреди двора. Подземные оттоки к нему были выложены морской галькой вперемешку с листьями ламинарии, и служили

отличными фильтрами. Нехватку пресной воды на мысу японцы решили с присущей им практичностью – мудро и просто.

Часто, проходя мимо, я замечал, что эти незначительные строения хранят останки лучшего времени для Крильона, способного быть очень важным в узнавании острова. Здесь было слышно, как уходит тонкое понимание японцами небезразличной им земли, неумолимо сменяемое нашим равнодушием. Только одинокий маячник, с его неизменно восторженной речью неся на себе всю тяготу этой настоящей действительности, ещё, кажется, ждал от неё чего-то лучшего. Довольно безнадёжными представлялись порой его ожидания...

Хозяином маяка на мысе Крильон числился богообразного вида старичок Евсеич, по прозвищу «Огород без грядок». Небольшого росточка, с весёлыми голубенькими глазками и седым чубом, так же залихватски торчащим у него над самым лбом, он не вызывал ничего, кроме чувства всеокрушающего оптимизма. Весь облик его предполагал неистребимую доброжелательность, и если бы не малиновый нос, её следовало бы, не задумываясь, принять за ничем неискоренимое свойство характера, что, впрочем, нисколько не умаляло его по-настоящему жизнеутверждающего настроения.

Евсеич, как мальчишка, непременно желал знать всё на свете, и с трепетной доверчивостью относился к редким гостям на его маяке, стараясь расспросить их обо всём, что им в жизни интересно, не забывая при этом поделиться и собственными советами на предмет познания им животрепещущих жизненных вопросов. Если твой удел – только постоянное терпение и одиночество, то его можно было понять. Ведь одинокое пребывание на маяке питается, по большей части, одними воспоминаниями: чем ещё можно было украсить своё существование?

Однако предаваться одним и тем же думам жизнедеятельному Евсеичу было не с руки, и в день нашего приезда на Крильон, с самого утра, он тотчас, как-то незаметно, очутился рядом, самоотверженно помогал в выгрузке оборудования и даже пытался руководить. Сил его с избытком хватало и на маяк, и на нас, и всем сразу понравился этот доброжелательный и весёлый старик.

Сам про себя Евсеич говорил так:

- Характер у мене, можно сказать, шибко неуживчивый, я с ним порой вовсе не совладаю, но так мой внутренний механизм устроен, ибо беспорядок его более всего тяготит. Ежели узрю, что какое-то дело творится невпопад – не остаётся в моей душе никакого снисхождения. Порядок – огород без грядок!

- Известное дело – порядок всему голова, - подзадоривал деда кто-нибудь из нас.

- Которым порядком ехать-то, надо ещё поглядеть! – тотчас вразумлял он.

- И каким же порядком велено строиться? – не отставали мы от него.

- Боевым порядком, что на флоте бейдевиндом называется! – бодро докладывает дед. – Решительней курса не сыскать! На всё только он угоден, и никак иначе: порядок – огород без грядок!

- И чего же он в себе заключает?

- Как есть такой расклад, что ни единого дела не испортит, и любую заблудшую бестолочь из самого непроходимого запущения выведет.

- Вам-таки, порядком этим, изрядно, видать, досталось!

Но дед гнёт свою линию:

- Порядочный человек беспорядка никогда не допустит: порядок – огород без грядок!

Однажды, оказавшись в гостях у деда, на маяке, я в шутку заметил:

- Уж больно ты, дедушка, грозен!

- Бог пути грешных правит, а я, значить, ему подсобляю, ни чуть не смутившись, заявляет старик. – Так выходит! Государь правит царством, а я – своим маяком.

И это была чистая правда: на маяке у Евсеича царил исключительный порядок. Даже при его закоренелой любви к «зелёному змию» - это вызывало недоумение: как старику удавалось поддерживать всю маячную службу в порядке, не опасаясь оступиться – только одному ему было ведомо.

- Дело знай, да правду помни, а кривда сама себя рассудит, - не унимался Евсеич. – Бережение всему требуется: что Бог даст – бери, а своё – береги!

Но тут же, склонив ко мне голову, и прищуриив глаз, весело, будто по секрету, добавлял:

- Как поп попадью бережёт...

И против этого трудно было поспорить.

- Нет ничего лучше, чем справлять своё дело как положено! – к месту и без оного любил торжественно заявить Евсеич, более создавая вокруг беспокойства, нежели любимого им распорядка. Впрочем, досаждал он этими рассуждениями ни кому-нибудь, а самому себе, что его, кажется, ещё пуще воодушевляло.

- Красота! – в неописуемом восторге восклицал он, завершая покраску оградки вокруг маяка. – Вот выкрашу к празднику всю маячную станцию в ярко-красный цвет – и вовсе ослепнуть можно будет!

- А почему именно в красный? – спрашиваю я у него.

- Ты это брось, - неожиданно рассердился Евсеич. – Тоже соображать надо! Али не разумеешь, что в нём – соединение истинной красоты и добра, что по всей нашей необъятной стране разлита. Красный – значить, огневой, всем цветам цвет, что ни на есть – самый налив: никогда не завянет!

- Не всякий умён, кто в красное наряжён, - осторожно замечаю я.

- Поживи с наше – увидишь ещё краше. Краснее красна не вырядишься, и красный цвет, я так разумею, существует для украшения жизни человеческой. Согласен будешь?

Мне ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть головой. Старик оживился.

- Я хоть и стар, а люблю завести ниточку в иголочку.

Как-то мы поднялись на башню для осмотра фонаря, и я был поражён открывшемуся морскому пространству, с белыми, как чайки, бурунами и туманно-серебристыми далями. И сразу в груди защемило ранее неведомое, головокружительное ощущение, будто ты летишь в эти неясные дали, не чувствуя своего тела, ничто тебя не сдерживает, и тебе важно не то, куда ты устремляешься, а сам полёт, это непередаваемо захаровывающее кружение, когда паришь и не думаешь, что можешь упасть. Завлекало парение именно над морской стихией, и такого я не испытывал даже на маяке у Тагира.

Море выгнулось серовато-голубой китовой спиной прямо перед нами, необыкновенно радостно было гладить его взглядом, и всё смотреть, смотреть, не отступая... Вывел меня из задумчивости проникновенный голос Евсеича:

- Уж, почитай, полвека смотрителем маяка значусь, а всё никак не привыкну к этому простору... Раздолье такое, что дух захватывает, и всё хочется полететь... У моря, как и у Бога, завсегда простор, да в людях теснота, не поворотишься. Тем туточки и спасаюся.

- Зря, значит, говорят, что в тесноте люди живут, а на просторе – одни волки?

- Отчего же, птица морская тоже необъятное пространство привечает. Когда простору – на все четыре стороны, душе вольготней. Да, и ум простор любит: где ещё можно так свободно поразмышлять, дать мыслям развернуться? Правда, не всегда себе это можно позволить.

- Отчего так?!

- Забот у меня на маяке – невпроворот! Море несёт на себе корабли-пароходы, а я, вроде как, при нём охранителем: смотри – не зевай, содержи вверенное тебе хозяйство в исправности. За всем пригляд должен быть, и примечание...

Знай, подавай навигационный сигнал проходящему мимо судну, а для ентото, будь любезен, обеспечь бесперебойную работу прожекторов! Обслуживание оптики – наипервейшее дело, а ещё успевай отвечать за надёжную службу всех систем: что случись – нужно уметь разобрать и собрать дизель, он – живое существо... Быть ночным смотрителем и радистом, постоянно наблюдая за напряжением аккумуляторов – тоже моё дело. Опять же – на маяке не обойтись без покраски: солёный туман с ветром съедает металл буквально на глазах.

До всего на маяке следует оказывать внимание, каждый день обустряивая его жизнь. Шторм вышибает окна в стационарном домике – стекла. Ступеньки, ведущие к самому сердцу маяка, обветшали, - чини. Провизию вот тоже не всегда получается доставить, больше – из-за непогоды, и приходится куковать чем бог послал...

А как-то нашествие крыс приключилось – на силу отбился... Изничтожили всё, что только было возможно: в конце концов, за табуретки принялись! Чем они-то им не угодили?! Кабы на этих супостатов ни пара котов – курильских бобтейлов, что мне начальник метеостанции с соседнего острова завёз, не на шутку бы одолели. Маяк для меня – родимый дом, вся жизнь ему отдана.

Предметы обычно усиливают ощущение времени. Как правило, они живут дольше людей, и маяк на Крильоне не был тому исключением.

Правда, был этот маяк не такой уж старый, чуть более ста лет, но и так долго человеку жить не хочется, ибо самое радостное ощущение жизни мы переживаем в молодые годы, когда даже самые старинные предметы удивительно легко теряют свой возраст в череде переживаемого тобой нескончаемого счастья. Молодость растворяет в себе седое прошлое, о нём не хочется думать, прославляя только настоящую жизнь. Впрочем, прелесть её бывает заключена и в воспоминаниях, что часто оказываются сродни сказке, которая уже не повторится, и оттого всегда, вспоминая, хочется придать пережитому нечто несбывшееся, и оно тогда по-прежнему дарит радость. Для старого маячника такие воспоминания представляли из себя волнующий, полный самых ярких событий мир...

Свет его маяка был путеводной звездой для многих поколений моряков, неугасимым Сириусом или Венерой. Он нёс свой мерцающий свет над скалистыми обрывами и песчаными отлогими берегами, над тёмными вершинами вытянутых в сторону суши лиственниц и всем этим дремучим лесным краем, где не живут люди, а слышен только шум прибоя, видится блеск неясных созвездий и ощущается цепкий холод бездыханной приморской ночи... Только одинокая луна, как и вздрагивающий огонёк маяка, взбирается к полуночи на безликое небо, и таким же вздрагивающим, неясным пятном скупое освещает скалистые утёсы. Тишина, мрак и яркий луч невесомого, но осязаемого света, – спасение для терпящих бедствие и надежда, что тьма рано или поздно расступится...

Глядя на величественный маяк, в ночи, становилось понятным, почему Евсеич испытывает чувство уважения к таким предметам, вернее – сооружениям, что не могут не вызывать восхищения.

- Маяк, прямо скажем, корабельное строение! – любил повторять он. – Не зря мне пришлось почти полвека маячить, но маячить – не значит мельтешить, а верно подавать знак. Как никак – государственная забота!

Евсеич, действительно, любил своё детище.

- В стародавние-то времена, между прочим, профессия маячника передавалась по наследству, - не без гордости добавил старик. – Знаешь ли ты это? Целые «маячные династии» возникали, и должность смотрителя маяка была очень престижной. Поддержанием навигационных огней занимались даже монахи, почитая это как одно из служений ближним... Во как!

Евсейч задумался.

- Маяк для меня – храм Божий, как ему не порадеешь! А о чём душа радела, то Бог мне и дал: я ведь о море с детства мечтал, да по здоровью в мореходку не прошёл... Голодное блокадное детство. Но гидрографом всё-таки стал! Здесь, рядом с морем, мне каждый день всё интереснее и интереснее жить на свете...

Старик неловко улыбнулся.

- И не пугает вас всё это однообразие?!

- Что ты!

- Возле моря, я давно это заметил, очень быстро привыкаешь к его шуму. Слух по-прежнему улавливает его, но уже не сосредоточен на нём. Вскоре ты совсем перестаёшь замечать звуки, исходящие от моря. Даже в шторм не воспринимаешь его гул...

- Если вдуматься, то душа, на самом деле, не устаёт угадывать разное движение волн. Звук набегающей волны вовсе не надоедает ей, и она очень трепетно вслушивается в него, отмечает все оттенки и чутко несёт в себе. Всё это происходит незаметно.

Шум моря вливается в тебя неугасимым потоком, побуждает дышать с ним в едином ритме, и наполняет энергией. Море распространяется в твоей душе безраздельно, оно – неповторимо, а ты этого порой и не замечаешь.

- Это помогает в работе?

- Раз живёшь морем, значит, живёшь и маяком. Ты не можешь не чувствовать его.

- Дед, а что для тебя здесь, на маяке, дороже всего?

Как будто услышав мои мысли, Евсейч, тяжело вздохнув, тихо проговорил:

- Знаю, о чём ты подумал...

- О чём же?

- Что я, мол, не могу обойтись без «зелёного змия»?

- Да нет, как бы ты справлялся при этой беде со всеми своими обязанностями! Тебя ведь держит что-то другое?

- Море меня держит... Если не слышен шум прибоя – я чувствую себя не в своей тарелке. Мне чего-то не достаёт, очень важного, что вынуждает жить и получать радость. Без шума накатывающего на берег прибоя – в голове моей не рождаются мысли, а душа оказывается обездоленной. Когда же с моря наносит густой туман, и его можно хватать ртом, как куски сахарной ваты, вместе с этим ароматным туманом в меня входит душа моря... Как же я могу его оставить?!

- Когда я впервые окунулся в такой туман на Курилах, я назвал его обыкновенным чудом...

- Лучше и не скажешь. Вроде бы, и обыкновенное явление, тем более - здесь, на дальневосточных берегах, но и совершенно неповторимое. Как это ни странно звучит, но меня туман учит терпению.

- А рокот океана?

- Воображению... Чего только не услышишь среди чёрных скал и белоснежных бурунов, прибегающих к нам из его неведомых глубин! Порой – самые волшебные вещи... Океанский накат сродни порыву человеческого духа.

- В такие отрешённые штормовые дни, наверное, несложно представлять маяк своим кораблём?

- Я ощущаю это постоянно.

- И я люблю рёв ветра в корабельных снастях... Вероятно, когда-нибудь, мне будет сильно его не хватать.

- Щедрость моря безмерна... Даже, когда оно находится в глубоком сне, без единого всплеска. Я кожей ощущаю всегда его присутствие. В море – всё существо красоты этого мира.

- Хорошо слушать жизнь рядом с морем...

- И тогда ты понимаешь, что она не проходит даром.

- А как, всё-таки, справиться на маяке с одиночеством?

Евсейч только вздыхает.

- Я ближе к делу, а он всё про козу белу!

- И всё же...

- Бывает, ночью не спится, выйду из маячной сторожки, и сижу на берегу, гляжу на мерцающий свет маяка. Луч вспыхивает, скользит по еле различимой поверхности моря, что представляется мёртвым, и на душе отчего-то становится так отрешённо, даже – пусто. Будто это и не я служу на маяке, кто-то другой, и я тут оказался случайно. И тогда охватывает какая-то странная дрожь, дикие мысли лезут в голову, что на материке, за проливом, сейчас полная событий жизнь, огни и шум городов, на улицах слышится музыка и смех, а меня там нет... Я как будто и не жил.

Евсейч на минуту задумывается, цепкими пальцами разминает папиросу и закуривает.

- И что тогда? – осторожно спрашиваю я.

- Наваждение, конечно. Чего только не передумаешь, когда один. Иной раз хочется уехать куда-нибудь, к иной, более счастливой жизни. Сердце, как непутёвый щенок, тыкается, ворочается в груди, особенно по молодости сомнения всё более одолевали.

Евсейч глубоко затаился, с наслаждением закашлялся, глаза его заслезились...

- Часто начинаешь воображать всю эту неведомую для себя жизнь, и сердце опять отчего-то затревожится. Но вот вдруг заслышишь гудок какого-нибудь проходящего мимо парохода, и встрепенётся что-то в душе, будто отойдёшь ото сна, и вся твоя вольная, на особицу работа сразу предстанет значительной. Так отчего, думаешь ты, тебя одолевает эта прекрасная тоска, когда многие люди, там, на материке, наверное, только мечтают оказаться на твоём месте, удалившись от наскучившей суеты? И хочется тебе, чтобы твоя редкая и очень нужная для людей работа продолжалась, и маяк по-прежнему дышал на тебя своим утробным машинным теплом, и ты бы с удовольствием

начищал внутри него всякие медные и латунные детали, и жизнь твоя представлялась бы для тебя необыкновенной...

- И так оно и есть?!

- Да, опять обозначает себя одна забота: не стала бы работа!

- И не тяготит уже, что один?

- Нет. Таким понятным и нужным кажется твоё маячное дело. Великой печали будто и не бывало! Так же, как совсем недавно становилось одиноко и тоскливо, теперь ещё пуще бьёт в тебе фонтан энергии.

И думается: как мог ты по целым дням хандрить, и чего уж кривить душой – начать порой выпивать! Выпиваю я, правда, понемногу, работу по маяку никто не отменял, ну, да когда приведётся нужда до вина, то и пил бы, и лил бы, и скупаться попросил бы. Только вино ремеслу не товарищ!

- А я, вот, люблю одиночество.

- Да и я его не отвергаю. Хорошо было бы понимать – для чего оно нам дано. Пожалуй, нужно не бояться оставаться одному.

- Ведь сознание при этом никогда не угасает, и только в одиночестве, наверное, обретаешь не иссякающее желание жить?

- Человек может стать самим собой, когда проявит самостоятельность, не надеясь на других. Вот что истинно.

- Это мне хорошо знакомо.

- Давно заметил, что душевное спокойствие начинаешь испытывать, только в полной мере пережив одиночество. В одиночестве ясно осознаёшь, что в принятии верных решений тебе никто не поможет, и ты сам способен на многое, если поверишь в свои силы. Я так полагаю.

- Не зря, находясь в напряжении, человек интуитивно ищет спасения в одиночестве...

- Уединение очень ценно для человека, без него ему невозможно сохранить и укрепить спокойствие духа.

- Да... В одиночестве ты не способен переложить ответственность за собственную жизнь на кого-либо другого, и вынужден дорожить ей.

- Каждый человек по сути своей одинок... И принимать ответственные для себя решения, как ни крути, мы вынуждены в состоянии одиночества.

- Это состояние, получается, необходимо просто принять?

- Но не замыкаться при этом! Жить среди людей, постоянно оставаясь наедине со своими мыслями и умея совершать верные шаги, есть неотъемлемое условие жизни.

- А это означает, что недопустимо терять отпущенное тебе время.

- Именно здесь, на маяке, осознаёшь это в полной мере. Только в одиночестве, если оно воспринимается верно, становишься сильнее, ничуть не отдаляясь от других людей. Человек способен на многое, если не опустит руки, а наоборот – проявит отвагу и терпение, когда ему одиноко.

- Мне кажется, что человеку вообще не следует преодолевать своё одиночество, а нужно, благодаря ему, учиться...

- Проводя здесь, на Крильоне, бесконечные бессонные ночи, особенно – зимой, можно осознать собственную силу.

- Если с тобой что-либо случится, то ведь и подниматься суждено будет самому!

- Да, и ты обязан приучить себя к мысли, что находясь в состоянии постоянной внутренней работы, и преодолевая все неустройства жизни, ты и вырабатываешь характер. Одиночество вообще не должно волновать или пугать тебя, потому как это не обречённое состояние, а необходимое для нашей же души. Таков жизненный порядок, огород без грядок!

А море тихонько шумело за стенами маяка, где-то вдалеке захлебнулся в собственном гудке тяжёлый сухогруз, и сразу захотелось прикрыть глаза, представляя, как кружат над пенистым морем белоснежные чайки, кричат, что есть мочи, но их не слышно, и вдали, у самого горизонта, где небо сливается с морем, вспыхивает еле уловимое зелёное свечение... Хотелось, не открывая глаз, слушать и море, и чаек, и даже дизельный гул, исходящий из подбрюшья маяка, откуда-то снизу, отчего начинало чудиться, будто ты опять на судне, корпус его чуть заваливается то вверх, то вниз, и мысли твои гуляют далеко-далеко, будто ты уже давно в море, в привычной для себя обстановке, а не на маяке, с его старым смотрителем... О чём все эти чувства и мысли – и не выразишь, но вдруг, в мгновение, накатывают на тебя дивные воспоминания, связанные с работой в море, и тебе опять хочется отправиться в дальнее путешествие, не боясь потерять берег из виду.

Уже более пяти лет проработав в море, я привык к тому, что здесь, на Дальнем Востоке, с виду непримечательный человек, на деле может оказаться очень значительным, даже – необыкновенным, при этом сохраняя свою скромность. В Евсеиче, если быть честным, совершенно невзрачном на вид обитателе здешних пустынных мест, открывалась неутомимая личность исследователя, и всё новое не миновало его самого искреннего внимания. Интерес ко всему необычному просто переполнял его тщедушную фигурку, к тому же, под незавидной внешностью смотрителя маяка скрывалось его доброе и заботливое до всего сердце, что выражалось в трепетном отношении к любой мелочи. Больше всего Евсеич любил читать научно-популярные журналы, жадно черпая из них не дающие ему покоя знания. И ещё, за всё наше пребывание на мысе Крильон, я никогда не слышал от старика жалобы на однообразие окружающей обстановки, что на самом деле являла собой достаточно невыразительный, и даже – скучный вид.

В «Люции Японского моря» о мысе Крильон сказано следующее: «Мыс Крильон является одновременно юго-западной оконечностью острова Сахалин, западным входным мысом залива Анива и южным входным мысом бухты Морж. Берега бухты Морж – возвышенные и скалистые, прорезаны отдельными ручьями и речками. Вдоль берегов тянется узкий песчано-каменистый пляж. Во многих местах в прибрежной полосе шириной не более 2 кбт разбросаны камни.

Глубины у берегов бухты ровные; южная часть более глубоководна, чем северная. Грунт вблизи берегов камень и галька, а мористее – ил и песок.

Сам мыс Крильон высокий, обрывистый и соединён с берегом узким низким перешейком. С 10-12 миль мыс имеет вид острова. На расстоянии до 3 кбт мыс Крильон окаймлён частично осыхающими рифами. При волнении над рифами образуются буруны, а при спокойном состоянии моря над ними заметны сулои, иногда распространяющиеся на 2 мили от мыса.

Мыс Крильон рекомендуется обходить на расстоянии не менее 2-3 миль».

Прямо скажем: картина – безрадостная, но это обстоятельство никоим образом не отразилось на настроении смотрителя маяка. Бесплодная, каменистая местность, сырой и прохладный климат, сильные западные и юго-западные ветры, приносящие продолжительные шторма, как будто только способствовали бодрому настроению Евсеича. Сколько я его помню, он не терял присутствия духа никогда, не переставая ратовать за дорогой его сердцу порядок.

Всякого рода обязанности не переставали возникать на пути его следования по маяку и всему полуострову. Был он по уши в своих извечных хлопотах.

- Всяк хлопочет – себе добра хочет, а я имею беспокойство за всё морское хозяйство: чего мне с него взять?! Неволей, конечно, можно кого угодно заставить, да попеченья не вынудишь: понимание должно быть! Порядок, огород без грядок...

Даже по отношению всеми забытому старинному колоколу, простреленному когда-то японскими солдатами, он проявлял усердное радение, соорудив вокруг него оградку и выкрасив её в коричневато-зелёный неброский цвет, наподобие морских водорослей, что в обилии оголялись в отлив возле всего полуострова. В своём беспокойном попечительстве к окружающим его предметам, Евсеич, не без гордости, провозглашал:

- Не то забота, что много работы, а то забота, как её нет. Вот, колокол церковный бездушен, да только благовестит во славу Господню!»

Здесь, наверное, к слову будет упомянуть обо всех колоколах, несущих службу на благо мореплавателей по берегам Татарского пролива. Старинные церковные колокола были установлены рядом с каждым заметным маяком на острове для подачи сигналов в тумане. По всему Татарскому проливу их было 9: на материковом побережье – 5, и на Сахалине – 4.

Колокол на самой южной оконечности острова – мысе Крильон, был отлит из сплава меди и олова с добавлением серебра на Гатчинском императорском заводе в 1895 году. Высота его – 1, 05 метра, диаметр – 85 см, а вес – 30 пудов 20 фунтов. Поверхность колокола украшена барельефами Александра Невского и Марии Магдалины, изображения подписаны: «Святой Александр Невский» и «Святая Марина Магдалина».

Длительное время гатчинский колокол «работал» на маяке Крильона, в него били во время тумана, циклонов и штормов, чтобы подать сигнал

проходящим в районе мыса кораблям. Но в 1979 году его перевезли в г. Корсаков, а ещё через год в Корсакове был сооружён памятник в честь первых русских гидрографов Тихоокеанского флота, и центром всей композиции стал гатчинско-крильонский колокол со следами пули.

Правда, первый маячный колокол появился на Сахалине в 1886 году, на мысе Жонкиер. О нём упоминал Чехов в книге «Остров Сахалин». Высота его – 88 см, диаметр по низу юбки – 81 см. Отлит он был ещё в 1644 году, при правлении Михаила Фёдоровича Романова, а теперь он находится в Покровском храме г. Александровск-Сахалинский.

Скорее всего, колокол попал сюда с Синеозёрского монастыря Благовещенья Пресвятой Богородицы. На колоколе – соответствующая надпись: «Государь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси дал сей колокол животворныя Троицы в святыя Богородицы Благовещенью Пустыню Синозерскую при строителе чёрном ионе Моисее лета 7159 марта 8 дня».

Колокол на мысе Марии был отлит в Ярославле на заводе, принадлежащем семейной династии Оловянишниковых, в 1882 году. На мысе Марии он находился с 1935 до 1992 года, и служил звуковым ориентиром для проходящих мимо судов. Когда побережье окутывал густой туман, что для Сахалина дело обычное, а огни на маяке были недоступны взору моряков, звон колокола, распространяющийся на несколько десятков километров в округе, предупреждал моряков об опасном приближении берега. Сейчас колокол находится в краеведческом музее г. Охи.

Вес колокола - 775 кг, диаметр - 1 м 17 см, высота - 1 м 24 см. В средней части купола, по кругу, нанесён орнамент с изображением святой Марии с младенцами и тремя апостолами. Над ними надпись – «Благовестуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу».

Колокол с мыса Елизаветы имел вес 24 пуда 25 фунтов. Его нижний диаметр был 95 см, верхний – 50 см, высота – 95 см. По низу колокола нанесена надпись: «Сей колокол сооружён усердием крестьян деревни Алтыновки Приморской области при священнике Андрее Зимине в 1906 году». Выше значилась надпись: «Лит в заводе торгового дома Петра Гилёва сыновей в Тюмени 1906 год, вес 24 пуда 25 фунтов».

На самом верху надпись: «Радость великую благовестуй земле». Колокол производил двухударный звон один раз в минуту, и служил на маяке мореплавателям до 1997 года – в течение 65 лет, пока командующий флотом не отдал его для строившейся церкви в г. Елизово на Камчатке.

Для меня всегда было загадкой: какое из обстоятельств заставило церковные колокола, отлитые на материке, оказаться на далёком острове. Очевидно, что и колокол с мыса Марии, и с мыса Жонкиер, и с мыса Елизаветы, и с мыса Крильон отливали не для того, чтобы они служили сигнальным ориентиром для моряков. Скорее всего, изначальным местом их «жительства» были какие-нибудь соборы. А после революции, когда начались гонения на церковь, видимо, было решено часть колоколов приспособить под нужды народного хозяйства.

Не исключено, что все колокола были установлены в 20-х годах 20 столетия, после издания советской властью «Извещения мореплавателям» в марте 1923 года, когда вновь вводились в строй маяки Тихого океана. Снятые с разрушенных церквей – колокола подвергались переплавке, и повезло тем, что попали на маяки Татарского пролива.

Светосигнальное оборудование, которым оснащались в те времена маяки, было слабеньким, и лучи просто-напросто не могли пробиться сквозь густой туман. Поэтому на некоторых маяках дополнительно устанавливались колокола, звон которых и служил предупреждающим сигналом для спасения моряков.

Когда море штормило, и все работы откладывались на неопределённое время, я любил иногда забираться на маяк, без устали вглядываясь в бескрайнюю водную поверхность. Что за мысли посещали меня тогда – я даже не могу сейчас вспомнить, но определённо мне нравилось наблюдать, когда хмурое небо перемешивалось со свинцовым морем, особенно – в непогоду, и сквозь разноголосицу бури до слуха долетали только бессильные удары волн о скалы. Бушующее море неистово врывалось в многочисленные расщелины, будто пытаясь расколоть неуступчивые камни, и потом с остервенелым грохотом откатывалось, образуя под скалами бурлящие сулои. Шум бури заглушал все звуки, даже – мысли, отчего не хотелось ни о чём думать, сливаясь с ней воедино.

В каждую экспедицию я неизменно брал собой томик Ивана Алексеевича Бунина, и вот, совсем недавно, перед тем, как нам прибыть на полуостров, прочёл его стихотворение «На маяке». Теперь оно одно, кажется, звучало в моей душе, перекликаясь с воем прибоя и ветра, и я размеренно, в такт бушующей непогоды, повторял строки любимого писателя. Трудно было выразить всё, что накопилось у меня в душе за недели работы на Крильоне, и я только вслушивался в штормовые удары, внутренне обретая и силу моря, и выносливость скал, и непоколебимость ветра. Покойный и величественный образ поэта вставал передо мной в туманной дымке, над морем, и так же покойно и величественно звучали, перекликаясь с неукротимой стихией, его слова:

«В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,  
Осенний ветер дует – и, звеня,  
Гудит вверх. Он влажен и прохладен,  
Он опьяняет свежестью меня.

Остановясь на лестнице отвесной,  
Гляжу в окно. Внизу шумит прибой  
И зыбь бежит. А выше – свод небесный  
И океан туманно-голубой.

Внизу – шум волн, а наверху, как струны,

Звенит-поёт решётка маяка.  
И всё плывёт: маяк, залив, буруны,  
И я, и небеса, и облака».

Сам маяк при этом выглядел довольно осанистым и крепким. Существовая более чем столетие, он успел достаточно свыкнуться с неизменно существующим пустынным ландшафтом и, не находя достойного для своего внимания объекта, словно врос в скалистый грунт безликого мыса. За долгое время существования к этому его вынудили нескончаемые ветра и туманы.

По определению А. П. Чехова, при солнечном освещении мыс Крильон представлял из себя довольно привлекательное местечко, и одиноко стоящий на нём красный маяк был похож на барскую дачу. Антон Павлович, с присущей ему лаконичностью, довольно точно, в нескольких словах, описал южную оконечность Сахалина как большой мыс, покатый к морю, зелёный и гладкий, как хороший заливной луг. Поле далеко кругом покрыто бархатной травой, и в сентиментальном пейзаже, пишет Чехов в своей книге «Остров Сахалин», недостаёт только стада, которое бродило бы в холодке у края леса. Но говорят, что травы здесь неважные и сельскохозяйственная культура едва ли возможна, так как Крильон большую часть лета окутан солёными морскими туманами, которые действуют на растительность губительным образом...

И это правда... Связанная с маяком достопримечательность неожиданно напоминала о себе с наступлением темноты, когда над морем зажигались световые огни маяка с линзой, привезённой сюда когда-то из Франции. По рассказу маячного служителя, четырёхтонная уникальная линза стоила России миллион рублей золотом. Напоминая о том, что в те времена в России отсутствовала должная отечественная оптика или, по крайней мере, внимание к ней, под линзой красовалась латунная табличка, поясняющая, что конструктором первого крильонского маяка является французский изобретатель Франсуа Барбиер, 1894 год.

Здесьние места и воздух словно были заговорены французским присутствием, и в сочетании с откровенной пустынностью мыса - это приобретало своеобразие и красоту. Я начинал проникаться уважением к изящным именам французов, постепенно обретая в душе благодарный отклик за их, не растраченные попусту, жизни.

Но навечно поселившиеся здесь французские имена давно перестали привлекать к себе внимание немногочисленных обитателей Крильона. Сигнальная пушка, когда-то оповещающая суда о приближении к невидимой земле, теперь лежит у входа в областной краеведческий музей. Долгое время не слышен был и звон колокола, кем-то безобразно простреленного, и давно неприкрыто валяющегося неподалёку от маяка. Никому до него не было дела.

Раньше он был подвешен на перекладине, поддерживаемой двумя крепкими столбами, и давал гулкие сигналы проходящим мимо судам. Считалось, что звон колокола отпугивает «злые силы», будто бы населяющие

моря. Колокол нередко являлся произведением искусства, его отливали мастера по специальному заказу с декоративным орнаментом на наружной поверхности, где указывались год и место отлития.

Побывав на самой северной оконечности острова, на мысу Марии, мне привелось увидеть старинный сигнальный колокол ухоженным, благодаря заботливым рукам маячника он излучал уверенность и покой. Крильон же длительное время был обделён ими, и даже памятник освобождавшему его от японцев бойцам был запущен и убог. Он был попросту забыт людьми, обязанными верно хранить свою память. Маленький обелиск одиноко ютился на самом краю обрывистого утёса, с которого начиналось невероятно открытое пространство, наполненное воздухом, водой и светом.

Но незадолго до нашего приезда, военные помогли Евсеичу водрузить колокол на надёжную опору, а смотритель маяка обустроил для него красивую оградку. Не остался без его внимания и обелиск погибшим бойцам... И тогда подумалось мне о том, чего ещё в достатке осталось Крильону и поверх почвы, и в воздухе, и у самого прибора. Всюду были скрыты его достоинства, которым всегда сопутствуют находки. Их следовало разглядеть...

Осознание же, что отсюда ты одновременно видишь два моря – Японское и Охотское, не потрясало. Ощущалось только величие окружающей сахалинской природы, её неукротимость и свобода. И ещё – собственная гордость от того, что ты добрался до неё, и теперь ничто не сможет тебе помешать слиться с ней, хотя бы на время, а может быть даже навсегда...

Но ощущение слитности с морем, небом и этим берегом, так же, как и переживаемое при этом чувство сопричастности с островной природой, касалось сердца лишь краткий миг. Переполющая восторженное восприятие, оно тотчас успокаивалось, когда я в лёгкой задумчивости отправлялся в отлив побродить по открывшейся береговой полосе, разглядывая в мелкой воде голубовато-мутные агаты, и тогда море, небо, берег и знаменитый крильонский маяк начинали казаться обыкновенными: всё затмевали собой неподражаемые полудрагоценные камни.

Это странно, но почему-то редко вспоминаются маяки, что повстречал в своих странствиях по Дальнему Востоку... Как всегда отрешённо и ровно мерцает сквозь тьму их загадочный свет, длинными лучами осторожно скользя по поверхности моря... Да и думалось о маяках почему-то по большей части равнодушно и отдалённо.

Высокие силуэты маяков, расположенные, как правило, на краю мысов или отвесных утёсах, представлялись чаще безликими, в них не чувствовалось жизни. Казалось даже, что там, внутри, никого нет и происходит всё само собой: сами зажигаются и движутся разноцветные фонари, сами потухают под утро... Никогда, помнится, не хотелось подойти к какому-нибудь маяку, отворить его дверь и подняться по крутой винтовой лестнице на верх, чтобы всё там рассмотреть, а главное – увидеть оттуда

море и корабли, представляющиеся совсем маленькими. Маяк обычно воспринимался как нечто само собой разумеющееся, призванное непоколебимо стоять на страже у моря, предупреждая об опасности корабли.

Иногда только охватит какая-то необъяснимая внутренняя дрожь, и, поглядывая издали на маяк, вдруг захочется заглянуть в его тайную жизнь. Ведь она есть, невидимо протекает мимо тебя, а ты о ней и не знаешь! Какие тайны скрывает в себе маяк, особенно когда зажигает вечером свои огни? Почему так тоскливо иной раз мигает его жёлтый, красный или зелёный глаз, а порой даже с тихой и радостной надеждой?

В связи со спасительностью маячного огня, постоянно напоминающего мореплавателям о верном следовании морской дорогой, и учитывая французское присутствие в здешних краях, уместно, наверное, было бы вспомнить и писателя Флобера. Своим преданным отношением к творчеству он сам олицетворял неугасимый маячный свет. Жил он в Круассе, на берегу Сены, около Руана, и окна его кабинета выходили на реку. Всю ночь в кабинете Флобера, заставленном экзотическими вещами, горела лампа с зелёным абажуром: писатель работал по ночам, и лампа его гасла только на рассвете.

Её свет был постоянен, как огонь маяка. И действительно, в тёмные ночи флюберовское окно стало служить маяком для рыбаков на Сене и даже для капитанов морских пароходов, подымавшихся по реке из Гавра в Руан. Капитаны знали, что на этом участке реки надо было, чтобы не сбиться с фарватера, «держаться на окно господина Флобера». Таким образом, борьба за совершенство прозы неожиданно оборачивалась для моряков недостающей поддержкой, при этом они, наверное, могли и не догадываться, что верный путь им указывает великий писатель Франции...

На Крильоне мне ни разу не привелось увидеть, как плывут по небу облака. Их очень доставало. И только выплывающие из тумана капельки янтаря в прибрежном песке, тишина и сонная медлительность набегающих на мыс волн чуть уловимо существовали рядом.

Волны лёгкого утреннего прибоя монотонно выбрасывали на берег хлопья пены, и те, шипя и искрясь, через некоторое время исчезали, оставляя на мокром песке еле видимые разводы. Когда разводы полностью растворялись, сквозь песок, свежие огрызки водорослей и прочий мелкий мусор начинали проглядывать тёмные кусочки застывшей древесной смолы...

Нелегко отыскать долгожданный янтарь. Ноги осторожно ступают по упруго поблескивающему отливу, чуть склонённая спина напряжена, глаза пристально всматриваются в песок. Кажущиеся воздушными на ладошке камешки встречаются нечасто. Особенно редок крупный янтарь, с густым винным оттенком, по замечательной случайности заключающий в себе

какого-нибудь насекомого или кусочек растения. Такую находку непременно надо заслужить, и дарить её потом только очень близкому тебе человеку.

Среди немногочисленного местного населения были заведены утренние прогулки у моря. Бушевавшее всю ночь, оно выносило с далёких берегов самые невероятные предметы – пластмассовые ящики из-под пива, кухонную посуду, цветные бутылки, обувь и целлофановые пакетики с неизвестной пищевой приправой. Чаще всего вода выбрасывала яркие капроновые кухтыли от рыбацких сетей и разной формы жестяные банки.

В каждом доме на подоконнике красовались затейливые морские дары как, неотъемлемые атрибуты Крильона. В них редко что-нибудь насыпали или наливали, но, тем не менее, для чего-то долгое время держали у себя. Когда же море дарило что-либо ещё более интересное, старые предметы выбрасывали, и они до поры опять становились никому не нужными.

В отличие от наиболее любившихся даров, что увозили с собой на материк, они всё же не теряли надежды вновь стать для кого-нибудь близкими и необходимыми. К тому же море, по которому они привыкли путешествовать и без которого не мыслили своего существования, оставалось рядом.

Фиолетовыми студенистыми цветками замирали распластавшиеся на песке медузы. Оказавшиеся оторванными от воды, некоторые из них всё же оставались живы: это было заметно по их слегка настоороженным прозрачным бокам. Такие медузы выглядели со стороны подобранными, чутко хранящими в себе огонёк простора морских глубин. Те же, что расплывались бесформенной пахнущей массой, не пробуждали в душе ничего, кроме желания наступать на них ногой, ощущая при этом приятную упругость сопротивления и лёгкое пощёлкивание. И всё-таки иногда на душе становилось тягостно: как будто ты исподтишка коснулся не принадлежащего тебе, хотя и мёртвого.

Здесь, на Крильоне, впервые встретилось мне название моллюска, проживающего в спирально завитой неприметной раковине. Совсем не похожее на французское, а скорее близкое к греческому, оно как будто отрезвляло и озадачивало, нетерпеливо заявляя о себе: натика!

Так ни разу и не увиденный мною таинственный моллюск, несмотря на очень скромные размеры, отличался достаточной агрессивностью. Нападая на большие раковины, он наползал на них, хоботком проделывал отверстие в довольно прочном известковом панцире и, умерщвляя ядом жертву, поедал её.

Не в силах справиться с обилием добычи, он делил её с вездесущими жадными птицами, не упускающими случая поживиться за чужой счёт. Остатками совместной трапезы служили время от времени попадающиеся по берегу раковины с аккуратно выгрызенными круглыми отверстиями, до белизны вычищенные внутри. Раковины эти представлялись совершенно омертвелыми и пустыми, их хотелось ткнуть сапогом. Но в последний момент желание это почему-то исчезало.

Сильные отливы, обнажающие за собой большие площади дна, оставляли также много интересного. В основном это были обширные прибрежные банки, укутанные разноцветными водорослями. Острые каменные углы сглаживались их пузырящейся бахромой, которая к тому же скрывала тысячи замерших на время организмов. Организмы вздыхали, выпуская тонкие водяные струйки, попискивали, создавали вокруг еле слышный незатихающий шёпоток. Наиболее крупные из них были хорошо заметны и, не красуясь, в нетерпении ожидали возвращения к прежней жизни.

Сколько-нибудь приметными всегда оказывались так называемые морские блюдечки. Одностворчатые конические шапочки, наподобие распространённых азиатских соломок, защищающих от солнца, обильно усеивали обнажившееся дно. Их полосатые заостряющиеся головки присасывались к скалам с такой цепкостью и силой, что не всегда удавалось оторвать даже ножом.

Мелкие и совершенно неброские, на первый взгляд, известковые балянусы вовсе оставались без внимания... Эти каменные цветки могли поразить воображение только на значительной глубине, где они вырастали до гигантских размеров и становились волшебными.

Однажды вечером, в часы самого большого отлива, когда все уже собрались ужинать, с берега прибежал мальчик, сын начальника погранзаставы, и взволнованно сообщил, что у восточных скал косатки загнали на отмель дельфина. Захватив матрасовку, через несколько минут мы были на месте. Лёгкий прибой у самого края рифовой гряды успел выбросить дельфина на камни и изредка поднимал над водой его тёмно-синий хвост.

Изогнув суховато поблескивающий бок, дельфин оставался неподвижным всё время, что мы шли к нему по оголившимся скользким камням. Чайки с криком вились вокруг, низко снижаясь над тем местом, где лежал дельфин. Чувствуя скорую добычу, они становились настырными и не обращали никакого внимания на наше приближение.

Одна глазница у дельфина зияла пустотой, и он был уже мёртв. Это оказалась самка с сохранившимися на брюхе следами молока, которым, видимо, кормила перед разыгравшейся трагедией своего детёныша. Детёныша не было видно, и можно было заключить, что он пропадёт.

Начинающийся прилив огромной невидимой массой наваливался из опускающихся на море сумерек, и мы поспешили возвратиться на берег. Окоченевшее тело дельфина затвердело переворачивалось на матрасовке при ударе о камни: оно казалось очень тяжёлым. Не желая оставлять дельфина на растерзание морским птицам, мы, молча, тащили его за собой, ещё не зная, что будем с ним делать. Невозможно было относиться равнодушно к этой мельчайшей частице всемогущего моря, неожиданно оторванной от него и предоставленной самой себе.

Дельфина мы засолили в небольшом деревянном бочонке и съели. Мясо оказалось очень вкусным. Оно почему-то отдавало сосной и отчасти

напоминало мясо боровой дичи. Это было удивительно и, тем не менее, оставалось фактом.

Запах его вперемешку со свежесваренным кофе приятно щекотал нам ноздри по утрам, возбуждая зверский аппетит. Ежедневная подводная работа требовала того. Вообще, утро было лучшим временем дня на Крильоне, когда ещё не начинала одолевать разбивающая тело усталость, едко курящиеся над берегом туманы не становились утомительными, и в сердце твёрдо жила уверенность, что уж сегодня непременно выглянет долгожданное солнце.

За время нахождения на мысу он воспринимался, по большей части, голубовато-дымчатым или жёлтовато-спокойным, неброским. Береговой покой незаметно переходил в подводный, и тогда мутновато-голубая вода в заливе, многометровые столбы жёлтых саргассумов и белое песчаное дно напоминали на глубине краски берега.

Голубизна по мере увеличения глубины наливалась свинцовой темнотой, она отпугивала и в тоже время манила. Ужасно хотелось пробиться сквозь свой страх в эту холодную черноту, хотя бы на мгновение заглянуть в неё. Но берег упрямо не отпускал от себя, вдыхая в озябшее тело невидимое земное тепло.

Приятно было всплывать на поверхность, ощущая лицом прогретый верхний слой, видеть сквозь преломляющееся в воде стекло маски пошатывающиеся голубые склоны и обрывистые мысы, бесконечно далёкое небо.

Но под водой мы забывали обо всех прелестях берега, потому как этого требовала нелёгкая работа по обслуживанию мареографа, предназначенного контролировать колебания уровня моря. Принцип действия этого прибора прост. В установленный на берегу каменный колодец, в нижней части сообщающийся с морем, помещается поплавок. Поплавок, соединённый с тросом, следует изменениям уровня воды в колодце.

Вертикальные движения поплавка и связанного с ним троса приводят в действие червячную передачу, связанную с пером, которое вычерчивает на диаграммной ленте кривую, соответствующую движению поплавка. Часовой механизм протягивает ленту с постоянной скоростью, а период оборота составляет 24 часа. Благодаря совместному движению пера и диаграммной ленты воспроизводится непрерывная кривая подъёма и понижения уровня воды.

Всё это сооружение помещается в будке или небольшом домике, который защищает прибор от ветров, волн и прочих неблагоприятных воздействий местного характера, способных повлиять на точность показаний. От самого дна колодца, расположенного под землёй, в море, в горизонтальном положении, выходит металлическая труба, длина которой зависит от рельефа дна и приливо-отливных особенностей данного района. Иногда, скажем, из-за значительных мелей, она может достигать двух сотен метров, а порой, сразу выходя на глубину, не превышает и двух десятков. На конце трубы, для её остойчивости во время штормов, сооружается оголовок,

представляющий из себя большую железную решётку, вернее – клетку, заполненную камнями или мешками с цементом, и вот в отверстие этой трубы и поступает вода, по суточным приливным графикам которой можно составить таблицы за месяц или за год.

Этот простой способ использовался на Сахалине и Курильских островах ещё японцами, после которых по берегам некоторых заливов до сих пор сохранились высокие башни, сложенные из камня. Места для башен были выбраны так удобно, а сами сооружения оставались настолько надёжными, что нам приходилось только изредка осуществлять их профилактический ремонт, и лишь подводной части. Эти башни-колодцы поражали своей удивительно сливающейся с берегом монолитностью. Японцы в который раз подтверждали свою замечательную жизнестойкость. И ещё мудрую предусмотрительность, обычно очень долго не стираемую временем.

Со своей стороны, мы обязаны были осуществить смену старой трубы на новую, что представлялось делом весьма трудоёмким и кропотливым. Труба проходила под каменистым дном, которое необходимо было разгрести. В воде такая работа сопряжена с массой незапланированных трудностей, и каждая из них норовит сорвать её. Например, если требуется соединить два колена, имеющие на своих концах необходимые для этого фланцы, двое водолазов кантуют трубу ломami, а третий должен в это время в совпадающие на мгновения отверстия вставлять болты, прихватывая их на гайки. Как правило, болты в отверстия лезть не желают, зато это хорошо удаётся пальцам, то и дело попадающим между грубо заваренных и опасно вращающихся фланцев.

Или, скажем, необходимо очистить трубу от каменного грунта, основу которого составляют массивные валуны, протянувшиеся на десятки метров. Валуны под водой гулко ударяются друг о друга, и ты начинаешь казаться себе каким-то сказочным великаном, всплывшим неодолимым для простого смертного намерением. Если это повторяется изо дня в день, позавидовать тебе остаётся только последнему умалишённому.

Но нет ничего хуже, чем сбить под водой дыхание. Терпение быстро покидает разгорячённые работой лёгкие, и они уже жаждут спасительной порции воздуха, которая всегда строго ограничена. В такие мгновения придонная тишина давит тебя своей безжизненностью, сердце тупыми сгустками бросает кровь в голову, и хочется только поскорее вырваться наверх.

Соблазн тотчас отринуть этот не пригодный для человека мир – неимоверно велик, но ты должен сдержаться, не совершив при этом поступков, за которые бы пришлось в дальнейшем краснеть перед своими товарищами. Освободиться же от заполняющего всё твоё существо страха способен далеко не каждый. И тут спасением оказывается твоё волевое напряжение, осуществить его – невероятно сложно, для этого следует пересилить себя, желание тотчас всё бросить и вырваться на поверхность,

чтобы глотнуть воздуха, но необходимо решиться прижать всё своё существо ко дну, слиться с ним, и, всё же, победить собственную растерянность...

К этому следует добавить выматывающее душу морское волнение, не дающие сосредоточиться подводные течения, собачий холод, стеснённая движений и прочие неудобства, легко преодолеваемые на суше. Но об этом лучше не думать под водой, где земля всегда представляется тёплой и трепетной. Надо заслужить возвращение к ней, чего бы это тебе ни стоило.

И, тем не менее, ты занимаешься всем этим, если и ропщешь на свои мучения, то только про себя, последними словами кляня тот день, когда решился посвятить себя подводному делу. Но выбравшись на берег и увидев бесконечно далёкое небо, забываешь только что пережитое и радуешься ощущаемым в твоём усталом теле молодым силам. Всё главное в твоей жизни представляется тогда ещё не осуществлённым, а проживаемое сейчас – лишь подготовкой к нему. Пройдёт немалое время, прежде чем ты постигнешь всю тонкость уже происходящего с тобой обыкновенного чуда, которое никогда не повторится.

Уезжая домой, мы видели, как одиноко и молчаливо застыл в лёгкой дымке мыс Крильон. Плавно удаляясь, он как будто вызывал чувство чего-то, до конца, не понятого или, может быть, не досмотренного. Затем неожиданно подступивший густой туман отделил его от основного материка в месте узкого перешейка, еле различимого и почти уже не угадываемого издали, и мыс стал похож на флагманский военный корабль, полный чувства собственного достоинства и невыразимой гордости.

И душа сразу успокоилась, а удаляющиеся безжизненные берега стали такими родными, что я поверил твёрдо: когда-нибудь мне придётся умирать от тоски по этим голубовато-серым, растворённым в тумане таинственным берегам. Берега будто сдержанно отображали в себе такое же неприступное море, почти невидимое небо и загадочно-дымчатые агаты, халцедоны и сердолики. Камни, неприметно покоясь в прохладе прибрежной воды, надёжно хранили в себе историю великих открытий и отваги, что повидали на своём веку эти легендарные места.

## «ЛЕДЕНЯЩИЕ ТУМАНЫ»

Остров Тюлений расположен к востоку от южной части Сахалина, на границе залива Терпения, в двенадцати милях от мыса того же названия. Он представляет собой вытянутую с северо-востока на юго-запад узкую, в большей своей части отвесную скалу, заканчивающуюся наверху почти на всём протяжении ровным, преимущественно голым, каменистым плато с обрывистыми краями.

Подножие скалы переходит в песчаный, с примесью гальки, берег, образующий низменный пляж вокруг всего острова. По концам скалы, на северо-востоке и юго-западе, пляж выдаётся довольно далеко в море. Общая длина острова составляет около семисот метров, наибольшая ширина – чуть более ста метров, длина скалы – четыреста пятьдесят пять метров, высота плато над уровнем моря – пятнадцать-двадцать метров.

Зимой в районе острова Тюлений преобладают северо-западные и северные ветры, а летом – южные. С апреля по сентябрь часто наблюдаются туманы. Начиная с октября, число дней с туманом уменьшается, и в ноябре туманы почти отсутствуют.

Издали остров очень похож на мыс Терпения и в ясную погоду открывается с расстояния десяти-двенадцати миль. На северо-западной стороне острова Тюлений имеется несколько жилых построек, а в юго-восточной части, на участке песчаного берега, находится лежбище котиков. Пресной воды на острове нет...

Статистика «Люции Охотского моря» суха и официальна, но, тем не менее, точно отражает надёжно скрытую от людских глаз суть острова. В общем-то, это довольно безрадостное место... Занесённая хилым весенним снегом серая полоска суши без единого намёка на растительность. Даже скалы не оживляют пейзаж...

Если бы сюда каждый год не приходили тюлени и многочисленные птицы не облюбовали суровые утёсы под свой базар, острову трудно было бы найти название. Просто – скалистый осколочек земли посреди угрюмого Охотского моря. И всё же, он привлекает к себе по весне жизнь, и остров словно оживает, что происходит благодаря тёплому ответвлению Куроисио – Сое, направляющемуся частично на север и северо-восток мимо Тюленьего к мысу Терпения...

До своей поездки на остров я никогда не был на нём и не встречал его изображения на фотографиях, но то, что привелось увидеть, полностью отвечало всем возникшим в воображении представлениям. Вплоть до изгибов главной скалы острова, каменистой пляжной линии, и различных цветовых оттенков и запахов. Остров словно жил во мне и только ждал, когда я обращу к нему своё внимание.

На самом удобном для загона южном мысу при любых условиях залегает больше промыслового зверя, чем на других участках острова. В этом мне пришлось убедиться в первый же вечер пребывания на нём. Главная

скала острова удачно отделяет неумолкаемый шум многочисленных гаремов зверей от человеческого жилья. Обширные каменистые рифы с восточной стороны защищают котиковые скопления от штормовых волн, а малыши безбоязненно могут учиться плаванию неподалёку от берега.

Не сразу можно определить характерную черту морских котиков. А между тем она лежит в основе их названия. Уже через месяц после рождения котики начинают понемножку плескаться у берега, а затем учиться плавать. Они играют и возятся друг с другом, как настоящие котята.

С возрастом звери отнюдь не утрачивают своего затейливого характера, а, наоборот, ещё более преображаются. Так благотворно действует на них море. В воде котики превращаются в ловких и стройных зверей с красивыми линиями тела.

Там, за широкой полосой мелководья, где начинается просторное море, котики беззаботно резвятся на широких волнах, гибко изворачиваются и кувыркаются, как акробаты. Блестящими мячиками мелькают их тёмные головы, взлетают над водой крутые, словно лакированные спины, сверкают на солнце чёрные ласты. Ещё не успевают завернуться белый гребень, а котики уже тут как тут – с умилёнными усатыми мордами вытягиваются на волне, раскинув в стороны ласты, и несутся на ней к следующей, что опять подхватит их гибкие тела, и так – до бесконечности... Вот такая игривость, вероятно, и дала повод назвать этих тюленей морскими котиками.

Западный берег острова считается самым пустынным. Кроме человека в его южной части, на нём никто не обитает. Котики никогда не выходят сюда. Они не любят, чтобы их тревожили, пугаются людей и не выносят какого-либо шума и запаха дыма. Дымящуюся папиросу котики чувствуют на очень значительном расстоянии, и потому при каждом отгоне зверя курение строго запрещено.

Лишь перед непогодой отдельные котики начинают плавать вокруг всего острова и изредка встречаются у западной его стороны, высывая свои чёрные головы и выпрыгивая из воды, как дельфины. Но и в это время они здесь на сушу никогда не выходят.

С западной стороны остров выглядит уютным и тихим. Впервые попавшие на него люди обычно недоумевают: воображение рисовало им иную картину. Но когда поднимаешься на главную скалу, тебя сразу оглушают гомон птиц и рёв зверей, в мгновение перекрывающие собой шум бесстрастного северного прибоя.

Нет ни одного клочка земли, не занятого птицами или зверями. Всё кругом движется, кричит, и больше всего поражает именно неожиданность увиденного.

Когда-то здесь осуществлялась ежегодная заготовка кайровых яиц и добыча самих птиц. Промысел птиц обычно производился после первой массовой кладки, в первой половине лета. Если начинать промысел до начала кладки, то хозяйство в этом случае не доберёт тысячи яиц, так как в числе добытых птиц будут отловлены тысячи самок, способных произвести кладку.

Кроме того, при промысле, когда птицы ещё не спаривались, может быть нарушено соотношение между самцами и самками, из чего возможно, что часть самок окажутся холостыми, да и птицы будут распуганы и не останутся гнездовать на острове, переселившись на соседний базар – на мыс Терпения.

Лов кайр осуществлялся с помощью сеток, и заключался в следующем... На пляже острова, в двух десятках метров от подножия скалы, расставлялись сетки, стенки их укреплялись на вкопанных в грунт пляжа жердях высотой до шести метров, имеющих небольшой наклон в сторону скалы, а общая, огораживаемая сетями площадь составляла порядка полутора сотни квадратных метров. Со скалы два-три человека спугивали птиц, подгоняя их к обрыву против того места, где были расставлены сети, и птицы в огромном количестве падали вниз, попадая в отгороженный сетями участок, куда заходили рабочие с палками и производили их забой.

Такой способ промысла был чрезвычайно прост и удобен как массовый, но имел свои недостатки: при загоне кайр в сети всегда приходилось беспокоить весь птичий базар, многие птицы прорывались через сеть и, получив увечья, уплывали в море, где погибали, становясь жертвой хищных птиц и животных. После массового отлова тушки забитых кайр разбрасывали на морском пляже и оставляли лежать в течение десяти-двенадцати часов, пока не остынут, после чего их грузили в трюмы шхун и вывозили к местам сбыта. Кстати, хорошо приготовленное мясо кайры по вкусу мало отличается от мяса нырковых уток.

Во многих северных странах лов кайр и сбор их яиц на птичьих базарах составляет целое ремесло, которым занимаются птицеловы, передающие его из рода в род по наследству. Люди эти отличаются необыкновенной смелостью и неустрашимостью, они не боятся никаких опасностей, и потому, конечно, нередко погибают. Ведь им надлежит карабкаться на высокие, почти неприступные утёсы и затем сползать с них при помощи длинного каната, раскачиваясь во все стороны, достигая, таким образом, самых укромных карнизов с кладками яиц. Внизу, под ногами такого отчаянного птицелова шумит и пенится море, кругом возвышаются острые уступы скал, и малейшее неосторожное движение может привести к его гибели, что рано или поздно происходит, но не служит уроком для другого добытчика. Жажда наживы и привычка к постоянно переживаемым опасностям делают своё дело.

В Гренландии кайр добывают довольно оригинальным способом. Пока лёд не взломается, птицы имеют обыкновение приходить ночевать на свои прежние места, то есть туда, где были их гнёзда, и там они проводят короткую ночь в крепком сне. Гренландцы подмечают, когда кайры возвращаются на свой утёс, и по их прибытии осторожно взбираются на скалу и затем вспугивают птиц внезапным криком и выстрелами. Бедные кайры, перепугавшись спросонья, забывают, что море внизу ещё оковано льдом и бросаются вниз головой, чтобы искать спасения в морских волнах:

но вместо волн они встречают лёд, о который и разбиваются. Людям остаётся только подбирать их...

... А между тем огромное котиковое лежбище живёт своей таинственной жизнью. Десятки тысяч зверей сплошным колышущимся ковром голубовато-бурого цвета устилают берег у подножия обрывистых скал плато. Днём и ночью над островом стоит непрекращающийся рёв, и нужны время, понимание происходящего и достаточная физическая усталость после забоя, чтобы привыкнуть к разворачивающемуся перед тобой каждый день величественному зрелищу дикой звериной жизни, и тем более – заснуть.

Северная оконечность острова наиболее отдалённая, таинственная и туманная, но и она выполняет свою не сразу бросающуюся в глаза роль во время пребывания зверя на лежбище. Омывающее остров с северо-восточной стороны течение подхватывает в морских глубинах тела по какой-либо причине погибших детёнышей котиков и бережно выносит их на оконечность северного мыса, заботясь о продолжении жизни их маленьких и неокрепших душ. Ощущение от их присутствия не покидает, пока находишься на северном мысу. Так и не выросшие, черныши изредка приходят к нам во сне и не позволяют сделаться совсем бесчувственными при забое взрослых котиков.

По ночам за стеной дома тревожно копошатся и вскрикивают неугомонные кайры. Недоступные для человека перипетии их птичьей жизни возбуждают в засыпающем сознании какие-то необыкновенные картинки. Потом всё смешивается, затихает и оглушает только где-нибудь посреди тягучей ночи, когда птицы, растревоженные чем-то, взбудоражено просыпаются и начинают дикое столпотворение.

Вслед им, на противоположной стороне острова, вторят разбуженные котики, и рёв их сливается с неугомонным хлопаньем крыльев, вскрикиванием, стоном. Как это ни странно, сквозь всеобщий поднимающийся над островом шум прорывается далёкий и непрекращающийся гул моря, который почему-то не различается в не потревоженной ночной тишине.

Может, вспугнутые неизвестно чем кайры усаживаются на море, может, в каком-нибудь другом месте, но только поднятая ими разноголосица быстро утихает. Опять липкий туман окутывает облепленные птицами скалы, и отдалённый гул моря вновь притупляется, так что не разобрать сразу – далеко оно или совсем близко. Остров погружается в свои хмурые северные сновидения до следующего внезапного пробуждения.

Поутру кайры выглядят несколько оживлённее. Изредка некоторые из птиц срываются в пике с обрывистых уступов и выходят из него у самого уреза воды, почти касаясь желтоватым от помёта брюхом её поверхности. Совершив трепещущий и какой-то неугомонный круг над морем, они возвращаются на своё место, зажав в клюве по две, а то и три маленькие серебристые рыбки.

Кайры – сравнительно небольшие птицы, размером со среднюю утку. Шея у них короткая и толстая, крылья узкие, кайры ими часто взмахивают, отчего полёт у них не планирующий, а быстрый. Довольно длинная грудина и рёбра, выступающие за пределы таза, позволяют птицам безболезненно соприкоснуться с водой, когда они со всего маху врезаются в неё. Это своего рода природные «рессоры», своеобразные перьевые подушки, с помощью которых посадка на водную поверхность происходит у кайр очень мягко и воздушно.

Обычно брюшная сторона и бока тела кайры белые, а спина – тёмно-коричневая, почти чёрная. Когда птицы плюхаются в воду, они поднимают фонтанчики голубовато-зелёных брызг, и на их белоснежно-атласном оперении капли становятся алмазными слезинками, стекающими обратно в воду. На это короткое мгновение довольно прямолинейные птицы просто преображаются, даже становятся загадочными... Интересно отметить, что среди кайр мне доводилось встречать и альбиносов, совершенно белых птиц, и что ещё более любопытно, обыкновенные кайры не сторонились своих необычных соседей...

Но вернее, всё-таки, то, что все кайры – птицы необычные. Вот и передвигаются они спокойно, вперевалочку, как бывалые моряки. В полёте же отличаются тонким вытянутым клювом и относительно изящной небольшой головой. Изредка кайры летают даже с открытым клювом, а с виду неловко плюхнувшись в воду, великолепно плавают и ныряют. При этом тело птицы держат довольно высоко над водой, но при опасности почти полностью погружают его в воду, оставляя на поверхности голову, шею и часть спины. Купаясь, кайры могут плавать на боку, иногда привстают на воде вертикально, часто хлопая крыльями, ныряя – передвигаются под водой со скоростью до 20 км/час с помощью крыльев, опускаясь на глубину в несколько десятков метров.

Дело в том, что природа далеко не всегда имеет неограниченное количество вариантов в выборе путей развития. Как в северных широтах северного полушария, так и в южных широтах южного полушария какая-то часть морских птиц приспособилась добывать себе пищу при помощи ныряния. В северном полушарии по такому пути пошла группа чистиковых птиц, к которым относятся всем известные кайры, топорки, конюги, старики и тупики. При освоении подводной среды у них постепенно уменьшились крылья. Они стали походить на ласты, ведь длинными крыльями под водой махать трудно, а быстро – просто невозможно. Всё это пошло в ущерб летательным способностям чистиковых птиц, а один вид – бескрылая гагарка, совсем разучилась летать, была очень доверчива, и из-за этого к концу 19 века была полностью истреблена.

Но вернёмся к кайрам... Работая на Тюленьем, мне всегда хотелось подобраться к птицам поближе, чтобы рассмотреть их, но это на острове, вообще-то, запрещено, потому как идёт кладка и выводение птенцов, и своим приближением ты вспугиваешь птиц. Кайры заталкивают птенцов под себя,

втискивают их животами в маленькие углубления, а сами поворачиваются спиной к внешнему миру. Все скалистые карнизы улеплены птицами, на них и без птенца-то удержаться сложно, а кайры умудряются как-то приспособливаться, пытаясь сохранить равновесие, и, конечно, срываются, заполошно взмахивая крыльями. По всему такому базару шум стоит несусветный, птицы перекликаются на разные голоса и сквозь этот птичий говор прорывается настойчивое – « ара-ара-ара... » Это – кайры возвещают во всеуслышание о своих нескончаемых заботах...

Море, кажется, вскипает от дождя падающего сверху помёта: кайры ринулись в море за кормом для своих птенцов. Помёт серо-белыми наплывами покрывает скалы этого древнего острова, отчего они сливаются с серовато-белыми клубами тумана и низким серовато-белым небом. Ощущение, что всё вокруг имеет одну чудесную, первозданную основу, и ничто здесь не изменилось с тех незапамятных времён.

Очутившись в гуще взлетающих птиц на склоне скалы, наклоняешься вперёд, пригнув плечи, будто съёжившись под видимой тяжестью навалившейся на тебя живой массы, и выдерживая на себе прикосновения лап и крыльев, не можешь избавиться от впечатления, что эта застывшая в воздухе птичья туча сейчас тебя раздавит. Птицы заполняют собой воздух, всё морское пространство, и ты просто теряешь ориентацию, полностью подчиняясь этому всеобщему безумию. Кайры создали такое необыкновенное состояние, да и глохнешь от птичьего гомона на острове как-то по-особенному: вроде бы, шум стоит невообразимый, а ты всё слышишь и в себе и в окружающем пространстве, проникнутом могущественным присутствием моря... Велико кайровое столпотворение!

Всеобщее головокружительное передвижение среди птиц наступает ближе к полудню. Сизые чайки и вдвое превышающие их бургомистры, хохлатые конюги и уравновешенные красноносые тупики, то и дело мельтешащие косяки каменушек и более всех подверженные неразберихе кайры до такой степени исчерчивают пространство над островом, что кажется невероятным отсутствие столкновений между ними. Всё здесь подвержено ещё неведь когда заведённому внутреннему устройству, по законам которого и существует эта поразительная, с виду ни от чего не зависящая и необязательная жизнь, но кайры в ней остаются ещё и самыми многочисленными среди всех птиц.

Наблюдая за этими своеобразными пернатыми, мы пробовали заменять яйца кайр чужими, и они не замечали этого, продолжая высидивание. При перемещении же яиц даже на небольшое расстояние в десять-двадцать сантиметров птицы по-прежнему садились на старые места, где раньше лежали яйца, и усердно согревали голый камень. Над плато царило всеобщее, ничем непоколебимое возбуждение, и для человека, впервые прибывшего сюда, оно казалось необъяснимым.

При слишком близком приближении птицы взрывали воздух огромным грязно-белым крылом, ложились в непрекращающийся над плато круг,

тревожили других, ещё не испуганных птиц. Непозволительно было каким-либо неосторожным действием согнать весь базар, нарушить сокровенную тайну созревания продолговатых остроносых яиц изумрудного, розового и белого цветов. Только однажды, при первом заезде на остров, люди забирались сюда, принося в жертву своему чревоугодию начальную кайровую кладку.

Недосчитавшись ещё не появившегося на свет потомства, кайры повторно откладывали яйца и так же усердно высиживали их, как будто это была единственная возможность избежать смерти рода. Мне приходилось слышать, что некоторые птицы способны отложить и третье яйцо, если первые два у них по какой-либо причине исчезли, но происходит это крайне редко.

Груды облепленных помётом шероховатых яиц складывали на пол холодной бильярдной, расположенной на самом высоком месте острова. Их накрывали широким брезентовым тентом, и они лежали так, не портясь, почти всё лето. Каждое утро туда поднималась буфетчица, набирала полный таз холодных, едко пахнущих птичьими испражнениями и сыростью яиц, и затем шла с ними к морю. Тщательно отмыв их, так что они становились ярко-голубоватыми и нежно-розовыми, буфетчица варила яйца на завтрак и выставляла в столовой на самом видном месте. Крупные кайровые яйца, втрое превышающие куриные, все ели с удовольствием, обильно намазывая их горчицей.

Между собой кайры живут в высшей степени дружно. Даже когда между ними возникает переполох из-за того, что какие-нибудь птицы, вернувшись с моря, не могут обнаружить своё насиженное гнездовище и, заполошно перелетая с места на место, нарушают спокойствие своих собратьев, вскоре среди них обнаруживается понимание. Драки, как таковые, отсутствуют и подразумевают всего лишь беззлобную толкотню, заканчивающуюся непременно перемирием. Да и с другими птицами, которые не могут быть для кайр опасны, они также поддерживают самые доброжелательные отношения. Со своей стороны, кайры не надоедают никакой другой птице, живущей рядом с ними, на одной скале, скорее стараясь быть услужливыми, насколько это может быть применимо к птице.

Связаны между собою тесной дружбой и семейные пары у кайр. Кайры постоянны в своих самых важных жизненных побуждениях: они придерживаются единобрачия и стремятся ежегодно занимать на утёсе одно и то же место для гнезда. Перед тем, как сменить друг друга при насиживании яйца, самец и самка на несколько минут замирают рядышком и, как бы извиняясь за то, что вынуждены покинуть его, сочувственно кивают головой, словно раскланиваясь. Потом один из них срывается вниз и улетает в море, по возвращении же – процедура передачи яйца повторяется.

Иногда кайры начинают нервно перебирать клювом перья, но происходит это скорее от возбуждения, вызванного переживанием гнездового периода. По большей части птицы милуются друг с другом,

трутся шеями, и вдруг в одно мгновение бросаются в море, сообщая ловят рыбу и вместе возвращаются на гнездо, где впоследствии опять разделят все заботы по выводу птенцов. Подобное поведение птиц может выказывать только одно: кайры удивительно благопристойны и внимательны, и заслуживают всяческого уважения.

Вообще, весь брачный ритуал, заведённый между этими птицами, поражает именно необыкновенной обходительностью и дружелюбием, можно даже сказать – трогательной заботой, которую кайры, кажется, проявляют с самым искренним желанием. Ритуал этот сопровождается необычными позами и криками, впрочем, не переходящими в неконтролируемое поведение. Все звуковые контакты у кайр глубоко продуманы природой, имеют индивидуальную «окраску», и только у птенца различается около десятка типов крика, которые лишь способствуют более чуткому пониманию его родителями.

Период ухаживания у кайр также сопровождается и «танцами» на воде, которые предполагают замысловатое плавание кругами. Птицы выписывают разнообразные фигуры, вертятся вокруг себя, ныряют и, появившись на поверхности, вновь начинают своё кружение. А то вдруг будто привстают на цыпочках, вытянувшись вертикально, и, вспенивая лапками воду, «бегут» по ней какое-то время, неожиданно переворачиваясь на бок... Замечено, что кайрам свойственно игривое настроение даже когда они насиживают яйца и выводят птенцов!

Среди моряков мне не раз приходилось слышать такое мнение, что кайры – птицы глупые... Но зачем им, опять же по человеческим меркам, быть умными? Всё, что нужно птицам, чья стихия – море, жить своими природными инстинктами, в период гнездования выбираясь на сушу.

Кайры держатся колониями, зачастую в сообществе чаек и других морских птиц, и чаще всего занимают отвесные утёсы по берегам и островам в богатых рыбой районах Охотского и Берингова морей. Здесь, по уступам скал, и располагаются так называемые птичьи базары, где обычно первенствуют кайры. Именно первенствуют, преобладая и количеством, и красивой посадкой, когда птица спокойно замирает в вертикальной позе, с достоинством выпятив свою белоснежную манишку, аккуратно заправленную в чёрный сюртучок, удивляя, к тому же, ещё и своим необычным поведением. Но вот глупое ли оно?

На всех берегах дальневосточных морей живут два вида кайр – тонкоклювая и толстоклювая. На первый взгляд они почти неразличимы. Но различие есть – и в оперении, и в поведении, и в крике, и даже в питании. Так, если тонкоклювая кайра предпочитает почти исключительно пелагические и донные виды рыб, то толстоклювая, вдобавок к этому, питается и морскими рачками.

Чтобы добыть необходимую для птенцов рыбу – молодь минтая и трески, песчанку или мойву, кайре требуется, в первую очередь, взлететь, а имея короткие и узкие крылья сделать это не просто. Оттого она и

предпочитает высокие отвесные скалы, с которых легче слететь к морю, успевая набрать достаточную скорость. Чем выше каменный уступ, тем больше будет продолжаться парение, приносящее кайре уверенность, что она способна на многое, и может управлять полётом так, как ей захочется. Сорвавшись с крутого обрыва, кайра, наверное, обретает ощущение, какое в течение всей своей жизни переживает альбатрос или чайка.

Конечно, наблюдая со стороны за манерой поведения кайры, когда чудится, что она и вовсе летать не умеет, сначала становится смешно: ну, надо же, думаешь ты, как ей вообще удаётся держаться над морем, имея такой ниспадающий со скалы полёт?! Всё, кажется, что вот-вот кайра угодит в волны и уже больше не поднимется в воздух, словом, сгинет. Но нет, кайра тянет над волнующейся морской поверхностью, тянет, и, постепенно выравнивая полёт, в следующий миг будто затормозит и бухнется на воду: она – в родной стихии! Вроде бы, ничего смешного...

Забавляет более другое: то, как кайра натывается на возникшую на её пути преграду, не в силах отвернуть или обойти препятствие. Это, по-видимому, и порождает пренебрежительное к ней отношение, что давно бытует среди моряков. Они видят в подобном поведении недалёкость кайры, не способной осуществить обычный для любой другой птицы манёвр, и именно поэтому, должно быть, считают её тупой...

И действительно, не покидает впечатление, что кайры, облечённые способностью к стремительному полёту, всё-таки несколько прямолинейны в нём. Срываясь со скал, они то и дело натывались на различные препятствия, не являющиеся, в тоже время, таковыми для других пернатых обитателей острова. Нас очень сместило, например, как кайры ударялись в забор, ограждающий площадку для обработки забитых котиков, не имея возможности вытянуть к морю и набирая недостающую высоту в своём планировании. Но как им ещё нужно было проявить своё искусство успешно миновать препятствия, при всём желании этими птицами непреодолимые, если они созданы таковыми?!

Каким-то чудом не переломав себя при падении, кайры деловито отряхивались, переминаясь с ноги на ногу, и, неожиданно наклонив туловище, бросались по скользкому дощатому полу пирса к морю. То и дело оскальзываясь и спотыкаясь, они стремглав топтали друг за другом своими перепончатыми короткими ножками, неловко срывались у самого края и плюхались в пенящуюся воду. Сделав несколько стремительных зигзагов, кайры замирали и так успокоено покачивались долгое время на лёгких волнах.

Только потом, терпеливо наблюдая за птицами, я понял, что у кайр очень короткие крылья. Вследствие этого птицы не могли создать достаточную начальную скорость, необходимую для того, чтобы взлететь с земли, и им приходилось перед взлётом планировать с какого-нибудь более высокого места. Поэтому все оказавшиеся на траектории их полёта предметы и оставались непреодолимыми.

Нет, кайры, скорее, милые птицы, имеющие немало замечательных свойств, нежели бестолковые. Всегда удивляет и восхищает способность этих птиц безошибочно, в любую погоду, находить своё место на утёсе, представляющее из себя совершенно голый, очень обширный камень. Кайры удивительно быстро, почти что сразу, обнаруживают на нём своего птенца или одно-единственное яйцо, затерявшееся среди тысячи таких же яиц. А ещё кайры охотно принимают под крыло чужих птенцов, и в случае гибели своего малыша воспитывают приёмьша, потерявшего родителей. Если же случилось так, что по какой-либо причине яйцо утеряно, кайры нередко начинают насиживать любое подвернувшееся или даже похожий на него камень.

В северных широтах, исключая, пожалуй, только осень, всегда, как правило, стоит сплошной туман, так что в двух шагах ничего не видно. В таких условиях, конечно, нет никаких ориентиров, но кайра, не сбиваясь с курса, попадает прямо на свой карниз и приземляется там, где ей надо. Сунет в рот малышу рыбёшку или самец сменит на яйце самку, и обратно в море, рыбу выуживать. Бывает, из-за случающегося между птицами столпотворения, кайра усаживается чуть правее или левее нужного места, и ей приходится пробираться мимо своих соседей, а те, разумеется, не преминут потрепать мимоходом её перья, даже раз-другой клюнуть... Но происходит это беззлобно, скорее, для какого-то внутреннего птичьего порядка, или по той известной причине, когда ни за что не удержишься подтолкнуть побеспокоившего тебя соседа, хотя бы, ты не испытывал к нему никакой неприязни.

Из-за переживаемого на птичьем базаре беспокойства, кайрам часто приписывают не свойственное им чувство ревности... Предположим, какая-то самка, вернувшись с морской прогулки, застаёт у гнезда другую самку, и та поднимает истошный крик, якобы, проявляя отчаянное возмущение подобным вмешательством в личную жизнь. На самом же деле она просто крикливо выражает недовольство, так как хозяйка яйца вынуждена расталкивать соседей, усаживаясь на своё место.

Вернее всего, что ревность чужда птичьим сердцам, и они более охвачены любовью к своим детям, а гортанное ворчание по этому поводу соседей – «кгээ, кгээ, кгээ», лишь являет их временное раздражение происходящим. У каждой самки – свой птенец, и она чудесным образом рано или поздно его обнаруживает. Кайра – заботливая мамаша, ведь яйцо-то у неё, как правило, одно, и беречь ей его приходится в оба глаза, вернее – в четыре, вместе с самцом.

Но случается и среди кайр настоящий сумбур во взаимоотношениях, когда, как по цепной реакции, ссора между двумя кайрами перерастает во всеобщее раздражение. Сидящие рядом птицы неизменно включаются в перепалку, и начинают щипать и толкать друг друга, оглашая округу невообразимым гамом. Постепенно возбуждённым состоянием загорается

весь скалистый уступ, все карнизы, и в воинственный азарт, наконец, включается весь «базар». Что тут происходит!

Вниз летят перья, сыплются мелкие камни и вместе с ними голубые, розовые и изумрудные яйца, птицы срываются со скалы и тотчас перемешиваются, а через мгновение всё это пернатое скопище разрывается и с невероятным шумом рассеивается над морем. Повсюду слышится пронзительное «арра, арра, арра, ар-р-р-р», из-за чего, наверное, птиц и назвали кайрами, и этот многоголосый гул, кажется, превратился в воздух, объив всё вокруг. А у подножия скал повсюду валяются разноцветные скорлупки яиц, на камнях – брызги желтка, и начинает вдруг казаться, будто природа допустила непростительный для себя просчёт: сколько кладок утрачено, и далеко не у всех птиц они смогут в этом сезоне возобновиться! Но скорее всего предупредительная природа позаботилась о том, чтобы птичий род не извёлся, и, допуская возбудимость кайр в гнездовой период, она не случайно поддерживает их неисчислимо количество.

На недоступных человеку обрывистых скалах, от самого подножия и до верха, лепятся по карнизам тысячи кайр. При той тесноте, которая существует на птичьих базарах, кайрам не до гнезда, уместиться бы самой! Поскольку яйцо кладётся прямо на камни, кайра при насиживании прижимает его к телу, закрывая яйцо с боков перьями, а снизу подсовывает лапки. Этим компенсируется отсутствие подстилки на камнях, но когда напуганная чем-либо птица резко срывается с места, яйцо нередко падает с утёса, и дальновидная природа позаботилась об исключительной прочности яйца: скорлупа его иной раз выдерживает удар о камень. Для того, чтобы выдуть яйцо кайры, сохранив в качестве сувенира, его приходится сверлить шилом, иглой ни за что не проколешь.

Но природа не была бы собой, если не предупредила бы и падение яйца кайры, придав ему конусовидную форму: именно это удерживает яйцо от того, чтобы оно не скатилось даже на покатом уступе. Стронутое с места взлетевшей птицей или потревоженное ветром, яйцо кайры начинает крутиться на краю скалы, всё время поворачиваясь тупым концом к обрыву. Так как центр тяжести будет всегда оставаться в месте соприкосновения яйца с камнем, оно никогда не упадёт.

Кстати, и нахождение кайрового яйца на голой скале не случайно: повышенная влажность северных широт привела бы к быстрой гибели зародыша, если кайра отложила бы пористое яйцо в траве, и, потому, птицы избегают гнездиться на карнизах, поросших какой-либо растительностью. Яйцу кайры необходим свежий воздух, вечно обдувающий яйцо ветерок, и открытый камень – лучшее место для неприхотливого гнездовища. Да и окраска яиц кайры под стать пёстрым камням, она варьирует от дымчато-голубой, серовато-белой, до кремовой, зелёной и даже розовой, испещрённой буровато-чёрными пятнами и штрихами. Ещё одна уловка природы, чтобы закамуфлировать яйца дорогих для неё птиц от врагов.

Главный враг кайр – клуши, и хотя на Тюленьем эти птицы гнездятся в небольшом количестве, значительное число их регулярно прилетает сюда по утрам с побережья Сахалина, нанося обитателям острова непоправимый урон... Клуши преимущественно кормятся павшими детёнышами морского котика и последами, оставшимися после щенки, но одновременно залетают на птичий базар, где пожирают яйца кайр и таскают маленьких птенцов. За один присест клуша способна уничтожить до десятка яиц кайры, которые она очень умело расклёвывает и всё содержимое выпивает, а развитых наполовину зародышей проглатывает целиком. Когда кайры насиживают или обогревают птенцов сплошной массой, то клуши на них не нападают, достаточно же кайрам оставить яйца открытыми, как сейчас же налетают клуши и начинают «грабить» базар.

Ещё одни вредители птичьего базара – трёхпалые чайки моёвки. Они гнездятся большой колонией на острове Тюленьем, и также очень охотно, причём, в огромном количестве, расклёвывают яйца кайр. Моёвки даже умудряются вырывать не проглоченных рыбок из клювов птенцов кайры, отчего последние погибают.

Зато бесчисленным чайкам ничто не мешает часами безбоязненно парить в невидимых воздушных потоках. На распростёртых в изломе крыльях они поднимаются всё выше и выше, обзревая свои необъятные владения. Являясь, как и кайры, вечными спутниками котиков, они вовремя предупреждают зверей о надвигающейся опасности.

Впрочем, опасность на берегу могла исходить только в одном случае – от людей. Как и все животные организмы, люди, основываясь на своей природе, привыкли брать там, где легче. Полную свободу котики обретали в море, и даже коварство вездесущих косаток, что постоянно охотились на них, не могло быть тому помехой.

Но не тайные красоты острова привлекли меня сюда, а Смерть. Запах человеческого ничтожества и убийства, безнаказанно совершаемого из года в год вполне нормальными людьми, достойными лучшего воплощения своих сил.

На первый взгляд, это было более чем неожиданно, если учитывать, что все мои предыдущие путешествия посвящались Жизни. Но только на первый взгляд, поскольку смерть является логической переходной формой любого существования: смерть естественная, покойная, с ясным осознанием неминуемости происходящего. Меня же заинтересовала смерть насильственная, когда кто-то берёт на себя право убивать, недостаточно ясно представляя, зачем он это делает. И даже если человек, наверное, утвердился в этом тонком вопросе, решение его не может быть однозначным.

Смерть – самое таинственное и мудрое состояние, в котором приходится пребывать каждому живущему, но далеко не каждый воспринимает его как должное. А как относиться к человеку, не разобравшемуся в собственной жизни и взявшемуся решать судьбу чужой, хотя бы она и принадлежала животному или птице?

Людам всегда была присуща изощрённая жестокость в отношении животных, тем более – приносящих огромные доходы, и всегда человек, желая достичь максимальной прибыли, играл на самом сокровенном – любви взрослых зверей к своим детёнышам. Так, зная, что моржи – преданные родители, профессиональные охотники широко пользуются этой особенностью чадолюбивых родителей: поймав детёныша, они бьют его, пока тот не начинает громко реветь, и взрослые моржи, устремляющиеся со всей окрестности на этот отчаянный призыв о помощи, становятся их лёгкой добычей.

Массовый забой котиков на острове Тюленьем был ярким тому примером, и я решился приехать сюда, чтобы познакомиться с людьми, ежегодно убивающими по несколько тысяч зверей. Мне хотелось понять, что ими движет и каково их душевное здоровье. Мне хотелось разобраться, что такое смерть и смогу ли я без особого ущерба для себя убивать зверей в течение всего периода заготовки. Мне хотелось увидеть, как сами звери воспринимают смерть, почему они, ежегодно преследуемые, оттуда не уходят, и что в их жизни первостепенно. При их стадности и невозможности, подобно человеку, изменить свою жизнь, проследить это было бы крайне интересно. И потом, попасть на остров Тюлений возможно было только являясь законным членом бригады забойщиков, и я убедил себя: всё, что мне предстоит пережить здесь – того стоит.

Остров Тюлений, как лежбище котиков, был открыт в 1852 году, и, по японским данным, китобойные суда добывали на нём в это время десятки тысяч зверей. Но потребовалось всего лишь сто лет бесконтрольного их уничтожения, чтобы к началу текущего столетия количество котика на острове сократилось до нескольких тысяч голов. Столетие, проникнутое жалкими человеческими устремлениями, слепой наживой и страхом, не породившее в итоге ни единой живой мысли и погрязшее в крови, оставляло в наследство лишь слабую надежду на то, что когда-нибудь человеческий разум и знание восторжествуют, и в лице людей морские котики, наконец-то, обретут для себя верных друзей. Так нужно было думать, чувствовать, верить и становиться хотя бы немножко лучше, преодолевая в себе безжалостный порок – неистребимую жажду убивать, легко наживаясь на этом.

Биология котика определила в некотором роде его судьбу. Размножается он на строго определённых, исторически сложившихся лежбищах, куда приходит в мае и остаётся до ноября. Остальное время он мигрирует в Охотском, Японском и Беринговом морях. Странам, на чьих территориях располагались лежбища морских котиков, не было смысла щадить их, так как во время миграций в море котики истреблялись промышленниками других государств. И только заключение международной конвенции, запретившей морской промысел котиков, спасло этих животных от окончательного истребления.

Однажды кем-то было сказано: каждая в отдельности погибель на земле не содержит в себе ничего страшного, а лишь мера вынужденная и в какой-то степени даже облегчительная... Один же из самых благоразумных выводов человеческой жизни гласит: погибель может быть только насильственной, совершаемая над другими или над самим собой. И лишь в противном случае – это естественный уход, предвосхищающий грядущее, хоть и очень далёкое воскрешение. Воскрешение, которого всегда ждало лживое человечество, но, в тоже время, не предпринимало ничего достойного на этом пути.

Но как обстоит дело теперь? И что представляет из себя механизм современной машины, способной, в отличие от своей давней предшественницы, должно быть, более чётко организовать убийство?

Система организации котикового промысла проста и определяется своеобразием жизни этих зверей. Большую часть года котики проводят в море, а в летние месяцы образуют крупные береговые лежбища на островах. Являясь полигамными животными, котики на береговых лежбищах создают так называемые гаремы, в которых на одного самца приходится до пятидесяти самок. Поскольку самцов и самок рождается примерно равное количество, в стаде котиков образуется большая группа «лишних» самцов, не участвующих в размножении. Поэтому забой некоторого количества самцов не отражается на нормальной жизни и росте стада.

Принято считать, что наилучшим качеством меха обладают котики в возрасте трёх-пяти лет. Самцы этого возраста, называемые холостяками, и являются промышленной группой котиков, обречённых на выбивание. Именно они - эти трёх-, четырёх- и пятилетние звери, никогда не ощутившие природную силу воздействия на беспрекословно подчиняющихся им самок, ещё не познавшие великую степень отцовства, не подвергшиеся в жестоких стычках секачей испытаниям на отвагу и не понёсшие в них боевое крещение множеством запёкшихся от времени шрамов, и предназначены были отправиться под нож того, кому менее всех была интересна их судьба.

На острове Тюленьем котики обычно наблюдаются с середины мая. Более ранний подход их сюда бывает затруднён сплошными льдами, окружающими остров весной.

Первыми появляются секачи. Самые сильные и выносливые среди котиков, они быстрее всех преодолевают путь к острову. По прибытии, каждый из них занимает себе территорию, на которой в будущем образуется гарем.

Выбор места обуславливается положением котиков в стаде. Сильные и опытные секачи занимают территорию подальше от моря, ближе к подножию главной островной скалы. Здесь они чувствуют себя более вольготно и спокойно, большую часть времени проводя в беззаботной дремоте и ожидании подхода самок.

Лишь изредка какой-нибудь из них лениво приподнимает голову и издаёт грассирующий негромкий рык, после чего голова его опять

беспомощно опускается на песок. Время от времени вздрагивая, котики, словно веерами, перебирают в воздухе задними лапами. Они такие сухие, морщинистые и гибкие, что неудержимо хочется ощутить рукой их шероховатость.

Каждый секач окружён свободной зоной, которую впоследствии займут самки с детёнышами, и потому короткий путь до воды они преодолевают беспрепятственно. Редкие драки, что случаются в это время между секачами, ещё вполне безопасны и происходят, по большей части, с целью демонстрации силы. Секачам по мере приближающегося ответственного периода в их жизни необходимо всё чаще напоминать соседям о своём существовании.

Высохшие и перевалившиеся в песке котики приобретают приглушённый тёмно-бурый или грязновато-оливковый окрас, их не сравнить со зверьми, только что вышедшими из воды. Освежённый пенистой морской синью мех животных даже в пасмурные дни приятно переливается исчезающей дымчатой синевой. При солнечной погоде шкуры зверей лоснятся жирным серебром.

Кстати, мех морского котика может показаться грубоватым, к тому же – у него неприятный буровато-серый оттенок. Вроде бы, он не идёт ни в какое сравнение с мехом соседа по морским побережьям – калана, но это только на первый взгляд. Искусные меховщики делают из котикового меха очень привлекательный товар, для чего длинную ость выщипывают, а оставшуюся короткую подпушь красят. И вот уже вам чудесный мех – то ли каланий, то ли бобровый, или, неужели, - это ... котиковый?! Правда, котик котика рознь, ведь у этих зверей сильно выражена возрастная и половая изменчивость волосяного покрова. У старых зверей мех перерастает, мездра грубеет, а самые лучшие шкурки получают от холостяков – двух-трёх-летних самцов, у которых очень короткий, но густой волос.

Вслед за секачами приходят в одиночку или небольшими группами холостяки, не участвующие в оплодотворении самок. Само гаремное лежбище, где происходит размножение морских котиков, расположено под скалой на юго-восточном и восточном берегах острова. Холостяки, полусекачи и безгаремные секачи ложатся по его концам, на прилегающие к нему с северо-востока и юго-запада участки. Простираясь вдоль берега, эти два холостяковых лежбища заходят далеко за края островной скалы.

Расположение гаремного лежбища на юго-восточной стороне острова, очевидно, связано с нахождением против этого места в море барьера из рифов, о который разбиваются морские волны даже при сильном ветре. А поскольку сильных штормов с этой стороны летом в районе Тюленьего, обычно, не бывает, то не умеющие плавать детёныши котиков находятся в относительной безопасности. Когда наступает время привыкать к воде, черныши свободно плещутся в затишье у берега.

Холостяки держатся отдельно, но, пока не прибыли самки, они решаются выходить на берег в месте будущего гаремного лежбища и

устраивают между собой небольшие потасовки. Молодая кровь побуждает котиков, в отличие от умудрённых возрастом секачей, много двигаться, играть и купаться. Котики, по-видимому, ещё не чувствуют в себе потребности в самках, они радуются переполняющей их жизни, счастливой возможности целое лето жить на этом острове и учиться чему-нибудь полезному у старших.

Несмотря на свою игривость, молодые котики осторожны и боязливы. У них очень развит стадный инстинкт: стоит одному-двум куда-то побежать, и остальные бросаются за ними. Они ещё не в состоянии отличать настоящую опасность от лёгкого намёка на неё, и потому создают много шума и суеты.

Остров с каждым днём всё более оживает, подлетают новые стаи птиц, организующие на безликих скалах свои бесчисленные колонии. Стремительно носятся они над водой, передавая друг другу радостное возбуждение от встречи с родимыми местами. Всё движется, шумит, но неистовство это ещё не достигло своего пика. Жизнь только начинается здесь, и будет продолжаться несколько долгих месяцев, пока не иссякнет это возбуждение, и существование островных обитателей, наконец, не войдёт в свою обычную колею.

Кайры выведут своих птенцов и обучат их летать, детёныши котиков незаметно подрастут и окрепнут для своего первого серьёзного путешествия по морю, только что освободившиеся от бремени самки вновь понесут в себе драгоценный для них плод. Суетливая и громогласная островная жизнь ещё долго не прекратится и, как будто существующая сама по себе, будет незаметно копить силы, которые затем насытят собой весь этот морской мир.

Подход самок на остров начинается с первой половины июня. В эту пору и происходит образование гаремов – событие в жизни острова самое ответственное и неповторимое. Самки сами выбирают себе секачей, и суета самцов при этом не играет никакой роли.

Бывает, количество самок в гареме достигает двух сотен, и это значит, что кто-то из секачей более чем другие задел их за живое, именно в нём почувствовали носительницы жизни здоровую силу и обаяние, и только ему одному вверили свою волю. Плотным кольцом окружают они гордого секача, жмутся к нему поближе, с трепетом ловят его запах и замирают при звуках трубного рёва. И завершается тогда для самцов благословенное время безделья, немало усилий требуется от них, чтобы совмещать бесстрашную защиту гарема с лаской. Здесь вступает в силу незыблемый закон звериного стада, так же неукоснительно действующий для всех его членов, и очень редкий секач, который должен обладать незаурядным жизненным заделом, может противостоять ему.

Половозрелыми самцы становятся в три года, но гаремами обзаводятся в восемь-десять лет. Немалый срок должен пройти, прежде чем холостяки станут полусекачами, полусекачи, в свою очередь, превратятся в секачей, уже способных побороться за право обзаведения хотя бы небольшой семьёй,

а какие-то безгаремные секачи, долгое время остающиеся не у дел, наконец обретут право и возможность продлить не иссякающую жизнь рода.

Часто можно наблюдать, как к довольно крупному секачу, занявшему вполне благопристойный участок, жмутся всего лишь шесть-восемь, а то и две-три самочки, что, по-видимому, свидетельствует о его неопытности и ещё сравнительно небольшом возрасте. Такие секачи скромны и спокойны, никогда не зарятся на брачную территорию своего соседа и не провоцируют других. Им в этом сезоне достаточно их тихого, небольшого счастья, и они довольны, что судьба его подарила.

С началом прихода самок самцы располагаются, как на смотринах, образуя по всему пляжу живые полосы согласно своему весу и достоинству. Если под скалой, с наибольшей территорией владения залегают опытные и мощные секачи, то у самого уреза воды, на прибойной полосе плотного песка, ожидают своего часа самцы, ещё достаточно не созревшие, но уже на что-то претендующие. Они, в свою очередь, сдерживают огромный наплыв нескончаемо подходящих к острову холостяков и молодых секачей, страстно желающих тоже чем-либо отличиться и попытаться прорвать кольцо наиболее опытных. Но тяжело противостоять уверенному в своих правах большинству, когда ты сам ещё достаточно не окреп и только кровь неистово будоражит по весне твоё тело, а душа теряется от переполняющих её чувств.

Стать настоящим секачом не просто. Всё в стаде подчинено строгим законам, и невозможно их раньше положенного времени преодолеть, не поплатившись за это. Вот какой-нибудь бодрый холостячок, несколько часов кряду прокруживший в прибрежной воде, наконец, набирается мужества штурмовать себе участок. Приводя в слепое негодование восседающих возле берега самцов, он с головой бросается сквозь их плотные ряды, на ходу отворачиваясь от жестоких укусов и ударов, то и дело огрызаясь, но всё же двигаясь вперёд.

Тело его, как снежный ком, всё более обрастает рассерженными соперниками, и вот уже нет никакой возможности продолжать движение, после чего начинается натуральное избиение. Кровь смельчака безостановочно хлещет из рваных ран, застилая нападающим глаза, а обезумевшие безгаремные самцы всё насаждают и гонят отчаявшегося в своём поступке котика прочь, так что, кажется, ему не добраться до спасительной воды, не вынести этот сокрушительный позор... Это – настоящая живодёрня!

Тягучая морская прохлада принимает изнурённого бойца в свои объятия, и он отлёживается так, длительное время не показываясь на поверхности. Только зеленовато-бурое облако крови медленно рассеивается над ним, постепенно ускользая в невидимую глубину, и котик оживает, чтобы уже более умудрённым, наученным опытом бойцом вновь отважиться на следующий бросок. Так зарождается характер, так безудержно противостоит крылатая жизнь догматическим стадным канонам.

Но что же самки? Как они знаменуют свой приход на остров, где их в нетерпении ожидает более сильная половина? Что привносят они с собой в эту закипающую звериную жизнь?

Половой зрелости самки котика достигают уже к двум годам, однако начинают принимать участие в размножении лишь с четырёх-, пятилетнего возраста. Именно с этих пор, и до конца своей тридцатилетней жизни, если, конечно, ей ничто не помешает, поведение самки будет обуславливаться необходимостью из года в год выходить на берег за несколько дней до родов, оставаться какое-то время при новорождённом малыше, зачинать от приглянувшегося секача следующего, а затем уходить в море, оставляя щенка в совершенном одиночестве... Таков неумолимый закон природы.

Только раз в неделю возвращается самка из моря, чтобы отыскать среди тысяч слоняющихся по всему берегу, орущих и пытающихся сосать любую самку щенков именно своего, накормить и снова уйти надолго в море. В разгар летней береговой жизни примерно треть любого стада остаётся рассеянной по океану вблизи острова. Помимо нескончаемо подходящих к берегу холостяков, уже родившие и вновь понёсшие в своём чреве жизнь самки, по-видимому, совершают своеобразный ритуал очищения.

Вообще, не очень тесная привязанность матерей к детям, а родителей друг к другу – довольно заметная черта жизни котиков на лежбище. По мере разворачивания островных событий, всё большее участие в происходящем принимают щенки, или черныши, как их зачастую называют на острове. Имея от рождения чёрный мех, молодые котики хорошо отличимы для постороннего глаза, что, впрочем, не мешает взрослым секачам нещадно давить их в ходе своих отчаянных потасовок.

Первый месяц черныши не плавают, а разбредаются по лежбищу и образуют детные залёжки. Скапливаясь толпами испуганных зрителей на безопасных местах, они постепенно смелеют, крепнут и растекаются по всему берегу, всё чаще и чаще заглядывая в уголки ещё недавно сокрытой от них жизни. Удивительно, но всего лишь четырёхмесячными щенками котикам вскоре предстоит уйти от своего родного лежбища в открытый океан почти на год, и в этом во многом обязаны они раннему отчуждению, мудро проявленному к ним родителями.

Вольное звериное существование, кажущееся человеку в применении к себе холодным и недопустимым, предполагает в своей основе такое жёсткое расписание жизни. Всё в ней, на первый взгляд, как будто способствует скорой гибели котика. Длительная продолжительность беременности у самок, составляющая около трёхсот шестидесяти дней, ставит её в зависимость от конкретной, часто сменяемой обстановки и, тем самым, повышает риск потери зародыша. Это первое серьёзное препятствие, возникающее для ещё не родившегося морского зверя.

Появление котика на холодном и негостеприимном для него лежбище также не сопряжено с теплом и спокойствием. Пока ещё нерасторопному и потерявшему мать чернышу неминуемо грозит гибель, и, наверное, главное

чувство, которое в момент появления на свет испытывает несмышлёный малыш, это собственная ненужность. Ненужность матери, тотчас покидающей своего детёныша, безразличие взрослого самца-производителя, немилосердно подминающего черныша под себя, и даже те небольшие хлопоты, что доставляет ему большая североморская чайка – птица по характеру скверная и задиристая, приводят к такому неутешительному выводу.

Ранний разрыв жизненной нити, связывающей котика с матерью, несомненно, способствовал вероятности его гибели и в дальнейшем. Пережив это, молодой тюлень следующие несколько лет жил относительно спокойно в океане, совершая недолгие визиты на берег. Но и потом, уже взрослый трёх-пятiletний котик, связанный необходимостью найти своё место на лежбище, вынужден был в который раз определить для себя собственную социальную зрелость и вступать из-за этого в очередной конфликт.

Переживая в течение всей последующей жизни время от времени повторяющиеся и усложняющиеся кризисы, зверь возводил собственным опытом многолетнюю, невидимую глазу архитектуру, подчинённую, в конечном итоге, одному – здоровому восполнению своего стада, а значит – продолжению жизни. В этом был заключён секрет природы, приоткрываемый на острове в момент счастливого рождения и трагической жизненной ломки.

После оплодотворения самок секачи по-прежнему несут вахту на своих местах, но места выбывших уже не всегда оказываются заселёнными из-за постоянного уменьшения числа претендентов. Постепенно в стаде появляются всё новые и новые бреши, и к концу лета оно окончательно разваливается. Лежбище становится таким же беспорядочным скопищем разнополого и разновозрастного зверя, как и холостяковая лёжка.

Именно в этот период – в конце лета и осенью, у котиков начинается линька. Секачи не обращают внимания на присутствие холостяков и самок, и лежат рядом с ними буквально бок о бок. В эту успокоенную пору наладившейся жизни между секачами наступает терпимость, великодушно стираются все грани, и более сильные не замечают чужой слабости, а последние, в свою очередь, способны претендовать на ранее невозможное. Лишь иногда можно увидеть одного или двух секачей, пытающихся удержать около себя облюбованную самку.

Правда, поздней осенью, когда уже как будто всё затихло, на лежбище вдруг начинается второй пик активности, связанный то ли с восстановлением сил у ветеранов, то ли с приходом свежих опоздавших секачей. Бывает ли осенью оплодотворение или это всё действительно только «ложный гон», неизвестно.

Не связанные больше ничем звери покидают лежбище, рассеиваясь по океану. Многочисленные птицы готовятся к своим дальним перелётам. С осени до весны остров остаётся необитаем.

Одиноко и неприятно становится тогда здесь. С ноября наступают крепкие холода, задувают свирепые ветры, и огромные волны перекатываются через крохотный островок. Трудно представить, что совсем недавно на этом краешке земли, всюю, бурлила неугомонная жизнь.

Каждый год, в одно и то же время, на остров приходили люди. Ещё не отошедший от зимних штормов и пронзительных ветров, остров встречал их хмуро насупившимся, угрюмым. Резкие вскрикивания пока немногочисленных птиц непонятным образом настораживали, а во всей окружающей обстановке чувствовалась какая-то неопределённая отрешённость.

Намытые за зиму горы мокрого песка забивали все помещения нижнего этажа здания и доходили до самых окон. Груды мелкого ракушечника толстым слоем устилали бетонные углы комнат. Пересохшими скрюченными гирляндами безлико повисали на заградительных поручнях водоросли. Неузнаваемое запустенье повергало людей во временное уныние.

Как только руки касались привычной работы, настроение сразу поднималось и появлялось желание жить. То и дело прибывающие на остров котики оглашали первозданную тишину трубным рёвом, этот рёв доносился с противоположной стороны острова и, смешиваясь с шумом морского прибоя, возбуждал в душе необъяснимые чувства. Сооружая оградительный забор на главной островной скале, загон для зверя, забойную площадку и пирс, оборудуя жилые помещения, баню и вырывая на берегу моря потайные тоннели, каждый с волнением думал о предстоящем для себя сезоне – достаточно он будет удачным или нет.

Само по себе добывание морских котиков настолько просто, что в прежние времена добычу их сравнивали с разведением домашних животных, с той лишь разницей, что котики, не требуя ни корма, ни присмотра, ни ухода, дают человеку ежегодно верный и лёгкий доход. Доход этот будет тем больше, чем меньше беспокоить котиков до промысла, и пугая и мучая их во время него.

Забой производится в июне и первой половине июля следующим образом: выследив место, на котором расположился табун холостяков, забойщики рано утром забегают на берег моря, отрезая тем самым зверю путь к отступлению, и палками гонят табун к месту забоя. Котики настолько беспомощны, что десяти-пятнадцати человек достаточно, чтобы гнать стадо до тысячи голов. Для забоя обычно выбирают благоприятную погоду – чтобы было не жарко и не очень сыро. Из общего табуна отгоняют в сторону кучку в двадцать-тридцать зверей и оглушают, ударяя по голове дрыгалкой – палкой длиною в два-три с половиной метра, в то же время, выбирая вполне годные по возрасту, полу и качеству шкурки, экземпляры. Покончив с одной кучкой, принимают за другую, и так далее.

Одновременно с производством забоя другие рабочие занимаются сниманием шкур. Оглушённые котики растаскиваются и укладываются по всей площадке в ровные ряды. Кто-нибудь из «старичков» с остро отточенным ножом и дубинкой идёт вдоль рядов и добывает тех, кто подаёт признаки жизни. Следующие за ним рабочие делают на шкурах продольные надрезы и обрезают лапы. Чтобы обеспечить быстрое снятие шкурок, несколько человек тут же скальпируют головы зверей, стараясь сделать это наиболее быстро и аккуратно.

Успеху в подобных операциях обычно способствует правильная и заблаговременная заточка ножей, которые на острове каждым членом бригады тщательно наводятся и оберегаются. Незамысловатого фабричного производства – с толстыми деревянными рукоятками и широкими тонкими лезвиями, они в разных руках по-разному преобразуются, приобретая, помимо своего характера, и отличимый от других ножей знак. Являясь главным орудием труда, ножи требуют к себе соответствующего внимания и заботы, в чём легко можно убедиться вечером, зайдя в любую из жилых комнат: вас встретит упорное скрежетание наждачных брусков и жалящий блеск стали.

Навыки в обдирании шкур приходят далеко не сразу, и потому короткие и редкие перекуры почти не снимают накапливаемого напряжения. Дрожь в руках подолгу не утихает, и становится трудно держать нож, в висках гулко ударяет разгорячённая кровь, а к горлу подкатывается подташнивающая слабость. Но впереди тебя ждёт нескончаемая работа, и ты уже не замечаешь живущего рядом моря, и птиц, и высокого синего неба. Всё твоё внимание сосредоточено на липкой от крови площадке и повисшем над ней утробном зверином духе, сытно и бессмысленно испускающего запах застылого жира. Так, обычно, пахнет только бедой...

В сравнении с недавним прошлым - шкуры с котиков снимаются не вручную, а с помощью лебёдок. Оскальпированная с головы шкурка прихватывается металлическими щипцами и немного подтягивается. В это время двое обработчиков втыкают тяжёлые двухзубчатые вилы в тело котика и, что было силы, упираются создаваемому лебёдкой сопротивлению. Важно при этом воткнуть вилы правильно, чтобы голова или шея при сильном натяжении не оторвались. Здесь более требуется сноровка, чем сила, любая же остановка в работе расслабляет и мешает соседям.

Натужно взвизгивая, лебёдка своей невидимой силой выворачивает шкуры наизнанку, с липучим треском соскальзывает с них белое плотное сало, и теперь уже окончательно безжизненные тела безлико замирают на потемневших от крови досках. Свободные обработчики собирают по площадке освежёванные шкуры и перебрасывают их в специальные чаны, где, залитые морской водой, они будут отмочать в течение нескольких часов. Затем шкуры подвергнутся мездреванию, и о нём, несомненно, нужно сказать несколько слов.

Какую бы работу на острове не выполнял человек, она всегда была нелегка. Отсутствие пресной воды, например, обеспечивало массу ничем не устранимых забот, связанных с разгрузкой тяжёлых и скользких бочек, сначала с баржи на кунгас, а затем с кунгаса на берег. Задачу усложнял почти не затихающий морской накат, после которого бочки ещё нужно было катить вверх, по разложенным на берегу доскам, и устанавливать их неподалёку от кухни. Ту же самую операцию предстояло проделать с ещё более тяжёлыми топливными резервуарами и заготовленными на острове бочками с салом. Разгрузочные и погрузочные работы занимали если не основную, то довольно значительную часть островного времени.

Можно было бы бесконечно долго перечислять ожидающие здесь человека трудности, сделав при этом, в конечном итоге, вывод, что ни перед одной из них он не пасует так, как перед мездреванием шкур. Мездрение, сочетающее в себе значительное физическое напряжение и тщательность, ум и осторожность, ловкость и смекалку, являлось высшим критерием твоей надёжности. Именно мездрением проверялись на острове неумелые новички, только открывающие для себя перипетии жизни. Я тоже был здесь новичком, и также открывал для себя мир, который при обработке шкур застилался едким потом...

Да, это было действительно нелегко – с непривычки очистить от сала и сухожилий до трёх десятков шкур в день, ни одной не прорезав. Время от времени нужно было не забывать протирать коробящийся прорезиненный фартук, чтобы пятна крови не оставляли следов на мездре. Вода находилась в деревянной бочке, которая стояла рядом, и на краю её висела холодная мокрая тряпка. Холод шёл от бетонного пола, усеянного лохмотьями стылого котикового сала. Кроме этой оголённой застылости всей окружающей обстановки, и разгорячённого собственного тела, ничего более не замечалось. С ощущением какой-то безвольной радости привязывал я к отмездрённой шкуре очередную пронумерованную бирку.

В случае недобросовестной мездрёвки - шкуры возвращались по специально изготовленному в бетонном полу желобу, и бригадир выкрикивал соответствующий номер. Нужно было успеть выловить бегущую к тебе по воде шкурку и довести её до ума. Подобное могло произойти со следующей шкуркой, и ещё с одной, и ты начинал понимать, что лучше с самого начала делать основательно, а не надеяться на пресловутое авось. Додельывание, как правило, не приносило удовлетворения, да, к тому же, занимало более времени, чем если бы ты выполнил всё, как следует, сразу.

Между членами бригады устанавливалось негласное соревнование. Каждый втайне стремился завершить работу быстрее других, поскольку это, во-первых, обеспечивало известное моральное удовлетворение, заключающееся в неистребимом человеческом самоутверждении, и, во-вторых, увеличивало твоё свободное время. Правда, тебя ещё ожидала чистка жирных чанов, уборка своего рабочего места, засолка срезанного сала и

затаривание его в бочки, но всё это ни шло ни в какое сравнение с мучительной мездрёвкой, и воспринималось после неё как отдых.

В то время, как другая часть бригады занималась засолкой очищенных от сала шкур, освободившиеся принимались перетаскивать разделанные тела котиков на край пирса. Для улучшения их скольжения доски тщательно поливались водой, так что, ухватив две, а то и три туши, можно было беспрепятственно добежать на одном дыхании до самого края. Туши цеплялись приготовленными для этого железными крюками с загнутыми ручками, и лучше было брать их накоротке, что значительно уменьшало сопротивление.

Затем рабочие отмывали дощатый пол забойной площадки, упругими струями из брандспойта сметая оставшиеся кусочки печени, мозга и лёгких, всё как будто успокаивалось, а выпотрошенные тела с пересохшими лапами кровавыми безжизненными грудями неподвижно лежали на пирсе, ожидая ещё одной незавидной участи: им предстояло отправиться в последний для себя путь – на звероферму. Обеспечивая кормом неугомонную европейскую норку, великодушные люди не смогли придумать для изувеченных котиковых тел лучшей доли.

Конечно, моё пребывание на острове обуславливалось тяжёлым физическим трудом, приносящим незаурядное удовлетворение, неожиданно открывшейся необъятностью дикого мира природы с потрескавшимися от времени скалами, ветром, туманами, редким солнцем и обыкновенными людьми, и всё это, несомненно, тихо восхищало, но всё-таки постепенно создавало душевное неприятие, какую-то необъяснимую пока внутреннюю несвободу. Ощущение, что некое важное на острове действие происходит не так, как это бы следовало, не покидало.

Прежде всего, настораживал сам механизм машины, призванной чётко организовать убийство. Не слаженная его работа, а те бездушность и глухота, которые ему оказывались присущи. Все здесь, кажется, твёрдо были убеждены, что так и должно происходить, что это важная часть неотъемлемой от их жизни работы. Всё было проникнуто сознанием честно исполняемого долга.

Бухгалтерия, кадры, жилищно-коммунальная служба, отдел снабжения – все они оформляли, инструктировали, устраивали и снабжали необходимым, не представляя истинного положения происходящего на острове. Ни разу не побывавшие на острове, а если и побывавшие, то так ни в чём до конца и не разобравшиеся, «ничего не ведающие» чиновники непоколебимо стояли на страже чинимого произвола. Скорее, здесь более было заключено бездумности и бездушности, нежели беспорядка, и, тем не менее, машина по уничтожению прекрасных морских животных исправно крутилась, ежегодно доставляя мнимую прибыль.

В чём же была заключена причина и суть существующей развращённости? Ответ, наверное, следует искать в природе самого человека, прежде определив его отношение к Смерти. А понимание её таково:

человеку, по сути своей, легче всего убить, нежели не сделать этого, чтобы добиться скороспелых результатов.

Большинство людей, как правило, идут по пути наименьшего сопротивления. Желая загладить собственное невежество, они натягивают на лица воодушевлённые маски, а лживые поступки облачают в красивые одежды. Некоторые из них искренне верят в надобность происходящего, и такие представляют наибольшую опасность. Даже под угрозой собственной смерти - они способны только на короткий миг по животному напугаться, после чего сами будут без зазрения совести убивать, возводя это убийство чуть ли не в ранг священнодействия.

Наблюдая за забойщиками котиков на площадке, я с определённостью испытавшего на себе человека могу поклясться: их человеческая суть в эти страшные минуты протестовала учиняемому зверству, это было написано на их лицах. Но она не в силах была побороть животной растерянности перед надвигающейся ответственностью, и легче было с размаху ударить по мятущемуся ворсистому загривку и, видя, как он неожиданно взбухает алой шапкой, неистово добивать изворачивающегося в предсмертной судороге зверя, направо и налево колотить свежевывструганной увесистой палкой, выкрикивая при этом что-то непонятное, жалкое.

Лица казались взбудораженными, помятыми нерешительностью и от этого жестокими и страшными. Люди словно злились на себя за то, что им приходится исполнять это неблагодарное дело, им вторили другие, и над забойной, заляпанной кровяными сгустками площадкой витали жалкая озлобленность и неудовлетворённость.

Постепенно вид крови застилал глаза, дыхание становилось размеренным, и, хотя леденящая судорога по-прежнему не отпускала руки, нервная дрожь из них всё же уходила. Разгорячённое тревожащее молчание людей неприятно устраивалось плечом к плечу с захлёбывающейся кровавыми пузырями жизнью, тут же безотчётно приканчивая её жалкие остатки. Вскоре всё затихало.

В сравнении с открывшейся оголённостью увечных тел животных, этой мрачной окоченелостью мясного пейзажа, всплывающие в памяти полотна голландских мастеров академического натюрморта с ярко-сочными окороками и грудями набитой птицы представлялись сущей безделицей. Клубящийся над разверзнутыми утробами животных пар будто сглаживал воцаряющееся повсюду напряжение от бессмысленности содеянного варварства. Придавленные только что произошедшим, люди, не снимая окровавленных рукавиц, жадно курили на корточках, скрывая друг от друга встревоженные взгляды. Надтреснутая озабоченность и тревога быстро утекали из разбитого сердца, а на смену им приходило усталое равнодушие...

Так происходило изо дня в день, и люди каждый раз боялись, но убивали. Убивали, потому что не могли себе позволить любоваться этими животными. Они не в состоянии были понять открытой для них природой простой и чудесной жизни.

А начиналось всё с души человека, с её пассивного сопротивления происходящему в тревожные ночные часы. В это бесконечное время твой мозг и душа были не бездеятельны, хотя и казалось, что спят они среди ватных облаков промозглого тумана, бесшумно наползающего с моря. Копшашиеся разрозненные мысли одолевали уже незадолго до отбоя, попеременно возбуждая картинку происходящего за день, и когда на остров наваливалась невнятная роящаяся тишина, начинала трудиться душа.

У каждого по-разному, у кого-то совсем примитивно и однобоко, но, всё же, работала, не замирала вовсе, и вот именно благодаря этому, её самому неуловимому и слабому переживанию, всегда оставалась малая надежда на выздоровление. Эта слабая Божья искра лелеялась в метущихся душах людей и никогда не прекращалась, лишь изредка затихая до очередной, непонятно откуда взявшейся оттепели...

... В ожидании серой рассветной поры, наиболее удобной для загона, сердце успевало не раз переболеть предстоящим жутким жертвоприношением. Разделочные ножи доводились в нетерпеливой вечерней лихорадке нескончаемых и, как правило, пустых разговоров, а нервозность порождала длительную бессонницу. Всё было подчинено самым ответственным на острове минутам, и каждый, ещё с вечера, предупреждался об этом.

Всегда сопряжённое с плохо скрываемой тревогой ожидание, в первую очередь, начиналось с подготовки одежды. Её следовало заблаговременно просушить и развешать неподалёку от койки. Подъём на загон происходил ранним утром, и от забойщиков требовались немалый жизненный опыт и воля, чтобы в наиболее глухое и сонное время чётко и без промедления подняться, одеться и через три минуты достаточно бодрым и проснувшимся быть на забойной площадке.

Выстроившись тремя звеньями, с заблаговременно прихваченными длинными палками, забойщики производили своим видом грозное и, вместе с тем, несколько смехотворное впечатление. Чаще всего, они выглядели не только не проснувшимися, но и плохо представляющими, что же от них, в конце концов, требуется. Именно им, ещё окончательно не пришедшим в чувство, предстояло оборвать десятки и сотни чужих, не принадлежащих им жизней, и это неменяемое состояние не покидало, должно быть, каждого. Мне самому, в частности, привелось в полной мере ощутить на себе парадоксальную неминуемость возникающей ситуации, избежать которой было бы нелепо, ведь именно за этим я приехал на остров.

Представляемое в тяжёлом сне бесчисленное количество котиков, устремившихся на тебя, повергало в неизъяснимый трепет перед тёмной звериной жизнью, и, воображая себе предстоящий день, просто не верилось, что будешь убивать. А убивать нужно было быстро, смело, тогда, как никто не проинструктировал тебя на этот немилосердный счёт. И вот теперь, ощущая утробное дыхание залёгшего неподалёку и ничего не подозревающего стада, ты крался по сыпучему песку в рассветных сумерках,

сдерживая вырывающееся дыхание с волнением, слышал напряжённое молчание своих товарищей, и при этом был полон надежды, что стадо почувствует приближение человека и заблаговременно уйдёт от очередной живодёрни.

По сигналу старшего всё звено устремлялось к берегу с целью отрезать отступление гонимому двумя другими звеньями зверю, и нужно было не потерять ни секунды, отесняя зверя от воды палками, и кричать при этом что-то неразборчивое и устрашающее. В нос резко ударяло морской свежестью, мокрый песок с галькой плотно поскрипывал под сапогами, а обезумевшие звери, налезая друг на друга и сбиваясь в беспорядочную кучу, пытались прорваться к прибою. Здесь их ожидали несколько человек, готовых любым способом остановить животных, и лучший из этих способов – вал из тел забитых котиков, который отрезал зверю путь к воде.

Два первых звена, крадущихся к берегу по подземным тоннелям и неожиданно появляющихся у самого уреза воды, должны были произвести среди залегающего зверя основное смятение. Именно поэтому им категорически запрещалось переговариваться в тоннеле и даже курить перед загоном. При всех этих действиях требовались напряжённая слаженность, чуткое руководство и желание каждого, во что бы то ни стало, добыть зверя. При общем настрое среди участвующих в загоне людей достичь этого поголовно охватившего оцепенения было не так уж сложно.

Я сам стоял по колено в воде и, охваченный обуявшей всех лихорадкой, со всего маху дубасил рвущихся к воле котиков по упругим затылкам. И холодные солёные брызги, словно слёзы, стекали у меня по лицу, и от них почти насквозь вымокали штаны и свитер, а я всё бил и бил, и уже не в силах был остановить удары, сыпавшиеся на спины, бока и ласты, и, тем более, не чувствовал причиняемой ими боли. В этот постыдный и страшный миг я не ощутил покачнувшееся на своих плечах небо, не услышал громогласно воспротивившегося содеянному стихийного внутреннего зова, и только метущееся в груди разбитое сердце гулко отбивало свои глухие удары, не оставляя никакой надежды на малейшее помилование в будущем...

Впоследствии я часто задавался вопросом: зачем был дан этот остров людям? Только ли затем, чтобы убивать и в глубине души терзаться от непрекращающегося варварства, творимого заведомо на собственное обречение? Но в том-то и дело, что угрызения совести рождались лишь на забойной площадке, в самый кровавый момент, и злая душевная растерянность подминала всё под собой, как будто расправляясь с человеком за его минутную слабость...

Что делать, если люди не могут поверить в свою силу, не причинив кому-либо жестокости? Они не в состоянии вывести что-либо ценное из творящейся вокруг них беды, и скорее откажутся думать о ней, чем будут тревожить свою душу. Но лицо выдаёт внутреннюю муку и боязнь от совершаемого безумства. Совершаемого словно исподволь, против своего разума, по наилегчайшему пути жизненного скольжения, а не полёта души.

Так вершится преступление против всего божественного в себе, в угоду липкому и ужасному мгновению своей человеческой слабости.

То и дело возникающие вопросы одолевали, и казалось, им не будет конца. Однозначно ли само по себе убийство, и имеет ли человек право вообще убивать? Как убить, кому убить и ради чего? Все они были ничуть не маловажны для общества, которое пока не в состоянии отказаться от убийства в любых его формах.

Но если даже предположить, что это общество научилось бы не скармливать норке ценный продукт, целительные свойства желчи и внутренних гормонов морских животных справедливо распределять среди своих членов, не отсылая их на экспорт, а драгоценные шкуры не гноить самым бездарным образом годами в прокисших бочках, - разве бы не выглядело оно, в конечном итоге, противоестественно, убивая великолепных живых существ, призванных украшать этот божественный мир?

Конечно, не всё так просто, как кажется на первый взгляд, и убивать, наверное, способен далеко не всякий, а только обретший знание. Но как, без ущерба для души, можно сначала обрести право убивать, чтобы потом умело от него отказаться? На понимание всего этого уходит целая жизнь...

И тогда человек самонадеянно успокаивает себя мыслью, что, по необъяснимому состоянию мироустройства, убийство является законной частью немилосердного, но неминуемого очищения, через которое человеческой душе просто необходимо пройти, чтобы окрепнуть, и он ... убивает.

Одного древнего мудреца спросили, что самое удивительное в этом мире? Самое удивительное, ответил он, то, что хотя люди каждый день сталкиваются с фактом смерти, никто из них не думает о том, что умрёт сам. Если бы люди думали о том, что умрут, они вели бы себя иначе, и, размышляя о том, что смерть может прийти в любой момент, ценили бы отпущенное им время, и уж, конечно, не убивали бы других живых существ. Разве достойны были своей духовной природы люди, в неограниченном количестве забивающие таких чудесных, милых котиков?!

Временами мне тогда даже казалось, что весь мир провалился в морскую бездну, и только мы одни каким-то чудом застряли на этом непомерно маленьком клочке скалистой земли. Не существовало больше утопающих в летнем сумраке вечеров пустынных таинственных аллей, мягко освещённых желтовато-лиловыми фонарями, ни весёлой зелени умытых садов, трепетно замерших после дождя, ни уютной лесной дороги, которая вела к тёплым земляничным полянам... Были только туман, неотступной стеной надвигающийся на остров, его въедливая липкость, леденящее дыхание и опасение, что вопиющее уничтожение животных, возведённое в обыденную власть привычки, никогда не прекратится.

Ещё были скрытая тайна моря, его неведомый мрак и жалобный крик конюги, трепетно стелющийся над тихой ночной водой. Сердце не покидала робкая надежда на то, что когда-нибудь остров окажется для людей не только

великим снисходительным благом, но и их совестью, благодаря которой они всё-таки заплатят за своё запоздалое раскаяние, начнут расти душой, и станут, хотя бы немножко, лучше.

## «ЭТО – САХАЛИН!»

Я сижу на корме удаляющегося от острова Тюлений плашкоута, вглядываюсь в опостылевшую за полгода серую морось над островом, и переживаю только одно: больше мне не хочется быть здесь... Но я, несомненно, рано или поздно заскучаю по нему, представляя его себе уже в устоявшихся спокойных воспоминаниях или спутанных ночных забвениях. Правда, не знаю – как сильно, потому что кроме острова Тюленьего мою душу тронул весь Сахалин, этот милый сердцу дальневосточный край, где обретение недостающего неизведанного становилось вполне простым и радостным делом, несмотря на то, что иногда это знание приходило через кровь... Но как иначе жить в этом мире, желая только одной правды и счастья?!

Нет, постижению истины всегда сопутствует смерть, и её нужно пройти, чтобы стать сильнее в этом мире нескончаемых надежд, потерь и устремлений. В мире, где закон действия и противодействия, покоя и движения – повсюду, нужно понимать, что обе силы, действующие в противоположном направлении, должны уравнивать друг друга, лишь тогда в жизни начинает господствовать гармония, а значит – душевный рост и мудрое равновесие.

В жизни каждого человека есть время, когда ему щедро, будто авансом даётся Божья благодать, когда всё у него получается – с чего не начни. Очень важно не упустить именно это время, не говоря уже о простом, протекающем незаметно, вроде бы, и неизвестно для чего, но, тем не менее, с ещё более требовательной потребностью трудиться, не покладая душевных сил...

У каждого при этом – своя дорога и крест, но не каждая дорога приводит к Господу, и не всякий крест несёт на себе знак святости. Или так: выбранная дорога рано или поздно приведёт тебя к согласию с собой, а значит – и с Богом, только далеко не сразу... Всё, конечно, в руках Божьих, да тем жизнь и хороша, что убеждения свои можно отстаивать и мечты осуществлять.

Я, как мог, осуществлял, порой – даже истово, с какой-то монашеской исступленностью, так что, кажется, все чувства просто выплёскивались из тебя, после чего ты должен был, вроде бы, совершенно их лишиться, но веселья в сердце не убывало, и бодрость духа тебя не покидала. Находясь в то время в полном согласии с собой, я каждый миг переживал в душе присутствие Бога, и все мои мечты сбывались.

Но ощущал ли я Бога на Тюленьем, убивая ни в чём неповинных животных? Расправляясь так жестоко с милыми, необыкновенными котиками, которые, как бы это странно ни звучало, стали мне очень дороги, я осознавал совершенно точно: Бог меня не покинул. Он жил во мне всё время, когда сердце моё надрывалось, обливаясь их кровью, а моя собственная, кажется, куда-то утекала, не лишая, между тем, возможности жить и чувствовать. Всё это было возможно перенести без ущерба для своей

души, конечно, только с Господом, который, оказывается, жил тогда во мне, а если и отсутствовал какое-то время, то я знал, что Он всё видит. С нами Бог, хоть Он и бывает милостиво непредсказуем!

Непредсказуема и сахалинская погода... Даже летом она на острове не балует, и нет-нет да и выкинет коленце: вместо мягкого, почти незаметного ветерка поутру, казалось бы, обещающего вполне покойный и ласковый полдень, вдруг налетит шквал, принесёт холодную свинцовую тучу, и вот – ледяной дождь. Мало того, его заряд может обернуться и снеговой сечкой, но и это ещё не полное отражение сути сахалинской погоды. Всё нарастающий, совершенно отчаянный упорный ветер, взявшийся неведь откуда, бросается срывать с прохожих шляпы, бежать за которыми не имеет смысла, ибо не догонишь, выворачивает наизнанку зонтики, безжалостно ломая их, а вскоре в мгновение исчезает, уносясь куда-то за сопки, будто его и не было, и над этими самыми сопками вспыхивает разудалое яркое солнце...

Невозможно не любить Сахалин! Какой-нибудь час назад ты не мог обойтись без тёплой куртки и драпового пальто, и вот уже к полудню день так расходится, что остался бы в одной рубашке... Погода на острове ровно сама себе определяет настроение, и то безо всякой причины хорохорится, а то постепенно отпускает. И море, и остров, и находящийся поблизости океан – главные законодатели всех этих природных устремлений, и от того, как они распорядятся своей свободой – слагается, в общем-то, привычный для местных жителей, но всё-таки необыкновенный сахалинский денёк.

Суровый климат, свирепствующие непогоды в весеннее и осеннее время, обилие льдов, препятствующих раннему началу навигации, в особенности – у северных берегов Сахалина, стремительные и переменные течения, скорость которых доходит до семи узлов, крайне разнообразные приливы и отливы моря, достигающие местами десяти и более метров, упорные и густые туманы, вследствие обилия влаги в воздухе – частые дожди: вот основные черты, присущие Сахалину и Охотскому морю, омывающему собой почти две трети береговой полосы острова. Тихие и ясные дни – как исключительная редкость, в основном же – льды и туманы... Но что определяет здесь подобное течение погоды?

Повинны в этом, в первую голову, воздушные потоки, обусловленные особым распределением и изменениями атмосферного давления... Дело в том, что зимой над азиатским материком располагается огромная устойчивая область высокого атмосферного давления, или, как говорят метеорологи, антициклон. Летом, наоборот, здесь располагается не менее устойчивая область низкого давления, или так называемый циклон. Причина такого распределения давления – большее охлаждение воздуха над материком зимой и большее нагревание его летом, по сравнению с воздухом над океаном в тех же широтах. Поскольку от большего давления воздух перемещается в сторону меньшего, то зимой ветры над Охотским морем преимущественно северо-западные, они обуславливают низкую температуру

и влажность воздуха, а летом – южные, предполагающие высокую облачность, влажность и повторяемость туманов.

Эти южные, господствующие летом ветры приносят тёплый и влажный воздух. Он быстро охлаждается в нижнем слое, в результате соприкосновения со значительно более холодной водой Охотского моря, и приходит в состояние насыщения. Именно поэтому так обычны в здешних местах густые и устойчивые туманы.

Кстати, в связи с тем, что туманы образуются в приземном слое холодного воздуха, при выносе их на берег понижается его температура. Наиболее глубокое проникновение тумана вглубь острова осуществляется по долинам, и ещё в периоды выноса туманов устанавливается холодная сырая погода со слабыми ветрами. Сплошные туманы в большинстве случаев наблюдаются в ночное время, удерживаются подолгу, а над побережьями и морем висят буквально целыми неделями.

В общем, климат Сахалина и его прибрежных вод довольно суров. И это несмотря на то, что северная его оконечность лежит на широте Тулы, а южная на широте Одессы. Зима на Сахалине холоднее, чем на южных берегах Белого моря, находящихся по широте значительно севернее. Исключением является юго-западное побережье острова, где благодаря тёплому Цусимскому течению климат значительно мягче. Причина суровости и зимы, и климата Сахалина, как и всюду на Охотском море, – леденящие ветры с насквозь промороженного материка и холодные воды самого моря, покрытого льдами, как правило, и в июне.

Сильные пронизывающие ветры – неотъемлемый атрибут Сахалина. Зимой они сгоняют снег в низины, и он иногда целиком засыпает постройки. В таких местах очень важно, чтобы двери открывались внутрь помещения. Я был свидетелем того, как на курильском острове Парамушир местные жители сооружают выходные отверстия даже на крыше, в виде небольшого домика-скворечни, что всегда вызывает недоумение у приезжих. Но старожилам хорошо известно, чем может закончиться такое невольное заточение, когда за пару дней снегу наметает под самые карнизы...

Не только суров, но и необычен островной климат... На юге Сахалина цветёт магнолия, тогда как его северная часть отмечена обширным существованием тундр с нехарактерными для этих широт торфяниками мощностью до двух с половиной метров. В целом же, для острова обычны более влажная, чем на материке, зима; холодная затяжная весна с поздними снегопадами и туманами; прохладное в первой половине, особенно в июне, и дождливое во второй лето; тёплая, сравнительно длительная солнечная осень, когда температура суши и воды выравнивается, достаточно прогревшись, и между ними уже не существует большой разницы...

Осень на Сахалине, пожалуй, единственная пора, когда она радуется всех, так что забываешь за чередой ярких осенних дней мрачноватую сущность острова, которая почему-то приятна. Это необъяснимо, но именно серая дождевая мгла ненавязчиво убажывает твою душу! Таков – Сахалин.

Самая долгожданная золотая пора на острове – сентябрь. В августе ещё может случиться тайфун, но пришедшая осень незаметно всё восстановит, загладит приключившиеся с природой огрехи. Прекращаются, наконец, и затяжные дожди, а в результате общего прогревания морей исчезает большая облачность. На море спокойно, жарко пригревает солнце, и до слуха доносятся лишь лёгкие вздохи волн...

Во всё же остальное время недостаток тепла и большое количество атмосферных осадков обуславливают избыточное увлажнение везде, где недостаточно большой сток. Это и влияет на буйную растительность, особенно на юге. Да и прогревание воздуха над Сахалином протекает медленно, что происходит в связи с большой затратой тепла на испарение атмосферных осадков.

Порой представляется, что вся суть острова сосредоточена в хлюпающей под сапогами влаге, густом промозглом тумане, надоедливо сеющейся мороси и постоянном ощущении, что всё это никогда не кончится. Куда не обратишь своё внимание – всюду сыро, промозгло, холодно. Проходит время, и ты убеждаешься: человеку недостаёт такого постоянного переживания непрекращающейся непогоды, когда ты способен научиться ценить каждый день, хотя бы мгновение, но этого постоянного напряжения человек не переносит, да и не в силах пока выдержать предлагаемого жизнью урока. Зачем он живёт, во имя чего совершает свои незначительные усилия?! Сколько характера нужно иметь человеку, чтобы преодолеть хотя бы даже не самую крайнюю степень напряжения души и тела?!

А между тем обыкновенный сахалинский денёк хорош! Он радостен именно своей непредсказуемостью, мягкостью красок, неброской красотой. Взял бы и отправился вглубь этих дремучих сахалинских сопок, кажущихся живыми, замершими в ожидании именно тебя. Какая жажда преодоления трудностей рождается в душе, стремление обрести новые важные открытия! И всё, вроде бы, благодаря обыкновенной сахалинской непогоде, которая удивительно обаятельна, уютна...

Даже и не подумаешь, что погоду Сахалина, помимо муссонов, определяют какие-то невидимые течения... Они омывают остров с обеих сторон, причём, восточному берегу, как более открытому течениям и ветрам, приходится принимать наибольшую долю непогоды. Условия здесь, в прямом смысле, самые суровые и вся растительность несёт на себе такой же суровый, полярный характер.

Западный берег, особенно его юго-западная и южная часть, намного удачливее, и влияние холодного течения и льдов, спускающихся с севера, смягчены тёплым Куро-Сюо. Вернее – отходящим от него в пролив Лаперуза рукавом Соя, который омывает южную оконечность острова, включающую мыс Крильон, залив Анива и мыс соответствующего названия, достигая мыса Терпения и острова Тюлений, тем самым позволяя морским котикам устраивать на нём свои лежбища. Ответвление же, устремляющееся на север по Татарскому проливу, именуется Цусимским течением. Достигая среднего

Сахалина в районе Александровска-Сахалинского, это ответвление постепенно сходит на нет, смешиваясь с водами холодного течения и, завихряясь, растворяется в нём. Но оно, всё же, оставляет свой след в растительности по юго-западному побережью, где она более нежная, чем на восточном побережье, и отличается сочностью. Такая сочность присуща именно распадкам, отличающимся на Сахалине и Курилах своей потаённой прелестью.

В этих распадках, по которым стекают в море маленькие сахалинские речушки, а берега их отличает какая-то неестественная даже растительная пышность, витают огромные бархатистые бабочки – махаон Маака, мечта любого коллекционера. Размером с чайное блюдце, чёрно-фиолетовые красавицы с золотыми глазами уверенно парят над прибрежными волнами, продолжая свой полёт и над морем, всё дальше на восток... Залюбовавшись на них солнечным утром, призадумаетесь: отчего такие хрупкие создания не обходятся потаённой роскошью сахалинских распадков, а непременно им нужно устремиться неведомо куда, не боясь открытых морских пространств?

Что же касается приречных долин, что обычно защищены от холодных ветров и называются среди местного населения «еланями», то растительность в них поражает ещё и обилием разнообразных трав, раза в два превышающих рост человека. В летние душные дни земля здесь парит, воздух от влаги роится, и чувствуешь себя как в бане. Спасает только прозрачная ручьевая вода, стекающая с холмов, на берегу же моря – лёгкий прохладный бриз.

Заросшие бамбуком и кедровым стлаником, склоны распадков крутые, по ним ни за что не пробраться. По дну распадков текут незамутнённые ничем ручейки и речки, впадающие в море. Нередко такие ручьи обрываются на вершине скалы и ниспадают водопадом хрустальных брызг.

Распадки зачаровывают своей влажной дичью, таинственной глубиной и сумрачностью. Чтобы хотя бы отчасти проникнуть в эту глубину, нужно двигаться по их дну, вернее, руслу, в поднятых болотных сапогах. Ручьи, как правило, мелководны, с галечным дном. В конце лета или осенью можно наблюдать, как по таким галечным мелям ползут на брюхе вверх по течению большущие рыбины - кета... Плавники у них оторваны, кожа в рваных ссадинах и язвах, но рыбы преодолевают любые препятствия, желая достигнуть своей цели – оставить потомство.

Вот и тёплое течение Куроисио, лишь ненадолго обогрив южные берега Сахалина и остров Тюлений, постепенно оттесняется в открытый океан, а весь восточный берег оказывается под влиянием холодного Сахалинского течения Охотского моря, проникающего почти до южной части острова. Поэтому на Сахалине восточное побережье более холодное, чем западное. Горные хребты, вытянутые вдоль восточного побережья, ещё больше усиливают эту разницу.

О Куроисио стоит сказать несколько слов, поскольку оно наиболее мощное течение Мирового океана. По тому влиянию, которое Куроисио оказывает на океанологический режим и климат северо-западной части

Тихого океана, его по праву сравнивают с Гольфстримом в Атлантике. Образовавшись от Северного Экваториального течения, повернувшего от Филиппин к северу, Куросио переносит много тепла из южных широт в умеренные области северо-западной части Тихого океана, оказывая существенное влияние на климат Сахалина и Южных Курил. В переводе с японского языка Куросио означает «Чёрный поток». Это название происходит от цвета морской воды – от черновато-ультрамаринового до кобальтово-синего. И действительно, этот поток при непосредственном наблюдении резко отличается от прибрежных зеленовато-голубоватых вод.

Слово «куросио» слагается из двух иероглифов: «куро» и «сио». И если первому соответствуют слова: чёрный, страдание, печаль, бездна, проникновение в тайну, то иероглиф «сио» означает соль жизни, существо сущего. Другими словами, в понятии Куросио фиксируется явление, отражающее совокупность всех воздействий океана. Оно может приносить с собой тайфуны, высокие волны и обильные осадки, а может изменять численность промысловых рыб. Ещё в глубокой древности у рыбаков возникла своеобразная формула – «Куросио управляет промыслом».

Маленькая рыбка сардина-иваси – настоящее дитя этого течения, в нём она появляется на свет и проходит первые стадии жизни. Эта рыба может по несколько десятков лет находиться в депрессивном состоянии и как бы выжидать подходящего для успешного размножения состояния течения Куросио. Когда такой благоприятный момент, обычно совпадающий с эпохой потепления, наступает, иваси буквально «взрывается» и численность её возрастает в десятки раз! В своё время, соответственно, случится и такая ситуация, когда иваси придётся исчезнуть, и в этом опять будет виной течение Куросио...

Исключительно богата зона течения Куросио рыбой, запасы которой интенсивно используются людьми уже много веков. Французский исследователь морских глубин Жорж Уо в своей известной книге «20 лет в батискафе» следующим образом описывает погружение в зоне течения Куросио: «В поле нашего зрения повисло облако, состоящее из миллионов светящихся точек – планктон казался невероятно густым. На глубине более 1000 метров мы попали в слой настолько густого планктона, что за иллюминатором буквально ничего не было видно, кроме сплошного белёсого тумана, в котором иногда попадались медузы разного цвета и формы, висевшие в самой толще этого питательного пюре».

Кстати, первым обстоятельно описал Куросио наш русский исследователь Иван Фёдорович Крузенштерн. В советской литературе под названием «течение Куросио» понималось звено северного субтропического круговорота от острова Тайвань до 160 градусов восточной долготы. Куросио – одно из самых сильных течений Тихого океана. Даже по средним данным скорость его достигает двух узлов, в стрежне потока – три-четыре узла, и отмечены случаи, когда скорость течения доходит до шести узлов. Словом, Куросио движется со скоростью быстротекущей реки.

На всём протяжении это течение образует несколько крупных меандров, своеобразных «излучин» в потоке вод. По внешнему виду они напоминают изгибы речных русел. Кто летал на самолёте в здешних местах, тот прекрасно видел эти ответвления сверху.

Воды Куроисио всегда имеют температуру выше 15 градусов Цельсия в поверхностном слое и солёность более чем 34,5 ‰. Для них характерно низкое содержание растворённого кислорода и поэтому они отличаются высокой прозрачностью. Белый стандартный диск Сейка исчезает из поля зрения только на глубинах сорока-пятидесяти метров. Ширина потока Куроисио изменяется от 50 до 120 миль, мощность по вертикали – до километра. Какая невидимая, но сильно ощущаемая мощь!

И так, хорошая погода на Сахалине случается не часто... Вследствие большой влажности сахалинского воздуха и изобилия дождей, а также испарений, идущих, кажется, отовсюду, над городом, если вы находитесь, скажем, в областном центре, постоянно висит почти не видимая, но хорошо ощущаемая серовато-белёсая мгла. Порой она становится даже приятна, создавая какой-то своеобразный парниковый эффект, в котором тебе приходится жить и работать, и ты постепенно привыкаешь к нему, находя своё обаяние. Сами местные жители говорят про Сахалин, что климата здесь нет, а есть дурная погода, и что этот остров – самое ненастное место в России.

Климат здесь, конечно, морской и, как и море, отличается непостоянством. Зато на Сахалине постоянно дует холодный ветер, к которому тоже быстро привыкаешь. Ветер этот не только холодный, но и очень пронзительный, кажется, дующий на пределе возможностей, никогда не ослабляющий своего упрямого дыхания. Он задувает так неукротимо, сильно и длительно, будто норовит выдуть из всего живого душу. Думаешь: ведь когда-нибудь он непременно остынет и утомится, но нет – напряжение его, ни на секунду, не угасает, ещё более силится, и через всё нарастающее вместе с ним раздражение ты начинаешь проникаться к ветру уважением. А потом понимаешь: только слившись с ним, приняв его неукротимость, ты становишься достойным его хотя бы отчасти, ты – сахалинец!

Безотрадная сахалинская непогода способна тянуться неделями, небо сплошь покрывается низкими серыми облаками, и кажется, будто всё это, как и ветер, будет продолжаться бесконечно. Естественно, подобное настроение природы не может не располагать к невесёлым думам, но, между тем, именно беспросветная пасмурная погода, её, вроде бы, ни к чему не располагающая размеренность незаметно настраивает тебя на вдумчивую внутреннюю работу.

Пройдёт не один год, пока приспособишься к холодному, сырому и резко переменчивому сахалинскому климату. Тело твоё должно постоянно вырабатывать тепло, которого так не хватает сахалинцу, тем более, работающему в море. Чтобы возмещать потери, вызываемые низкой

температурой и чрезмерной влажностью воздуха, необходимо то и дело двигаться, чего не может не предполагать труд моряка или подводника.

Отметка градусника, показывающего температуру воздуха, близка к нулю, вода у грунта чуть превышает эту отметку, а от тебя валит пар: плотное шерстяное бельё, прорезиненный комбинезон и напряжение подводного труда вытесняют из членов всякий озноб, разгоняя кровь к собственной радости от совершаемого тобой действия. Какое это чудесное, незабываемое ощущение, когда вокруг промозглый холод, дождь или ветер, суровая волна наотмашь бьёт судно в скулу, а ты счастлив от того, что находишься здесь, на краю света, надёжно выполняя ответственную, нужную работу, и благодаря усилиям воли становишься равным неукротимой стихии... Вот в такие минуты и спадает с души уныние от неприглядной сахалинской погоды, которая теперь только веселит, твоё противодействие ей порождает бодрость духа, способного одолеть любое препятствие, и угрюмую береговую линию, еле просматривающуюся в туманной дымке, ты уже воспринимаешь без всякого равнодушия. Это – земля, куда тебе хочется вернуться после нелёгкой подводной экспедиции.

А вообще, весь Сахалин тем уже занимателен, что неповторим. Какое место на нём ни возьми, оно на особинку! Значительная протяжённость острова в меридиональном направлении, при длине 948 км, и горный рельеф обуславливают 12 климатических поясов, и каждый из них, в силу определённых условий, своеобразен. Именно по этой причине Сахалин часто называют «Островом сокровищ», несмотря на все его природные выкрутасы.

Не повезло, кажется, Сахалину с климатом, ровно семь погод собирается у него на дворе: и сеет, и веет, и крутит, и мутит, и рвёт, и сверху льёт, а снизу-то как метёт! Недаром, именно в самую непогоду, на Сахалине говорят: «Погода идёт!» Тут редко, когда одно другому не противоречит: что-нибудь да не так!

Проведя на острове хотя бы несколько лет, привыкнув к его климату и даже обнаружив в нём какие-то привлекательные стороны, к сахалинскому земледелию продолжаешь относиться скептически. И всё же корейцы добились значительных успехов в своём труде на этой упрямой земле, обладая не менее упрямым характером. Они научились подчинять себе своевольную сахалинскую почву, добываясь от неё удивительных результатов в виде овощей и фруктов, а своё особое умение подтверждали обычно под праздники, предлагая неизбалованным цветами сахалинцам нежные гвоздики, гладиолусы и георгины...

Что поделаешь, но противоречивость сахалинской погоды – лицо острова, его неминуемая судьба, а скорее даже – неотъемлемая суть, без которой не был бы он собой. Погода в этих местах определяет ход жизни: суровый, не всегда разрешимый в своей непредсказуемости, но достойный совершаемыми усилиями и очень интересный. Это – Сахалин, земля настоящего подвига во имя обретения человеком дорогих для него знаний и силы!